

ТЛЕБ ТОРЫШИН

ЮРА

БЕРЕТ

ТИЕБ
ТОРЫШЧИ

ГОРА
И БЕРЕГ

ПОВЕСТИ

Москва
«Современник»
1989

ББК84Р7
Г70

Рецензент
А. БОЛОГОВ

Горышин Г. А.

Г70 Гора и Берег: Повести.— М.: Современник, 1989.— 544с.— (Новинки «Современника»).

В новую книгу известного ленинградского писателя Глеба Горышина вошли повести «Шесть окон на Белое море», «По тропинкам поля своего», «Не только о погоде», «Пробежки по утрам» и другие лирические произведения. Первая повесть рассказывает о суровом северном русском крае, где бывал прозаик Юрий Казаков и писал свой «Северный дневник». Герои Г. Горышина — реальные люди, которых встречал писатель во время своих многочисленных странствований по дорогам и весям своей родной земли.

Г $\frac{4702010200 - 070}{M106(03) - 89}$ 44 — 88

ББК84Р7
Р2

ISBN 5—270—00036—9

ГОРА И БЕРЕГ



Главная особенность всех этих мест — отсутствие быстрой и удобной дорожной связи с центром.

Ю. Казаков «Северный дневник»

НЮРГОВИЧИ

Нынче весной мы с другом-художником Валерием Топковым поехали в самый лесной, озерный, необжитой (или оставленный жителями) северо-восточный угол Ленинградской области, на Вепсовскую возвышенность, в деревню Нюрговичи...

Но вначале представлю, в самых общих чертах, художника Топкова. Его картины, графика, книжные иллюстрации, рисунки в журнале «Костер» говорят сами за себя. Я скажу о Топкове как о товарище по странствию. Он может зажечь костер под дождем, растопить русскую печку в нетопленной целую зиму избе, погреть на горячих кирпичах косточки. Может часов двенадцать сидеть за рулем, без малейших признаков задремывания (иногда он ездит на субботу-воскресенье из Ленинграда к Черному морю купаться). Простоять с удочкой на берегу водоема в ожидании клева хоть сутки. Валерий Топков в путешествии ровен, в отношениях мягок, в невзгоде тверд, в достижении цели упрям, предприимчив. К природе нежен, отзывчив — и сдержан. И он великий любитель ходить по болотам, как и я грешный...

Местность, куда отправились мы с Топковым, — на берегу Капшозера, протянувшегося в расселине меж холмов на восемнадцать километров. К озеру примыкают — и простираются в Заонежье, Вологодчину, Карелию, Беломорье таежные урманы, боры, гряды моренных холмов, озера, болота, текут многоводные, в глубоких каньонах, реки, со строеными бобрами плотинами; повсюду высятся муравейники — небоскребы в муравьином масштабе, многие порушены медведями.

Переплывешь Капшозеро на лодке, вздынешься в гору, — тут тебе село Нюрговичи. Село вепское, строено вепсами в двух уровнях: у самого Капшозера — это Берег, по-вепски Ранта, и на склоне холма, ближе к вершине, — Гора, по-вепски Сельга. Нюрг по-вепски крутосклон; Нюрговичи — вепское слово, озвученное на русский лад, вроде как отчество, по батюшке: Нюрговичи — дети Нюрга, Корбеничи — дети Корби, то есть леса. Еще есть Харагеничи, Гонгеничи, Даргиничи, Шангиничи. Вепсы изрядно-таки обрусели, пройдя одну с русским северным крестьянством историю, ломая такую же жизнь, но в своем кругу говорят по-вепски, на финно-угорский манер.

Улиц, порядков изб в Нюрговичах нет, сроду не заводилось; всяк выбирал себе место, какое кому любо, и ставил избу. Когда увидишь деревню, выйдя из еловой глухомани (корби) на крутосклон, то похожа она на груды серых валунов, обсевших зеленую гору по чьему-то соизволению.

ПЕРЕЗИМОВАЛИ

Нас с Валерием Топковым перевез через озеро механик Вихров. Пригласил к себе в дом попить чаю. Он механиком в Корбеничах, в десяти километрах от Нюрговичей, в совхозе. В Нюрговичах было отделение совхоза, его закрыли, работать здесь механику негде. Помню, совсем недавно были телята, телятницы, пастухи, но и их не стало. На работу Вихров ездит верхом на коне лесной, глинистой, вязкой дорогой над Капшозером. Живет в Нюрговичах, на Берегу.

На Горе первым делом я навестил стариков Торяковых. Дед Федор Иванович Торяков рождения 1901 года. Нюрговичского старейшину вепсы зовут не Фёдором Ивановичем, а Федором Ивановичем, почти как героя диалога Платона «Федр». И сам он себя зовет: Федор Иванович.

У Федора Ивановича доброе, круглое лицо, выпуклый лоб с напущенными на него, не потерявшими своего летнего цвета кудерьками, не погасшие от старости ясные глаза. У него поместительный круглый затылок, сильные плечи, руки, грузноватая фигура, тихий, раздумчивый, рассуживающий голос. В избе он обыкновенно сидит в ситцевой, времен первых лет коллективизации, рубашке, сложив на столе не привычные к бездействию толстопалые крестьянские руки. Рано утречком Федор Иванович спускается к озеру, садится в лодку, плывет по Корбьярви (так называлось по-вепски Капшозеро) смотреть сетку, гребет, перекидывая весло с борта на борт. В хозяйстве у Торяковых десяток овец-баранов; с них и мясо и шерсть; осенью больше половины стада сдается в совхоз. Огород, полоса картошки. Курицы с петухом. Две маленькие, кем-то брошенные и подобранные стариками собачонки — Тоська и Тимка, три кота.

Старухе Федора Ивановича Татьяне Максимовне тоже за восемьдесят, она жалуется на астму, другие «болезни», жалуется с виноватой улыбкой, будто говорит о грешках молодости. Дитя у деда Федора и бабы Тани было всего одно. На мой вопрос о детях Федор Иванович ответил так: «Парнишка был родивши, четырех месяцев и померши дак... Больше не быва-

ло». Из родни у Торяковых дедов брат в Шугозере, тоже старый. Считай, что одни на всем белом свете. Уезжать им из Нюрговичей некуда, надо жить тут.

— Зимой как снегу навалит, — рассказывала баба Таня, по обыкновению улыбаясь, — следочка нетути, по воду к колодцу на лыжах и хомыляешь. Нагнесси с ведром-ти, а разогнуться дыху не хватает. Ой, думаю, снегом засыпет, дедка и не найдет.

В этот раз баба Таня встретила меня, сообщила, что дед отправился в Тихвин выправлять справку в собесе, да и загостился, дружков у него в Тихвине полно: бывало, кто приезжал в Нюрговичи — по колхозным ли делам, по лесозаготовкам, по сплаву, — все останавливались у Торяковых, жилали месяцами.

Дорога из Нюрговичей в Тихвин не такое простое дело, особенно в дедовы годы: через озеро на лодке, тропой шесть километров до Харагеничей — тропа худая: ветровалом положило силу леса; по тропе где пешком, а где и ползком через завалы; спасибо, нынче почистили тропу механик Вихров с полковником в отставке (купил избу на Берегу): хода прорубили, мочаги загатили; лесники не удосужились.

Сколько я хожу по вепским лесам, ни разу не встретился с лесником или хоть с каким-нибудь знаком леснической работы. В прошлом году жил на Летнем берегу Белого моря... Там пойдешь в тайгу, все просеки почищены, мостки подновлены, скамейки-курилки именно в тех местах ставлены, где пришло время путнику перекурить. И всякий раз выйдешь на стук топора: лесник наводит в лесу порядок; посидишь с лесником у костра, обожжешь пальцы о кружку, хлебнешь горяченького до слез чайку, и станет тебе весело. Лес без призору тоже сирота...

Посередке тропы Харагинское болото: весной воды натаивает выше колен, осенью наливает дождями.

В Харагеничах надо подняться на гору. Гора Харагинская, ой, высока!

А там на автобусе до Шугозера; из Шугозера рейсовым хоть в Тихвин, хоть в Лодейное Поле, хоть в Ленинград.

Я спросил у нюрговичской бабы Тани о главном, за чем и пришел: «Как перезимовали?»

Баба Таня сказала:

— Ну что же, перезимовали... Печку топили, лежанку, печурку... Он дрова приносил, воду, все... А у меня такая одышка... Думала, загнуся... — Баба Таня застенчиво улыбнулась. — А теперь лето дак... и ниче...

Так тихо в мире, что в ушах звенит, какой-то постоянный звуковой фон. Так бывает после города, дня в машине: доберешься до Нюрговичей — и зудит, пока не привыкнешь.

Крики чаек бьют по нервам. Чайки — для дисгармонии, диссонанса.

В озере розоватая вода. И розоватое небо.

На 9 Мая Федор Иванович надевает пиджак с медалями и памятными ветеранскими значками. Он приносит на стол ветхий кошелек с казенными бумагами: грамотами, справками о ранениях, красноармейской книжкой, военным билетом. Тут весь его персональный архив, человеческая жизнь, удостоверенная печатью. В документах Федора Ивановича Торякова прочитывается не только биография ветерана, но и время с его особенным языком — почти целый век.

Татьяна Максимовна опускает в железный кофейник (кофию здесь не пивали) здоровенный кипяtilьник, вскоре начинается бульканье. Чаек заваривается сиротский, чуть желтеет в стакане. К столу подаются калитки, щука из ухи. Хозяин тоже побулькивает, в том смысле, что крепкого чаю в жизни своей не пивал, курить не научился, в бане не паривался, веника в руки не брал. Винцо себе позволял, это было.

На мой вопрос о долготе супружества старики посчитали, вышло под шестьдесят лет с тех пор, как сыграли свадьбу.

Татьяна Максимовна уточнила:

— Я из Долгозера пришоццы, а у его была до меня... Федор Иванович малость насупился.

— Да что была... Женились, в первую ночь спать легли, я ей свое, а она поперек. Я ей говорю, не для того сюда шла, не место тут споры спорить. Несогласная, дак иди. Утром и ушоццы...

— Прямо уж, утром... — оспорила мужа Татьяна Максимовна.

Муж осердился:

— А ты не курлычь. Всю жизнь так...

Под бульканье стариков я читаю бумаги Федора Ивановича Торякова. В военном билете в графе специальность записано: не имеет. Крестьянин-колхозник. Окончил два класса Нюрговичской начальной школы Капшинского района в 1912 году. Впервые призван в армию в 1920-м, служил по 22-й. Рост 168. Округлость головы 56. Размер противогаза 3. Размер обуви 42.

Во второй раз призван 23 июня 1941 года, зачислен в 751 стрелковый полк. Уволен в сентябре 1945-го. 2 ранения легких. Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Орден Отечественной войны I степени Федору Ивановичу вручили в ознаменование сорокалетия Победы. Орден в коробочке. Пробуровили дырку в лацкане пиджака, прикрутили на надлежащее ордену место.

— Первой степени дали, раненый дак, знаешь... С тобой приезжал Владимир Соломонович, говорил, на инвалидность подай, а ранения-те легкие... — Федор Иванович повинился за свои легкие ранения, как будто его вина в том, что не тяжелые. Пенсия у него колхозная — в совхозе не успел поработать — 56 рублей.

Он сидел за столом смущенный, порозовевший и еще по-зимнему обросший, кудлатый, лысина не постигла его; всю зиму не стригся; в сивой опушке бороды. Мой товарищ предложил:

— Давайте я вас постригу, Федор Иванович. Я в армии все отделение стриг. Ножницы найдутся?

Татьяна Максимовна принесла ножницы, массивные, по виду выделки старого времени.

— Из Германии он привезши дак, — сообщила хозяйка. — Овец стрижем. Ни разу не точены. А все стригу-у-т.

— Попали дак... Думаю, дай возьму... Сталь хорошая. — Одобрил немецкую вещь хозяин.

Его единственный привезенный с войны трофей сгодился и в этом случае. Федора Ивановича постригли

овечьими ножницами «по-молодежному», подрубили бороду, он стал прелесть как хорош, ну, прямо Хемингуэй из сувенирного киоска.

Я продолжал чтение бумаг Федора Ивановича Торякова. Красноармейская книжка. Карельский фронт — 1941. Ленинградский, Волховский — 1943. 2-й Прибалтийский, 1-й Белорусский, 2-й Белорусский — 1944 — 1945. В красноармейскую книжку занесена каждая вещь, выданная солдату-стрелку за весь срок службы. Есть и отметки об их возвращении в хозяйство ротного старшины по истечении срока. Понятно, что вещи не все возвратились (слава богу, что возвратился в Нюрговичи стрелок!). Шапка зимняя. Пилотка. Шинель. Гимнастерка х/б. Шаровары х/б. Шаровары ватные. Рубаха нательная. Кальсоны. Полотенца. Портянки летние. Портянки зимние. Сапоги. Ботинки. Обмотки. Валенки. Ремень поясной, брючный, ружейный. Сумка для ручных гранат. Ранец. Котелок. Фляга. Чехол к котелку.

Стопка грамот за победные бои. «Товарищу Торякову. Дважды нам салютовала родная Москва! Верховный Главнокомандующий дважды объявил нам благодарность за отличные боевые действия. Поздравляю Вас с успешным выполнением приказа командования и выражаю уверенность, что Вы отдадите все силы борьбе за новые победы могучего советского оружия. Будем еще крепче бить проклятого немца! Желаю Вам новых боевых успехов! Вперед, друзья мои! Смерть немецким захватчикам!

20 января 1945 года.

Командир соединения гвардии полковник
Н. Каладзе».

«Красноармейцу Торякову Федору Ивановичу. Вам, участнику прорыва обороны немцев на плацдарме на западном берегу реки Нарев севернее Варшавы, приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 17 января 1945 г. за отличные боевые действия объявлена благодарность.

Командир части майор...»
Подпись неразборчива.

И еще грамоты за освобождение городов Гдыня, Росток, Штеттин, за форсирование Одера.

Листаю бумаги, заносу себе в книжечку важное (все важно!). Федор Иванович поглядывает на меня, по выражению его лица видно, что он хотел бы рассказать что-нибудь нужное мне, но не знает, что нужно. Рассказчик он не ахти. О войне поведал однажды такую историю: «Мне политрук говорит: «Записывайся, Федя, в партию». Я ему говорю: «Я за милую душу, только неподкованный я, учиться неколи было, дак... Неловко выйдет». Он говорит: «Ну ладно, коли так». И больше не звал».

Самую главную, итоговую и напутственную, грамоту в домашнем архиве Федора Ивановича Торякова я приведу целиком. Такую грамоту получил каждый, уходя с Победой домой. «Боевому товарищу Торякову Ф. И. По решению XII сессии Верховного Совета Союза ССР Вы демобилизуетесь из Действующей армии и возвращаетесь на Родину. Вы прошли большой и тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и лишения, которые пришлось пережить в сражениях и походах, не прошли даром. Под руководством великого Сталина одержана небывалая в истории победа над самым сильным и коварным врагом — гитлеровской Германией. Красная Армия не только отстояла честь и независимость нашей Родины, но и вернула свободу порабощенным народам Европы. На нашу долю выпала великая честь добить врага в центре его звериного логова и водрузить над Берлином Знамя Победы.

В это великое дело внесли свой посильный вклад и Вы, дорогой товарищ! Это о Вас говорил Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, как о «людях простых, обычных, скромных», «звания у которых нет и чинов мало», но людях, являющихся такими «винтиками», которые «держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела», людях, которые «держат нас, как основание держит вершину».

За честную службу на благо нашей Родины объявляю Вам благодарность. Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудия труда. Желаю Вам успехов на

новой работе. Будьте и впредь в первых рядах нашего героического народа. Под руководством нашей славной большевистской партии, под водительством Великого Вождя товарища Сталина отдавайте мирному труду все Ваши знания и силы, как отдавали их делу Победы.

Счастливого Вам пути, дорогой товарищ!

Главнокомандующий советскими оккупационными войсками в Германии Маршал Советского Союза Жуков. Член Военного Совета генерал-лейтенант Телегин. 30 августа 1945 г.»

Так провожали с Победой в те не столь отдаленные, но уже исторические времена.

После войны Торяков председательствовал в колхозе в Нюрговичах. Колхоз был маленький — таких колхозов в ту пору насчитывалось в Ленинградской области более десяти тысяч. Тогдашний начальник областного земельного управления Михаил Алексеевич Таиров рассказывал мне, что как-то решили собрать председателей всех до одного на общий актив — и не смогли найти в Ленинграде такого поместительного зала — на 10 000 посадочных мест.

Дела в колхозе у Торякова шли хорошо, это точно известно; успехи основывались на трудолюбии вепсов, на их умении примениться к почве, лесу, погоде. Вепсы — пахари-лесорубы: лес вырубят, делянку раскорчуют, тогда уж пашут и сеют. На этом построил свои экономические расчеты и молодой тогда председатель колхоза Торяков: всем миром занялись лесоповалом, лес сдали шугозерскому леспромхозу и оказались при деньгах на банковском счету. Такая редкость в те года — платежеспособный колхоз. Стали строить дворы, обзаводиться хозяйством... Федор Иванович рассказывал мне о своем коротком председательстве с каким-то неутоленным недоумением: только начали жить в своей родной деревне, и тут укрупнение... Председателей в укрупненные колхозы подбирали пограмотнее. Потом совхозы... Горькое недоумение Федора Ивановича Торякова проистекало из того неподдающегося здравому крестьянскому разумению факта, что в итоге многолетних кампаний-преобразований на его родной земле в Нюрговичах не стало ни пашни, ни скотины, ни покоса, ни работающего в поле крестьянина...

Сам он еще долго бригадирствовал в своем селе,

о чем есть свидетельства. Например, такое: «Свидетельство участника Капшинской рай. с/х выставки. Бригадиру колхоза «Большевик» Торякову Ф. И. Получен урожай озимой ржи с 10,5 га по 8 ц. И за хорошее руководство».

— Федор Иванович, ну, а как было, когда создавали колхоз?

— Да знаешь, как было... В тридцатом годе или когда... Кто победнее, животину согнали в один двор... Сохи тоже, у кого какая хвороба... Шесть было бедных семей дак... Ну, знаешь, подержали с неделю и разобрали, увели по дворам... Я был тогда членом правления колхоза. Мне говорят, тебя вызывают в Шугозеро в милицию. Ну, я пошел, захожу в милицию-ту. А там начальником Ванька Гайрузов нойдальский. Он револьвер из стола вынул, на меня наставил... «Ты, — говорит, — развалил колхоз». — В этом месте рассказа Федор Иванович рассмеялся, даже слезу утер. И Татьяна Максимовна с ним посмеялась. И я за компанию. Хотя что же тут смешного: револьвер у Ваньки, надо думать, был заряжен, и власти было много ему дано. — Я говорю: «Я не разваливал, сам развалился». Он мне: «Ну ладно. Иди». Я пошел. После уже уполномоченные приезжали, в колхоз записывали...

Я ЯВЛЯЮСЬ...

Леса, правда, голы, но уже окутались, опушились первой зеленью — черемуховые, ольховые, березовые леса. Осиновые окутаются чуть позже.

Весна почек, весна первых листьев, весна цветов.

Вчера я шел по весеннему лесу, мысли были простые: ходить по лесу — и только, хватит мне этого. Записывать жизнь деревьев, кустов, мхов, кочек, трав, ив, рек, ручьев, холмов. Они все — живые, мыслящие, страждущие, ликующие существа.

И я вдруг нашел себе объяснение: я являюсь описателем местностей, из которых состоит Россия. Что успею, то опишу, всякий раз наново влюбляясь, прикипая сердцем к обретенному предмету. Каждая местность России пригожа; краса не хвастлива, не выс-

тавляет себя напоказ, сокрыта в душе. Душа познается в трудах, хотя бы в трудах хождения...

Каждому (или, вернее, многим) хочется осознать, кем является он, и сообщить об этом непосвященным. Однажды мы ездили с деятелем литературы, известным в своем регионе, но неизвестным в других, в отдаленную местность. Нам предложили записаться на пленку для выступления по радио. Предупредили: пленки в обрез, просьба говорить покороче. Открыл интервью мой спутник — руководитель делегации... «Я являюсь, — так начал он речь, — секретарем Союза... Я являюсь кандидатом в члены... Я являюсь лауреатом премии имени... Я являюсь руководителем делегации...» Тут и кончилась пленка...

БОБРЫ

Перед глазами у меня Вепсовская возвышенность — и надо писать о бобрах. Бобры населяют здешние озера, реки, то есть берег всякой воды. Бобры, как говорят вепсы, «пилят дрóвы»...

Люди тоже «пилят дровы», но леса здешние уже выпилены в свое время (новые подрастают), реки и озера измучены лесосплавом; заплоты-запони-запруды-боны — все сгнило, трухою стало. На берегах Капшозера ржавеют сплавные железные катера, как танки, оставшиеся с войны на болоте.

В лесах хозяйствуют бобры, ведут свои лесозаготовки, пилят зубами осины, березы, иногда сосенки. Прежде всего осины. Выбирают самые матерые, с толстенными комлями дерева — и пилят, заготавливают впрок продукты питания, свой насущный осиновый хлеб.

Как пилят? Какие у них бригады — у бобров, — укрупненные или не очень? Какова бобровая рабочая смена, в какое время у них пересменка? Кто видел, кто знает? Михаил Яковлевич Цветков, старичок-лесовичок из Нюрговичей знает, видел. Он все знает в лесу, все видел и бобров капканами лавливал, ну, конечно, по лицензии, без нанесения урона общей численности бобров. О Михаиле Яковлевиче я еще расскажу...

Пока о бобрах. Бобры выпиливают осину с таким расчетом, чтобы она упала поперек реки. Выгрызают в осиновом теле полость конической формы, сходящую на нет. Последние волокна древесины — чтобы дереву рухнуть — просекает, должно быть, самый острозубый бобр; работа тонкая, чистая, без опилок (поедают их бобры, что ли?).

Осина падает — вот вам и мост через реку. Если бы не бобры, то реку Сарку не перейти бы в водополье (ближе к устью есть один ветхий мосток). Сарка берет начало в Сарозере. Выйдешь к нему из темного леса и обрадуешься: это же надо столько воды и нигде ни души! Берега у Сарозера низкие, заросшие ельниками. Озеро мелководное, со светлой водой; выражение у него ясное, открытое, как у голубоглазого озерного жителя. Сарка течет в глубоком распадке-каньоне. Русло ее непроходимо, захламлено лесосплавом. Сарка впадает в Геную, неподалеку от устья; Генуя впадает в Пашозеро.

Вепсы звали свою речку Эноя — что-то значащее по-вепски слово; русские переименовали на более понятное: Генуя. Есть в этих местах и речка Темза, тоже общепонятно.

Бобры понастроили множество мостов через Сарку (и через Геную). Я хаживал по бобровым мостам: возьмешь палку-подпорку и за милую душу. У кого непотраченный вестибулярный аппарат, тот и так перейдет, без палки.

Когда бобры валят лес, едва ли они думают о мостостроении. Им нужны пища, запруженная вода — заводь речная, чтобы плавать, нырять; тут бобры строят и хатки, так же, как в свое время поставили первые избы деревни Нюрговичи вепсы — на берегу у воды. (Потом вепсы полезли в гору: на берегу не осталось места.) Бобры положат первую осину поперек реки, наискосок другую и еще и еще; они великие мастера запруды строить. О том, как это скажется на жизни реки, бобры не пекутся, преследуют только свой насущный, как теперь говорят, сиюминутный интерес. Но ни одна из бобровых запруд не помешала реке течь избранным путем; бобровые заводи только украсили реки.

Отрадно увидеть в лесу плоды усердных, разумных трудов наших острозубых меньших братьев в бобровых

боярских шубах! Поражаешься громадьёю их планов, бесстрашию, дерзости этих трудолюбивых упорных зверей. Благо удить окуней в бобровых заводях, переходить по крепко лежащим лесинам с одного берега Сарки на другой!..

И больно видеть недостроенные, брошенные бобровые запруды, находить задушенного капканом зверя (поймать его крайне просто: капкан ставят у входа в хатку)! Избави бог повстречаться в лесу с истребителями бобров — есть они, шляются и по Вепсовской возвышенности; на лице у всякого можно прочесть, зачем в лес явился...

И мало, мало стало бобров. Сколько хожу по лесам, редко вижу свежий погрыз на осине, радуюсь ему, как лосю, зайцу, барсуку, глухарю, лососю, идущему по Сарке на нерест.

Медведи тоже водятся в вепсских лесах, но с ними пока не встречался, бог миловал. А охота!

ЦВЕТКОВЫ

В крайней избе Нюрговичей на Горе ближе всех к лесу живут Цветковы: Михаил Яковлевич и Анна Ивановна. Хозяину 78 лет, хозяйке поменьше. Она крупна, статна, как многие вепсские женщины (и Татьяна Максимовна Торякова была в лучшие годы крупной, статной); у нее открытое, белое, румяное лицо, озерно-синие глаза, соломенного цвета волосы: можно представить себе, какие косы были у Анны в девичестве, какая она была красавица в молодости, да и сейчас хоть куда. У Анны Ивановны веселый, бодрый нрав, какая-то во всем открытость: и к столу пригласит, накормит, напоит, и: «У нас ночуйте, чего вы там в своей избы маетесь», и пошутит, и расскажет что-нибудь такое из своей жизни: как, бывало, пеши бежали на районные активы в Шугозеро. Анна всегда была активисткой в колхозе: и бригадиршей, и бухгалтером; Федор Иванович Торяков председатель, Анна Ивановна Цветкова бухгалтер... Или о том, как в лесу работали, на лесозаготовках и на сплаве: по Сарке, по Генуе лес сплавляли в Капшозеро, там его сплавивали

в кошель, тянули катерами к истоку Капши; по Капше в Пашу...

— Бывало, директор Пашской сплавной конторы Павел Александрович Нечесанов приедет к нам... — рассказывала Анна Ивановна. — Сам такой видный, веселый мужчина... «Ну что, девки, — скажет, — не осушите мне хвост, всем по жениху привезу. В заглазнике у меня для вас женихи припасены первого сорта: все в шляпах, у каждого по золотому зубу, сапоги гуталином начищенные, блестят, аж глазам больно... В сваты меня позовете, всех просватаю...»

— От скажет, — хмыкает Михаил Яковлевич. — Павлу Александровичу без вас дела хватало...

— Пря-ям, без нас... — зальется Анна Ивановна. — Мы с хвостами до Ереминой Горы по берегам танцевали, с баграми наперевес, как эти... в клубе кинопутешествий показывали, перуанцы. Мокрехоньки, как лягушки, у костра обсушимся и опять по уши в воду. Пря-ям, без нас...

Однажды в давние годы, лет двадцать пять тому назад, я поехал на машине с директором Пашской сплавной конторы Павлом Александровичем Нечесановым, которого знали всюду, где растет лес и течет вода, до Пашозера — это было великое плавание по хлябям, на целую неделю. Нечесанов звонил из Пашозера в Усть-Капшу, капшозерскому сплавному мастеру Надумову, распекал его за многие грехи, а тому как с гуся вода: до него никакое начальство в распутицу не добиралось.

И нынче то же... Весной дорога от Харагеничей до Капшозера, до паромной переправы через него, непроезжая для машин, только трактора ее месят. С той стороны, из Хмелезера, тянули дорогу в Корбеничи, трубы завезли, гравию — сам видел — и бросили. Нюрговичи остались отрезанными от мира и опустели; не выкашиваются богатые здешние травы, не пасут скот в лугах, не пахут ниву, отвоеванную у леса поколениями земледельцев — вепсы пахали по гарям, выжигали лес-корби, корчевали пни, ковыряли сохой целину... Бросили нажитое веками... Почему-то ненужным оказался всего-то лет десять назад построенный, с кирпичными простенками, подведенный под шифер, до сих пор новехонький скотный двор в Нюрговичах...

Почему это так? «Почему мы должны уезжать из

родного угла? Ведь мы еще можем, хотим работать: и корову и овец держим, и сена накошим, и, бывало, бычков здесь пасли... Почему?» Мне задавали этот вопрос в доме Цветковых, в других стариковских домах. Я не знал, что ответить. И директор Пашозерского совхоза не даст ответа, который бы удовлетворил нюрговичских крестьян. Такого ответа нет и у руководителей Тихвинского района и выше. Его нет вообще. Нет дороги, и жизнь замирает...

Я видел, как дед Цветков косит сено: с рассвета начнет и вжикает весь божий день, легко, без усилия, ходко машет, как травяной кузнечик. Глядишь, стожки выросли там и тут, радуют глаз; нет неприятнее, горше вида, чем некошенная трава у села. Пока Цветковы держали корову Риму, молоком кормили-поили всех зимогоров на Горе; каждое утро прибегал за молоком полковник в отставке — с Берега. И мне хватало Риминого молока.

Собрались Цветковы переезжать в Пашозеро, продали Риму Ивану Егоровичу Тякляшеву, рыбаку, тоже на Горе жительствовавшему с женою «маленькой Машей» — правда, маленькой, но чрезвычайно бойкой. Риму перевели в другой двор, а она с пастьбы все заворачивает в родное стойло. Анна Ивановна плачет, выгоняя Риму, Рима не может понять, зачем, куда ее гонят, жалобно мычит.

Старый Цветков нынче редко берется за косу; сбегает на озеро, наловит окушков, сидит покуривает. Нарушился какой-то главный порядок крестьянской жизни. Все чего-то ждут: так же не может быть, чтобы бросить живое село, с пашней, с покосами, с обжитыми, милыми сердцу домами...

Михаил Яковлевич Цветков мастер на все руки, великий труженик, как все крестьяне-вепсы, но главная его страсть-улада — в лесу, в корбях. Он и сам, как лесная коряжина, маленький, суковатый, и взгляд у него... лесной. Цветков завалил десятерых медведей, в овсах и на берлогах, любит рассказывать о своих медвежьих охотах: «Я в берлогу-то сунул жердину, пошевелил. А тут как раз березка согнутая была, снегом ее изогнуло. Он из берлоги высунулся, вот так вот лапами оперся на березу и на меня смотрит... Я от него метрах в пяти стоял. Вскинул ружье — и в голову...»

У Цветковых в доме радио, телевизор, телефон. Михаил Яковлевич — лицо ответственное в Нюрговичах, вся связь с внешним миром через него. Он выпи-сывает, читает газеты, всякое новое лицо попадает в поле зрения охотника-следопыта, оценивается, клас-сифицируется им.

Цветковы подняли пятерых сыновей, двух дочерей. Анна Ивановна рассказывала, смеясь, как, бывало, не верили, что такая большая семья, девять ртов. «Придут с налогом: на корову натуральный налог, на всякую животину, на все... Я им говорю, мы девятеро от коровы кормимся, они не верят: «Как это можно...»

Старший сын Цветковых служит на таможне в Брес-те. Михаил Яковлевич говорит о нем с гордостью: «Платят хорошо, а работа у него трудная. В письмах пишет, что очень устает. Там смотреть и смотреть надо. Ну у него глаз наметанный, сразу видит, кто по делу едет, а кто, значит, с вражескими намерениями. Опыт большой дак...» Три сына в Тихвине: один на за-воде токарем, другой шофером, замдиректора возит — этот иногда, в самую сушь, доезжает до Нюргови-чей на «Волге»; третий в милиции на железной до-роге.

Младший сын Цветковых погиб на стройке: леса обрушились, он упал с высоты — и спиной о камень... Двое дочерей замужем в Тихвине.

Старший Цветков не нахвалится своими детьми, гово-рит о них с каким-то даже изумлением-умилением: «У всех все хорошо, никто не разводился, ни на кого ни разу телеги не было, никого в вытрезвитель не забирали».

Всем детям Цветковых — и внуков полно — идут из Нюрговичей посылки (то есть из Корбеничей, из Харагеничей, в Нюрговичах почты нет): грибы белые сушеные, маринованные, волнушки соленые, рыба вяле-ная, масло свое, домашнее, топленое, варенье черничное, малиновое, морошковое, черная смородина живьем за-консервированная, лучок-чесночок, сало свиное, носки, рукавички, вязанные из шерсти своих овечек. Да мало ли что еще. Жить бы и жить старым Цветковым в своем замечательном сельском доме в Нюрговичах: от добра добра не ищут. Но почему-то никак: стариковских поселений не бывает, молодым негде работать, лавка в Нюрговичах на замке, продавщица живет в Усть-Капше,

ладно, если заглянет раз в месяц; да и торговать-то особо нечем...

Цветковым совхоз дает двухкомнатную квартиру в трехэтажном каменном доме в Пашозере; дается и полоса под огород. В Пашозере тоже ловится рыба, кругом леса — не такие глухие, как за Капшозером, но с грибами-ягодами, с дичиной, исконно вепсские леса, корби. Дома в совхозном поселке поставлены лицом к озеру, за озером ярусы синеющих холмов. Поглядеть из лоджии — ну прямо вид на Женевское озеро (я гостил у пашозерских вепсов, сиживал в лоджиях, любовался). И никаких тебе забот о дровах, воде, хлебе; и газ, и сортир теплый, и ванна с душем, и вода горячая. Отсюда, из лоджии, из пашозерского рая земного житье-бытье в Нюрговичах может показаться... не самым лучшим...

Осенью Цветковы собрались в Пашозеро. Берут с собой и одинокую старушку-соседку Нюшу: одной ей в зиму не сдюжить, а там, в двухкомнатной квартире, места всем хватит. (Так думали Цветковы, но вышло не так, до этого пока что еще далеко.)

Весной мы с Топковым вышли к Капшозеру (с той стороны, от Харагеничей), постояли... Бывало, спустишься по тропе в цветковскую гавань: или лодка втянута в берег, или задымишь костерок — дед Миша приедет, перевезет... На Харагинской стороне Капшозера тропа у схода к воде раздваивается: вправо идут, ждут перевоза те, кому в Гору, влево — на Берег...

С Берега за нами приплыл (как уже говорилось выше) механик Вихров. Взынулись на Гору... Встретить нас выбежал цветковский пес Лыско, редко бывающий дома, целыми днями гоняющийся по тайге за зайцами, с буграми мышц под шкурой, с разработанными мощными лапами, хвост крючком, обрадовался встрече, узнал. Цветковский кот Мурзик сидел у двери; дверь замкнута на палочку: уходя из дому, вепсы не вешивали замков, до сих пор сохранили этот обычай.

К вечеру явился с Сарозера, с лукошком окуней, хозяин. Застенчиво улыбаясь, покуривая сигареты «Стрела» одну за другой, обрисовал положение дел. Значит, так. Квартиру им дал совхоз, дом в Нюрговичах они сдали на совхозный баланс. Кажется, все путем: само слово «баланс» ласкало слух Михаила Яковлевича, обожающего порядок. Но деревня пустая... Рыбаки-

туристы заявятся, все изгадят, а то и сожгут, с них взятки гладки. Им все едино — баланс-небаланс... И показалось деду Мише небо с овчинку — там, в пашозерском раю, при теплом сортире. Пошел он к директору совхоза Капризову, попросил сданный на баланс свой собственный дом сдать ему в аренду. Капризов пошел навстречу Цветкову. Михаил Яковлевич в момент собрал пожитки... На автобусе до Харагинской горы, бегом под гору — и по тропе, им же за целую жизнь натопанной (и его сыновьями, дочерьми), в родную свою деревеньку Нюрговичи. Анна Ивановна пока осталась в Пашозере, там картошку посадит и приедет сюда. Вот так.

САРОЗЕРО

От Нюрговичей до Сарозера километров шесть. Впрочем, тут до всего шесть километров: пять — слишком кругло, и надо за час дойти, а часу не хватает. Семь — многовато. Значит, шесть. Дед Цветков держит на Сарозере плавсредство, вепские ройки: два корыта, выдолбленные из осиновых кряжей, спаренные, без кормы и носу, хоть с того края садись, хоть с этого. Тропы уж почти что и нет, Цветков здесь редко бывает...

Пришел на Сарозеро, спихнул на воду ройки Цветкова, выхлестал веслом воду из обеих лоханок... Ройки вертки, это я сразу понял, как только выпихнулся на глубину. Дул ветер. Я насадил на крючок выдернутого из навозной кучи за хлебом Цветковых червя (всего выдернуто десять червей; это мучительное дело: мошка тебя есть поедом, а руки...), закинул уду. Ройки сносило, лоханки заливало. Я вернулся на берег, снял сапоги, остался босой — так-то лучше, — взял с собой в плавание кол. Втыкал кол в дно Сарозера, чтобы ройки стояли на месте. Ройки вертелись вокруг кола. Поплавок описывал круги, будто крючок схватила ошалевшая рыбина.

Перед уходом на Сарозеро я узнал от хозяина роек, что окуни на Сарозере берут непрерывно, закидывай и тяни. Но ройки крутились вокруг кола, дул северо-западный злой ветер, вода проникала в корыта роек, в воде стыли босые ноги. Поплавок зыбался, описы-

вал концентрические круги, окунь червя не брал.

Я сделал ровно столько закидок, чтобы очистилась моя совесть: сделал все, что мог, но увы... С великим облегчением ступил за борт роек, привел их по мелко-воду в бухту приписки, втянул на берег.

И тут пришло время костра.

ПУЛЬКИНЫ

Однажды ко мне в кабинет (я работал тогда в журнале) вошел пожилой мужчина с изборожденным морщинами, живым, добрым, умным лицом. Он представился Василием Андреевичем Пулькиным, оставил мне свой роман. «Глубокие воды Корбьярви» — о жизни вепсской деревни. Я вчитывался в роман, мало-помалу проникаясь особенным колоритом, духом лесного народа, напряженной внутренней жизнью озерного края. Все было у Пулькина то же, что и в романах о путях-перепутьях русского северного села, но север Пулькина отличали никем до него не увиденные краски, дополнительные обертоны в речи героев, национальные черты вепсов, сохранивших себя, — в неповторимости мировосприятия, слиянности с природой, поэзии жизнетворчества.

Роман «Глубокие воды Корбьярви» нес в себе самоценность никем пока не освоенного жизненного материала — и все следы неопытности начинающего романиста... Чаше всего в таких случаях автор тратит годы (а их и так мало) на обивание порогов редакций, на бесплодную переписку с консультантами. Или находит себе литобработчика. Василий Андреевич Пулькин, став на эту стезю, удивительно скоро понял, чего от него хотят, с крестьянской смекалистостью, хваткой, сам научился работать над текстом в нужном ключе. Он написал хорошую книгу «Азбука детства» — о собственном детстве в вепсской деревне. Пришло время — увидел свет и роман «Глубокие воды Корбьярви», и книга для детей «Возвращение в сказку».

В конце тридцатых годов родители снарядили Васю в Хвойную в ФЗО, там выучился он на мастера леса, работал на лесопункте (брат Алексей так и остался на всю жизнь лесорубом). Васе еще чего-то хотелось; окончил курсы учителей начальной школы в Тихвине,

учительствовал в Корбеничах, Нойдале. Ушел на войну, попал в дивизион гвардейских минометов, дошел до Будапешта, был тяжело ранен. После войны заведовал школой в Корбеничах, потом — инструктор райкома; избрали третьим секретарем райкома в Шугозере; в числе тридцатитысячников пошел председателем колхоза в Пялье. Оттуда опять в школу директором...

Василий Андреевич Пулькин живет в Кировске, неподалеку от Петрозаводского шоссе, ведущего на северо-восток, пересекающего Вепсовскую возвышенность. По этой дороге ездит к себе на родину, к матери, к братьям и сестрам. И мне показал дорогу, открыл для меня целый мир. Пулькин добрый, ему не жалко.

Каждое путешествие начинается с доброго человека. Мысль не то чтобы очень нова, но греет. Ищите доброго человека — и обрящете целый мир. Если платить добром за добро.

Вся родня Василия Андреевича перебралась из Нюрговичей в Пашозеро (брат Алексей живет в Шугозере). Как мы, бывало, приедем сюда, Пулькин просвещает меня по части топонимики:

«По-вепски Каксь-ярви — два озера... (У Пашозера посередке перемычка, по ней проходит дорога.) Потом переделали в Паксь-Ярви. Каксь показалось неблагозвучно. А потом уже Пашозеро: переложили с вепсского на русский — по звучанию, что ближе лежит. И река — Пашá. Откуда взяться «Паше» на севере? А ниоткуда, из звука. Река Сясь — это муха по-вепски. Река Сáрожа — еловое урочище. Сар — еловый лес. На Волхове, недалеко от Новоладожского моста, деревня Весь. Старинное вепсское село, упомянутое в энциклопедии. Некоторые названия сел, рек — невепсского, неизвестного происхождения. Был какой-то народ, затерявшийся потом, исчезнувший».

В большом старинном селе (обретшем признаки агрогорода) Пашозере жил брат Василия Андреевича Иван Андреевич Пулькин. Он заведовал очистным сооружением на животноводческом комплексе, прежде бывал и председателем сельсовета, и директором клуба; приверженный к чтению, книжный (родился в Нюрговичах в большой крестьянской семье), добрейшей души человек; у него в пашозерской квартире осталась изрядная библиотека. Иван Андреевич Пулькин, как я помню его, когда опрокидывал чарку, то приговаривал: «Матерь

божья!», с каким-то священным ужасом, будто в омут кидался головой. Он умер от кровоизлияния в мозг.

Примерно в то же время умер муж сестры Василия Андреевича Пулькина Анны. Сидел на скамейке у подъезда (пашозерцы, получившие квартиры в каменных домах, подолгу сживают на лавочках у подъездов, как, бывало, в родной деревне) и умер — в лучших годах мужик. В свое время Анна отлучила мужа от дома: он закладывал, а она этого не терпела. Она дояркой в совхозе, награждена орденом за высокие надои. И старшая сестра Пулькина Мария, телятница, тоже орденоска. В сестрах Василия Андреевича в большей степени, чем в братьях, сохранилось что-то изначально-вепсское, суровое; озерная просинь в глазах. Жизнь обработала их, выщербила, как ветер валуны. Они разговаривают между собою и с матерью по-вепски. У братьев глаза рябенькие, с прожелтью, как хвойная подстилка в лесу.

Их матери, бабушке Лизавете Пулькиной, уже много за восемьдесят, она не видит, различает детей по голосам. Живет с дочерью Марией в Пашозере, в однокомнатной квартире с лоджией.

Мне еще привелось пожить в бабиной Лизиной избе в Нюрговичах и в избе Марии: Василий Андреевич привез меня в первый раз в свое родное село, когда оно было живо. Нынче одна и другая избы Пулькиных в Нюрговичах сданы на совхозный баланс, глядят незрячими окнами, как бабка Лизавета, и ничегошеньки не видят.

Алексей Андреевич Пулькин, шугозерский лесоруб, когда подымал чарку (прежде бывало), то приговаривал: «Жизнь — сложная математика!» И правда...

Я написал все это, зиму лежало, думал, что дам почитать Василию Андреевичу: я мог ошибиться в чем-то, а он поправит. Уже и пора подступала ехать в Нюрговичи, и Пулькин названивал, звал...

Он умер в апреле. Уже скворцы прилетели — и вдруг лютый холод, метель. Пулькин умер от остановки сердца. Сердце натружено было... Похоронили его на городском кладбище — в лесу, над Невой, в сухой песчаной могиле, неподалеку от братской могилы погибших при броске через Неву в сорок третьем году...

Алексей Андреевич Пулькин сказал так: «Мы как

пришли, это место увидели — и все. Оно как будто Васю и ждало, для него приготовлено...»

На поминках жена Василия Андреевича Галина Ивановна говорила о том, как много Вася работал, каждый день с восьми и до позднего вечера. По десять страниц в день на машинке, такую себе норму установил. Говорил: «Шесть книг начато, надо их кончить...» Когда ему операцию сделали, утром я к нему зашла, он говорит: «Теперь все страшное позади, будем жить». Тут сердце у него и остановилось.

ГАГАРЬЕ ОЗЕРО

Под вечер мы с Валерием Топковым затопили русскую печку (Валера затапливал, я сочувствовал: вдвоем и костра не зажжешь, свечу не запалишь, с огнем работают в одиночку). Русская печка, кроме прямого своего назначения и многих побочных достоинств, описанных в деревенской прозе, может еще послужить и камином для мужчин, коротающих ночь в забытой людьми и богом лесной деревушке.

Утром к нам заглянул рыбак Иван Егорович Тякляшев, пригласил на Гагарье озеро, где его рабочее место (новоладожский рыболовецкий колхоз имени Калинина держит штатных рыбаков на многих озерах Вепсовской возвышенности). Он каждое утро идет на берег, вычерпывает воду из очень старой, ветхой, латаной-перелатаной плоскодонной лодки, садится в нее; вместе с хозяином в лодку запрыгивает пес Серый — карельская лайка.

Иван Егорович вначале осматривает поставленные в ночь жерлицы, затем переплывает северо-восточную горловину Капшозера, идет круто в гору... Но это я забегаю вперед. Вначале рыбак перевез меня, потом художника... В поставленные им снасти попало три окуня... Описанные в романе Пулькина «Глубокие воды Корбьярви» рыбные времена, когда в здешних водах ловились лососи, судаки, пудовые щуки, навсегда ушли...

Гагарье озеро являет собою полную неожиданность, сюрприз, чудо природы: лезешь от Капшозера в крутогор, ждешь увидеть что угодно, только не это... Не веришь своим глазам... Сразу за перевалом в сосновом бору плещет в берег немыслимой синевы озеро, изогну-

тое лунообразно, с островами-горушками, заросшими высокими осинами, березами, вербами, черемухами, с дальними, высоко поднятыми берегами. У озера стоит капитальный дом с окошками на три стороны, с печкой и плитой...

— Как сюда приехал в первый раз председатель колхоза Суханов, — сообщил нам рыбак Тякляшев, — поглядел и говорит: «Все. Выйду на пенсию (кажется, уже вышел), здесь дом построю и буду жить. Лучшего места не видел». Это Суханов-то не видел... У него под рукой не только Ладога, но и вся Свирь с притоками — Пашой, Оятью — до самого Онежского озера; вся Вепсовская возвышенность с мириадами озер — наша северная Швейцария (эту местность еще зовут Чухарией, вепсов — чухарями); Волхов до Ильменя. Ему есть из чего выбирать.

С того визита председателя колхоза или с другой даты началась на Гагарьем озере великая стройка; явились экскаватор, бульдозер. Иван Тякляшев говорит, что экскаватор дошел сюда из Харагеничей своим ходом (а как еще?), тут и закончил свое существование: шастать обратно не хватило моторесурсу. Исток некогда вытекавшей из Гагарьего озера речки Кáлои одет в бетон. Речка Кáлоя впадала в Геную; Гагарье озеро соединялось естественным путем с Капшозером, образуя единую систему, необходимую для жизни озер.

Речки Кáлои больше не существует; ее спрямили, углубили в канал, отсыпав по берегам два вала грунта. Уровень воды в канале (и соответственно в Гагарьем озере) регулируется заглушкой в плотине. Приспособление это поражает своей примитивностью: в бетонных стенках плотины сделаны пазы, в них вставляются доски (или вынимаются). Операцию эту проделывает штатный рыбак Иван Тякляшев: вытащит багром одну доску из перемычки, вода на водосбросе забурлит сильнее — перепад уровней в озере и канале довольно велик — вытащит все доски, Гагарье озеро выльется из чаши в канал...

Когда стоишь на плотине над бурлящей водой, держишь в руках багор, то невольно захватывает дух от сознания всемогущества тебя, человека: засадил багор в древесину, дернул — и озера как не бывало. А ведь его создала природа еще в ледниковый период (то есть несколько позднее, когда ледник сползал по по-

кати Земли, оставлял по себе морены: возвышенности и пади с водой)...

Как раз шла на нерест плотва, из Капшозера по Генуе, в речку Кáлою... Речки нет, по каналу... Стая рыб упиралась в заглушку в плотине; ни одной не удавалось допрыгнуть до верхнего бьефа, до Гагарьего озера (а были попытки), где надлежало разгрузить трюмы от икры, дать жизнь потомству, а населению окрестных сел возможность порыбачить. Бывало, вепсы саливали плотву в бочках; на всю зиму подспорье к столу; на сковородку — и с луком, с картошкой.

А каково котам без плотвы? Коты — первые рыбоеды. Все в жизни взаимосвязано, а как запрудят реку, порвется цепочка...

Капшозерская плотва шла на нерест в Гагарье озеро тысячелетним своим путем, утыкалась в перемычку, кишела в бетонном колодце, выскакивала из воды, взблескивала чешуей, опадала и гибла, переворачивалась кверху пузом. Что-то жуткое было в метаниях, в агонии непрестанно прибывающего рыбьего стада...

Являлись рыбаки (нештатные) из Корбеничей, Харогеничей, Шугозера, Тихвина, даже из Ленинграда, черпали плотву из котла кто чем. Штатный рыбак никому не чинил запрета. Плотва — рыба «сорная», такой ей вынесли приговор ученые люди...

У Ивана Тякляшева вообще-то беспокойная должность (сам он мужик спокойный, ясный, как ламбушка на болоте); рыбаки валом валят отовсюду на Гагарье озеро; на нем все, как в сказке: дом в лесу, с постелями и постельными принадлежностями, с дровами, спичками, солью, черным перцем и лаврушкой для ухи — дело рук Ивана Егоровича, по-вепски, в духе лесного братства. За рыбой идти десять шагов; взял сачок, иди и черпай. Ну разве не сказка?

Запирать дом на замок — без проку. Когда был Суханов, распорядился: «Не запирать! А то напакостят или сожгут». И не запирают; каждый находит в доме на Гагарьем озере приют и тепло, в любое время года и суток.

В озеро собирались что-то запустить, не то ладожского лосося, не то пелядь. Когда запустят, приживется ли, как ловить, то неизвестно даже рыбаку Тякляшеву, хотя он вроде бы как хозяин Гагарьего озера. Годы прошли с тех пор, как начали запруживать речку Кáлою, —

и ничего... Зимой Иван Егорович ловил мережами окуня, щуку, налима — изрядно поймал, а сдать некому, вывезти не на чем...

Вот такая история приключилась у нас, на Вепсовской возвышенности.

ВОЛНУХИ, ЛИСИЧКИ...

Погрохатывает, погромыхивает гром. Иван Егорович Тякляшев принес с гряды картошек и луку, как говорят в вепсских селеньях, «луковой травы». Просто так принес. Я его пригласил к столу, он отказался: «Не хочу. Чаю напился дак...»

И молоньи блистают... Ползают грозы над Нюрговичами, шепчутся туманы, порскают, брызжут, льют как из ведра «дожжи». «Дожжи пойдут, дак и грибы будут, — сказал Михаил Яковлевич Цветков. — Хотя у нас и всегда грибы до спаса, а после разве волнухи».

Волнухи — розовые, румяные, кровь с молоком (молоко у истинных волнушек высокой жирности, со сливкой), с узорным ободком на шляпке, с вуалеткой. Волнухи растут на угорьях в траве, в зарослях зверобоя, большими семействами. За волнухами ходят с берестяными кошельми, насаливают на зиму не одну кадку. К столу подают мелко нарезанными, зажаренными с луком, сметаной. И к волнухам — разваристую, рассыпчатую, белую здешнюю картошку. Волнухи с картошкой — главная зимняя еда.

Грибы идут, то есть ты идешь, и лес тебе дарит то маслят, то обабков, то подосиновиков, а то и царь-гриб белый; беловатый — в траве, в хвощах, папоротниках, в ельниках, а в беломошном бору — боровик, с темно-коричневой, как горбушка круглого хлеба, головой. Я не знаю большей радости от подарка, чем эта: найти в бору боровик.

Ну, а лисички... Лисичек полно. Они как веснушки на физиономии леса.

К лисичкам отношение не одинаковое. Полковник в отставке, живущий на Берегу, не только откупивший дом в вепсском селении, но и отстроивший его, возделавший сад-огород, оклемавшийся после инфаркта в вепсских лесах, сказал мне при встрече: «Лисичек я не беру». Сказал таким тоном, каким говорят: «С нищих

не берем». Или еще: «На мелочи не размениваемся».

Лисички мало походят на грибы: это — цветы леса. Их желтизна, переходящая в оранжевость, предельно насыщена по колеру. Все грибы в лесу скрытны, укромны, наделены способностью мимикрии; лисички рекламно-декоративны.

Хотя... Когда посыпется наземь березовый лист, лисички окажутся в масть. Но лист на березах зелен, крепок (на днях я парился в бане Михаила Яковлевича Цветкова, связал два березовых веника — хватило мне, зятю Юре, дочке Анюте, внуку Ванюше).

Анюта, как главное лицо по кухарной части в нашей маленькой семейной нюрговичской республике, почитает лисички деликатесом: они с мужем Юрой и маленьким тогда Ванечкой жили в Финляндии, в Турку; Юра монтировал электронику на судах, построенных финской фирмой для нас; и там... Да, там у Анюты и у Юры был случай (и не один) удостовериться в том, что финны предпочитают лисички иным дарам леса. Белых они не едят, подосиновики с подберезовиками оставляют нетронутыми в своих лесных массивах, в рощах и парках. А вот лисички... О! Лисички подаются даже на приемах, зажаренные дочерна с луком (рыжие лисички быстро чернеют) на постном масле. Жареные лисички служат гарниром к блинам.

КОСТЕР У КРЫЛЬЦА

Сегодня утром я шел по зеленой, сочной, шелковой, поднявшейся до колен отаве (первый укос — на конной косилке — совершил Григорий Михайлович Мошников, о нем еще расскажу). Обошел Генозеро, лучше сказать, Генозерко. Тамошний леший — лесовичок — покружил меня: то вздрючивал на увалы, то загонял в мокрые чапыжные пади, то выводил на морошковые болота, то на брусничные мшары, то заставлял чавкать по травяным заберегам. И за все одарил меня единственным квелым белым — альбиносом. Потом уже, на исходе, высунул из замшелой дорожной колеи темно-бурую головенку новорожденный боровичок!

Придя домой, немножко поплавал в Капшозере. Разжег костер у крыльца (к тому дню, когда пишутся эти строки, дочка с зятем и внуком уехали в город)...

Это впервые в моей жизни — костер у крыльца. Русскую печку я растопил утром, загрузил ее непилеными дровами. За день печь вобрала в себя столько тепла, что хватило до следующей топки. И она вытянула в свой дымоход стоялый избяной воздух. В избе стало легко дышать, тепло жить.

На костре у крыльца я сварил себе супу из пакета, добавил в суп грибов — подосиновиков. Пришел Михаил Яковлевич Цветков, сказал, что ходил до реки, смотрел кротовки. Он посмотрел на котел с пакетным супом и с грибами, подал совет: «Когда грибы утонут, можно есть». Так приходит жизненный опыт. Однажды на берегу Онежского озера на костре варилась уха. Рыбак сказал: «Взять рыбу за плавник, если оторвется, значит, уха готова». В другом месте я слышал: «Глаз у рыбы побелеет, можно уху хлебать». И это тоже мой жизненный опыт.

Но я не смог дожждаться того момента, когда утонут грибы. Схлебал суп с непотонувшими грибами. И с луковой травой.

ЛУКОВА ТРАВА

«Лукова трава» — это непременно для вепса ежедневная летняя еда. На Вепсчине не подают к столу петрушку, тем более киндзу или шпинат; здесь едят «лукову траву». Помню, в мой первый приезд в Нюрговичи меня угостили сестра Василия Андреевича Пулькина Мария, его мать, бабушка Лизавета, луковой травой (и Васю угостили и сами откушали). Собственно, другим и угощать было нечем; «лукова трава» со сметаной — полезное блюдо, богатое витаминами. В городе от зеленого лука бывает изжога, в желудке жжение, во рту вонь. В Нюрговичах луковая трава хорошо усваивается организмом, ее побочные воздействия нейтрализуются молоком коровьим. Покуда есть молоко.

БЛАГО

29-го августа выдался самый погожий день из прожитых мною над озером. Шпарило солнце, не кусали комары, вдоль оград за околицей выказывали черные голов-

ки боровики. Все были заняты своим делом: шефы переворачивали сгнившее в дожди сено на пожне, метал зароды. Вепсские зароды такие же, как на Белом море в русских селеньях; северные зароды, очевидно, более стойкие перед дождепадом, ветродувом, снегове-ем, другими нашими пакостями. Вепсский зарод навева-ют на жердяную основу, нанизывают на остожье, по-лучается островерхий, двускатный, вытянутый в длину, многосуставчатый вроде как шатер. Еще вепсский зарод походит на ребристую животину, оголодавшего одра.

Иван Тякляшев с маленькой Машей трясли скошен-ную вчера отаву — для Рима. Как помним, Рима была коровой Цветковых, теперь она Тякляшевых. Маленькая Маша доводится племянницей Михаилу Яковлевичу. Иван Егорович — племянником Федору Ивановичу То-рякову.

Весь день я маялся от жары, бил мух в избе, варил на костре картошку, ел ее с ивасями в томате и луковой травой.

Назавтра погода вернулась та, какой надлежит быть на Вепсчине: тучевая навесь, ветрило, холодный дожди-ло. Вчерашняя жаркая погода была тут не с руки.

Утром рубил изгородь на дрова, утыканную гвоздями. Огляделся окрест себя, увидел синее озеро в зеленых берегах, нагорья, леса, подумал: вот мое благо! Чего мне хотелось всю жизнь — избяного, ольхового, чапыжного, сыроежного блага.

МАСЛЯТА

Маслята появляются в траве у тропинок, это — прирученные, одомашненные грибы. Маслята аппетит-ны, масляны, упакованы в промасленную пленку. Они являются на свет семействами; в семьях помногу малы-шей. Маслят любят черви; дурного гриба черви не трогают. Ядреный, как репа, боровик червям не по зубам.

Маслята — лягушата, оно так, но маслят приятно брать в руки, в отличие от лягушат. И у маслят чистей-шего желтого бархата подбивка с исподу шляпки; шляп-ка нежно-матового, бежевого, с сиреневой поволокой цвета, покрыта сверху прозрачным лаком.

МОХОВИКИ

Однажды наступает день появления моховиков. Моховики — это грибы военного образца, все в одинаковых желто-защитных френчах, поджарые, аскетического склада, похожие на китайцев. Моховики — последние грибы сезона, предвещают мозглую позднюю осень. Моховиков черви почти не едят.

СЫРОЕЖКИ

Сыроежки — радость, праздник нашего леса, флажки расцвечивания: красные (да какие!), желтые, палевые, белые, голубоватые. В сыроежках, как в чашах, хранится роса, вода дождевая; к сыроежкам приходят на водопой жуки, муравьи, мыши лесные, белки, ежи, прилетают синицы, клесты и дятлы.

Сыроежки стоят (и растут) до заморозков; замерзнув, становятся ломки и звонки, как льдинки.

Сыроеги, сжаренные в сметане, сохраняют свою белизну, хрустят на зубах. Засоленные — с чесноком, укропом, смородиновым листом — не уступят волнухам, даже и рыжикам, и груздям.

Давние люди, давшие имя грибу — сыроега (ласкательно — сыроежка), поедали его сырьем (трудно было с высеканием огня) и не маялись животами.

В некоторых местностях сыроежку зовут горянкой; надо думать, растет она там на горушках, там гористый рельеф.

У нас сыроежка растет — и цветет — на мокром болоте, в низине, в сухом бору, под елью, осиной, березой, в траве и папоротниках.

Высунув головенку из тьмы на свет, сыроежный побег похож на бутон алой розы; трогательно тонок, бел его черенок.

Когда снимаешь с сыроежки красный ее сарафан (сыроежку жарят в раздетом виде), будто гладишь любимую по щеке.

Сыроеги цветут, как косынки на сенокосе. Сыроеги благоухают. Запах нашего леса — грибной, сыроежный. Сорвите алую сыроежку, пригубите влаги из чаши, вдохните ее аромат...

Если вы не найдете в лесу ни белых, ни красных, ни

обабков, ни маслят, ни лисичек, вас выручат сыроежки, попрыгают к вам в корзину... Ночью приснятся — у каждой свое лицо.

МОШНИКОВ

Каждый человек в Нюрговичах на виду, как говорится, самоценен. Или еще, как пишут критики-литературоведы, самодостаточен. А как ему быть иначе, нюрговичскому мужику? Надо быть самодостаточным: никто его не заменит, никто плеча не подставит, ни с кем его не спутаешь, сам по себе.

Таков Григорий Михайлович Мошников. Само собою понятно, что фамилия его произросла из недр здешней лесной действительности. Мошниками-глухарями богаты, живы, славны вепсские леса. Была еще когда-то близ Нюрговичей деревня Мошников Угор... Так вот, и Григорий Михайлович (односельчане приголубят его и Гришкой, не дорого возьмут), исконный природный вепс, шестидесяти трех лет от роду, с малость запавшим ртом, выставившимся вперед острым подбородком, с редкими металлическими зубами, изрядно сжеванными, не говоря уж о собственных...

Григорий Мошников двоюродный брат Василия Пулькина, это мне запомнилось издавна, с тех пор как мы жили с Василием Андреевичем в избе его сестры Марии — вон в той изобке, поставленной на баланс Пашозерским совхозом, — ей, избе, от этого самого баланса ни жарко, ни холодно... Григорий Мошников и зашел тогда к нам в избу, влекомый надеждой или, вернее, жаждой — не духовного свойства, однако ужесточенной томлением духа... И он тогда поведал мне и своему двоюродному брату две притчи, может быть, тут же, лихорадочно работающим сознанием и рожденные.

Первая притча состояла в том, что он, Григорий, благополучно закончив свой день, отошел в объятия Морфея (объятия жены, Веры Федоровны, почивавшей тут же рядом, отошли в область преданий старины глубокой). И вот... «зажундел кумар». Не только «зажундел», но и цопнул Григория Мошникова, тощего, малокровного, тогда как рядом находилась полнотелая его подруга... Все перевернулось внутри Григорьева существа от этой несправедливости. «Кумар цопнул» не того,

кого надлежало «цопнуть». Это была последняя капля в чаше терпения; в Григории всколыхнулся целый рой других несправедливостей, пережитых им на долгой стезе супружеской маеты...

Григорий Михайлович изложил эту только что пришедшую ему на ум притчу-бывальщину с завидной экспрессией, размахивая руками. И тотчас перешел к другой, более отстоявшейся во времени и раздумьях.

В войну Мошников воевал в парашютно-десантных войсках, прошел невредимым изрядную часть войны, побывал под Сталинградом. Однажды, прыгнувши с парашютом на голову врагу, он не сумел раскрыть парашюта: не так его уложили или запутались стропы... Десантник брякнулся оземь, однако вскочил в горячах, остался живехонек, исполнил свой воинский долг.

Но что-то в нем встряхнулось тогда, сместилось, осталось отбитым... Эта встряхнутость, смешанность, отбитость с годами нет-нет и напоминала о себе ветерану. Мошников собрался не сразу, сборы его растянулись на годы и десятилетия. Но однажды собрался-таки, приехал в город, отыскал то медицинское учреждение, которое могло засвидетельствовать полученное им на войне повреждение организма. (Григорий мечтал о звании инвалида Отечественной войны, дающем немалые льготы.)

Учреждение не могло так сразу принять не записавшегося заранее просителя, освидетельствовать его и выдать справку. Ветерану назначили время, до которого предстояло дожить — в непривычной ему обстановке: на каждом углу продавали пиво, не говоря о другом. Нюрговичский житель, в прошлом десантник, употребил ничем не занятый срок без пользы, во вред себе (деньги были им взяты с собой, небольшие, но были). «Я пива выпил две кружки, — рассказывал нам Григорий, — пришел к ним, они посмотрели, говорят: «Успокойтесь, тогда приходите». А мне чо успокаиваться? Я и так был спокойный: у меня трояк оставленный дак... До Тихвина на поезде доехать. В Тихвине у меня племянник...»

Так и остался Григорий Михайлович Мошников неосвидетельствованным, без справки. На этом закончилась притча, едва ли ей будет другое продолжение: до Нюрговичей, ой, далеко!

В этот раз (спустя три года с нашего первого знакомства) Григорий Михайлович сыскал нас сразу в на-

шей избе. Хотя все вышло как бы само собой... После выяснилось, накануне был спас, Мошникова несло с Берега (он живет на Берегу) в Гору неведомой силой — к Мишке Цветкову (так он сказал: «К Мишке») в надежде, то есть даже не в надежде, в уверенности, что у Мишки найдется плеснуть на затухающие, жалобно скулящие угольки.

Григорий Михайлович прошел мимо нашей избы, дымя, искря махоркой, завернутой в пол-листа тихвинской районной газеты (значит, в Корбеничах в магазине кончились сигареты «Стрела»: их курит вся Нюрговичская республика); заглянул в окошко, что-то смекнул, приостановился, вошел, напомнил о нашем знакомстве. И тотчас придумал довольно-таки хитроумный — по его разумению — ход. «Я твои книги читал, — сказал мне Гришка с Берега, сидя в моей избе на Горе, — там у тебя выпивают... некоторые. Я у Васьки Пулькина спросил: «А чегой-то у его выпивают?» А Васька говорит: «Он и сам любитель». Не знаю, так ли, нет ли, мне Васька Пулькин сказывал. Он мне двоюродный брат».

Василий Андреевич Пулькин впоследствии заверял меня, что такого разговора у него с двоюродным братом Гришкой Мошниковым не было и быть не могло, так как он в глаза не видел своего кузена с тех пор как... Ну да, с тех самых пор.

Я заверил Василия Андреевича, читателя моих книг, что если кто-нибудь у меня выпивает, то автор этого не одобряет. Если бы я одобрял, то меня бы поправил редактор.

Объяснять такие вещи Григорию Михайловичу было без проку. Он гнул свою линию, пер в дамки, прижимал меня в угол...

Я налил Мошникову, он выпил, закусил огурцом. Посидел еще, побалакал о том о сем. Пошел домой восвояси, сказал на прощанье такие слова:

— Раз вы меня приняли так — тебя-то, старика, я знаю, ладно — а и дочка твоя, и зять, и внучек Ванюшка, за стол меня усадили по-доброму, я вам за это — три литра молока бесплатно. На Берегу мой четвертый дом с краю. Придешь, три литра молока хозяйка нальет. Если еще захотите брать, то уж за деньги, с хозяйкой договаривайтесь. А три литра бесплатно за то, что вы меня по-доброму приняли, угостили.

Вот так из зла вырастает добро...

Наутро я чапал с Горы на Берег хлябями несусветными, грязью особо гадкой, тракторами, тракторными санями выдавленной, размазанной. Немного не доходя Берега, расположился лагерь геологической партии, такой же, как где-нибудь на Ямале: с двумя балками, с буровой установкой, вездеходом, кострищем, грудями консервных банок и всякой дряни, с бочками из-под горючки, мазутными лужами, плакатами по технике безопасности и повышению качества, со спящими в балках, хотя солнце взошло, добрыми молодцами...

У Григория Махайловича все так и вышло, как обещано было: налито три литра молока, парного, «шибко скусного». С молоком сразу стало нам жить веселей — и мне, старому, и молодым, и маленькому Ване.

Григорий Михайлович пошел посмотреть лошадей. Шел он ходко, размахивая руками, громко говорил мне о том, что в семье у них было девятеро ребят, его братьев и сестер, отец с матерью, и еще садилась к столу бабушка, батина мать. Всего получалось двенадцать ртов. Каждому по одной картошине — это что же? А по одной мало, клади по две, а то и по три. Чуть не полпуда съедали зараз.

А теперь, как выразился Григорий Михайлович, надо «перевозить свою тушу» в Пашозеро, в «каменную тюрьму» — это уже выражение Михаила Яковлевича Цветкова: «каменная тюрьма», о пашозерской квартире.

— Я ходил в сельсовет, — жаловался Григорий Михайлович, — говорю, что я не живу, газом не пользуюсь, а плачú... Мне там, в Пашозере, комната выделена, и ключ у меня, а не живем. Они мне говорят, ключ выдан, значит, плати; живешь — не живешь, это нам без разницы. А жить не будешь, отымем. А как не будешь жить? Здесь же она, Нюрка-то, приедет в магазин, ладно раз в месяц, а в магазин же надо каждый день: одно, другое. Васька Вихров в Корбеничи ездит на лошади, его попросишь, раз привезет, а потом и неловко. Идти далеко, дорога худая, трактором разбитая, тоже не пойдешь. А здесь у меня и корова, и лошадь — и ладно; изба ишо стоит покуда и эва пес Шарик, всякой хворобы. Муки, слава богу, запасено, жить можно. А надо съезжать. Для чего? Мне хворобы не жалко и дома не жалко ни грамма... Мне жалко вот этих лесов, полей, озер, речек. С детства к этому ко всему привыкши,

душа приросла. Вон за волнухами утром сбегал на Сарку, принес корзину...

Два сытых чалых коня паслись у дороги. Григорий Михайлович Мошников погнал их в тот самый нюрговичский скотный двор — не зря строили, все же пригодился.

С нами был мой внук Ваня. Я, как подобает попечительному деду, в смысле доброго воздействия на внука, привлек внимание Вани к лошадам: мне показалось, что городской мальчик должен проникнуться скрытым где-то во глубине его нивелированного городом существа, непосредственным детским интересом к лошадкам, как ко всему живому, позабытому. Ваня ответил мне с великолепной интонацией превосходства над дедом: «Подумаешь, лошадки...» Мне нечем было крыть, я ощутил свою ветхозаветность перед будущим жителем XXI века.

Когда мы впервые пошли по грибы — в огромные, нехоженные вепсские корби, — и не набрали столько, сколько нам хотелось (грибы еще не пошли), Ваня сказал, с услышанной от кого-то усталостью многознания: «Грибницу вытоптали». Я ему возразил: «Некому вытоптать, разве что муравьи...» Ваня усомнился: «Разве муравьи могут вытоптать? Они же легкие». Я заметил, что ежели легкому муравью тысячекратно пробежать по одной и той же тропке... Вон какие они возводят муравейники-терема... Ваня задумался, на ум ему пала задачка. Но ненадолго. Что-то его отвлекло. Маленькая Ванина жизнь не научила его задаваться вопросами, так много услышано им ответов. Нет грибов, значит, вытоптали грибницу...

С хозяйкой Григория Мошникова Верой Федоровной мы условились: я беру молоко через день. «Сколько стоит?» Вышла заминка. Чего не умеют вепсы, так это торговать. «Мы не знаем. Не продавали дак... Коровы не было, у Вихрова брали, по тридцать копеек...»

Григорий Михайлович управился с лошадьми. За рекою Саркой его дожидалась конная косилка, довольно-таки массивная машина со «штуцером» (зять Юра, технократ, сказал: «Вот штуцер»). Косилку дед Мошников накрыл содранной с березы берестой — от дождя, то есть укрыл самое сердце машины — штуцер. (Однажды мы с Василием Андреевичем Пулькиным наловили окуней в Генуе, сварили уху, а ложки забыли. Он мигом надрал бересты, соорудил отличные ложки — маленькие туеса с рябиновыми черенками — они у меня дома на

стенке висят — загляденье. Вепсы — великие умельцы рукодельничать по бересте).

Дед Гриша Мошников, как только явило себя солнышко над вепскими лесами, водами, некошенными луговинами, рано утречком натоптал следов от Берега до речки Сарки: сам в седле на чалом жеребце, следом чалая кобыла, да все на рысях, с переходом-перескоком в галоп, с гиканьем, матерком, с дымом, искрами, газетно-махорочной вонью, ёканьем лошажьих селезенки, с пустобрехим лаем Шарика.

Шарик по виду лайка, а пустобрех. Дед Гриша целый день тарахтит косилкой по нескошенным вовремя, сохлым, с одеревеневшими остьями кипрея луговинам, угорьям; Шарик брешет. Я иду в лес и слышу: Гришка благим матом орет на коней — так-то ему веселее, а Шарик заливается. Я подумал, на белку. А то и на медведя...

Миша Цветков с Ваней Тякляшевым косили отаву на нашем берегу (первый укос уже в зародах); отава шелковая, валки от литовки рясные, живые, дышат; зароды бокастые, как зубры в Беловежской пуще... Я спросил у мужиков, чего лает Шарик. Оба в один голос ответили: «А пустобрех». Я им поверил, а надо бы приглядеться к Шарiku...

ЛЫСКО, ТОСЬКА, ТИМКА И ФАНТИК

Собачий мир в Нюрговичах достоин отдельного описания, как и повсюду. Именно мир, ибо каждая собачья индивидуальность поглощается домом, в котором собака живет. Свой песий характер она проявляет на миру, в песьем сообществе.

Так вот, начнем по порядку, то есть с крайнего дома, с цветковского Лыско. Это пес бело-серо-бурой масти, дворняга с примесью лаичьей породы. Каких-либо признаков благородства, изящества, свойственных лайке, у него нет в помине. Нет и внутренних, сдерживающих против какой-либо шкгоды, защелок, он пес вороватый и шалавый.

Кормит ли чем-нибудь своего Лыско Михаил Цветков, не знаю. Вообще-то вепсы собак не кормят, предоставляя

им полную свободу добывать корм в корбях. Возможно, некормление со стороны людей снимает с псов обязанность нешкоды по отношению к людям. Лыско закоренелый шкодник, ворюга — на стороне; у себя дома — ни-ни, тут с него взыскивается по всей строгости. Михаил Цветков — сторонник крайних мер пресечения.

Бывало, Лыско наведывался ко мне в избу, я давал ему хлеба, колбасы, он их быстро съедал. Я говорил ему: «Все. Пошел вон». Уходя, он одаривал меня взглядом, полным обиды и угрозы. Устанавливал наблюдение за моей избой, норовил проникнуть в нее без хозяина. Но поживиться там было нечем, запасов я не держал, жил на подножном корму.

В этот раз (в августе 1985 года) Лыско не явился с визитом, вынашивал план тотального разбоя — и исполнил его. Я был в лесу, Анюта с Юрой и Ваней ушли на озеро, оставив открытой дверь: про Лыско они не знали. Лыско тотчас проник в избу, в сваленных на кухонном столе продуктах выбрал сыр, сожрал его куском (700 г). Анюта, явившись к шапочному разбору, успела вынуть из Лыскиной пасти огрызок сыру. При подсчете убытков оказалось, что пес не только насытился сыром, но и заглотил целый кулек овсяного печенья, пачку печенья «Привет Октябрю».

Наказания Лыско не получил никакого, только укоры молодой женщины. Однако и это его обозлило. Лыско отлично понимал нашу чуждость его родному селу, неприкаянность, несерьезность нашего прозябания в избе Галины Денисовны Кукушкиной (я купил у нее избу, она съехала в Шугозеро), нашу потусторонность — с той стороны озера, где Лыско не бывал. Исконный нюрговичский пес нас презирал как пришлых...

Когда заходишь в избу Цветковых, Лыско принимается ляскать зубами, норовя хватить тебя за руку. И не знаешь, как отнестись к этому лясканью, то ли пес играет с тобой как с гостем, то ли оттяпает у тебя палец — зубы у него волчьи.

Однажды я повстречался с Лыско бог знает где, километрах в шести от деревни, за Саркой; он несся по нойдальской дороге, то есть по дороге из Нюрговичей в деревню Нойдалу, которой нет — мертвая деревня. Умерло и большое красивое село Долгозеро... Михаил Яковлевич Цветков рассказывал: «Которые идут — туристы — окна выбьют, костер на полу разожгут; а ухо-

дять будут, еще на стол нагадят, чтобы, значит, осквернить...»

...Лыско мчался в паре с Сободем — лайкой Василия Егоровича Вихрова. Собаки мчались так дружно и целесообразно, что на бегу Лыско только клацкнул на меня зубами, даже не гукнул, а Сободе и не заметил меня.

Так я увидел сцену из жизни собачьего мира Нюрговичской республики. Лыско с Сободем совершали обег своего леса. Возможно, весь лес у них поделен на беги, как у лесников на обходы. Псы питаются от леса — не от человеческого мира (сыр, печенье «Привет Октябрю» — это слону дробина). Они ловят зайцев (ранним летом зайчат), дают яйца в гнездах глухарей, рябчиков, уток (тетеревов извели под корень), поедают птенцов, гоняются по озерам за хлопунцами (на пару им это сподручней).

Собачий мир в Нюрговичской республике невелик по численности (как и крестьянский мир), но весьма разнообразен. В доме у Федора Ивановича Торякова — о! — там ячейка собачьей жизни, целое трио, достойное отдельной поэмы...

Хозяин этого дома, как мы помним, немногословен, скромен. Пригласит «на бесёду», сидишь у него за столом, закусываешь налимом, поджаренным на постном масле, гоняешь чай, уминаешь испеченные Татьяной Максимовной в печи калитки...

На полу предаются собачьим радостям три махонькие псинки. Они знают, что в этой избе их не обижают, не обделят куском, — и радуются.

Центром, главным членом собачьей семейки стал нынче Фантик — единственный в своем роде уникум собачьего мира — больше такого нигде не встретишь, не узришь...

Он необычайно, как кот сибирской породы, пушист. У него огромные, с поволокой, несобачьи (а чьи же?) глаза. Да он еще и не собака — щенок-кутенок. У него кривые, короткие, толстые лапы.

Фантик родился от Тоськи. Тоська — маленькая, выродившаяся лаечка-дворяжка.

Папа Фантика — Тимка — пес особенной, ни на что не похожей судьбы. Тимка — болонка. Я не знаю, что забросило, занесло его, жителя диванных подушек, принадлежность старых столичных дам, комнатную живую игрушку, в вепские корби... Тимка по-болоночьи весь

покрыт прядками белых кудряшек. Его маленькие, веселые, озорные глаза выглядывают из путаницы волос, как зайчата из травы. Тимка — бродяжка. В своих походах по Вепсовской возвышенности он перемазывается, вываливается в грязи, становится как половая тряпка. Никто не моет его, не подстригает, не причесывает. Тимка отмывается в росистой траве; непричесанность, свалянность шерсти ему привычны, как рыбе чешуя.

И вот у Тоськи родился от Тимки Фантик (были ли у Фантика братья-сестры, не знаю, не спрашивал, не важно). Появление на свет сыночка не понравилось Тимке, отцовские чувства не пробудились в нем, напротив, пробудились воспоминания о какой-то другой его жизни, в большом (по сравнению с Горой-Сельгой) селе Корбеничи. Однажды он прыгнул в лодку, идущую в Корбеничи...

Лодка шла вот по какому случаю: везли в больницу в Шугозеро Татьяну Максимовну Торякову, страдающую астмой.

За весла сели две медички, специально для препровождения больной в больницу прибывшие из Шугозера. Федор Иванович взял кормовое весло, не столько править (и править), сколько давать лодке ход. После он хвастался, то есть делился со мною опытом, чтобы взбодрить меня на плавание в Корбеничи, в магазин: «За час тридцать доплыли». (Сам я еще ни разу не выгреб из двух часов.)

В Корбеничах Тимка быстро сыскал то место, где раньше жил, наладил прежние связи (или завел новые) с корбеничским песьим миром. К посадке в лодку он не вернулся (Татьяну Максимовну посадили в машину). Федор Иванович вздынулся к себе на Гору один, без Тимки — ну, что ты будешь делать. Дома его с восторгом встретили Тоська с Фантиком.

Когда я впервые увидел прибавку в собачьем населении избы Торяковых, Фантик всю сосал Тоську, чмокал, сладко урчал. Потом, я видел, он схрупал сырых, принесенных с озера, окушков, подкрепился вареными моховиками, картошкой, бараньим мясом, полакал из блюда коровьего молока (все от той же Римы). Он был толстый, бокастый, будто надутый изнутри, веселый, но опасливый, как его мама Тоська: за добрых людей почитал деда Федю, приехавшую (в отсутствие хозяйки) хозяйкину крестницу Ольгу, работающую в Ленинграде на

ткацкой фабрике, а других опасался. Хотелось, хотелось ему поиграть и со мною, но боязно, боязно...

Однажды явился из Корбеничей Тимка. Он прошел десять километров развоженной тракторами дорогой, сам извозился в грязи, как чушка, превратился в шма-ток грязи. Глазенки его глядели сквозь черную грязь и шерсть весело, вызывающе-задорно: а вот и я! Он ластился к Тоське, видно было, любит, соскучился. На Фантика порывивал, никаких нежностей, заигрываний с его стороны не принимал.

Тимку на радостях помыли в корыте. Он блаженствовал: ткнется сплюснутым, черным, холодным носом тебе в ладонь, ждет, чтобы ты запустил пальцы в космы на его болоночной мордочке, почесывал бы, поглаживал. Это он очень любил.

Что взбредет на ум Тимке, нельзя предсказать. Вдруг сорвется и покатится ежом по деревенской улице, на пастбище — вон туда к холмам, к костру-дымокуру, возле которого благодушествует корова Рима, нетель Сашки Тякляшева, Иванова брата, остальные нюрговичские барашки. Пасет их Маленькая Маша.

А пса рыбака Ивана Тякляшева, красивую умную лайку Серого, увели архаровцы, ночевавшие на Гагарьем озере, в доме, обихоженном Иваном.

Забегая вперед, скажу и о печальном исходе, постигшем верного пса Михаила Цветкова Лыско. Осенью 1986 года егеря охотничьего заказника (угодья вокруг Капшозера охотничьи — промышляют пушнину, сдают по плану) поставили капканы на бобра в бобровых урочищах; в один из них угодил Лыско. Попытался переплыть заводь с капканом на лапе, запутался в траве и испустил дух.

Хозяин искал любимого пса трое суток. Нашел, принес, похоронил в ограде у дома. Пойдет на могилку, покурит, поплачет. Помянет собаку добрым словом: «Лыско был у меня профессор во всех делах». И правда, профессор. Помянет и егерей, без злобы, а с горьким недоумением: «Я же их спрашивал, где будут ставить капканы, а они...» Злое дело против наших меньших братьев оборачивается злом против нас.

Михаил Яковлевич привез из Шугозера кормившегося там на помойках бесхозного пса рыже-черной масти, высокорослого, мосластого, довольно-таки страховидного, назвал его почему-то Мухтаром. Первое, что учи-

нил новый четвероногий друг, это цапнул деда Мишу за руку — крепкими, острыми зубами. Пришлось старику тащиться в Шугозеро, принимать уколы от бешенства.

Дед Миша оглядывает Мухтара с надеждой и сомнением, приговаривает: «Не знаю, что из него выйдет, пока что Мухтар печальный...»

Вот такие собачьи дела в Нюрговичах.

МЕДВЕДИ И МУРАВЬИ

Муравейники живут долго, поставлены на чистые песчаные основания — подушки, муравьями же отсыпанные. Но наступает срок (как всему на свете), муравейники, подобно стогам сена, истлевают, обрастают мохом, покрываются коростой от бытовых муравьиных отходов (у муравьев — есть же быт). И что же? Жить в задубневших катакомбах с подгнившей внутренней полостью мурашам не светит. Надо искать новое место, заново отсыпать песчаный фундамент. Мураши не боятся работы, ищут, строят. Но редко, редко они бросают свои старые станы — муравейные городища.

Я видел множество муравейников, обросших моховым панцирем и разрытых медвежьими лапами. Тут же на руинах (как у нас на месте поставленного на капитальный ремонт, разобранного дома) начинается строительство нового дома-муравейника. Почерневшие, побуревшие хвоины — стройматериалы, отслужившие свой век — раскидал медведь; муравьи уже натаскали желтые хвоины, пропахшие смолой; в кратере разваленного муравейника вырастает конус нового строения.

Приходит мысль, что у муравьев с медведями есть долгосрочный, собственно, вечный договор-обязательство: вы нам разроете устаревший муравейник, а мы вам... наши мурашиные яички — пожалуйста! лижите! лакомьтесь! Мы производим их не только в расчете на продолжение рода и вида, но и в оплату ваших строительных (разрушительных) работ. Это — наша валюта.

СЕЙ ГОД

С черникой сей год скудно: весна запоздала, заморозками прихватило в цвету. Малина подошла на две недели позже, чем обычно, зарядили «дожди», «дожджами» ее обсыпало. Брусника кое-где краснеет — для рябчиков с глухарями. Рябины сей год в вепсских корбях «нетути». А бывало, пойдешь на Сарку порыбачить, на том ее берегу рябины рясно; берег высок да крутенок; рябины отразятся в темной воде омута — такая красота, хоть плачь, хоть пляши. Клюква просыпалась на болоте — местами, словно кто шел с дырявой кошелкой, по яголке ронял. Морошка, говорят, была — и вся вышла, опять к ней не поспел. Морошка подобна майскому снегу: выпадет, полежит до первого солнцегрева; была и сплыла.

А вот грибы сей год подождали меня. Грибами я еще ахинею (такое слово было у моей бабушки, уроженки новгородской деревни Молвотицы: «ахинеть» грибами значило набрать грибов невпроед).

ШЕФЫ

Шефов везут из Ленинграда в Нюрговичи на заводском автобусе. Это километров 350. Понятно, что автобус до Нюрговичей не доходит, только до Харагеничей. Если сухо, до Корбеничей. Оттуда 10 км пешедралом. Впрочем, иногда шефов привозят из Корбеничей в Нюрговичи на тракторных санях. И вот питерский рабочий класс попадает в вепсские корби...

Прежде всего бегут к озеру, нанизывают на крючки червей, закидывают, вылавливают хорошо если пару окушков-плотичек. Стегают воду спиннингами, берется ладно если одна щучка. Бегут по грибы, не зная леса, берут что под руку попадает — сыроежки, лисички, — возвращаются разочарованные: «А нам говорили...» Выходят на покос. Руководит городскими неумеками Александр Тякляшев, тракторист Пашозерского совхоза, брат Ивана. Работают в поле и деревенские бабки.

В обед палят большой костер с краю пожни, варят хлебово, картошку, грибы. Хлеб уже на исходе, кончается курево. Надо идти в Корбеничи, а дорога...

И тут заряжают «дожди»... Сено гниет в рядках и в

кое-как сметанных зародах. На работу не ходят, все больше облениваются, перестают даже бриться. Снаряжают кого-нибудь в Корбеничи в магазин...

Однажды подхватились ехать трое, на лодочке Федора Ивановича (дед в лодке не отказывает никому). Один рождения 1937 года, другой на четыре года постарше, третий помоложе. Двое старшие умели плавать, младший не умел. Озеро глубокое, до берегов далеко...

Отоварились в магазине, взяли семнадцать бутылок водки (это число запомнили в округе, повторяют со значением: семнадцать!). Перед тем как пуститься в обратный путь, хорошо выпили на бережку. Бережки у Капшозера все сплошь приютные, зазывные: так бы и пристал, поблагодуществовал бы на лужку под ракитой, половил бы кайф у костра.

И эти трое поймали свой кайф, увеселились, подняли тонус, сели в лодку... На ходу менялись на веслах. Грести-то долго... Покуда сам не гребешь, захочется и тебе помахать веслами, а как сядешь, скоро соскучишься, потянет тебя в корму поправить, поглазеть по сторонам (или в нос впередсмотрящим). Менялись. Нужной твердости в руках-ногах у всех троих не стало, координация нарушилась. Лодка верткая, о борт лучше не опираться. Кто-то оступися, не удержался... Лодка перевернулась. Двое, умевшие плавать, сразу и утонули, водка их утянула на дно. Помладше, который не умел плавать, уцепился за лодку, держался, кричал. Его услышали в геологическом лагере. Кто-то, молодой парень (его имени не спросили, и лагерь снялся уже), разделся, поплыл, выволок неумевшего плавать пьянчугу на берег.

О происшедшем в то лето на Капшозере говорили на Берегу, на Горе, в Корбеничах, Харагеничах, Пашозере, Шугозере, Тихвине. И теперь еще говорят. Михаил Яковлевич Цветков рассудил так: «Привозят, а магазина нету, о питании не позаботились. Это же им и за хлебом и за всем в Корбеничи — десять километров худой дороги. Питание не могли организовать, зачем же везти. Им сказали: места богатые — рыба, грибы — они и едут, как на курорт. А вон чем кончается — такое горе. И семьи остались...»

Утопленники всплыли на другой день, их отловили, увезли на моторке (специально запустили в Капшозеро

моторку) в Корбеничи, оттуда в Шугозеро в морг — и домой...

Случившаяся трагедия не прервала шефства завода над Пашозерским совхозом; ничто не изменилось в распорядке жизни шефов на берегу Капшозера. Круги разошлись по озеру, вода сомкнулась, успокоилась, потемнела, потяжелела по-осеннему.

Летом вода в Капшозере теплая, мягкая, шелковая.

Дед Григорий Мошников скашивал перестоявшие будылья кипрея, шефы складывали их в зароды...

За лето нюрговичские деды, Федор Иванович, Михаил Яковлевич, Григорий Михайлович, средних лет мужики, Иван Егорович, Александр Егорович Тякляшевы, Василий Егорович Вихров, да еще Маленькая Маша, другие бабы, бабки, накосили, высушили, сложили в путние зароды столько сена, сколько шефам не сложить до морковкиных заговен.

Для чего же такое шефство, а? Для чего переселять нюрговичское народонаселение в Пашозеро? Кто ответит?

Как-то раз я набрал мешок хлеба в корбеничском магазине, спустился к лодке Федора Ивановича, сидел в задумчивости, жевал горячий, прямо из пекарни, хлебушко. Тут подгребли двое, по виду шефы: один долговязый, с круглыми, как у филина, желтоватыми глазами, в спортивных, в обтяжку на мускулистых ногах штанах, в резиновых сапогах с загнутыми на нет голенищами, в курташке без рукавов, в жокейской кепочке с длинным козырьком, с золотым зубом на фасаде, другой мешковатый, квелый, нахохленный, похожий на вымокшую на дожде дворнягу. Попросились до Нюрговичей. Поплыли — тем же путем, что недавно их товарищи по заводу (может быть, и по цеху) — «заводчане» (это дикое словечко почему-то любят наши средства массовой информации, сами его придумали). В той же самой лодочке. И что-то такое витало над нами. Над всем озером витало: озера помнят своих утопленников...

Долговязый сел за весла; маленькие веселки чиркали по воде, не давали гребцу вложить в гребок свою

немалую силенку; все равно что чайной ложкой хлебать уху из большого котла. Я в корме подгребал, придерживал лодку на курсе. Сидящий против меня долговязый со значением посмотрел мне в глаза, выговорил сквозь зубы: «А ты чего тормозишь?» Я ему объяснил, что озеро имеет колена, надо держать лодку на прямом, самом кратчайшем, от берега к берегу, курсе. Заводчанин презрительно плюнул за борт. Было видно, что он меня невзлюбил.

Квельый сидел в носу недвижно, копешкой. За всю дорогу он не вякнул ни звука. Что-то его тяготило.

Время от времени гребущий выкликивал куплеты, устрашающе при этом рыкая: «Пр-рощайте, пр-рокур-рор-р и адвокат! Мы с вами еще встр-ретимся едва ли. Но вам еще задаст вопр-рос мой бр-рат. За что вы нам по ср-року намотали». Обрывал так же резко, как и начинал. Иногда прикидывал в уме: «Так. Еще день отмантулили. На заводе десяточку закрыли. До семнадцатого сентября командировка (было 27 августа) — помантулим».

Мы менялись на веслах, при переходах с места на место приобнимали друг друга и постепенно притерлись: ничто так не сближает людей, даже очень разных, как общая работа, хотя бы на веслах в одной лодке. На берегу (под Горой) мы расстались друзьями. И странно, ни разу больше не повстречались, а жили, как выяснилось, почти по соседству. Что ли, уж шефы все оставшееся время просидели в избе, как запечные тараканы?

НАЛИМ ЛЕЖИТ ПОД КОРЯГОЙ

С дорожкой ходят в лодках по озеру приезжие (и я хожу), местные не ходят. Щука на блесну не берет. Местные объясняют: «Вода теплая». Тем же объясняют и отсутствие интереса к наживке у налима: «Вода теплая, лежит под корягой». Когда были белые ночи, неулов всей рыбы этим и объясняли: «В белую ночь все скрозь видать. Вот когда потемнеет...»

КРОТЫ

Михаил Яковлевич Цветков пока ловит кротов. Пока... Никакой другой охоты пока нет, а он — охотник, по роду, по крови, по темпераменту, по жизненному интересу. Его охота — здесь, в Нюрговичах. Кротоловки ставятся по ту сторону деревни в полях у кротовых ходов и по эту. Дед Миша пойдет посмотреть кротоловки, уйдет, вернется без ног, сидит на крылечке, курит. Принесет одного крота, я видел, у мертвого крота пятипалые лапки с розовыми ладошками, с коготками. Знак смерти на нем такой же, как у любого, прежде живого, существа.

Снятую с крота шкурку дед прибавляет к доске гвоздями, растягивает, сушит. Из шкурки вырезает прямоугольник — товарный выход, на сдачу. Говорит, что редко, редко за шкурку дают полтинник, с кровоподтеком — двадцать пять копеек.

Михаил Яковлевич стесняется своего кротового промысла.

— Я охотник дак... Сдам егерю пятьдесят шкурок, хоть что-то. Тогда уже со мной договор заключат на промысел пушнины.

Промысел — поздней осенью, на всю зиму.

КОТ МУРЗИК

К нам в избу, едва мы надышали в ней первое тепло, явился кот Цветковых Мурзик, обыкновенный серый сельский кот, вскормленный травяными мышами, как пес Лыско лесными (вернее, опушечными) зайцами. Мурзик без церемоний, с аппетитом и благодарностью принялся поедать — впрок — все, чем его угощали: и хлеб, и булку, и вареную картошку, и грибы жареные с луком, и геркулесовую кашу, и суп из овсяных хлопьев (это — позже, когда мы наладили быт). По ночам он спал поочередно на Юре, Анюте, Ване. По вечерам, когда мы зажигали костер у крыльца, садились за ужин, Мурзик демонстрировал нам ловлю мышей. Мыши ловились повсюду, как мухи и комары. Но надо было видеть, какие грациозные, прихотливые прыжки совершает Мурзик в высокорослой траве — в мышиных джунглях.

Кот увлекался охотой-представлением, обедался мы-

шами. Когда мы удили окуней и плотичек в большом озере под нашей избой, Мурзик отрабатывал каждую кинутую ему рыбешку, демонстрировал танцы, с обворожительной хитрой грацией сельского некастрированного кота.

Как только съехали с Горы мои ребята, Мурзик вернулся домой («Я уж думал, волки его задрали», — раскудахтался дед Миша). Со мною Мурзик жить не стал: стариковского, бобыльского житья-бытья ему хватает и с дедом. Кот нуждался не в жареных грибах, не в оладьях (мыши вкуснее) — в чем-то другом, в обществе, многолюдстве семейного дома, в детском щебете.

Скоро и его увезут в пашозерский рай.

ЧУЖИЕ

Однажды по нашему берегу прошли трое: мужчина, женщина, девушка; с ними собака, долго лаявшая на нас, с дурным глазом, что вовсе не принято в Нюрговичской республике — у собак.

После я встретил этих троих с собакой в грибах, в малине, в бруснике, на дороге на Сарозеро. Собака всякий раз зло облаивала меня. Разговор с чужими не завязывался, не клеился. Выражение на лице у мужчины было такое, как у собаки. Женщины выражали полную подчиненность мужу-отцу.

Иван Тякляшев сказал, что мужчина — именно тот, кто проектировал плотину на Гагарьем озере. «У них изба на Берегу купленная, каждое лето приезжают».

ДЫМ

Всякий день ждешь дыма на том берегу, вдруг кто-нибудь к тебе приехал, с коробом гостинцев и новостей (страсть хочется и того и другого). Пусть даже и не к тебе; сам перевоз таит в себе бездну, как говорится, положительных эмоций. Тебе дается шанс поуважать себя: ты — перевозчик! Кто-то там пританцовывает у костра, всматривается в плывущего к нему на выручку лодочника. Мощным гребком ты вгоняешь нос лодки на гальку. Ждущий тебя (дождавшийся) что-ни-

будь говорит, а ты можешь не отвечать, ты при деле. Он залезает в воду сверх всякой нужды и меры, сталкивает лодку на глыбь. Ты разворачиваешь ее и гонишь, чувствуя в руках силу — гнать. Гребешь по-вепски, перекидываешь весло с борта на борт, лодка прет, как гагара, вода шелестит о днище. Гребешь по-нашему, с одного борта, выписываешь по воде синусоиду. Посередине озера вдруг положишь весло, закуришь, хотя не хочешь: перевозчику можно. А вот и берег! Перевезенный выпрыгивает в воду, опять же без всякой на то нужды, втягивает лодку так далеко на сушу, что тебе остается только ступить через борт.

«Спасибо!»

«Не за что...»

Однажды на том берегу какой-то нетерпеливец разложил большой костер, напустил дыму, как дед Миха, когда топил баню по-черному. Да еще и орал благим матом. Я побежал, спеша как пионер на зов горна. Лодка на месте, а весло дед запер в бане: «Всякие ходют». Опять бегом в гору, в избе взял деревянную лопату, на которой хозяйка избы Галина Денисовна Кукушкина сажала хлеба в печь. И покандехал на ту сторону.

Лодка деда Михи легка на ходу, послушлива, устойчива — но в ней есть две дыры: в корме и в днище. В днище дырка невелика: доплывешь до середины озера, ноги в воде по щиколотку; банкой почерпаешь (очень скоро надо черпать) — хватит плавучести до другого берега. Но тут есть одна тонкость: если вода в лодке достигнет критического уровня, лодка сядет настолько, что захлупает большая дыра в корме... Тогда уж... Ну да, вместе с лодкой ты погрузишься, а дальше гляди сам.

Большую дыру дед Миха закладывает камушком с мохом. Я это узнаю уже после того, как погружусь...

И в этот раз тоже: камень выпал из дыры, посередине озера я принялся вычерпывать воду банкой, с интенсивностью поливальной машины, на виду у ждущего меня потустороннего (по ту сторону озера) гостя. Лодка опять же не подвела; так она и задумана и сделана: держаться на воде даже при двух пробоинах.

У костра меня ждал средний сын Михаила Яковлевича Анатолий, проработавший одиннадцать лет токарем на заводе в Тихвине, а теперь — шофером. Как мы помним, один из младших Цветковых возит в Тихвине замести-

теля директора. Дед не нарадуется на него: «То в Калинин едут, то в Минск, то в Москву». Еще один сын был милиционером — и ушел на завод. Эту новость сообщил отцу Анатолий. Отец беспокоился, закудаhtал: «Это ни к чему. За место надо держаться. Перелетать начнешь, к добру не приведет».

Сын сказал, как отрезал, на основе своего, что-то значащего опыта: «Я его понимаю. У него ставка 150 рэ, и больше ни грамма. Как жить? У него двое детей».

Старик покипятился и принял жизнь какова она есть. Ему хотелось иметь сына-милиционера и как хорошо бы в погонах с просветами!..

Но до этого еще далеко, до бесед за столом в избе Цветковых, утратившей тепло, уют домашнего круга, с тех пор как не стало в доме хозяйки. Еще предстояло нам с Толей пересечь акваторию. Да!

Понятно, что Толя взял весло, сел в корму. Я столкнул лодку с берега, поискал удобное — для моей «туши» и для лодки — место... Лодка перевернулась легко, охотно, смачно чавкнув, всплыла в стороне кверху килем.

— Нет уж, Толя, дай я сяду в корму, тише поедem, но так-то вернее, — сказал я гостю, когда мы немножко пришли в себя, отсмеявшись, отхохотав, отхихикав: что может быть смешнее — перевернуться, еще не отплыв.

А тихо-то ехать нельзя: банку — вычерпывать воду — мы потеряли в аварии. Значит, что же? Надо доплыть до того берега, пока лодка сама не погрузится в лоно вод. Весло у нас одно, да и то не весло, а лопатка, хлебы в печь сажать. Пришлось побуровить воду лопаткой. Доплыли...

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ

Лодка Федора Ивановича Торякова на ходу малость рыскает носом.

Мы с внуком сели в корму, Ванька со тщанием занялся дорожкой, блесной, спрашивал, где щучье место. Я подгребал-правил, Юра сидел на веслах, Анюта впереди. Озеро большое, многоколенное. Так мы и шли от мыса к мысу, спрямляли путь, менялись местами.

Что может быть лучше плавания в лодке дружной

семьей по большому красивому озеру? Разве что в Чистые Боры по грибы. Сходим еще и туда...

Плывем в Корбеничи, в магазин за хлебом. То есть я в магазин, а молодые уйдут по Харагинской дороге — домой, так легче идти. В Корбеничах есть паромная переправа через озеро: с берега на берег перекинут трос, к нему прицеплен плот; берись за трос и тяни, ежели хватит силенок. И есть еще лодочный перевоз: большая лодка, такие называют «соминками», их строят в Сомино; большие весла в уключинах-колышках, как на беломорских карбазах.

Я перевез мое святое семейство на харагинскую сторону. Там свистел в милицейский или, лучше сказать, в собачий — собак созывать на охоте — свисток корбеничский мужик с корзиной грибов (корзина укрыта папоротником, что в ней, — не видать). Корбеничские жители отправляются на ту сторону со свистком, перевозчиков вызывают свистом. За перевоз ничего не берется, перевозчик на сельсоветской ставке. Впрочем, в вепсских селах вообще никто ни с кого ничего не берет. Деньги здесь не имеют меновой ценности, на них не выменяешь почти никакой продукт-товар.

На свист явилась баба, села в лодку, принялась сильно грести, поднимая волну. Лицо у вепсской бабы-перевозчицы было ошпаренное солнцем, обветренное, курносое, с блескучими по-озерному глазами.

На взвозе от озера в село Корбеничи стоят два больших, двухэтажных дома — они построены купцами-лесопромышленниками еще до революции. В одном из них школа (ее закрыли — увы!). Село на угоре (на сельге). Центр составляют: сельсовет, почта, магазин, пекарня; тут же изба с большой вывеской: **ОПОРНЫЙ ПУНКТ**. Я пока не знаю, кто тут на что опирается, надо будет узнать. У **ОПОРНОГО ПУНКТА** стоит «джинсовая» девушка, курит, задает вопрос, запрограммированный на любую местность, на все времена: «Скажите, пожалуйста, который час». Я говорю, который час, прохожу мимо **ОПОРНОГО ПУНКТА** и девушки.

Магазин на замке. Собравшиеся у пекарни (пекарня рядом с магазином) бабы объяснили, что продавщицу вызвали в Тихвин на суд. Какой-то ее знакомый попросил у нее вина — в неурочное время, вечером. Она согласилась дать (молодая, недавно работает), пошла в магазин. Ей бы сначала сторожа предупредить, и сошло бы. А она

магазин-то открыла, сигнализация-то сработала, сторож-то испугался, сразу на телефон да в милицию в Тихвин... Вот такая история.

Бабы ждали у пекарни, когда испечется хлеб. Вепсские бабы светлоглазые, с задранными кверху короткими носами, с открытыми ноздрями. Голоса у них не такие певучие, как у русских баб где-нибудь на Пинеге. Выступают поодиночке: которая-нибудь занимает авансцену — крылечко пекарни — и выступает, докладывает о том, как где-то в Харагеничах, Хмелезере, Шугозере, Тихвине кто-то с кем-то собрался, поехал на машине, на мотоцикле и кто-то на кого-то наехал, кто-то кого-то задавил. Говорят по-русски до какого-то им известного пункта и переходят на вепсский, с оглушенными согласными, враскачку, как на лодке по ветреному Капшозеру.

Тут залязгал засов в пекарне. Все вошли в зал, где совершается чудо явления хлеба на свет. Свежеиспеченные — из смеси ржаной муки с пшеничной — буханки благоухали, млели на стеллажах. Весь воздух пекарни проникся хлебной теплотой, можно было ее откусывать и проглатывать, настолько густ хлебный дух. Все выстроились к сидевшей у стола женщине, отдали ей деньги; она считала на счетах, деньги складывала в консервную банку из-под балтийской салаки. Хлеба брали помногу.

Я взял десять буханок: пять Федору Ивановичу, пару Тякляшевым, буханку Михаилу Яковлевичу (он сам печет), пару себе. Хлеб был горяч, как... не с чем сравнить, хлеб в начале всего. Он сохранил тепло до Горы.

ЧИСТЫЕ БОРЫ

Вдруг пошли грибы. Не шли, не шли — и пошли, прямо-таки побежали навстречу. Я ходил, ходил, ходил их встречать. Лугами, яркой, зеленой, как озимая рожь, отавой. У края леса развилка: влево тропа на Сарозеро, вправо дорога на Нойдалу. Есть и еще пути-дорожки из Нюрговичской республики в иные места, но мне пока что хватает этих. По Нойдальской дороге я дохожу до Чистых боров. Боры тут всюду чистые, но те, Дальние, особо чисты, беломошны, просторны, звонки, муравейны, смоляны — Чистые боры.

В начале дороги малинники; сколько бы ни ходил, как далеко бы ни отступало в небытие время спелой малины, какой-нибудь куст поманит тебя красной ягодой. Возьмешь ее в рот, поваляешь, поддержишь под языком, как таблетку нитроглицерина, будто надеясь на что-то... Проглотишь и скажешь себе: глоток лета. И станет лучше, легче идти.

На старой вепсской пожне, заросшей колючими сосенками, зардеет земляничина. И опять-таки, сколько бы ты ни ходил, земляничин запасено для каждой твоей ходки. Еще глоток лета, духмяный, сладостный, земляничный — с горчинкой. И можно идти.

Подымешься в песчаную горку, сядешь на рогатую стволину палой сосны, прислушаешься к себе... можно идти дальше.

В первом бору, тоже чистом, беломошном, пощиплешь брусники. Брусника сей год припоздала, да и мало ее. Но так велики боры на Вепсчине, так чисты, что брусники найдешь, нацедишь по капельке-ягодке. Брусника — русская ягода (и клюква), не боится зимы; под снегом брусничина наливается соком — вином непьяным...

И почернишь губы черникой.

Дорога в Нойдалу, как дорога в райские кущи (в вепсские пущи) — светла, высока, не омрачена ни болотной, ни лесовалом. Идешь по ней и печалуешься: на крепких, с пасынками, столбах провода провисли, упали, заржавели. И столбы похилились. Больно видеть в мирное время, в наше, полное трудов, свершений, движения вдаль и вглубь, всяческого роста время, упавшие линии электричества, связи. Ведь это мы же, моя молодость, студенчество — строили электростанции для вепсских селений...

Переход через Сарку — тут половина пути. Весною через Сарку идешь по кладкам: два березовых ствола и перилы (у бобров мосты без перил). Единственный построенный людьми мосток через Сарку скоро рухнет: никто не подновляет его. Летом Сарку переходишь в сапогах с короткими голенищами. Даже внук Ваня перебредает в своих сапожках.

От реки в гору (Вепсовская возвышенность!) вздынешься и ощутишь: что-то переменялось в пейзаже, в освещении, в колорите и в атмосфере (хочется приписать: в биогеоценозе, в экологическом статус-кво;

до того мы приучены к латинизмам, галлицизмам и т. д. и т. п.). Запахнет диким лесом: медведями, глухарями, рябчиками. Белыми грибами — о! это ни с чем не сравнимый запах. Запахнет Чистыми борами!

Минуешь ведущую вправо, к югу, бывшую лесовозную трассу (по ней дойдешь до речки Генуи). Дальше поворотка влево, затравевший сход вниз... Здесь, у поворотки, однажды я ночевал в весеннюю ночь. Тогда была иная музыка, снег на дороге; и был я тогда здоровехонек, хотя уже и не молод.

Внизу опять малинники, с несъеденной, не стекшей вместе с дождями, может быть, специально к моему приходу (до меня никто не прошел, только Лыско с Сободем) вызревшей из завязи малиной. Лес становится смешанным, с осокой, папоротниками, ельником, костянкой, березами, осинами, рябинами. Очень становится горячо: места грибные!

Тут не удерживаешься на дороге, помаленьку начинаешь рыскать, находишь подосиновик, белый — но это еще пролог, это цветочки, ягоды впереди. И ягоды тоже! Брусника — в Чистых борах!

Дорога идет боковиной гряды холмов. Гряда все выше. Сквозь редкий здесь древостой начинаешь различать как бы снежники — лужайки белого моха, ягеля. Если подняться к гребню холмов, пойти верхами, так, чтобы солнце грело тебе затылок и правое ухо, выйдешь к Сарке, к Сарозеру. Я хаживал и этим путем (то есть без пути, по солнцу)...

От Нюрговичей (от Горы) до этого места, до края Чистых боров, мною намеряно по часам, по шагам — восемь километров. Вепсских — шесть.

У входа в боры на дороге тебя непременно встретит первый здешний боровик, такой красивый, пригожий, крепкий, как буханка ржаного хлеба из печи (ты ему поклонись)... Для тебя одного выросший — в Чистых борах, в Дальних борах! Его шляпка шероховата, влажна... Хочется дописать: «как губы женщины», но это не так. Любовь к грибам совсем иная, чем любовь к губам...

Грибы в Чистых борах все видны с дороги. Белые — придорожные грибы, так я думал и продолжаю думать. Хотя знаю, что и это самообман. В лесу идешь по дороге, по просеке, по тропе — по кем-то до тебя пройденному, тебе завещанному путику. Грибные места

все найдены до тебя. Пока отыщешь свои, не одни сапоги износишь. И поплутаешь! Ладно, если по солнышку выберешься, а в бессолнечный день в вепсских корбях?..

Чистые боры — вот что кажется странным — выросли на месте сплошных рубок. Сохранились хода трелевочных тракторов. Все другое: невывезенная древесина, пни, валежник — подобрало Время. (Или в те годы так чисто рубили; управляющим трестом «Ленлес» был мой отец Александр Иванович Горышин; его помнят Михаил Яковлевич, Анна Ивановна Цветковы, Федор Иванович Торяков, знал Василий Андреевич Пулькин). В Чистых борах почти нет подросту; деревья одновозрастны. Боры сами восстановили себя, так, чтобы каждому дереву было просторно.

В Чистых борах я нагуливаюсь до чувства полета, отрешения от земных тягот. Хотя полная корзина боровиков тянет руку; обратная дорога много длиннее дороги сюда. В однажды найденном месте ложусь на мох, раскидываю члены, голову на березовую чурку, погружаюсь в забытие до тех пор, покуда мне напоминают муравьи, что я являюсь (я являюсь-таки!) предметом оживленного интереса их, мурашей.

Продолжаю путь, нахожу грибы в таких местах, где, кажется, не мог их не найти, идучи этой дорогой утром. Почему гриб то попадает в луч твоего зрения, то выпадает? Почему в не приметном месте ты вдруг оторвешь глаза от стежки-дорожки, как-то испуганно, будто кто тебе дунул в ухо, метнешь взор за обочину, узришь белый гриб — в зените его совершенства, кинешься к нему, расцелуешь, как внука Ваню? Почему? Того нам знать не дано. И не надо!

На последках дороги вижу сквозь заросль озерные плесы, ясноводные заводи, блики солнца на лоне вод — беспредельность, всякий раз поражающую душу первозданность, мощь Большого озера, проникаюсь какой-то его несказанной, высокой, дающей надежду думой.

ОЖЕРЕЛЬЯ

Сколько озер на Вепсовской возвышенности? Едва ли кто сосчитал. Сперва Харагинское озеро... Его видишь с Харагинской горы, идешь вдоль него тракторным воло-

ком (зимой и летом волокут сани) на Долгозеро (деревня Долгозеро умерла); оно то скрывается с глаз, то выставляет себя, отблескивает, струится, темнеет внизу ручейного распада, зыблется сквозь путаницу ольшаника, ивняка. Харагинское озеро какое-то нетроганое или покинутое — сирое. Ни разу не видел лодки на нем, рыбака, костерного дыму (и на других вепсских озерах тоже)...

В том месте, где дорога забирает кверху, в сосняки, под сенью больших деревьев стоит вепсская часовня, полуязыческая, полуправославная (крещеные вепсы так и не порвали с язычеством), оскверненная туристами, но возрождаемая старушками, подметаемая, без икон, но с иконостасом, со свечками. Тут же и кладбище, маленькое, ухоженное. На нем хоронят и ныне преставившихся. Сюда приходят в престольный — в Харагеничах — праздник, в успенье, двадцать шестого августа. Сначала спас в Нюрговичах, потом успенье в Харагеничах (и, кажется, в Корбеничах).

Праздники эти приурочены к началу жатвы. Говорят, старушки сползаются к часовне в бору, неподалеку от Харагинского озера, со всей Вепсчины — на успенье.

Потом еще километра два Чистым бором, с угора на угор, брусничниками, черничниками, грибными местами, и тут тебе Гагарье озеро — жемчужина Вепсовской возвышенности, да и всего нашего Севера... Я загодя волновался от встречи с Гагарьим озером: с весны не бывал, не видал. Я вел на Гагарье Анюту, Юру, Ваню: показать, подарить им это сокровище...

Вот уж последний пригорок, снижение к озеру — и трава, камыши: озерное лоно. А где же вода-то, где озеро? Господи, озера нет... Пропала не копна сена, даже не деревня (можно построить агрогород)... Не стало большого, полноводного, тысячелетия глядевшего ясным оком в небо, кормившего вепсов рыбой Гагарьего озера (куда же деваться гагарам?).

От бывшего озера тухло пахло илом — сапропелем.

Мы обошли вонючую котловину, заглянули в дом рыбаков, не запертый, как всегда, обихоженный Иваном Тякляшевым: полы подметены, постели заправлены, миски вымыты, соль-спички на месте, дровишки сложены у плиты. Для чего? Для кого?

Постояли на плотине: запорные доски вытащены из пазов, кинуты тут же. В русле бывшей реки Кáлои чуть

сочилась вода. Все вместе взятое вселяло в душу какую-то безысходную вселенскую тоску. Убили живую, единственную, никак не воспроизводимую — в веках и тысячелетиях красоту.

Пришла на память недавно прочтенная в «Известиях» статья о том, как где-то в алмазном краю шайка жуликов-казнокрадов приспособилась уворовывать из лотка (или из решета) на обогатительной фабрике драгоценные минералы. Преступники понесли по заслугам.

А мы? Разве ожерелье наших озер в обрамлении холмов и боров — не алмазы, не бриллианты? Не где-нибудь там, в зоне вечной мерзлоты, а в самом сердце России... Кто дозволил их похищать? Кто похититель? Кто судья? И есть ли?..

Я сидел, пригорюнясь, на чурке. Мне нечего было сказать, как если бы пригласил родню на именины, а сажать к столу не к чему. И ребята пригорюнились...

Ладно издали нам сияло, жмурилось Большое озеро, утешило нас — так его много!

— ...Закроем дверцу в плотине, — благодушеествовал Иван Тякляшев, — да дожди пойдут, за три дня озеро набежит... А сапропеля в нем этого: меряли — у берега шесть метров, а дальше девять. Говорят, из него удобрение высший сорт, а в Корбеничи за триста километров удобрения возят...

Федор Иванович Торяков сказал:

— Ничего у их не получится. В Гагарьем озере столько рыбы было всякой. Бывало, наловишь, солнце выставит, начнешь потрошить, солнце сядет, ишо и конца не видать. Моя Татьяна говорит: «Ой, хватит. Куды ее столько?» А они хотят всю извести. Семь лет уж туркаются, а нет ничего. И не будет!

Михаил Яковлевич Цветков высказался, как всегда, дипломатично:

— До конца хотят вытравить местную рыбу, заморить, а новую запустят. Кака будет рыба, не знаю.

Вдруг правда: Иван с Горы (Иван все может!) вставит доски в пазы, «дожди» хлынут (это уж точно!), Гагарье озеро возродится, станет живое, как безнадежно больной человек после переливания ему крови (одной с его группы)? Вот бы дожить!

ГРУСТНО

Так мне бывает грустно... в избе. Хотел написать «в моей избе», но вовремя остановил руку. Что же в ней моего? Это — изба Галины Денисовны Кукушкиной.

Нюрговичские старики зовут ее Галей. Ее изба против избы Пулькиных; к бабушке Лизавете мы ходили с Василием Андреевичем есть «лукову траву» со сметаной (жили в другой пулькинской избе). Здесь же на лавочке под рябиной совершилась купля-продажа. То есть никакой купли, никакой продажи не было: соответствующие органы не оформляли сделки. Изба продавалась горожанину только в том случае, если он сдаст городскую площадь, выпишется там, пропишется здесь. Само собою понятно, что на это никто не шел. Однако шли... обходными путями. Почему это так? Тут одна из странностей в жизни современного сельского жителя-домовладельца, в правовом отношении, возможно, берущая начала в тех временах, когда колхознику не выдавался на руки паспорт. Продолжает действовать принцип: ни нам, ни вам. Принцип без смысла, его и обходят. Оставляемые крестьянами дома все равно покупаются горожанами — кто как сумеет. Или же дома бросают на произвол судьбы, что вовсе несправедливо, убыточно для всех. Почему?..

На лавочке у избы Пулькиных я отдал Галине Денисовне назначенную сумму за дом, получил расписку в получении оной. И стал я... Нет, не хозяином... Хозяйствует в купленной им на Берегу избе ленинградский полковник в отставке, обзавелся лодкой, возделывает приусадебный участок — любо-дорого поглядеть. Я стал арендатором, что ли... Пожизненным дачником в избе Галины Денисовны Кукушкиной.

Хозяйка уехала в Шугозеро к больной старой матери, за которой нужен уход. На Горе Галина Денисовна жила одна: ее взрослые сыновья ушли из деревни. Взять к себе мать она не могла: в Нюрговичах не заработать на жизнь, нет работы. Галине Денисовне очень нужны были деньги, хотя бы какие. Все ее состояние — родительская изба.

Василий Андреевич Пулькин рассказал мне историю Гали Кукушкиной. Отец у нее был справный мужик, добрый хозяин. В семье, как в других вепсских семьях, много детей. Денис Кукушкин работал в колхозе, по

веснам на лесосплаве. Он строил дом, нуждался в лесе, однажды приплавил к своему берегу — из кошеля — пару бревен. Был замечен, наказан: получил, по закону того времени, немаленький срок.

Лес тонул, обсыхал на косах, на излучинах, в заторах, его потаскивали жители прибрежных сел. Одним это дело сходило с рук, другие расплачивались.

Дениса Кукушкина посадили. Вскоре началась война. Было известие, что Кукушкин отправлен на фронт — и ни письма, ни похоронки. Сгинул мужик.

Жили без хозяина в доме. Галины братья и сестры, чуть став на ноги, уходили искать себе доли в другие края. Галя осталась в Нюрговичах: статная, красивая, работающая девушка успевала и в колхозе, и в лесу, и на сплаве, и по дому. Ей сыскался жених, тоже природный крестьянин, пошли дети, тут бы им и пожить... Но немилостивая к Гале судьба распорядилась иначе: муж заболел и помер нестарым...

Галина Кукушкина выдала мне расписку в том, что... Ну да, в том самом. После я заезжал к ней в Шугозеро насчет страховки, платы за электричество, которые остаются за нею... Она работает в больнице на кухне. В ее внешности запечатлелись судьба, характер, бывшая женская красота: высокая, статная, с крупными чертами лица, с суровостью в чертах и мягкостью, грустью во взгляде широко поставленных серых глаз, с высоким лбом, красиво очерченными полными губами, с по-мужски широкими плечами, тяжело свисающими, тяжелыми, огрубелыми руками.

И так мне грустно бывает в избе Галины Денисовны Кукушкиной... Изба присела на один угол (надо менять сгнившие нижние венцы), отваливается вбок со стоном дверь на одной петле; картинки из «Огонька» на стенах, письма сыновей на божнице, в сенях беспалые грабли, сломанные косы, рогатые навивальники, ухваты, чугуны, бочки, удочки — следы неизбывной нужды вдовьей жизни, горький запах дома без хозяина, угасшего очага...

Приходит такое чувство, будто стал наследником чьей-то судьбы — и нет в душе силы наследовать. Грустно!

ХАРАГИНСКАЯ ГОРА

Живешь, живешь, вживаешься, применяешься, втяги-
ваешься, обвыкаешь — и все лучше тебе: утром проде-
решь глазыньки (сплю на сене, накошенном Иваном
Тякляшевым, на нарах, построенных в моей избе
Михаилом Цветковым, в собственном моем спальном
мешке, как и я, немалого возраста), притащишь в избу
два бревна (выломаешь из стены хлева), поместишь
их в чело печи, нарубишь мелочи на растопку, прине-
сешь ведро воды с озера, похлопаешь мух — для раз-
гона крови, попьешь молока и еще после чаю, пе-
ревернешь на печи с вечера сушащиеся грибы — и в
леса.

Кажется, так бы и жил век свой. Принесешь беремя
грибов, бултыхнешься в озеро, зажигаешь костер у
крыльца, выкуриваешь одну сигарету «Стрела» (с куре-
вом совсем плохо стало, в Корбеничи бежать никому
неохота)...

И в это время дед Михаил Цветков, как всегда,
деловитый, обеспокоенный, настроенный на выполнение
какой-то своей задачи, является, сообщает, что хозяйка
его призывает на новое место жительства (звонила
по телефону), в Пашозеро: там он нужен — картош-
ку копать, обои клеить. Слова жены, Анны Иванов-
ны, — закон для нюрговичского зимогора. Может стать-
ся, побег его из-под хозяйкиной руки на Гору —
увы! — последний...

Михаил Яковлевич сообщает, что едет: сейчас в
лодку — и к вечернему шугозерскому автобусу. Значит,
что же? Лодку он спрячет на том берегу, я останусь
на этом безлодочном... Какая-то тревога вдруг пронзает
мое сердце. И жалко покинуть, оставить, расстаться с
огромностью, свежестью, кротостью этого мира. Какой-
то вопрос запечатлен на лице Большого озера, на про-
хладном синем небе, на окоеме лесов. О чем-то
спрашивает меня этот незаселенный покинутый мир.
Я не могу дать ответа. Мне надо уйти, как ушли
отсюда многие, многие люди...

В меня вселяется торопливость, чуть не паника.
Вон катится вниз по зеленому крутосклону, как леший-
лесовичок, Михаил Яковлевич, с горы к озеру, к лод-
ке. И я бегу к Тякляшевым, несу им кринку из-
под молока, разрушаю столешницу у крыльца. Запи-

раю избу на замок. Это знак-символ, в избу можно войти через хлев, там дверца на защелке.

Садимся в лодку с дедом Михой. У каждого по веслу. Ветер нагуливает волну на озере, шипит пена на гребешках. Искрит сигарета у деда во рту. Гребем, как оглашенные, как на финише гонки, иначе потонем: в лодке две дыры.

На берегу глядим на часы, до автобуса два с половиной часа, впереди шесть вепсских километров тропы, два болота.

— Я тихонько пойду дак... — извиняется дед Миха. — В твои годы за час добежал.

И я не собираюсь ставить рекордов. Небось доползем.

Дед Миха подхватился — и вон уж он где, на самой верхотуре. Сейчас уйдет в лес, только его и видели. Вот, скрылся, сам ростом с пенек. Я иду медленно, долго, с натугой, будто кто держит меня за мешок, не отпускает, шепчет на ухо: «Пошто пришел в наши корби, пошто уходишь?» Сколько пройдено этой тропой, и всякий раз она мучает беспросветной долготой, унылостью. Идешь — читаешь много раз читанные грязи, хляби, завалы, темные ельники, поганки, мухоморы, волглые сыроежки.

А вон и Харагинская гора! Сколько до автобуса? Мало, мало! На подъеме в гору, против всех правил, после всех здесь прошедших людей и дождей, находишь красную малинину, отдаешь ей минутку, запоминаешь: такая на вкус эта местность, эта осень...

На горе стоит автобус, вокруг него похаживает молодой шофер в курташке, в джинсах, посматривает на часы. Он из этого мира, а я из того, заозерного, из Нюрговичской республики (там даже шефы дичают, перестают бриться)... Смотрю на парня, как баран на новые ворота. И он на меня.

Под навесом на лавке сидит Михаил Яковлевич Цветков, перематывает портянки. Мы радостно кидаемся чуть не в объятия друг другу.

— А я иду, думаю: где Глеб-то Александрович? Покричал, не отвечает. Грибами поинтересовался или еще что...

Дед Миха присочиняет, но ладно. Пора садиться в автобус.

Что было там, за лесами и долами, быстро забывается,

истаивает, как сновиденье. Было ли? Будет ли еще?

Приеду домой, примусь рассказывать моим домашним, а им неинтересно. Да и рассказывать нечего: никакого сюжета. Жила-была деревенька и перестала жить-быть. Только и всего. «Ну и что, не страшно?» — спросят. «Да нет, ничего».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вместо эпилога что можно поставить в заключение повести о нашей жизни, текущей в неведомую даль и глубь? Очевидно, пролог — к еще ненаписанным частям и главам...

13 мая 1986 года я приехал-пришел в Нюрговичи, поднялся на Гору-Сельгу, оказался в зачарованном месте над Большим озером... Входить в свою избу после целой зимы (и большей части осени) — все равно что вдруг явиться к женщине, которая тебя любила когда-то и ты ее любил — через годы, предъявить права на нее, не зная, что случилось с нею, какова фаза ее души... Впрочем, изба терпеливее женского сердца... Только замок не откроется с первого раза...

В зиму не обошлось без потерь. Лопнуло пластиковое ведро, в нем я оставил воду, ведро раскололо льдом. На донце ведерка осталась домашняя мышка, уснувшая вечным сном. Мышка запрыгнула в ведро с бочки, вылезти не смогла (тогда ведро еще не лопнуло). То-то намучилась, бедняжка.

В окно между рамами залетела синица. Снаружи стекло раскололо порывом ветра, синица впорхнула в щель, спасаясь от лютой стужи, надеясь чего-нибудь поклевать. Но дом был пустой — и деревня пустая. На ветру позвякивали стекла. Синица не смогла выбраться из стеклянной ловушки, уснула на вате, положенной Галиной Денисовной Кукушкиной для тепла. Простерла крылышки, уронила головку...

Поздней осенью налетел ураган. Вывалил ели, сосны, проложил просеки в березняках, оставил по себе кладбища березовых крестов, белых, воздетых к небу рук... Ветер сорвал с крыши моей избы рубероидные заплаты. До «дожжей» в избе сухо, как зарядят «дожжи», так изба заплачет, прольются ее горячие слезы на мою бедовую головушку (и на тулово и на ноги).

Леса голы. В небе трепыхаются жаворонки, в самом поднебесье. Высоко проносятся гулы, чертят белые полосы самолеты.

В лесу видел куст волчьего лыка, в бело-розовом цветке. Не подошел, не налюбовался, полагая, что волчьего лыка много, как ивовых пуховок. Однако больше не встретил — один куст волчьего лыка на всю Нюрговичскую республику.

Утром переехали с Иваном Тякляшевым на ту сторону. Я отпустил Ивана вперед, сам приотстал. Вздыхнул в гору, прошел тракторной колеёй... Навстречу мне зазывно запереливалось немыслимой синевой, полнехонько воды Гагарье озеро. Озеро стало такое, как прошлой весной: то же Гагарье озеро с новой водой.

В деревне Белая Горка под Лугой у меня есть знакомый мужик Николай Горячев. Теперь он состарился, как и я, а были когда-то мы с ним помоложе (он старше меня годков на пять). Николая Горячева сильно ранило в партизанах в войну, он так и остался колченогим. Его тогда спасла кровь, перелитая ему от другого партизана. В годы нашей с ним молодости, помню, он становился по праздникам или с получки (Николай занимался крестьянским трудом) несколько буен, неуправляем. Жена его Настасья говорила, что в детстве и отрочестве (они из одной деревни) Коля был смиренный, тише воды ниже травы, до перелития ему чужой крови. Как перелили, Коля стал другим человеком: в нем взбрыкивает чужая кровь. Сам Николай охотно принял такое объяснение своей неуправляемости в отдельных случаях: что лишнее натворит, то списывал на чужую кровь...

Вот и Гагарье озеро: стало таким, как было, только с чужою талой водой. Как изменился его характер? Поживем — увидим...

По бывшей речке Кáлое, как и в прошлом году, шла на нерест плотва... Иван Тякляшев сказал, что в озере растворили тонну пищевой хлорки (он сказал «хрорки»), как растворяют ее в городской системе водоснабжения (только в другой «плепорции»). Отравители озера полагали, что хлор отшибет у плотвы привычку хаживать в Гагарье озеро на нерест. Однако плотва все шла и шла...

Мы с Иваном нажарили сковороду плотвы (я чистил, Иван плиту растоплял, жарил). Зачерпнули воды из хло-

рированного Гагарьего озера, попили чаю с «хrolкой» — и хоть бы что.

Кажется, скоро в Гагарье озеро — хлорка к той поре уйдет в Большое озеро и другие водоемы Вепсовской возвышенности — запустят какую-то распрекрасную рыбу. Нам с нюрговичскими стариками ее не есть, она предназначена племени младому незнакомому...

Как видите, вместо эпилога я пишу пролог к будущему.

Держится вёдро, стоит немыслимая тишина... Особенно она осязаема на Берегу... Пришел на Берег, первое, что увидел, — забитые досками окна на избе Мошниковых. И Шарик не повилял мне хвостом... Забегая вперед (или возвращаясь назад), хочу заверить моих читателей (тех, кто прочел эти записи сначала), что переезд Григория Мошникова в Пашозеро сказался на нем самым благотворным образом. Михаил Яковлевич Цветков заверил меня, что «рожа у Гришки» стала такой, какой никогда не бывала прежде: сытой и красной. Григорий Михайлович Мошников со всей неизрасходованной страстью включился в общую работу: на пилораме, на строительстве Дома культуры — настилает полы. Именно этого не хватало Григорию Мошникову — потребности в нем как в искусном работнике. Стоило это ему обрести, и «рожа» его покраснела от удовольствия.

Чтобы закончить новеллу (можно счесть ее и за сагу) о Григории Мошникове, надо добавить к сказанному, что корову они с женой Верой Федоровной перевезли на новое место жительства; молоко у них и в Пашозере свое. И коровник перевезли и будку Шарика... Все стали «пашозерами»...

Да, так вот... Пришел я на Берег, на Бережок майским днем и оказался в центре сельской площади, что ли. Избы здесь строены в кружок. Пришли на бережок, сели в кружок...

Берег — самая дружная из виденных мною деревень: в ней вечная посиделка, как вепсы говорят, бесёда...

В доме у Федора Ивановича Торякова все, как было. Только Фантика отдали в Озровичи, Тимку в Харагеничи. Тоська одна построжела, ушки поставила топориком, встретила меня сторожевым лаем — хозяйка в доме.

Я сбегал в Озровичи... То есть сперва на лодке Федора Ивановича в Корбеничи, дальше вокруг Алексеевского озера пригорком — и к Николаю Николаевичу Доркичеву — бригадиру рыбаков на озерах Вепсчины. Задал ему тот вопрос, ради которого и бежал: надо ли запруживать, отравлять, обрыблять ожерелья озер? Разумно ли это? Перспективно ли? Есть ли в этом дальний и ближний расчет? И наконец: не портим ли мы то, что само по себе совершенно?

То есть я задал ответственному лицу тот самый вопрос, которым задавался, войдя в круг забот о настоящем и будущем Вепсчины.

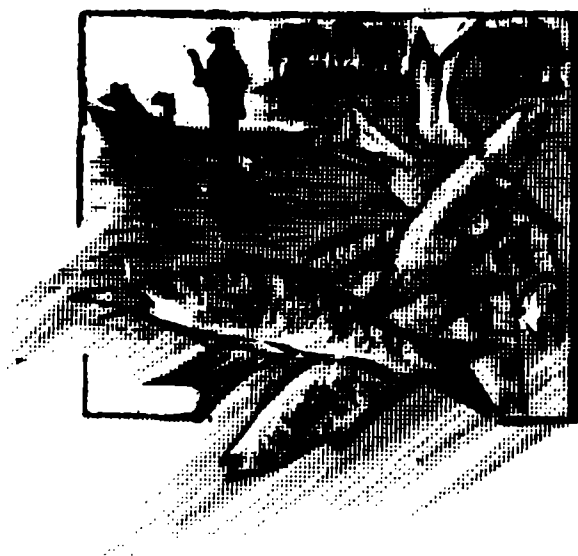
Николай Николаевич Доркичев ответил примерно так: «Все здешние водоемы весьма перспективны для ведения рыбного хозяйства. Конечно, все наши начинания пока что держатся на инициативе Суханова, это его идея снимать рыбный урожай со всех малых водоемов от Ладоги до Онеги. Этой идее есть оппозиция, даже в самом колхозе имени Калинина. Некоторые считают, что ничего не надо, пусть будет так, как есть... Действия наши пока разрозненны и порой кустарны: нет финансовой и технической базы, главное, нет дорог, не хватает силенок их построить. И все же я уверен, что в рыбном хозяйстве в какой-то степени будущее нашего края. Люди работают, что-то делается, в Усть-Капше мы строим дома, там будет рыбозаводный завод, в наше озеро, — он показал в окно на Алексеевское озеро, — мы запустили мальков пеляди, на будущий год попробуем отловить... Людям что надо? Место работы. Не знаю, какие планы у Пашозерского совхоза в отношении здешних земель — пока что у нас с ним одни конфликты из-за участков под строительство... Рыбное хозяйство в наших озерах надо всячески развивать, вода здесь отличная, лосось приходит на нерест, вон в Сарке форель живет...»

Доркичев коренной здешний вепс, глаза у него озерной голубизны, виски белехоньки, а так мужик крепкий. Я выслушал озерного бригадира и поверил ему. Не в то поверил, что «хролка» в Гагарьем озере, замор плотвы в речке Кáлое, «обрыбление», наконец — так уж сплошное благо, а в то, что дело доверено честному, думающему, деятельному, здесь родившемуся и выросшему человеку (они с Васей Пулькиным в одной школе учились). Я знаю Доркичева с первого моего приезда сюда, ночевал

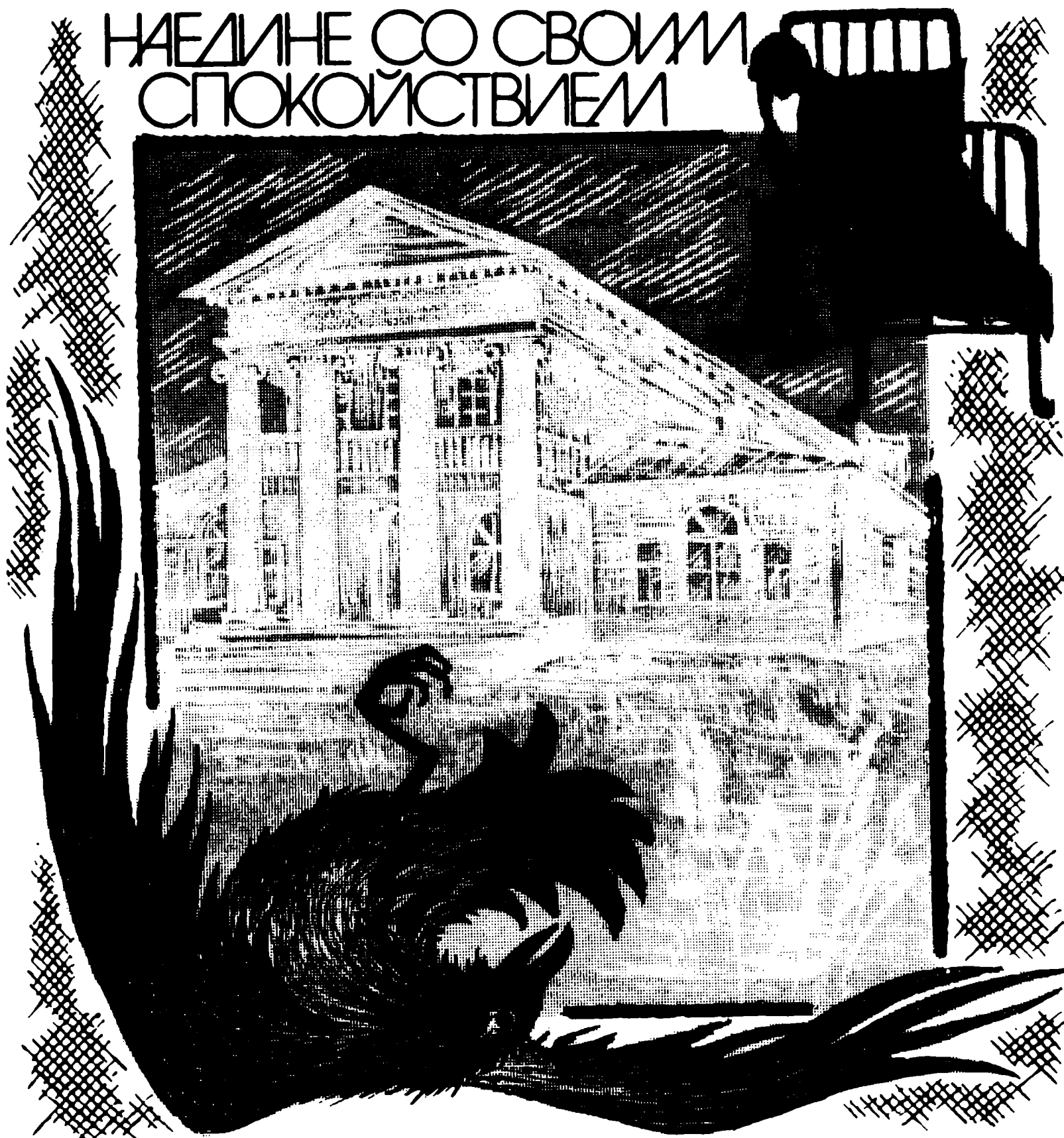
в его доме, когда добирался в Нюрговичи через Алеховщину, Хмелезеро... После беседы с главным здешним рыбоводом взгляд на вещи приобретает... ну, что ли, степенность, угол зрения — широту. Уверенность бригадира в правоте своего дела успокаивает.

В Тихвине зашел к председателю райисполкома, спросил у него про Вепсчину, что будет с ней дальше? Ну хорошо, озера обрыбляют. А как людьми землю заселять? Или так и оставить медведям? На лице председателя можно было прочесть: «Спросил бы ты у меня, приятель, о чем-нибудь попроще». «В обозримом будущем, — ответил мне председатель исполкома Тихвинского районного Совета народных депутатов, — никаких радикальных перемен на вепсских землях не предвидится: строить дороги нам не по силам. — Понимая неудовлетворительность такого ответа в устах главы района, он подумал, заглянул за пределы обозримого и добавил: — В перспективе предполагается... создать в каждом районе многоотраслевой хозяйственно-экономический комплекс, с вовлечением в хозрасчет всех продуктивных факторов: и земля, и водоемы, и леса, и заготовки, и производство, и реализация — все включить в оборот. Вот тогда...»

В наше время полезней заглядывать за пределы обозримого... Там, за пределами, открывается взору божественно красивая... — хочется по привычке сказать, — «как Швейцария»... Но в Швейцарии я не бывал, я хожу по России... Чем богата Россия, так это непуганой красотой. Проложат дороги на Вепсовскую возвышенность, займется-завяжется здесь всевозможная жизнь — и увеличится потребление красоты на душу населения. Если не спугнем красоту...



НАЕДИНЕ СО СВОИМ СПОКОЙСТВИЕМ



Коля заболел эрозийным гастродуоденитом. Болезнь распространенная в наши дни. С каждым может случиться. Как объяснили Коле в больнице, эта болезнь чисто нервного происхождения.

По возрасту и служебному положению Коле давно пора было стать Николаем Антоновичем, но что-то такое во внешности и характере, самой природой заложенное раз навсегда, обрекло его быть в глазах окружающих вечным Колей. Так все звали его, и Коля не обижался. Обращение к себе по имени и отчеству воспринимал настороженно.

Фамилия Колина редко встречается, хотя многие ее помнят: она такая же, как у известного писателя, живущего в Сибири. Один случай, связанный со своей фамилией, Коля любил вспоминать и рассказывать. Однажды приехав в командировку в Сибирь, в то самое место, где проживает его знаменитый однофамилец (он тогда еще не был так знаменит, как сейчас), прямо-таки к нему пришел и представился. Тот сперва удивился редкому совпадению фамилий, чуть позже, поговорив с неожиданным посетителем, даже и обрадовался. Коля провел с писателем целый день. Правда, не выпивали, а так, разговаривали...

Николай Антонович работает замредактора трехразовой, четырехполосной, районной газеты «Заря», в отдаленном от областного центра рабочем поселке городского типа Стружаны. Он чуть ниже среднего роста, крепенький мужичок широкой кости, облившийся малость жирком; как люди его роста, держится очень прямо, носит ботинки с высокими каблуками, большую круглую голову несколько откидывает назад. Нос у него имеет форму хорошей, не перележавшей в земле, живой, розовой, среднескороспелой стружанской картофелины, глаза тоже круглые, по плоске, слегка выпученные, такого цвета, как вода в реке Заболоти, на которой стоят Стружаны, — торфяного. Когда стали редеть волосы у Коли на голове (волосы редют от двух причин, это Коля знал: от чужих подушек и от ума; в отношении себя он держался второй версии), он мазал нарождающуюся лысину по деревенскому рецепту репчатым луком и костным мозгом, но скоро бросил, поняв невозможность вернуть то, что ушло. Оставшиеся волосы Коля зачесывал так, как в известные времена призывали сеять кукурузу, — перекрестным способом. Волосы у него на висках после причесывания стелются от ушей, заходя мызочками на щеки; сверху, вперекрест, на них начесывается то, что осталось округ лысинки. Каждой пряди дается свое направление, все вместе образует единственный, неповторимый узор...

Колина жизнь, в должности замредактора «Зари» на ставке двести рублей, при двух учащихся детях и при жене — бухгалтере леспромхоза (оклад сто шестьдесят рэ), из той же деревни родом, что сам хозяин, текла, в общем, тихо и ровно. Стоило ему решиться (на семейном совете решили), и был он направлен в боль-

ницу, в город, с вполне терпимыми болями справа внизу живота; такие симптомы болезни могли открыть в себе многие, практически здоровые люди, если бы прислушивались, особенно после застолья по какому-либо случаю. Уже в больнице едва угадываемая, необязательная, но вполне сносная, как теща, Колина болезнь получила мудреное название: эрозийный гастродуоденит.

Обосновавшись в палате, разложив на тумбочке вырезанный из журнала, склеенный, переплетенный, зачитанный до дыр роман Булгакова «Мастер и Маргарита», Коля вышел на лестницу покурить и тотчас встретился с земляками: заведующим общим отделом райкома — заядлым рыбаком, начальником народного контроля — с ним вместе хаживали по грибы, и управляющим строительным трестом, молодым, никак пока что не проявившим себя, приехавшим откуда-то. Поговорили о самом ближнем, вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем. У одного брали желудочный сок и что-то не получилось, другому дали касторки — и зря, у третьего ничего не брали и ничего ему не давали, что тоже, видимо, не просто. Коле пока что хвастать было нечем. Затронули тему курения: надо бы бросить курить. Хорошо покурили и разошлись.

На другой день лечащий Колин врач направил его к физиотерапевту. Внимательно читая номера кабинетов, Коля остановился перед дверью без номера, с надписью «Врач». Стукнулся в дверь, из-за нее ответили: «Подождите». Коля стал ждать. Подходили другие больные, спрашивали: «Кто последний к физиотерапевту?» Коля с готовностью включался в общий разговор о диадинамике и электрофорезе...

Врачом оказался мужчина, сухощавый, под пятьдесят, в очках, с рыжевато-седоватой изреженной травкой волос на темени. Он пригласил Колю садиться, спросил фамилию, имя и отчество. Поискал в стопке на столе Колину историю болезни и не нашел. Позвонил куда-то, попросил принести историю болезни Николая Антоновича...

— Сколько вам лет? — спросил доктор.

Он смотрел в глаза Коле острым, пронизывающим,

сфокусированным очками, но в то же время и каким-то человеческим, заинтересованным, приветливым взором. Непишущих, глядящих в глаза больному докторов Коля в жизни своей не встречал. Он не раз задавался вопросом, для чего изводят столько бумаги, ну вот, например, доктора, а книгу однофамильца не купишь.

— Мне сорок, — ответил Коля.

Историю болезни не несли, писать было не на чем.

— Где вы работаете?

Коля сказал, что работает замредактора районной газеты.

Доктор все более проникался интересом к больному.

— Какие-нибудь жалобы на нервную систему есть?

— Да нет вроде... — Коля вообще не любил жаловаться. — Радикулит меня скручивает, бывает.

— Это не по моей части, — сказал доктор.

Такой ответ немножко удивил Колю. Ему еще предстояло узнать, что физиотерапевт принимает в другом кабинете, а здесь психотерапевт. И те больные, что становились за Колей в очередь к физиотерапевту, потом посмеются над ним: «Это ты чуть не завел нас к психу».

Историю болезни не приносили.

— Вообще-то у меня эрозийный гастродуоденит, — сказал Коля.

Доктор удовлетворенно кивнул.

— В вашем возрасте, Николай Антонович, при вашем роде занятий какие-то аномалии в деятельности высшей нервной системы неизбежны. Вот и ваша болезнь...

Тут Коля услышал о том, какие болезни проистекают из перегрузок высшей нервной системы, завариваются в результате стрессовых состояний, то есть от нервозности — и язва желудка, и гипертония, и астма. Коля все это знал, как всякий грамотный человек, но как-то прежде не думал.

— Что-нибудь найдется, не без того, — обнадежил больной доктора.

— Обязательно найдется, — успокоил доктор больного. — У себя на работе, Николай Антонович, в середине дня, сможете изыскать десять минут полной изоляции? В кабинете запрете дверь или еще как-нибудь... — Доктор щурился, улыбался. Что-то было в его улыбке такое, с чем Коля уже когда-то, где-то... Вот, вспомнил.

Так улыбался майор из трибунала. Колю призывали в армию после факультета журналистики, уже в звании младшего лейтенанта, оставили в округе при газете. Он бывал в штабе округа, там и встретил майора-трибунальца; запомнилась эта улыбка, колющая сквозь очки и завлекающая, ласковая.

— Найдется, — сказал на всякий случай Коля, еще не понимая, куда клонит доктор.

— Вы походите на наши занятия аутогенной тренировкой, запомните фразы и состояния. Это несложно. Аутотренинг даст вам возможность за десять минут полностью восстановить умственные и физические силы. Вы научитесь управлять собою, расслабляться и успокаиваться. Мало того, мы научим вас сохранять спокойствие в любых ситуациях. Вы сможете разговаривать с человеком, в каких бы вы ни были с ним отношениях, сохраняя при этом абсолютное спокойствие...

По-крестьянски сообразительный, Коля быстро схватывал то, что говорил ему доктор, прикидывал в уме возможную для себя пользу и думал примерно так: «Оно бы, конечно, не помешало: на тебя кто-нибудь капает, а ты отключился — и как с гуся вода...»

Николай Антонович обежал мысленным взором события недавнего прошлого и подумал, что если бы, ну... когда первый снимал с него стружку и фаску, он бы знал, как расслабиться, отключиться...

В этом месте мы ненадолго оставим нашего героя наедине с врачом и побываем в Стружанах, взглядимся в некоторые события, предшествовавшие заболеванию Коли. Не станем утверждать, что именно они-то и уложили Колю в больницу (не тот организм), но все же... взглядимся.

Есть на старом Стружанском тракте дом с тремя высоко поднятыми окнами на фасаде, рубленый из крупного лесу, ставленный на гранитные валуны, с классической русской печью в светлой просторной горнице, обшитой вагонкой, должно быть, подновлявшейся по мере истечения дождями (венцы тоже меняли), крашенной в желтый цвет, с ложными пилястрами, с семью ракетами, посаженными в одно время с закладкой фундамента,

разросшимися в могучие кряжистые деревья. Ракиты простерли ветви чуть не до середины старого русла Заболоти. Дом этот выстроили в восемнадцатом веке, в третьей его четверти, к проезду по тракту царицы Екатерины. Ему назначено было стать «путевым домом», на случай царицыной остановки в Стружанах. Каких-либо следов и свидетельств поездки царицы по Стружанскому тракту история не сохранила. Однако дом и ракиты стояли, свидетельствовали. В доме помещалась музыкальная школа.

Реставрацией «путевого дома» и перемещением музыкальной школы в другое место занялся Никодим Филимонович, учитель истории, по призванию и человеческой своей сути — ревнитель исторической истины, не только в академическом смысле, но и вполне конкретной, на местном стружанском материале. В восстановлении и блюдении исторической истины он видел чуть ли не главное условие воспитания в людях патриотизма, любви к Отечеству и пробуждения тех духовных начал, без которых, как всем известно, недостижима и высота нравственного идеала.

Никодим Филимонович в войну дошел до Берлина, командовал батареей гаубиц, имел награды, надевал их только Девятого мая, они едва умещались на его тщедушной впалой груди, на бортах засалившегося, но обязательно отглаженного черного пиджака; под пиджак надевались жилет и свежая белая сорочка, повязывался черный галстук. Черные же брюки всегда имели вострую складку. Ботинки чистились ежедневно. Зубы у Никодима Филимоновича сплошь металлические. В изъеденном болезнями (была на счету даже и прободная язва), тощем, иссохшем человеке таились богатырские духовные силы.

Стружанский энтузиаст тратил себя на то, чтоб в подзолистой местной почве найти корни ростков и побегов, идей и деяний, человеческих личностей и судеб, составивших гордость России. Все это находилось, прослеживалось, получало соответственную привязку к месту и времени. Свои скромные средства (он жил на пенсию как инвалид войны) провинциальный кладоискатель расходовал на поездки в столицы, там находил выходцев из Стружан, гораздо более чутких к реликвиям отчего края, нежели местные жители. И уже начало оформляться, давать о себе знать — статьями и

публикациями в центральной прессе — стружанское землячество, включавшее в себя и писателей, и ученых, и крупных военачальников в отставке, и рядовых граждан, загоревшихся поздней любовью к своей малой родине.

Члены землячества стали наведываться в Стружаны. Никодим Филимонович проводил с ними незапланированные экскурсии по окраинным улочкам, мощенным булыжником и не мощенным. Некогда улочки эти обстраивались с таким расчетом, чтобы тяготеть к церквям и церквушкам. Культовые строения были порушены отчасти войной (бои за Стружаны замечены военными историками), отчасти совместными усилиями стружанских обывателей. Сохранившиеся церковки вдруг оказались предметом всеобщего восторга и попечений. Улочки заросли крапивой и лопухами, теми самыми, которые буйно произрастали здесь и сто и двести лет назад.

Искренностью изливающегося из души слова Никодим Филимонович оживлял заурядный пейзаж провинциального города. Именно этот пейзаж послужил фоном для многих известных сцен знаменитого романа... Никодим Филимонович так непосредственно и сердечно уверовал в это сам, с такой топографической точностью, по квадратам на местности, как бывший артиллерист, доказывал несомненность своей версии, что ведомые им экскурсанты не могли не проникнуться, не поверить, хотя прежде считалось, что названный гидом роман приурочен к другому месту... А вот там у обочины тракта (булыжники те же самые и сейчас) стоял дом станционного смотрителя, в нем ночевал под конвоем везомый на каторгу декабрист, чье имя... А в этом «путевом доме» царица Екатерина...

Чем не страдал Никодим Филимонович, так это беспочвенным прожектерством, праздной мечтательностью. Он ставил перед собой достижимые цели — и выбивал, пробивал; не для себя, а для такого неосязаемого существа, как общее благо. И уже увезли рояль из старого помещения музыкальной школы в новый каменный дом. И отпустили какие-то средства на реставрацию обветшавшего «путевого дома». В горнице появился верстак, зашоркал рубанком давно ушедший на пенсию мастер мебельной фабрики — краснодеревец; не денег ради, а по единодушию с Никодимом Филимо-

новичем. И говорили (сам Никодим Филимонович говорил), что целый квартал на бывшем Стружанском тракте, над старым руслом темноводной тихой Заболоти, с лопухами, мостками, ракетами, баньками на задах, узорчатыми наличниками, церквами станет заповедным местом. И в «путевом доме» образуется слепок с глубокой российской старины...

Идеи, начинания, энтузиазм Никодима Филимоновича медленно, почти что и незаметно, но воплощались во что-то материальное. На фасаде «путевого дома» повесили доску, оповещавшую о его, так сказать, генезисе. Выбили ставки, разумеется, с помощью местных властей, при активном содействии землячества, для директора и для сторожа вновь создаваемого историко-мемориального комплекса.

Эти слова: «комплекс», «директор» были слишком громки, за ними пока что ничего не стояло, только старичок шоркал рубанком да Никодим Филимонович рыскал по городам и весям, доставлял в Стружаны то кресло, то канделябр, то зонтик, то гусиное перышко — подлинные, из позапрошлого века. Вверенное ему помещение он не только не подвергнул ремонту, хотя бы косметическому, а, наоборот, содрал со стен и те обои, что были приклеены директором музыкальной школы. И водрузил в красный угол иконы, повесил лампаду. И тотчас же закружили вокруг «путевого дома» верхним чутьем уловившие нечто непризнанные гении, столичные, в бородах и усах, в вельветовых брюках; появились картины на старорусские сюжеты, исполненные в небывалой доселе манере...

Хозяева ближайших домов люто возненавидели Никодима Филимоновича. Когда он вел экскурсии мимо их владений, запирались не только ворота и калитки, но даже захлопывались ставни. Дошедшие до наших дней из средневековья глухие ставни с засовами мирно уживались с рогами телевизоров, гаражами, импортными гарнитурами. Ставни приделывали даже к окнам новых, с непостижимой скоростью возводимых из силикатного кирпича (откуда? как? на какие средства?) особнячков. Клубничные гряды, малиновые и смородиновые плантации служили хорошим подспорьем благосостоянию коренных стружанцев. Скота пока что не за-

водили, хотя это разрешалось и поощрялось. Только две цыганские семьи, завязавшие с бродяжничеством, перешедшие к оседлой жизни, держали по паре лошадей.

На ненависть своих соседей Никодим Филимонович отвечал ненавистью же, активной и агрессивной. Он полагал, что с возникновением мемориального комплекса на берегу старого русла Заболоти домовладельцам придется потесниться. Они же полагали совсем по-другому, неустанно писали в райком и выше жалобы на самозваного узурпатора их законных и кровных прав.

В звании директора Никодима Филимоновича пока что не утверждали, очень уж не соответствовала его фигура такому званию. Он временно исполнял обязанности, то и дело превышал полномочия, которых ему пока что никто не давал.

И до того он был уязвимый, незащищенный, не соответствующий устремлениям владельцев домов с ставнями, гаражей и клубничных грядок... И много, много чего он делал себе во вред...

Когда накопилось достаточно жалоб в специально заведенной папке в надлежащем органе, пришли посмотреть, что содеяно, за что платим деньги исполняющему обязанности и сторожу. И что же? «Путевой дом» как был некрашеным, облупившимся, так и остался. Гусиное перышко, зонтик, кресло и канделябр показали проверяющим недостаточным аргументом в пользу Никодима Филимоновича. Иконы в углу? Ну, конечно, это сейчас модно, но мы же все-таки не церковь открываем... Вернисажи непризнанных гениев настораживали.

Результаты проверки доложили, они решительно были не в пользу затей одиночки — любителя старины. Решено было затеи поунять, «путевой дом» передать на баланс краеведческого музея. Кресло, перышко, зонтик и канделябр пускай остаются, а главное помещение использовать под экспозицию, в которой история района будет подкреплена экспонатами, рассказывающими о современных достижениях. Иконы, конечно, снять. Усатых и бородатых выдворить.

Никодиму Филимоновичу, чтобы не обижать старика, дать ставку хранителя в музее...

К слову сказать, краеведческий музей тоже созда-

вался стараниями Никодима Филимоновича. И сохи, и прялки, и берестяные пестери, и самовары, и ухваты, и опять же иконы, и картины в свое время известного художника родом из Стружан, и литографии — сцены спектаклей когда-то бывшего в Стружанах театра, и книги с дарственными надписями писателей-земляков, и пушки, и ядра времен петровских войн со шведами, и пробитые каски советских солдат — их костями засеяны леса и болота вокруг Стружан, — и помещение для музея под сводами церкви Спаса Преображения... Директором музея назначили Анфису Петровну, инструктора отдела культуры — женщину истинно русских кровей, с тугими, матово-глянцевыми скулами, с татарщиной в узковатых, пылающих от внутреннего жара глазах.

Работать под чьим-то началом Никодим Филимонович не смог: душа его жаждала неограниченного поля для приложения сил. С неродственными ему по духу людьми он не умел не только дружить, но и ладить, бывал несдержан и резковат в оценках и суждениях. О доле участия Никодима Филимоновича в создании краеведческого музея как-то скоро забыли...

Войдя во владение «путевым домом», Анфиса Петровна распорядилась прежде всего покрасить его изнутри и снаружи. Никодим Филимонович кинулся искать помощи у землячества: у писателей, крупных военачальников в отставке, кандидатов и докторов наук. Те не замедлили откликнуться, в редакцию районной газеты «Заря» пришло письмо за семью подписями, с обозначением званий и степеней авторов. В письме говорилось о том, что надо сохранить Никодима Филимоновича не только для Стружан, но и вообще для культурной жизни России, что дело убережения, воссоздания реликвий великого прошлого русской культуры не каждому по плечу, что держится оно на энтузиазме и особом таланте таких людей, как Никодим Филимонович. Авторы письма напоминали, что Пушкинский музей в Михайловском восстал из небытия благодаря трудам и личности Семена Степановича Гейченко, что становление дома-музея Достоевского в Старой Руссе неотделимо от подвижнической личности Георгия Ивановича Смирнова. Далее шел перечень благодеяний, совершенных Никодимом Филимоновичем для культурной жизни Стружан, весьма внушительный...

Нижеподписавшиеся призывали тех, за кем последнее слово, не разлучать Никодима Филимоновича с его возлюбленным делом, а если замечены за ним недостатки и слабости, то положить на весы все «за» и «против» — и взвесить, и посчитать, прежде чем обезглавить успешно начатое дело...

В ту пору редактор стружанской районной газеты Соломко был в отлучке, заместитель его замещал. Он взял и тиснул письмо столичных земляков в газету. Что касается ответственности и последствий, Николай Антонович положился на звания, на имена подписавших письмо. Нельзя сказать, чтобы он тогда не предвидел... Предвидел, конечно. Но победило в нем нечто такое, из времен студенческой жизни на факультете журналистики. Хотелось ему, чтобы в газете «Заря», кроме передовой, сводок с полей и лесозаготовок, строго сбалансированных авторских и редакционных, положительных и критических материалов, еще бы имелась изюминка для читателя, в каждом номере — гвоздь...

После Коля смеялся: кто ищет «гвоздя», тот на него и напорется...

...Первый секретарь райкома сидел, по обыкновению, в четверть оборота к столу. Надо лбом прямая прядь русой челки. Известным всему району — предвестник нелегкого разговора — летучим взмахом руки первый откинул повыше прядь. Справа и слева от первого секретаря сидели ответственные за идеологию и пропаганду.

— Как же так, Николай Антонович? — выставляя вперед подбородок, сощуривая светлые глаза, обратился к приглашенному Коле первый. — Ты бы посоветовался с нами... Товарищи пишут письма... А мы тут, в нашей глубинке, делаем дело... Коллегиально решаем, согласно нормам... А? Как же так?

Коля что-то вякнул в ответ, первый выслушал, подбородок его не изменил своей позы-прицела.

— Да нет, мы не против, пусть пишут, мы понимаем... Но ты газету свою читаешь? — Первый взял со стола тот самый номер газеты «Заря» и прочел вслух: — «Орган Стружанского районного комитета коммуни-

стической партии, районного Совета народных депутатов». Эту строчку в газете читаешь? А надо бы иногда... Наш орган, а выступает против наших коллегиальных решений. Как же так, Николай Антонович, а?

Коля понял, что отвечать ему нечего. «Изюминки», «гвозди» тут решительно негодились. Звания и степени подписавших письмо в этом кабинете ни на кого не подействуют. Ни на кого!

— Вы знаете, что ваша жена пропагандистом в сети партийного просвещения, в леспромхозе — и на хорошем счету? — спросила у Коли ответственная за идеологию.

— А мы его отправим к жене на выучку, — сложил бледные губы в улыбку первый.

Коля почувствовал себя так, как когда-то в детстве с ним было: заблудился в лесу за рекой, кричал, звал, плакал; накричавшись, назвавшись, наплакавшись, замер и ужаснулся своей беззащитности, малости, одиночеству перед лесом, небом, не слышащими его воплей людьми, — всем миром.

Редактор районной газеты Соломко после топала ногами на своего зама, кричал: «Увольняю!» Но Коля ни капельки не испугался, ответил: «Не ты меня назначал». В тот же день Коля сбегал в райком. Колю выслушали и сказали: «Работайте». С Соломко, Коля знал об этом, поговорили особо, Соломко больше не возникал.

Николай Антонович после того разговора в райкоме не делал необдуманных шагов в своей журналистской работе, ходил советоваться, шел туда, куда следовало идти, и никто его больше не останавливал.

Но что-то осталось...

«Даром такие вещи не даются... Вот если бы тогда знать...» — думал Коля, глядя в рот кругло говорящему доктору.

— Во время разговора с любым человеком, — внушал доктор Николаю Антоновичу, — вы можете вот так положить руки на стол, представить себе, что они наливаются теплом и тяжестью, ощутить пульсацию в кончиках пальцев — и полностью успокоиться. Это — мини-аутотренинг. И еще, в течение дня вы выберете время, приляжете на кровать, голову на жесткую поду-

шечку, полностью расслабитесь, отключитесь, сосредоточитесь на том, чтобы теплыми стали руки и ноги... То есть надо решить три задачи: отключение, успокоение, прилив тепла к рукам и ногам... Все это вы усвоите и запомните на наших занятиях.

Доктор протянул Коле направление, при этом лицо его выражало те самые чувства, с которыми следовательно, склонивший допрашиваемого к даче именно тех показаний, которых ждал от него, протягивает жертве протокол допроса: «Прошу подписать».

Впрочем, никаких записей на этом приеме у врача не велось, Колину историю болезни так и не принесли.

Николай Антонович взял направление, внутренне усмехаясь, что-то такое предвидя в самом скором будущем: «Вот посмеемся с мужиками». Он еще не знал в ту минуту, что смеяться-то будут над ним. Догадывался, конечно, но не знал.

В кабинете аутогенной тренировки Коля сел в кресло — мягкое, с подлокотниками. Вместе с Колей пришли заниматься аутогенной тренировкой нервного вида девица в очках и мужичок в такой же больничной пижаме, как у Коли; вскоре он начал посапывать. «Отключился», — подумал Коля.

Самого доктора не было, сеансом руководила сестра, докторский голос исходил из стереофонической тумбы (другой тумбы Коля не обнаружил в кабинете); на столе крутилась бобина магнитофона.

«Закройте глаза, — произнес докторский голос. — Сосредоточьте ваше внимание где-то в районе кончика носа.

Прижмите кончик языка к верхним деснам.

Расслабьте мышцы ваших щек.

Расслабьте мышцы около рта.

Расслабьте мышцы лба.

Расслабьте мышцы подбородка.

Дышите спокойно. Выдох несколько длиннее, чем вдох.

Повторяйте за мной фразы, осмысливая их суть. Делайте ударение на главном слове каждой фразы. Итак.

Я вижу мысленным взором мое лицо. Это как бы лицо спящего человека.

Но я не сплю. Мое лицо спокойно, вяло.
Я вижу мое спокойное, вялое, теплое лицо.
Я дышу вольно, спокойно.
Мой язык тяжел, вял.
Я успокаиваюсь.
Я совершенно спокоен.

Мое внимание не простирается далее границ моего тела».

Первые фразы доктора насторожили Колю, как настораживают любого из нас вдруг услышанные в пределах собственного отечества звуки чужестранной речи. Но вскоре наш невольный пациент приноровился и к этим фразам, и к этому тембру, и к этому креслу. Его сосед-мужичок сладко всхрапывал. Коля напряг мысленный взор, стараясь увидеть свое лицо (вялое, теплое), но почему-то являлось ему лицо редактора Соломко, нездорово-розоватое, воспаленное. Про Соломко всем было известно (сам Соломко сообщал), что он сердечник, печеночник, почечник, астматик, радикулитник и, кажется, у него есть еще диабет.

Болезни редактора «Зари» происходили от одного: его вконец замучила раздвоенность. С одной стороны, Соломко нравилось быть редактором, хотя бы и районной газеты, он постоянно подчеркивал это свое редакторство. Он держался за место редактора районной газеты, понимая, что тут его потолок. Выше не прыгнуть. И падать вниз больно. При всем этом Соломко манкировал своими обязанностями редактора: в рабочее время — и в не рабочее — запирался у себя в кабинете, строчил роман. Он то и дело мотался в город. Свои сочинения отсылал в редакционных конвертах с грифом «Зари». Редакционную машинистку заваливал собственной писаниной, платил ей по пятнадцать копеек за страницу, хотя другие платили по двадцать и даже по двадцать пять.

Когда Соломко получал очередной отзыв на свой роман, в котором говорилось, что романа пока нет, что автор владеет жизненным материалом, но одни линии представляются излишними, другие недотянутыми, одни психологические мотивировки лобовыми, другие наивными, что стилистика изобилует газетными штампами, а сюжет провисает, Соломко становился еще более розоватым и воспаленным, чем всегда. На летучке он учинял разнос по пустякам. После с кем-нибудь (быва-

ло, и с заместителем) откровенничал, говорил о том, что деревню он знает не хуже Абрамова и Белова, с двенадцати лет стал кормильцем в семье, и пахал, и сеял, и косил, и бороновал, и лес заготавливал, и скот пас... А после в городе на химическом комбинате от разно-рабочего — подыми да брось — до мастера участка и до парторга... «Первая часть романа у меня чистая деревенская проза, — делился с Колей Соломко своими обидами, — а вторая часть — рабочая тема, о становлении молодого рабочего, именно то, что надо... В смысле идейном — так у меня ВПШ закончена. А они...»

Перекипев, Соломко опять садился за роман, одни линии убирал, другие дотягивал. И опять его (роман) куда-то посылал.

Коля выслушивал его исповеди, слегка ему кивал, но ничуть не сочувствовал. Наоборот, он признавал свое превосходство над Соломко. Он этой болезнью переболел, и слава те господи, выкарабкался невредимым. Еще когда служил в армии, в окружной газете — по вечерам заняться нечем — Коля садился к столу и писал. Страниц пятьсот накатал, о чем — сейчас и не вспомнить. Все чин по чину перепечатал, не пожалел, потратился (машинистки тогда брали по гривеннику за страницу). Сложил в папку и дал почитать подполковнику, редактору окружной газеты. Подполковник вызвал его, вернул то, что дал ему Коля, и по-военному ясно сказал: «Ты, Коля, это дело брось раз и навсегда. Способностей у тебя никаких нет. Пиши пендюры в газету, и ладно».

После этого разговора у Коли как гора с плеч свалилась. Стало легко-легко.

«Мысленным взором я пробегаю по моим ногам, — со всех сторон обволакивал Колю докторский голос. — Сосуды моих ног расширяются.

По ним вливается в ноги тепло.

Моим ногам тепло и тяжело.

Мои руки и ноги как бы опущены в ванну с терпимо горячей водой...»

Коле уже начинало казаться, что, правда, он в ванне с терпимо горячей водой. Но тут его царапнуло сказанное доктором словечко «как бы». Чего-то Коля его невзлюбил. Все, как попки, заладили: «как бы» да «как бы». Коля однажды насчитал на четырех полосах «За-

ри» двадцать четыре «как бы». И пошумел на летучке со своего замредакторского бугра. Читая рукописи и гранки, Коля вычеркивал «как бы», а где не сходилось по смыслу, там заменял «как бы» на «будто» или «словно». Но «как бы» все равно проступало наружу, что веснушки в известную пору на девичьем лице.

Что значит «как бы»? Не жизненный факт, а какая-то мнимость: то ли было, то ли нет, то ли дождик, то ли снег...

«Я ощущаю, как пульсирует кровь в кончиках пальцев моих рук и ног,— продолжал свою ахинею доктор.—

Мне дышится легко, вольно.

Я совершенно спокоен.

Я наедине с моим спокойствием.

Я ни о чем не думаю.

Меня ничто не тревожит.

Мне все безразлично...»

Успокоившийся было Коля (слова сопровождалась красивой музыкой) вдруг почувствовал, как укол, несогласие с доктором. Как это: «Все безразлично?»

На память Коле вдруг явился Никодим Филимонович; Коля представил его сидящим вот в этом кресле... Но тому не сиделось, он все порывался вскочить. И Коля заерзал, ища нужную для спокойствия позу, но что-то мешало ему. Память его уносила в родимые веси, в лесные, речные, озерные, луговые Стружаны, и была в этой памяти тонко зудящая струнка вины. Хотя вина-то его — какая? В чем Коля виноват?

«Я отрешенный, спокойный, расслабленный.

Сердце бьется тихо, неслышно...»

Коля слушал вполуха. По какой-то вибрации тембра докторского голоса понял, что дело идет к концу.

«Тепло и тяжесть уходят из моих ног и рук.

Я чувствую себя свежим, бодрым...»

«Мели, Емеля,— подумал Коля,— твоя неделя».

В заключение доктор предложил сцепить руки над головой и потянуться. Коля сцепил, потянулся, уже куда-то спеша. Куда спешить-то в больнице?

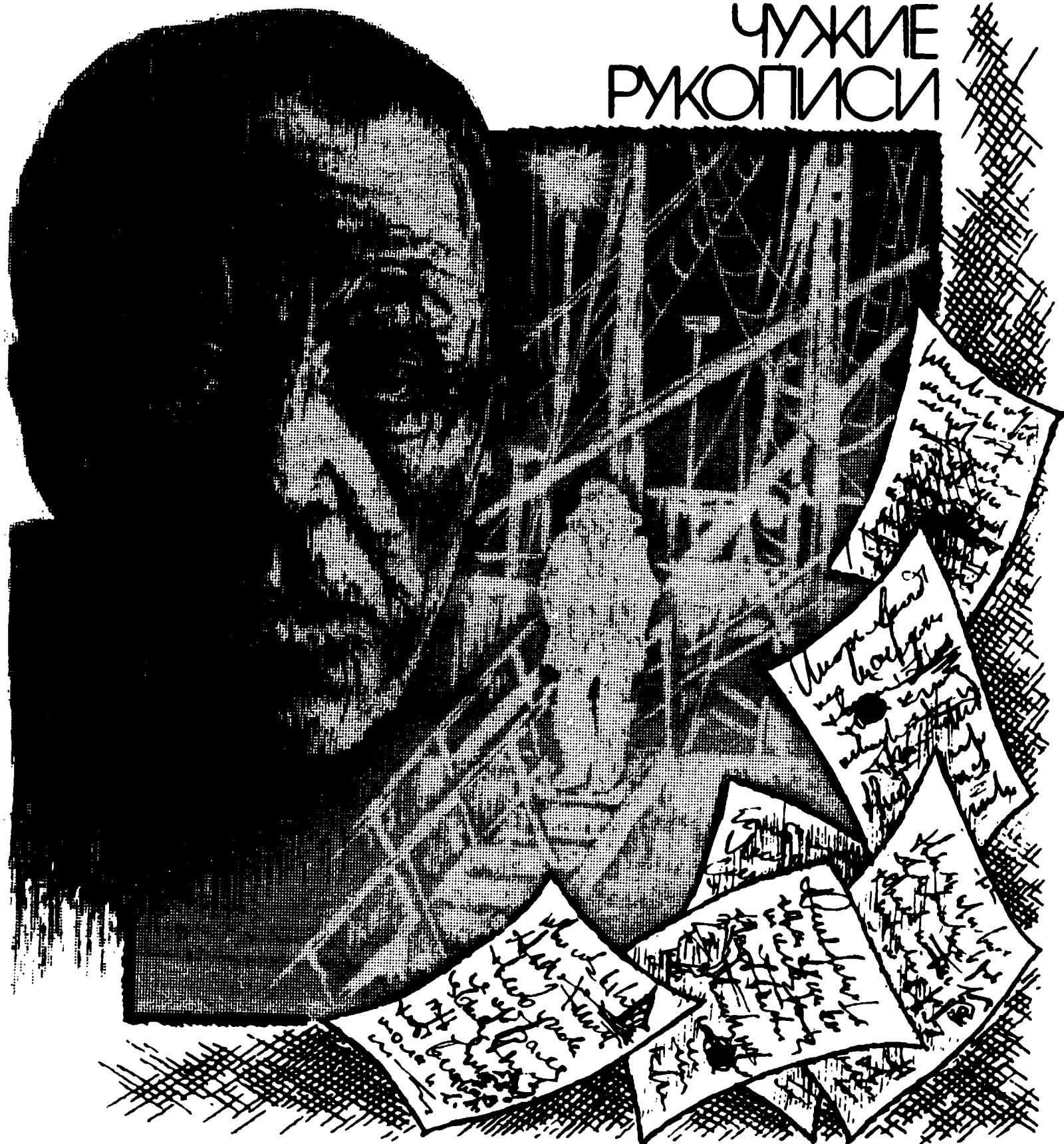
Сойдясь с мужиками в курилке на задней лестнице, он хорошо покурив, с непонятным самому одушевлением рассказал о том, как сидел в кресле, а ему

«лапшу на уши вешали...». Подходившие курители узнавали в Коле того чудака, который их чуть не завлек в лапы к «психу». Пошучивали над ним безо всякой злобы.

Вечером перед сном, почитав роман Булгакова «Мастер и Маргарита», Коля подумал, что завтра пойдет уже к физиотерапевту. Сегодня к «психу», а завтра на ванны и электропроцедуры. Дышалось Коле вольно, легко. Он совершенно успокоился, отключился, уснул в предчувствии хорошего, интересного, нового, что обязательно будет завтра.



ЧУЖИЕ РУКОПИСИ



ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В моей, как говорится, литературной судьбе два равновеликих, но неодинаково учтенных поля приложения сил. Мною написанное, изданное, тихо стоящее по полочкам — и мною прочтенные, поправленные, увидавшие свет, ждущие своего часа (или похеренные) чужие рукописи. Я был редактором, это дело любил, им жил; оно меня и кормило (подкармливало) и по-

миряло с самим собою, когда я почему-либо не писал, не выдюживал взятый гуж. Следовало выдюживать; работа над чужими рукописями помогала мне в этом.

Бывало, я увлекался (иной раз зарывался), своевольничал, резал чужую рукопись, дописывал, как свое. И так я верил в мою правоту, настолько не сомневался в благодетельности моих урезаний и привнесений, что не запомнил ни одного сколько-нибудь решительного супротивничества моему редакторскому произволу.

Я правил чужие рукописи по долгу службы, из какой-то особой потребности в литературном труде, как бывает потребность во всяком труде, который умеешь делать. Неделание, неучастие укладывало на лопатки, надо было сдаваться — хлопком по ковру, как во времена моих борцовских схваток (укладывали, сдавался, хлопал).

Всегда на моем столе или на полке лежала (и ныне лежит) чья-нибудь папка с заключенным в ней многостраничным текстом — первым опытом или итогом всей жизни. Иногда первый опыт и продиктован итогом. Понятно, что каждая такая папка вылеживается до крайности: прочтение ее откладывается в силу того или сего — своего... Авторы ждут; их терпеливость прямо пропорциональна их возрасту. Молодые выказывают нетерпение, старые не торопят, никогда не пеняют. Хотя времени у старых в обрез.

Так однажды ко мне попала большая, величиною в целую жизнь (автору было порядком за восемьдесят), воспоминательная и в то же время живо изобразительная рукопись Евгения Николаевича Фрейберга «От Балтики до Тихого...»

Собственно, здесь начинается то самое, ради чего я затеял рассказ: никак не предвидимое свойство чужих рукописей воздействовать на того, кто взялся их прочесть и тем более приложить к ним руку — самым неожиданным, иной раз даже роковым образом. О! Рукописи не только не горят, они взыскуют, требуют, совлекают тебя с натопанной тобою дорожки, насмеются, повергают в печали. Рукописи покорны, безответны, но после могут вдруг отозваться уколом в сердце, как неоплаченные долги. Раскрыть чужую рукопись, погрузиться в нее, приложить к ней руку — все равно

что раскупорить старую бутылку с неведомым зельем и пригубить...

Итак, Евгению Николаевичу Фрейбергу за восемьдесят... Ему все время было за восемьдесят, как мы познакомились с ним, потом незаметно стало за девяносто и продолжалось недолго...

Из лекарственных средств Фрейберг употреблял сушеную морскую капусту — ламинарию, как известно (написано на упаковке), предохраняющую от атеросклероза. Память Фрейберга не имела заметных прорех, его атеросклероз не высовывался наружу, как у некоторых (и со мною бывает). Старик был опрятен, постоянно внутренне собран, благожелателен. Кожа его имела смугловатый оттенок вечной загорелости, обветренности, изборожденность дубовой кожи и еще пергаментный матовый румянец. Его глаза глядели из-под нависей кожаных мешков ясноумудро и отдаленно, как глаза трехсотлетней черепахи.

Чаще всего я видел Евгения Николаевича в сине-пoryжелом кителе, на улице — в черной шинели, тронутый ржавчиной, в мичманке или, может быть, капитанке, совершенно утратившей каркас, тулью, но сохранившей козырек. О своих одежках-ровесницах Евгений Николаевич отзывался ласково-иронически: «Времен гражданской войны».

Однажды он мне рассказал походя или, вернее, «посидя» за столом в его квартире в Зеленогорске, своим тихим, однако незатухающим, как долгий ветер на Севере, всегда слышимым голосом о том, как... Ну да, на гражданской войне его наградили именным оружием, а он попросил вместо оружия выдать кожан. Кожан ему выдали, вот жалко, не сохранился...

Жену Евгения Николаевича я видел в самом начале нашего с ним знакомства, запомнил ее как будто сосредоточенной на какой-то важной мысли, донесшей до старости обаяние женственной красоты, со следами духовной работы на лице, с печальными глазами. Потом она умерла. Евгений Николаевич жил один. Одиночество ему скрашивали щегол в клетке, спаниелька Марта — на диване, под столом, на кухне — повсюду. Хозяин квартиры, когда я к нему приходил (почти всегда заставлял еще посетителей), был подвижен, перемещался в тесном пространстве жилища подобно Марте, был от души приветлив, ласков. Щегол распевал.

Двух дочерей Фрейберг назвал именами географических пунктов, особо отмеченных на карте его судьбы: Тикси, Аяна. В момент рождения первой отец обратился мыслью или, может быть, сердцем к бухте Тикси, куда заходил на судах, где позднее работал геологом. Впрочем, установить последовательность званий, должностей, родов деятельности долгожителя Фрейберга я не возьмусь: биографические справки не наводил, самого ветерана не выспрашивал. Знаю, что жизнь его была полна переломов, перепадов, перебросов, неожиданностей — он сам себе сочинил эту жизнь. И Время ему помогало.

В молодости Фрейберг закончил Петербургский лесной институт — тут одна из линий его судьбы, лесная. Затем Морской корпус — и участь военного моряка. В годы ранней зрелости он получил диплом горного инженера, по окончании Ленинградского горного института, прожил еще одну жизнь в экспедициях в Арктике.

Вторую дочь Фрейберг назвал Аяной, в честь порта Аян на Охотском море, который в гражданскую войну был им взят без выстрела. Об этом случае мне рассказал сам Фрейберг, как всегда посмеиваясь (тут надо бы добавить: покуривая трубочку, но это осталось лишь на старых снимках), без патетики, со свойственным ему легкомыслием в отношении собственных заслуг, геройства и всего такого прочего. Фрейберг командовал тогда отрядом балтийских красных моряков-братишек, численностью в двенадцать штыков. В зимнюю пору отряд военмора Фрейберга совершил рейд — на собачьих упряжках, с одним пулеметом «максимом» (рассказчик отозвался о «максиме» с любовью: «Наша сторожевая собака») — из Якутска через хребты на Охотское побережье, свалился, как тать в нощи, на головы кейфующих в отрезанном от всего мира Аяне беляков, взял их голыми руками, установил на Охотском море Советскую власть, доложил о победе в Центр (какие были тогда средства связи, я как-то не уловил) и вернулся — весь отряд, без потерь: двенадцать братишек с «максимом» — тем же путем, через заснеженные якутские хребты. Ну, конечно, с проводниками-якутами. Их звали тогда «тунгузы».

Тикси Евгеньевну в домашнем кругу называют Тикой. Она посмеивается: «Папа дал нам собачьи имена,

мне и сестре». Пока жив был папа, Тика часто к нему приезжала из Ленинграда. Аяну я не видал, она жила в другом городе. Зато встречался с ее дочерью Мариной: она училась в Ленинградском университете, на географическом, жила у деда. Кажется, были в ней дедовы задатки: куда-то она уезжала летом в экспедиции, чуть не на Тихий океан.

Бывало, посидим за дедовым столом и бежим с Мариной на кухню покурить у открытой форточки. Курим, курим, мне начинает казаться, что и я тоже студент, молодой человек... Я говорю об этом в глубоко прошедшем времени, ибо время, правда, ушло, Марина стала мамой, того гляди станет бабушкой.

Когда я приходил к Фрейбергам, особенно хорошо бывало застать хозяина одного (редко это удавалось), он принимался меня угощать, совершал челночные ходы на кухню, вдруг опускался на колени перед холодильником, доставал из него что-нибудь такое... из своего аристократического прошлого, чуть ли не ананасы в шампанском... Отец Евгения Фрейберга был дворянином, военным доктором при Морском корпусе. (Принял революцию, работал с наркомом Семашко.) И обязательно новгородские, а именно: из деревни Домовичи, с берегов очарованного (сам видел — очарованное) озера Городно, грузди соленые со сметаной и луком.

И так мы вчетвером проводили время: я, Фрейберг, Марта, щегол. На стол подавались не только грузди, но и альбомы с вытершимися бархатными обложками, пахнущие незнакомо — людьми, которых давно уж нет; с арктическими пейзажами, твердолицыми мужчинами в малахях, малицах, с охотничьими псами — гончими, легавыми; с убитыми зайцами, глухарями, утками, с дамами и девушками в довоенных платьях, с четою Урванцевых — Николаем Николаевичем (знакомым Фрейбергу еще по Таймыру) и Лидией Ивановной на фоне их собственного «Ивана-Виллиса» пятидесятых годов; с самим хозяином дома — в кителе военмора, на фоне судовых башен с пушками. В альбомах Фрейберга лица мужчин отшлифованы семью ветрами, на них печать нездешности, недомашности, позабытых нами времен. В глазах женщин та же решимость, которая повлекла русских женщин, когда пробил час... Ну

да, в Сибирь! И много, много Сибири в его альбомах.

На этажерках, на шифоньере, как будто в художественном беспорядке, но на самом деле в соответствии с заданной хозяином диспозицией, подавали о себе какой-нибудь знак срез с бивня мамонта, клык сивуча с Командоров, кристалл якутского горного хрусталя, позвонок кита, охотничий нож с рукоятью оленьего рога, отполированной сильной рукой охотника до телесной с прожилками светлоты.

Да, так вот... Самое лучшее было сидеть и слушать хозяина дома. И более ничего! Но гости к нему являлись все больше самоговорящие: по дальнему родству, по старой дружбе, из любопытства, на зов хлебосольства. Дом у Фрейберга был открытый — махонький дом-скворечник на главной улице Зеленогорска. Охотничья хижина. Разный народец сидел у стола, разговаривал, нанизывал на вилку домовические грузди в сметане. Все было уместно в доме старого вояки, моремана, ледового зимовщика, лесного бродяги.

Хозяин то и дело припадал на колени перед своим портативным — по нынешним понятиям, — устаревшим, но все еще охлаждающим скромные припасы холодильником, что-то в нем находил, метал на стол. Пословицу, выражающую азарт российского хлебосольства: «Что в печи, то и на стол мечи!» — нынче следует переиначить: нынешние хлебосолы мечут яства на стол не с печного жару, а из белого ящика, с холоду.

По вечерам Евгений Николаевич показывал гостям слайды; он предавался страсти фотоохоты (не отрекаясь и от ружейной). На стену вешалась сложенная вдвое простыня; присутствующие поворачивались лицом к экрану: перемещения, пересадки невозможны были в интерьере жилища командора. Против экрана устанавливался на стопки книг проектор; на простыне возникали картины, отсветы, блики тихой-тихой, без нервов, прекрасной жизни в самом сердце России, в избушке, деревянном, сосновом, березовом озерном краю, в деревне Домовичи на Новгородчине...

Сосед Фрейберга по домовицкому раю рассказывал мне, как однажды простились со старым командором, какую скорбь пережили по утонувшему в озере Городно мореходу... Как он воскрес, восстал из озерных вод...

Летним днем командор сел в швербот, поймал парусом слабый ветер, скрылся в дымке — озеро Городно велико. Всяк в деревне был занят собственным ватным делом: кто грибами, кто ягодами, кто печку топил, уху варил. В деревне местных раз-два, и обчелся, избы куплены городскими. На озеро взглядывали, как на небо глядят: синеет — и ладно. Командора ждали к обеду, было ему пора. Погода испортилась, ветер переменился, засвежел, на озере забелели барашки. Парус не появлялся. Самый зоркий поднес к глазам бинокль... Перевернутый, притопленный намокшим парусом швербот зыбался на волне посередке озера. Морехода не было видно...

Понятно, что всех обуяла скорбь. Надежды не оставалось. Самые сноровистые прыгнули в «казанку», помчались к месту трагедии. Заглушили мотор... Огляделись... На той стороне озера, на Белых песках стоял командор в синем кителе, размахивал руками.

...Утром, с попутным ветром, он пересек озеро, причалил к Белым пескам — и углубился в чернику. Увлёкся. Швербот дожидался хозяина с распущенным парусом. Дунул ветер, угнал суденышко, наказал легкомысленного плователя...

И я побывал в Домовичах: чужие рукописи у меня на столе служили, бывало, пригласительным билетом в неведомые места (как на премьеру).

Рукописи не только лежали, но и продвигались мною в печать... Мне удалось напечатать в журнале рассказ Евгения Фрейберга «Волки на линкоре». В зиму семнадцатого года линкор «Севастополь» стоял на рейде Гельсингфоргского порта. Мичман Фрейберг командовал артиллерийской башней на линкоре (уже отличился в морских сражениях с германскими броненосцами на Черном море в первую мировую войну, имел медаль «За храбрость»). Простой по натуре, интеллигентный по воспитанию, мичман Фрейберг был близок нижним чинам. Среди нижних чинов нарастало брожение, как повсюду в России. Линкор бездействовал, офицеры обретались на берегу.

Мичман Фрейберг уходил по льду залива в прибрежные финские леса, охотился в них. Однажды он принес в мешке двух волчат. Выдал их за собачьих щенков, открыл правду одному, близкому ему по охот-

ничьей страсти, уроженцу Новгородчины, командору. Время было смутное, старшим офицерам не до волков на линкоре, как бы собственную шкуру спасти...

Волчата росли, матерели в каюте у мичмана, шастали по палубам, башням линкора, то и дело попадали в забавные передраги. Команда их полюбила. На кораблях любят четвероногих наших меньших братьев.

Волки привязались к мичману, но мирному житью-бытью на стальном корабле пришел конец, как он приходит всему на свете. Подросших волчат забрал с собою домой в лесную деревню тот самый посвященный в волчьи дела командор, решившийся — от греха подальше — сойти на берег. Ну, разумеется, тайно, в ночную пору, при содействии мичмана. Что стало дальше с ними троими, бог весть. Время было лихое.

Мичман Фрейберг простился с полюбившимися ему зверюгами, сам остался на линкоре до тех пор, куда...

Впрочем, не буду забежать вперед. У меня припилен к стене подаренный мне Фрейбергом любительский снимок: из иллюминатора на броневом борту боевого корабля высунулся веселый, довольный жизнью молодой серый волк. Я знаю, что волк, а так овчар и овчар.

Об этом эпизоде своей биографии бывший мичман российского флота написал с флотским юмором, смачно, с великодушием мужества: не убоясь грозных событий, усмехнуться в роковую минуту, пригреть на линкоре волчат.

Одушевленный (как всякий начинающий автор) появлением в журнале «Волков на линкоре», Евгений Николаевич Фрейберг дал еще рассказ о геологе на Таймыре: шел по Таймыру геолог, ведомый единственной целью исполнить свой долг; погиб при переправе через студеную реку; был похоронен в каменистой почве тундры. Остался в памяти о человеке водруженный его товарищем надгробный камень, до которого никому не дойти. Рассказ спокойный, внутренне сдержанный, как его автор, очень мужской.

Вскоре явилась повесть о том, как...

Если быть точным, Фрейберг повести не писал, да и рассказы... Он писал то, что было, так, как отложилось в памяти, как вышло из-под пера. Писательство доставляло ему чувство жизни, прожитой как хотелось. Я думаю, он писал с улыбкой если не на челе, то в душе. Свои дневники-мемуары Фрейберг отпечатывал на старинной машинке «Ундервуд» (времен гражданской войны), установленной на конторке в углу у окна в его зеленогорской келье...

«Командорская повестушка» — так отозвался о своем новом опусе автор. В «повестушке» речь шла о пребывании автора на Командорских островах, начиная с 22-го года, в должности начальника островов. Ступил на борт корабля во Владивостоке, высадился на острове Беринга, в селе Никольском, установил там Советскую власть, жил среди алеутов, наблюдая жизнь котиков на лежбищах, сивучей, каланов, стал своим человеком на птичьих базарах... Его первой женой была алеутка, его сын-алеут погиб на фронте в 1943 году...

Я не довел командорский дневник Евгения Фрейберга до печатного вида, как-то он не давался в руки, не подлежал доработке. Чужие рукописи бывают непреерекаемы, как письма. Фрейберг писал дневник на Командорах в двадцатые годы не для печати.

Однажды сам мне признался: «Черт его знает, почитал дневник и за голову схватился: сколько тогда пили спирту — и хоть бы хны!» Легко понять, что этого рода признанья и откровенья нынче у нас — ни в какие ворота. Фрейберг и сам понимал, ему в высочайшей степени была свойственна самоирония, нечто чеховское — верный признак интеллигентности.

Как-то раз я спросил у него: «Евгений Николаевич, сколько же вам лет?» — «Черт его знает, — сокрушенно развел руками долгожитель, — даже как-то неловко: из прошлого века и все еще небо копчу».

Многосторонне талантливая натура мореплавателя, вояки, землепроходца требовала участия в жизни, самосуществления — до самого края. Это побуждало Фрейберга к писательству. При жизни автора (в пенсионном возрасте) увидели свет его книги для детей. «Корабли атакуют с полей» — о том, как в годы гражданской войны военмор Женя Фрейберг командовал передовым отрядом Волжской флотилии. В весеннее водополье ка-

нонерки, сторожевики, ведомые бесстрашным командиром, совершали рейды по затопленной пойме — атаковали с полей.

И еще повесть-сказка о командорском Котике.

Однажды поздним вечером, собственно, уже за полночь, переделав свои дела, я развязал тесемки на Фрейберговой папке... Многостраничная рукопись начиналась с того, как...

Евгений Фрейберг — помните? — закончил Лесной институт — и война, первая мировая. Фамилия Фрейбергов военная — офицерская косточка. Карьера лесничего откладывается. Евгений записывается вольноопределяющимся на Черноморский флот. Сначала казарма, смешные казусы (Фрейберг до старости сохранил смешливость) дворянского сынка, умника с фельдфебельской дурью. Затем боевое крещение, легкомыслие гардемарина под залпами батарей германского броненосца...

Море, морская форма, война, опасность пришлось по вкусу Жене Фрейбергу. Ветераном войны он поступил в Морской корпус.

Революцию Фрейберг встретил мичманом на линкоре «Севастополь», воспринял ее как нечто временное, болезненное для России. Счел за лучшее уйти в леса, переждать. Леса под Лугой представляли собою в ту пору нехоженую глушь, населенную лосями, медведями, волками.

Никакой связи с внешним миром у медвежатника, волчатника, лосятника в лужских лесах тогда не было. По истечении времени, достаточного, по мнению Фрейберга, для восстановления порядка в Российском государстве, охотник вернулся в Петроград. Остановился у сестры на Загородном, отмылся, побрился, прифрантился, вечером пошел на оперу в Мариинку. В первом ряду партера сидел... — кто бы вы думали? — командир линкора «Севастополь», сменивший мундир с золотыми погонами капитана первого ранга на кожан военмора. Он предложил мичману Фрейбергу принять участие в походе балтийских военных кораблей на Волгу, на подавление мятежа белочехов.

Воевать против своих однокашников по Морскому

корпусу — этой мысли Фрейберг не допускал. Но белочехи... Проучить белочехов — другое дело.

Фрейберга назначили командиром передового отряда Волжской флотилии. Командующим флотилией Федора Раскольников, комиссаром Ларису Рейснер.

В боях на Волге и Каме — с белочехами, деникинцами — офицер царского флота, золотопогонник Фрейберг проходил ускоренным курсом политграмоту: кому быть хозяином России, кто сын Отечества, кто его супостат. Бои написаны с командирского мостика корабля, идущего первым. В батальных сценах покоряет мужество командира, его ироническое презрение к смерти, верность воинскому долгу как чему-то высшему: воевать хорошо и обязательно победить.

Воинское мужество Фрейберга, впрочем, особого рода (как все в его судьбе и в книге), граничит с легкомыслием, безрассудством. Есть в книге такая сцена: с мостика корабля на стрежне Волги будущий писатель-баталист наблюдает, как сходятся на прибрежной равнине для смертного рукопашного боя две цепи: белые с красными. А между цепями... Мечутся спугнутые зайцы и лисы. Что делает Фрейберг? Со своим адъютантом Романовым прыгают в лодку, выгребают на берег, выцеливают пару зайцев, укладывают их на бегу и, главное, выносят, доставляют на камбуз.

Или еще такое. В боях за Царицын у белых были самолеты английского производства. Одна из сброшенных бомб не взорвалась и не давала покоя командиру передового отряда Волжской флотилии. В передышку между боями Фрейберг сплавал на берег (нашлись и еще охотники), откопали английскую бомбу, вникли в секреты ее устройства. Слава богу, все обошлось.

Самый свой безрассудный поступок Фрейберг совершил после победного окончания Волжской кампании, когда взят был Царицын. Будучи назначен командиром крейсера на Каспии, военмор не явился на вверенный ему корабль. Он погрузился вместе с братишками-матросами в теплушку (катера погрузили на платформы), отправился на Байкал воевать с Колчаком. На Каспии боевых действий не предвиделось, Фрейберг развоевался, вошел во вкус.

За невыполнение приказа в военное время что бывает?.. По счастью для Фрейберга, приказ Главкома о

назначении получили, а приказ о предании дезертира Ревтрибуналу уже не застал обвиняемого: военмор Фрейберг принял на себя командование Байкальской флотилией, навел шороху на беляков на Священном Море.

Особый интерес в рукописи Фрейберга представляют страницы о том, как ехали на Байкал — целый месяц. Как в песне поется: «Наш паровоз, вперед лети...» Паровоз летел, тормоза не держали. Сибирская магистраль в Предуралье, на Урале и в Зауралье — с горы на гору, да с виражами. Состав разносило, теплушки мотались на ходу, как флажки на ветру. Любителю острых ощущений Фрейбергу и этого было мало; он ехал... на носу паровоза, на крохотной площадке с решеткой ограждения. Сбылась его мечта увидеть Сибирь. О сибирской тайге он мечтал, поступая в Лесной институт.

После наведения тишины на Байкале отряд балтийских матросов отправился из Иркутска в Якутск (что было дальше, мы знаем: бросок через хребты на Охотское побережье). В Иркутске отряду придали два броневика. В баки налили спирту и в запас прихватили: другого горючего не было. С особенным энтузиазмом сопереживания описана процедура заправки боевых машин. Водители брали во рты трубки от емкостей со спиртом, подсасывали горючее... Глаза их вылезали из орбит... Затем на лицах проступало истомно-блаженное выражение... Водители отваливались от заправочных шлангов, погружались в нирвану. Понятно, что горючего не хватило и на один переход.

После Байкала и Аяна Фрейберг воевал на Амурской флотилии. Когда и тут боевые дела удачливого на войне военмора завершились победой и негде стало воевать, Фрейберг с адъютантом Романовым сели в идущий на запад поезд, в теплушку с нерасстрелянными снарядами — они еще могли пригодиться. Снаряды с невывинченными взрывателями катались по полу теплушки, боевые друзья философически покуривали на нарах.

Адъютанта Фрейберга Романова я еще повидал в Домовичах. Моложе годами Фрейберга, он выглядел дряхлым старцем рядом с не поддающимся старчеству командором. После гражданской войны Романов остался кадровым военным, в двадцатые годы стал чемпионом Красной Армии по прыжкам в высоту (чемпион-

ская высота была тогда другая, чем нынче). Фрейберг не раз сообщал мне с гордостью об этой высшей точке на жизненном пути своего адъютанта, как будто прыгнул сам выше всех.

Книга жизни Евгения Фрейберга не кончается его возвращением в Петроград. В Петрограде Евгений Фрейберг явился к отцу; разговор у сына с отцом получился нелегкий. Отец приискал сыну место, а сын... в скором времени трясся в теплушке туда, откуда приехал по великой Сибирской дороге, с мандатом Лесного ведомства в кармане, в должности лесоустроителя — в забайкальскую тайгу. Он ехал на собственный кошт, страх и риск, без какой-либо экипировки и денежного довольствия.

Потом военмора найдут в забайкальской глухомани, направят начальником на Командоры (более подходящей кандидатуры не сыщется). Но это уже другая книга. Повествование «От Балтики до Тихого» заканчивается в забайкальской тайге.

Много ночей я провел над рукописью Фрейберга: делал купюры, спрямлял, вписывал связующие периоды, соображал, что можно, а что не можно. С чувством неловкости принес папку ее хозяину, полагая, что Фрейберг не согласится с моей правкой: такое тонкое дело — чужая жизнь, исповедальная проза...

Евгений Николаевич собрал морщины в улыбку. Глаза его, как всегда, исполнены были холодно-голубоватого света, глядели издалека. «Черт его знает... Вы думаете, так лучше?... Я этих штучек не понимаю... Писал по правде, как было... Ну, вам видней...»

Выправленную рукопись перепечатали. Я отнес ее в журнал. Мы с автором ждали, ожидание вышло долгим, долее отпущенного автору жизненного срока...

Евгений Николаевич Фрейберг умер тихо. Прилег на диван и заснул вечным сном. Я лежал в ту пору в больнице. Мне сообщили о дне похорон. Мой лечащий врач меня отпустил...

Дело было зимой, морозным, солнечным, снежным днем. Могила на Зеленогорском кладбище сокрылась под пушистыми, искрящимися сугробами. Гроб с телом Фрейберга несли по целику. Шип невидимой под снегом железной ограды легко вошел в подошву ботинка, вонзился мне в ногу. В ботинке захлюпала кровь.

Лицо покойного было спокойно, как это бывает у

человека, исполнившего на Земле все дела. Прощаясь со мною, Фрейберг как будто напомнил о завещанной мне своей книге, я остался в долгу у него.

Вернулся в больницу, мне обработали рану на ноге; скоро она зажила.

Первая часть книги Фрейберга «От Балтики до Тихого...» напечатана, вторая дожидается своего срока: мертвые авторы гораздо терпеливее живых. Иногда (очень редко) мне звонит Тикси Евгеньевна, спрашивает: «Как папины дела?» Я отвечаю, что надо еще подождать, не теряя надежды.

Чужие рукописи остаются с нами, как наши сердечные боли.

ВСЕГО ДВЕ БОМБЫ...

Пока у меня на столе лежала папка с сочинениями Фрейберга «От Балтики до Тихого...», я, бывало, хаживал, как по азимуту: Анциферово — Внуто — Ерзовка — Домовичи или: Любытино — Никандрово — Домовичи. Однажды прошел из Домовичей на Сестренки — Кончанское — Боровичи, но эта дорога кружная, с ночевкой...

До станции Анциферово на «пассажире», сохранившем скорость движения, запахи угля, пара, смазки в буксах, хлорки и всего прочего — с незапамятных довоенных лет моего детства...

Сначала Неболчи, потом Анциферово. В Неболчах поезд стоял то больше, то меньше, все было зыбко, неторопко на этом поезде. Скрежетали, ныли, страдали его сочлененья, суставы, лязгали буфера.

На станции Неболчи я обращался памятью в детство. То есть память сама зажигала сигнальную лампочку. В Неболчах что-то случилось такое — осталось во мне навсегда, берedit, как шрам на сердечной мышце, привычный, пожизненный; то молчит, то заноеет...

Летом сорок третьего года мы жили в Тихвине, наша семья. Ко мне погостить приехал из Пестова Юрка Елисеев: нам было с Юркой тогда по двенадцать лет. Мы с ним дружили с первого класса Вырицкой школы. То есть дружили наши матери, наши отцы работали вместе... Война приблизилась к Вырице непостижимо скоро. Нас погрузили в газогенераторную трехтонку

и увезли в Пестово. Когда немцы взяли Тихвин, война опять приблизилась к нам. Одним хватило силенок ехать дальше в глубокий тыл, другие остались — на волю бога войны. Наша семья доехала до Мантурова на Унже, Юркина семья осталась в Пестове на Мологе.

В сорок третьем году прорвали блокаду Ленинграда, отец прислал нам вызов, мы приехали в Тихвин. Юрка с братом и матерью так и жили в Пестове. Наши матери отыскиали друг дружку, списались. Из Пестова в Тихвин можно было добраться на товарняке, к которому прицепляли в хвост пассажирский вагон. Юрку мать усадила в этот вагон в Пестове, в Тихвине мы его встретили.

Мы с Юркой обменялись приобретенным за два года разлуки опытом, предались тем делам, которыми занимались тихвинские мальчишки летом сорок третьего года: удили рыбу на Тихвинке, даже, помню, ставили переметы; рыба тогда хорошо ловилась — налимы, окуни, подлещики, судаки. Но, главное, мы шастали по лесам. Приносили из лесов не ягоды, не грибы, а патроны, шашки тола, запалы, гранаты. Один раз приволокли тайком винтовку-трехлинейку образца 1891/30 года. Напильником отпилили полствола, получился обрез. Стрельнуть из обреза было нам страшновато, а надо. Кому-то из тихвинских мальчишек (то есть из эвакуированных ленинградских), башковитому, пришла простая, в своем роде гениальная — на уровне мальчишечьей вольницы военной поры — идея: вырыть землянку, поместить в ней обрез, закрепить, зарядить, взвести затвор, к курку привязать шнурок и дернуть.

Землянку мы вырыли в рекордно короткий срок (потом она еще нам послужила штабом), все сделали как задумано было. При дерганье за шнурок (дергал наш заводила) испытали те же волнения, что испытатели первой атомной бомбы, взорвавшие ее под землей...

Да, так вот... Быстро пролетели денечки нашей с Юркой тихвинской жизни (с тех пор мы ни разу не встретились с ним). Юрка ждал свою маму из Пестова. Она сообщила, что выезжает. Мы всей семьей встречали ее, но поезд не пришел из Пестова ни в положенное время, ни на следующий день.

Наводили справки, узнали, что поезд разбомбили в Неболчах, убило одну женщину. В Неболчи поехала моя мама. Она вернулась и ничего не сказала Юрке. То

есть сказала, что его мама вернулась в Пестово. Юрка насупился, хлюпал носом, не давал пролиться слезам, но глаза его стали мокрехоньки. Мы посадили Юрку в поезд, и он уехал.

Моя мама плакала по Юркиной маме. Как начнет рассказывать, так и плачет. И все мы ревели белугой, вся наша семья. «Ее убило осколком в грудь, — рассказывала мама. — Она лежала на столе, в черном платье, красивая, молодая. И коса у нее заплетена, на груди сложена... Он, гад, всего две бомбы сбросил, одной паровоз разбило, другая в стороне упала; Надежда сидела у окна, осколок в окно залетел и прямо ей в грудь...»

В ту пору враги-стервятники залетали к нам в тыл по ночам — ночи стояли белые — поодиночке, крадучись, сбрасывали бомбы наиподлейшим образом: на селенья, мосты, вокзалы, составы. Война денно и нощно обрушивала горе, кровь, слезы на каждую семью, где бы она ни жила, с изуверской жестокостью подкашивала не только отцовский корень, сыновьи побеги, но и материнский несущий стебель. Жертвы, понесенные не в бою, учтены лишь в семейной памяти, впечатаны в судьбы детей.

СТРЕЛОЧНИЦА

На станцию Анциферово поезд приходил ранним утром, в медленно рассеивающемся сумраке ночи. Нужно было пройти по путям до будки стрелочника; там переезд и дорога. Однажды, помню, из будки вышла стрелочница с желтым флажком. То есть она вышла раньше, проводила поезд и еще дожидалась чего-то, не уходила в будку. Она дожидалась идущего по путям мужика в резиновых сапогах с заколенниками, с мешком и ружьем за спиной. Она меня дожидалась, я приближался к ней, все явственнее видя сильную, по-крестьянски крупную девическую фигуру в обтянутом, тонком, коротком летнем платье — видно, стрелочница вскочила со сна с постели к поезду — с белеющими ногами. Во всем облике стрелочницы было нечто весеннее, томное, еще не совсем проснувшееся, готовое ко всему. Волосы, не собранные под красную фуражку, рассыпались по плечам.

Близко к насыпи стеною стояли березовые, осино-

вые, ольховые молодые леса, налитые соком, подернутые желтым пухом, первой прозеленью разинувших клювы почек. Пахло водой, травой, вербой, мать-мачехой, клекотали лягушки, постанывал чибис.

Стрелочница подпустила меня на расстояние первого возгласа — с моей стороны. Ну, например: «Доброе утро!» Или: «Вам не страшно одной? Как пройти на Внуто? Ну что, крушений не было?» Или еще что-нибудь в этом роде. Шалое легкомыслие донимало меня, но я промедлил с возгласом... Стрелочница с видимой неохотой удалилась в будку.

В будке чернело окошко, видящее изнутри, непроницаемое для взоров извне. Постучаться в будку к стрелочнице, в ее служебное помещение, куда посторонним вход воспрещен, решительно не было повода. Мгновенное уныние утраты тотчас сменилось радостью несвязанности ни с чем на свете, даже с этой будкой.

Дорога из Анциферова в Домовичи шла сначала борами, песками, беломошниками, ельниками, затем грядами холмов с частоколом березок, осинок, заросшими черемухой оврагами, пашней, лужайками с сивой травой, кустами можжевельника, повсюду насыпанными зайцами табачными катышами.

И — в гору, в гору; на горе село Внуто, церковь с зеленой луковкой, с колоколенкой, ухоженная, расписанная как пасхальное яичко. Церковь действующая, созывающая божьих старушек со всей округи: из Ерзовки, из Домовичей, из КлеЩИНЫ. В церкви есть поп, у попа попадья; с ним не удалось повидаться, а жаль, интересно. Все интересно, все внове: навидался ты этих пейзажей, наслушался журчливых, как вешняя вода, речей новгородских старушек, а как весна, взойдешь на гору к внутовской церкви, оглянешь синие дали, блескучие озерные промоины, выбеленные полотенца березняков — и сердце сожмется в предчувствии неизведанного, небывалого; от земли оторвешься, в небо воспаришь...

Из Внуто в Ерзовку — под гору; ольшаники по колено в воде; тропа то ли есть, то ли нет; где брошены жердочки, где с кочки на кочку в ямку бух! Чудо как хорошо! Опять вздынешься в сухую боровину, минуешь поля непаханные, несеянные, луга с не кошенной прошлым летом (и позапрошлым) травой, изгороду с поваленными воротцами, войдешь в деревню Ерзовку, в

излуку реки с высокими берегами встроенную, с избами поверху, банями понизу у воды, с мостом, просевшим через реку, с бабками, старичком, а то и парнем (девки не видел ни разу) у магазина. От Ерзовки до Домовичей рукой подать.

ПРЯМИК

Однажды, не доходя Внута, я взял влево (должно быть, задумался на развилке о стрелочнице), пришел в незнакомое мне село. Как вымахнул из лесу в поля, так и понял, что залевел. Внута эвон где, маковку церкви видать... Тащиться обратно — грязи месить, киселя хлебать... И должен же быть прямик из этой деревни в Ерзовку, в Домовичи. Не ходят же здешние вкругаля. Нашелся местный, удостоверил: «Есть». «А как со снегом, сошел ли?» — спросил я его. «Не знаю, не хаживал, вроде не должно быть сильно снежно, весна дружная». Ладно, иду прямиком.

Прямик оказался утопным: попадали ручьи и целые реки в снежно-кисельных берегах. Я тешил себя надеждой, что вот ужо выпростаюсь из хляби, вздынусь... Проваливался по пояс, ложился грудью на снег, выдергивал ноги... Хотелось заплакать, но слишком мокро было и так: в каждом сапоге по ведру воды.

Выломился на дорогу в старом еловом лесу. По дороге зимою ездили, утоптали снег — образовался снежный вал, не протаял, раскис. Идти по нему было не вмоготу. И за обочину не свернешь: не пускали набухшие водой сугробы и в бессолнечном сумеречном лесу.

Пришел в Домовичи. Сел на крыльцо той избы, где меня и не ждали, вылил воду из сапог, размотал портянки, пошевелил пальцами. Дорога сразу забылась, как забывается все худое. Да и худо ли — чапать в весеннем лесу, слушать шурханье снега, купаться в снегу по-снегирьи...

НОВГОРОДСКИЕ РАЗЛИВЫ

В другую весну я добрался в Домовичи от заозерного Никандрова. А в Никандрово... О! Так мне везло в ту весну. Я выехал спозаранок, на выезде с Лиговки

на Московский проспект увидел радугу, прочерченную на небе без изъяна, над Московскими воротами восставшую — ворота удачи. И все пошло как по маслу. До Новгорода докатился коломом. За Новгородом заблестели, запереливались, засинели, зарябили, затуманились под облаками новгородские разливы — озерца, протоки, старицы. Явили свою несказанную красоту-печаль одинокие, как старушки, идущие полями из Клешины в Ерзовку в магазин за хлебушком, новгородские церкви — указующие персты той Руси, откуда мы родом-племенем.

Под Крестцами в разлюли-малинной харчевне на русский лад (не то в «Ладе», не то в «Любаве») похлебал очень русского хлеба из горшочка. На второе съел не менее русское блюдо, тоже из горшочка. Запил все клюквенным морсом. В «плепорции»: одна клюкви-на на стакан, зато сладко, сахару не жалеют. А после еще взял чаю из русского самовара, с калачом. И дальше помчался.

На повороте от Валдая к Боровичам посадил в машину бабушку. Порадовался за бабушку и за себя: ей не надо ноги ломать и мне засчитан добрый поступок. Смирненно выслушал бабушкино напутствие: «Помоги тебе бог». Высматривал на дороге еще попутчицу, всем сердцем готовый к доброхотному извозу, но больше попутчиц не посылал мой незримый ангел-диспетчер: одну прокатил, и довольно, многого хочешь.

В Боровичах налил в бак бензину. Местный таксист указал дорогу на Любытино. Настал момент съехать с асфальта, пустить «жигуленка» на не езженную сей год колею проселка, погрузиться в леса, как в вешние воды. Дорога то забирала в гору, то полоскалась в ручье, то пропадала в луже. И лось выходил посмотреть на меня, и заяц вымахивал, в белых порточках, и гуси шли на снижение, и кряквы крякали, подымаясь с воды. Я останавливался, глушил мотор, слушал, как пересвистываются рябчики. В бору на песках оставили след глухари. Прямоком по дороге прошел куда-то барсук. Ископытили глину кабаниха с кабанчиками. Что-то большое, бурое оказало себя в подлеске. Медведь? Он самый!

Все шло хорошо до тех пор, покуда... Впереди на болотной низине отсвечивала в колеях бурая вода, подернутая маслянистой пленкой. Прошел, измерил глуби-

ну, пощупал днище. Все было худо, и объехать нельзя, тем более возвратиться: спидометр уже отсчитал пятьсот километров — от дому до этой лужи. Поехал, сел на брюхо (раньше шоферы говаривали: «Сел на дифер»). Вырубил осиновою чурку, увязил ее в грязь, установил на ней домкрат... Поддомкратил все четыре колеса, подвел под них слези. Судорожно рванулся вперед — и увяз капитально. Болото булькало подо мною, пускало пузыри. Солнце скоро, как космический аппарат на парашюте, опускалось в лесную чащобу, свет его багровел, тени трагически удлинялись.

Я пошел по дороге, не зная куда, оставил мой «жигуленок» — такой неуместный, ненужный, неприкаянный в вечернем болотном пейзаже, в неколыхнутой новгородской ляге. Мой ангел-диспетчер и в этом разе оказался милостив ко мне. Вскоре я слышал собачий лай, вышел к желанной деревеньке. Старик со старухой копали гряды под картошку, сочувственно выслушали мой рассказ, снабдили меня горбылями. Я поволок горбыли, понимая, что ими не вымошу болото. Но надо было испытать этот шанс, другого пока что не представлялось.

Ну, это и ежу понятно, на двух горбылях болота не переедешь...

Опять пришел к старикам за советом. Больше советоваться не с кем в новгородских лесах, до диспетчера не докричишься.

Старик мне сказал:

— Иди в Никандрово, ищи тракториста. Там должен быть тракторист. Он тебя выдернет.

Старуха меня пожалела:

— Что же вы одни в такой путь пустились? Жена-то есть ли?

— И жена при мне есть и дети, все как у добрых людей, — заверил я лесную жительницу.

— Дойдет, — внес свою мужскую ноту дед, — тут идти-то чего — шесть километров, ноги длинные. Тракторист должен быть, пахота дак...

В Никандрове я спросил тракториста, меня направили в поле. С поля доносился тракторный гул, хотя свечерело. Я в поле — и трактор мне навстречу. Мой диспетчер и это предусмотрел. Запас удачи, удостоверенный радугой над Московскими воротами, все не исчерпывался в этот весенний день. Старик со старухой нам

помахали, когда мы протарахтели на тракторе мимо их избы.

Тракторист выдернул моего «жигуленка» на твердое место. Я сел за руль, тихо поехал следом за трактором. В Никандрове попросился в крайней избе (с домовической стороны) оставить моего коня на подворье. Мне милостиво разрешили:

— Пусть стоит, исть не просит.

Тогда мы взошли с трактористом на горку, я достал из мешка то, чем следовало увенчать этот день удач, вознаградить одного из тех, кто споспешествовал удаче (по наряду моего ангела-диспетчера). Мы посидели на пригорке, послушали пенье дроздов, приподняли наше и без того доброе настроение. Вдруг тракторист запел песню о березовом соке, уместную, своевременную посреди налившихся соком берез. Мы с ним простились не то чтобы друзьями, но... нашли друг в друге нечто такое, единоутробное. Мои родители тоже родом из Новгородчины...

От Никандрова до Домовичей я пробежал за милую душу. По пути завернул в сбежавшее к озеру селеньице, постучался в дом. Никто в доме не удивился позднему визиту, ни о чем у меня не спросили, усадили к столу, накормили-напоили. Хозяева дома все обо мне знали и так, без расспросов, и к кому я иду, по какому случаю. В лесной новгородской глубинке очень развиты средства немассовой — от соседа к соседу — информации, магазинная почта. В доме, куда я зашел по пути из Никандрова в Домовичи, знали даже присвоенную мне однажды на никандровской почте фамилию: «Корюшкин».

КОРЮШКИН

Дело было так... Еще жива была моя мама... Все удачи, все вёдро, подарки судьбы, счастливые концовки исходили от мамы, она была моим ангелом-хранителем во плоти. Жить при маме одно, без мамы совсем другое, кой бы ни минул тебе годочек...

Я и при маме забирался, бывало, в новгородские чащобы; возможно, меня заводили туда мамины-папины гены. Мама переживала за меня. Я мучал маму: уйду —

и как в воду кану. В новгородскую глушь не дозвонишься, телеграмму тебе доставит разве что медведь...

Однажды, придя в Домовичи (пешком от Анциферова), я был направлен с внучатым племянником Евгения Николаевича Фрейберга Колькой (Колькой звал его Фрейберг, видя в двадцатичетырехлетнем детине как бы недавно явившегося на свет племяша) на глухариный ток под Никандрово. Ток давненько не посещался. Кольке сообщили приметы тока; Колька живал тут каждое лето, с тех пор как явился на свет. Меня обнадежили: «Колька знает, найдет».

Место сыскалось, хотя сообщенные приметы не все совпали с действительностью. Лес, в котором играли, бывало, мошники, срубили, осталась кулиса. Старые глухарятники в Домовичах, помоложе Фрейберга, но из одного с ним клана, жили картинами прошлого; время остановилось для них, как загнанный в тупик отслуживший-отъездивший, отпыхтевший паровоз — для машиниста.

Мы с Колькой зажгли костер на вырубке; дров было вдоволь, а елки ни одной, чтобы укрыться под ней, если дождь. Вечернее небо не предвещало дождя. Дождь подкрался, как враг, хлынул на наши бедовые головушки. У Кольки нашелся на такой случай кус брезента (дедова наука), под ним мы и коротали ночь, прижавшись друг к дружке, делясь: я тем, что было; Колька остро переживал грядущее, предстоящее ему, неведомое (приехал к деду накануне защиты диплома).

Дождь не переставал всю ночь; утром разъяснило. Мы вылутились из-под брезента, отряхивались, как мокрые псы. Пошли не в Домовичи, а в Никандрово, в магазин. Стоило нам появиться в деревне, как из почты кинулась нам навстречу почтарка.

— Кто из вас Корюшкин? Корюшкина разыскивают, телеграмма пришла.

Колькина фамилия и близко не подходила под «Корюшкина». Я тоже было отрекся, но почтарка настаивала на своем:

— Это вас ищут. Я сразу на вас подумала. Больше у нас таких нет.

Почтарка разглядывала меня, служебная суровость боролась в ней с природным усмешливым любопытством. Представьте себе великовозрастного горожанина, просидевшего ночь в лесу на кочке под мокрым брезен-

том в обнимку с незнакомым ему парнем. Поставьте себя на место никандровской почтарки. Представили? Ну вот...

Чем долее я глядел в осуждающие, усмешливые глаза молодой никандровской дамы, тем более сознавал, что Корюшкин — это я. Больше, правда, некому. Мою фамилию Горышин мало кто, из впервые произносивших ее, мог выговорить правильно, тем более написать на бумаге. Мне доводилось быть Горышкиным, Горышевым, Горюшкиным (слышите, уже близко к Корюшкину), Горшениным, даже Горшковым...

Телеграмму прислала моя мама, в Никандровский сельсовет, просила сообщить, неизвестно ли местонахождение Корюшкина. Обозначались — на телеграфном языке — и мои основные приметы.

...Уезжая, я обещал маме вернуться через четыре дня, прогулял по лесам неделю. Мама не допускала неточности в обещаниях, не принимала в расчет малейшей неверности слова. Жизнь не научила мою маму растяжимым понятиям, допускам — даже в три дня.

ПОЛНО ЗВЕРЕЙ

Иногда мне приходит на память новгородский жихарь (так зовут на Новгородчине сельских жителей) Иван, из деревни Клещина, один из множества встреченных мною в наших лесных краях Иванов, Ванек, Ванюшек. Чуток покалеченный на войне, клещинский Иван занимался охотой (я встретил его в начале семидесятых годов), в летнюю пору ловил кротов, сдавал кротовые шкурки. Хозяйка Ивана была продавщицей в Ерзовке, утречком убегала в лавку за шесть километров, вечером возвращалась, само собою, притаскивала необходимый в доме припас. У Ивана было свободное время. Он все его посвящал рисованию картин войны, последовательно; начал с первого боя на границе, не пропустил ни одного важного события: блокада Ленинграда, победа под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, форсирование Днепра, — не только общие панорамы, но и частности, что сохранилось в солдатской памяти: полевая кухня, воздушный бой, смерть бойца, залп «катюш», сестра в медсанбате...

Когда я в первый раз зашел в избу клещинского Ива-

на, художник только что закончил панно «Взятие рейхстага» и приступил к «Салюту Победы в Москве». Картины он писал масляными красками — за красками ездил сам в Новгород — на обоях, однажды завезенных в Ерзовку (по заявке хозяйки Ивана), с обратной стороны. Историю войны клещинский Иван писал с таким расчетом, чтобы хватило обоев: салют Победы — и все, война кончилась, и обои кончились. Кроме военных сюжетов Иван никогда в своей жизни ничего не рисовал, ему даже в голову не приходило взяться за кисть по пустякам.

...Мы сидели в избе Ивана — нас было трое, — к стене был приклеен лист обоев с начатым «Салютом», на лавке коробка с красками, картонка с пробными мазками — палитра, кисть. Хозяин оторвался от любимого дела, в продолжение разговора поглядывал на картину, что-то прикидывал, был немножко рассеян. Разговор наш касался охоты; ружья мы составили в сенях. Зная о кротовом промысле Ивана (в округе все про всех знают), мы о кротах и спросили, как нынче с кротами.

— Кротов полно! — ответил Иван, со спокойной уверенностью в неисчерпаемости кротовых ресурсов, стал дожидаться следующего вопроса.

Кто-то из нас спросил о медведях, каково с медведями.

— Медведей полно! — с энтузиазмом завершил клещинский художник.

— А глухари?

— Глухарей полно!

— Тетерева?

— Тетеревей полно!

— А лоси?

— Лосей полно!

Наш разговор стал походить на викторину: кто вспомнит такого зверя или птицу, чтобы поставить в тупик экологического оптимиста из Клещины. Викторина нас увлекла: чужой оптимизм заразителен; это — редкая вещь в наше время...

— А зайцы есть?

— Зайцев полно!

— А лисы?

— Лис полно!

— А как с волками?

— Волков полно!

Наши познания в области местной фауны иссякли. Иван спокойно держал над нами верха.

— Куницы есть?

— Куницево полно!

— А барсуки?

— Барсуков полно!

— А рябчики?

— Рябчиков полно!

Наступила пауза. Хотелось спросить про крокодилов, но не поворачивался язык. Кто-то выскреб из памяти:

— А выдры?

— Выдров полно! — подвел Иван черту под нашей беседой.

На клещинской улице в три дома нас поджидала старушка, жительствующая в ту пору в Клещине. Оглядела нас радостными, чуть слезящимися глазами.

— А я гляжу у окошко, кто такие идут? Как Литва...

Через века в сознание клещинской бабушки просочилась память о литовском нашествии на Новгородчину; с тех пор на клещинской улице не бывало такого многолюдства: мы первые после Литвы...



НЕ ТОЛЬКО
О ПОГОДЕ



АЛТАЙСКИЕ ДНЕВНИКИ

I

Телецкое озеро. Карагай. Ранняя осень 1976 года. Вечер. Таковы отправные точки этого дневника. Пишу его поодаль от костра, но все же пользуясь его теплом. Сядет солнце, и я приближусь к костру.

Карагаем зовут южное побережье озера. Вообще-то мыс — Карагай, но и подошва горы, и каменистая терраса, поросшая лозой и калиной, и галечный пляж, озер-

ные заплески — все это Карагай. Можно идти Карагаем от устья реки Чулышман до горы Тоолок; тут — прижим, дальше идти нельзя. Перед тобою Кыгинский залив. Реку Кыгу не видать из-за крутого бока горы. Можно залезть на гору — я знаю, лазил — пощипать черной и красной смородины (красную тут зовут кислицей). Ближе к вершине горы, в пихтовнике есть меченая затесками тропа. По ней бегали на воскресенье домой из школы-интерната, из Кайру, дети Доры Захаровны и Николая Павловича Смирновых — вон туда, на ту сторону залива, на таежную заимку, в родительскую избу, поставленную в устье далеко слышной горной речки Чири. Там пост гидрометеослужбы.

Округлые камни. До белизны высушенный солнцем плавник. Солнце садится. Дует низовка — северный ветер. Низ озера — там, на севере, в семидесяти километрах от Карагая. Тут — верх. Утихнет низовка, задует верховка, хорошо разогнавшись в долине Чулышмана, погонит белые гребешки волн сверху вниз. Потом опять снизу вверх. Телецкое озеро вечно движимо двумя встречь друг другу летящими ветрами: низовкой и верховкой. Но никогда не встречаются ветры, у каждого свое время — дуть.

Горит костер, сложенный из плавника, споро горит, синеватым пламенем.

На той стороне залива виден дом Николая Павловича Смирнова. Я жгу костер, наваливаю в пламя лапник, чтобы было побольше дыму. Надеюсь, старый водомер приедет на дым. Бывало, лет пятнадцать назад, приезжал, таков был условный знак: костер у прижима на Карагае означал, что кому-то явилась нужда побывать у Смирновых, по делу ли, по дружбе, по родству или просто так, из любопытства... Николай Павлович сидел в лодочку с деревянными уключинами, за самодельные весла, перевозил. Или отряжал кого-нибудь из сыновей. Детей у Смирновых было семнадцать...

Костер мой исправно горел и дымил, но лодка с той стороны не отчаливала. Мой старый добрый знакомый не торопился заключить меня в объятия. Я и сам понимал, что пускаю дым на ветер: по всему Карагаю, от Тоолока до Чулышмана горели костры. За пятнадцать лет, что я тут не был, Телецкое озеро превратилось в туристический водоем. Хотя... Озеро осталось холодным,

туристу в него ни нырнуть, ни поплавать. Я когда-то нырнул, долго плыл, на самой заре моей туманной юности. Заря была так горяча (юность глупа), что, кажется, при погружении моего тела в студеные воды озера Алтын-Кёль (таково его название по-алтайски) слышалось шипение. После купанья я год провалялся в больницах с полиартритом...

Туристы добрались-таки до Телецкого озера, но озеро им не дается. Рыба на удочку не берет. Озеро имеет форму сапога с длинным голенищем, вытянутым с севера на юг. Восточный и западный берега неприступны: отвесные скалы. К тому же восточный берег, от поселка Яйлю до Чулышмана, — граница Алтайского государственного заповедника. Туда вообще никому ни шагу. Теплоходы скользят по озеру, вверх и вниз, но винты их не могут замутить озерные воды. Глубина Телецкого озера — до 350 метров. Средняя температура воды $+4^{\circ}$. До дна никто не доныривал, никто не знает, что там.

Озеро отдало туристам свою северную горловину, южный берег — Карагай, дельту Чулышмана. В горловине озеро собралось в поход, скоро станет рекой — Бией.

На правом берегу Бии, у истока, поселок Артыбаш, турбаза; на левом Иогач, там леспромхоз, переводящий на древесину знаменитый алтайский кедр.

Бии долго катить свои воды, кипеть на порогах, огибать утесы-бомы, до встречи с Катунью. Две реки сольются, и будет Обь. Говорят, что название — Обь — означает: о б е, то есть Бия с Катунью.

Еще говорят, что О б ь от тюркского о б — вода.

До Оби далеко. Прежде, помню, от Иогача до Бийска плотгоны сплавлялись за трое суток. Была такая профессия на Бии — плотгоны. Она отличалась от других профессий, как, скажем, моряк отличается от речника. То есть за гребь мог взяться каждый, у кого хватало силенки (гребь вытесывалась из цельного пихтового хлыста). По праву славились бийские лоцманы — особая статья, детинушки на подбор. Дикие туристы вроде меня — их было немного в ту пору — напрашивались к лоцманам сплавляться по Бии. Заманчиво, всем хотелось. Те брали. А что им, жалко? У туристов екали сердчишки на порогах: Кипяток, Бучило, Привоз...

Теперь кидают в Бию бревна, ведут молевой сплав. Что-то тонет, а что-то и доплывает. Не знаю, насколько это экономически выгодно, едва ли кто считал, во что обходятся топляки, захламление речного русла, отравление воды. Конечно, гнать лес «мулём» проще. Плотогонство было искусством; смотреть загляденье, как несутся большие плоты по красивой реке, искусные лоцманы у рулевых гребей командуют зычными голосами: «Ле-во! Пра-во!» Ни одна лесинка не тонула, не пропадала, не портила Бию.

Бывало, сплaviшься от Иогача, ну, хотя бы до Турачака, — садись и пиши рассказ про бийского лоцмана. Каждый лоцман того стоил, всякий рейс имел свой сюжет. Мой самый первый рассказ, напечатанный в 1957 году в журнале «Нева», назывался: «Лучший лоцман».

У реки иная жизнь, чем у озера. Реку давным-давно обуздали, захомутали, впрягли в работу. Река привела людей к озеру. В речной долине построили дорогу, от Бийска до Артыбаша. По реке провели теплоходы, пустили их в озеро. И потянулись на озеро вереницы людей — туристы...

Только Главное Озеро сохранило себя. Его берега неприступны, его глубины непостижимы и холодны.

Дует низовка, бежит покатая волна. Горит костер. Сидит у костра моя дочка Аня, строгаёт ножом корявую, обглоданную озером палочку. И я сижу на палом березовом стволе, долго живший, изрядно уставший — от самого себя. В моей жизни бывало хорошее и плохое, как в любой человеческой жизни. В ряду хорошего — в самом первом ряду — вот это Озеро. Озеро моей молодости...

Отсюда родом дочка Аня. Было раннее лето. Мы с женой спустились долиной Чулышмана к Телецкому озеру, зажгли на Карагае костер. Николай Павлович Смирнов перевез нас к себе на заимку. Цвели яблони в его саду, благоухали травы. Гудели пчелы, по вечерам пели дрозды. Нам было с женой по двадцать пять лет. Мы коротали наши звездные ночи (такого множества звезд, как над Телецким озером, я нигде не видел) на берегу у костра. И родилась дочь Аня — наше дитя...

Едва ли Николай Павлович приедет за мной, сколько бы я ни пускал дыму в небо...

Но я до него доберусь. Вот поживу на Карагае и доберусь...

Западный берег озера сделался черен. Горные кряжи обозначили свой профиль на заревом небе. Восточный берег все еще зеленеет, контур гор там мягче. И я помягчел за этот вечер на Карагае, смог взять в руку перо, писать то, что вижу, что оживает в моей душе. Добрался досюда заскорузшим, усталым, полууснувшим от кислородного голодания. И вот просыпаюсь; спасибо Озеру, в котором нельзя купаться, нельзя поймать никакую рыбу (чужим, пришлым рыба на Телецком озере не дается; только бывалым, своим).

Гляжу на Озеро, обращаюсь к нему с внутренним монологом: «Озеро, помоги мне вернуться к себе самому, молодому. Я же к тебе вернулся, ты видишь... Я тебе изменил, ушел от тебя на долгие годы, грешил с другими озерами, реками и морями. Но я вернулся, ты слышишь меня?.. И привел с собой дочь...»

Горит костер, летит над водой дым. И ни души. Только мы с дочкой. И Озеро. Дует низовка...

Сегодня пасмурно. Низкие облака. Ночью плохо спалось в палатке, хотя душа была спокойна. Чтобы крепко уснуть в палатке, надо за день изрядно устать. Да и то... Сквозь тонкое полотно палатки до тебя доходят вздохи, шепоты, таинственные излучения вечно бессонного мира. Разговаривали с дочкой о разных разностях. Дочка моя умна, но, главное, она чувствует, у нее умная душа, и уже где-то она успела натрудить свою душу. Дочке моей двадцать лет, но она как будто и не младше меня.

Утром по озеру плыли черные гоголи. Стая гоголей, пять птиц. Они хлопали крыльями по воде. От туристского лагеря школьников «Медвежонок» на Карагае отвалила моторка. Какой-то злостный дурак хлестал дробью по выводку хлопунцов. Желание убить и съесть в нем было превыше всего другого. Охотился, должно быть, инструктор турбазы, значит, воспитатель. Дети смотрели, проходили урок...

Залетел в палатку большой черно-рыжий шмель, по-

жужжал. Пролетела над водою скопа. Пискнул бурундук. Пошел второй наш с дочкой день на Телецком озере. Живем на Карагае и все поглядываем на тот берег Кыгинского залива...

В первый день мы плыли по озеру на теплоходе «Яков Баляев». Среди пассажиров я сразу выделил двух девушек смирновской породы. Какие, помню, были красавицы — дочери Смирновых! Одна за другой созревали, как яблочки в саду, несли в себе собственный знак породы: креолки, таежные феи... Жена Николая Павловича Дора Захаровна — алтайка. Дорино — азиатское, горное — прививалось к смирновскому, глубинно русскому...

Николай Павлович родом из Костромской губернии. Революцию он встретил в Петрограде. Юношей работал курьером в типографии питерской газеты. В двадцатые годы уехал в Москву, поступил на рабфак... Эти биографические данные о наблюдателе поста гидрометеослужбы в Кыгинском заливе я получил из первых рук. Хотя вообще Смирнов рассказывал о себе скупое, многое в его жизни осталось неведомым мне, темным. Рабфак он не закончил, уехал из Москвы. Резкий перелом в своем жизненном восхождении Смирнов объясняет болезнью... Потребность унести свой недуг как можно дальше с глаз людских победила иные его намерения. Надеждой избавиться от недуга ему светила уединенная жизнь в великом безмолвии сибирских таежных пространств. Уехать — затеряться — и выдюжить! Смирнов добрался до Байкала, какое-то время провел на берегах Священного моря, поохотился, порыбачил, покрестьянствовал, но не прижился. То ли климат не тот, то ли еще что, не знаю.

Какие языки, какие тропы привели Николая Смирнова на Телецкое озеро, я тоже не знаю. Известно, что он объявился в Кыгинском заливе в 1927 году. Жившие там в берестяных юртах пастухи-алтайцы встретили его по-доброму, пригрели. Это тоже известно. Потом русский пришелец срубил себе избушку-зимовье, лесу кругом хватало. И птицы-зверя в тайге, и рыбы в озере. В одной из юрт нашлась и невеста для Николая Смирнова. Как он выбрал ее, чем прельстил, с чего началась у них любовь с Дорой, играли ли свадьбу и как, то неведомо мне. Вскоре пошли дети, первых помогала при-

нять смирновская теща. После, когда не стало тещи и юрт на берегу залива не стало, Николай Павлович приобвык к этому делу сам. Детей в семье Смирновых, как я уже говорил, родилось семнадцать.

На том берегу озера, неподалеку от устья реки Чулышман жило алтайское село Балыкча. Алтайцы жили скотоводством, промысляли зверя в тайге, сеяли немного ячменя в долине, варили из ячменя свой чай — толкан. Выше по Чулышману, вдалеке одно от другого ютились небольшие селенья — стойбища: Кок-Паш, Коо. В Балыкче организовали колхоз. На другом берегу Чулышмана, в Кайру, на плодородных, возделанных землях бывшего тут монастыря, в самом начале двадцатых годов приехавшие издалека люди создали артель-коммуну, со всей горячностью молодых сердец принялись за дело... Всех их вырезала белая банда. Там же, в монастырской ограде, они и похоронены.

Когда в Кыгинском заливе учредили водомерный пост гидрометеослужбы, Смирнов стал смотрителем на посту, водомером. Он бессменно им пребывает по сей день.

На узком языке каменистой земли, принесенной рекою Чири, кыгинский водомер стал возделывать огород, потом и сад. Солнечной благодати и влаги здешняя земля получала вволю. Озеро за лето аккумулировало тепло, зимою его отдавало. Сколько в году ясных дней, сколько, когда выпадает дождя и снега, какие уровни бывают в реках и озере, какие температуры в воздухе, воде, на почве, — все это наблюдатель поста подсчитывал изо дня в день, записывал в дневник, отправлял дневник в управление гидрометеослужбы. И обязательно расписывался на каждой тетрадке: «Просьба вернуть на пост». В дневниках своих Николай Павлович писал не только о погоде...

Земли было мало. Семья росла. Смирновы держали скотину: двух коров, овечек-барашков (их частенько драли медведи), разную мелкую живность. Посту полагалась казенная лошадь. Где росла трава, там пасли скот, косили сено. Из семечка выращенный яблочный сад (потом появились груши, вишни, дыни, арбузы) Николай Павлович стал мало-помалу поднимать — по юго-западному, обращенному к солнцу, склону горы. Делал террасы на склоне, укреплял их лиственничными

сваями. Плодородную илистую почву возил из устья Чулышмана, валил ее на террасы. В трудах ему помогала Дора. Прибывающих, подрастающих детей тоже впрягали в эту работу. И работы все прибывало.

Однажды в долгое летнее ведро стали бурно таять снега на горных хребтах; река Чири хлебнула лишнего, вышла из берегов, унесла в озеро содеянное Смирновыми: избу и сад-огород. Когда река вернулась на круги своя, Николай Павлович срубил другую избу, стал чаще махать веслами, плавать за илом на Чулышман.

Яблочные семечки Смирнову присылали отовсюду. Массовый туризм пришел на Телецкое озеро сравнительно недавно, но люди текли сюда с незапамятных времен — подивиться величию, красоте самого лучшего в Сибири озера. И открывали для себя поражающую воображение судьбу человека, решившегося привнести в красоту и гармонию озерных побережий свою лепту, свой оттенок: яблочный, вишенный цвет по весне, рдение, аромат спелых плодов по осени. И уже не забывали об этой судьбе, о телецком садоводстве, слали в Кыгинский залив кто чем богат.

Николай Павлович всегда вел обширную переписку, получал посылки и непременно одаривал каждого доброхота — телецкой копченой селедкой, тайменем, кедровыми шишками. Я помню, при первом нашем знакомстве со Смирновым он попросил меня прислать семена многолетних трав: тимофеевки, ежи сборной. Я выполнил его просьбу и вскорости получил духмяную посылку с дарами озера и тайги.

Что было противно природе Смирнова, так это анахоретство, замкнутость. Он жил в отдалении от городов и селений, однако открыто, у всех на виду.

Выращенные из семечек в его домашнем питомнике побеги яблонь — южных, среднерусских, мичуринских гибридных сортов — приживались на здешней почве, плодоносили. Он научился их скрещивать, выводить свои сорта, скороспелые и поздние, сладкие, крупноплодные. В этом деле ему помогал советом и семенами восприемник Мичурина в Сибири, основатель садоводства на Алтае Михаил Афанасьевич Лисавенко. И еще Дмитрий Степанович Рачкин, тоже телецкий садовод, живущий на северном берегу озера, внизу, в

поселке Яйлю. Этот поселок можно счесть за столицу озерного края: в нем контора заповедника, лесхоз, озерная станция, опорный пункт научных исследований.

И вот настало такое время, когда молва о смирновских сладких яблоках достигла ушей финорганов. Приезжали фининспекторы, обмеривали сад, находили излишки, составляли акты, облагали усадьбу налогом, «по единоличному обложению». Да и не только финорганы, — и соседи, на этой земле живущие, своего яблочка не взрастившие, не вкусившие, посмеивались над зимогором, укоряли его в корыстолюбии. Часть урожая яблок Смирнов продавал, так же, как и часть пойманной рыбы, и шкуры добытых в тайге зверей, — по государственной твердой цене: водомерской зарплаты не хватало на большую семью.

Сад на горе над Кыгинским заливом кому-то мешал, как бельмо в глазу. Он нарушал установленный кем-то миропорядок, служил укором.

Других садов в округе не было (сад Рачкина далеко, «внизу»). Одни восхищались смирновским садом, другие скрипели зубами. Вошло в привычку обзывать Смирнова «единоличником», даже и «кулаком».

Такие попреки больно ранили душу Николая Павловича, он возражал на них раз навсегда взятым, ровным, без нажима, тоном, в том смысле, что каждому надо не только брать от природы, но и чем-то ей воздавать, что-то к ней приращивать, возделывать собственный сад. Еще его любимым, самым веским доводом было: «Живем на кладах, а взять не хотим. Или не умеем».

Болезнь Смирнову на Алтае было некогда, буквально ни дня, ни часу. Однако некоторые его поступки, да и самый образ жизни и мыслей зачастую представлялись, с точки зрения «нормы», алогичными, безрассудными, даже и вредными, «против правил».

Однажды, после посещения фининспектора и подписания актов, Смирнов попылся срубить свой сад. Взял топор... И не смог. Рука не поднялась...

Когда, в конце пятидесятых годов, упразднили Алтайский государственный заповедник (и другие заповедники тоже), когда в нехоженую тайгу над Телецким озером, с ее ненарушенным экологическим равноте-
си-

ем, с непугаными зверями, потянулись добытки, вольные стрелки, когда загревели выстрелы над вечным озерным покоем, Смирнов весь извелся от этого губительного для природы и людей беспорядка. Что он думал, то вслух и высказывал, без утайки, каждому, кто приставал к его берегу. Таковых становилось все больше...

Когда заповедник восстановили, это был праздник для Николая Павловича Смирнова. Да и для всех нас, на нашей прекрасной Русской земле живущих!

Сад разрастался, набирал силу, террасы надстраивались, земля привозилась и подсыпалась. Между тем выросли и отчаливали от родительского берега дети. У родителей силы не прибывало. Внуки были еще впереди... Однажды Николай Павлович отправил письмо в Алтайский крайисполком:

«Уважаемые товарищи!

Пишет вам Николай Смирнов с Телецкого озера. Вам известно, что на покато́м берегу Кыгинского залива растут яблони крупноплодных сортов, родятся красивые, сладкие, ароматные плоды.

Пришло время передать большую часть садика какой-нибудь организации. Но тонна или полторы тонны яблок — для любой организации мало. Если бы построить цементные стены на склоне гор под двести яблонь, то можно через несколько лет собирать десять тонн очень хороших плодов.

Террасы уже есть, они выложены камнем-плитняком. Раньше были столбы из лиственницы, но от времени порушились. Одновременно я предлагал многим организациям взять мой садик. Их представители бывали здесь и видели яблони.

В первую очередь хотелось передать садик колхозу имени Ленина, так как территория эта раньше была колхозной и многие сотни тонн перегноя мной и моей семьей были перевезены на лодках из Чулышмана. Недавно у меня ночевал председатель колхоза Арбанак. Посмотрел он, какие работы надо произвести, и сказал, что колхозу нет смысла строить террасы.

Телецкий лесхоз соглашается взять, но им трудно производить работы, так как лесники у них наперечет, а массивы огромные. Если им браться за садоводство, то надо сажать яблони и в Яйлю и на Беле...

.....

За многие годы жизни временами мне очень доставалось от местных властей за мой сад, хотя он занимает всего десять сотых гектара и шесть соток питомник...»

В ту ночь, когда у Смирновых заночевал председатель балыкчанского колхоза Арбанаков, когда состоялся разговор об участии сада, я тоже ночевал в маленькой избушке Смирновых; как-то, не знаю, всем нашлось место: целый детский сад поместила на себе русская печь. Кто-то ушел в баню. Кто-то лег в сенях... Я помню, здесь же висела зыбка, в ней пускало слюни новорожденное дитя...

На дворе была поздняя осень, кусты и ветви деревьев оделись в пестрый, переливающийся в лучах низкого солнца иней-куржак. Председатель колхоза весь день провел в седле, объезжал отары, перегоняемые с летних пастбищ на зимние. Он радовался теплу, благодушествовал.

Николай Павлович вначале снес яблок заночевавшим в распадке Чири пастухам, затем сел к столу и сразу же приступил к главному разговору — о передаче сада колхозу. Арбанаков сузил свои и без того узкие глаза, отвечал примерно так: «Мы — горный народ, Николай Павлович. Скот однако умеем выращивать. Мясо сдаем государству. Шерсть. Пух. Зерновые сеем. Электростанцию умеем строить. План выполняем. Миллионный доход даем. Яблоки не умеем выращивать. У нас однако колхоз, а ты, Николай Павлович, как бы сказать, единоличник. Против линии идешь. Ты славу себе заработать хочешь. К тебе приезжают корреспонденты... — Он посмотрел на меня. — К нам не приезжают однако».

И далее в том же роде.

Смирнов сидел, положив огрузшие от многих лет работы — лопатой, топором, пилой, веслами — руки на стол, возражал Арбанакову ровным, даже каким-то тусклым голосом, говорил много раз говоренные слова: «Пустое все это, Василий Иванович, да вот, что вы меня моими яблоками укоряете. Мы, наша семья, не для себя садик растили. Серьезно. Хочется, чтобы людям досталось. На кладах живем, а взять не умеем... Больших вложений денежных средств наш садик не требует.

Вы бы дали бригаду колхозников, цементу, я бы показал, как стенки сделать, сам бы и яблони посадил...»

На том и кончился разговор, улеглись спать. Каждый остался при своем.

Это было давно. Нынче ни один алтайский альбом не обходится без смирновского сада. Сад на горе над чудо-озером сам по себе — рукотворное дивное диво. Он вошел в ожерелье драгоценностей Алтая. Снимки этого сада, портрет садовода я видел даже в американском географическом журнале...

Однако быт семьи Смирновых с годами мало переменялся. И сказать, чтобы слава, известность утишили душу и нрав телецкого водомера... Едва ли. Судьба и личность Смирнова произросли из трагедии. Недуг и превратности своего — им для себя избранного, из ряду вон выходящего — бытия он всю жизнь побеждал силою своего мятежного духа. С годами дух не умиротворился, не притихла взыскующая душа.

Когда Николай Павлович высказывался при мне на общие темы, да и на личные тоже, я старался записывать, на свежую память. Вот несколько его, так сказать, реплик по поводу, произнесенных в разные годы:

«Коммунист — это нам представлялось тогда, в двадцатые годы, ну как бы подвижник. Все для народа, а сам от всего отказываться должен, от материальных благ жизни...

Я помню, когда молодой был, в газетах писали и на митингах говорили, что водка — дурман для народа...

Я помню, когда собирались в тайгу на промысел, подъем такой был... И не из-за денег, а как на праздник... И не пили. Серьезно. Веселые были алтайцы, приветливые, простые. Да и теперь тоже...»

Что помогло Николаю Павловичу обрести покой в душе, войти в гармонию с миром, так это писание дневников наблюдений на посту гидрометеослужбы в Кыгинском заливе. Исписано великое множество школьных тетрадок в клеточку и линейку; каждый прожитый день оставил по себе память в тетрадке. Писать дневник для Николая Павловича — такая же потребность, как ходить в тайгу на охоту (последние лет десять Смирнов не охотится), ловить рыбу в озере, косить траву, выра-

щивать яблони, подымать для жизни своих детей. Только писать дневник совсем особое дело. Николай Павлович, помимо своих добродетелей, принципов и странностей, еще наделен литературным талантом. Он умеет сложить слова одно к одному так ладно, чтобы высеклась искра поэзии; чтобы пережитое время, изведенные чувства запечатлелись бы в словесном образе, в гармонически отлаженной фразе...

«Все больше опадает листьев с деревьев, много их плавает на воде залива. А склоны гор, особенно северные — Тоолок, Карагай — красивы необычайно. Среди вечнозеленого пихтового, кедрового леса много осин, берез и рябины. На зеленом — багровое, желтое. Многие годы все это близко, знакомо, и каждую осень опять ждешь эту пору. На рассвете слух невольно ловит доносящиеся с дальних склонов любовные песни маралов... Солнце осветило покрытые снегом гольцы, медленно, будто огромный занавес опускается вниз, оживают в осеннем наряде горы. И забывает человек, что он стар и нездоров, что в мире так много противоречий...»

Слышите, сколько ладу, сколько чувства в этом коротком отчете для управления гидрометеослужбы?

Кончается запись каждого дня сводкой о температуре:

«Температура воздуха за день $+14^{\circ}$, воды $+5$ ».

Страсть к писательству общая у нас с Николаем Павловичем. И пишем мы в одном и том же жанре лирической зарисовки, в значительной мере пейзажной. И как бы далеко я ни уезжал от Телецкого озера, насколько бы по-другому ни изживал мою жизнь, о Смирнове не забывал. Раз навсегда он вошел в меня, со всеми своими заботами, трагедиями, идеалами, разочарованиями, чадами и домочадцами. Живя далеко от него, я все оглядывался в сторону Кыгинского залива: так ли живу? (Ну, конечно, не так.) Посылал Смирнову мои книги. Он их прочитывал и в письмах укорял меня за то, что я пишу не всю правду. (Тут извечный конфликт сочинителя с прототипом его героя.) Ссылался на пример своих любимых писателей: Горького, Серафимовича, — те, по его мнению, писали одну правду...

Если бы в свое время я не нашел Телецкого озера, не открыл на нем водомера-садовода, то и первые мои рассказы получились бы другими. И вся судьба бы вышла другая. Да я и не знал тогда, о чем мне писать...

Первые рассказы пишутся о чем-то тебя поразившем, тобою открытом, никем до тебя не увиденном. Когда переполнит тебя такое чувство, не справиться в одиночку с только что обретенным впечатлением, надо с кем-то поделиться, — вот тут и садишься писать рассказ...

Руководствуясь, должно быть, велением той самой, общей у нас, писательской жилки, Николай Павлович все свои дневники за десятилетия (они пишутся и сегодня) переправил ко мне в Ленинград. Я его попросил об этом, он сразу и согласился. Все они — день ко дню — составляют книгу жизни; главный герой в ней — Телецкое озеро; и очарованная озером человеческая душа...

Николай Павлович, ау! Вы меня слышите? Ваши дневники — вот они, лежат у меня на столе. Стоит только протянуть руку...

Очень низкие облака сползли по склонам гор до некоей черты; ниже нее облакам не бывать. Ниже — туман, дождь, град; выше — белые облака.

Ужасное все-таки дело — горы. В каждой горе есть нечто голгофское. Каждая гора угрожает тебе: «Попробуй взойди на меня, я покажу тебе кузькину мать!»

Маслянистая вода Телецкого озера... Про нее не скажешь: «живая вода». В ней нет признаков жизни. То есть эта вода вместе с этими горами являют собою иную, отдельную от меня жизнь. Мне дано только ее созерцать.

Когда-то я умел жить этой жизнью: по веснам охотился на глухарей — вон там на хребтах, в кедровых гривах; плавал в устье речек Большая и Малая Чиля, ловил там хариусов на мушку; собирал кедровые шишки в долине реки Баяса, слушал рёвы маралов над рекою Колдор; с мыса Ыдып поднимался в хребты, в альпийские луга, к озеру Планду-Коль, спускался с перевала Кату-Ярык, бежал долиной реки Чулышмана до Карагая, зажигал костер, вот в этом самом месте...

Клохчет, летя надо мной, ворон. Я слышу шелестение его крыл, скрипение перьев от усилия лёта...

И все же... как мне добраться до Николая Павловича? Николай Павлович, ау! Неужто вы не слышите меня?..

— Знаешь что, дочка, давай-ка мы с тобой соберем

палатку, сложим мешки и спрячем вот там в черемушнике. И полезем на Тоолок. Там должна быть тропа...

Так и сделали. Лезем. Налегке-то, без мешков, без палатки — одно удовольствие лезть. И черной смородины, и красной осталось на нашу долю. И туристы тут порезвились, и медведи... Но гора Тоолок большая. Вот и затеси на пихтовых стволах. Одни затеси нанесены медвежьими когтями, то есть это царапины, это медведи мерялись силой: кто выше дотянется, кто глубже оставит шрамы на пихте; другие — топором. Затеси давние, заплыли смолой, но я-то их помню. Затеси вывели нас на другой бок горы. Можно скатиться по осыпи к реке Кыге, только осторожно, чтоб не наступить на лапу медведю. Туристы сюда не доходят, здесь дух медвежий силен. Медведи — сластены, любят малину. Полакомятся — и поваляются. Малинник вытоптан, выкатан, ягодники изжеваны...

Спуститься-то можно, а дальше... Река Кыга сей год широка, вода в ней сильна. Вброд реку не перейти. На том берегу, на достаточном расстоянии от уреза воды виден кордон лесника. Лесником на кордоне, я знаю, Николай Смирнов, сын Николая Павловича. Я знал Николая маленьким Коляшкой, Коляном, а взрослым не видел.

На кордоне нет ни души, даже не топится печка. Надо думать, лесник в лесу.

Посидели на бережку, помня о том, что засиживаться не стоит: гулять по медвежьей горе засветло — это одно, засумерничать — совсем другое.

Опять поднялись и спустились, обратным ходом. Поставили палатку на старое место, привязали ее к тем самым колышкам, разживили наш костер, пустились во вторую ночь на Карагае...

Еще мне надо сказать о кедре.

Когда нынче встретился с первым кедром, там, внизу, в Артыбаше, то поклонился ему: «Здравствуй, господин Кедр!» Лучше кедра нет дерева. На ливанском кедре жила птица Феникс. Она жила на ливанском кедре лишь потому, что не побывала на Алтае, не долетела до алтайского кедра.

Алтайский кедр благороден, осанист, у него длинные иглы (как длинные пальцы у аристократа); кедр высок,

широк в кости, зелень его хвои глубока, свежа, с серебристым отливом; кедр — с сединою. Он живет и плодоносит триста лет, а то и больше. Те кедровые, которые мы видим сегодня, родились в одно время с детьми Стеньки Разина. Всю свою долгую жизнь кедр отдает нам ни за что свою рясную, то есть увесистую, с ядреными сладкими орешками шишку. Не только нам: еще белке, глухарю, кедровке, сойке... Кедр всю тайгу кормит.

Но мы рубим кедр. Любим его, печемся о нем, выступаем в печати в защиту кедра, а рубим.

Кто виноват в рубке кедра? О, тут виновника не доищешься. Виноватых вроде бы нет. Вот разве что начальник Алтайского управления лесного хозяйства, короче, начальник леса. Ему по штату положено кедр защищать...

Прежде чем повидаться с кедром, я повидался с начальником леса. (Дело было в 1976 году.)

С короткой стрижкой, седой, огрузневший, с легко набегающей в глазу от раздражительности — издержали — слезинкой, начальник леса сидел за столом в кабинете, разговаривал со мной, как с посланцем из вражеского стана.

— ...Не знаю, что надо, чего хотят?.. Кедр рубили и будут рубить, согласно установленным нормам и правилам рубки. Нормы эти разработаны для нас Воронежским институтом лесного хозяйства. Мы ведем рубку согласно планам, спущенным сверху. В чем я виноват? Не пойму! К чему эта шумиха?

— Куда бы вы посоветовали мне съездить, что бы порекомендовали посмотреть? — прервал я начальника леса.

— Ничего не посоветую. Ничего не порекомендую. О кедре не надо ничего писать... Тут еще этот «Фитиль»... Мы с министром нашим приехали в Иогач. Он не бывал у нас. Говорит: «Так много разговоров о вашем кедре, надо посмотреть». Мы поехали на машинах. Поехали, посмотрели наши кедровые питомники. Никто ведь кедровые не выращивал, мы первые. Посмотрели... Выходим на дорогу, там стоит машина, молодой человек в куртке с сотней застёжек представился корреспондентом программы «Время». Ну, программа солидная, вся страна смотрит... Говорит: «Хорошо, если бы в День работника леса министр лесного хозяйства выступил бы перед рабочими, прямо в лесу». Ну что же,

хорошо. Министр выступил. Все засняли. Потом никакой передачи не было. Год прошел — и вот «Фитиль». Там сняли, как падает кедр: вершина обломилась, сучки пообломались. Трактор его тащит, подмал какой-то молодняк, подлесок. Но мы же не можем поддержать кедр, когда его спилят. Конечно, вершина обломится и еще что-то... В общем, сначала показали: министр обращается с речью к рабочим, в лесу — порядок: «срубил дерево — вырасти два», а после подклеили падающий кедр. Для чего это? Не пойму. Теперь комиссия за комиссией. У меня один был инфаркт, теперь второй...

Начальник леса взял из пепельницы недокуренную погасшую сигарету. Я поднес к ней огонь.

— «Фитиль», потом в «Нашем современнике» статья о кедре какого-то кандидата наук... Он пишет, что килограмм орехового кедрового масла превосходит по своим свойствам килограмм сливочного. Это — выглядит, звучит... Но, товарищи, мы же не звери какие-нибудь, чтобы этот орех добывать и перерабатывать на масло. Кедр растет в труднодоступных местах, добыть его — адская работа. Где мы возьмем людей, кто полезет на кедр за этим самым орешком? Но об этом не сказано ничего в статье кандидата наук. Он, может быть, не бывал в нашей тайге. Во всяком случае, я его не видал... Я вообще никого не видал, кто пишет о кедре. Я и Чивилихина не видал... Зачем эта вся шумиха? Кому она нужна? Комплексное использование кедровой тайги? Хорошо! Мы пробовали из веток кедра делать хвойную муку. Ветки на кедрах ломать — это, знаете ли, тоже работа не для кандидатов наук. Зимой кто полезет в хребты ломать ветки? Ничего не получилось, отказались от этой затеи. Рыбу пробовали в Телецком озере ловить. Купили катер, сети. Сколько было разговоров, что озеро рыбное. Оказалось, нет. Килограмм пойманной рыбы нам обошелся в двести пятьдесят рублей...

Лицо начальника леса было сведено гримасой неутолимой боли, обиды на судьбу. Какие доводы приводили защитники кедра (и я в их числе), мне было известно. Чтобы удостовериться в собственной правоте (или в ней усомниться), надо выслушать противную сторону. Вот так, с глазу на глаз...

— Я пятнадцать лет сижу на этом месте, — продолжал свой монолог начальник леса, понимая, что в системе его аргументов чего-то недостает, — целые тома про-

тив меня написаны, а никто меня не снимает с работы. Я выполняю указания вышестоящих органов. Низовые работники, директора лесхозов, не выдерживают, уходят. Я никого не увольняю, сами уходят... «Мы, говорят, работаем, а на нас фельетоны пишут...»

Начальник леса что-то отшвырнул от себя, еще больше сморщился, будто горького проглотил.

На этом закончилось мое с ним интервью.

Ну вот. Пожили на Карагае. Слазили на Тоолок. Поиграли в робинзонов крузо: мы на необитаемом острове, сидим у костра, дымим во все небо, снимайте нас, добрые люди! Простое решение всегда приходит последним. Пошел к начальнику лагеря «Медвежонок», попросил у него лодку. Начальник усомнился: «На ту сторону нельзя. Вам не обрадуются». Я его заверил: «Мне можно. Обрадуются».

Сел на весла. На озере тихо: низовка отработала свою смену, верховка еще не проснулась.

На другом берегу нас встретила девочка лет десяти. Я спросил, где Николай Павлович. Она сказала, что дедушка косит траву. Я попросил девочку сбегать к дедушке, сказать, кто к нему приехал. Девочка убежала. Вскоре из-за мыса показалась лодка. Гребец налегал на весла. А вот он и сам — патриарх, глава большого семейства: высокорослый, худой, похожий на питерского рабочего, каким его рисовали на плакатах в первые годы революции, только состарившийся, при усах, сивый мох на острых скулах, простоволосый, волосы мягкие, тоже сивые. На нем цветная рубашка с короткими рукавами. Старая фетровая шляпа брошена на дно лодки. На ногах кеды. Раньше, как я помню, Николай Павлович во все времена года ходил в русских сапогах...

Из всех детей Смирновых самым похожим внешнестью на отца выдался первенец Павел. Я помню его, высокого, тощего, в офицерской шинели. Он служил на востоке, дослужился до первой офицерской звездочки. Вернулся на озеро, получил должность директора турбазы в Артыбаше... И не поладил с отцом. Наука жизни, преподанная ему отцом, не пригодилась в его собственной жизни, в чем-то даже и повредила ему.

Павел жаловался мне на своего папу: папа сызмальства заставлял своего первенца — и последовавших за

ним детей-погодков — работать в саду. За нерадение к работе наказывал. Первенец копил в душе обиду на папу. Став большим, осознал, что его неправильно воспитали. Объяснение отца с вернувшимся взрослым сыном, в избе над рекою Чири, в цветущем, самом красивом в Сибири саду, получилось тяжелым. Павел был отлучен от отцовского дома.

И на турбазе Павел Смирнов не прижился. Уехал туда, откуда приехал. Попросился на ту же службу. Там он без времени умер.

Коля умер младенцем (родившегося за ним мальчика тоже называли Колей). Первого Колю жалеют, но так давно это было. Его похоронили в саду, в память о нем на могилке посадили яблоню.

Георгий был славный малый, диковатый, всегда в тайгу глядящий, тайгою возвращенный. Он видел рябчика сквозь хвою и листья, не приманивал его на манок, бил из тозовки: подставит рогульку, положит на нее тозовку, прицелится, шпок — и готово! Георгий погиб при проводке катера «Восток» из Бии в озеро. На катере отказал привод рулевого управления, катер понесло на скалы. В горловине озера — сильная вода. Георгий на моторке заводил трос на «Восток». Натянувшимся тросом моторку перевернуло, ударило о борт катера. Георгий погиб. Вместе с ним на моторке был его товарищ — Чукин. В тот раз Чукин спасся. Он утонул на озере год спустя. Отправился на рыбалку, в дорогу выпил (это «в дорогу выпил» на озере почти всегда кончается одинаково). Лодку назавтра прибило к берегу, в ней были крючки, сети, бочонок под рыбу, запас соли...

Олег, по словам Николая Павловича, был самый умный из всех детей. Олега я не видал, то есть, может быть, и видал, но не помню. Он работал трактористом в Иогаче. Его куда-то послали, он выпил в дорогу — бутылку с товарищем на двоих. Он пил не так чтобы много, но пил. Выехал в ночь, проехал самую трудную часть дороги. Должно быть, устал. На легкой части дороги уснул. Засыпая, он выключил мотор, но не заметил, что дорога пошла под уклон. Трактор его — колесный — сам покатился вниз, въехал на мосток... Правыми колесами въехал, левые оказались в пустоте. Трактор перевернулся. Олега пронзило рычагами.

Его похоронили в саду, поставили памятник. Рядом с памятником Зине...

Зина весною, в марте шла из Артыбаша домой, по льду озера, на лыжах. С нею шли еще двое. Все провалились под лед и утонули. Видели лесники, это случилось в двенадцати километрах от залива, но помочь не смогли, лед у берега не держал, а глубина сразу большая. Озеро выкинуло на берег — когда очистилось ото льда — Зинину лыжу с ботинком. Лыжа с ботинком положена на Зинину могилку, на постамент памятника.

Все это я увидел своими глазами, услышал от Николая Павловича. Он сообщил мне о горестях, постигших его семью за пятнадцать лет, что мы не видались.

Вокруг памятников посажены цветы. Ниже на подпорках — в человеческий рост — гроздь спелых, налитых помидоров. Помидорная терраса обнесена барьером из плитняка. Выше — яблони. Сад — кладбище — огород...

У входа на террасу живет серая гадюка. Ручная гадюка — сторож. Она лежит на камне, греется на солнышке, потом уползает в нору под камень. Положена рядом палочка — гладить змею.

— Она сначала разевала пасть, когда ее трогали, — сказал Николай Павлович, — потом поняла, что ей хуже не сделают. Перестала. Серьезно. Ручная сделалась. Змея не ужалит, если ей хуже не сделать...

Из шестерых сыновей Смирновых в живых осталось двое: Николай и Владимир. Десять дочек. Тридцать три внука... (Если я малость ошибаюсь в этой статистике, простите великодушно, Николай Павлович: ваше семейство не так легко счесть.) Владимир, как и Георгий, — тайгою к себе навсегда привороженный. В тайге он кум королю, все умеет, во всем ему удача — и по соболю, и по белке, и по колонку, и по горностаю, и медвежатник он, и волчатник, и рысь как миленькую скрадет...

Однажды весной я ходил с Владимиром в хребты на волчью охоту, по талому снегу, за волчицей по следу, в пятку, до самого логова. Владимир тогда принес четырех волчат, получил за каждого премию. И волчицу тоже уговорил. Я наслушался глухариных песен. Нигде

так не поют на токах глухари, как в кедровниках над Телецким озером, как будто костры трещат, сложенные из сухой лиственницы. И токовищ столь обширных — на десятки километров — нигде нет.

Мы жили с Владимиром в тайге по-буржуйски: жевали одних рябчиков, другого корму у нас не было. А нас нещадно, поедом ели клещи. Весной в алтайской тайге у клещей самый жор.

Как-то на вечерней заре я приманивал рябчика, дул в манок, из таволожного стебля сделанный. Рябчик прилетел, но я не стал в него стрелять, потому что вдруг оказался в окружении целого стада маралов... Желтопятнистые с подпалинами, лиловоглазые, с шерстистыми побегами пантов на головах, маралы пришли на меня поглядеть, поскольку такого зверя они не видали (в заповеднике родились). Маралы переминались с ноги на ногу, суставы у них похрустывали, как у меня после полиартрита...

У входа в нашу палатку стоит целый ящик дневников Смирнова — записи разных лет. Смирнов, по давнему нашему уговору, отдал мне и эти дневники. Николай перевезет нас на моторке в Чулышман; из Балыкчи я отправляю драгоценный — и весомый! — груз по почте в Ленинград.

Мы с дочкой пойдем вверх по Чулышману, к перевалу Кату-Ярык, поднимемся на две тысячи метров, оглянемся на Чулышман; сверху он покажется нам застывшим, латунно отблескивающим на солнце. Потом еще день пути, лиственничной тайгой, до районного центра (раньше был аймак) Улагана. Оттуда на вертолете в Горно-Алтайск и далее — в Барнаул. Дочке к первому сентября на работу и на учебу... Раньше я добежал — сверху вниз, от Улагана до Карагая — с тремя ночевками...

Перелистываю страницы смирновских дневников. Отыскиваю в них августовские страницы. Чем отличался один август от другого, вот здесь, на берегу Кыгинского залива?..

1962 год

1 августа

Недомогаю. Подготовил к отправке на почту все материалы наблюдений. Ночевал Георгий. Николай с Олегом две ночи уже плавали ночевать — с сетями — к Чулышману. Сегодня они поймали килограммов десять разной рыбы.

Вчера катер «Александр Грин» привез нам новую дюралевую лодку.

2 августа

Жаркая погода. Плохо растениям, скоту. Сегодня мне вроде получше, боли поутихли. Дети ходили косить траву на гору. Трава тоже плохая, усыхающая.

С теплоходом отослал почту.

3 августа

Жена с Николаем весь день готовили сети. Сам я — так себе, недомогаю. Но весь день на ногах, что-то делал по мелочи, вел наблюдения, записывал данные.

ОРСу леспромхоза в Иогач отправили в первый раз нынче 14 кг рыбы горячего копчения, 50 кг помидоров.

5 августа

Сегодня хорошо работал, огораживали с Николаем сад. Поставили 11 столбов, заменили часть заплотника. И очень был хороший дождь — ночью и днем. Николай с Олегом поймали в сеть крупного тайменя. Вечером приехал Георгий. Настроение сегодня хорошее: смог как следует поработать.

6 августа

Возили камни, мешающие городьбе. Городьбу надо всю новую сделать. Камни сбрасывали на нижнюю террасу. Сверху положим землю.

Щ., ночевавший у нас, опять предлагал комбикорм или ячмень привезти, с тем, чтобы мы ему заплатили какой-то натурой. Своего комбикорма и ячменя у него нет, купить их едва ли где купит. Значит, приобретает нечестным путем. Я ему сказал, что у нас нет необходимости иметь то, что он предлагает.

7 августа

Хорошо работали первую половину дня: камень возили, террасу делали. С теплоходом приехала Татьяна с детьми.

На теплоход сдали 50 кг помидоров, 15 кг рыбы копченой, 3 кг яблок.

8 августа

Вкапывали новые столбы взамен старых — подгнивших, с Николаем и Олегом. Николай подвозил столбы на Гнедухе.

Сильно болеет наша любимая собака Тамарка, ничего не ест, ходит — где мы работаем, и лежит там.

Заехали ночевать Георгий и его помощник Виктор.

9 августа

Огораживали сад, делали террасу.

Были у нас лесничий с Бели, главный лесничий из Иогача, инженер, тоже главный. Привезли договор о передаче сада леспромхозу. Из мною написанного договора ни одного пункта не включили. Подписание договора не состоялось.

В семье уже несколько дней натянутые отношения, вот и сейчас: Олег плохо привязал лошадь, она ушла на Белю. Жена напустилась на меня, что я потворствую Олегу и Николаю. Я, в свою очередь, ругал Николая: он тоже мог последить за лошадью. Так и идет распря.

11 августа

Строили террасу.

Подходил «Алмаз» к нашему берегу, сдавали рыбу, помидоры, яблоки — из сада леспромхоза. (Часть сада Н. П. ранее передал Иогачскому леспромхозу. — Г. Г.)

12 августа

Не стало сегодня нашей любимой Тамарки. С неделю она тяжело болела. До последнего дня по ночам лаяла — стерегла дом. Сегодня зашла в сени, ткнулась носом мне в ногу, будто попрощалась, и, шатаясь, вышла. А я не понял, ушел, копал землю на террасе. Когда пришел на обед, она уже была мертва. Так и не побыл возле нее, не поласкал ее в последний раз...

Приехали Нина, Ольга, Зинаида, ходили в Балыкчу

на почту. Получили много писем, служебных, и от разных людей, бывавших у нас, газеты.

Тамарку положил в ящик, захоронил на склоне у террасы. Плакал, не стыдился: умная, ласковая была Тамарка, чудесная охотница за белкой, соболем, норкой, барсуком и за всеми другими зверьками и охотничьими птицами.

13 августа

Сегодня дождик несколько раз заставлял уйти с работы.

Топили баню. Жена успокоилась, стала обычной — хорошей. Утром пытался с ней говорить, что тяжело так жить, не доверяя друг другу. И чуть не вышло все на-против...

Заходил к свежему холмику земли над любимой собакой.

14 августа

Делали террасу. Утром пазил столб.

Николай с Олегом ушли с сетями к Чулышману.

Бийские «туристы» вытащили на берег наш перемет. Вечером разговаривал с двумя из них.

15 августа

Сдали на теплоход еще 100 кг помидоров. Приезжал новый председатель балыкчанского колхоза Шарабарин. Три воза привезли бутового камня на террасу, с берега — пять самых толстых столбов. Приезжали с теплоходом жена Георгия с детьми, а под вечер и Георгий с Виктором приехали.

20 августа

Четверо детей ушли с ночевкой к озеру, из которого вытекает река Чири, собирать черники. Вернулись сегодня в полдень, собрали всего с килограмм черники, говорят, нет; много кедровых орехов, много видели белок.

28 августа

Ночью и днем выпало осадков 15,0 мм. На катере — «Наука» был член-корреспондент Академии наук Ляпунов Алексей Дмитриевич, из Новосибирска, с группой других научных сотрудников. Посмотрели наш сад.

Выкопал и дал ему несколько кустов смородины, наших крупноягодных сладких сортов. Подарил пару помидоров, каждый весом до килограмма.

29 августа

Днем был очень сильный ветер, обил недоспевшие яблоки, особенно много осыпалось «грушевки московской».

Брали расход воды по реке Чири, пазил столбы. Заезжал лесничий Шевкопляс. Заходили студенты, дали им помидоров.

Девятого августа 1962 года Николаю Павловичу Смирнову исполнилось шестьдесят лет. Это было событие семейного значения. Если чем и отметил его юбилей, так это неустанной работой. Тогда еще работа не утомляла его, она давала ему не только физическую радость, но и возможность выхода из нравственных, духовных тупиков, в которые он то и дело попадал в силу болезненных свойств своей натуры и единственной в своем роде замкнутости, обособленности образа жизни. Хотя Николай Павлович и находился постоянно в среде своих многочисленных чад и домочадцев, в поле пристального любопытства непрестанно текущих на заимку разных людей, он пребывал в духовном одиночестве, в единоборстве с чем-то подстерегающим, чуждым. Лишенный свойственных многим человеческих слабостей, привычек, пристрастий, непьющий, некурящий, не браконьерствующий, неподкупный, Смирнов был вечно в чем-то подозреваем: «Чего он из себя строит, чем он лучше нас?..» Впечатлительный сверх всякой меры, нетерпимый и легкоранимый, он мучился сам и не давал покоя своим близким, соседям, постоянно взыскавая какой-то высшей справедливости, нравственного абсолюта. Составлявшие основу его личности аскетизм, стоицизм по наследству не передаются...

В трудах Смирнов смирял свою душу, норы — трудов-то хватало! И еще в писании дневника. Дневник служил ему собеседником, с которым можно было быть откровенным, да и то до известной черты...

Беру августовскую тетрадь 1972 года. Прошло десять лет. Николаю Павловичу семьдесят... Ага! Кажется, что-то изменилось в быту Смирновых, сдвинулось и в

сознании телецкого водомера. К лучшему изменилось. И август, как всегда, жаркий, и потеплело на душе у автора дневника. Хотя... Поток посетителей на заимке возрос. Любопытство к саду Смирнова, к его личности, семье тоже подогрелось, прибавило градуса. Озеро наполнилось теплоходами, катерами, моторками, туристами...

Труды водомера-садовода не только замечены, но и отмечены знаками общественного поощрения...

Впрочем, лучше давайте-ка почитаем дневник.

1972 год

2 августа

Сегодня была максимальная для августа температура воздуха $+30^{\circ}$.

Трое суток удерживается ветреная погода — наилучшая для уборки сена. Не много сегодня пришлось покосить травы — отвлекали приезжие. Один художник из Новосибирска попросился у нас пожить несколько дней. Не хотелось обременять себя, семью, — так временами плохо, даже трудно поддерживать разговоры с людьми, мешающими работать. Хочется побыть в кругу семьи, без посторонних. Это теперь так редко удается. И нельзя отказывать людям в гостеприимстве.

«Пионер Алтая» заходил в залив, привез большую группу молодых людей, вероятно студенты. Хорошо, что они остановились у кордона, лишь под вечер перелезли через изгородь, прошли по террасам, но к нам не заходили.

3 августа

Такая же жаркая погода, что и вчера, $+29,5^{\circ}$. Вода в заливе согрелась, $+18^{\circ}$. В озере вода ежесуточно убывает на 4—6 см.

«Восток» заходил, опять у нас были приезжие; все уехали на «Востоке», остался один художник из Новосибирска.

Жарко днем, много овода. Все же сегодня после полудня, проводив гостей, хорошо косил траву.

Художник вернулся вечером, ходил по речке Кыге, удил хариусов, но неудачно, поймал всего двух.

В Балыкче два дня тому назад утонул — в Чулышмане — молодой человек, солдат, приехавший в отпуск.

Это рассказал врач Чулышманской турбазы, он приводил в чувство мать погибшего солдата: с ней был обморочный припадок. На Иожене медведь убил лошадь. Жизнь всюду — и здесь, в глухом углу — продолжается, с радостью и горечью.

4 августа

Сегодня после полудня прошел сильный дождь, 22,3 мм измерено осадков. Весьма полезны осадки после четырех жарких дней — для огородных растений, плодовых деревьев, но большая помеха уборке сена. Кто не поленился, тот мог за четыре жарких дня много убрать сена.

Лесничий с Бели заезжал, привез письма, полученные на почте в Яйлю. Собанский привез сувенир ко дню моего семидесятилетия — фигуру лося, выточенную из дерева.

5 августа

День был солнечный, теплый. «Бриз» заходил, взяли от нас на базу для туристов овощи: огурцы, капусту, морковь, свеклу. «Пионер Алтая» заходил в залив, на нем уехали студенты. Татьяна с Леоном приехали, полдня помогали нам косить траву.

6 августа

День прошел с переменной погодой — облачно, солнечно и слабый дождь принимался несколько раз. 0,6 мм измерено осадков. Сено — трава на сено — не сохло.

На озере появилось еще одно новое судно — самоходная баржа, озерного типа.

7 августа

До полудня светило солнце, хорошо сохла трава, а после полудня разразилась сильная гроза, с ливнем. 9,8 мм измерено осадков. Успели сложить шесть копен сена, но, вероятно, их насквозь промочил дождь.

Сегодня мы одни, уехал художник из Новосибирска.

8 августа

День прошел с переменной облачностью. Несколько раз на землю падали капли дождя, но осадков измерено 0,0 мм. Теплоход «Пионер Алтая» заходил в залив, с него сошел на берег турист, без палатки, ночует у нас.

С «Бризом» тоже были туристы. Под вечер приехали Собанский и Урезков, тоже у нас ночуют.

9 августа

Днем была сильная низовка.

Много у нас сегодня гостей: поздравили меня с семидесятилетием, вручили Почетную грамоту от Западно-Сибирского гидрометеоуправления, письмо с весьма теплыми пожеланиями, вложенное в бархатные корочки, — от редакции областной газеты «Звезда Алтая». Письмо и подарок — костюм туриста — вручил заведующий краевым управлением по туризму Кузнецов. Подарки от сотрудников озерной станции, от знакомых.

Дождь слабый шел днем — 0,4 мм измерено осадков.

Вертолет пролетел над заливом, сбросил нам посылку.

10 августа

День прошел с переменной облачностью. Капли дождя под вечер падали на землю. Трава, точнее, уже высохшее ранее, но опять намоченное дождем сено — высохло, сложил его в копны, а сметать стог не смог, устал, да уже и наступил вечер.

«Бриз» ночевал у Чулышманской турбазы, утром зашел к нам за овощами. Все, кто был на «Бризе», пили у нас чай. Позже с турбазы приехал врач, он же и начальник турбазы; ему тоже нужны овощи для туристов. Под вечер Леон Рыльков привез Л. Ю. Жебровскую: у нас растут подвои для роз, она привезла глазки многих сортов роз и привила их на подвои. Вечером Леон и Жебровская уехали на Белю. Там Жебровская тоже проводит прививку — окулировку яблонь. Делает она это безвозмездно. Десяткам, сотням людей, организациям дарит сеянцы плодово-ягодных растений, семена цветов, луковицы тюльпанов и многое другое.

Читая дневники Н. П. Смирнова, из года в год, не раз в них встречаешься с именем Л. Ю. Жебровской. Ученый-садовод Л. Ю. Жебровская появляется в Кыгинском заливе, подобно птице, переносящей семена особо ценных злаков, красивых цветов, подобно несущему цветочную пыльцу ветру или долгожданному дождю.

Мы не найдем в дневниках Смирнова похвальных

слов Жебровской. Его перо вообще воздерживается от похвал, равно как и от укоров, в чей-либо адрес. Оно только фиксирует каждое зернышко добра, брошенное в почву на обозримом для летописца пространстве. И зла тоже. Но ежели подвести баланс добру и злу, содеянным на берегу Телецкого озера, в Кыгинском заливе за последние, скажем, пятнадцать лет, замеченным водомером, отмеченным в его дневниках, то добро многократно перевесит. В дневниках Николая Павловича наличествуют минорные ноты, но в целом его дневники можно счесть подробным реестром добра — и духовного свойства, и вполне материального, выразимого в единицах мер и весов.

Если мы посчитаем, сколько разных людей: туристов, студентов, лесников, лесничих, рыбаков, охотников, академиков, художников, писателей, скотоводов, праздных и по работе — нашло приют в маленькой избушке Смирновых (семья росла, избушка была все та же), получится очень много народу; собрать всех вместе — выйдет большая толпа. А сколько выпили чаю! И никогда, ни разу, ни рюмки спиртного! Сколько выслушано разумных, нехвастливых, в самом лучшем смысле нравственных речей! Сколько сгрызено яблок, съедено помидоров, картошки, морковки, капусты, свеклы, репы, гороху! И меду, и молока, и масла! И рыбы горячего копчения! Иных источников получения этих первоосновных благ жизни, кроме как сад-огород Смирновых, в верхней части Телецкого озера нет. Знаете, какова цена этих благ для путника-плователя? На Телецком озере и его берегах всяк становится плователем, путником. Плата за фрукты-овощи, за мед-молоко и за хлеб насущный, Дорой Захаровной в печи испеченный, с пылу, с жару — чаще всего никакая не берется. То есть за добро ждут добра — пусть оно будет не материальным, а чисто душевным.

И еще — красота, доселе никем не виданная: на горном склоне сад, прекрасный и в пору цветенья и в пору созревших плодов! И даже змея-гадючка, живя в такой атмосфере добра, перевоспиталась, из опасного гада трансформировалась в общепольное существо — садового сторожа.

Добро отзывчиво на добро.

Однако, ведя свои дневники, садясь каждый вечер к столу за тетрадку, как на исповедь приходя, Николай

Павлович подметит неоднозначность добра, коснется психологической сложности человеческой жизни, темных ее сторон. Чего всегда жаждет душа Николая Павловича, так это правды. Правда жизни диалектична, не так ли?.. Духом какой-то врожденной стихийной диалектики пронизаны дневники Н. П. Смирнова.

Дневники монотонны, как самая жизнь на таежной заимке. Один день отличается от другого температурой воздуха и воды, количеством выпавших и измеренных осадков, характером исполненной работы. Сегодня копали огород, вчера косили траву, завтра надо поднять землю на террасы, послезавтра позаботиться о дровах и еще порыбачить. Сегодня в залив заходил «Бриз», завтра зайдет «Пионер Алтая». На смену одним прибывшим лицам являются другие. За весной следует лето, проходит осень, зима. У каждого времени года — своя окраска, свое настроение, свои неотложные хозяйственные дела.

В дневниках Смирнова нет каких-либо кульминаций, перепадов, обозначенных жизненных циклов, этапов... Вся жизнь — непрерывный труд. В день своего семидесятилетия Николай Павлович принял поздравления родных и друзей, порадовался почетным грамотам, подаркам, приветственным адресам, но никакой передышки себе не дал, юбилейных торжеств не устроил. Самую малость поблагодужествовал — и пошел косить траву, метать стог сена.

Когда читаешь подолгу дневники Смирнова, тетрадь за тетрадью, день за днем, год за годом, появляется ощущение веса в каждом прожитом дне. Пустых, нерабочих дней не было в этой жизни, в этой судьбе. И такова судьба телецкого водомера, что ни одного дня из нее, как слова из песни, не выкинешь. Читаешь близкие по времени записи, и хочется заглянуть подальше, поглубже, узнать, что, как было прежде. Летом-то хоть тепло, а каково зимою?

Давайте заглянем, дневников у меня целый ящик, читать не перечитать.

1962 год

2 января

С Владимиром послали внучке Ольге яблоч, рыбы копченой. Плавали в Чулышман. Отправили посылку

Анне, 5 руб. денег Пине и письмо ей же и пакет с наблюдениями. Завпочтой уехала в Улаган, все оставили там, не сдали. Почтальон выдала нам посылку от Ирины, письма от Георгия, В. Д. Иванова, два письма от Гончарова из Барнаула и две телеграммы от него же. В Балыкчу унесли два килограмма яблок детям и немножко чесноку, рыбы. Домой вернулись к восьми часам.

3 января

Пилили дрова с Николаем. Записывал наблюдения. Николай обошел кулемки, капканы, ничего не попало.

Переплавил с Тоолока Кузьмина. С 28 декабря Кузьмин «гостил» в Чулышмане. Вчера я говорил об этом с Куюковым: пусть бы он сказал Кузьмину, что нужно работать. С Кузьминым еще был Параев.

4 января

Пилили с Николаем дрова.

5 января

Пилили дрова. Николай ходил, осматривал ловушки. Ничего нет.

6 января

Пилили с Николаем дрова. Топили баню.

7 января

Плавали с Николаем на Тоолок и в угол залива. Соболь был в кулемке на Тоолоке, но кулемка не сработала. Выдра тоже в ключе не пошла в узкий проход, где установлены два капкана, обошла их берегом. В Чири колонок каждую ночь уносил приманку, а как только установил в кулемку капкан, колонок перестал ходить, вероятно, кто-то его поймал.

8 января

Николай переплавил на Карагай, ходил в Чулышман. Отнес туда 2 кг яблок — гостинцы. С почты принес письма: от Лесмы и Лукиных, от Пины открытка. От Бальсон 2 бандероли с журналами: «Огонек», «Крокодил». Осматривал ловушки — попускали их ронжи. Два раза плавал на Карагай.

10 января

Был Владимир, поплавил лесников с Бели и Веру Чукину со школьниками, потом и наших и соседских

детей. Плавал и я с ними до Тоолока. Во все три ловушки попали ронжи. Владимир на Тоолоке застрелил рябчика, из моего ружья. Оставил у нас свою дочь Ольгу.

11 января

Погода теплая, пасмурная. Плавал в угол залива, в ловушках ничего нет, срубил еще одну кулемку, по направлению к Баясу. Наживил вчерашнего рябчика — целиком. Вернулся уже в три часа и только к вечеру управился по хозяйству. У обоих нас с женой, очевидно, грипп: насморк, чихание, кашель. И у Веры тоже.

14 января

Владимиру дали яблок, бидончик соленой капусты и переднюю лопатку от барана. Дал ему еще четыре капкана. Обменялись с ним топорами, ему дал новый, тяжелый топор, он мне старый, легкий. Переплавил Николай на Тоолок. Посмотрел там ловушки — ничего нет.

15 января

Ходил кругом залива на лыжах, вторая кряква угодила в выдровый капкан, вовсе это не нужно, а выдра не проходила. Положил утку в кулемку, соболь подходил к кулемке — и не поинтересовался приманкой. Заходил в Кайгак, там соболиного следа нет. Пошел под вечер уже посмотреть кулемку в Чири, увидел, что соболь с горы доходил до нашего домика. Сбежал домой за Тамаркой, пока она по глубокому снегу разбиралась в следах, соболь учуял и ушел из-под носу, в гору. Стало уже стемнеться, догонять его бесполезно. Собака вязнет в снегу. Сколько уж раз хожу на охоту, и все без толку. Дома только успел накормить скотину, принес дрова — и надо садиться за бумаги. Каждый вечер два-три часа приходится писать служебные бумаги, письма.

16 января

Отламывал от скалы плитообразные камни.

Делал мелкие дела по хозяйству.

Вчера чуть не во всем заливе образовался лед.

18 января

Пришел Николай из школы. Говорит, заболел, и в школу не допустили. С почты Николай принес пись-

ма от Георгия, Вышеславского, новосибирских туристов-школьников.

Ходил первый раз льдом, осматривал ловушки. Ничего нет. На Тоолоке пять раз стрелял по рябчикам и ни одного не добыл, малы заряды, ружье 32 калибра, еще совсем новое.

20 января

Сделал снегосъемку в Кыге, дошел до кулемки. Соболь наконец-то попал в кулемку, и, очевидно, колонок уже начал его есть, видимо еще живого: тушка полностью не замерзла.

Тамарка догнала меня в Кыге, пошли с ней в угол залива, там она взяла след соболя, а я не стал ждать ее голоса: пора было домой. И вот уже 11 часов вечера, а Тамарка все не пришла.

Владимир с Николаем на Карагае наудили окуней на уху.

21 января

На рассвете только пришла Тамарка. Я плохо спал и ругал себя, что еще вчера не пошел ее искать. Боялся, как бы она не попала в капкан. Хлобыстов капканами промышляет.

Пилили с Николаем дрова. Ходил на Тоолок — в ловушках ничего нет.

Николай ходил в Кайгак, колонок опять сумел унести приманку и уйти.

25 января

Переплавил сегодня детей на Карагай, пошли в школу, но еще не совсем здоровые.

Осмотрел ловушки на Карагае и Тоолоке, кулемки спущены, ничего нет.

В восемь часов вечера впервые увидел: из-за гор вылетел спутник, хорошо был виден полет. Вышла на мой зов жена, очень быстро спутник прошел за горизонт.

27 января

Сегодня не ложился, топил баню, носил воду, а кашель сухой с болью не проходит. Заходили с Бели Чукина, Ложкина. Дал им яблоч для больных детей. К гриппу добавилась и желтуха. Ложкиной дал

еще 2 кг яблок за принесенное ею молоко, 3 литра.

На реке Чири колонок вытащил из кулемки приманку. Поставил капканчик, вчера не смог сходить. Сегодня сходил; колонок был в капканчике и отгрыз себе ножку. Или сойка попала и колонок ее съел — не понял, не догадался лучше рассмотреть: должны быть на дужках капканчика волоски, если колонок отгрыз себе лапу.

28 января

Ходил льдом на охоту, видел рябчика на Тоолоке, но выстрелить не пришлось — улетел. На Карагае в кулемку попал соболь, светлой окраски, меховой. На Тоолоке кулемку как будто спустила собака, наживка съедена. В Ключе опять утка, четвертая уже, попала в выдровый капкан.

29 января

Все недомогаю.

Заходили Чукина и Ложкина, с почты принесли газеты, журналы. Был Кадыков, принес кусок свиного сала в подарок. Дали ему килограмма два яблок. С женщинами с Бели Чикурбашева Юлия послала три рубля денег, чтобы мы дали ей яблок. Трудно ей, четверо малых деток, а сама она уже угасает: туберкулез легких преждевременно ее унесет в могилу. Даже и добрым словом не приходится ее утешать: нет времени сходить на Белю. Кадыков говорил, что привезли из больницы тело умершей там Мадышевой. Увезли ее на вертолете. Пятеро осталось маленьких детей.

30 января

Ходил смотреть ловушки в Кайгаке, в углу залива — ничего нет. Давно уже никакой серьезной работы не делал, лишь управляюсь с мелкими делами, хожу на охоту, но кроме нескольких соболей ничего не добыл.

5 февраля

Ремонтировал сани. Ходил в угол залива. Наконец-то и там в последнюю кулемку попался соболь, мех красивый, а тушка жирная. У Чири в кулемку попал крупный, тоже сытый колонок — самец.

14 февраля

Сегодня с утра запряг в сани Малютку. 16 возов камней Малютка завезла на верхнюю террасу. Под вечер еще немного камня отломал от скалы у остробома.

21 февраля

Снял сегодня все капканы, поставленные в незамерзающей протоке, — на выдру. Так и не пришлось поймать выдру. Соболь взял приманку над большим капканом в углу залива, но уже второй раз капкан не сработал.

Кончилось сено — домашнее, три раза сходил на гору за сеном. Выкладывал край верхней террасы камнями, а возить камень уже нельзя: снег местами совсем растаял.

22 февраля

Ночью у жены был обморочный припадок. Сильнейшие судороги при беспамятстве. Жена кричала, казалось ей — пришел старик и душит ее. Днем ничего, хотя, говорит, болит все. Стирала белье, а вот сейчас сидит, вышивает. Говорит, испугалась, показалось ей, что кто-то открыл дверь и зашел.

Днем заходила Хлобыстова, принесла с почты газет.

Носил сено вязанками с горы. Помогал жене, воду носил, управлялся по хозяйству.

Подула наконец-то низовка, надоело уже длительное время видеть однообразную ведренную погоду.

8 марта

Ночью выпало немножко снега, ходил с Тамаркой на гору, думал по пороше взять след соболя, но прошел до глухариного тока — ни одного соболиного следа нет. Видел следы глухаря, свежие следы трех маралов.

Рыба в сети почти не ловится. Ставить сети хотя и запрещено, но больше ничем сейчас нельзя поймать, а есть хочется. В три сети один хариус попал, а два дня тому назад выдра в сети съела хариуса и порядочно изорвала сеть.

Две вязанки сена принес с горы.

9 марта

Восемь вязанок сена принес с горы.

Льдинами унесло новую капроновую сеть, а рыбы всего поймали этой весной на две ухи.

Яковлев принес с Бели радиogramму от Пятаева: требует радировать, сколько я поймал соболей по его решению.

Приплавил из-за Чири лодку камня, тяжело крупные плиты грузить и разгружать. На санях возить, то есть класть камни на сани, гораздо легче, даже и очень крупные. Рано растаял снег на берегах, не удалось повозить камней, а собрал их, наломал от скал — много.

11 марта

Сделал утром снегосъемку в Кыге. Так идут дни в труде. Утром испортилось настроение. Владимир рассказал, что в Артыбаш прилетел с вертолетом какой-то начальник, пенял мне, что прошлым летом я плохо встретил его, не оделил яблоками. Возможно, поэтому и окрестили меня «кулаком». Владимир говорит, что начальник запьянствовал, а мне, «кулаку», приходится работать от зари до зари.

23 марта

Владимира разбудил в три часа, ушел он через гору, хотел послушать на горе глухариную песню. А я спал всего часа четыре. Чудесный, солнечный, очень теплый день. Зашел в тепличку и увидел: несколько пчелок выползли сквозь сено из улья. Быстро выставил часть рам, выбросил сено на снег. Ульи подвинул к краю теплички. Пчелы из обоих ульев облетелись. Перезимовали пчелки, судя по внешнему виду, как будто хорошо. Пчелок пять меня ужалили в шею, никакой «реакции» не произошло, лишь больно было в первую минуту.

Хорошо поработал на верхней террасе, выкладывал каменную стену. Приплавил две вязанки сена.

1 мая

Приготовил свои служебные бумаги, запечатал — для пересылки Бийской ГМС — полевые, водомерные книжки. Дневник наблюдений за ледовыми явлениями в заливе отправил в Алтайское отделение Географического общества.

Заплывали Ложкин, Отюшев. Отюшеву дал для

школы пять привитых и десять непривитых яблонек, семян огородных. Обоим дал яблок.

Поставили три столба для сеней — старые сени разваливаются.

Николай с Олегом выкопали с десятков старых столбов на террасе. Рыбы килограмма три поймали.

В ту зиму и весну Николаю Павловичу не везло на охоте и на рыбалке, но невезение это он переносил стойчески, зная, что охота-рыбалка — такой же труд, как сооружение садовых террас на горном склоне, окупится не сразу: добыча будет, но надо выходить ее — по кручам, по гривам, по каменистым ущельям, по снегу, на веслах, вброд...

22 июля

Нашли сегодня овечек, два дня искали без результата. Одну выше осиновой впадины на гриве ночью задавил медведь. Килограммов пятнадцать мяса осталось, принесли домой: медведь не успел загрести его дерном, землей. Николай с Олегом сходили домой, принесли трос. Поставили петли и мяса оставили на приваду — надо уничтожить налетчика, сколь раньше медведи поели наших овечек. Уж много лет я не трогал медведей и даже жалел их, когда их обрекли на уничтожение. Но овцы чрезвычайно глупы: корму и внизу много, а они всегда стремятся уйти подальше от дому. Дети и жена ходили их искать, но возвращались ни с чем.

Под вечер приплыли и ночуют у нас в сарае туристы-старички, муж с женой.

23 июля

Ходили на гору, где медведь задавил овцу: я, Николай, трое туристов.

Медведь к петлям не подходил.

В Кайгаке нагребли восемь копен сена.

Вечером заходил Сергей Семеныч Фолонтарек. Он в давнее время работал в заповеднике, выехал отсюда в 1935 году.

24 июля

В шесть часов утра пошли с Николаем на гору проверить петли. Мишка был, одну петлю отбросил, мясо

овечки унес. Петлю поправили, я снес на гору лоскутки овчины с задавленной овцы, они крепко пахнут, можно надеяться, медведь еще сюда придет.

Ворочали сено в Кайгаке, но с полдня солнце скрыла облачность, сметали копен двадцать не совсем сухого сена, подсолили его.

Уехал сегодня начальник Новосибирской ГМС, прожил здесь дней 10—12. Отправили с ним банку вишневого варенья Любви.

25 июля

Мишка сегодня расплатился за овцу. Утром Николай с Пиной пошли посмотреть, прибежали домой с радостным известием. Много к нам приехало туристов, все пошли на гору, с кино- и фотоаппаратами.

Половину медвежьей туши раздали туристам и студентам — со студентами был Фолонтарек. Все от нас сегодня уехали.

27 июля

Жена с детьми плавали на Баяс, набрали ведра два с половиной смородины. Утром с Николаем плавали к Чулышману, поймали там 4 кг окуней — отдали их московским туристам-байдарочникам, угостили их медвежьим мясом, копчеными чебаками.

В дневниках Николая Павловича Смирнова почти нет итоговых записей, то есть остановок. Остановиться, оглянуться на прожитое, подбить, как говорится, бабки ему все некогда. Не конченную сегодня работу надо доделать завтра. Ею нельзя пренебречь даже для часа раздумья. Из этой работы произрастает — в самом буквальном смысле — хлеб насущный, изначальные средства пропитания для семьи. Семья большая, чуть не два десятка ртов. Да еще сколько гостей-нахлебников! Продукты из магазина — редкость. Всех кормят сад, огород, скотина. И еще тайга, озеро; кормильцы они прижимистые, уклончивые, коварные; что-нибудь у них можно взять только ценою великих трудов и мытарств.

Уж на что Николай Павлович щепетилен в своих отношениях с живой природой, ревнив в исполнении закона ее охраны, а все же ставит в озере сети, хотя и за-

прещено. И признается в этом в дневнике, который пишется не для домашнего архива: «Очень хочется есть». А как же? Голод не тетка.

Уже космический век на дворе, из-за вершины горы появляется спутник. И — надо наказать налетчика-медведя, как наказывали его таежные люди в глухую старину. Или хотя бы подстрелить рябчика, изловить в кулемку соболя, поймать в озере хариуса, а то чебака. Все важно для жизни и неотложно. Такая у Николая Павловича жизнь.

И если он дал Владимиру-сыну баранью лопатку, то это существенно, важно, записывается в дневник. А как же?..

Но есть в дневниках страницы... Не страницы даже, а строки, продиктованные особым душевным озарением, когда при ясном солнечном свете видеть далеко и душу переполняет восторг — перед красотой природы и содеянным — в согласии с нею — трудом...

1963 год

1 мая

Это — тридцать шестое Первое мая встречаем мы на берегу Кыгинского залива. Будто в сказке прошли эти многие годы. В нашей семье это обычный трудовой день. Наблюдения на посту ведутся непрерывно, ежедневно. Суровая, возвышающая душу красота гор, снежных гольцов, залива. Близкое знание жизни зверей помогает понять их как необходимые существа и сберечь их. Большое желание появляется у человека сделать здесь что-то полезное и красивое. Оказалось возможным рядом с могучими кедрами вырастить теплолюбивые, нежные вишни, груши, яблони. Даже не было обиды на стихию, когда в июне 1936 года речка Чири унесла нашу избушку и землю огорода с посаженными в ней овощами.

Ночью прошел дождь, на горах снег. Днем немного снега выпало и внизу. Солнце не показывалось. Низовка слабая была на озере. Температура воздуха за день +2,5, воды +2,2.

Крупницы сведений о том, что было в самом начале, в дневниках редки, по зернышку на тетрадь. В тетрадях

давних лет их вовсе не встретишь, с годами в памяти летописца случаются вспышки, в их свете проступают картины, то есть части картин, по которым можно дорисовать в воображении целое. Такие записи особо дороги: очень хочется дотянуться, проникнуть сквозь толщу лет, заглянуть в первое жилище Николая Смирнова и жены его Доры, посидеть у только что сложенного очага...

1971 год

26 октября

Золотая осень продолжается. Продолжается и жизнь-сказка. Почти 45 лет вижу красоту этих гор и все не могу наглядеться. Сколько радости, невзгод пережито за долгие годы в Кыгинском заливе. Хотелось бы прожить еще столько же, так много можно бы сделать — украсить любимый берег залива фруктовыми деревьями. Но — увы — уже идет мне семидесятый год. Приходится торопиться. Природа дала человеку силы работать до 60—65 лет. Мне — очевидно, за большую дружбу с природой, за любовь к ней, — до 70 лет. Хочется верить, что так еще будет долго.

1 декабря

Вот и зима пришла. Ночью снег укрыл землю, измерил снежный слой — 14 см. Снежные облака весь день удерживались низко над водой озера. Ветра не было.

Что ни день, все похоже на сказку: то волны глухо бьются о скалы, то слабый шелест движимой ветром воды о берег — ласковый, успокаивающий... А сегодня в тихую, темную воду залива так же бесшумно падал снег. Ни гула мотора, ни всплеска рыбы... И деревья, кусты, укрытые снежной кухтой, не шелохнутся...

31 декабря

День был пасмурный. На озере не стихала верховка. Температура воздуха — 4,5°.

Прожит еще год на берегу залива. Принято подводить итоги прожитому году. Не о своей жизни и работе — таких «песчинок» в мире много. Прежде о погоде. Весна здесь была поздней, с небольшим количеством осадков. Весенний паводок — низким. Лето прохладное, с частыми дождями. Осень солнечная, теплая, про-

должительная. Первый месяц зимы — декабрь — как будто продолжение хорошей осени.

Весной запоздало цветение ягодных деревьев, кустарников. Ко времени завязи плодов появилось огромное количество так называемой рябиновой моли. Урожай в тайге — рябины, калины — был погублен. По долине Чулышмана погиб урожай облепихи. Не уродилось в тайге и кедровых орешков. Трудной выдалась осень для зверей, зверьков. Так же трудно и птицам.

От низкого весеннего паводка пострадали и рыбы: около устья Чулышмана не затопило водой нерестилища щук, окуней и ельцов.

Из-за весенней засухи плохие вышли травы в долине Чулышмана и посевы овса на корм скоту.

Но хорошая долгая осень восстановила баланс в природе. Весь декабрь животные могли пастись на воле, что дало большую экономию сена.

Неизмеримо улучшилась жизнь обитателей долины Чулышмана и берегов Телецкого озера. Для тех, кто приезжает сюда впервые, перемены незаметны. Я помню берестяные юрты алтайцев в Балыкче, Кок-Паше, на Беле и на нашем берегу. Теперь всюду дома с городской мебелью, электросвет. У многих жителей мотоциклы. В магазинах годовой запас товаров, продуктов. А были годы — даже соли не купишь...

К сожалению, не все понимают, чего стоило это благо, как надо беречь чудесную алтайскую природу. Бьют, стреляют запрещенных к отстрелу зверей, птиц, не считаются со сроками охоты. Даже в Алтайском государственном заповеднике охотятся. Четыре года, как восстановлен заповедник, но охрана его — ниже всякой критики.

В верховьях реки Кок-ши браконьеры-соболятники жили в избушках заповедника, ушли, вероятно, с хорошей добычей.

Впрочем, довольно! Говорят, что я стар, не понимаю современной жизни, не умею пользоваться ее дарами-благами.

Температура воздуха средняя максимальная за декабрь — 3°.

Средняя минимальная — 7°.

Осадков измерено 27,2 мм.

Температура воды средняя за месяц + 3°.

Высота снежного покрова 18 см.

1973 год

21 марта

Сегодня утром с лесником Волковым переплыли на Кырсай. На Чулышмане местами лед прошел, течение сильное, паводок, надо было миновать реку. Верховка слабая дула, не помешала переплыть озеро. На всей дороге от озера до Балыкчи снег остался лишь местами.

Мне срочно надо было унести и отправить посылку: воду на химанализ в Новосибирскую химлабораторию гидрометеослужбы. И зарплату получить на почте, газеты.

Вертолет сейчас доставляет почту в Балыкчу пять раз в неделю, если позволяет погода. Заведующая почтовым отделением сказала, что работать стало очень трудно. Действительно так. Бывало, раньше почта шла от Улагана вьючным путем, хорошо, если раз в неделю добиралась до Балыкчи. Приедешь на почту, за 16 километров от дома, из них 6 на лодке, остальное пешком; на почте замок: завпочтой уехала куда-либо по своим делам, на почте ей нечего делать.

Теперь — иное, даже промтоварный магазин открыт. Купил жене мягкие туфельки, носить их можно только в сухую погоду, зато спокойно ноге. У жены 31 марта день рождения, 60 лет ей будет, но она выглядит гораздо моложе. Не верят (кто не знает), что 17 детей она родила.

Две тарелки, тоже импортные, купил, японские. Сюда таких тарелок много завезли. Приезжие издалека люди, туристы, охотно их берут, увозят с собой.

Домой вернулись вечером, на озере было тихо. Один час 15 минут плыли на веслах от Кырсая до дома.

Температура воздуха сегодня максимальная $+9^{\circ}$, минимальная $-1,5^{\circ}$.

10 апреля

День был солнечный, самый теплый за первую декаду апреля, максимальная температура $+16^{\circ}$.

В залив сегодня на пяти моторных лодках приплыли лесники, по Кыге будут готовить бревна — 100 кбм — для распиловки. Пилорама в Яйлю. Лес срубят по берегам реки, по ней сплавят в залив. Из бревен сделают плот, «Ирбис» на буксире уведет плот в Яйлю. Рас-

пиленный лес опять приплавят в залив. Будут строить новый дом на кордоне для лесника. Старый дом тоже отремонтируют — для второго лесника.

Лесники расположились станом на берегу залива, ждут лесников с других кордонов — Челюша, Атушты.

Погода чудесная, сухой галечный берег у отвесных скал, полно сухих дров — плавника, горящего почти без дыма. Вкуснейшая уха из хариусов. Чистейший горный воздух. Ночная перекличка филинов, шорохи скатывающихся мелких камешков с крутых склонов — это маралы приходят на солонцы... Вспомнил... так на берегах залива мне довелось провести первую весну. Был один, ничего не имел...

Сейчас крепко привязан наблюдательской должностью, хозяйством, садом, заботой о многочисленной семье. Раскидала ее жизнь по разным уголкам нашей родины. Все время в ожидании, в тревоге... Письма приходят чаще радостные. Но бывают и горестные...

1975 год

31 декабря

День был пасмурный. В горах снег шел с утра, а внизу мокрый снег начал падать в седьмом часу вечера. Осадков измерено 0,5 мм. Тепло, $+4^{\circ}$ была максимальная температура воздуха, $-0,8^{\circ}$ минимальная. Прошедшая ночь была беспокойная: горел костер на той стороне залива, плыть было нельзя, ветер хотя был местный и волнение небольшое, но лодка маленькая, плыть в ней даже втроем рискованно. И ночь с низкой облачностью, темная.

Дик тоже беспокоился, лаял, понимал, что там люди, что им надо переправиться на наш берег.

Не спала и моя жена, ее мучил кашель.

В четыре часа, когда я вышел на берег, ветер стих, слабые волны шелестели о гальку. Тепло, облачно над заливом, а на той стороне виден огонек костра. Вернулся в дом, сказал жене, что поплыву.

Лодка легкая, три километра до огонька, но уже нельзя сильно грести веслами: теснит в груди, больно отзывается в левом плече и руке, спазмы в горле. Минута отдыха — и боль проходит; так несколько раз на трех километрах.

У огня были школьники девятого класса, шли до-

мой на Белю, на каникулы. Мальчика зовут Давыд, он якут, года два назад в Якутии умерла его мать. На Беле давно живет брат его матери Гурий Андреев, лесником в заповеднике работает. Гурий привез из Якутии Давыда и его маленькую сестренку.

Девочку-школьницу звать Марина. Ее мать тоже на Беле живет. Мать Марины не выходила замуж. Во время второго становления Алтайского государственного заповедника жил на Беле молодой лесничий Попов (забыл его имя), он дружил с алтайской девушкой Розой. Попов чем-то не понравился директору заповедника Криницкому и уехал, кажется, в Красноярск. Уже после отъезда Попова у Розы и родилась дочь Марина, красивая выросла девочка. Одно время хотелось мне разыскать Попова: мать Марины во многом нуждалась. Кое-какие поношенные вещи моя жена отдавала ей.

Мать Розы в детстве была подружкой моей жены. Их юрты берестяные стояли рядом на берегу залива. (Ага, вот она, недостающая картинка в повествовании Н. П. Смирнова: в том месте, где сейчас его водомерный пост, на берегу Кыгинского залива стояли берестяные алтайские юрты. — Г. Г.) Моя жена рассказывала: они с Варей — так звали мать Розы — однажды выкурили трубку — отцы девочек курили такие трубки, — и с тех пор, жена говорит, кто бы ни курил, ее тошнит.

Перед отъездом Попова к нему приехали его родители — старики, хорошие люди. Они порадовались бы, увидев, какая у них славная выросла внучка.

Давыд с Мариной напились у нас горячего чаю и ушли тропой на Белю. Было еще темно, но на тропе чуть-чуть снега белеет, видно. С рассветом будут у своих родных.

Итак прожит последний день 1975 года.

Температура воздуха средняя за декабрь — 6,9°.

Осадков за месяц выпало 5,0 мм — мало.

Высота снежного покрова 10 см.

Температура поверхности воды в заливе + 2,2.

Льда в заливе нет.

1975-й год мало чем отличался от прежних прожитых лет. Жить стало полегче, чем прежде бывало. Уже не надо уповать на каждого пойманного хариуса и чебака как на прожиточный минимум. Больше стало по-

мощников, увеличился приток посетителей-доброхотов, и те, что бывали раньше, старались хоть чем-то порадовать: посылочкой, бандеролью, ласковым письмом. Словечки-жупелы: «самообложение», «налог по-единоличному», в свое время витавшие над смирновской заимкой, крепко бравшие за глотку, слава тебе господи, легли под спуд лет и забылись. Труды садовода возвеличены, безупречная служба водомера вознаграждена. Николай Павлович сделался поспокойнее, потерпимее. Его записи в дневниках — пораздумчивей, попространней...

Но 1975-й год принес в дом Смирновых самую тяжкую трагедию, какие случаются в семейных домах. Перед лицом трагедии еще раз выявились, проступили наружу главные черты характера, свойства души Николая Павловича, не поросшие быльем старчества, — его ранимость и его стоицизм...

11 июля

Вчера схоронили на террасе сына Олега. Погиб — 22 лет от роду.

Мать Олега сегодня в первый раз смогла встать. Последние три дня, когда узнала о гибели сына, она не могла подняться, мучили обморочные припадки. Очень я благодарен А. М. Гоману — хирургу областной больницы: он поддержал — уколами — несколько дней мою жену.

Приезжали сестры и два брата Олега, товарищи, сослуживцы, многие жители Яйлю, Бели, Балыкчи. Приезжали попрощаться с Олегом. Снова в наш старый дом пришла горечь утраты — четвертого сына.

Вчера и сегодня уехали наши близкие, знакомые, остались с нами жена Олега и его сын — третий месяц ему от роду.

12 июля

Сегодня немного работал, косил траву. С женой утром было плохо, позже встала, управлялась по хозяйству. Смогла сходить на свежую могилу Олега у памятника Зине. Из Балыкчи приезжали знакомые — да там все жители знакомые, они ходили к могиле Олега, его там все знали. На похороны из Балыкчи многие не смогли приехать — мало лодок.

Вчера вечером заезжали лесники — им поручено бы-

ло проехать в долину Чулышмана, узнать о вертолете, который летел на лесной пожар и не вернулся в аэропорт...

Садовод с Бели Кущенко приезжал, покосил траву нам. Он жил на Беле вместе с Олегом.

13 июля

Очень хороший прошел сегодня дождь, 17,3 мм измерено осадков. Все огородные растения нуждались во влаге. Температура воздуха максимальная $+21^{\circ}$, минимальная $+13,2^{\circ}$.

31 июля

День прошел с переменной облачностью — большую часть дня было облачно. Температура воздуха максимальная $+18,5^{\circ}$, минимальная $+13^{\circ}$.

Сын Николай с женой выехали в Яйлю. Сегодня у Николая кончился отпуск — дан был без содержания, на переезд и устройство (Николай переехал в Кыгинский залив, на кордон, лесником. — Г. Г.). За время отпуска он с матерью — да и мне жизнь дает пока силы — работали много, дружно: накосили траву, заметали стога хорошего, зеленого сена.

Прожит еще один летний месяц — июль. Он принес в наш старый дом горечь, слезы — о погибшем сыне Олеге.

Но жизнь продолжается, можно обижаться на судьбу, пославшую нам горькие испытания — погибали рядом с нами наши взрослые дети; и можно благодарить судьбу, что она не лишила еще нас с женой — в преклонном возрасте — рассудка, трудоспособности. Труд — самый мой любимый друг-советчик. Он помогает, успокаивает, зовет — пока есть силы — отдаться ему и помириться с судьбою.

Июль был жарким, с многочисленными грозами. От одной из них, самой сильной, 22-го, в трех местах загорелась тайга. Два загорания потухли сами, от ливня, а один очаг пожара удалось потушить лишь на шестые сутки, и то помог дождь. Горело на очень крутом склоне, высоко на горе. Лесникам было трудно, опасно тушить огонь.

Николаю Павловичу помог в горе труд — в этом один из главных уроков судьбы телецкого водомера.

Идея труда-благодетеля пронизывает — лейтмотивом, стержнем — все его дневники. Если бы он замкнулся в себе, дал горю перебродить в душе, оно бы выпало в горький нерастворимый осадок... Вечером скорбного дня Николай Павлович, как всегда, сел за тетрадку — поделиться с ней своим горем; усилием мысли и духа отстранил горе от себя, взвесил, ощутил не только его безмерность в отцовской душе, но и малую толику этого — личного — горя в череде человеческих дней и трудов, на фоне вечных сурово-прекрасных гор. И — не опустил крылья, а вострепел для новых трудов...

Дневники — тоже труд, особого, чисто духовного свойства. Они помогают познать себя, страсти свои обуздать, приструнить занедужившую душу. Дневники дают выход из бездны и потемок одиночества на свет общечеловеческого разумения, из таежной глухомани к людям. И еще дневники утоляют жажду незаурядной личности запечатлеть свои чувства в слове, а то испарятся, растают. А жаль...

Если подступит к сердцу слабость-тоска, можно признаться в ней дневнику, станет легче. Глядишь, на завтра прихлынут силы.

15 августа

День был солнечный, жаркий, +23,5° максимальная температура воздуха, +11,5° минимальная.

Сорок дней прошло — ушел навсегда из жизни наш сын Олег. За эти горестные дни еще больше пошатнулось здоровье моей жены. Мой верный друг — труд — не стал приносить мне удовлетворение-радость, хотя ежедневно пытаюсь, как и раньше, работать, с камнями, землей.

Много сегодня у нас людей: родственников, соседей, знакомых и случайных приезжих.

Сын Владимир на «Бризе» привез жителей Бели, вечером отвез их. Старшая дочь Любовь приезжала и сегодня же уехала, она живет в Новосибирске.

Много было наготовлено вкусной еды, много привезли водки, вина. Никогда раньше в нашем доме не пили. На этот раз я не стал спорить, неладно бы получилось. После похорон поминок с выпивкой мы не устроили, и нас осудили жители Яйлю, Бели, Балыкчи, приезжавшие проститься с Олегом...

В этом месте я прерываю печальный период в исповеди Н. П. Смирнова и обращаюсь к другому семейному событию на водомерном посту в Кыгинском заливе. Когда это было в последний раз? Когда родилось у Доры Захаровны младшенькое дитя? Кажется, в 1955 году... Что тогда пережил, что записал в дневнике глава большого семейства? Ну-ка попробуем отыскать, перелистаем тетрадки. Не так это просто...

1955 год

13 февраля

Георгий с Натальей утром привезли остатки сена с Карагая.

Подшил детям две пары валенок. Под вечер проводили ребят в школу и привезли один столб с Карагая.

Сегодня Малютка «скинула» жеребенка, он уже давно в ней был мертвым...

15 февраля

Сегодня под вечер у жены родилась дочь. Георгий утром уплыл за фельдшером и за почтой. Пришла Аня, но помощи от нее мало. (Кто такая Аня — фельдшер или одна из дочерей, не сказано.— Г. Г.)

Погода резко изменилась, от $+10^{\circ}$, вчера до -9° сегодня вечером.

16 февраля

Жена чувствует себя неплохо, дочка тоже пока не плачет, только у жены ещё бывают боли в правом боку.

Георгий плавал на Белю с медичкой Аней. (Значит, медичка.— Г. Г.) Купил там 29 кг гречихи и 17 кг ржаной муки, взял у четверых керосина литра полтора, надо будет рассчитаться рыбой. Торлопова послала жене кусочек сала свиного.

Аня ночует у нас вторую ночь.

18 февраля

Ночью у жены приключились сильные боли в животе, несколько раз теряла сознание, спать большую часть ночи не пришлось. Днем была Хлобыстова, поправила живот жене, резкие боли прекратились, но под

вечер поднялась температура до 39,4, дали некоторые таблетки, и понизилась.

Вечером послал Георгия за фельдшером, но из Атушты он ночью вернулся, так как никто с ним к нам не пошел: одни уехали, у других малые дети.

Эту запись надо немножко расшифровать. Я помню Георгия, каким он был в 55-м году, — он был тогда Гошкой, ему было семнадцать. И помню зыбку, подвешенную посреди избы, в ней зыбалось и агукало меньшенькое дитя Смирновых. За фельдшером Гошке нужно было плыть в ночь на лодке, по обязательно беспокойному в эту пору озеру, потом пробираться по глубокому снегу — натопанной тропы в Атушту в феврале не бывает. И в ночь возвратиться ни с чем к пылающей в жару матери, плачущим маленьким сестренкам, братишке Олегу, к не спящему уж которую ночь, ждущему у окна — в лампе привернут фитиль, чтоб не сжечь керосин, — отцу...

Только через три дня явилась фельдшер Казанцева.

22 февраля

Казанцева сделала жене пенициллиновое вливание, посоветовала принимать стрептоцид, по три таблетки через каждые четыре часа. Сегодня общее состояние жены лучше, хотя без посторонней помощи не может встать.

Днем было очень тяжело. С южных, нижних склонов текли ручьи. Георгий вернулся ночью, принес письма от Павла, Владимира, Любви, Ирины. Унес Половникову соленой и свежей капусты, за то, что он сделал нам трубы, из старой медогонки.

Вечером заходил Кашин. Приплыли они снизу. Привез он от Недозерова литра три керосину.

23 февраля

Сегодня жена не обижалась на резкие боли, но очень слаба...

Утром заходил Кашин, была Хлобыстова...

Георгий вывез все сено с Кыги. Поставили две редкие сети.

24 февраля

Жене чуть лучше. Но слаба и еще есть боли в правой стороне живота. Температура нормальная.

На Малютке возили с берегов лесной хлам к смолокурне.

В сети ничего не поймали. С полдня пришла сильная низовка.

25 февраля

Ходил в Балыкчу, получил урну и бюллетени по выборам в Советы. С почты — письма: от Надежды, от тетушки Парасковьи и служебное с анкетами по накоплению снега в горах.

Георгий рубил жерди на Карагае.

В Балыкче был на уроке в школе. Анна отвечала у доски очень плохо. На Ольгу тоже обижалась учительница, что плохо учится и плохо себя ведет. Слегка поругал детей.

26 февраля

Помылись в бане. Жена болеет и в бане не мылась. Под вечер ушел с урной на Белю. (Тут надо заметить, что Н. П., при его отшельничестве-анакоретстве, обладает выраженным общественным темпераментом; и тут сам взялся нести на Белю урну для выборов; и, я знаю, исполнил это государственное дело с великим усердием.— Г. Г.) Ночевал у Ивкиных, их ребенок всю ночь проплакал, ни они, ни я не спали.

27 февраля

С Бели пришел утром, вместе с Чукиным. Георгий нас проводил в Балыкчу, шли по льду, у бомов по доскам.

После оформления документов был в гостях у Кашина, взял у него понемножку, для испытания, некоторых огородных семян. После вскрытия урн и подсчета голосов дошел до Атушты и поспал у Козловых.

28 февраля

Домой пришел утром. Голова болит, нужен сон. Но пришлось пойти в Кыгу, сделать снегосъемку.

Георгий возил лес, но льдом только до березы у

кордона, а затем покосом и берегом, дорога здесь плохая.

Отелилась под вечер Красулька, принесла бычка. Жене лучше, но еще вставать не может.

5 марта

Наталья ушла в Чулышман за школьниками, чтобы помыть их в бане, починить обувь, — и запоздали, по льду побоялись идти. Георгий их ночью встречал, помогал перелезть через скалы. Татьяна упала, начерпала снега в валенки и обморозила себе ногу. Никогда больше не следует в такое время, в такую погоду водить детей домой. Теперь приходится самому доить коров, так как у Натальи болит палец.

Георгий возил лес.

6 марта

Весь день чинил валенки детям и еще не окончил. Погода: низовка, морозно. Теленка Красулькина уже трое суток как перенес во двор, пьет молоко хорошо, а на ноги сам встать не может.

7 марта

Георгий по льду проводил детей в школу. С почты получил «Литературную газету» за февраль, письма: от Ирины и из редакции журнала «Агробиология».

13 марта

Весь день писал статью для журнала «Агробиология», а вечером решил, что не стоит все полностью посылать.

Олег сильно капризничает, катается по полу, бьется головой, кричит — это очень действует на нервы. Жена все недомогает. Скажешь ей, что надо бы как-то унять Олега, чтобы он не катался, не бился головой, она обижается. Георгий тоже разгильдяйно себя ведет: прошлый раз оставил на Тоолоке длинную доску, поленился принести, а теперь ее там не оказалось. (Доска — большая ценность в хозяйстве Смирновых; чтобы ее получить, надо распилить хлыст продольной пилой, больше взять неоткуда. — Г. Г.)

Сегодня весь день до вечера проходил с ружьем, не поставил сети, а было за остробомом тихо.

Заболели Пина, Колян и Зина, кашляют, поднялась температура.

15 марта

В сети поймали только одного ускуча, на 4 килограмма, которого с аппетитом съели: жарили, запекали, в пироге, вечером сварили уху.

Днем налетела сильная низовка с дождем, потом пошел мокрый снег, поднялась метель.

Почти весь день писал, переделывал то, что писал в воскресенье, статью в редакцию журнала «Агробиология», о своей работе с плодовыми деревцами.

Георгий возил лес.

21 марта

Работали в лесу. После полдня взял сено, положенное для утепления пчелиной семьи. И осмотрел бегло пчелиную семью. Перезимовали исключительно хорошо; в улье почти сухо, подмору мало, в рамках еще есть корм (сахар был дан осенью). Поставил еще две рамки с сахарным сиропом: 2 кг рафинада на два литра воды. Матку не видел, и признаков подготовки сот к отложению яиц незаметно, да и рано, еще лежит снег. Леток был весь открыт, была вставлена жестяная защита от мышей, но она выпала. В прошлые зимы летки закрывал, прожигал маленькие отверстия в задвижках. Очевидно, лучше летки полностью открывать, до морозов утеплять погребок. Зима была нынче ровной, морозной.

Дневники Смирнова обладают какой-то магией притяжения к себе. Они привораживают. Чем дольше их читаешь, тем труднее оторваться. В каждом дне вылавливаешь что-нибудь насущное, весомое, как хариуса в сеть... Но, бывает, и не находишь того, чего ждешь.

В семье Смирновых родился ребенок, девочка. И что же? Судя по дневникам, это событие, обыкновенно переворачивающее вверх дном уклад привычной жизни в любой семье, не произвело должного впечатления на Николая Павловича. Раз навсегда заведенный распорядок трудов, забот, даже мыслей и чувств — на водомерном посту в Кыгинском заливе — нимало не изменился. Всплеска отцовских эмоций не последовало, во всяком случае градус повествования в дневниках не по-

высился, ровность тона летописца не поколебалась. В чем тут дело? — мы задаемся вопросом. Неужто телецкий водомер настолько очерствел, что сердца ему не хватило ощутить себя счастливым папашей? Или он от природы таков — фанатик, стоик, отшельник?

Мы не знаем, не присутствовали при событии, не видели улыбки отца, склонившегося над колыбелью новорожденной.

Ставя вопросы, делая выводы, вынося свои оценки тому или другому поступку нашего героя, мы довольствуемся тем, что записано в дневниках (и самую малость — впечатлениями от короткого личного знакомства). На каждой тетрадке дневников имеется, что ли, подзаголовок, летописец словно предупреждает тех, кто будет это читать: «Дополнительные наблюдения, краткие записи по хозяйству и прочее». И более — ничего. В дневниках не содержится описания психологических коллизий, нет самоанализа, эмоций. Дневники пишутся с вполне прагматической целью, имеется в виду прежде всего их практическая польза: как лучше вести хозяйство на этой земле, в какое время какая бывает погода, как можно ее предвидеть, какие существа населяют здешние леса, луга и воды — от травяных клопов и личинок шелкопряда до медведей и маралов, от чебаков и налимов до ускучей и тайменей, — что нужно знать земледельцу, садоводу, скотоводу, пасечнику, рыбаку, чтобы иметь у себя на столе яблоки, помидоры, арбузы, молоко со сливками, мед, уху, жареного рябчика и другое прочее.

В тех местах дневниковых записей, где масса этого рода полезных сведений вдруг перебивается чем-то личным, где наблюдатель поста гидрометеослужбы вдруг выходит за рамки поставленной им перед собой цели, он тотчас одергивает себя: «Для чего я это пишу? Это никому не нужно. Надо писать о погоде».

Николай Павлович скромн. У него тихий голос, ровный тон. Жизнь научила его тихости и ровности. Кричать бесполезно — не докричишься, никто не услышит. Гошку пошлешь за фельдшером, Гошка явится ночью ни с чем. Надо идти на конюшню, принимать роды у Малютки. На завтра стать повивальной бабкой при родах собственного дитя. А там, глядишь, настало время телиться Красульке, следом за нею — ягниться Розке, овце. И при всех этих родах — один восприемник...

Давайте вспомним, что с 1927 по 1955 год дети рождались в избушке у Кыгинского залива семнадцать раз. Аналогичного опыта мы не имеем, ему нет аналога в литературе и в житейской практике встреченных нами когда-либо людей. И мы не знаем, каково было отцу принимать роды на таежной заимке, насколько это дело стало свичным ему, обыденным... В дневниках об этом написано тихо, ровно, в строку с «записками по хозяйству и прочим». Принял роды, озабочился о больной жене, потаскал камни на террасу для ограды в саду, заготовил лесу, сходил в тайгу на охоту, поставил сети в озере, помог телиться корове Красульке, сходил в школу, поглядел, как учатся детки (плохо учатся), подкормил рафинадом пчел, подшил валенки, измерил уровень снега, написал статью для журнала «Агробиология». Что еще? Всего и не перечислишь.

При выборочном, фрагментарном чтении дневников могут возникнуть вопросы к летописцу, к самой его личности. Каков он, кыгинский отшельник? Чего ради так мучился? Ну, он-то ладно, бывают же чудачки, а дети, а жена?..

Получить ответы на эти вопросы в какой-то степени можно, прочтя весь труд жизни Н. П. Смирнова: «Дополнительные наблюдения, записки по хозяйству и прочее». То есть вопросы останутся, каждая одушевленная идеей человеческая жизнь-судьба несет в себе загадку. Дневники Н. П. Смирнова в целом, я думаю, дают ключ к пониманию его неоднозначной, многосложной, многооттеночной, чувствительной, нервной личности. Под тишиною, ровностью, сугубой информативностью повседневных записей прочитываются или угадываются между строк бури, страсти, порывы к любви и добру, всплески радости — и сознание собственной вины, слезы раскаяния и железная воля: испить всю чашу до дна, пройти дорогу, для себя избранную, собою торимую, — до конца.

Идиллий не было в жизни Смирнова и его большой семьи. За то, что выломился из общего хода жизни, обособился от людей, за таежное отшельничество, непопулярное в наше время, и за процветающее доходное его — так со стороны казалось — «единоличное» хозяйство Николай Павлович расплачивался горькой ценой. Бывали такие дни, недели, месяцы, когда коровы

не доились, не было клочка сена для скота, куры не неслись, хариусы и налимы не ловились, рябчики не летели под выстрел. Единственную тропу из Улагана на Чулышман заносило снегами, продуктов в Балыкчу не завозили; Смирнов метался, как волк, по округе, выменивал кусок хлеба на головку чесноку, на льняное семя, на рыболовный крючок. В доме полным-полно было голодных ртов...

1952 год

15 марта

Немного пилили лес. Мылись в бане. Рыбы ничего не поймали. Вечером написал письмо профессору Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Александрову с просьбой прислать семян цитрусовых и с вопросом: можно ли в комнате вырастить апельсины, мандарины.

16 марта

Георгий ходил в Балыкчу, в колхозе муки не оказалось, в сельпо тоже нет. Принес только газеты.

Владимир плавал на Белю, купил 50 кг гречихи, 120 р. заплатил.

Поймал щуку, на той стороне залива, на 7,5 кг. Хлеба нет, сегодня весь день ели щуку. Куры сегодня снесли девять яиц. Делал днем козла — пилить кряжи на доски. Ощущал слабость всего организма — очевидно, от плохого питания.

17 марта

С Георгием выпилили 12 тесин и 4 горбыля. Потом еще точил пилы.

У Хлобыстовых взяли займы 800 г сала.

Послали сегодня с Хлобыстовыми 102 р. денег и письма детям в Турачак.

18 марта

До полдня пилили с Владимиром тес, затем Владимир ушел проверить, поют ли глухари. Сегодня был очень теплый, солнечный день, слышали первую песню косача-тетерева.

Под обрезом поймали в две сети трех окуньков и хариуса.

19 марта

В шесть сетей за пашней поймали девять крупных хариусов. Вечером все досыта наелись (уха и жареные).

Владимир добыл одного рябчика. Грухари, говорит, еще не играют. Допилили остатки бревна на тес. Куры снесли сегодня десять яиц.

20 марта

Больше полдня работал на снегосъемке. Начал крыть крышу на дворике — подфуговал, продорожил и прибил восемь досок. Ночью Владимир с Георгием добыли трех хариусов.

Утка снесла первое яйцо.

23 марта

С Георгием плавали и ходили в Чулышман. Получили посылку с семенами из Краснодара, письма, газеты, детское пособие за февраль. В сельпо купили полкирпича чаю, шесть метров бумажной ткани. У Щербакова Георгий взял 6 кг муки 3-го сорта, за прошлогодние расчеты.

Туда и особенно обратно возвращались по сильной низовке.

26 марта

Утром уплыли с Натальей в Балыкчу, но, как и следовало ожидать, напрасно: из Улагана никого нет. (Должно было состояться выездное заседание районного суда, по заявлению Н. П.; какая-то у него распря с местными; он не то что любил посутяжничать, но отстаивал справедливость всеми средствами, вплоть до суда. — Г. Г.)

Чокоева Лизавета дала муки, 1 кг 300 г. Надо ей унести рыбы вдвое большей стоимости, чем мука: она сама живет в большой нужде.

У Кашина взял соли 1 кг 700 г. Он просил за это выкоптить рыбы.

Недорезова сказала жене, что наша дочь Ирина, живущая в школьном интернате, подралась с ученицей Кудрявцевой, поцарапала ей лицо. Как тяжело, что наши дети не могут во время учения жить дома. Сколько ради них тратишь сил, переносишь лишений. Приходит-

ся иногда даже ссориться с местными людьми, нельзя позволить себе дать детей в обиду.

На перемет поймали на уху налимов.

27 марта

До полдня делал подрезку яблонь на террасах. Поставили перемет с шестью удочками. Уху сегодня варить было не из чего.

28 марта

Хлобыстов принес повестку в суд.

Пришла Ирина из Турачака. (Километров пятьдесят от Турачака до озера, и озером — семьдесят. Льдом шла, что ли? Сколько лет Ирине? — об этом не говорится. — Г. Г.)

Поплыли в Балыкчу, когда добрались, уже стемнело. Ночевали у Кобековой. Суд начался после полдня. (Это — любимая мера времени у Н. П.: полдня. — Г. Г.) Швалов пытался доказывать, что будто я и дети это подстроили умышленно. (В чем суть судебного разбирательства — не сказано. — Г. Г.) Щербаков также пытался это доказывать, после заседания суда он угрожал мне репрессиями. (Таких угроз на голову Н. П. сыпалось множество, но он ни разу не убоился, всегда был уверен в своей правоте. — Г. Г.) В свою очередь, я тоже не смог себя сдерживать... ради защиты детей готов пережить что угодно.

Судебное разбирательство продолжалось чуть не до ночи, не дождались приговора Швалову, ушли домой.

У Шейновой занял 1 кг печеного хлеба. Дома хлеба нет. Поймали на перемет тайменя, килограммов на 8. Унесли кусок — за муку — Чокоевой Лизавете, Кашину за соль и себе взяли на уху.

1 апреля

Сделал снегосъемку в Кыге, здесь почти весь снег уже растаял. Писал наблюдения, делал подрезку яблонь. Подправлял городьбу. В первый раз выпустил скотину.

С полдня подула сильнейшая низовка.

От Зиновьева Иллариона слышал, что Швалову присудили один год лишения свободы.

Рыбы не поймали.

2 апреля

Ночью сырой снег скрыл всю землю. Плавал к Чулышману за Георгием, он по случаю плохой погоды вчера не вернулся.

Сети достали кошкой. Вместо рыбы поймали лесной хлам. С почты Георгий принес газеты, письмо от Надежды, предписание сельсовета отправить детей в любую школу, а дети нездоровы и, кроме картофеля, дома ничего нет, молока корова доит два с половиной литра в день, куры несут яйца, но и по одному яйцу в день на человека не сносят.

3 апреля

Весь день шел дождь. С Ириной переплыли к Чулышману и прошли в интернат. После разговора со Щербаковым Ирину оставил в интернате, а разговор был примерно следующего содержания: я сказал, что на суде мы оба, то есть я и Щербаков, наговорили друг другу обидных слов, но в моих словах была правда, а в его неправда. Дальше я сказал, что тяжело жить в ссоре с людьми, и я, как Русский человек, желаю больше ничего не предпринимать на выпады Щербакова. Личную обиду можно перенести, а на жалобы и разбирательства нужно время, а у меня его нет. Добавил, что это не из трусости перед Щербаковым, а так подсказывает голос совести.

Щербаковы дали 3 кг белой муки, детям пряников.

Ушел от них с успокоенной совестью.

Заходил к Параеву. Хотел уличить Параева во лжи: почему он говорил Щербакову, что во время учения в школе, проживания в интернате Владимир спал у него на сене? Параев же склонил к этому Владимира, отвлекал его от учения в школе, водил с собой на охоту и на рыбалку. Даже дошло до того, что Владимир утащил капкан у Хлобыстова, жившего тогда в Атуште, и унес его Параеву.

Но чувство облегченной совести не позволило все это говорить. Только сказал Параеву, что больше я никаких выяснений делать не буду.

Ночевал на Карагае. Всю ночь свирепствовала низовка.

4 апреля

Ходили с Георгием в Кыгу, отпилили три столба от ранее сваленной сухой лиственницы, но подвезти к берегу Кыги уже нельзя, снега нет. Застрелил одного рябчика.

5 апреля

Мылись в бане. Как и всегда, вел наблюдения, тесал бревна. Плавали с Георгием к Чулышману, поймали на перемет тайменя килограммов на 9.

Пришла из школы Ирина, видела в интернате врача Ситникова, он привез нам посылку.

Утка примерзла к льдине.

6 апреля

Георгий принес посылку от Ситникова: сахар, конфеты, банка абрикосового джема, семь кусков мыла, четыре пары детских чулок — большая ему благодарность!

Ирина унесла гостинцы: кусок копченого тайменя Щербаковым, кусок Чокоевой Лизавете, кусок Ситникову. По два семечка краснодарской сладкой тыквы, дыни, арбузов послал Параеву, Щербакову, 800 г моркови — школе.

Поступки и настроения Николая Павловича непредвидимы, непредсказуемы. То вдруг он возмечтает вырастить у себя дома лимоны и мандарины, то выступит на суде в роли одержимого чувством своей правоты истца. На завтра остынет, отправится бить челом своим обидчикам, мириться, кончать дело по совести, по-человечески. Но при этом не поступится своею правотой, избави боже. В его смирении — семена будущих, опять-таки непредвидимых, взрывов и тяжб.

Но что бы ни делал телецкий водомер, куда бы его ни заносило, как озеро постоянно подвержено действию ветров — верховки или низовки, — так в ухо ему все время дует ветер нужды. Он мечется по округе, не спит ночей — с единственной мыслью добыть кусок хлеба в самом прямом, буквальном смысле. В гнездышке ждут его чуть заморившие червяка малые дети-птенцы.

8 апреля

В три часа ночи ушел на ток, хорошо скрал токующего глухаря, но, пока думал, из какого ружья стрелять, глухарь улетел. И с ним вместе три непоющих улетели. Рябчиков не видел. На току и ниже слоистый снег, смерзшийся.

Днем отдыхать не пришлось: чинил городьбу, «сидел» смолу — сжег огромное количество плавника. Еще с осени смолье было заложено, сверху насыпал много земли. И сейчас, ночью, надо подкладывать дрова.

9 апреля

Смолы вышло очень мало. Дрова все сгорели. Ночью дула низовка. Под вечер сплавали с Георгием к Чулышману, поймали там тайменя килограммов на 8 и налима килограмма на 2. В сети поймали шесть чебаков-селедок, дома поймали на уху налимов.

Пришел Владимир. Отпустили его и других призванных в армию до 2 мая, к этому сроку нужно быть в Кош-Агаче. Принес он коробку конфет из Улагана. Слышал в Улагане, что собираются нас обложить большим налогом, так как у нас две коровы. Это, конечно, результат того, что я посмел вступить за своих детей, критиковать Щербакова за беспорядок в интернате, за допущенную вшивость, за то, что Щербаков и другие интернатские работники тратят свое время не на детей, а на охоту и даже на колхозных лошадях. Да. Лучше, верно, молчать. Один против многих — ничего не сделаешь.

К Чулышману сплавать не пришлось. Дома поймали три маленьких налима. Хлеба нет, уже забываем вкус хлеба. Едим картофель, в некоторые дни рыбу, иногда перепадает по яичку на человека. Чай забеляем молоком. Поддерживают конфеты, принесенные Владимиром из Улагана.

Вот так-то...

Вконец замотанный неизбежной заботой о куске настоящего хлеба, Николай Павлович временами забывал, что родные его отроки и отроковицы — дети. Он впрягал их в общую лямку — дети недополучали того, чем дорого, сладостно детство: ни игр, ни забав, ни бережной духовной опеки старших, ни ладу в семье. Ласки им не хватало и чего-то еще, каких-то праздников детства.

Не все ладно складывалось у отца с детьми, и сам отец понимал, что не ладно. Недоставало его на то, чтобы дать детям другое воспитание, кроме раннего — строго обязательного — приобщения их ко многим трудам. Само по себе благодетельное трудовое воспитание приносило не те результаты, на какие надеялся родитель. Об этом со всей откровенностью, с болью душевной говорится в дневниках Смирнова. И сами дети, вырастая, по-разному относились к отцовской науке. В начале этих записок я уже говорил о конфликте старшего сына Смирновых, Павла, с отцом.

Нелады с детьми, ссоры с женой... Смирнов делился с дневником своей болью. Изреченная боль, поверенная — пусть дневнику — не так томит душу. И всякий раз выходило, что в ссоре повинна жена, а сам глава семьи, летописец, чист перед нею. Вину своей жены, ее беспредметную ревность и безрассудную возбудимость он, правда, относил за счет болезни жены, прощал. Однако... Читая дневники Смирнова, обязательно задаешься вопросом: неужто в жизни двух людей, спянных воедино не только брачными узами, но и обетом совместного плавания по никем не освоенным волнам, родивших множество детей, доведших их до ума, неужто так ничего и не было, кроме этого противостояния? Если было, то что осталось, во что вылилось, какую сохранило в себе животворящую силу? Надо думать, все началось с любви, из нее произросло. И любовь — необыкновенная, как этот горный, таежный, озерный мир. Если не любовь, то откуда ревность Доры Захаровны? И как они выжить-то смогли, не разлучаясь в течение полувека, что их удержало вместе, если не любовь?

Ищу ответа, читаю дневник, перечитываю. И — нахожу. У Николая Павловича обо всем главном сказано, ни про что не забыто.

Однажды Дора Захаровна занемогла, ее увезли в Турочок, в больницу. Смирнов остался один на посту. То есть с детьми, но — один. Вот как он пишет об этом.

1958 год

20 июня

Вечером уплыли на орсовской лодке в Артыбаш, с женой, Олегом и Верой. Домой вернулся 19-го вечером, только с Верой; жену положили в Турачаке в больницу.

Олега на обратном пути оставили у Натальи. Тяжелая поездка во всех отношениях. Оставил там жену, и так горько, будто в чем перед ней виноват...

Дома не все в порядке. Татьяна с Анной снова ссорились с семьей Владимира. Сдох жеребенок у Милютки.

21 июня

В первую очередь переписал полевые наблюдения в книжки и таблицы. Детей приходилось заставлять что-либо делать, так как сами они не хотят видеть, что нужно делать. (Так они же дети, Николай Павлович, им же хочется поиграть.— Г. Г.) Сам весь день, пересиливая усталость, работал. Это всегда помогает, легче переносить одиночество. Плохой я, черствый человек...(!), а дети не понимают, что вся эта работа, которая им не нравится,— для них же... Хоть и бывали с женой тяжелые ссоры, но это такой друг и товарищ в жизни... Никем и ничем другим не заменишь.

Дети дичатся меня... Только вот самые маленькие еще позволяют себя приласкать.

22 июня

Весь день работал в огороде, помогали и дети, рыхлили землю на грядках с чуть не погибшей рассадой огурцов, арбузов. Огурцы полил жидким удобрением. Высадил капустную рассаду.

Трое суток прошло, как расстались с женой в Турчаке...

Ну вот, видите, как жена рядом, ссорятся, а врозь никак. Без жены Николай Павлович сам не свой, тоскует, даже поскуливает, плачется своему дневнику. Без жены он не может... Вот она, диалектика души человеческой...

Однажды в моих комментариях к дневникам Смирнова я употребил — в отношении личности их автора — словечки: «стоицизм», «аскетизм», «фанатизм». Тут надо оговориться: словечки эти никак не покрывают всего разнообразного содержания судьбы и личности телецкого водомера. Конечно, в какой-то степени стоик, аскет, фанатик, но и что-то еще. Он много тоньше, слож-

нее, богаче любого словесного атрибута. И его дневники тоже. В них, правда, есть и «дополнительные наблюдения», и «краткие записи по хозяйству», и «прочее». В этом «прочем» так много всего...

Дневники Смирнова приурочены к малому месту, в пределах одного дня пешего хождения, но так глубоки во времени, столько в себя вобрали живого, сущего, острым глазом увиденного, отзывчивой душой пережитого...

Впрочем, я долго уже говорю от себя. Пусть скажет сам летописец.

1971 год

1 сентября

Солнечный, золотой осенний день. Так хорошо это после неустойчивой холодной погоды. Подготовил к отправке материалы наблюдений за август, но отправить было не с кем. Все реже будут заходить в залив катера и лодки. Теплоход «Пионер Алтая» был сегодня на Кырсае, через несколько дней он станет на зимовку.

На воде залива, на берегах сегодня появилось большое количество травяных клопов.

Температура воздуха средняя за день $+10,5^{\circ}$.

2 сентября

Солнечный теплый день. «Бриз» ночует у нашего берега.

3 сентября

Тепло, тихо на озере.

Жаль, от засухи склоны гор солнечной стороны выглядят так, будто уже поздняя осень.

«Бриз» в 10 часов вышел из залива, увез овощи, яблоки и трех овец, теленка, — это мы дали сыновьям, Владимиру и Николаю.

Под вечер жена пошла за коровами с дочкой Ольгой (каждый день за ними ходим), и на верхней террасе они увидели медвежонка. Он ел яблоки. На их крики поспешил я, и мы все увидели медвежью работу: сломана молодая яблоня, обломаны ветки на другой яблоне. Под яблонями несколько куч медвежьего помета. Медведи ночевали здесь, видны лежки.

Жена и дочка вернулись — побоялись идти за коровами. Не дошли мы до дома, как увидели медведицу и двух медвежат. Они подошли к городьбе, окружающей террасы. Мне хотелось пугнуть их из ракетницы, но собака Динка успела меня опередить — угнала медведей.

4 сентября

Семья медведей ночью снова приходила на террасу; ели яблоки. Сейчас — в ночь — двое научных сотрудников Новосибирского Академгородка сидят с ружьями на террасе. Вчера они под вечер приехали в залив на двух моторных лодках.

Сегодня у нас много было гостей. Катер лесокombината был, и хирург А. П. Огиренко на своей лодке заезжал. Был он расстроен, обижался на боль в голове. Чуть не повторилась прошлогодняя трагедия: на его глазах человек завел лодочный мотор на скорости, лодка стремительно ринулась, человек упал в воду. Лодку с ревущим мотором носило по кругу, человек пытался ухватиться за борт, и в этот момент его ударило винтом по голове. Мотор заглох. Раненый, скрывшийся под водой от удара, всплыл, и Огиренко втащил его в свою лодку, увез в больницу. Винтом человеку повредило голову и ногу (пьян не был). Огиренко зашил раны, все сделал, чтобы спасти пострадавшего.

5 сентября

Удерживается солнечная теплая погода, $+21^{\circ}$, в метбудке ночью $+10^{\circ}$. Растут и зреют помидоры, что остались неубранными. Ученые из Новосибирского биологического института сегодня уехали. Один лодочный мотор «Вихрь» у них вышел из строя. Убить медведя в нашем саду им не удалось, хотя медведица подошла к изгороди еще до темноты, они хотели стрелять, когда она будет перелезать изгородь. Но медведица учуяла опасность, пыкнула и исчезла. На рассвете охотники вновь осторожно прошли на террасу, но медведи не пришли.

А сегодня под вечер у нас были гости с Бели: Татьяна с Леоном — и с ними матрос с «Бриза». Он первый и увидел медведя, еще один пожаловал, более крупный, чем уже знакомая нам медведица. Может быть, это одно семейство, звери сообщили друг другу, что под боком есть лакомая еда. Этот большой медведь шел по склону горы примерно в 300 м от нашего дома. Лес ред-

кий, молодой сосняк растет от самого низа склона; медведь то скрывался за сосенками, то показывался на чистых местах. Он тоже увидел нас и резко повернул в гору, скрылся в чаще.

Ну и чудеса! В лунную полночь пошли с женой посмотреть и спугнуть медведей, если бы они опять пришли воровать яблоки, поднялись на верхнюю террасу, а медведь в это время уже ел яблоки на нижней террасе. Мы оказались ближе к лесу, чем вор. Я выстрелил из ружья картечью и несколько раз из ракетницы. Медведь рюхнул и побежал — не в лес, а к нашему дому, перемахнул через изгородь и оказался в загоне, где оставлены на ночь наши коровы. Вероятно, он их испугался, не ждал такой близкой встречи, со страху еще несколько раз рюхнул.

Сорок четыре года прожито здесь, никогда еще медведи не приходили так близко к дому. А собаки наши даже не стявкили, боятся медведя.

6 сентября

Такой же чудесный день. Сегодня в залив никто не приезжал. Ждал я кого-либо из резиденции заповедника, писал директору записку: что делать с медведями? Ведь они могут задавить кого-либо из домашних животных. У меня перед ними нет страха, да и у жены тоже, но у нас бывают наши внучата.

Вчерашний медведь поломал ветви еще на двух молодых яблонях, съел порядочно плодов. Правда, здесь же оставил несколько куч удобрения. Спасибо ему за это.

В наш сад звери давно протоптали дорожку. Бурундуки много перепортили яблок, даже у порога дома снуют, кошки ежегодно их ловят. Вот теперь и медведи.

Сейчас вернулся с террасы, караулил медведя, с намерением убить. Нельзя оставить его безнаказанным. На другой террасе караулил лесник Рузанов. Слабый дождь пошел, и мы ушли. Днем много пришлось работать, так что ночь без сна — это плохо.

Сегодня городил сено на поляне и возле дома. На поляне, в устье Кыги — всюду следы медведей. Рябчиков видел двух возле нашего сада и у реки. Ястреб-тетеревятник пытался поймать нашу курицу, не удалось.

7 сентября

Солнечная, теплая погода. Слабый ночью шел дождь, в осадкомере нисколько не набралось влаги. «Бриз» был в заливе, приезжал директор турбазы Гладков. Сегодня заканчивает работу Чулышманская турбаза. За ее сотрудниками и приходил «Бриз», попутно от нас увез помидоры, яблоки. Через два дня закроется на зиму и Артыбашская турбаза.

Медведь прошлой ночью приходил на террасу, наелся яблок. В два часа я вышел на улицу, пугнул его из ракетницы. Сегодня в разных местах повесил три старые телогрейки, чтоб отпугнуть медведей. Трудно провести ночь без сна. К тому же от потепления появилась мелкая, кусучая мошка. Да и нет от дирекции заповедника ответа на запрос о медведях. Если убить медведя, могут быть неприятности, штраф, дерганье нервов. Но и сдаваться на волю медведей не хотелось бы.

8 сентября

Удерживается знойная погода. Очень опасно, так все сухо на склонах гор, небрежно брошенная спичка, окурок папиросы — и может загореться высохшая трава.

Много было у нас гостей, но, к счастью, не на долгое время. Директор заповедника Дорохов приезжал, посмотрел на работу медведей в нашем саду, сказал, что завтра приедет большое начальство, чуть ли не министр какой-то, не запомнил, промышленности. Приедут — и устроят охоту на медведя в нашем саду. На ночь Дорохов дал задание — сидеть на террасе, отпугивать медведя.

Леон с Татьяной были, увезли своих двух овечек, опасаются, чтобы не съел их медведь.

Вечером в залив прошел «Восток».

А медведь, как ни в чем не бывало, и вчера ночью ел на террасе яблоки. Повешенные на колья старые телогрейки не произвели на него никакого впечатления.

9 сентября

Погода не изменилась. Поливали с женой помидоры, плоды хорошо спеют сейчас на кустах. Обещанные нам высокие гости не приезжали. Караулить медведя в ночь ушли Владимир, капитан Басенко, матрос Мер-

курьев, лесник Рузанов. Прошедшую ночь Рузанов жег на берегу против террасы огромный костер, чтобы медведь не наелся яблок, а сегодня бы, проголодавшись, наверняка пришел.

«Восток» еще ночь проведет в заливе. Техники и команда на лодке ездили в Балыкчу, только что вернулись.

10 сентября

Резко изменилась погода. Ночью подула низовка, пошел дождь. И большую часть дня шел дождь, в горах — снег. Осадков измерено 13,9 мм. 20 дней подряд простояла солнечная, знойная погода. Дождь здесь был крайне необходим. Еще вчера пришлось нам с женой поливать помидоры. А похолодание, конечно, еще преждевременно.

Прошедшую ночь мало пришлось уснуть. Сын Владимир, Басенко, матрос с «Бриза» и лесник караулили на террасе медведя. Приходил медведь, учуял, что его подстерегают, рюхнул несколько раз и ушел. В три часа пошел дождь, все вернулись домой, легли спать. В пять часов явился заместитель директора заповедника Двоеглазов. В залив пришел теплоход заповедника, всего на теплоходе двенадцать человек. Среди них министр. Министр и сопровождающие его лица остались на берегу. Встретиться с ними не пришлось.

Рассказал Двоеглазову, где пройти и ожидать медведя. Ночь темная, ветер крутит. Медведя караулят министр и Двоеглазов...

11 сентября

Весь день сегодня не стихала на озере сильная низовка. «Бриз» ушел. Уехал министр с сопровождающими, уехал наш сын Владимир. Убить медведя в саду не удалось — ветер мешал.

Но без гостей мы не остались. Приходил катер лесоохраны, оставил у нас старого знакомого, восьмидесятилетнего пенсионера — жителя Иогача, — и фотокорреспондента журнала «Огонек».

Мы с корреспондентом ходили на террасы — отпугнуть медведя. Караулить его бесполезно: ночь темная, ветер крутит. Когда ракета осветила террасу, медведь из-под яблони метнулся в гору.

Татьяна с Леоном приходили, искали двух овец, что

увезли от нас три дня тому назад. Овечки вчера прибежали к нам.

13 сентября

Вчера ничего не смог записать о событиях прошедшего дня: вечером ушел на террасу и до рассвета караулил медведя. В это время медвежонок пришел в сад к самому дому. Он напугал жену, она никак не ждала такого гостя. Медвежонок свалился с яблони, сам тоже перепугался. Щенок Рыжик, бывший возле жены, залезся лаем. Зурну, должно быть, поранил медведь, она лежит в сарае. В кухне и в доме горели лампы, топилась печка, даже кошка Ритка взъерошила шерсть и ворчала. Жена и Рыжик поспешили в дом.

Медвежонок ел сладкие сливы и яблоки, опять полез на яблоню по глупости и свалился, наломал ветвей.

Тот медведь, что ходил на террасы, на яблони не лазал, собирал опадыши, ему их пока хватает. Он оставил четыре кучи помета, драгоценного удобрения — сознательный, будто понимает, каких трудов стоило сделать террасы и вырастить на них яблони. Уходя, он сломал изгородь, за это я хотел его наказать, а мне уже тяжело заносить в гору жерди. И времени не хватает с медведями воевать, и лучше бы все уладить мирным путем... Мне очень понятно, что яблоки хороши, и мне приходилось в детстве их воровать в большом, запущенном помещичьем саду. Бывал я и порот за сладкие яблоки, хотя яблони и изгородь не ломал.

Честное слово, не хотелось бы убивать медведей сейчас. Припугнул их из ружья, из ракетницы — и ладно. В подгольцовой зоне в это время растут сладкие корни — «копеечник», те медведи, что поумнее, все там.

И все-таки караулю... Ночь выдалась неподходящая для медвежьей охоты: облачность закрыла небо, ветерок хотя и слабый, но переменчивый, а нюх у медведя лучше глаз и ушей.

Вчера были еще гости, но все уехали, уехал и корреспондент «Огонька». Восьмидесятилетнему иогачскому жителю Кузмину, доброму моему знакомому, подарил три яблоньки-двухлетки «апорт». И разговоры наши с ним — все о яблонях. Дал ему и яблок, и помидоров.

Приезжал за помидорами и яблоками врач Огирен-

ко с женой — для таких людей, как он, ничего не жаль.

Милицейский катер приходил, угостили милицию плодами нашего сада. Дал им червей для уженья рыбы. Давно уже их накопал, а самому поудить рыбы нет времени.

14 сентября

Приезжал директор заповедника с женой, дали им 40 кг помидоров.

Вечером пришел «Бриз», и в это время на террасе в ловушку попал медвежонок. Прошлой ночью он лазил на яблони, поломал ветви — мы вынуждены были поставить ловушки. Медвежонок погиб, команда «Бриза» прикончила его выстрелами из ТОЗа. На берегу рывкала медведица.

15 сентября

Ночью прошел хороший дождь, 7,9 мм измерено осадков. Днем на озере была низовка, не стихает и сейчас, ночью.

«Бриз» увез из нашего огорода, сада помидоры, яблоки. Сезон туристов окончился, помидоры и яблоки берут работники базы. Много заказов на помидоры — их не могут вырастить жители Артыбаша, Иогача, Яйлю. Много надо работать, чтобы вырастить хорошие, созревающие на кустах помидоры.

Сняли сегодня шкуру с медвежонка, она пушистая...

Совсем на тушке нет жира, весу в медвежонке 18 кг. Вероятно, не смог бы перезимовать. Давным-давно, в октябре, мне довелось застрелить двух медвежат, так они весили по 40 кг каждый. В ту осень в тайге был большой урожай кедровых орехов, у медвежат было много жира. С подростком-сыном мы смогли тогда принести из тайги шкурки и половину мяса. Когда через сутки пришли за остатками мяса, спугнули волка, он мясо съел. Наказать волка не удалось.

16 сентября

День был солнечный, теплый.

Утром, в девятом часу, приехал лесничий с Бели Карманов И. И. и Жебровская Л. Ю. — из Яйлю. Жебровская — ученый садовод. (Помните, о ней уже шла речь в дневниках Н. П.? — Г. Г.) Она изучает, описывает качества наших новых сортов-гибридов, сегодня взя-

ла плоды с трех сеянцев — яблонь, заплодоносивших впервые.

Она и другие гости не поверили, что медведи ходят есть яблоки в наш сад. При солнечном свете людям, подолгу не жившим у нас, правда, трудно в это поверить.

Кстати, прошедшей ночью медведи в сад не приходили.

17 сентября

На озере была верховка, в заливе тихо.

Хорошие растут и зреют помидоры на кустах.

Полагали с женой, что проживем одни, но не получилось: к нашему берегу подошел теплоход «Пионер Алтая». По трапу сошел на берег давно нам знакомый житель города Тамбова, по прозвищу «дед-Тамбов». Говорит: «Пустите пожить недельки на две». — «Что ж, говорю, поживите».

Сегодня пчелам дал сахарный сироп, так как меда в ульях мало, семьи слабые. Здесь и моя вина: родились пчелы, рои улетели... И конечно, бедна здесь местность медоносными растениями.

Жена пошла утром кормить кур. В открытую дверь двора залетела рябчиха. Поймали мы ее, посадили под проволочную сетку. Дали ей земляники, риса, пшена, кедровых орешков. До вечера рябчиха не притронулась к пище.

Близ поста у берегов весь день плавали с десятков уток, незнакомой, не знаю какой породы.

18 сентября

День прошел с переменной облачностью. Тепло. Из облаков упали на землю капли дождя. Склоны гор цветут, но не так красиво, как бывало в другие годы: сухая погода преждевременно заставила часть лиственного леса уронить свою засохшую листву.

«Дед-Тамбов» сегодня блеснул щук, но ни одной не поймал...

Татьяна с Леоном приезжали. Татьяна вчера вернулась из Иогача, в школе была, двое ее детей там учатся. И наша дочь Люда учится там же. Татьяна рассказала нам о плохом порядке в интернате, где живут дети. Интернат не государственный, родители на свои средства содержат детей.

На Беле все лесники уже выкопали картофель. Урожай хороший, по 3—4 тонны накопили.

Лесники с Бели сегодня приехали в залив, здесь собирают лес-плавник на дрова для пекарни и конторы, что в Яйлю.

19 сентября

В полдень резко изменилась погода. Очень сильный северный ветер, на озере и в заливе заплескались высокие волны, облака за клубились над заливом, пошел дождь. 5,1 мм измерено осадков. К вечеру прояснело, стало видно: снег выпал вполовину высоты гор. Пришлось спешно убирать с кустов помидоры.

Прошлой ночью медведь много съел яблок. Пришлось опять ставить петли под яблони. Еще было светло, мы втроем: Рузанов, дед-Тамбов и я ставили ловушки, а моя жена от дому увидала, что медведь спускается с горы к саду; она прибежала к нам, и мы все ушли. Вероятно, медведь нас видел, может, и не придет сегодня. Это бы хорошо... Медведи много съели яблок, на безобразничали в саду, сломали несколько яблонь, а убивать их нет охоты. Ставлю ловушки — и настроение неважное.

20 сентября

И сегодня весь день не стихает холодная низовка. На горах шел снег. Весь день убрали с кустов помидоры, часть их укрыли рамами с пленкой.

Медведь ночью ел яблоки в саду, наступил лапой на петлю, вдавил ее в землю и ушел.

Под вечер в залив зашел катер райпо с баржой на буксире, груженной, в основном, водкой, винами. К нам с баржи заходили ужинать двое чулышманцев, остались ночевать. Ночью в залив прошел «Восток». Так за лето устали от гостей, а они и осенью приезжают, это мешает работать...

Пойманный рябчик стал склевывать рис, землянику — в нашем огороде земляника цветет и ягоды спеют до самых заморозков.

21 сентября

Низовку сменила очень сильная верховка. Погода — осенняя. Ночью и утром был первый иней, но огородные растения не подмерзли. В метбудке температу-

ра воздуха была $+1,5^{\circ}$. Днем пошел дождь. Осадков за день измерено 2,0 мм.

Медведь ночью был на террасе, наелся яблок, наступил на петлю, вмял ее в землю и ушел.

«Бриз» заходил, на Кырсай привезли продукты для инструкторов турбазы. Инструктора — девять человек — осваивали новый таежный маршрут и заблудились. Трое суток ничего не ели.

От нас «Бриз» увез помидоры, яблоки.

22 сентября

Всю ночь и день шел дождь, 24,9 мм измерено осадков. На озере не стихала слабая низовка. Ниже половины высоты гор выпал уже порядочный слой снега.

Сегодня на рассвете выстрелом из ружья был прикончен медведь. Много ночей он ходил в сад, ел яблоки, но подкараулить его, застрелить долго не удавалось. Разные люди подстерегали медведя, но всем не везло: или погода была плохая, ветер крутил, или медведь, учуяв запахи людей, пышкал и убегал. Не попадал он и в поставленные петли. Вчера пришлось поставить петлю удавкой. Петлю привязали к толстой деревянной чурке, с тем чтобы медведь мог с петлей на шее идти. Но получилось иначе: угодивший в петлю медведь от ярости раскидал плиты террасы, плитами и землей завалил чурку, с террасы не ушел. Времени до рассвета было много, и медведь буйствовал, сломал две яблони; одна уже три года плодоносила, другая — гибрид — на будущий год дала бы плоды. Дочь Зина, погибшая в 1966 году, вывела гибридные семена яблони, из них был выращен сеянец.

Пять метров каменной кладки разрушил медведь, обнажил корни третьей яблони — на 2—3 дня мне работы, восстановить террасу. А медведь небольшой, двух-трех лет, килограммов 70 весом.

Леон с Татьяной завезли нам почту. Вчера на Беле, они рассказали, ночью возле домов медведь задавил теленка. Теленок издал предсмертный вопль, женщины думали, что теленка бодает корова, побежали; медведь кинулся на женщин. Они успели захлопнуть ворота, но насмерть перепугались. Одна упала у самых ворот, ее увели под руки, у другой и сегодня дергается глаз.

Леон выстрелил в зверя, тот рывкнул и убежал. Сегодня медведя искали, но дождь смыл следы.

На Беле много собак, но все они трусили, лаяли, не отходя от людей.

Возле нашего дома второй день летают ласточки. Здесь ласточки не гнездуют.

23 сентября

Ночью шел слабый дождь. 0,4 мм измерено осадков. К одиннадцати часам выведрило. Солнце хорошо согрело, высушило намокшие от продолжительного сильного дождя кустарники, деревья, старую траву. Горная тайга укрыта снежной кучтой, на вершинах толстый слой снега.

Утром на нижних склонах гор пели маралы. Они спустились туда, где нет снега.

От сильных дождей уровень воды в озере поднялся на 7 см.

В залив заходил катер бакенщиков, снимали вежи. Навигация закончилась, теплоход «Пионер Алтая» стал на зимовку.

Высоко пролетел косяк гусей — первый за эту осень.

Отары овец, коз, стада крупного рогатого скота сошли с гор в долину Чулышмана.

30 сентября

День был солнечный, теплый. На озере до полдня дула верховка.

Команда «Бриза» и двое туристов помогли нам с женой убирать яблоки. «Бриз» увез 2 центнера помидоров и центнера 3 яблок.

Прожит первый осенний месяц 1971 года.

Красивые склоны гор над заливом, лиственный лес, несмотря на засуху и преждевременное увядание, оделись в самый лучший осенний наряд. Вершины гор сияют под солнцем белизной снега.

Не так много радостей в жизни старого человека, нельзя здесь рассказать о многом, что было — в семейной жизни и прочем...

Не могу даже выбрать время написать младшим детям письма. Вечера уходят на служебные дела: наблюдения на посту за день пишутся более чем в десяти книжках-таблицах, и приходится вести два дневника...

Температура воздуха средняя за месяц: максималь-

ная $+17^{\circ}$, минимальная $+7,0^{\circ}$. Абсолютная максимальная $+23^{\circ}$, абсолютная минимальная -1° . Осадков измерено 59,4 мм. Дней с дождем было 9.

Любимое словечко Николая Павловича: «пришлось». Или: «не пришлось». То есть дело тут не в словечке, а в некоем, что ли, «категорическом императиве». Телецкий водомер руководствуется в своих действиях не прихотью собственной воли, а чем-то таким, будто свыше назначенным. «Пришлось поставить петлю на медведя». И точка. Пришлось! Другого выбора не было, так следовало поступить не только потому, что жаль съеденных яблок, но и из принципа, по нравственному долгу: вора надобно наказать.

История с нашествием медведей в смирновский сад в сентябре 1971 года несет в себе какие-то черты занимательности, что вообще не свойственно дневникам Н. П., не в его манере. Но манера меняется с годами, даже почерк меняется: в 1971 году он не тот, каким был, скажем, в 1951-м.

И ручка-вставочка другая была. Двадцать лет назад (и сорок) Николай Павлович обмакивал перышко в жидкие чернила, писал торопливо, маленькими буквами, чтоб сэкономить бумагу, на день тратилась четвертушка страницы, не больше. По прошествии лет в записях появилась некоторая вальяжность, на день — страницу, а то и полторы. Все это пишется тщательно, без помарок, крупным почерком, шариковой ручкой...

И можно себе позволить самую малую толику юмора, ну хотя бы чуть-чуть подтрунить над мишками, оставляющими за съеденные яблоки вполне медвежьей «плату»... Всю жизнь не до юмора было Николаю Павловичу, нужда гоняла его в хвост и в гриву. И вот — полегчало, к началу семидесятых годов, к собственному семидесятилетию. Нужда отступила, пришел достаток. И сил еще много, и духом не ослабел неистовый садовод-медвежатник. Труды увенчались не только земными плодами, но и миром в душе. И погода в сентябре выдалась наилучшая. И... как в сказке: усердие вознаграждается самым необыкновенным образом. Гонялся всю жизнь за медведями, молил неуступчивую свою фортуна наслать на него косолапого, так вот получай — полнехонек сад медведей...

Но, как это чаще всего бывает, фортуна оказала охотнику милость с опозданием: в сентябре 1971 года не хотелось Смирнову убивать мишек. Злости на них не осталось у старого охотника. Но и сад отдать на разграбление — тоже не дело. Яблоки-то поедались со звериным аппетитом, яблони обламывались, изгороди рушились. Заезжие охотники сторожили мишек — без проку. Что было делать хозяину? Пришлось ему мишек наказать, поставить точку в этой трагикомической истории.

Хотя что в ней комического? Медведи — серьезные звери, не бурундуки. Медвежьей теме в дневниках Смирнова отдано немало страниц. Всякий раз встреча с медведем требовала от человека неколебимого мужества, самообладания, мгновенного расчета. Ставка шла на жизнь или смерть.

Написано об этом у Смирнова без малейшего признака бахвальства, саморекламы, тихо, ровно, как обо всем другом.

Вот еще одна из таких медвежьих историй.

1961 год

23 октября

Сегодня проводили ночевавших у нас сыновей и зятьев, — они охотились здесь. С середины дня я тоже пошел на охоту. В кедрачах белки нет, держится она — в небольшом количестве — по склонам гор в смешанном лесу, совсем близко от поста. Шесть белок и рябчика подстрелил. Возвращался уже домой и набрел на медвежью берлогу. Рано еще ложиться зверю, довольно тепло, я и был убежден, что медведь только приготовил себе берлогу, а сам где-то бродит. Даже патрон с пулей не вставил в ружье, тридцать второго калибра. Как был заложен патрон с маленьким беличьим зарядом, так и заглянул в берлогу. Услышал злобное рычание. Успел отскочить и перезарядить ружье. Выстрелил в голову зверю, вставшему на задние лапы. Очевидно, мимо. За два метра стрелял, но неприцельно, навскидку. На выстрел прибежали собаки, погнались за убегающим медведем. Я тоже бежал, по крутому склону. (Давайте вообразим, как все было. Охотник потратил единственный патрон с пулей, оказался безоружным в двух метрах от разъяренного зверя. Медведю ничего

не стоило снять с охотника скальп, но почему-то — собаки или что другое — он счел за благо податься в кусты. Охотник чудом остался жив. Ему бы использовать этот свой шанс, так нет, он бежит за медведем. Охотник — страстный, азартный; азарт затмевает ему рассудок... — Г. Г.) Слышно было, как лает одна собака, другая вернулась ко мне. День кончался, и в темноте бесполезно идти вперед. Шумела по крутым уклонам река Кыга, и лая очень хорошей моей зверовой собаки уже нельзя было услышать. Я горевал — думал, задавил ее медведь. (Самого чуть не задавил — Г. Г.) И только в десятом часу вечера она вернулась домой.

Возможно, зверь был ранен и лег, и собака дожидалась хозяина. Завтра надо снова пойти в те места на охоту.

26 октября

Ходил на гору поискать вчерашнего медведя, падал мокрый снег. Я вымок до нитки, зябли руки и ноги, склоны круты, и приходилось все время хвататься за кусты и ветви деревьев. Медведя не нашел: тайга огромна. Собаки облаяли несколько белок, одну стрелял, но не добыл, других вовсе не смог увидеть на огромных заснеженных пихтах. Так, ничего не добыв, пришел домой.

Какое большое понимание у медведя, чутье на погоду. Залег в берлогу перед снегопадом, чтобы не выдать свое логово следами на снегу.

29 октября

Пожалуй, с каждым годом весной и осенью птиц пролетает все меньше. Меньше стало и хищных птиц. В прошлые годы ястреба-тетеревятники убивали 6 — 10 наших кур и цыплят, а этой осенью всего убита одна. (Поди догадайся, о чем сожалеет Н. П. — об убиенных курицах и цыплятах или о том, что мало стало ястребов. — Г. Г.) Температура воздуха за день $+1,2^{\circ}$, воды $+5,2^{\circ}$.

Николай Павлович относится к медведям уважительно; медведи — серьезный народ. В этом он не раз убеждался, прожив свою жизнь обок с медведями, в «медвежьем углу». Бояться он их не боялся, случалось, и сам нагонял страху на мишек. Отношения его с мед-

вежым миром всегда бывали предельно просты: или я тебя, или ты меня.

Исконным жителям (хозяевам) горно-алтайской тайги не выстоять бы перед все нарастающим приливом сюда, в тайгу, людей, перед техническим прогрессом, раз навсегда спугнувшим тишину (даже у Н. П. завелась ракетница), если бы не заповедник. Медведи смыслены, свирепы, но и доверчивы, особенно в детстве. Можно их привадить, приручить, чтобы затем предать. Ничего взамен привольного таежного житья человек предложить медведю не может. Получается только обман и нечестность. А находились и такие охотники...

Видеть это кыгинскому медвежатнику неприятно, своими горькими наблюдениями он делится с дневником.

1973 год

22 июня

Солнце сегодня мало времени светило. Облака, туман удерживались большую часть дня. Вдалеке над горами прошла гроза. Осадков измерено 0,6 мм. Вода в озере прибывает.

Селегей заезжал, он брал расход воды на водомерном посту в Балыкче, завез нам с почты газеты, журналы. Наблюдатель Балыкчанского поста Гудкова проводить эту работу не может, когда в Чулышмане высокая вода, стремительное течение.

«Восток» подходил к нашему берегу. К носу теплохода подвешена клетка, в ней медведь. Медведя взяли маленьким, он жил в Яйлю; сейчас с ним уже много хлопот: он вырос. Выпустить его обратно в тайгу нельзя: привык он к людям. Убить медведя решили, но хотят это сделать с показом по телевидению. Миша, конечно, не понимает коварства людей, взявших его малюткой от убитой матери. Не столько для науки, больше для потехи, забавы кормили люди его — малютку — молоком, конфетками, всякой вкусной едой. Повзрослел медведь, выпустили его в тайгу, а он опять потянулся к людям, к даровому корму. Охотиться в тайге, убивать живые существа слабее себя он не научился — и вернулся в поселок. Медведя посадили в железную тесную клетку...

Ненастная погода продлила жизнь мишке. Снимать

его будут при солнечном свете, чтобы красиво получилось: медведь переплывает «Золотое озеро». Он выйдет из воды на цветущую прибрежную поляну, встряхнет свою «одежду»; сверкающие в лучах солнца брызги рассыплются по изумрудной траве... Пройдет полянку и... Конец «лесной истории», очевидно, не будет показан.

23 июня

Утром, на короткое время, яркое солнце рассеяло нависший над заливом туман. Появился «Восток», покружил по заливу. Обреченный медведь лежал в клетке, подвешенной к носу теплохода. Очевидно, надо заснять скалистые берега залива. Четверть часа всего посветило солнце, опять сгустился туман. «Восток» ушел в туманное пространство озера.

Осадков сегодня измерено 7,8 мм. Уровень воды в озере за сутки поднялся на 5 см.

Лет двадцать пять тому назад я жил весною на водомерном посту в Кыгинском заливе. Вернулся из тайги с охоты, повесил мою ондатровую шапку (тогда они свободно везде продавались) на гвоздь в сенцах. Зверовая собака Смирнова выследила этого незнакомого ей зверя, допрыгнула до него, изодрала в клочья.

Николай Павлович огорчился и тотчас подарил мне — в возмещение убытка — медвежью шкурку. Эту шкурку очень любила в детстве моя старшая дочка Аня.

С годами кыгинский медвежатник все реже, реже ступал на медвежью тропу. Охотничья страсть в нем трансформировалась во что-то другое. Охотничьи истории в дневниках все больше уступали место наблюдениям над состояниями собственной души. Душа не уставала работать (как и руки), наращивала свои годовые кольца, мудрела. Дневник фиксировал восходящую жизнь души (и, конечно, погоду).

1977 год

11 ноября

Погода солнечная, теплая. Вспоминаются такие же прекрасные дни ноября месяца, когда приходилось охотиться в горах Алтая. В молодости была страсть к охо-

те, потом — не только страсть, но необходимость добывать меха: белки, соболя, горноста, колонка. Приходилось (приходилось-таки!) добывать медведя, волка, рысь, росомуху, кабаргу. Родились дети, была острая нужда в хлебе, одежде, обуви. По причине бездорожья в торговую сеть мало чего привозили необходимого для жизни. Да и лавка была от залива в тридцати километрах, там же был приемный пункт пушнины Госторга. Только за сданную пушнину можно было купить немножко муки, крупы, соли, чаю, сахару и что-либо на рубашки и штаны.

Сегодня мы с женой пили чай утром. Под большим окном кухни стоят ящики с яблоками, их надо заморозить, чтоб не портились. Из мороженых яблок легко выжимается сок. И вот на ящики прибежала белочка-красавица, пушистая, грациозная, схватила в лапки яблоко... И было только приятное чувство, не явилось, как раньше, злое желание — схватить ружье, застрелить белочку.

Уже много лет, как отпала страсть к охоте. Отпала и нужда в хлебе, рубашках, штанах.

Температура воздуха сегодня максимальная $+2,5^{\circ}$, минимальная $-3,8^{\circ}$.

III

Утро. Семь утра. Шумит речка Чири. У выхода в озеро она распалась на две протоки. У речки Чири две ноги. Я сижу над речкой, над озером. Озеро стихло. Вчера оно шлепало в берег: дула низовка. Сегодня тихо. Я сижу в кресле, устроенном на пне. Температура воздуха $+9$. Ночью я спал в палатке, просматривал фильмы-сновидения. Спалось мне сладко. И тревожно...

Мне было тревожно за Николая Павловича: сколько еще осталось ему? Надолго ли хватит? Что станет с садом без него? И смогу ли, успею ли я исполнить обещанное Николаю Павловичу — превратить дневники его в книгу? Я знал, что Смирнову хочется увидеть свои дневники опубликованными — не ради славы, а во благо этой прекрасной земле, тайге и водам, которым отдал он всю силу рук, жар души, работу мысли.

И тревожно за озеро, за кедровые гривы, за эту вот лунность, звездность, единственность каждого рассвета, за спокойное дыхание гор и вод: приведется ли еще

когда повидаться, выстоят ли озеро и тайга перед «антропогенным фактором»?..

Озеро масляное, зеленоватое. Отчего зеленоватое? Да оттого, что в озеро опрокинута гора Тоолок, вся сплошь зеленая, с пролысиной-пробором посередке. Каменный шрам на горе Тоолок — путь потока, обнажение коренных пород. Какие породы? Может быть, диабазы, граниты, габбро, сиениты, сланцы, туфы. Или что-нибудь еще.

Плюс девять — это не жарко...

Однажды мы были в лесу с моим товарищем. У товарища философический склад ума. Разжигая костер, он философствовал по ходу дела: «Вот интересно, почему я зажег костер? Наверное, потому, что я замерз. Замерз — и зажег». Как все же хорошо отдавать себе умственный отчет в своих действиях. Глубокомыслие — тоже благо.

Нечто подобное случилось со мною в прохладное августовское утро на берегу Телецкого озера: сидя в кресле над озером, я замерз — и зажег костер.

К костру прибежал хозяйский пес Дик. Я знал про Дика, что раньше он был городской, домашней овчаркой, жил в семье одной из смирновских дочерей. Что-то там случилось не в пользу собаки. То ли Дик вырос за пределы отпущенной ему жилплощади, то ли еще что. Дика увезли к деду. Дик прижился на заимке у Смирновых, в тайге, и вскоре стал походить не столько на овчарку, сколько на таежную лайку. Даже хвост у него загнулся кверху дугой. Он научился по-лаячи помахивать хвостом в знак доброго расположения духа, что для овчарок не очень-то характерно.

Дед поплывет в лодке ставить сети, Дик бежит по берегу, лает, даже повизгивает от любви к деду. Вчера Дик пришел к нашему табору и съел кус масла, подаренного нам дедом. Вкусное было, домашнее масло. Съев масло, Дик пришел к нам, на полусогнутых, повиниться. Он даже плакал от понимания содеянной шкоды, лупил хвостом по земле и облизывался: «Ну, поймите меня, я не мог удержаться, так вкусно». Я огорчился и рассердился, не столько на Дика, сколько на дочку. Дочка заведует кормежкой в нашем путешествии. Она поместила масло в тенек под кустом. Я думал о дурости женской вообще и о девической в особенности. Но зато вчера дочка привязала к крючкам пуки волос —

изготовила «мушки» — и поймала одного хариуса.

Кстати, к слову пришлось. Чтобы дорисовать в воображении портрет Николая Павловича Смирнова, надо иметь в виду его брови. Они заслуживают особого интереса. Брови Смирнова представляют собою два пука волос, два кустика, два снопа. Частица жизненной силы, которой наделен Николай Павлович, нашла выход в его самотийных, вольно растущих бровях. Такая же воля дана на лице и усам: за усами не видно ни губ, ни самого рта.

...В гости к нам прибежала, вернее, припрыгала на трех лапах другая собака Смирновых, Зурна. Есть и третья — дочь Зурны, Белка. Зурна и Белка дворняги. У Зурны отрезана передняя левая лапа. При первом моем знакомстве с Зурной Николай Павлович счел нужным сообщить драматические подробности ее судьбы (как помним, он вообще любит драматические сюжеты): «Это Кувшинникова, лесника, собака. Теперь он стал журналистом, в краевом центре живет. Он рыбачил на Кыге, Зурна задралась с другой собакой. Он камнем бросил. Едва ли хотел причинить увечье. Камень перебил Зурне ногу. Срастить не удалось. Пришлось отрезать. Он сам-то уехал, а Зурну я оставил жить — ему в укор».

О Белке что скажешь? Белка еще молодая, любит ласку. Чужих, приезжих, она попервости не выносит, хватает их за штаны.

Последнее утро на озере. Половина восьмого. Солнце вышло из-за хребта, осветило каждую морщину на горе Алтын-Ту. На Карагае и Тоолоке остались затененные пади. Облаков сегодня нет, небо все голубое. Ночью Млечный Путь струился, тек, и две Медведицы — Малая и Большая — были очень уместны в этом медвежьем краю.

Вчера мы плавали на ту сторону залива, к реке Баясу. Вошли в тайгу, и — господи! — все кедры сронили шишки для нас. Каждая шишка подобна засмоленному бочонку с припасом. Шишки будто налиты свинцом. Они падают наземь, как гири.

Ну, конечно, в тайге пировали медведи. Они валялись под каждым кедром, примяли всю траву, малину, смородину, папортники, таволгу, крапиву, акацию. Мед-

веди шкерили шишки, вылущивали орехи, чавкали, потом валялись, завязывали сало вокруг пупков. Пировали кедровки, сойки. Перекликались вóроны. Ворóн на Телецком озере нет, только вóроны.

Река Баяс однажды вышла из берегов, проломила себе в тайге такой ширины русло, как у Невы. Затем убралась в берега, а русло осталось — проспект в тайге, для медвежьих прогулок. Только матерые кедры стояли, не упали.

Мы принесли домой шишек и принялись их лущить, щелкать орешки. На подмогу к нам явилось все собачье население: Дик, Зурна, Белка, два Николаевых пса с кордона. Собачки с аппетитом щелкали орешки. Орехи кедра — пища для всех: их едят птицы, медведи, белки, зайцы, собаки — и мы.

Ну вот. На озере установилось долгое осеннее вёдро. Нам с Анютой надо уходить отсюда. То есть мы бы еще пожили, но я-то знаю, что телецким зимогорам — Доре Захаровне, Николаю Павловичу — станет лучше без нас. Когда-нибудь Смирнов напишет об этом в дневнике или уже написал: приехали — ладно; уехали — слава богу!

Бежит речка Чири, и так бы хотелось узнать, откуда она берет свою воду. Но подняться к ее истоку нельзя: там заповедник. Сколько бываю в Кыгинском заливе, всегда задаюсь вопросом: что привело сюда Николая Павловича — от самого Питера довело, — почему именно здесь разбил он стан своей жизни и ни разу не оставил его целых полвека? Ответа не нахожу. «Человек — есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время...» Этот завет Федора Михайловича Достоевского едва ли устарел в наше время. Раздумывая над судьбой Смирнова, мысленно обращаюсь к нему...

И почему сам я тут? Разве мало на земле иных дивных мест? И тайн для разгадывания...

Жаркий, погожий сегодня будет день. Дальняя дорога... Еще не порушен мой маленький, красного цвета домик-палатка, такой уютный. Хочется окунуться глубже в «зеленое море тайги» и долго-долго не выныривать. Но моя дорога — в другую сторону, в города.

Последнее утро на заимке Николая Павловича Смирнова, в Кыгинском заливе, на водомерном посту. Кто знает, может быть, мы не увидимся больше... Уходят мои

старики. Уйдут, с кем останусь? Таких необходимых мне, родственных уз с ровесниками, как со стариками, у меня нет. Может быть, подружусь с молодыми? Сам, того гляди, превращусь в старика...

Вторая ночевка на Чулышмане. Время покоса. Травы густы в долине, высоки, свежи, зелены. Все лето шли дожди, к концу августа травы только вошли в свою полную силу. Но почему-то косцов не видать.

За два дня пути по берегу Чулышмана я видел всего двоих с косами в руках. Один косил овес на зеленку — колхозный, в том месте, где в долину Чулышмана впадает долина Башкауса. Чулышман — главная дорога, Башкаус — поперечная. Другой косец косил траву — для себя — под деревней Коо.

Долина спит. «Спят курганы темные, солнцем опаленные». Впрочем, курганы светлые, белесоватые, сероватые, зеленоватые, вдали — синеватые.

Идти долиной нам с дочкой весело было. Мы смеялись над плетущимися понурой вереницей, согбенными организованными туристами. Подобно вьючным мулам, туристы тащили на спинах большие мешки, ничего не видели, кроме пяток идущих впереди. И не было у них воли — развьючиться, сбегать к реке, растянуться в траве...

Вечером, перед сном, в палатке я говорил дочке, что надо, надо, надо... Надо то, надо это. Дочка соглашалась со мной, покуривала, думала о чем-то своем. Слишком поздно я принялся за дело воспитания моей дочки. Она уже воспитана другими людьми, другой жизнью, в которой я не бывал. И отчего-то она печальна...

Долина Чулышмана радовала нас то веткой облепихи, унизанной ягодами, как кукурузный початок зернами, то цветущим багульником — здесь его называют маральником, — то крыжовенным кустом с винного цвета, как виноград «Изабелла», ягодами. Вся долина цвела, плодоносила, дорога шла то зарослями желтой акации, то под тополями, то под березами, то под соснами. Всюду цвели маргаритки.

Несколько раз нас обгоняли конные алтайцы. То обгоняли, то отставали. Проехав верхами на сытых, добрых конях, с добрыми кожаными переметными сумами, притороченными к седлам, они спешили, приседали на

корточки, пили водку. Крепкие, молодые продолжали скакать, слабых, старых заносило на сторону; они бессмысленно кружили в травах, мучили коней бессмысленностью скачки и наконец вовсе отстали.

Дорога была хороша, и особенно хороши привалы под березами около чистой, холодной, звонкой реки с гранатового цвета крупнопесчаными пляжами.

Палатку привязывали прямо к березам, наилучшей подстилкой служила живая трава. Костерик делали маленький, из сухих облепиховых, березовых прутьев, только чтобы вскипятить чай в котелке.

Девять часов утра. Пора в путь-дорогу. От деревни Коо до перевала Кату-Ярык километров, наверное, двадцать...

На этом заканчиваются мои записи у костра. Потом еще были костры у нас с Анютой, но что-то переменилось в нашем путешествии: освещение, высота над уровнем моря. Абсолютная высота перевала Кату-Ярык, от подошвы до седловины, два километра. И, как всегда, мы забыли о такой существенной малости: не прихватили с собой, идучи в гору, флягу чулышманской воды. Так много было воды в озере, в Чулышмане, что в голову нам не пришла мысль о жажде, безводье.

Подъем на перевал Кату-Ярык крутенок. Бывало, я бежал сверху, из Улагана. Свалиться с перелома — это одно, вздынуться — другое. В мешке за спиной в этот раз я нес не только палатку, спальный мешок, топор с котелком, припасы, но еще что-то. Возможно, тягость прожитых лет, излишние килограммы веса. Очень хотелось пить. Как божьи птицы, мы с дочкой прикладывались к чашам-листам подорожника, орошали губы росой.

Наверху не били ключи, не булькали родники, не шумели потоки. Зато нас порадовали поляны — пусть усохшей, но пронзительно духмяной земляникой. В тайге, я не раз замечал, работает, что ли, закон компенсации: одно тебе не дается в руки — тайга одарит тебя другим. На высоте в две тысячи метров прихватил нас к ночи нешуточный холод, зато отыскался стожок на лугу. Туго было с дровами — торное, посещаемое место, зато на самом краешке дня до нас донеслось глухое урчанье воды по камням. Вода оказалась рядом, студеная, вкусная, горная — спуститься в расселину и подняться.

Только ошибся я в счете в этом нашем с дочкой странствии по Алтаю. Раньше я добегал от Улагана до Карагая с двумя ночевками. Ну хорошо, пусть с тремя. Как я помню, не очень и торопился; пробегу в охотку, поваляюсь на траве, натешусь облепихой с крыжовником, искупаюсь в Чулышмане (пока не распухли суставы). А тут мы идем, идем — и конца не видать. Три ночевки в долине, только поднялись на перевал — и опять конец дню. Дорога от Карагая до Улагана стала за эти годы длиннее, подъем на Кату-Ярык круче.

Еще день пути, Улагана все не видать. Зато последнюю ночь проводим в пастушеской юрте, алтайском аиле, сложенном из тонкомерного лесу — пихтовых жердей, — крытого кедровым корьем. Посередине аила горит костер-камелек, на тагане булькает чайник. Два отрока-пастуха молча глядят на нас с дочкой: таких еще не видели, турист сюда не доходит. Очень молчаливые мальчики, никак их не разговорить, очень пристально смотрят, в глазах у них рдеет огонь камелька. Куда-то они уходят из юрты, может быть, к овцам. Опять приходят.

В первый раз за дорогу спать мы ложимся не на землю, на нары, но сон не приходит. В палатке так хорошо: все свое, родное — тобою свитое гнездышко, а тут жестки нары и закопченная кровля аила — давит. Лучше бы в палатке... Я уж и место присмотрел. Но дочка сказала с материнскими, непререкаемыми нотками в голосе: «Нет, папа, здесь сыро, я не хочу нажать радикулит, как ты».

Кажется, дочка спит... А я разживлю-ка огонь, погреюсь чайком, покурю-ка...

На взлетной площадке Улаганского аэропорта паслись коровы. Когда прилетит пассажирский вертолет, ясности не было. Появился он, как гром среди ясного неба, приведя коров в крайнюю панику. Задрав хвосты, буренки скакали по лугу. Условный рефлекс на вертолет у коров еще не выработался.

Все хорошо сложилось у нас с Анютой: пришли в Улаган, повалялись в траве на летном поле, затеплили костер, попили чайку — тут и вертолет прилетел, и билеты у нас в кармане. И как раз успеваем в Горно-Алтайск к самолету на Барнаул. Завтра последний день на Алтае, а послезавтра, рано утром дочка полетит в Ленинград, би-

лет заказан. К первому сентября она успеет на учебу и на работу.

Вертолет летит низко над горами. Трясет его и швыряет, будто не летим, а колесим по хребтам. Горы алтайские высоки, пади глубоки. Темнеет пихтовая тайга, молодое зеленеет лиственничная. Кедррачи стоят поодаль друг от дружки, шатрами. Меж ними альпийские луговины. На донышках падей латунные жилы рек. Иссиня-зеленоватые глаза таежных озер. Струйка дыма над чьей-то избушкой...

Вертолет сел в Чибите. Пилот пришел из кабины в салон, встревоженный, без улыбки:

— Уходим на санитарный рейс.

— Когда полетим дальше? — спросили пилота.

Он пожал плечами:

— Санитарная авиация на лесном пожаре. Вся надежда на нас. Больше никому.

Едва мы покинули вертолет, он взлетел и скоро скрылся за хребтом. И сделалось всем тревожно. Даже веселые чибитские собаки что-то поняли, поддались общему настроению, не играли, смирно сидели, ждали, поглядывали в небо. День стал меркнуть, горы — темнеть; алорозовый, воспаленный свет заходящего солнца разлил в воздухе еще бóльшую тревогу.

Вертолет появился, когда ждущие его устали, перегорели. Он быстро сел, к нему подъехала «скорая помощь». Из вертолета вынесли носилки... И тотчас опять закрутился винт.

К последнему самолету на Барнаул мы опоздали.

Тут начинается цепь ошибок, в общем непростительных для такого бывалого путешественника по Алтаю, как я... Хотя... Какой злой рок возымел власть над нами, какой-то вступил в силу закон подлости...

На последнем автобусе мы добрались из аэропорта до автостанции. Сдали в камеру хранения наши мешки с палаткой и теплыми вещами. Камера тотчас закрылась — до утра. Мы остались в легкой походной одежде, а ночь подкрадывалась с морозцем. На Алтае это бывает, пора бы знать. Я оставил дочку в зале ожидания автостанции, в среде таких же, как мы, бездомных, не знающих, как скоротать эту ночь, и пустился на поиски пристанища.

Ни один из известных мне в Горно-Алтайске телефо-

нов не отвечал. Ни одного из знакомых лиц не оказалось на месте. Конечно, в гостинице не было мест, и не осталось даже свободного стула в холле. Потемки сгущались, мороз крепчал...

Я нашел мою дочку хотя и не унывающую, но вконец зачоченевшую на лавочке у автостанции. Зал ожидания заперли на висячий замок. Другие бездомные, безночлежные куда-то таки рассосались.

В глухой тайге, в ненастные ночи проблема ночлега никогда не вставала передо мною с той остротой, как в этом довольно-таки большом, давно обжитом мною городе. Надо было заранее... Не сдавать бы мешков, мы бы сейчас на берег, к Катунь... Мучительная работа самокопания, подведение баланса ошибок решительно не давали выхода из тупиковой нашей ситуации...

— Знаешь, папа, — сказала дочка, — тут ко мне подходил мужичок, не первой молодости, такой, как ты, предлагал ночевать у него в подвале. Он не то сторож, не то кочегар, в общем, хозяин подвала, подвальный мужичок... Я сказала, что мы вдвоем с папой, но он отнесся к этому как-то безразлично. Вон там к нему вход, в той парадной. Он сказал, что будет ждать. Хочешь, пойдем.

А что было делать? Мы спустились в подвал. В нем горела тусклая лампочка. На каменном полу установлен деревянный ларь, или это нары, или широкий верстак... На особое тепло надежды не было, но все же сносно, не то что на улице. Хозяин подвала пока что не появлялся.

Дочка легла на ларе-верстаке, я устроился в уголку, по-ястребиному, в полуприседе.

Подвальный мужичок пришел в свое время, какой-то потусторонний, с неразличимым лицом, бормочущий что-то. Покряхтывая, улегся с краю на ларь. Между ним и дочкой оставалось пространство. Конечно, мужик «отключился», однако делал попытки, как будто в забытии, подкатиться поближе к соседке по ночлегу. Тогда я по-ястребиному вспархивал из угла, водворял подвального мужика на место.

Ночь вышла самая долгая за все путешествие, а может быть, и за всю мою жизнь. Томящая, жутковатая, запредельная ночка. В ней были такие фазы, когда приходилось стоять над ларем, подавляя в себе душевную конвульсию, производить над мужиком манипуляции, наподобие искусственного дыхания. Кое-что, я-то видел, мужичок соображал, но налитых своих зенок не проди-

рал, понимая, что так-то лучше. Хотя хорошего было мало...

Чуть свет мы выбрались на волю, отряхнулись, вздохнули. И никогда, ни разу не вспоминали про этот ночлег...

Погода стояла летная, самолеты вовсю летали, но столько народу накопилось в горах Алтая в тот август (нынче, наверное, и того больше) — и все спешили к первому сентября в Барнаул и дальше: в Москву, Иркутск, Кишинев, Сыктывкар... Попадались и земляки-ленинградцы. Диспетчера и кассира держали в кольце осады. Штурмовали кабинеты начальников — аэропорта, отдела перевозок, других лиц, причастных к местам на бортах и даже совсем не причастных — в обычное время. Отправкой пассажиров из аэропорта в те дни занимались все руководящие органы Горно-Алтайской автономной области. И столько предпочтительных прав находилось у одних отлетающих перед другими, что другим и соваться не стоило. Однако совались, работали локтями и глотками. Еще были и третьи, со слабыми голосами, застенчивые.

Самолеты взмывали в воздух один за другим, увозя столь малую толику жаждущих улететь, что бурление в порту не утихало, напротив, достигало все большего градуса. Я держал экзамен перед дочкой: на что папа способен... В тайге еще куда ни шло, а попал в город — и провалился. В турнире глотов, локтей, мандатов я не мог пробиться ни в первую десятку, ни во вторую, ни в третью. Чего-то мне не хватало. Мой членский билет Союза писателей не произвел никакого впечатления ни на начальника перевозок, ни на диспетчера...

Когда улетел последний самолет, я некоторое время еще оставался в здании аэропорта, теперь без какой-либо цели, впадал в прострацию. Машинально отметил, как изменились лица диспетчера и кассира (то есть диспетчерши и кассирши). За день такой работы лица сделались неживыми, как маски, глаза ввалились, подглазья почернели. Мельком подумал, что завтра будет то же. Сильные женщины, сибирячки...

Вышел на улицу. Заметно темнело и холодало. Сел на скамейку к дочке. Дочка была печальна. Мы закурили.

— Что будем делать, папа?

— Еще не знаю... Дай посижу минутку... И поедem на вокзал.

В тот же день я уехал на юго-запад Алтайского края, в предгорные степи, в Змеиногорский район. Тогда я не знал, что мне еще предстоит прожить — ну не жизнь, а целый сюжет романа на алтайской ниве, в среде хлеборобов. И не знал, чем кончится мой роман, писал его день за днем, год за годом, по закону пшеничного поля: от посева до жатвы. Такая удача мне выпала в жизни: жить где-то там, на севере, у холодного моря, — и еще в горах и степях Алтая...

IV

Тем временем ящик с дневниками Николая Павловича Смирнова своим путем добрался из Балыкчи в Ленинград: сначала на вертолете, потом на одном из тех самолетов, на которые не попали мы с Анютой, потом, возможно, на том же лайнере, что и Анюта...

Я возвратился с Алтая. Жизнь вошла, как говорится, в свою колею. Посылку с Алтая уже получили без меня. Стопы хранившихся у меня дневников Смирнова пополнились новыми стопами. Жизнь человеческая, спрессованная в школьных тетрадках, требовала себе выхода, просила слова...

Однажды пришло письмо от Николая Павловича.
«Дорогой Глеб Александрович!

Благодарю за присланную книгу и хорошее письмо. Больше других рассказов по душе мне про егеря Сарычева. Книга в хорошем переплете. Внучка Жанна говорит (она прошлую зиму у нас жила), что Ваши книги и другие можно купить в Барнауле только на барахолке за дорогую цену. Большое письмо полагал написать Вам, да не получается. Не все в порядке в семье, с начальством — по работе, со здоровьем.

1 января здесь, у кордона, утонул лесник. Его родной дядя и еще родственник охотились в его обходе, их вроде поймали — не лесники, а такой летучий отряд по борьбе с браконьерством. Виктор (что утонул) беспокоился, переживал: дядя его уже когда-то отбыл срок за убий маралов. И вот вторично пойман. Вздумал он плыть к отцу за советом, в тот край озера, отец Виктора тоже лес-

ник, льда еще не было. Когда он заводил мотор «Вихрь», выпал из лодки, а лодка описывала круги, пока не сгорел бензин в баке. Погиб молодой человек, жена молодая, двое детей осталось. Напрасно покойный лесник переживал, хотел помочь дяде, а сам погиб. Тетрадку с описанием этого несчастья пока не высылаю. Если не дождусь Вашего приезда, то кто-то Вам передаст. Это обязательно надо напечатать, не изменяя фамилий, фамилии записаны в тетрадке...»

Николай Павлович ждал. Он отдал мне дневники в надежде, что запечатленные в них происшествия на озере будут преданы гласности («не изменяя фамилий») — в назидание и науку.

Моя жизнь протекала вдали от вод Телецкого озера, рек Чири, Кыги, Чулышмана, другим течениям подчинялась она. Но приходило такое время, когда я выныривал из течений — и погружался в глубокие омуты книги жизни телецкого водомера, читал, читал, читал дневники Смирнова, заново увлекался этим романом. Честное слово, интереснее чтения не было у меня. Интерес мой личного свойства, я понимаю. Лучше даже сказать: «заинтересованность»...

Однажды я дал почитать дневники моему товарищу, знатоку литературы. Он почитал, подумал и заключил: «Ну, это не Жюль Ренар». Конечно, не Жюль Ренар. Это — Николай Павлович Смирнов, единственный в своем роде, уникум. Я брал со стола из стопы тетрадку, помеченную все равно каким годом, принимался читать все равно с какого дня и тотчас попадал в сферу действия личности, мощной, как стихия Алтайских гор, и капризной, как ветры над озером Алтын-Кёль...

1953 год

10 января

Делал снего съемку. Георгий привез воз дров с покоса, второй воз лесники Хлобыстов с Яковлевым свалили у кордона. Гошку Хлобыстов за ворот стащил с воза. Гошка пришел со слезами обратно в Кыгу. Я потерял самообладание, ругался в квартире Хлобыстова, и когда он стал меня выталкивать, я один раз рукой в рукавице ударил его в лоб. Они говорят, что два раза — не помню, думаю, что один. После этого Хлобыстов как будто обрадовался и сказал: «Все, теперь ты попался. Десять лет

получишь». Обозвал меня бандитом. Хлобыстов, Туймешев были пьяны, но не сильно. Когда мы с Георгием проезжали, то в квартире Туймешева слышали пляску и громкие крики.

После происшедшего я просил лесников составить акт, отказались. Тогда я написал сам, что произошло, они отказались подписать. Хлобыстов, подстрекаемый Юркиным и, возможно, Вяткиным, без сомнения спровоцировали этот инцидент.

Эту ночь спал два часа.

11 января

Смотрел капканы. Соболь один схлопнул, хвоя не дала плотно сомкнуться дужкам, и соболь ушел. Да, надо иметь большие капканы.

На обратном пути Хлобыстов позвал зайти. На кордон наконец приехал лесничий Юркин. С первых же слов начал такой разговор, что будто я иду против советских законов — избил Хлобыстова; будто он не был пьян. Я спросил у Юркина, подтверждает ли он, что в апреле я передал ему распоряжение главного лесничего Вяткина о разрешении мне вывозки леса, заготовленного мною до 1953 года. Юркин отказался признать, сказал, что я развожу антимолию. Я обозвал его лгуном и ушел.

В эту ночь спал три часа.

Вот так иной раз решались конфликтные ситуации промежду соседями. Бесстрашие водомера, его импульсивность, преданность интересам семьи могли обернуться и безрассудством. А было ему в ту пору уже за пятьдесят. Как я помню его: мужик саженого роста, весь свитый из мускулов и сухожилий.

Чего нет в его дневниках, так это «антимоний». Все по правде, что было, то было. За лесником Хлобыстовым стоял целый мир лесников, к тому же еще и закон. Водомер выступал один против всех...

Нет, нет, я не оправдываю смирновского рукоприкладства, а просто вчитываюсь, который уж год, в его жизнь, открываю в этой хотя и очень целенаправленной, но стихийной натуре все новые стороны и порывы.

6 марта

В сети поймали 4 кг 200 г хариусов. Строгал доски. Белили в избе, кипятком варили клопов. Мылись в ба-

не. Георгий переплавил с Тоолока Хлобыстову. Делал маленькую скамеечку. Начали кормить скотину сеном с пашни.

Вскоре пришла пора идти на глухариное токовище. Для Смирнова и его сыновей это такая же страда, как вспашка огорода, косьба сена, рыбная ловля, копка картошки, охота капканами на соболей, — жизненно необходимое дело. В каждом годовом цикле дневников Смирнова глухариной охоте отведено достойное место, как всякой другой работе-промыслу.

23 апреля

Перед утром с Георгием ушли на глухариный ток. Интересно — поднялись к токовищу, и Георгий увидел глухаря на березе. Первый раз скрадывал глухаря не на хвойном дереве, а на березе. Подошел к нему близко без песни, из дробовика застрелил глухаря.

Больше на этом току глухарей не слышали. Прошли дальше. Выстрелом из дробового ружья, очевидно, поранил глухаря — он с высокой лиственницы упал далеко в косогор, много выронил пера. Найти его не смогли.

Слышал еще несколько глухарей, но стрелять не пришлось, т. к. припекало солнце и песни глухарей были коротки. Рябчиков почти нет. Всюду следы и помет маралов. Местами еще глубокий снег. Вернулись в полдень. Был Туймашев, принес 5 яиц в обмен на утиные. Дали ему 6 утиных яиц. Он сказал, что нужно у лесников отмечаться, если идешь в тайгу.

24 апреля

Ирина с Георгием ночевали на Карагае с семьями, рыбы поймали килограмма 4. Помидорную рассаду посадили в холодный парник. Немножко копали в огороде. Пустили мельницу — немножко было ржи. Хлеба уже недели две нет.

25 апреля

Перед рассветом ушел на токовище. На первом току ни одного глухаря не слышал. На втором видел двух глухарей. Три раза громыхнул по ним из двухстволки, только одного подранил, еще раза два стрелял его из

ТОЗа. А второй ушел на ногах с распущенными крыльями и хвостом. Позднее еще близко стрелял по глухарю, и он улетел. Бой ружья мелкой дробью очень плох. Подранил еще одного из ТОЗа. Там и ночевал. Георгий под вечер пришел ко мне. Дома посеяли лук, чеснок, сахарную свеклу.

26 апреля

Одного глухаря уже при полном дневном освещении с Георгием скрали три раза — он перелетал. В четвертый раз скрал его один, два раза стрелял из ТОЗа, он улетел. Если бы иметь хорошо бьющее ружье, то вместо одного было бы добыто шесть глухарей.

Где было взять ружье-то с хорошим боем? А патроны? Дробь Николай Павлович сам делал из проволоки, из гвоздей. Помню, в 55-м году я охотился на глухариных токах в сосновых, пихтовых, лиственничных гривах над озером; от распадка Чири до Бели — все токовище. Уходя, оставил на посту нерасстрелянные патроны. Через два года приехал, у Николая Павловича нашлись те самые мои патроны, он их берег, экономил.

15 мая

Сегодня на рассвете у нас большое событие: родился сын. Это 15-й по счету ребенок. Жене очень было трудно. Сына назвали Олегом. Имя наших предков — славян. Рыбы поймали килограмма два. Георгий унес старой рыбы на приваду медведю.

Допахали и досеяли овес.

24 декабря

Плавали в Кыгу, ходили в лес. Хотелось вырезать два дупла под лимонные деревца. Свалили комель кедровый, он застрял. Пришлось свалить и пихту, на которую сваленный кедр опирался. Кедр оказался негодным, дуплянки вырезать не удалось. Так напрасно пропали время и труд.

Под вечер плавали к Чулышману, поставили пару сетей. На жерлицы — на налимов — таймень не берет. На перемет было две селетки наживлено, кто-то их снял. Наживили шесть налимов мелких.

Погода — потеплело.

Целые главы в дневниках Смирнова посвящены маралам — непременным действующим лицам круговращения жизни в тайге, на горах.

1958 год

9 января

Плавали в Кыгу с Анной и Татьяной, разгородили остожье, отбросали снег со стогов и от стогов, а возить сено еще нельзя, лед — только кромка от кордона, а дальше нет, да и эта кромка может быть сломана в любой момент. Нашли маралуху, упала с горы и еще не остыла, уплавили ее в лодке (небольшая маралуха). Мяса я себе взял немножко: переднюю лопатку, по ребрам и тазовую часть.

В кулемку в Кайгаке поймал соболя — маленький.

10 января

Весь день низовка, не пришлось детей отправить в школу. Владимир ходил смотреть следы вчерашнего происшествия, говорит, что один волк гнался за маралухой и она упала. Волк, очевидно, побоялся вблизи от жилья днем насладиться результатом своей охоты.

Вот так и идет жизнь в тайге. И почти невозможно в крутых горах наказать волка. И весной была напрасна наша ходьба по свежавыпавшему снегу, следов волчьих не нашли.

1977 год

19 февраля

Ночью прошел слабый снег, 1,5 мм измерено осадков. День был облачным, безветренным. Высок снежный покров — 46 см здесь внизу у поста. Трудна эта зима для совхозных животных, особенно в Улагане, Балыктыюле. Ильдеков сказывал, что овец и коз вертолетом — по 60—70 голов — перевозят в другие районы области, где есть места для пастьбы этих животных. Сюда, в долину Чулышмана, тоже перевозят овец, коз. Здесь в долине хотя тесно животным здешнего совхоза, но помочь в трудное время соседям — надо.

Сын Николай заходил, рассказал, что по долине Кыги они — лесники — еще обнаружили два места погибших от волков маралов. А прошлой ночью волки свалили сам-

ца марала со скалы ущелья реки Чири и даже не спустились к нему — гоняли других маралов. В горах глубокий снег, и маралы пасутся — в большинстве — здесь на солнечных нижних склонах у залива. Уже более десяти маралов загубили волки — только здесь.

Росомахи, рыси следуют за волками. Им тоже пожива остается от волков. Против нашего жилья уже несколько дней не видно маралов. Не видно и следов — по ночам они паслись за городьбой наших террас.

Температура воздуха сегодня — $16,5^{\circ}$ минимальная, $-9,5^{\circ}$ максимальная.

1 мая

Солнечный, теплый, чудесный день. Цветут одуванчики, маральник. Ничто не нарушает свежесть лесного воздуха, чистоту холодной воды речки Чири, шумно стекающей с гор.

Под вечер мы любовались маралухой, паслась маралуха на склоне близко от нашего дома. Много мы повидали маралов зимой да и весной, а все не насмотреться на них.

Приезжали гости: сын Владимир, старший инструктор турбазы Красников, Леон с Татьяной и их сотрудница по работе.

Мы, что бывает ежедневно, работали. Вечером подготовил материалы наблюдений к отправке.

Температура воздуха максимальная $+16,5^{\circ}$, минимальная $0,0^{\circ}$.

Маралы — большие звери. Увидеть марала — все же событие. Но каждое живое существо — пернатое, пушистое, грызущее или порхающее — замечено летописцем, занесено в дневник с одинаковым родственным участием. Ежели какое из них — с хвостом и острыми зубами — попало в капкан, что поделаешь, на том стоит жизнь. Вот ужо придет время, отступит нужда, страсть-охота схлынет, уляжется, как полая вода в речке Чири...

1971 год

16 декабря

Ночью прошел слабый снег — 0,2 мм измерено осадков. Весь день небо над заливом было закрыто низкой

облачностью. На озере большую часть дня было тихо. Тепло. Температура воздуха — $0,5^{\circ}$. (Вы заметили, температура воздуха и воды у водомера редко измеряется целыми цифрами, чаще с половинкой. В этом особенность характера — натуры Николая Павловича: он не признает никакой приблизительности, ни в чем. Все отмерено у него с точностью до десятых. — Г. Г.)

Две белочки живут возле нашего сада-дома. Каждый день они посещают старый кедр, в его толстой коре отыскивают когда-то припрятанные кедровками орешки. Возле дома много нынче синиц. Они так к нам привыкли, что садятся на рамы окна, стучат в стекло, даже встречают меня, когда я плыву в лодке с Тоолока. Очевидно, они уносят и прячут корм — горсть пшена. 8—10 синиц быстро, в спешке растаскивают, теряют крупу, взятую на доске-кормушке. Потом, когда на доске чисто, собирают пшено на снегу, растопорщив крылышки, угрожают друг другу.

Почти каждый день прилетает к кормушке Кок-Тёш — поползень. Он чуть меньше синицы, но они боятся его — одного — улетают.

1975 год

17 августа

День прошел с переменной облачностью. Температура воздуха максимальная $+25^{\circ}$, минимальная $+13^{\circ}$. На берегу у сада спугнул утром чибисов — десятка два. Почему-то эти молчаливые птицы не радуют — я не знаю их жизни. То они появляются здесь ранней весной, то позднее, то летом и осенью.

Дней шесть вода в озере удерживается на одном уровне.

1973 год

27 мая

Сегодня днем температура воздуха была еще выше: $+23^{\circ}$, минимальная $+6,5^{\circ}$. Под вечер небо над заливом покрылось облаками. От вчерашнего и сегодняшнего потепления стал таять снег в горах. Много снега выпало в этом месяце. Если еще пойдут в ближайшие дни сильные дожди, то могут растопить снег в горах, и с гор хлы-

нут потоки воды, смывающие вековые деревья, разрушающие берега рек и речек.

Все лесники с Бели, у которых лодочные моторы, уехали в Балыкчу помогать совхозу переправлять скот с правого берега Чулышмана на левый. Животные после схода-таяния основной массы снега в горах перегоняются на левую сторону Чулышмана. Мостов, паромов на Чулышмане нет. Большая часть совхозного скота зимует на правой стороне. Если опоздать с переправой животных — большая вода придет — неизбежно часть животных может погибнуть на островах, затопляемых водой.

На лошади со склона вьюком привозил землю на огород. До полудня каждый раз проезжал у изгороди, видел удода; он будто уводил от гнезда, перелетая накоротке от столба к столбу. После полудня видел только перышки этой красивой птички. Каждый день приходится видеть жизнь и гибель маленьких пернатых. Здесь рядом с нашим жильем гнездуют на березах, соснах, кедрах мелкие хищники: ястребки, орлики. Каждый день они охотятся — и успешно — за дроздами, удодами, гнездящимися здесь.

Первый раз за эту весну видел на склоне змею — гадюку.

1958 год

16 января

Жена с Владимиром ушла в Чулышман. Очевидно, там ночуют. Плавал в Кыгу. В ключе попала выдра, передней и задней лапой в два капкана, поставленные по обе стороны переброшенной через ключ жердины. Переднюю лапку, ниже дуг капкана, всю изгрызла-изорвала; чувствительности-боли, конечно, у перебитой лапы уже не было. Долгое время выдра здесь не ходила, и смотрел поэтому редко, последний раз был 7 января. Интересно — пока не было морозов, выдра охотилась только на Кыге, сейчас часть Кыги покрылась льдом, и выдра пришла в ключи, попала в капкан, видимо, уже несколько дней тому назад, ее занесло снегом. Еще одна выдра ушла в Кыгу — есть свежий след.

Ходил по тропе до двух ближних кулемок, соболь к ним не подходил. И вообще следов соболя у берегов озера больше, чем дальше, к Баясу.

Попала в капкан выдра, кобчик ощипал до перышка удода — это все «мелочи жизни»...

Николаю Павловичу в высшей степени свойственно чувство экономической целесообразности, хозрасчетности; в каждом хозяйственном и житейском деле он непременно ищет зерно рентабельности. Когда я, помню, спустился с горы с двумя глухарями в мешке после пяти дней охоты, Смирнов приложил к моим двум глухарям третьего, добытого Владимиром; с застенчивой своей улыбкой, тихим голосом, но непреклонным тоном сказал: «Это вам в возмещение убытков. Серьезно. Да вот, в дороге потратились, надо, чтобы поездка ваша окупилась, хотя бы отчасти».

Николай Павлович по-крестьянски умеет считать эти самые сальдо и бульдо.

Но есть, есть в его дневниках то самое важное и главное, ради чего жизнь живется, копейка считается, каждый божий день совершается непомерная — по общепринятым меркам — работа; дневники Смирнова не только о добывании пищи насущной, но и о смысле дела рук человеческих, о долге каждого перед всеми. Камень на камень складывая террасы под сад на горе, опуская в землю первые семечки, он провидит цветение, плодоношение сада — не личного угоды, а примера для других, призыва ко всеобщему неустанному садоводству, приумножению земной красоты и благодати. И пишет об этом не только в пору подведения итогов, пожинания плодов, но и во дни запредельной нужды, обид, метаний, детского плача в избушке на курьих ножках над вечно ревущей рекою Чири.

7 ноября

Праздник, 41-й год великой перестройки жизни. Памятны мне события Революции. Молод был и плохо понимал; очевидно, так должно быть: через многие муки, через гибель множества лучших людей народ придет к справедливой, честной, трудовой жизни для всех.

Как и в прочие дни, сегодня не прекращал работы. Труд здесь, вдали от людей, приносит удовлетворение и пользу — не только себе, семье, но и стране. Чем больше все будут трудиться, тем больше будет вещей, продовольствия.

Плавали с женой к Чулышману, рыбы, правда, пой-

мали всего с десяток мелочи, но подправили снасти, наживили крючки.

Загородил сено утром, а вечером, как и ежедневно, обработка наблюдений. Слушаем радио.

8 ноября

Ночью выпал снег на мерзлую землю, слоем 4-5 см. Так незаметно наступила зима. Догородил проходы на террасы. Пустили скотину в огород. Установил рейки снегомерные. Ждал оттепели, хотелось перекопать, сколько успею, участок, но оттепели не было. Плавали с Анной к Чулышману. Не нашли поставленную вчера длинную частую сеть в устье — ставили прямо в течение, хотелось поймать заходящих в реку чебаков. Ночью и до половины дня дула свирепая низовка, очевидно сеть оторвало шугой или вместе с шугой вморозило в берег.

Давайте вспомним, что дневники Николай Павлович писал не для личного архива, а как отчетную документацию для управления гидрометеослужбы. Тетрадки по мере их исписания он отправлял в управление, с напоминанием на обложке: «Прошу вернуть на пост». Поэтому многие записи в дневниках представляют собою, наряду со всем прочим, заявления в вышестоящую инстанцию; в них содержится просьба о содействии в наболевшем вопросе, обязательно общезначимом. Дневники Смирнова — это его послания туда, за озеро, за горы, в большой мир; не от частного лица, а от личности, мыслящей в государственном масштабе.

1962 год

30 июля

107,7 мм выпало осадков в июле. Дожди не были затяжными. Много было солнечного тепла. Давно уже не было такой теплой, благоприятной весны и начала лета. Правда, в начале мая выгорела травяная растительность на склонах гор и внизу на каменистой почве, сейчас нет и признаков выгорания, всюду роскошная трава. Хорошо растут все овощи в огороде, хороший прирост и у многих яблонь, обильная завязь плодов. Красиво Озеро (Озеро у Н. П. пишется с большой или маленькой буквы, в зависимости от того, насколько оно красиво

в данный момент. — Г. Г.) и залив. Уровень воды ниже, чем в прошлые годы, вода поэтому немутная, галечные берега не затоплены, меньше, чем в прошлые годы, комаров. Всюду по берегам мелкие и крупные дрова — плавник. Для туристов чудесный отдых и огромное удовольствие самому поймать в устьях многочисленных речек вкусных хариусов на уху, видеть по склонам гор зеленые кедры, лиственницы и на гольцах еще не растаявшие белые снежники.

В последние годы вместе с нужными здесь товарами стали завозить много водки. На почве выпивки среди простых честных алтайцев есть случаи воровства, драк, разлада в семьях. Ежегодно в озере тонут 2-3 человека, будучи пьяны. Сейчас в устье реки Чулышмана открыли киоск для торговли водкой. Малообжитые берега Чулышмана и озера, воспетые алтайскими поэтами, слышат брань пьяных «туристов». На днях из группы плановых туристов четверых исключили за драку.

Конечно, издавна известно, что алкоголь наизлейшее зло, но здесь это недавно: не было сюда дорог и водку не доставляли.

Наблюдатель поста просит извинить за написанное, может быть, прочитавшие это в какой-то степени помогут, проще — помешают завозу водки в Чулышман.

Наблюдатель водомерного поста в Кыгинском заливе

Н. Смирнов.

А еще какое великое множество людей населяет дневники Николая Павловича Смирнова! Его сердце отдано тем, кто чист душою, беззащитен и слаб, как птица небесная. Какая-нибудь медичка Света отправилась из Балыкчи в горы по пастушьим станам, чтобы облегчить недуги (так и написано: «облегчить недуги») пастухам. Взяла с собою в дорогу сестренку-школьницу Любу, чтобы не скучно было идти по звериной, никем до нее не хоженной тропе. Где-то под Тоолоком двух беззащитных странниц настигла буря. Не было у них ни палатки, ни огня они не умели развести, иззябшие, долго кричали. Были услышаны чьим-то всегда настороженным ухом — на водомерном посту, перевезены через залив в лодке, обогреты, накормлены, напоены, уложены спать, наутро оделены хлебом, яблоками, копченой рыбой, провожены

в путь. Им вдогонку в дневнике сделана сердечная, сочувственная запись, как будто родных детей проводил в нелегкую дорогу телецкий водомер, несущий на посту бессменное дежурство милосердия, поддерживающий тепло в камельке для каждого странника с чистыми помыслами в душе.

Однажды...

Впрочем, пусть расскажет сам Николай Павлович...

1977 год

2 февраля

Ночью выпал снег. 1,9 мм измерено осадков. Ночью и утром была слабая верховка. Она не позволила морозу сковать льдом все озеро. А после полудня было тихо — и мороз снова намораживал на озере лед. Минимальная температура воздуха -23° , максимальная $-13,5^{\circ}$.

Льдом залива пришел к нам из Балыкчи школьник Юрка Кастаков, младший брат Марины, школьницы 10 класса; Юрка в 5-м классе. Это дети Розы Кастаковой, проживающей на Беле. Юрка мал ростом, из носу постоянно текут сопли. Их мать не была замужем, детям с рождения трудно живется. Живут они в Балыкче на квартире у одинокой старушки (на Беле школы нет). Учится Юрка плохо и в квартире, видно, шалит. Говорит: «Прогнала меня баушка».

Накормили его, подсушил его рваные рукавички, носки. Шел он по следам, что вчера прошла Аксиция Тужлакова. Ее следы перемела сильная низовка, расщеляла лед в заливе; местами в щели выступала вода; у Юрки промокли валенки. Ему до Бели еще идти девять километров. Тропу по склонам гор вчера передудло — метель была и ночью еще снег выпал.

А сам Николай Павлович сколько раз проделал эту дорогу — с поста до Балыкчи?.. Обыкновенно расстояния, покрытые человеком, измеряют окружностью экватора. Сколько экваторов обежал за пятьдесят лет телецкий водомер? Смолоду больше впробежку, на своих двоих, на лодке, реже — верхом на коне. С годами маршиброски в Балыкчу становились все продолжительнее. На старости лет вылазка на тот берег Чулышмана — событие. Ему посвящается целая дневная запись в дневнике.

1977 год
4 февраля

День прошел с переменной облачностью. На озере была утром слабая верховка.

Побывал сегодня в Балыкче на почте, вместе с Лысаном. Через лед залива я вел Лысана в поводу, дальше пробирались мы до дороги островом Катаим. Это дальше километра на четыре, но ноги Лысана не подкованы, а лед на Чулышмане без снега, верховка его отполировала. неподкованная лошадь не может перейти Чулышман. Он здесь течет двумя рукавами, за ними ферма совхоза. На ближний к ферме рукав положены стволы берез, ив, насыпан песок. У завала образуется снежная насыпь, животные с фермы ходят по ней кормиться на остров Катаим. Здесь и мы с Лысаном перешли реку. Дальше я ехал верхом. По дороге утром после пороши прошел трактор «Беларусь».

При переходе маленькой речки на припорошенной наледи Лысан поскользнулся. Упали мы оба, я не ушибся, Лысан в кровь разбил себе губу (бывает хуже). На почте получил три посылки нам и сыну Николаю, переводы с заработной платой. Домой вернулся уже к 20 часам. От Тоолока лед ломан низовкой, торосистый. Идти пришлось медленно, вдоль берега.

В Балыкче заходил в сельсовет. Председатель Александр Агафонович мой старый знакомый, в прошлом учитель, работающий, не пьющий спиртное. Посетовал мне, что рубят последние толстые кряжистые березы на берегу Чулышмана — украшение здешних мест, а лесник не препятствует.

Температура воздуха сегодня минимальная — 13°, максимальная — 6,5°.

Дочитываю дневники Николая Павловича, то есть они давно прочтены, выбираю из них страницы, которые могут что-то добавить к образу летописца, привнести в книгу жизни необходимый для ее полноты штрих, оттенок. Николаю Павловичу перевалило за восемьдесят, он ждет за лесами, за горами, на берегу Кыгинского залива. В последнем письме просил меня выслать ему дневники, прочесть перед смертью. Так и написано: «перед смертью». Давно ли, кажется, все началось. Все же нет ничего короче на свете, чем жизнь человеческая...

Просьба Николая Павловича исполнена, дневники отосланы, остались три тетрадки...

28 февраля

Сегодня исполнилось 50 годов жизни на берегу залива...

Когда-то с попутным карбасом от мыса горы Купоросной плыли, подгребая веслами, день и ночь. В карбасе везли соль для жителей Чулышмана. К Кырсаю подплыли на рассвете. Все свои вещи — чемодан, ружье — унес берегом озера, по тропе, по склону горы Кара-Чим. Прибыл сюда на должность лесообъездчика от Кебезенского лесничества. Поселился в маленькой бане — до теплых дней. С приходом тепла перешел жить в палатку, — старая палатка протекала. На берегу залива была всего одна берестяная юрта и маленькая низкая избушка, в ней жила большая семья Захара Матвеевича Жаркова. Когда я заходил в избушку, то приходилось наклонять голову, чтобы не упиралась в потолок. Дочки Захара Матвеевича прыскали со смеху. А позднее я стал пятым зятем гостеприимного Захара Матвеевича и его жены Надежды Егоровны.

Много событий произошло за 50 лет; лишь в зимнее время здесь почти все осталось по-прежнему. А летом теплоходы, катера, моторные лодки бороздят, пачкают чистую прозрачную воду озера. Под натиском техники, множества людей-туристов природа отступает дальше в горы. Но и там — партии геологов работают каждое лето. В тайге стало меньше промысловых птиц — рябчиков, глухарей. Очень много их было. Так же резко уменьшилось поголовье водоплавающих. В эту зиму вблизи нашего жилья почему-то не появлялись синицы, поползни; они зимовали всегда здесь, в саду. Мы слышали только дробь дятлов на сухих — звонких соснах да голоса воронов над ущельем реки Чири; там зимою они находят себе еду.

В озере, речках так много было рыбы всех пород, теперь ее стало во много раз меньше.

1973 год

21 мая

Ночью прошел дождь и сильный мокрый снег. 11,4 мм измерено осадков. Так хорошо шла весна, а сейчас хо-

лодно, дождливо. В горах продолжается накопление снега. Температура воздуха максимальная $+8^{\circ}$, минимальная $+0,5^{\circ}$. В саду зацвела груша — уссурийская; европейские пока не цветут.

Кукушку слышал сегодня — первый раз в эту весну. Редкая птица в здешних местах — кукушка. Вообще певчих птиц здесь гораздо меньше, чем в средней полосе России. В детстве я жил в Костромской области, там кругом деревни был лес — перелески, и великое множество птиц звенело и пело повсюду. В болотах, на реке Тебзе, на лугах у реки полно было уток, куликов, дупелей, бекасов. По веснам стон стоял от тетеревиных токовищ. Помню, дед мой пахал землю, я боронил. Птицы — вороны, галки, скворцы, лесные голуби, всякие мелкие птички слетались в каждую борозду, следовали за «косулей» — так называли самодельный деревянный плуг; только лемех и отрез были железные. Птицы склевывали в бороздах всех червей, червячков и их личинки. Не помню, чтобы на огороде капусту ели гусеницы, картофель повреждали проволочники; не было и луковой мухи, которая сейчас здесь уничтожает половину урожая.

Очень давно это было, более 60 годов прошло.

«Восток» был в заливе. Три раза в месяц с «Востока» на озере производятся гидрологические наблюдения. Наблюдения производят начальник Озерной станции Селегей и его жена.

Однажды за все время ведения дневников Николай Павлович отвлекся от ежедневных записей, посвятил десяток страниц подведению итогов — не жизненных, а узкоспециальных, садоводческих. Страницы эти — в тетрадке 1952 года — имеют касательство не только к личной судьбе телецкого садовода, но и к истории садоводства в Горном Алтае. Они озаглавлены так: «Маленькая история посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников на берегу Телецкого озера в урочище Чири».

«...Весной 1942 года по моей просьбе Дмитрий Степанович Рачкин (садовод Алтайского государственного заповедника) привез мне из Ойрот-Туры (так назывался в ту пору Горно-Алтайск. — Г. Г.) 16 однолеток и несколько двухлетних саженцев яблонь. Из Яйлю они были посланы мне в мае. Дорога эта для саженцев была трудна, и я совершенно не знал, как лучше их посадить, в то время я не имел понятия об этом деле и не было у меня

ни одной книги по садоводству. Посадил их на участке против дома, здесь на голых камнях за ряд лет образовался слой почвы почти до 18 см толщиной.

На некоторых яблоньках надписи на этикетках стерлись, а на некоторых, как оказалось впоследствии, сорта были неправильно написаны.

За лето из шестнадцати девять яблонек засохли. Осенью 1942 года оставшиеся семь яблонь я пересадил на другое место, предварительно убрал большое количество камней и добавил порядочно земли. Здесь когда-то разбушевавшейся рекой Чири нанесло на камни песку до 20 см, местами были сплошные камни, даже не росла трава.

Спустя время удалось узнать, что из семи яблонек одна была «багрянка-ранетка», два саженца «пудовщины-ранетки», два деревца «любимец»-полукультурка, пара крупноплодных — сорт мне их неизвестен.

Погода здесь зимами не очень холодная, все яблони хорошо перезимовали. Заяц немножко попортил веточки, но мы его отпугнули...

Весной 1943 года яблонька «багрянка» зацвела, уродилось осенью на ней восемь яблочков. Я не жалел труда, выкайлил в междурядьях много камней, добавил перегноя, земли.

Весной 1944 года зацвели еще две яблоньки — сеянцы «пудовщины»; к осени собрали с трех яблонек три килограмма яблок.

Весной 1945 года зацвели обе яблоньки «любимец» и одна крупноплодная — к сожалению, вскоре завязь отпала. Осенью собрали со всех яблонь до восьми килограммов яблок.

Осенью 1945 года привез от Рачкина яблоньку с искривленным стволиком (она портила вид в саду заповедника). На будущий год собрали урожай с пяти яблонек около восемнадцати килограммов плодов.

Еще через год зацвели восемь яблонь, яблок собрали почти пятьдесят кг.

Мой сын Павел привез из Ойрот-Туры от Михаила Афанасьевича Лисавенко прививки яблонь, крыжовник, смородину, груши, виноград. У Дмитрия Степановича Рачкина взял пару сливо-вишневых гибридов.

В 1948 году яблок уродилось до 100 кг. Яблоки отлично сохранились до января. Пришлось раздать их многим знакомым, но, к великому сожалению, даже и эта

наглядная агитация не имеет успеха у здешнего населения — в посадке фруктовых деревьев.

За шесть лет в нашем садике прижилось 50 деревьев. Камни пришлось выкайлить, крупные накалывать на кострах, затем поливать холодной водой — камни трескались. Лесного хлама для костров полно на берегах озера. Плодородную землю оказалось удобно приплавлять в большой лодке из устья Чулышмана; там на берегах скопилось много листово-хвойного перегноя. В смеси с тяжелой красноватой землей, приносимой дождями с южного склона, получается прекрасная почва.

Неглубокое промерзание почвы позволяет уже в марте брать землю для сада и огорода. По берегам Чулышмана всюду валяются кости животных. Каждый раз бывая в Чулышмане, несу оттуда кости. Стоит подсыпать горсть костяной муки под куст томатов при посадке, урожай будет выше, томаты раньше созреют.

За время работы в маленьком нашем садике хорошо научился производить окулировку, а также и зимнюю прививку. Есть одна яблоня с прививкой от чулышманского сорта, трем десяткам яблонь я сделал прививки от сортов, растущих в саду заповедника.

Однажды на берегу озера вблизи устья Кыги увидел куст смородины с зелено-розоватыми ягодами, ароматными, сладкими на вкус. Нарезал с куста черенков, посадил на грядку. Потом перенес весь куст к себе на участок. Через год уродились ягоды, гораздо крупнее тех, что были в диком состоянии.

Летом 1947 года мы схоронили сына Колю; он скончался от неудачной хирургической операции. Это событие очень ухудшило здоровье моей жены. Я дал себе слово: пока буду жив и в силе — строить на крутом южном склоне террасы, сажать фруктовые деревья.

Весной 1948 года посадил первые деревца на террасе, огородить ее не сумел, скот попортил...»

На этом месте «маленькая история» прерывается. К ней будет еще концовка, но и она прервется на полуслове. Очевидно, повседневные обязанности, нужда, заботы, случайности, горести так и не дали возможности садоводу сосредоточиться целиком на истории своего садика (вы заметили, сад называется «садиком», сажаются и высаживаются «яблоньки, деревца», зайцами объедаются «веточки»; садовод относится к своему саду как

к живому любимому существу; все его обитатели для него дети...).

«Очень давно ничего не записал о садике. Теперь растет уже сто плодовых деревьев. Очень много десятков тонн убрано камней, еще больше положено земли.

Из присланных книг по садоводству узнал, что яблоня с прекрасными крупными плодами — это «пепин шафранный». Несмотря на страшное градобитие 28 июля 1951 года, с нее было снято в октябре 280 плодов. Бывший здесь весной 1951 года директор Крымского заповедника Николай Степанович Рыбальчик послал осенью посылку с фруктами и семенами. В дороге посылка была разбита — шла 32 дня, сохранилось семь яблок крымского «сары-синап». Моя семья и гости с Белинской метеостанции сказали, что наши яблоки «пепин шафранный» вкуснее и лучше выглядят, чем яблоки «сары-синап»...»

И — точка. Далее (и прежде) следуют обычные повседневные записи, как всегда.

Пора и мне ставить точку в моем кратком плавании по морю человеческой жизни. Дневники отослать их автору, а затем... Найти в себе подъемную силу — и туда, на Алтай, в Кыгинский залив. Все, что написано мною, пусть это цитаты из тетрадок Смирнова, недействительно до тех пор, покуда не прочтет сам хозяин — и даст свою визу. Или же что-то сочтет неудобным, переиначит...

Итак, тетрадки на почту, самому в кассу Аэрофлота...

Напоследок еще одно сказанье, из тьмы давних лет. Жалко мне все же расставаться с дневниками Николая Павловича, привык я к ним, честное слово. Такой в них еще не вычерпан кладезь смиренномудрия. И — непокорства!

1959 год

2 февраля

Уплыли с женой в Чулышман. Утром еще привез два веза сена. На почту унесли служебные бумаги, посылку с рыбой и черенками яблоневого сеянца, письма М. А. Лисавенко, Горчакову, Вышеславскому. С почты

получил письма с гидрометеостанции, велят выслать копии отчетов за весь прошлый год.

Вечером было предвыборное собрание, выдвигали и меня кандидатом в депутаты сельского Совета. Я попросил, чтобы не выдвигали. Просьбу удовлетворили. Очень было бы мне трудно, если бы серьезно повести работу, подобающую званию депутата.

Домой вернулись в 15 часов. Плыли по хорошей низовке.

Унесли с собой в Чулышман 3 кг яблок — раздали многим людям в гостинцы.

И тут еще письмо из Кыгинского залива, под Новый 1983 год...

«Дорогой Глеб Александрович!

Вы обещали приехать, привезти мои тетрадки-дневники. Письмо Ваше получил, да нелегко было ответить без промедлений. До Балыкчи в это время года при моем возрасте — трудно добираться. Только с попутчиками связь с почтой. Большую часть дневников, отправленных Вами по почте, мы получили. Все же верните все дневники. И простите меня, что Вы затратили время на их чтение. Вы уже кое-что из них написали, не всегда это находит понимание у тех, кто знает меня и наших детей. Рядом живут, а видят нашу жизнь по-другому, чем мы сами...

Надеюсь, что у Вас и без моих пустяковых записок о житье-бытье тем гораздо более интересных предостаточно.

С глубоким к Вам уважением

Смирнов Николай ».

V

28 июля 1983 года. Берег Телецкого озера. Кыгинская губа. Девять часов утра. Ровно в девять вышло из-за восточных гор солнце, то есть взошло — на все озеро. Попрощался с отцом и матерью капитан турбазовского катера «Бриз» Владимир, мой одноклассник, долговязый, узкоплечий, сильно тощой, тонкошей, чернявый, малость кудреватый, переваливший за пятьдесят, но все без седины. Что-то в нем есть мальчишеское, нескладное, развинченная походка... Володя ходит носками врозь, далеко выбрасывая стопы. Глаза у него материнские, то

есть такого цвета, как у отца, но особым образом привязанные к лицу сложной паутиной морщинок...

Вчера вечером я пришел с вертолетной площадки на причал Артыбаша, у причала стоял катер «Бриз». Из рубки на палубу вышел капитан «Бриза». Мы долго смотрели в глаза друг другу. «Ну что, не узнал?» — спросил я у капитана. «Узнал, — отвечал капитан. — Ты сильно переменялся. Весь седой...» Мы с ним в последний раз виделись когда же?.. Кажется, в 1961 году.

Владимир дал мне ключ от кубрика, я ночевал в чреве «Бриза».

Утром, отправляясь в рейс из Артыбаша на Кырсай, на Чулышманскую турбазу, капитан надел форменную тужурку с золотом на рукавах, капитанскую фуражку с колосьями. Впрочем, тотчас по отходе то и другое снял.

Плавание предстояло долгое, погода выдалась лучше и не бывает: то есть бывает — в Горном Алтае ранней осенью. Так мы плыли, вернее «шли», иногда обменивались с Володиёвым одним нам интересными сведениями друг о друге, вдобавок к тому, что успели узнать когда-то. Несколько раз повторял Володя, что «дед» (так он теперь называл отца) против его капитанской должности на туристском прогулочном судне — для пикников. Сказав, задумывался... Видимо, в сознании его происходило боре́ние, выдвигались доводы за и против. «Мне ничего другого и не надо. Я уже пятнадцать лет на «Бризе»...» Сам себе возражал, в том смысле, что можно бы расстаться с «Бризом», ученики подросли и самому месту на берегу нашлось бы... Но начальство не допускает и мысли: «Нет, нет, оставайся, работай, кроме тебя никто...» и т. д.

В рубке появлялся помощник капитана, тоже Володя, молодой красивый алтаец, быстрый в движениях, быстроглазый, остро сощуривающийся. В салоне «Бриза» расположилось начальство Чулышманского совхоза во главе с директором Николаем Петровичем. После быстротечной трапезы все сели за карты, а я сел к рулю и правил, видя перед собою на юге гору Тоолок. Видимость была — во все озеро, чуть не на сто километров туда и сюда.

На траверзе какого-то мыса капитан прыгнул в красную моторку, протянул мне руку; внутренне покряхтев, и я тоже прыгнул в алюминиевую лоханку. Володя Смир-

нов похвастал, что это его собственная лодка. Мы помчались по синеве, среди брызг и солнечных бликов...

Николай Павлович отнесся ко мне, как всегда, приветливо, на равных. В нем стало меньше крестьянского, больше чего-то такого «разночинного». В рубашке в полоску, в брюках из синтетики — «молодежных» брюках, в вельветовых туфлях, в темных, с выпуклыми стеклами, очках-«консервах», простоволосый, с трехдневной щетиной на впалых щеках... Сказал: «За мытарства, которые пришлось претерпеть, сейчас и радости выпадают, да вот любишься красотой... Пятьдесят шесть лет здесь прожил. Жалко, так мало...»

Он сел за весла, сплавил меня в им самим назначенное место, где ставить палатку, на травянистый берег под крайнюю в саду яблоню сорта «славянка» (мичуринский сорт). Яблоня состарилась, уже не плодоносила, ее ветви утратили гибкость, как будто окаменели. К нижней ветви я и притянул шнуром край палатки.

Дело к вечеру. В залив зашел туристический теплоход «Пионер Алтая». Экскурсоводка рассказала по трансляции экскурсоводческим, обезличенным в раз навсегда затверженной интонации голосом про то, что... «Вы видите перед собою сад, созданный руками Николая Павловича Смирнова... Сад вошел в ожерелье достопримечательностей Телецкого озера... Трудно представить себе, что вот эти террасы на склоне горы — дело рук одного человека...»

Механический радиоголос хорошо резонировал в заливе, отражался от лона вод и горных кряжей, далеко разносился; должно быть, был слышен даже на Чулышмане... И пронзительно острой, осязаемой была тишина, царящая тут, на водомерном посту, над укрытым зарослями человеческим жилищем...

Каково это слушать Николаю Павловичу, Доре Захаровне изо дня в день...

Я знаю, видел: с борта теплохода смирновский сад для непосвященных остается неувиденным, нераспознанным, настолько все заросло, затравенело, сомкнулось; туристы видят рощу на берегу; рассказ экскурсовода воспринимается ими как легенда — хочешь верь, хочешь не верь...

Утром Дора Захаровна с двумя маленькими внучками и внучкой уже большой, или, может быть, дочкой (нет, внучкой), смотрели две сети, поймали с десятков окушков. Все то же, что было тридцать и пятьдесят лет тому назад. Дали мне четырех окуней, я из них сварил уху; зело уха вышла, удалась; дали мне луку, картошки.

И, главное, улыбалась Дора Захаровна, мало я видел ее улыбающейся, совсем чуть-чуть. Не радовали ее мои наезды, моя писанина, хотелось ей уберечь родное гнездо от постороннего ока...

Пришел к моему костру (костер не гас у меня, сухого плавнику кругом навалом) Николай Павлович, принес копченых чебачков. Мы немного поговорили о политике, об охране природы, об американских безработных. Николай Павлович пожалел этих несчастных — не потому, что им не заработать на жизнь (говорят, дают пособие), а потому, что бедолагам нечем заняться, некуда деть свое время, а это ужасно — незанятость работой, если даже ты сыт.

«Если бы каждый работал по десять часов в сутки, — сказал Николай Павлович (речь зашла о трудовой отдаче у нас), — то все бы было, в материальном смысле...»

Я уже слышал эту идею — главную, определяющую в жизни-судьбе телецкого водомера-садовода. Он принес мне свои дневники за прошлый год. Нынешние отправлены в управление, еще не вернулись. Я вручил ему папку его собственных дневников с моими комментариями — более сотни страниц машинописного текста. «Прочтите, пожалуйста, Николай Павлович, со вниманием. Ради бога, не обижайтесь, если в чем я ошибся, не так что понял. Чужая душа загадка. В вашей воле поправить, вычеркнуть; без вашей визы...» И так далее, в том же роде.

Летописец посетовал на усталость: целые дни на покосе, по вечерам не хватает сил сделать даже записи по работе (он в свои восемьдесят два года исполнял обязанности наблюдателя поста)...

Я сказал, что буду дожидаться окончания авторской редакции вот здесь, на берегу у костра. Другого выхода нет у меня.

И принялся за чтение дневников Смирнова — как это бывало в прежние годы. Почитаю — попишу мой собственный путевой дневничок...

1982 год

1 июля

Удерживается жаркая погода. В последние дни июня не смог ничего записать о прожитых днях. Вечерами так усталость донимает, что скорее бы лечь, а событий много, следовало бы записать для памяти.

Вчера были Леон с Татьяной, уже под вечер уехали. Увидели на горе наших четырех овечек и пригнали их, а две овцы сами прибежали. Волк или медведь их напугал, за сутки овцы одичали.

Дочка Пина с теплоходом приехала, привезла нашу маленькую внучку, дочь Людмилы.

Покосить траву сегодня не смог утром; вечером покосил возле дома под яблонями. Отчет отправил с «Биосферой».

2 июля

День солнечный, жаркий: $+26^{\circ}$ максимальная температура воздуха, $+15,5^{\circ}$ минимальная.

Сегодня никто не был у нас. Выкосил траву в саду около дома. Таскал — на прутьях — подсохшее сено с покоса в сарай, дочь Пина помогала.

Вода в озере давно идет на убыль. В течение июня убыло воды на 92 см.

Вечер, пятнадцать минут восьмого. Спала жара, схлынули оводы. Можно стало видеть и слышать. Что я вижу из-под яблони «славянки»? Все то же озеро, Кыгинский залив, серебристую иву на берегу, шрам на горе Тоолок — след селя. За моей спиной каменная кладка — работа Николая Павловича. Пovyше еще одна кладка. Как можно было их сложить — камень на камень? — все камни плоски, то есть в местах сочленения плоски... Есть камни совершенно неподъемные на вид, однако поднятые, водруженные, ладно пригнанные к другим камням. Когда-нибудь — никого из нас не будет в живых и наших детей не будет — станут раскапывать, изучать эти кладки, по ним судить о циклопических трудах жителей давнего времени...

Про отца Владимир сказал однажды: «Дед всех нас переживет».

29 июля

Утром с Жанной увели Майку за реку Чири на покос. Майка перевозила копны сена к остожью. К полудню с Жанной сметали стожок сена — одиннадцать копен. Посолили его, ушло 5 кг соли. Это сено, очевидно, лучше будет того, зеленого, сметанного до дождей, дней 12 назад. Стог сверху промок, Жанна залезла на стог, сбросила верхушку мокрого, загнившего сена. Пришлось верхушку закрыть клеенкой — гроза была.

Бризовцы заходили утром, завтракали.

2 августа

Ночью шел слабый дождь. Днем тоже. 31 мм измерено осадков. Весь день над заливом низкая облачность. Солнце не показывалось. На лодке привез колесо. Давно оно было принесено водой из Чулышмана — огромное, тяжелое колесо от трактора. На следующий год поднявшейся водой колесо утащило подальше от нашего берега. Жена с внучкой Жанной собирали там дрова — плавник — и по моей просьбе подожгли резину на колесе. Дождь залил горевшую резину. В другой раз, собирая в лодку дрова, опять подожгли, вылили накопившуюся в колесе воду; резина сгорела дотла. Колесо слегка помято. Металлолом отсюда не вывозят. В колесо, очевидно, придется посадить цветы.

Протесывал расколотое надвое старое пихтовое бревно, для постройки навеса под сено. По дождю пришлось пасынковать помидоры — подвязали помидоры к кольям. В течение роста помидорных будыльев приходится их подвязывать 7-8 раз.

28 августа

Сегодня — с детства помню — праздник на селе, ус-пеньев день. Несмотря на неотложные деревенские работы: свозили к овинам ржаные снопы с полей; созревали ячмень, овес, лен — все равно два дня праздновали. Накануне приносили из прихода иконы; священника, дьячка привозили на телеге — служили они молебны во всех домах села. Бабушка мне сказывала, в этот день хоронили мою горемычную мать. Я не смог запомнить этот первый день моего сиротства. 78 лет назад это было...

29 августа

С переменной облачностью прошел день. Днем на озере снова низовка, сильная, непродолжительная. Вчера

низовка сбила много груш, совсем еще неспелых. Одна груша очень хорошая для нашей местности... С ней почти рядом росла яблоня, тоже с хорошими плодами; казалось, от ее близости тесно груше. Яблонь много таких, груш только две — спилили весной яблоню; она выращена здесь из семечка, под № 13 числилась. А оказалось, для груши плохо: не стало защиты от ветра. Очевидно, и в жизни так: нет рядом друга и нет защиты от невзгод.

Полдня собирал яблоки, груши, что сбил вчера ветер.

Плыли с Николаем Павловичем на его лодочке — дюралевом корытце. Доплыли до Тоолока. Я вылез на камни. Дед взялся за весла с таким наслаждением, как бывало, погнал лодку к своему берегу...

Тропа от Тоолока до Балыкчи травяниста, нехожена.

Последний вечер жизни в раю под яблоней. Варится картошка на костре. Ничто не болит ни внутри, ни на поверхности моего тела. Даже притихла душа. Бесшумная скопа покружила над нашим медленным костром...

Пришел Николай Павлович, принес папку с его собственными перепечатанными мною дневниками. «У вас есть ошибки». Душа моя покатилась в пропасть. «Какие, Николай Павлович?» — «Грамматические. Я исправил». — «Спасибо вам!» Камень свалился с души, загрохотал по уступам ущелья. Откликнулось эхо. Душа воспрянула, заликовала.

Все же ничего не бывает лучше в жизни, чем сознание исполненного долга. Пусть это и ненадолго...

Озеро вдруг заплескалось. Явственнее обозначился шрам на горе Тоолок...

Ночью мне не спалось, ночь была месячная (это словечко «месячная» — из дневников Смирнова; в них много непривычных для уха словечек; «месячная» значит «лунная»).

Накануне дед водил меня в свой виноградник. Виноград вызревает на трех ярусах у балюстрад. «Балюстрада» не то слово. Собственно, и «терраса» не то, и «ярус». Какими словами назвать то, что содеял Смирнов на своей заимке, пока не найду...

Два часа дня. Артыбаш. Под ивами, под пихтами, в зарослях смородины, папоротников, белоголовника, на

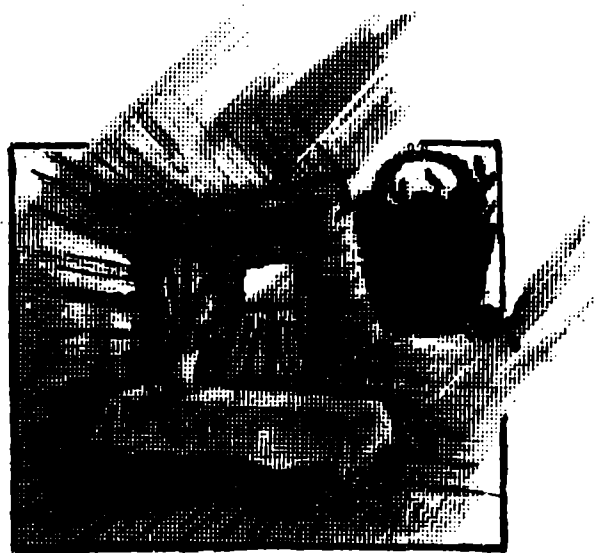
пепелище бывшего большого костра я завел мой маленький костер, заварил чаю с белоголовником (по рецепту моего товарища Анатолия Заболоцкого; это — сибирский рецепт). Попили мы с товарищем душистого чаю, и это был лучший чай за все путешествие, ибо цели путешествия достигнуты, планы исполнены, перевалы пройдены.

Солнечный день в Артыбаше, на берегу Телецкого озера...

И все дальше, дальше уходили берег Кыгинской губы, урочище Чири, шуршащая галька, выбеленный водой и ветрами плавник... Уходил от меня Николай Павлович Смирнов, такой родной мне, такой старый, со щетинистыми щеками, в темных очках... И бесконечно доброе, редко улыбающееся лицо Доры Захаровны... И привезенный дочерью Смирновых к старикам на зимовку добрейший пудель Тимка в наморднике — чтоб не ввязался в драку со зверовыми псами... И яблонево-градник, жареные хариусы на столе, молодая картошка в миске с домашним, своим маслом, с укропом, мед, творог, копченые телецкие селедки, яйца, хлеб — о! хлеб, испеченный Дорой, — и подсохшая земляника со сливками, чай... И огромные, сваливающиеся с запястий от собственной тяжести кисти рук Николая Павловича...

Мой товарищ предложил Доре Захаровне деньги за наш постой на заимке. Она улыбнулась. «У нас, алтайцев, это не принято. У нас кто придет, тех угощаем. — Она посмотрела на мужа с выражением застарелой боли-любви. — Вот он русский, у них, может, по-другому...»

И еще раз Телецкое озеро, с юга на север. Его можно смотреть, осязать, глотать, дышать им; оно дает пищу всем органам чувств. Оно утоляет...



ПО ТРОПИНКАМ ПОЯ СВОЕГО



ЛЕГКИЙ ПОЛЕВОЙ ОБЕД

1

Председатель надел очки. Его глаза с годами сделались дальнозоркими. Так и должно быть. Побаливала печень, но сносно, терпимо. Ноги пока что носили. Потом, когда закончат уборку в колхозе, ноги могут и отказаться, с ними бывает, а в страду «все системы работают нормально». Разве что только нервы пошаливают, но это зави-

сит от ветра. Четвертые сутки дует северный ветер. Он неопасен, пусть дует. Сколько может еще продуть? Сегодня похоже, что утихает. С утра в природе воцарилось какое-то раздумье, будто завязывалось боренье подспудных сил. Вдруг переменится ветер, задует с юга? Южный ветер приносит беду... Председатель сощурился на мгновение, почувствовал, как задрожала кожа у глаз. Он распустил кожу и улыбнулся. В общем, нервы пока что тоже слушались. Сказал:

— Нам надо одну победу.

Сидевший слева у торца большого председательского стола парторг говорил в это время о том, что надо сфотографировать для итоговой выставки не только механизаторов, но и работников идеологического звена. Председатель сидел набычась у себя за столом в кабинете, слушал, чуть-чуть улыбался, но был он еще где-то вовне, далеко.

— Нам надо одну победу, Николай Александрович, — сказал председатель. — Уберемся, тогда...

Глядя в лежащую перед ним утреннюю сводку, он положил на счетах одну цифру, другую, третью, что-то помножил и поделил.

— Значит, так. Берем сумму общего намолота — вал. Так, так, так... Округляем общую площадь... Так. Что получается? Получается, что уже на сегодня мы имеем по двадцать четыре центнера с гектара на круг. Если с оставшихся двух тысяч гектаров мы возьмем хотя бы по двадцать центнеров... А если?..

Председатель нажал тумблер рации. Рация зашкварчала.

— Девятый, девятый, девятый! Я — первый, я первый, я первый. Белкин, как меня слышишь?

Из шкварчания рации вылутился охрипший, обветренный, степной голос агронома Белкина:

— Слушаю, Антон Григорьевич.

— Это хорошо, что слушаешь, Александр Васильевич. Как «луганская»? Какую дает урожайность?

— В основном по тридцать семь центнеров.

— В основном... А точнее? По виду больше, чем на двадцать пять, она не тянула.

— По тридцать семь, Антон Григорьевич.

— А ты возьми рогульку, побегай, померяй, как бывало, помнишь, бегали?

— Меряли. Тридцать семь.

— Ну хорошо, Александр Васильевич. Спасибо. Четыре-пять дней нам осталось. Давайте поработаем.

В шкварчание рации вдруг сам собою, незванный, встрял чей-то страдающий голос:

— Антон Григорьевич! К нам шесть жаток пришло из «25 лет Октября». У них режущие аппараты негодные для нашего хлеба. Они у себя привыкли верхушки срезать. Я их отправляю обратно.

Председатель вдруг закричал так, чтоб всем было слышно, на всех полях колхоза «Восход» со стрекочущими на них жатками, жующими колосья комбайнами, пылящими по дорогам машинами, пасущимися на отаве, на сопках, на кукурузном жнивье стадами, на всех шести механизированных токах с рушащимися в чрева веялок и сушилок лавинами твердого, сильного пшеничного зерна:

— Прекрати партизанить, Шишкин! Если отпустишь жатки, ты у меня полетишь из колхоза. У нас нет времени. Сегодня не кончим жать, завтра можем остаться без хлеба. Ты меня понял, Шишкин?

В ответ шкварчада рация.

Председатель, мгновенно вспыхнув, дав нервам потрепыхаться, теперь остывал.

— Регулируйте режущий аппарат. Пошли техничку, на складе у нас должны быть три инструмента...

— Три есть, Антон Григорьевич. — Это Иван Иванович, заместитель. Он слышал разговор председателя с агрономом Воронежского отделения. Все слышали, все четырнадцать восходовских раций не только внимали голосу «первого», но и улавливали его оттенки.

2

Антон Григорьевич Афанасьев, председатель колхоза «Восход» Змеиногорского района Алтайского края, председательствующий в «Восходе» с самого дня его воссоединения с соседним «Мирным трудом» в 1964 году, спустился со второго этажа недавно выстроенной конторы (кирпичи сами делали и железобетон научились сами изготавливать). Первое, что он уловил, это ветер. С утра было стихший, ветер опять разгуливался, с севера заходил к востоку. Дальнозоркие глаза председа-

теля разом увидели яркую желтизну тополей на берегу реки Корболихи, багряные пятна рябин в чуть пожухлых березняках, в лиловатых зарослях таволги и калины по склонам сопок, ближе к вершинам, а ниже — лоскуты густо-черной, только что вспаханной зяби и глубокую нежную прозелень взошедших озимых. И много, много еще было необмолоченных валков на полях, — валки побурели; председатель на глаз ощущал их тяжесть, созрелость, наполненность зерном. Восходовские комбайны медленно, на первой скорости, подбирали валки «харьковской-46», «алтайки», «луганской», цицинской пшеницы «грекум», не роняли ни колоска.

Шел двенадцатый день уборки. Оставались две тысячи гектаров. Небо было таким ослепительно-синим, лучезарным, каким бывает оно над Алтаем в погожую хлебную осень. Дул северный ветер-помощник. «Еще бы пять дней!..»

За Корболихой в распадке два трактора, натужно урча, уминали горку кукурузного силоса. По дороге из Березовки в Карамышево резво бежали машины, везли на сдачу бычков. Машин, слава те господи, нынче хватало и на уборке, и на других работах. Да и машины какие: одна к одной, на подбор прислали из Барнаула «зилки», и, что особенно радовало председателя «Восхода», — водители все в годах, степенные, работающие, в рот не берущие и маковой росинки...

Поверили в восходовский хлеб. Да и как не поверить? В семьдесят втором, с летними дождями, с устойчивой осенью, урожайном году «Восход» прогремел на весь Алтайский край рекордной цифрой урожая: двадцать семь центнеров. Хлебным выдался и семьдесят пятый. Выйдя на первое место в крае по урожайности зерновых, колхоз «Восход» в последующие годы или сохранял его за собой, или немного уступал соседу — колхозу «Россия».

Ордена Ленина колхозу «Россия» вроде как и по штату положено быть впереди, настолько крепко, отлажено, прославлено это хозяйство. И если «Восход» высовывался хотя бы на центнер с гектара по урожайности, то председатель «России» Герой Социалистического Труда Илья Шумаков принимал свои меры.

Антон Афанасьев тоже не ждал у моря погоды, не тот человек...

Про Илью Яковлевича Шумакова еще говорят, что

он самородок. Про Антона Григорьевича такого не говорят, он десятью годами моложе, — председатель иной генерации, нежели Шумаков.

Урожай 1979 года сулил «Восходу» большую победу. Антон Григорьевич Афанасьев уже ощущал ее подъемную силу. Всего оставалось день-полтора работы: обмолотить валки «харьковской-46» на трехстах гектарах. Именно тут-то и выпал снег и ударил мороз. Поскольку дело было не на Кубани, а в предгорном Алтае, триста гектаров необмолоченного хлеба ушло под снег. Можно бы обмолотить остекленевшие от мороза колосья, но председатель «Восхода» решительно воспротивился этому: «Я так не могу, чтобы над хлебом издеваться...»

На перезимовавшее под снегом хлебное поле весной Афанасьев послал комбайны. Намолотил чуть не по двадцать центнеров на гектаре. Результат этот нигде не записан, никем не учтен. Взятое по весне зерно пошло на фураж, оно хорошо сохранилось под снегом в морозную зиму, его скормили скотине, уткам на недавно заведенной — заботами председателя — утиной ферме.

В начале зимы, то есть в конце того злополучного для восходовцев года, Антон Григорьевич Афанасьев лечился на минеральных водах, по дороге домой заехал ко мне в Ленинград. Я повел его первым делом в Большой драматический театр посмотреть «Энергичных людей» Шукшина. Всем нам Василий Макарович Шукшин доводился любезным сердцу соотечественником, а Антону Григорьевичу еще и земляком.

Спектакль алтайскому председателю чрезвычайно понравился. И мне тоже, хоть я его в третий раз смотрел. За лишним билетиком стали к нам обращаться, едва мы пересекли Невский. И актеры в этом спектакле играли — дай бог! Назову только Лебедева с Лавровым... И главное, было хорошим актерам в этой пьесе как-то просторно. Не то что, бывает, тянут резину от реплики до реплики... Тут можно было артистам вступить в сотворчество с драматургом и режиссером, то есть пожить на сцене той самой жизнью, которая рядом, за театральным порогом, да и в нас самих тоже, артистах и неартистах. Разве нас не толкали локтями «энергичные люди», разве не наступали на любимые наши мозоли, разве нам не хочется свести с ними счеты — хотя бы

в театре? Можно было играть по пьесе Шукшина водевиль, или комедию нравов, или социально-психологическую драму. Смешное соседствовало с печальным, как это бывает в настоящем искусстве. Да и в жизни.

Когда мы шли по Фонтанке домой, дыша мокрым воздухом, хлюпая по снежной каше, Антон Григорьевич вдруг присел на каменную тумбу — на таких тумбах, я помню, сиживали в пятидесятые годы питерские дворничихи в тулупах... «Не могу идти. Ноги отнимаются». Пришлось ловить машину...

3

Весною 1980 года над головою председателя «Восхода» собирались тучи и на душе его кошки скребли. Районные власти нервничали по поводу восходовских дел. И ходил Афанасьев, приволакивая правую ногу...

В общем, не было мира под оливами. И оливы на колыванских горных грядах не росли, а дыбились облизанные ветрами, оглаженные лбы и бабы — не то что сады камней, а целые гранитные или диабазовые городища. Росли осины, березы, тополя, кусты шиповника, таволги, калины. На обращенных к югу крутых непаханых склонах в июне зацветала клубника. Синеющие вдали хребты приманивали к себе таежной мощью, красотой и тайной...

Плохо начинался сельскохозяйственный год для Антона Афанасьева, так плохо, что хуже и не бывало за все двадцать лет председательства. Казалось ему в иные минуты, что сил больше нет тянуть эту лямку. Все вложено в землю: здоровье, жизнь... Кто бывал в такие минуты рядом с председателем «Восхода», мог услышать произносимые им монологи, как крики души: «Машин бы у меня было столько, сколько иным дают, и я бы хлеб не пустил под снег. А то... Такую махину хлеба выращиваем, так помогите его убрать. Ведь хлеб-то — наш общий, народный, государственный!»

В памяти восходовского председателя хранится и такой случай. Однажды он мне поведал его. Пришла раз в кабинет к Афанасьеву старая скотница Пелагея, извечная безотказная труженица, и говорит: «Лежала я, Антон

Григорьевич, нынче в больнице, в Барановке (отделение Змеиногорской районной больницы находится в селе Барановка, на усадьбе колхоза «Россия»), давление у меня, гипертония... Как-то, день погожий, я на лавочке сижу, на солнышке греюсь. Мимо, вижу, идет Илья Яковлевич Шумаков. Я поднимаюсь, говорю: «Здравствуйте, Илья Яковлевич». Он мне: «Здравствуйте». — «Ну как, говорю, поди уже отсеялись?» — «Отсеялись», — он мне говорит. «Так это вы, говорю, и уборку закончите раньше всех». — «Раньше всех, говорит, закончим. А как же иначе? Это некоторые, говорит, по весне хлеб молотят...» Прямо так и сказал. «А закончите первыми, — я ему говорю, — другим-то помогать будете, которые не управятся, как вы? Вон у вас комбайнов да машин сколько». — «Будем помогать, — он говорит, — тем, кто того заслужил». — «А «Восходу», — я говорю, — помогать будете?» — «Нет. «Восходу» не будем». И пошел».

Закончив этот рассказ, Антон Григорьевич посмеивался: «Вот какой у меня сосед, лучший друг».

Смеется он хорошо, заразительно. Зубы у него пока что как репа. К слову надо сказать, что вообще природа наделила Антона Григорьевича поистине сибирской силой и статью. Мужик он рослый: косая сажень в плечах, держится по-военному, прямо (служил семь лет в армии, успел в Маньчжурии повоевать). Волосы у него густые, темные с сединой, кудрявые. Глаза такого цвета, как вода в Колыванском озере, — зеленоватые, с маленьким зрачком, остро сфокусированным взглядом, дальнозоркие. Глаза степняка. Родом он из степной предгорной алтайской деревни Варшава (должно быть, ссыльный поляк основал), до армии жил в Саввушке, на берегу Колыванского озера. Отца его, колхозного вожака, не стало в тридцать седьмом году. Детей у матери было четверо. Братишка и двое сестренки — младше Антона. Антон остался кормильцем в семье. Потом ушел в армию. Вернулся домой, работал в геологоразведке. Сельскохозяйственные кампании — сев, уборку — проводил в колхозах в должности уполномоченного райкома. Направили в сельхозтехникум, закончил его с дипломом агронома. Работал парторгом в колхозе. И — председателем.

Слабость в ногах у него от профессиональной шоферской болезни — хондроза: в страдное время Афа-

насьев накручивает за день, сидя за баранкой «уазика» (после большого хлеба семьдесят второго года дали «Волгу»), до двухсот километров и больше, как столичный шофер такси. На машине он ездит как на коне, будто не он машину ведет, а она сама знает каждую рытвину, камень, буерак. Ездит не только по дорогам, но и по стерне, по кукурузному жнивью, переезжает вброд ручьи и Корболиху, переваливает через каменистые хребтины. Его личный шофер — он называет его «мой Петька» — в страдную пору или пашет, или сеет, или убирает сахарную свеклу на гедеэровском, белого цвета комбайне.

В полях колхоза «Восход» всегда дует ветер (хорошо, если северный). За двадцать лет шоферской работы в предгорной продутой степи едва ли какой водитель уберется от хондроза — радикулита. Не уберется и председатель «Восхода», всласть наездившийся по этим полям. Но болезнь у него зависит не столько от погоды и наезженного километража, сколько от состояния дел на полях, то есть от хлеба. В годы большого хлеба, если хватает техники для уборки, выстаивает погода и цифра урожайности получается круглее, чем в «России», Антон Григорьевич на ноги и поясницу не жалуется.

4

Председатель шел по улице Карамышева, из конторы в гараж, в десятом часу утра — единственный прохожий в опустевшем, примолкшем, будто зачарованном большом селе: крестьяне все на уборке — в полях, на токах.

Селу становилось тесновато в расселине между сопок, оно разбрелось по распадкам: все улицы в Карамышеве кривы, горбаты. Попробуй его собери, перестрой, подчини какому-нибудь генплану. Говорят, что заложено было село в восемнадцатом веке, в демидовские времена, рудознатцем Карамышевым. Ставя первую избу будущего поселения, первостроитель руководствовался не удобством ландшафта, а близостью к драгоценному минералу, звон коего доносился в те времена до самых столиц Российской империи...

К зданию новой колхозной конторы примыкал про-

странный пустырь, уже вспаханный, пока что огороженный штакетником, — выкованные в колхозных мастерских чугунные решетки для будущей ограды лежали тут же. «Уберемся — доделаем... Саженцы заказали в питомнике в Барнауле. Посадим парк, чтобы память осталась о нас...» — так председатель «Восхода» говорил гостям и мне в их числе.

Левое крыло будущей парковой площади — если стать спиною к конторе — являло собою торговый ряд: двухэтажное длинное здание, приподнятое на бетонной платформе так, что перед входом в магазины, в столовую остался прямоугольник террасы, залитой асфальтом; с нее по широким ступеням можно сойти в будущий парк. На подворье торгового центра карамышевские крестьяне, сделав покупки, могут еще постоять, посудачить. По утрам тут собирается большое и разномасное общество: приезжие шоферы, строители из закавказских республик, девчушки из Рубцовского торгового техникума. Завтракают. Едят бифштексы с гречневой кашей, пьют свое карамышевское, кипяченое, с пленкой молоко. Обязательно находится эдакий ферт, балагур, столичный, из Барнаула, водитель.

— Мне цыпленка с табаком. И кефиру холодненького.

Мария Никаноровна, завстоловой, глядит на гостя с материнской доброй улыбкой.

— Холодненького выпьешь — горло застудишь, ангину схватишь.

Я живу на втором этаже, в гостинице колхоза «Восход», в одноместном номере с удобствами, с ванной (горячей воды пока нет), в окно мне видна и слышна вся центральная площадь Карамышева. По ночам сюда для чего-то являются кони, гулко бьют копытами в асфальт. Ближе к утру по панели вдоль торгового ряда совершают свой променад, машут крыльями, что есть мочи гагакают гуси.

Четыре года назад тут было пустое место, околица Карамышева. Мы тут стояли с Антоном Григорьевичем, и он, как в свое время Петр Первый, был дум великих полн, делился думами с гостем, поводя рукой в сторону свежотрытых траншей, бетонных плит и труб, говорил так:

— Это наша великая стройка. Наш БАМ. Что такое

в наших условиях три нитки труб? Или одна бетонная плита?.. Откровенно сказать, мучаемся. Иной раз кажется — бросил бы все... А потом поглядишь, что-то делается, сдвинулось с места. И азарт появляется — впрягаешься, тянешь... Такова диалектика! Сначала надо накопить материальные средства, опыта набраться. Потом когда-нибудь качественный скачок произойдет... Вон там мы строим торговый центр, столовую, гостиницу...

Каменный Дом культуры был уже и тогда — чуть выше по склону начинающегося тут увала; двенадцати-квартирных кирпичных коробок, теперь отчасти замкнувших пространство площади, не начинали и строить. Событием того года явилось открытие новой средней школы — на другом конце села в тополевой роще. Помню, первого сентября к девяти часам утра все не занятое на уборке население Карамышева собралось на только что залитом асфальтом дворе у входа в новехонькую, вчера оштукатуренную школу. Ребят построили на линейку по росту, лесенкой. В первом ряду первоклашки. Играл колхозный оркестр. Афанасьев вручил директору школы ключ. Были сказаны речи. Старая-старая карамышевская бабка в плюшевой черной жакетке утирала слезы, причитала: «Господи, красота-то какая. Ребятам-то теперь благодать...»

Прозвенел звонок, дети посыпали в свою новую школу. Мужчины разъехались по степи.

За четыре года к школе привыкли, рядом с нею возводят, еще под крышу не подвели, детский сад, такого же роста, как школа.

5

Афанасьев едва обогнул угол конторы, как к нему устремились двое в кепках с длинными козырьками, с аппаратурой — из кинохроники, из Москвы.

— Антон Григорьевич, нам сказали в горкоме, чтобы мы в «Россию» ехали. Мы приехали, а там снимать нечего: уже все убрали. Нам нужен кадр, чтобы передовому комбайнеру прямо в поле бы председатель выпел вручил, и хорошо бы ребятишки с цветами... И еще бы колонну машин с хлебом нового урожая у элеватора —

красный обоз. И плакат: «Алтайский хлеб — Родине!»

Председатель повел кинохронику за собой по такой широкой, какие бывают только в столицах больших государств и в сибирских степных селах, улице пустого в уборочную страду Карамышева. И я там был, ко мне уже привыкли в колхозе «Восход», третью уборочную выхаживаю рядом с председателем, как его удлинённая тень.

Председатель отпер бокс гаража, выкатил хорошо мне знакомую, ту самую, что и четыре года назад, коричневую «Волгу». Сели, поехали: председатель колхоза и три представителя массовых средств информации. Остановились в промзоне Карамышева: рядом с мастерскими — можно их даже назвать и заводом по ремонту комбайнов — громоздились длинношеие механизмы для производства травяной муки в гранулах. Установка бездействовала, в недрах ее ковырялся парень, по виду молодой специалист.

— Ну, как обживаетесь? — спросил его Афанасьев.

— Да ничего... Только мебели никакой нету. В Змеиногорске можно кое-что купить, а привезти не на чем...

Молодому специалисту хотелось использовать встречу с председателем для собственной выгоды; он малость стеснялся, понимая пустячность своей нужды с точки зрения общих задач. Но ведь и без мебели как начать строительство собственной жизни?..

— Может быть, это не главное, — сказал председатель, глядя поверх головы просителя, куда-то в степь, улавливая кожей лица направление ветра, о чем-то думая — главном. — Вот уберемся, тогда...

Карамышево скрылось из глаз. Спустились в лог. Здесь примостилась у высохшей речки маленькая деревенька Абрамовка. Маленькая, но не брошенная. Сквозь заросли тальника как будто даже белели новые стены.

Стоило мне подумать об участии этой «неперспективной», но живой — что в наши дни редкость — деревни, как Афанасьев прочел мою мысль, сказал:

— Мы никого не торопим переселяться на центральную усадьбу. Пока живется, пусть живут. Даже помогаем немножко постройиться — вот в Абрамовке, в Новокузнецовке, в Давыдовке, Березовке, Воронеже. Пере-

селить-то бы можно... да не хватит на всех покосов, негде скот пасти на центральной усадьбе, нет земли под огороды. А если крестьянин полезет в государственный карман за молоком, за мясом, за картошкой, за овощами — это неладно будет. Мы так понимаем. Ребятишки из наших маленьких деревень зимой живут в интернате при школе, бесплатно. На воскресенье мы их отвозим домой...

Он ехал быстро, дорога знакома ему, как половица в собственном доме. И все же где-то на ровном месте под колесо попала железяка (при исследовании окажется, что плужный лемех), стрельнула в поддон, да так, что полетела труба глушителя.

Антон Григорьевич улыбнулся:

— Поделом тебе, председатель. План по металлолому недовыполнил. Планы надо выполнять.

Пришлось вернуться. Поставили «Волгу» на место. Пересели в «уазик». При этом Афанасьев проговорил:

— Вот бы под нынешний урожай, если — тьфу, тьфу, тьфу — погода пять дней простоит... Рассчитаемся с долгами, отряхнем грехи наши тяжкие, хлебушко сверх плана сдадим — и под это получить бы новую «Волгу».

В «уазике» тоже шкварчала рация. Афанасьев взял трубку:

— Десятый, десятый, десятый. Я первый. Владимир Васильевич, как слышишь меня? Это хорошо, что хорошо слышишь... Значит, так... Найдешь в Воронеже трех девчушек-школьниц. В форме, с галстуками, чтобы все чин по чину. Ага! И чтобы девчушки симпатичные. Привезешь их к комбайну Ивана Косихина. И с цветами. Цветы у вас найдутся? Это хорошо, что найдутся. Уборку закончим, цветов много потребуется. В кино снимать будут. Ага!

— И выпел, — напомнила кинохроника.

— И выпел... Найдется? Ну, давай.

— Одиннадцатый, одиннадцатый, одиннадцатый. — Афанасьев переменил тембр голоса. — Я первый. Иван Михайлович, машины в «Сибири» есть? Ну, что значит «более или менее»? — Председатель взвинтил свой голос, не до предела, до средних оборотов. — Я спрашиваю, хлеб от комбайнов возить хватает машин, задержки нет?.. Одну бы не мешало... Ну хорошо. Работайте... «Сибирь» — это у нас так самый дальний стан

называется, в Березовском отделении, — объяснил Афанасьев представителям массовых средств информации.

Разговаривая, скорость он сбавил. Мимо пропылил пустой грузовик. Афанасьев догнал его, поравнялся, сделал знак постоять.

— В «Сибирь» ехай, там комбайны с полными бункерами стоят, — не то приказал, не то посоветовал он.

Почувяв эту нетвердость в тоне, водитель возразил:

— Так, Антон Григорьевич, в «Сибирь» ехать — какие прогоны порожняком. Я вчера вечером ездил, там у комбайна шнек полетел, даром прокуковали.

Афанасьев задумался на мгновение, поглядел куда-то в дальнюю, одному ему видимую даль. Сказал с печалью, как будто родного сына послал в ночное: и жалко, а надо:

— Бежи, Коля...

Коля понял, что, правда, нужно бежать, сразу стал поворачивать.

Еще немного проехав, Афанасьев вдруг закипел:

— Что делают, что делают... Это ж надо... Ну, я не знаю, как можно...

Один валок — первый валок жатвы — был положен за край поля, на бровку канавы.

— Это же комбайнеру при подборке мучиться. Дебил какой-то жал... Наверное, из прибывших, наши себе такого не позволяют.

Афанасьев прибавил звуку в приемнике. Пели что-то цыганское. Мир вокруг был пшеничного цвета, ржаного цвета, соломенного цвета, ярко-зеленого цвета озими. Синело небо. На заднем сиденье кинохроника спорила о том, рожь или ячмень вон там у дороги...

— Пятый, пятый, пятый. — Вдруг что-то обеспокоило председателя. Пятый не отвечал.

— Центральная! Я первый!

— Слушаю, Антон Григорьевич.

Голос у центральной девический, молодой, но есть в нем примесь какого-то металла, необходимого радиоголосу в ранге центральной.

— Зоя, свяжись с пятым, передай ему — воронежские телята на озимых. Пастуха потеряли. Как поняла?

— Вас поняла, Антон Григорьевич. Передать пятому, что воронежские телята на озимых.

— Им-то благодать, — сказал Афанасьев, положив

трубку на место, — а мы на будущий год десятка центнеров хлеба недосчитаемся.

Он опять перестроил голос, стал говорить о диспетчере Зое:

— ...Ну вот как будто призвание у нее диспетчером быть... Нынче летом приехала с мужем, он после техникума, электромеханик, она без специальности... А у нас некому в диспетчерской... Я ее направил, ну, думал, девчонка, растеряется... А выбора нет. В первый день малость подрастерялась. Она и в поле ни разу не побывала... Из России откуда-то приехала. А потом, гляжу, и голос у нее изменился, что-то такое появилось... Диспетчер — это не просто соединить, разъединить, надо же вникнуть, и сводки собрать, кому-то внушение сделать. И к ней с вопросами обращаются... И она толково на все ответит, ну, как будто для этой работы создана. А из наших кто на подмену ей сядет — и мучаешься с ними; ни бе, ни ме, ни кукареку...

Я сделал себе в памяти заметку: «диспетчер Зоя».

Афанасьев свернул с дороги, напрямик покатил по стерне к пшеничному сжатому полю с шестью комбайнами, подбирающими валки, на ходу пристраивающимися к ним машинами, фургоном-техничкой со сварочным аппаратом на прицепе. Даже и трактор К-700 с двумя бортовыми тележками стоял у края этого поля. И еще — пунцовая, собственная, но без поблажки впряженная в общую тягу «Нива» управляющего отделением Белоусова. И около «Нивы» три девчушки, в красных галстуках, с бантами, в белых передниках, с букетами гладиолусов в руках... Такие пригожие девчушки, очень серьезные.

Кинохроника проявила осведомленность в сельском хозяйстве, глубокомысленно произнесла: «Ипатовский метод...»

Антон Григорьевич подзавелся с пол-оборота, хотя для длинного монолога не оставалось пространства, пути. Понимая это, притормозил.

— ...Ипатовский метод. Да мы и сами знали, еще до ипатовского метода, что комплексом лучше убирать. Возили нас в Ставрополье, показывали. У них по асфальту от комбайна до элеватора... Оборачиваемость машин другая. И кадров механизаторов у нас таких нет, чтобы посменно работать, по вахтовому принципу. И ночи у них сухие, теплые, комбайнеры в майках рабо-

тают. Они в июле жать начинают, а у нас и октябрь — уборочный месяц. Если не снег, не дождь, то росы у нас обильные. За ночь валки отволгнут. Не дать просохнуть — значит, зерно не вымолотится. Конечно, мы за ипатовский метод. Нам надо еще до него дорасти. Горячку напорешь ради метода, хлеба не доберешь. Это как-то не по-крестьянски...

Все, приехали. На комбайне Ивана Косихина сверху флажок на древке. На кабине два ряда звезд: восемь звезд прошлогодних, семь нынешних. Это значит — в прошлом году было намолочено восемь тысяч центнеров, нынче пока семь (еще пять дней молотить). Остановили Ивана Косихина, слез он на землю — коломенская верста, чумазый, светлоглазый, в кепке, полон рот металлических зубов. И четыре года назад он проворнее всех молотил, и такой же был закопченный. Следом за комбайнером спрыгнул наземь его подручный, брат Ивана Александр, парнишка шестнадцати лет, учащийся сельского ПТУ, восходовский кадр.

Афанасьев нам объяснил, что вон тот, стоящий за кучей соломы трактор К-700 с двумя тележками — это Ивана трактор. Отдавать кому-то другому такую машину, в чужие руки, пока Иван на комбайне, было бы не по-хозяйски. Если машины не успевают возить хлеб из-под косихинского комбайна, Иван садится за руль трактора, подгоняет его к комбайну... Его братан, не прекращая молотьбу, опорожняет бункер сначала в одну тележку, потом в другую. После смены Косихин сам же и доставляет свой хлебный поезд на ток.

Кончится жатва, Иван Косихин тут же и пересядет на свой К-700 и примется пахать зябь.

Кинохроника расставила всех по местам: девчушек с цветами, председателя колхоза с выпелом, проглотившего аршин комбайнера, управляющего отделением — для фона. Пострекотала камера — и все, и поехали.

6

Афанасьев гнал машину. И думал о длинноволосых, годящихся ему в младшие сыновья парнях из кинохроники: «Доверчивые ребята».

И горячо вдруг стало в груди от нежности к своему старшему, Виктору. Сегодня вечером обещался приехать, с женой и дочками-крохотулями Ирой и Таней.

Двух сыновей они подняли с Полиной, вырастили в мужиков, но любовь к сыновьям другая была, чем вот эта, дедовская нежность до слез к таким теплым, беспомощным, ласковым, утешным — внучаткам.

«Как вы добиваетесь высокой урожайности?» — спрашивали у председателя колхоза «Восход» приезжие люди. Он отвечал: вот так-то и так-то, такие-то и такие агромероприятия, сорта, сроки сева. Но вдруг пришла ему в голову мысль, что эти ответы неполны, чего-то в них не хватает подспудного, одному ему, Антону, ведомого. Ответить бы можно так: «Не только хлеб я выращивал всю жизнь, но еще вырастил сыновей, и старший сын Виктор посвятил себя тому самому хлебу, которому служит батька. И в свои двадцать шесть стал главным инженером совхоза «25 лет Октября». И первые пятнадцать жаток, позарез нужные «Восходу», он, Виктор, прислал. И если я тогда сорвался, кричал на агронома Шишкина, решившего завернуть эти жатки, то говорило во мне не только председательское, но и отцовское...»

7

В восемнадцать часов в кабинете председателя ежедневно планерка. Собирается до трех десятков ответственных лиц: главный инженер, главный агроном, главный зоотехник, главный строитель, главный экономист, главный бухгалтер, секретарь парткома (в прежние мои приезды я знал Николая Александровича директором школы), заместитель председателя — голубоглазый, очень спокойный, хозяйственный Иван Иванович (в уборку 1976 года он подбирал валки на комбайне «Нива», еще раньше пахал на тракторе, в середине пятидесятых поднимал целину, а начинал пахать — на быках, в своей родной деревне Абрамовке). Присутствуют на планерке начальники мастерских, автоколонн, снабженцы, управляющие отделениями (этих еще собирают отдельно, по средам, в одиннадцать часов) — все, от кого зависит завтрашний день, его стратегия, тактика; впрочем, этих слов на планерке не произносят. Докладывают, что сделано сегодня, что осталось на завтра, просят, требуют, жалуются, обещают, прощупывают, зондируют почву, берут за горло, спорят, шутят, принимают решения. Одна голова хорошо, тридцать и того лучше. Последнее слово за председателем, за ним и пер-

вое слово, и право встрять посередке доклада. Дел на завтра великое множество, и ни одно нельзя оставить на послезавтра.

Идет жатва зерновых, и убирают сахарную свеклу. Обрезают клубни деревенские бабки-пенсионерки и школьники. Надо школьников научить этому крестьянскому делу, не все умеют. Завтра выехать с ними в поле и провести инструктаж. Прикидывают, кто может поехать. И тут же всплывает проблема свекольной ботвы. Пока ботва не сопрела, ее хорошо бы скормить коровам с телятами (телят ласково называют телятишками). Да избави бог одной ботвой накормить, у телятишек может случиться понос. Кормить надо свекольной ботвой в смеси с кукурузой. Зоотехник вроде похвастался таким научным знанием дела. И тотчас председательская, с перцем, реплика:

— Ты что, Александр Семенович, хочешь, чтобы тебе медаль «За отвагу» дали?

— Да нет, пусть кто-нибудь возьмет другой, — обиделся зоотехник.

— Ну, ехай, пожалуйста, разбирайся.

Пашут зябь. Производительность пока низкая, все внимание отдано жатве. Забыли отметить лучших пахарей флажками.

— Зябь — это главное, — напомнил председатель. — Уборки осталось на три-четыре дня не считая сегодняшнего. Сегодня уже нельзя терпеть такую расхоложенность на вспашке зяби.

Что-то неладно с заправкой, вечером на заправочной было столпотворение. К ведающему заправкой Владимиру Ивановичу устремлены непрощающие взоры тех, кому надо заправить машины. Главный заправщик не принимает укоров, огрызается: вовремя не подали цистерну в Третьяки.

Председатель слушает, набычивается, собирает кожу в морщины у глаз.

— Дебаты потом, Владимир Иванович. Речь идет о трех-четырех днях. Потом соберемся с тобой, повечеруем и обсудим проблемы. А сейчас не делай кучу малу.

Убирают, пашут — и строят. Подводят под крышу детский сад, а шифера нет. За шифером надо ехать в Топчиху. А как поедешь? Порожнюю машину ГАИ не пропустит, весь транспорт занят на вывозке хлеба.

— Ты, Николай Дмитриевич, нагрузи машину овсом

и кати в Топчиху. Там зерно сдашь, а обратно шифер.

Председатель внушает, укоряет, советует.

Планируют завтрашний день, заглядывают на неделю вперед. На какое время назначить праздник урожая? Дать людям сразу поспражновать, как только слезут с комбайнов? Одного дня мало для настоящего праздника. И двух дней мало. А кто будет зябь пахать? Призадумались. Это дело такое... Ожесточим людей. Все вместе, без нажима одной чьей-то воли решили не торопиться с праздником урожая, переделать наиглавнейшие дела, а после уж праздник так праздник!

И еще говорят об огне. Вчера в совхозе «Северном» сгорел на поле комбайн. Вспыхнул как спичка... В «Красной гвардии» подожгли солому, огонь перекинулся на хлебное поле... Есть еще, есть и в «Восходе» любители пала: кажется, самый короткий путь от жатвы до вспашки зяби; сжег — и езжай, и паши...

— Спички не будет! — предупреждает Афанасьев. — Сейчас не удержать огня, такой ветер. Каждое поле в срочном порядке опахать! Восемь часов дается на это дело. — Он взглянул на часы. — Больше нет у нас ни минуты.

— Остистость большая, — пожаловался березовский управляющий, — забивает решета. Зерно идет с ходом.

— Ты меня извини, это неряшество, — наморщивает кожу у глаз председатель. — Каждые два часа надо жалюзи продувать.

Дошел черед до главного агронома. Выступать первой или второй Мария Савельевна не любит. Позывной, для радиоперекличек, номер у нее третий: первый — председатель, второй — главный инженер, третий — главный агроном. Голос у нее не охрипший в перебранках с механизаторами, не потускневший на совещаниях и планерках, не прокуренный, какой-то льющийся, вольный, степной...

— Дело к концу... Производительность труда падает... На токах тысячи тонн хлеба. Случись дождик — и все поплывет. В ночную смену на токах практически мало что делают. Вот на абрамовском току...

В уборку Мария Савельевна со своим шофером Игорем накручивает на «уазике» с рацией поболее председателя. Чего у нее нет, так это высшего агрономического образования, только диплом Славгородского сельхозтехникума да двадцать четыре года стажа в «Восходе».

В агрономской судьбе Марии Савельевны бывали такие годы, когда ее, небольшого росточка, с покладистым и одновременно не уступающим ни пяди характером, оттесняли более молодые, образованные, с идеями и хорошо подвешенными языками. Мария Савельевна оказывалась «неконкурентноспособной», ее переводили на должность участкового агронома.

В самом хлебном 1975 году главным агрономом в «Восходе» был Владимир Федорович Резников. «Восход» вышел тогда на первое место в крае по урожайности. К восходовскому успеху еще не привыкли, искали его причину и находили: в таланте молодого главного агронома. Похоже было, что и сам Володя Резников уверовал именно в эту первопричину большого хлеба на полях «Восхода». Я помню, Резников был в ту пору на взлете, окрыленность сквозила в его облике и речах.

Весомая по любым меркам урожайность твердых и сильных пшениц в предгорной алтайской степи сыграла в судьбе молодого способного агронома роль катапультирующего устройства. Владимир Федорович Резников как-то чересчур скоро пошел на повышение. В 1976 году я застал его на посту первого секретаря Змеиногорского горкома КПСС.

Афанасьев по-хозяйски решил, что от добра добра не ищут — и отдал приказ о возвращении на должность главного агронома Марии Савельевны Тарасовой.

Резников пробыл первым в Змеиногорске недолго, его послали учиться.

...Афанасьев выслушал доклад главного агронома, обратился к ответственному за абрамовский ток лицу:

— Юрий Николаевич, тебе доверие страшное... Договаривать он не стал, и так всем понятно.

Юрий Николаевич поднялся.

— Опрокидыватель сломался. «Зилок» на него въехал по завязку нагруженный... Сталь по шву лопнула.

— Ну и какое вы приняли решение?

— Заварили.

— Это хорошо, что заварили. Давайте говорить о том, что завтра будем варить.

— Мехтока проектировали, когда машин такой грузоподъемности и в природе не существовало, — заметил главный инженер.

Юрий Николаевич не садится, что-то надо ему еще сказать.

— Шоферы отказываются поздно работать, Антон Григорьевич. Им ночью помыться негде. Вот молодой такой толстый парень, с барнаульской колонны, вчера возникал...

— Баня четыре дня в неделю работает до часу ночи, — заметил Иван Иванович.

Юрий Николаевич сел.

Афанасьев глядит на часы. Планерка начинается в восемнадцать, кончается в девятнадцать. Пересиживать тут не принято, особенно в уборочную страду.

— И значит, такая просьба ко всем, — подводит черту председатель, — в первую очередь к экономистам, бухгалтерам. Без задержки рассчитать приехавших к нам на помощь механизаторов. Чтобы никаких обид не было. И — давайте поработаем. Осталось четыре дня. Нам надо одну победу!

8

После планерки Афанасьев некоторое время проводит в одиночестве, просто сидит за столом, никуда не звонит, никого не вызывает. Может быть, он ни о чем сейчас и не думает и голова у него гудит от перегрузки. Он подвигает к себе лежащую на столе «Алтайскую правду» от 12 сентября... В ней статья Ильи Шумакова «Наш подарок съезду». Афанасьев знает этот победный рапорт соседа чуть ли не наизусть. И он также знает, что в каждой строчке рапорта — укор ему, опять затянувшему уборку. И вспоминает всеми услышанные слова соседа: «Мы убираем вовремя, не как некоторые весной молотят...» Он читает статью Шумакова, и предчувствие победы возгорается в нем...

«10 августа наш колхоз продал государству первую партию зерна нового урожая. Красный обоз из 20 машин доставил на Третьяковский элеватор тысячу центнеров хлеба. Сегодня мы рапортуем об окончании уборки... Уборка проведена организовано, качественно, в оптимальные сроки... Раскачки не было. К напряженной работе с первых часов страды люди были подготовлены заранее...

Главным стимулом к ударной работе для коллектива был высокий урожай, выращенный на полях колхоза. По предварительным подсчетам мы должны были собрать с каждого гектара по 25 центнеров. Но в итоге

показатель оказался еще выше — 29 центнеров. Люди сделали все возможное, чтобы не потерять ни колоска, ни зернышка.

Работа велась ипатовским методом... Впервые нынче мы применили вахтовый метод организации уборочных работ. Третья часть комбайнового парка была укомплектована двумя механизаторами. Они работали посменно. Машины использовались с максимальной эффективностью».

Афанасьев мельком подумал, что точно так же, теми же словами можно будет рапортовать и ему о победе «Восхода» над «Россией». («Нам надо одну победу!») Только бы продержался еще дня четыре северный ветер.

«...Конечно, при недостатке кадров переход на вахтовый метод связан с большими трудностями. Но все усилия по подготовке механизаторского резерва с лихвой окупаются...

Внедряя это новшество, мы решаем и еще одну важную задачу — воспитательную. Подсменными к опытным механизаторам ставили молодежь: выпускников школы, десятиклассников, ребят, только что вернувшихся из армии. В одну смену с ними назначали одного-двух старших товарищей...»

Афанасьев включил рацию. Обостренное чутье ко всему происходящему на полях колхоза — как хочешь его назови: телепатией или жизненным опытом — подсказывало ему: что-то случилось.

— Первый, первый, первый, — шкворчала, звала, тревожилась восходовская радиоволна.

— Я первый, я первый. Слушаю, Мария Савельевна. Давно ли она вот тут сидела, а сейчас на самом краю слышимости...

— Беда, Антон Григорьевич. Мальчишки, двое, из СПТУ, на комбайнах они штурвальными работали, на Новокузнецовском участке... Их комбайнеры послали валки исправить, ветром завило, а они молодые еще, поиграть захотелось. Под валок-то забрались, как мыши... В это время машина прямо полем к комбайну, на полной скорости, да прямо на них...

Антон Григорьевич вдруг почувствовал холод и какое-то покалывание в ногах.

— Ладно, что только краешком их задел, а то бы могло такое случиться, непоправимое...

— Живы? — спросил Афанасьев.

— Одному-то чуть руку помяло, а другому ногу переехало.

— Ну и что — переехало? С ногой-то что?

— Трудно пока сказать, Антон Григорьевич. Открытого перелома не видно, но и подняться не может, лежит парнишка.

— Парнишки чьи?

— Да наши, карамышевские.

— Ну и... какие приняли меры?

— Сантранспорт вызвали из Змеиногорска. Своя фельдшерица шину наложила. В ГАИ сообщили. Вот ждем.

— Окупаются с лихвой... — для чего-то произнес Афанасьев фразу из статьи Шумакова в «Алтайской правде».

— Что вы сказали, Антон Григорьевич?

— Вам можно и не ждать, Мария Савельевна. Пусть начальник участка разбирается. Его в угол поставим за технику безопасности... Комбайны из «Северного» пришли? Из «Красной гвардии» завтра пятнадцать придут. Послезавтра из «Памяти Кирова» обещали. За ними глаз да глаз нужен. Они у себя бегом по хлебу бегают...

— Встретим, Антон Григорьевич. Я сама не своя, как узнала... На полметра бы шофер вправо взял...

— Ладно, — оборвал переживания главного агронома председатель. — Давайте поработаем, Мария Савельевна. Всех мальчишек, из СПТУ которые, школьников наших и присланных, с комбайнов немедленно снять! — Он нажал тумблер рации. — Центральная! Я первый! Зоя, передай на все участки, всем управляющим, агрономам: мальчишек с комбайнов снять, отправить по домам. В течение часа пусть мне доложат об исполнении. Как меня поняла?

— Вас поняла, Антон Григорьевич: мальчишек с комбайнов снять.

Он выключил рацию, но сам отключиться от этой тревоги, от этого немыслимого напряжения не мог, не было у него такого тумблера. Темпы, темпы, темпы уборки — он раздувал темпы, подгонял, ответственный за каждый пуд хлеба и за каждое человеческое существо, вовлеченное в конвейер машинной уборки. И чем больше машин работало на полях, чем сложнее становились машины, чем скорее бежал конвейер, тем тревожнее

становилось за мальчишек, им же, председателем, благословляемых на первую самостоятельную жатву, таких же шустрых, любопытных, непослушных, не выполняющих правил техники безопасности, каким был и сам Антон в свои отроческие годы. Но тогда хлеб от комбайнов возили в бестарках, на лошадях...

В прошлом году, в жатву, погиб карамышевский школьник, десятиклассник Юра. Он работал на мостике комбайна, подручным, и так не хотелось ему уходить с мостика... В последний день перед школой отец с матерью наказали Юре быть дома, поотдохнуть — наработался, хватит.

И до того показалось Юре тесно и скучно дома, и до того хорошо в степи, на комбайне, что не выдержала Юрина душа, не выполнил сын родительского наказа. Убежал в степь, хоть посмотреть вблизи на жатву...

Прилег в копну соломы, юношеский летучий сон смежил ему веки (две недели недосыпал, работал наравне со взрослыми)... Идущие полем к комбайнам машины не выбирают дороги, не объезжают соломенных куч...

И траурную линейку у входа в школу сентябрьским утром Антон Григорьевич Афанасьев носил в душе как рану. Много, много было на той линейке, и по дороге на кладбище, на сопку над Корболихой цветов, — не в честь победы на хлебном фронте, а в знак всеобщего, никаким хлебом не утоляемого горя.

Хлеб в том году был большой и погода стояла. Уезжая из Карамышева за несколько дней до окончания жатвы, я поздравлял Афанасьева с, казалось, неминуемой победой...

По дороге из Карамышева в Барнаул мы с моим барнаульским другом завернули в Краснощековский район, на Чарыш, и порыбачили там, половили хариуса на мушку. Хариус как раз скатывался с верховьев Чарыша на зимовку...

В холле барнаульской гостиницы «Центральная» я повстречался с Антоном Григорьевичем. Он разительно изменился за четыре дня, что мы не виделись с ним, опал с лица и сильно прихрамывал, и глаза выражали одну безысходную грусть. В Барнаул его вызвали не для вручения приза за высокую урожайность, а на административную комиссию крайсовпрофа, «на ковер», «снимать стружку» — за несоблюдение правил техники безопасности.

До захода солнца Афанасьев свозил еще нас с киношниками на близлежащую (или правильнее сказать «близстоящую»?) сопку.

— Мы так ее зовем — Мохнатая, — объяснил Антон Григорьевич, — а как она называется официально, не знаем.

Мохнатая потому, что, в отличие от лысых соседок, вся она кучерявилась зарослями тальника, таволги, боярышника, росли на ней и березки, и осинки, и тополя, и ранее всех зарозовевшие рябинки.

Чтобы попасть на сопку, надо было переехать по мосту Корболиху, выбраться на тракт, ведущий из Змеиногорска в Третьяки, свернуть на полевую дорогу, мимо шахтных строений — шахта действующая, добывает в некогда богатых здешних недрах какой-то редкий металл — прокатиться по высохшему до асфальтовой твердости грунту; по всей дороге утекшие с хлебозов струи зерна; на даровом этом корме пасутся свиньи, телята, гуси делают вид, что сейчас улетят, колготятся галочки стаи. Воробьи так далеко не залетают, им хватает дела на токах. На вольных хлебах отъелись куропатки и косачи. Уборочная страда — время пира для домашней и степной живности.

На прилегающем к сопке поле трактор К-700 с соломокопнителем складывал солому в скирды. Антон Григорьевич поехал помедленнее и рассказал нам новеллу о трактористе. При этом он то и дело снимал руки с баранки, сопровождая речь округлыми, плавными взмахами жестами.

— ...Володю Плешкова мы попросили на трактор сесть, больше некому. У него вообще к технике врожденный талант, ну, действительно, ас. Мы ему первому К-700 доверили, когда они к нам поступать стали. Механизаторы приходили смотреть, какие он чудеса вытворял. Мы его в двадцать три года к ордену Трудового Красного Знамени представили, и он получил. Ну вот, кажется, все удавалось парню. А он с детства любил лошадей. Он у нас один в колхозе журнал коневодства выписывает. Я думал, что это так, вроде хобби. Он же механизатор высшего класса, ас. Оказывается, нет... Он ко мне как-то заходит, Володя Плешков, говорит: «Я буду работать с лошадьми, хочу быть конюхом». Как

это понять? И заработок другой, и, как теперь говорят, престижность не та... Один из лучших механизаторов, в двадцать три года кавалер ордена Трудового Красного Знамени — и конюх... Я ему эти доводы привожу, а он, я вижу, уперся, внутреннее решение принял, сердце его лежит к лошадям. Как было мне поступать? Давить на него моим жизненным опытом и властью? Мне как председателю Плешков-механизатор нужнее, чем Плешков-конюх. А станешь давить, вдруг сломается? Назначили мы его конюхом, и в оплате он потерял, а счастливый. И детей к коням приваживает. На днях заходит ко мне, говорит: «Я в Барнауле на конном заводе договорился, они там списывают двух лошадей, а лошади породистые; они их согласны нам отдать. Отпустите, говорит, меня в Барнаул, я привезу этих коней на племя, заверяю вас, говорит, мы свою карамышевскую породу выведем, на весь край прославимся». И я поверил ему. «Вот, говорю, поработаешь на тракторе, заскирдуешь солому — и ехай». Завтра поедет.

В том самом месте, где рассказчик поставил точку в новелле, начался подъем в гору.

Вообще, езда Афанасьева на машине по сильно пересеченной местности достойна отдельного описания в журнале «За рулем». Что любит Антон Григорьевич, так это поехать по горкам. Если бы был такой вид спорта — автоальпинизм (мотоальпинизм уже есть), то, просидев рядом с водителем три уборочные, могу рекомендовать его кандидатом в сборную.

Воистину не хлебом единым жив этот, посвятивший себя хлебу насущному, такой разнообразный, отзывчивый на все, чем богата жизнь, человек. Однажды мы ехали с ним по относительно ровной — вверх, вниз — дороге и, пользуясь этой ровностью, заговорили о литературе. Из прочитанного в последнее время (до начала уборочной страды) ему запали в душу три книги: «Жозеф Фуше» Стефана Цвейга, «Слово и дело» Валентина Пикуля и «Петр Первый» Николая Павленко. Он говорил о героях этих книг не как о литературных отвлеченностях, а как о реально бытующих — не только в исторической дали, но даже и в наше время — феноменах человеческой природы. Жозеф Фуше у Цвейга... Ведь он был сподвижником Робеспьера, служил революции. И вдруг — шеф полиции в империи Наполеона. Значит, что же? Человек не только способен изменить своим

убеждениям, но вообще... повернуть оглобли на сто восемьдесят градусов? Антон Григорьевич призадумался, словно искал в памяти жизненную аналогию литературному образу. Волынский у Пикуля... Уж до того он был увертлив, удачлив. Не гнушался коварством, вероломством, лишь бы достичь поставленной цели. Друзья же его и предали. Как ни искусно вел игру, а проиграл... Опять Афанасьев подумал, что-то прикинул в уме. Петр Первый... Как он ухитрился такой страной управлять, будучи постоянно в разъездах? То он в Архангельске, то на Азовском море, то в Амстердаме, то в Париже, то в санях, то в возке, то на корабле... Антон Григорьевич улыбнулся. Видно, ему пришлась по душе моторность царя, легкость на подъем...

«Интересный он человек, Илья Яковлевич, начнет говорить, заслушаешься...». Такую фразу нынче обронил Антон Григорьевич, задумчиво глядя куда-то.

Мне кажется иногда, что наша дружба с Антоном Афанасьевым, мало-помалу обретенная в поездках вдвоем по полям и горам, на прогулках в предзимнюю слякоть по набережным Ленинграда, проистекала вот из этого, общего у нас, чисто духовного свойства — любопытства к феноменам человеческих характеров.

Летом — да и зимою тоже — сидя у телевизора, с каким-то сладким замиранием сердца наблюдая перипетии Олимпиады, я особенно остро переживал страсть и волю, драматическое самовыявление характеров вырвавшихся вперед бегунов, велосипедистов, лыжников — на сверхдальней дистанции, марафонцев...

Переживая Олимпиаду как нечто очень личное, я вдруг понял, что не поеду к Черному морю (уже были куплены путевки на всю семью). Не так-то просто было объявить семье, что ехать придется без меня, а я опять в Карамышево. По счастью, моя семья привыкла к убытиям отца и мужа в восточном направлении. Я-то знал, что сухой, вечно движимый ветром, настоящий на полях и пшенице воздух предгорий Алтая и доброе осенью солнце этих мест полезнее для меня, чем Кавказ. Не только для тела — целительней для души. И если я изменю в эту осень возлюбленным мною алтайским степям, и если не дохнет мне в лицо жаром решающих дней жатвы, то в зиму станет вдруг скучно и пусто...

Будто по следу слаломиста, только снизу вверх, мы въехали на Мохнатую сопку, увидели разом и Карамы-

шево, и Березовку, и Змеиногорск, и шахту с копром, и степь с четко прочерченными на небе сегментами многоярусных холмов, с мягким при вечернем освещении сочетанием чуть проявленных цветовых пятен, пастельных красок...

Кинохроника пострекотала камерой на все стороны. Стало тихо.

— Одно и то же делаешь каждый год, — сказал Антон Григорьевич, — двадцать лет подряд. Могло бы и надоесть. А весной отсеешь, поедешь в степь: тут пшеница зазеленела, там кукуруза, там травы — и все живое, будто в первый раз увидел. Это — как симфония...

И правда, будто слышалась музыка.

10

В гостинице колхоза «Восход» самое насущное жизненное благо — это электрический самовар. Спираль в нем настолько теплотворяща, что через пять минут самовар уже запекает, его песня греет душу. В Сибири без чаю не жизнь. И еще библиотека — тут же, на одной площадке с гостиницей. Давно уже я так всласть не читал всю подряд текущую периодику. Пью чай с бубликами и вареньем из мандариновых корок. От этих приятных занятий меня отрывает звонок.

— Поехали по полям, Александрыч.

— Ну, конечно, поехали, Григорыч.

Одиннадцатый час вечера. Темно. Куда мы едем? Рдеет глаз включенной рации. Играет музыка — Афанасьев всегда ездит с музыкой по полям. Днем я еще малость ориентируюсь, хотя как сориентируешься? Одно поле похоже на другое. Хаты и тополя в Новокузнецовке такие же, как в Воронеже и Березовке. Спустились к какой-то речке, щупко, без шума, без брызг, как звери входят в воду, въехали в речку, резво, отряхиваясь, выскочили из нее, взбежали на горку, остановились на опушке березняка.

До неба, кажется, можно было достать указкой, как на уроке астрономии, дотронуться до Большой Медведицы и до Маленькой; вот этот зернистый тракт — Млечный Путь, а вот это — Венера...

Однажды, помню, гуляя в такую вот полнозвездную ночь в степи под Карамышевом, я был зачарован и поражен не то земным, не то небесным знаменiem. На что

уж я, как и все мои современники, нагладелся на всякого рода сполохи и фейерверки, но такого не видывал въявь, только разве что на экране. Столп синеватого света вдруг вырос откуда-то из потемок земных, восстал до самого неба, как указующий перст. Свечение в нем было подвижным, живым, и сам он словно перемещался. Найти какое-либо объяснение увиденному в ту ночь я не смог. Утром Антон Григорьевич мне объяснил: запустили, должно быть, космический корабль: до Байконура от Карамышева двести километров по прямой. Подробности запуска и биографии космонавтов я узнал в тот день из газет.

...В аспидной черноте степной ночи полыхали огни, одни комбайновые звенья подбирали валки, другие пере-езжали с обмолоченных полей на ждущие обмолота.

Афанасьев глядел на ночную работу в степи. Что-то видел, невидимое мне. И опять мы куда-то мчались.

Въехали на освещенное фарами идущих комбайнов поле. Афанасьев вылез из машины, пошагал вслед грохочущему, пылящему агрегату, нагнулся, что-то поднял с земли. Обогнал комбайн, сделал знак остановиться. Комбайнер спустился наземь — мужчина в годах. Лицо его выражало известное каждому из нас душевное состояние: знает кошка, чье сало съела.

Из тьмы на свет вдруг явился агроном Николай Шишкин, молодой, худощавый, высокий, в брезентовой куртке и кирзовых сапогах, с полевой сумкой через плечо, с обметанными щетиной и пылью острыми скулами, насупленный, непрощающий.

— Что же ты, Петр Степанович, — выговаривал комбайнеру Афанасьев. — Хлеб ведь не наш с тобой, государственный... Над хлебом изгиляться, это уж я не знаю... В войну, вспомни, как колоски собирали...

— Я всем говорил: на первой повышенной! — рявкнул агроном Шишкин.

— Дак я... на второй пониженной... попробовал, — мучился комбайнер.

— ...Он у нас механиком в мастерских, — сказал Афанасьев, когда мы опять остались вдвоем в машине и зазвучала музыка. — Наш кадровый механизатор. Из Воронежа. Всем хочется побыстрее, побольше, а побыстрее не получается, хлеб не тот... Наших мы рублем воспитываем. За выслугу лет платим, механизатору начиная с трех лет, животноводу — с двух. Кто пятнад-

цать лет отработал, начисляем надбавку в размере двадцати пяти процентов годового заработка. Это же большие деньги. За нарушение трудовой дисциплины, за брак в работе снимаем надбавки. Вообще-то чаще всего потом на общем собрании амнистируем. Мужик встанет, покается, все знают его как облупленного, мужик-то свой, жалко... Ну, конечно, при общих высоких показателях. Нам надо одну победу! Напряжение страшное, все понимают... А вдруг завтра дождь, — и поплывет, и начнет разваливаться... В уборку надо втянуться — это особое психологическое состояние. Завтра по-другому работать будут, чем сегодня, а послезавтра еще лучше, это же надо втянуться... Два дня мы жали, начали выборочно обмолачивать, и тут — черт знает что — откуда-то нанесло тучу, как специально для нас. У соседей ясное небо, и в Змеиногорске сушь, а у нас дождь зарядил и поливает, такой подлый дождь, с утра до вечера. Я в Новокузнецовку прибежал, мне говорят, один из лучших наших комбайнеров Горшков напился, ушел с комбайна. К утру тучу угнало, солнце жаркое, хлеб подсох, а Горшков пьянствует. Ну как это понять? Ведь сам же человек всю жизнь себе зачеркивает, и заработок, и доброе имя, и все. И дети у него. Потом прошло. Горшков ко мне является: «Простите, бес попутал...» Ладно. Вижу, мучается мужик. Сейчас с комбайна не слезает, в кабине и спит.

Дело к полночи, а все так же бежит под колеса дорога, горит рубиновый глаз рации, бренчит музыка. Идет жатва. Как будто спать никому и не надо.

Мне вспомнился другой мой старый знакомый, великий мастер земледелия, агроном из Ленинградской области, заслуженный агроном республики, Герой Социалистического Труда Александр Федорович Петров. Инвалид войны, он без малого тридцать лет проработал главным агрономом в совхозе «Красная Балтика», затем стал научным сотрудником Агрофизического института. Было время уборки, убирали ни шатко ни валко. На ячменном поле гектаров в сорок носами друг к дружке стояли шесть комбайнов «Нива» с полными бункерами зерна. Обслуживала этот комбайновый комплекс почему-то всего одна машина. Комбайнеры полеживали на соломе. Пожаловались своему бывшему главному агроному: «Вспоминаем, Александр Федорович, при вас такого и быть не могло».

Агроном Петров, глядя в даль возделанной им когда-то, освобожденной от камней и кустарников, удобренной, превращенной в угожья нечерноземной равнины, высказал самую важную свою мысль: «В сельском хозяйстве, если хочешь что-нибудь получить от земли, надо работать с упоением!»

— ...В Сибири хлеб никогда сам не давался в руки, — сказал Афанасьев, — у нас зона рискованного земледелия. Надо выкладываться до предела. Некоторым кажется — раз машин стало много, теперь у нас вроде как на производстве, от и до... Такой тракторист у нас есть, Трунов, тоже в Новокузнецовке... Наши умельцы в мастерских толкач изготовили — простое приспособление, на «Беларусь» навешивается; машина с хлебом на ток пришла, борта откинули, толкачом можно все за пять минут спихнуть. А так, вручную, лопатами, часы уходили, да и людей у нас нет... Трунову на «Беларусь» и навесили первый толкач, он аккуратно работает. Ага! Дело идет, все довольны, ну просто загляденье. Трунов до девяти часов поработал и говорит: «Все, мой рабочий день окончился». Ему: «Ну как же окончился! Люди работают, машины с зерном прибывают на ток. Уборочная страда!» А он уперся, ну, принципиальную занял позицию, дескать, не обязан, это не по закону и все прочее. Ну как не по закону? Мы же учитываем, сверхурочные платим. Уборка — такое дело: один недоработает — на общем результате сказывается. Значит, и все теряют. У кого такого сознания нет, тот в нашем колхозе не может существовать. Ну, что? Посадили на «Беларусь» другого тракториста. Трунова отправили на ферму скотником.

...Приехали на какой-то ток. Попробуй их отличи один от другого, особенно ночью: над землею высится эдакая бандура, величиною с районный Дом культуры, внутри происходит не видимая с земли работа, что-то урчит. На асфальтированной площади горы, холмы и сопки зерна: пшеницы, ячменя, овса, гороху. Въездная арка ворот с весами. У ворот избушка на курьих ножках. Внутри избушки на стенах какие сыскались лозунги, сводки, вдоль стен лавки, на лавках забывшие, когда спали, осовелые люди; включенная с тлеющим угольком-лампочкой рация; за столом заведующий (в данном случае заведующая)...

Если бы председатель и не заехал ночью на этот ток, веялка и сушилка все так же бы веяла и сушила, зерно бы текло по транспортерам, моторы урчали. Но председатель каждому несущему ночную вахту на току что-то такое сказал, кому надо было высказаться, того он выслушал. Что-то и присоветовал, по-отечески, как глава большой семьи: «Гороху просили из Третьяковского совхоза, приедут, так вы им дайте. За пшеничкой следите, чтобы не согрелась внутри бурта». Председатель и пошутил, поулыбался. И вроде как пободрее зажужжали веялка и сушилка. И люди, похоже, проснулись, зашевелились. И никого не осталось в конторке тока, только мы да заведующая Матрена Афанасьевна, в сапогах, телогрейке, в повязанном по-старушечьи платке. Что было когда-то в этой женщине женского, все она изжила за свою долгую крестьянскую жизнь, только глаза остались такого цвета, как льняные поля у нас в России, или, как теперь говорят, в нечерноземной зоне.

— Подержись еще, Афанасьевна, — ласково сказал ей Антон Григорьевич. — Вот уберемся — и запируем.

— Я-то подержусь, Антон Григорьевич. Вон молодые носами клюют. — Афанасьевна улыбнулась, еще заметнее стали ее глаза.

— ...Вечная труженица, — сказал Афанасьев, когда мы уехали с тока. — Моложе она — ну, не то что красавица была, а так, женщина симпатичная. Замуж вышла, что-то у них не получилось с мужем, он уехал, у нее сын остался. В общем, личная жизнь не заладилась, а так, по работе, она всегда безотказная была. Такая заботливая, хозяйственная. На току у нее всегда подметено, чисто. Посидишь с ней рядом, она тебе улыбнется — как будто солнышко выглянуло.

11

...Кажется, я уже потерял способность ориентироваться не только в пространстве, но и во времени. В голове крутились строчки когда-то читанных стихов: «Местопребывание — Земля. Времяпровождение — Эпоха...» Голова явно теряла крепость сочленения с телом, совершала произвольные кивки и наклоны.

Заснуть рядом с бодрствующим водителем было бы как-то совсем уже мелкотравчато. Закурить?.. Однажды, следуя за Афанасьевым, подобно продолговатой ве-

черней тени, по стерне, мимо куч только что вышедшей из комбайновых молотилок соломы, я сладостно сжег папиросу, как мы говорили в нашем отрочестве, «до фабрики» и кинул окурок, считая, что от щепотки чуть тлеющего пепла поле не загорится. И вдруг я перехватил взгляд председателя, проследивший за полетом окурка «беломорины». Он быстро шагнул в точку падения окурка и с омерзением его задавил.

Глядя, как я закуриваю по-новой, он сощурился и не то попросил, не то посоветовал: «Ты бы бросил курить. Тебе бы легче стало. Я четыре года назад в санаторий приехал в Карловы Вары, пачку «Беломора» открытую на стол положил, сказал себе: «Все». И не тронул. Так и осталась лежать».

Закуривать в машине, пожалуй, не стоило.

По счастью, мы уже въехали в Карамышево. А там и мой, то есть восходовский, самовар. И можно наконец сделать те самые баиньки, которые я заслужил, проведя день-деньской на буксире у председателя одного из самых хлебных колхозов на Алтае, в пик уборки...

Но сон вдруг отстал от меня. Даже расхотелось ложиться. Жаль тратить время на сон.

Вдруг переменится ветер?.. Чем кончилось у парнишек, придавленных под валком? Как выкрутятся с горючим, — обещанная цистерна в Третьяки так и не пришла... Догонит «Восход» «Россию» по урожайности? А вдруг перегонит?

Хотелось, чтобы скорей было утро.

12

Утром Афанасьев появился непроницаемый, неразговорчивый — он это умеет, — только сообщил мне, что с парнишками все обошлось, руки-ноги целы, сами могут ходить. И цистерна пришла наконец в Третьяки...

Он мельком поговорил с пришедшими позавтракать рубцовскими девчушками, педалируя для чего-то на возлюбленные средствами массовой информации, имитирующие ученость словечки и обороты типа: «импульс», «регион», «психологический барьер», «нравственный климат».

— Ну, как адаптируетесь?

Вперед выступила самая бойкая:

— Да не очень-то адаптируемся. Постираться неког-

да и в баню тоже сходить надо, уже который день ночью возвращаемся...

— А вы по скользящему графику... — посоветовал председатель.

Девчушки не нашлись, что сказать. Кажется, никто из них не знал, что такое «скользящий график». Афанасьев не стал объяснять. На чело его нашла туча. А день обещал быть таким же погожим, как и вчера, может быть, еще и получше.

Я прикинул, откуда ветер: солнце встало вон там — там восток, подалось кверху и к югу... Ага! Ветер с севера. При безоблачном небе, северном ветре и благоприятно складывающихся обстоятельствах Антон Григорьевич был не в духе. Чужая душа потемки.

Он мне сказал, что сейчас приедет секретарь горкома. Предстоял разговор об увеличении обязательств продажи хлеба государству.

13

Я решил воспользоваться окном в распорядке дня, сбегать на ближнюю сопку. Задумано — сделано. Вначале прошелся долиной Корболихи, с крутыми берегами, заросшим таволгой, боярышником, черемухой, с отмытыми галечными косами, с нависшими над звонко-струйной, по-горному синевато-прозрачной рекой деревьями ивовых пород — их называют и тальниками, и лозняками, и просто ивами, и ракетами; с чудной игрою света и тени, с первозданно-укромными уголками, шатрами ветвей над головой, тихими заводами и щебетливыми перекатами. Тропою, пробитой в сплошной заросли — шагу в сторону не ступить, — я добрался до означенной природой черты, выше которой по склону были только камни, мхи и пучки полыни.

На вершине сопки ветер дул с такой силой и постоянством, что в поднятых руках осязалась первооснова когда-то, быть может, запроектированных и ощищенных тысячелетней эволюцией крыл. Внизу у подошвы сгрудился вокруг учительницы отряд школьников, по виду — пятиклашек, и глядел на меня — единственное живое существо на обозримых, вполне необитаемых в эту пору каменистых горных грядках. Учительница дала ребятишкам добро, и они, как птичья стая, порхнули вверх по склону. Наши бы, городские пятиклашки и не реши-

лись, а карамышевские вмиг, с камня на камень, набрали высоту и окружили меня, сохраняя, впрочем, дистанцию. Они подсматривали за мною, притаивались в складках местности, похоже, выслеживали. Игра эта в кошки-мышки (я исполнял роль мышки) длилась какое-то время, затем мои красные следопыты спорхнули с сопки и что-то такое доложили своей предводительнице.

Мне ничего не оставалось, как порезвее скатиться к ним вниз, пока они еще не донесли о выслеженном ими праздношатающемся подозрительном субъекте куда следовало.

Внизу карамышевские ребятишки не так опасались меня, как наверху. Они спросили:

— Вы кто, геолог? Вы откуда приехали? А что вы там делали?

— Мы подумали, что вы сбежавший зэк, — объяснила подошедшая учительница повышенное любопытство ко мне карамышевских ребятишек. Она обескураживающе улыбалась.

Я подумал: «Спасибо вам за внимание», но не сказал. Просто понял, что давно уже мне пора пойти в Карамышевскую среднюю школу и объяснить ребятам, кто я есть, а уж они-то разнесут по селу.

14

Когда я рассказал Антону Григорьевичу о похвальной бдительности детей полеводов и механизаторов вверенного ему колхоза, он словно прочел мои мысли:

— Может быть, выступишь перед ребятами? Им же интересно. Они живого писателя не видали.

Афанасьев вызвал по рации «центральную Зою», попросил ее позвонить в школу Нине Михайловне и сказать, что сегодня в час дня перед старшеклассниками выступит писатель...

Карамышевские старшеклассники отличались от своих сверстников-горожан сибирской, крестьянской, полевой загорелостью пополам с румянцем, изрядными телесными формами. В мальчишках угадывались ширококостные, большерукие, способные водить трактора и комбайны мужики, в девчонках — крепкие сибирячки, основа всего. Светлая масть преобладала над темной. Вселенское акселератство если и коснулось этих мест, наружу не выпирало.

О чем говорить с карамышевскими ребятами — такого вопроса передо мной не стояло, мне надо было поделиться чувством, которое привело меня на Алтай, — любовью к этому краю, этой земле. Здесь прошли годы моей молодости — главные годы, основа судьбы, целина, осознание себя гражданином великой, непобедимой, неистощимой страны привольных хлебных степей, синих гор, шумных рек, отзывчивой на душевный порыв и труды человеческие, — России. Сколько я успел пройти по тропам Алтая, надышаться его целебным воздухом, напитать зрение его красотой, столько унес с собой в жизнь восторга перед высоким предназначением простых, обыденных человеческих дел на прекрасной земле моей родины. Уезжая с Алтая, я вновь возвращаюсь сюда — подзаправиться этим восторгом, без него моя работа вянет и замирает.

На Алтае я повстречал Шукшина. Отсюда началась наша дружба с Василием Макаровичем...

Отговорив сорок пять минут до звонка, я вышел под синее небо, под жаркое солнце, на дующий с севера ветер, и было мне хорошо от молотьбы языком, как хорошо бывает от честно и с пользой для кого-то исполненного дела.

15

Раз уж отбилсЯ с утра от председателя, то и сел в автобус, через пятнадцать минут вышел на конечной станции в Змеиногорске, пыльном городишке под лысой Змеевой горой, с кратерами бывших шахтных выработок и карьеров, с краснокирпичными строениями на площади, дошедшими до нас из восемнадцатого века — демидовской эпохи.

В редакции районной газеты «Прогресс» после первых же наводящих моих вопросов я выслушал, по-видимому, выношенный, ждавший случая быть оглашенным монолог хорошо информированного ответственного сотрудника:

— ...Не знаю, конечно, могут быть разные мнения, но я ставлю Шумакова как руководителя хозяйства выше Афанасьева... Хотя лично у меня отношения с Шумаковым трудные. И вообще человек он нелегкий. Но — интересная, богатая личность. Вы послушайте, как он выступает, как говорит, — не только о своем, но остро,

принципиально реагирует и на то, что у соседей делается... Вообще в «России» другой масштаб, чем в «Восходе». Шумаков внедряет у себя все технические новшества. У них в колхозе построили животноводческий комплекс на тысячу двести голов. Теперь хранилище для сенажа возвели — импортное; другие председатели пока в затылках чесали, Шумаков у себя поставил. Сейчас санаторий колхозный строит на сто мест. Да и вообще, сравните Барановку и Карамышево по благоустройству, — это же небо и земля. А возьмите уровень специалистов в «России» и в «Восходе»... У Афанасьева на командных должностях нет ни одной крупной, хоть сколько-нибудь самостоятельной фигуры, ему это не надо... Конечно, по хлебу в «Восходе» хорошие показатели, а по животноводству, по строительству и вообще... Человек не хлебом единым жив...

Я хотел было возразить моему змеиногорскому собрату по перу, напомнить ему, что председатель «Восхода» включился в хлебный марафон много позже соседа, «Россия» к той поре уже располагала изрядным экономическим и производственным потенциалом, председатель «России» собрал урожай признания и наград... И на что было делать Афанасьеву ставку, как не на хлеб, когда он начинал строительство в Карамышеве, имея под боком пример отстроившейся много раньше Барановки.

Но я не стал возражать, памятуя о том, что не бывает пророка в своем отечестве, а если и бывает, то уж не более одного. Единственная вакансия на роль пророка в Змеиногорском районе уже занята: председатель орден Ленина колхоза «Россия» издавна соответствует этой роли.

Кто из двух председателей лучше, выше, талантливей, — я не задавался таким вопросом. Мне думается, любой ответ на него оказался бы на поверку несправедливым. Идущему впереди — всеобщее внимание и хвала. Но взгляните в того, кто дышит в затылок лидеру, догоняет на финишной прямой, вырывается вперед на сантиметр, то есть на центнер...

Я спускался по длинному взвозу, ведущему из центра Змеиногорска к перекрестью дорог, к автостанции.

Пустынно было так же, как пустынно в дни уборки на широких улицах здешних сел. Только озабоченные своими делами, беспородные, тем и гордые, очень самостоятельные, лохматые, пегие, рыжие, коротконогие, трусили по разным направлениям змеиногорские псы. Нещадно палило солнце.

Я пребывал в глубоком раздумье, куда теперь ехать, в Карамышево или...

К автостанции подошел карамышевский автобус. Я занял в нем место. Кондукторша объявила:

— Едем в Барановку. Школьников со свеклы вывозим.

Я взял билет до Барановки.

Тополевыми, тальниковыми проулками мы выехали в степь. Она была тут положе, ровнее, чем по дороге в Карамышево. Всю ее распахали — подняли зябь. Посреди черной пахоты дотлевали сожженные кучи соломы, сладко пахло дымком. Как мне было уже известно, солому в «России» сожгли за ненадобностью: кормов скоту там заготовили чуть ли не на две зимовки.

Село Барановка привольно расположилось «среди долины ровныя». От самой околицы начинался не то тополевый лес, не то руками саженный и вошедший в зрелую пору парк. Сначала меж тополиных стволов мелькали беленые хаты, ближе к центру пошли добротные кирпичные дома. Барановские жители докапывали на усадьбах картошку. У моста через речку армянские каменщики-зодчие-скульпторы возводили фонтан: три огромные белорыбицы с разинутыми ртами вполне уже были готовы к тому, чтобы из ртов их ударили струи.

Я вышел из автобуса, огляделся, шагнул в подъезд колхозной конторы, поднялся на второй этаж, вошел в приемную председателя, не ждавшего меня, не предупрежденного ничьим звонком, — мне говорили, что так просто к Шумакову не стоит соваться, он может и не принять...

— Илья Яковлевич у себя? — спросил я секретаршу.

— Он уехал в Барнаул, — отвечала она, оглядывая и оценивая неизвестно откуда явившегося посетителя.

Автобус битком набит змеиногорскими школьниками, с большими ножами и тяпками, торчащими из меш-

ков и корзин. Было видно, что оттяпывать свекольные хвосты для этих ребят — привычное дело.

Давшие мне место парнишки быстро всего меня «разобрали на части», выделили наиболее интересную для них «часть». Один без обиняков осведомился:

— Вы где эти джинсы купили?

Я задумался на мгновение, что отвечать, и признался чистосердечно:

— В городе Лондоне, на улице Оксфорд-стрит.

— А сколько стоит?

— Десять фунтов стерлингов.

Мои соседи малость насупились, обособились от меня. Может быть, они подумали обо мне то же, что и карамышевские пятиклашки, выслеживавшие меня на горе.

Может быть, и не стоило так сразу выкладывать неподготовленным отрокам всю правду-матку о джинсах.

17

— У меня никакой специальности нет, — сказала диспетчер Зоя. — Я вообще-то секретарь-машинистка. А раньше в Рубцовске на мясокомбинате, на колбасной линии работала — тяжелый физический труд. Мой муж техникум закончил, его сюда направили, мы еще к его родителям заехали в Усть-Пристань. Там у него лодка моторная, и вообще он любит водные просторы. А я сама из России, из Кирова...

Зоя с удовольствием щебетала со мною. Какая девушка осьмнадцати лет не любит пощебетать во время исполнения своих прямых служебных обязанностей? Она сидела за пультом на центральной диспетчерской, на втором этаже конторы, неподалеку от кабинета председателя. Когда рация подавала признаки жизни, Зоя тотчас прерывала свой щебет, добавляла в девический, ясный, отчетливый, по-вятски певучий голос нужную унцию металла, то есть становилась центральной.

Была она не по-сибирски хрупка и долговяза, с подкрашенными губками и подсиненными веками. Сибирское солнце не опалило ее, да и какое тут, в диспетчерской солнце? Зоя сначала мне рассказала всю-всю, до краешка памяти, свою юную жизнь, а после уже спросила, кто я такой. Собственно, даже и не спросила, я сам

назвался. Зоя смотрела на людей много доверчивее карамышевских пятиклашек.

— Ой, вы знаете, — щебетала Зоя, — мы сюда с мужем (ей очень нравилось слово «муж») приехали, нам Антон Григорьевич предложил трехкомнатную квартиру. А куда нам такая площадь? У нас же ничего нет. Потом однокомнатная освободилась, мы в однокомнатной... Мой муж на меня ворчит, я же должна ему готовить и вообще... А мне и дома бывать некогда. Я и в поле ни разу не была. Мария Савельевна обещала меня взять с собой, а нам и времени не выбрать, то она занята, то я не могу. В первый день я как села за этот пульт, мне что-то говорят, я ничего не понимаю. Потом уже понемножку стала входить в курс дела. Я вообще никогда в деревне не жила, в городе там идешь, все новые лица. А тут одни и те же каждый день. И в театр не пойдешь, никуда. Может быть, привыкнем, люди же живут, правда же? Два года уж точно после техникума мужу отработать надо, а потом посмотрим. У нас и огорода нет, а тут у всех огороды. Родители моего мужа присылают картошку и все... Вон видите на втором этаже крайнее — это наше окно. Мой муж домой вернулся, он электромеханик, раньше меня возвращается, — и сердится, что меня дома нет. Мы с вами разговариваем, а он нас видит.

Зажегся глазок на пульте.

— Центральная! Я — первый!

— Слушаю, Антон Григорьевич!

— Зоя, соедини меня...

Зоя сделала мне глазами:

— Это вас.

— Ты куда потерялся?

— Да я...

— Ладно, спускайся, сейчас приеду. Хочу тебе кое-что показать.

— Пятнадцать комбайнов из «Красной гвардии» пришло, — сказал Афанасьев. — Надо с председателем повидаться. Без личных контактов такие дела по-доброму не решают. Завтра из «Памяти Кирова» еще придут. Три бы дня постояла погода... Тьфу-тьфу-тьфу...

Мы ехали куда-то на «УАЗе», миновали Змеино-

горск. Дорога шла все гористей, склоны делались круче, пахота съезживалась. В седловинах меж сопок открывалась панорама второго горного яруса, там уже была тайга.

Остановились в центре села у конторы «Красной гвардии». Заметно вечерело, однако армянские каменщики, шустро работая мастерками, лепили кирпич на кирпич, возводили здание с узкими продолговатыми окнами, в восточном стиле, непонятного нам пока что назначения.

Спросили у прохожего, что за дом. Он ответил, что баня.

— А чего же окна-то узкие?

— Чтобы не подглядывали, — серьезно объяснил прохожий. Добрую шутку и надо изрекать с серьезной миной. Иначе грош ей цена.

Тут приехал председатель «Красной гвардии», совсем молодой, зеленоглазый, простоволосый, в сером костюме, наимодной сорочке, при польском однотонном галстуке с большим узлом. Не председатель, а картинка. Я уже знал, что он доводится троюродным племянником Антону Григорьевичу и фамилия его Афанасьев.

Младший Афанасьев пересел к нам, чего-то посуетился насчет припасу, но старший по-отечески пресек это дело. Троюродный дядюшка не спрашивал у племянша дорогу. Он ехал с хорошо известным мне вдохновением, все более оживлялся, сворачивал на гранатового цвета гречишные пажити, искал косачей, которые были когда-то, а нынче не видно. Наконец он съехал в глубокую падь, машина умолкла.

Солнце светило сбоку, вровень с хребтом горного кряжа, поросшего чистой редкой сосной. Оно светило именно так, как следовало ему светить, чтобы открылся взорам обработанный до завершенности ветром-ваятелем, зноем, стужей и временем каменный останец. Он являл собою величавый профиль женщины.

— У нас ее называют Барыня. Я хотел тебе ее показать. И освещение в самый раз, — сказал Антон Григорьевич.

Многому научились люди, но Природа все знала и все умела и без людей, до людей. Царственность человеческого лика, его нерукотворность, самоценность в ряду горных кряжей вселяли в сердце восторг и трепет

открытия мира, приобщения к таинству творения Красоты.

...На самом донышке пади, в' высоких травах струился ручей. Вода его, подобно водам Ганга, несла в себе растворенное серебро. Афанасьевы, старший и младший, наперебой делились своими познаниями о целебных свойствах этого ручейка.

— Однажды я привез сюда московского драматурга, — сказал Афанасьев-старший. — Он уже старенький, лет семидесяти. И вот он как увидел все это, стал на колени, припал к земле... «Это, говорит, святая земля!»

Я даже подивился такой поворотливости карамышевского председателя: и хлеб лучше всех выращивает, и со мной уже который год цацкается в уборочную страду, еще успел и московского драматурга сюда завезти... Ну Антон, ну Антон!

Старший Афанасьев совершенно преобразился, стал светлым, по-детски радостным, все говорил, говорил — о том, что раньше вот здесь, в этой балке, стоял кордон лесника-поляка. И была у поляка прекрасная пасека, а сам поляк был строгий и неподкупный лесник, стерег леса как зеницу ока... И водилось в здешних ручьях не только серебро, но и золото...

— Я помню, году, наверно, в тридцать четвертом, тридцать пятом... отец нас в баню возил в Змеиногорск. А там у бани ручей протекал. И на ручье старатели золотишко мыли в лотках. Ну, по горсточке намывали за день золотого песочку. А кому и зернышки попадали, когда подфартит... Сдавали в торгсин...

Постелен был на хвое под елками у ручья давно мне известный брезентовый полог — личный, карамышевского председателя. Его знакомство с обычаями заморских стран (Антон совершил круиз на лайнере по Средиземному морю) внесло некоторые изменения в состав напитков, подаваемых к бивачному столу: «Давайте как в лучших домах Лондона».

Анатолий Андреевич Афанасьев смотрел на своего троюродного дядюшку, внимал его речам, не заискивая перед ним, сознавая свое равенство со старшим в председательском корпусе, просто любя Антона, отдавая ему первенство не по годам, не по родству, а по хлебу. И радуясь тому, что пришел на эту встречу с дядюшкой, под Барыней у ручья, не с пустыми руками, а с пятнадцатью комбайнами, которые уже обмолачивают восходовский,

афанасьевский, то есть общенародный алтайский хлеб.

Стало смеркаться, над ручьем восстал туман. Из зарослей тальника в распадке вдруг материализовалась комолая лосиха, приблизилась к нам и слушала наши речи, прядая ушами.

19

Антон Григорьевич включил рацию — восходовская волна и сюда доходила, под Барыню, — спросил вечернюю сводку, отвез домой Анатолия Андреевича, идти в гости к младшему отказался, как тот ни просил, объехал поля «Восхода». В Карамышеве повернул не к гостинице, а к собственному дому.

— Полине я сказал, чтобы баню стопила...

Это значило много. То есть это значило, что председатель «Восхода» почувствовал перевал в уборочной страде: главный, необходимый ему для существования хлеб сжат, обмолочен, свезен на тока. Ранее этого перевала он меня в гости к себе не водил, в бане мы с ним не паривались.

— По тридцать центнеров будет. По сегодняшней сводке, — сказал Афанасьев.

Мы попарились с ним в добро натопленной, с мягким паром бане.

Дом у председателя «Восхода» новый, под четырехскатной цинковой крышей, на взгорье с краю села. Я бывал и в старом председательском доме, он тоже был неплох, но этот лучше. Вся земля на усадьбе — под огородом и цветником. Имеется хлев: Афанасьевы держат корову; и сыновья, а теперь и внучатки вспоены молоком от собственной коровы. В гараже стоит собственная, Антона Григорьевича, белая «Волга». Когда и куда он ездит на ней, не знаю, не видел. Держат поросенка, а нынче вот еще завели целую стаю желтеньких гусенят. (У Антона Григорьевича вообще пристрастие к водоплавающим; вспомним, что родом он из приозерной деревни. И в колхозе утиная ферма — его любимое детище.)

В доме полы застелены коврами и стены завешаны — это по-сибирски, для тепла. Разуваятся у порога. В гостиной-горнице цветной телевизор, стеллажи с кни-

гами: общественно-политическими, сельскохозяйственными и художественными.

К столу после бани сошлась вся семья Афанасьевых. Приехал старший сын Виктор — лобастый, большоголовый крепыш — с женою; она работает экономистом в совхозе «25 лет Октября». Сонные внуки пришли почеломкаться с дедом и вскоре были уложены спать. Хозяйка, Полина Николаевна, хлопотала у стола, приносила с кухни яства. Младший сын, именуемый по-домашнему Женькой, инженер-электрик, уплетал за обе щеки и помалкивал. Хозяин сидел во главе стола, в той же позе, в какой он привык сидеть за столом в председательском кабинете, не расслаблялся. Или, может быть, тяжесть прожитого дня давила ему на плечи.

На столе был представлен полный набор карамышевских огородных культур. По-сибирски засоленные помидоры не лопались, будучи проткнуты вилкой, сохраняли свою помидорную плоть. Грузди и валуи со сметаной и репчатым луком таяли во рту, оставляя привкус чего-то терпкого, как поцелуй в студенческие годы. Янтарная картошка исходила духмяным паром. А пельмени... О, пельмени! Они подавались в неисчислимом количестве. И еще дожидались своего череда опять, зажаренные таким образом, что каждый опенок мог быть отправлен в рот, проглочен и оценен сам по себе, отдельно от массы.

Участвуя в семейном застолье в хлебосольном доме Афанасьевых, я думал, что на привычный для хозяина этого дома вопрос «Как вам удастся выращивать высокие урожаи?» можно бы было ответить самым неожиданным образом, как говорят, зайти с другой стороны. Хорошим председателем колхоза на Алтае, да и где угодно, едва ли можно стать, не обзаведясь вначале женою — хозяйкой, стряпухой, искусной домоправительницей, доброй душой, подругой.

Не наведя порядка в собственном доме, не уповай на успех и на общественной ниве... Эту старую, как мир, истину я заново постигал, уписывая подаваемые Полиной Николаевной на стол разносолы, проникаясь духом какой-то особенной любовной бережливости друг к другу, царящей в этой большой, в лучшем смысле интеллигентной семье.

Утром, как всегда, Антон Григорьевич мчался по степи.

— Я вчера перед сном почитал «Председательский корпус» Георгия Радова, — сказал мне (сам я уже перед сном ничего не мог почитать). — Ну молодец, так здорово все берет... В каком-то колхозе, он пишет, на Кубани, утром на разнарядке весь день спланировали, как положено, все по полочкам разложили... А он с бригадиром — ага! — в повозку сел и в бригаду, на стан. А там — одно, другое, кто-то не вышел в поле, у кого-то теща померла, трактор сломался, пищу вовремя не подвезли. И все пошло наперекосяк. Еще и тучу нагнало. Планировали одно, а вышло другое... В сельском хозяйстве, конечно, надо планировать и день, и кампанию, и год... Но все равно каждый день сочиняешь заново. Как у вас, у писателей? Чистый лист бумаги перед собой кладете... Есть вдохновение — значит, дело пойдет. На земле тоже надо трудиться с вдохновением...

Навстречу пылил грузовик. В зубах у шофера зажата папироса. Стекло к кабине опущено. Ветер дует. Искры летят.

Афанасьев надавил на тормоз и одновременно на сигнал: «Стой!»

— Почему курите? Одной искры хватит, чтобы все спалить на таком ветру... Да нет, я говорю, своя-то голова у тебя есть на плечах? Вот сейчас ссадим с машины и отправим домой с отрицательной характеристикой... Ну ладно. Бежи. А смолить прекрати. Два дня осталось, избави бог, загорится.

Афанасьев долго, неумоимо, невозмутимо разыскивал кого-то по телефонной сети. Другой, ну вот хотя бы и я, давным-давно бы смирился и трубочку положил на место. На нет и суда нет. Антон Григорьевич все просил у девушки вот такой-то номер, а если этот не ответит, тогда вот такой, а если и там не получится, тогда через Третьяки...

Связь то нащупывалась, то пропадала. Время было такое: уборка; абонент ускользал, не давался. Когда наконец Афанасьев достиг желаемого, услышал единст-

венно нужный ему в это утро голос, он чуть не прослезился от радости:

— Микола! Я тебя как в облигацию выиграл.

Речь с Миколой пошла о комбайнах, то есть о том, когда и сколько комбайнов направит Микола в «Восход», и еще о том, что надо бы повстречаться сегодня, откладывая некуда, в четыре часа, у края березняка над логом, где «Восход» овсы сеял, а сосед за межей — кукурузу.

— Ну, ты помнишь, мы с тобой там в прошлом году сбегались... У меня гость из Ленинграда, — уговаривал, соблазнял Афанасьев Миколу.

Закончив разговор, Антон Григорьевич с минуту переживал осуществление желаемого, отдыхал после затраты нервов на телефонный розыск, потом обратился ко мне:

— Это сосед мой, председатель колхоза «Память Кирова» Бадулин Николай Михайлович. Я вас с ним познакомлю. Интересный человек. Мой друг старинный... Он у себя в колхозе пивной завод построил. С урожаем у него не очень, средне, а доход от пива страшный. Сорты ячменя они сеют наилучшие для пивоварения, и еще вода... От воды качество пива тоже зависит. Он тебе понравится, Микола Бадулин. Крестьянин исконный, войну всю прошел, отчаянной прямооты мужик, правду-матку кому хочешь врежет. Он в колхозе своем как батка — и строгий и ласковый.

Афанасьев говорил о своем лучшем друге мечтательно, будто и сам бы хотел стать таким, да вот не сумел.

— Мы с ним вместе институт кончали, четыре года в однокашниках проходили. Председательский стаж у нас у обоих почтенный, у него побольше, чем у меня... А дипломов-то не было. Без диплома в наше время погано, как все равно комплекс неполноценности. Я на заочное подал в сельхозинститут и Миколу тоже уговорил. Экзамены сдавать приемные, а там высшая математика... Наши знания какие после техникума? Да и что знали, забыли под корень. Мой сосед поглядел, такое дело, и в кусты. «Нет, говорит, Антон, и позориться не буду на старости лет». Я тоже засомневался. На душе кошки скребли. Решил заявление брать обратно. Ладно, люди нашлись, от кого зависел прием. Говорят мне — это не дело: мальчишек, девчонок с дипломами мы как котят бросаем в сельское хозяйство, а перед такими

специалистами, как вы, вдруг двери закроем. В общем, приняли и меня, и Миколу я уговорил... Первое время, конечно, тяжело было, мучились мы с ним, а когда пошли практические дисциплины, тут мы уже тузами ходили. В общем, закончили, в семьдесят третьем году нам дипломы вручили. И такая радость была... Знаешь, будто самый счастливый день в жизни.

Антон Григорьевич пережил свою радость, она проступила на его открытом, отзывчивом на движения души лице. Он взял трубку восходовского коммутатора, набрал номер и не то чтобы дал указание, а попросил:

— Мария Никаноровна, приготовь к четырем часам... легкий полевой обед...

22

В четыре часа мы култыхались по кукурузному жнивью. На нем паслось стадо коров, под присмотром верхоконного пастуха. Афанасьев ехал предельно тихо вдоль опушки березового колка; можно было увидеть сквозь частокол белых стволов прозелень затененных лужаек и дотянуться рукой до гроздьев красной калины. «Калина красная, калина вызрела...»

Въехали на лысый пригорок, с него далеко было видно, километров на пять во все стороны. Из деревни Воронеж выкатил маленький автомобильчик, запылал в Карамышево. Может быть, повернет к нам? Не повернул. Сосед опаздывал. Время шло, а цена ему оставалась высокой.

Афанасьев включил рацию, словно эфир донес ему чьи-то зовы. И правда, рация зашкварчала.

— Первый, первый, первый... Я третий, — взывала главная агрономша «Восхода».

— Слушаю, Мария Савельевна.

— Антон Григорьевич, на Новокузнецовском участке «харьковская-46» не доспела. Сыровата еще, с бобышками. Два бы дня ей долежать, дойти до кондиции...

— Экспериментов не будет! — произнес председатель «Восхода» таким голосом, чтобы всем было слышно. — Некогда долеживать. Вышли все наши сроки! Пора кончать! На току досушивать будем. Рисковать у нас нету права. Вы меня поняли, Мария Савельевна?

— Поняла, Антон Григорьевич. Жалко, потери будут. Зерно не вымолачивается полностью.

— Все. Действуйте.

Афанасьев съехал на травку под сень берез, расстелил брезентовый полог, сервировал легкий полевой обед. Так тихо, славно, тепло было в мире, что если чего и хотелось, так вот приникнуть к теплой земле и слушать цвирикание кузнечиков.

— Что-нибудь его задержало, знаешь, на председателя колхоза всегда спрос. Председатель — и поп, и комиссар, и отец родной, и стрелочник... Приедет. Он на «Ниве» ездит, салатного цвета. Ну, давай... — Антон Григорьевич малость нервничал. Повода для легкого полевого обеда вдвоем, с глазу на глаз, у нас вроде и не было, — я доживал в «Восходе» вторую неделю: как будто мы все сказали друг другу, что надо было сказать. Очень нам не хватало соседнего председателя.

— Так хорошо, что даже выпивать не хочется, — подумал я вслух.

Афанасьев оставил этот мой крик души без ответа. Он все более погружался душою и мыслями во что-то свое, неизвестное мне...

— Ты, наверно, заметил, — сказал он после долгой паузы, — вчера утром я в дурном настроении был. Так прижало, просто места не находил... К маме я зашел, час с нею пробыл... Она уже старенькая, больная, беспомощная. С нами жить не захотела. Полина ей помогает, но, знаешь, невестка... Ей что-то еще нужно. Она смерть чувствует, ей скучно одной. У меня, кажется, теперь-то все... и деньги, и возможности, а чем ей помочь? Она меня спрашивает: «Ну как, сынок, хлебушко?» Я говорю: «Все хорошо, мама». Она меня по руке вот так погладила: «Благословляю тебя, сынок». И в глазах у нее слезы. И я сам разреветься готов. А мне идти надо, ждут...

— Я тебя понимаю, Антон, я похоронил мою маму нынче весной.

Салатного цвета «Нива» вдруг бесшумно выделилась из прозелени травы и листьев, остановилась в двух шагах от нашей скатерти-самобранки. Николай Михайлович Бадулин, в распрекрасном костюме, цветной сорочке, в серой фетровой шляпе в тон костюму, в безупречно надраенных ботинках на толстой подошве, седой, похожий на киногероя из репертуара Жана Габена, явился нам как ангел-спаситель. Мы приступили к легкому полевому обеду, он был сдобрен наисвежайшим, фир-

менным — колхоза «Память Кирова» — пивом. И вскоре наши речи полились так же вольно, как льются песни жаворонков над весенней степью. У каждого из нас песня была своя, в общий хор они не очень-то сплетались...

— Вот, говорят, счастливое время — это детство, — без заминки, без притирки начал Бадулин, — а у нас, помнишь, Антон, какое было детство... Ты-то помладше. А я мальчишкой как впрягся... Тридцатые годы голодные были, коллективизация, раскулачивание. Или, говорят, счастливое время — юность. У меня юность — это война. После войны опять голодуха... А председательскую лямку тянуть — это что, легкий хлеб?..

Николай Михайлович все курил, Антон Григорьевич прослеживал полеты окурков.

— Я помню, — вторил он другу, — году, наверно, в тридцать девятом, мне тринадцать лет было, я на бестарке хлеб возил от комбайна. Машин тогда в МТС ладно если пять штук было. А хлеб из бункеров, как и сейчас, на ходу высыпали. На бестарках лари установлены, в каждый килограмм по пятьсот хлеба входило. И вот мы, мальчишки, наперегонки, кто первый к комбайну успеет. И у всех у нас, помню, во рту сигарки. Самосад мы курили, из газеты сигарки скручивали, здоровые такие «катюши». Ветер дует, искры летят. А под ларями солома настелена. Такой случай вышел, я его на всю жизнь запомнил, к огню у меня особое отношение. Не могу видеть, когда рядом с хлебом курят... Ну, в общем, вспыхнула солома, огонь и зерно захватил. Я растерялся, мальчишка, в те годы за килограмм зерна в тюрьму сажали. Солома-то, знаешь, как порох горит... Ну, как тут быть? Ладно, мужики рядом были, прибежали, кое-как погасили... А сейчас, возьми, трактора К-700 и комбайны все тоже... Они же в работе искрят. В конструкции что-то не продумано, ну, чтобы искроуловители были...

— Я в Сочи в санатории отдыхал, — завязывал свою новеллу Бадулин, — там со мной в палате соседом оказался главный инженер пивзавода из Риги. Ему я о своих делах рассказываю, он мне о своих. А у меня давно уже эта мыслишка была обмозгована: свое пиво варить. По урожаю с Антоном тягаться я уж зарекся: вон там, за логом, мы овес сеяли, едва по двадцать центнеров собрали с гектара, а у Антона рядом, на соседнем поле, — за сорок. На той же самой земле, под тем же небом...

Антон Григорьевич ухмылялся.

— Ячмени у себя я завел отменные, семена купил, все... А специалиста-пивовара не было. В общем, договорились мы с этим рижанином, он к нам в колхоз приехал, с технологией познакомил. Оборудование мы купили чешское. Варим свое пивечко, попиваем да похваливаем. И весь район в нашем пиве ус мочит, и край пользуется...

Я дождался паузы в председательском дуэте и тоже встрял, заявил мою тему, вполне созвучную, впрочем, тому, о чем шла речь у двух председателей колхозов, в алтайской степи, в осенний день, в канун завершения жатвы (в «Памяти Кирова» вчера закончили)...

Потом мы послушали песни. Бадулин принес из машины магнитофон. Концерт своего колхозного хора. Песни были протяжные, печальные, очень русские. И веселые тоже были.

После концерта председатели поруководили по радио делами в своих колхозах. Глядя на них, я пожалел о том, что не взял с собой фотоаппарата. Представьте себе такую картину: два добрых молодца, один краше другого, на фоне синих гор и многоярусных, нежной, пастельной окраски степей, на опушке яркого по-осеннему леса — один у коричневой «Волги», другой у светло-зеленой «Нивы», с поднесенными к устам микрофонами, с одинаковым выражением волевого усилия на обветренных, загорелых, одухотворенных предчувствием победы лицах, — отправляют свои войска в последний решающий бой...

Впрочем, войска Бадулина пришли теперь на подмогу армии Афанасьева.

Наступил такой момент, когда можно нам было, пожалуй, и разбежаться. Но тут внезапно Бадулин задал вопрос:

— Ты сколько, Антон, за уборку спал?

Антон улыбнулся, махнул рукой.

— Знаешь что, — сказал Николай Михайлович, — давай мы часок с тобой соснем. У меня спальный мешок всегда при себе.

— Да и у меня есть, — сказал Афанасьев.

И как-то очень быстро председатели облюбовали себе местечки под кустами калины, убрались в спальные мешки и, как говорят на Вологодчине, зауснули.

И я прилег на обеденном брезенте. Сон выдался легкий, полевой, как обед.

Нас всех троих разбудил в одно время будто побудчик-насмешник. Было десять минут седьмого. Впервые за всю страду, а может быть, и за всю свою председательскую жизнь, Антон Григорьевич опаздывал на планерку — она начинается в «Восходе» в восемнадцать часов. Он включил рацию, странным, будто и не своим голосом сказал в микрофон:

— Центральная... Я первый...

— Слушаю, Антон Григорьевич.

— Ну, как там, Зоя?

— Все собрались, ждут вас, Антон Григорьевич.

— Ждут... Это хорошо, что ждут. Передай, Зоя, сегодня не будет планерки. Пусть ехают все по участкам.

— Хорошо, передам... — В голосе Зоинном можно было прочесть понимание сути момента.

Антон Григорьевич выключил рацию, стал веселым.

— Давай-ка, Микола, повози нас по полям. Моя председательская «Волга» в «Восходе» всем уже глаза намозолила. А мы с тобой поедем инкогнито. Как туристы.

23

Николай Михайлович Бадулин ехал по степи и по холмам таким образом, чтобы пассажиры удостоверились в его водительских способностях высшего пилотажа. Он был рад выпавшему случаю продемонстрировать настоящую езду. Сутками, месяцами, годами, десятилетиями гоняя по степи, он ждал оценки своему умению водить машину, нуждался в этой оценке, как нуждается каждый смертный в оценке хорошо исполняемого им труда. И я, грешным делом, возя Антона Григорьевича на своем «Жигуле» по ленинградским улицам, украдкой поглядывал на пассажира, — дескать, смотри, Григорьич, мы тут в Питере тоже кое-чего умеем, в смысле баранку крутить. И езда у нас не та, что у вас в степях...

— Вот по телевизору смотришь авторалли, — сказал Бадулин, — все мастера... А если бы нам бы дали поучаствовать в таком авторалли, при нашей-то тренировке... Мы бы чемпионами стали.

— Ну, может быть, и не чемпионами, а в общем-то... — полусогласился Афанасьев.

Бадулин такой половинчатости не принял:

— Да чего там, в общем-то? Не знаю, как другие, а меня допусти, я бы точно занял первое место.

Бадулин привез нас на поле, где подбирали валки шесть комбайнов из «Памяти Кирова». И шестеро комбайнеров, завидев салатную «Ниву» своего председателя, обрадовались, как радуются зимовщики прибытию самолета с материка, сбежались, сияющие зубами и белками глаз. Из бездонного багажника бадулинской «Нивы» появились на свет божий ровно шесть бутылок родимого пивечка, никто не был обделен, трудовой энтузиазм повысился.

Афанасьев немножко поворчал, в том смысле, что у нас не то что у вас, у нас хлеба другие, на больших скоростях у нас по верхушкам не скачут. И вон колоски остаются...

— Да мы же знаем, Антон Григорьевич, — заверили восходовского председателя комбайнеры. — Мы с вами не первый год замужем...

Весело было комбайнерам из «Памяти Кирова» домолачивать восходовский хлеб. Комбайнеров Бадулин прислал соседу, видимо, самых классных. Особенно выделялся среди них один, по фамилии Гердт. Он был черен не только от благоприобретенных пыли и копоти, но и от природных генетических причин. Недельная щетина на щеках придавала лицу Гердта вид обугленный, на голову он нахлобучил ушанку так, чтобы одно ухо было закрыто, а другое все же хоть что-нибудь слышало. В летнюю теплынь на нем была овчинная шубейка, на ногах подшитые валенки. Таких комбайнеров я в жизни еще не встречал (в кинохронике их и не показывают).

Лично Гердту я успел задать всего один вопрос, в отношении валенок, почему он выбрал именно эту обувь. Гердт ответил, смеясь:

— В валенках ноги не потеют.

Остальное об этом жгучем брюнете (и то, что фамилия его Гердт) я услышал от председателей. Афанасьев знал комбайнеров «Памяти Кирова», пожалуй, не хуже Бадулина. Гердт когда-то был личным шофером у председателя колхоза, но затем отпросился, ушел на трактор и на комбайн. В своем колхозе он нынче намолотил семь тысяч центнеров. И тут, в «Восходе», еще тысчон-

ку прихватит. Шубу он надевает для того, чтобы, не уходя с комбайна, ночью по холодку завернуться в нее, часок-другой придавить — и поехал...

24

Потемки разом задернули степь, и езда превратилась как будто в погоню. Мы спешили к тому, что сулил впереди дальний свет фар. Бадулину явно хотелось еще покатать нас по горам и долам. Решили съездить за Новокузнецовку, на то поле, где работали «дамы» из женского комбайнового звена совхоза «Северный». «Дам» тоже прислали на помощь «Восходу», и они обмолачивали восходовский хлеб.

Однако же «дам» возле комбайнов мы не застали, должно быть, они уехали почивать. Зерно осталось в бункерах. И когда в бездорожной степи вдруг проблеснула фара неведомо куда держащей путь машины, председатели по-охотничьи наостригли глаза и нюх.

— Давай, Микола, наперехват! — воскликнул Антон Григорьевич. — Может, кто хлебцем из бункера решил поживиться.

— Да ну уж, хлебцем, — усомнился Микола, — просто на свиданку к бабам чешет.

Однако прибавил газу, свернул с проезжей дороги, спустился в какой-то лог. Вот тут-то я и поверил, что, правда, смог бы Николай Михайлович Бадулин стать чемпионом по авторалли. Гонка разворачивалась по классическим законам автопогони, совсем как в кино. Только в кино не кидает тебя, не трясет, не бьешься ты грудью о спинку переднего сиденья, не мотаешься от одного борта к другому, не глотаешь пыли и, главное, не боишься, что кувырнешься или врежешься в камень...

Сама по себе эта гонка настолько увлекла водителя, что предмет погони мы потеряли из виду. Может быть, шофер-злоумышленник выключил фары и притулился в тальниковом кусту. Но, скорее, и злого умыслу не было.

Мы еще раз съездили к комбайнам с полными бункерами зерна. Там все было тихо. И взяли обратный курс...

Что-то вдруг стало меняться в степи, откуда-то снизу засочился и быстро растекся по ровности горизонта багровый клубящийся свет пожара. Возгорелась степь, и

над нею встало розоватое дрожащее зарево. Какая степь? Где? Стерня загорелась? Солома? Или?..

— Похоже, что это слева от Карамышева, — захо- лонувшим, севшим голосом произнес Афанасьев. — Там у нас большой массив необмолоченный, больше ста га... Если хлеб загорелся, все прахом пошло... Давай, Мико- ла, надо до моей машины добраться.

Рация на бадулинской «Ниве» работала только в ди- апазоне «Памяти Кирова».

Хлеб, солома, стерня горят споро; горя, отбрасывают в небо одинакового цвета зарево. Ночная степь, разбу- женная заревом, с ненасытимым жором огня по горизон- ту, напоминает о чем-то древнем, грозном, кровавом, чуть ли не о набегах полчищ Батыя на Русь...

Для председателя колхоза «Восход» горящее хлеб- ное поле означало крушение всех надежд — не толь- ко этого года, этой жатвы, а целой судьбы. Слиш- ком много вложено было в нынешний — главный хлеб жизни.

— Давай, Микола...

Бадулин рванул с места и пошел — с какой-то зве- риной, природной чуткостью к направлению и рельефу, с отчаянной безудержностью, основанной на осязании почвы под колесами. Афанасьев ему помогал. В любой гонке экипаж машины состоит из двух человек — води- теля и штурмана. Так было и тут. Мы мчались под спо- лохами зарева, и чем пуще оно занималось, тем явст- веннее присыхала на губах какая-то особенно горькая, погорельческая горечь.

Коричневая «Волга», которую, казалось, и не найти в такой-то огромной степи, в ночи — все равно что игол- ку в стоге сена, — так вся и засияла, запереливалась под кустом калины...

Пожар в степи вроде поунялся. Афанасьев включил рацию.

— Центральная...

— Я центральная. Слушаю, Антон Григорьевич.

— Ну, что там, Зоя? — спросил Афанасьев таким уставшим, будто озеро переплыл, голосом.

— Все нормально. Сводки собираю.

— Сводки... ну, а... хлеб не горит под Карамышевым? Зарево до Воронежа видать.

— Не знаю, Антон Григорьевич, ничего не слышно было. А... да... Что-то такое было... я слышала разго-

вор. Это березовские трактористы зябь пахать поехали и соломѹ подожгли.

— Соломѹ... Им бы штаны спустить да крапивою выпороть.

Зоя промолчала.

— Ну, хорошо, — сказал Афанасьев и выключил рацию.

25

Наутро мне оставалось перехватить Марию Савельевну, пока она не упорхнула в поля. Что-то такое писать об урожаях пшеницы в колхозе «Восход», имея в виду только широкую спину, луженую глотку да хозяйскую волю председателя, и не заметить звонкоголосую, легкую на подъем, не большенького росточка, очень женственную главную агрономшу было бы не только несправедливо, но и как-то не по-мужски. Я бы себе этого не простил. Хотя... и не такое прощаешь. И непрощенным живешь, продолжаешь свое...

Мария Савельевна пела по телефону, и словечки в ее речитативе то и дело складывались по-особому, на сибирский ладох: «К концу дня расхоложенная работа...» — выпевала кому-то (не выговаривала, а именно выпевала) Мария Савельевна. «Вы туда подъѹхайте...», «коло самого культстана...»

Наблюдая украдкой за Марией Савельевной, слушая ее напевные речи, я вспомнил характеристику, данную Афанасьеву местным газетчиком из «Прогресса»: «Он крупных фигур рядом с собой не терпит».

Крупная ли фигура Мария Савельевна Тарасова — главный агроном колхоза «Восход»? Я даже улыбнулся, приложив к Марии Савельевне этот газетный шаблон «крупная фигура». Он к ней решительно не прикладывался...

Мария Савельевна положила трубку, взглянула на часы.

— У меня есть минут пятнадцать. Хватит?

— Что есть, то и наше.

— ...Я сама местная. Приѹхала в Карамышево... Славгородский техникум закончила и приѹхала вот такой же девчушкой, как наш центральный диспетчер Зоя. Было это двадцать четыре года назад. Двадцать четыре года... Здесь замуж вышла, ребят вырастили. Ну и, ко-

нечно, главное — это хлеб. Сеем мы наш хлеб — пшеницу, каждый сорт в свои сроки. Позднее посеём — значит, рискуем. Вот «алтайка» на воронежском участке местами ещё зеленая стоит... Сроки уборки тоже у каждого сорта свои. Начинаем мы убирать те пшеницы, которые в восковой спелости. Постепенно другие подходят. Валок бывает массивный, агроному на жатве надо следить, чтобы вся технология соблюдалась... У каждого поля своя агрономия, мы, агрономы, знаем, как лучше его вспахать, плоскорезом или глубокой вспашкой пройти, в каком направлении, чтобы влагу не упустить... Химические удобрения мы не на площади вносим, а одновременно с севом, в рядок. Это более трудоемко, сеялку надо заправлять вручную, и механизатору невыгодно — больше возни, а урожай повышается. Люди это у нас понимают и делают все путем. Обработку каждого поля в период весеннего сева мы проверяем — и присваиваем знак качества. Семьдесят восемь процентов наших полей в этом году мы приняли со знаком качества, а двадцать два процента на «удовлетворительно».

Мария Савельевна опять взглянула на часы...

Необмолоченных валков на полях колхоза «Восход» оставалось четыреста пятьдесят гектаров — на день, ну, на полтора дня работы. Средняя урожайность на круг получалась не меньше тридцати центнеров. Пока что — не меньше...

Мой самолет Змеиногорск — Барнаул улетал в десять утра. Шел девятый час, погода стояла в высшей степени летная. Дул северный ветер.

26

— ...И ещё что важно, ну, чтобы урожай получить, — это семяотражатель, в сошнике, в сеялке... — Антон Григорьевич досказывал мне свои секреты мастера земледелия. А уж и досказывать времени не оставалось: самолет — тезка восходовского председателя, «Антон», — катился по полю Змеиногорского аэропорта. — Заданная глубина для семян шесть-семь сантиметров, — торопился Антон Григорьевич, — а если семяотражатель камушком отогнуло — это часто случается, — семена лягут на четыре или три. Глубина недостаточная, почва прогревается, иссыхает. У нас семяотража-

тели берегут как зеницу ока. Такая мелочь, а на урожае сказывается... Ну, ладно, извиняй, если что не так.

— Большой тебе удачи, Антон!

— Нам надо одну победу!

27

Самолет сначала летел над долиной Чарыша, потом над Обью. Видимость была превосходная. Отава на лугах, болотца, солончаки, тальниковые заросли и березовые рощи-колки зеленели внизу. Вода в серпообразных обских старицах девственно голубела, на сивом жнивье причудливо и красиво переплелись только сверху и видимые следы сотен уборочных машин. Все было ладно, гармонично на алтайской земле — и до того просторно, безлюдно, свежо, что дух захватывало.

28

Двадцать седьмого сентября 1980 года в шесть утра (по алтайскому времени в десять) мне в Ленинград позвонил из Карамышева Антон Григорьевич Афанасьев и сообщил о полной и убедительной победе колхоза «Восход» по урожайности в крае: тридцать два и две десятых центнера с гектара!

РАННЯЯ ВЬЮГА

1

Осенью 1981 года я опять летел на Алтай...

Око моей памяти вглядывалось в два портрета на доске лучших людей Змеиногорского района, на площади у горкома: первым в ряду Шумаков, следом за ним Афанасьев. У Ильи Яковлевича глаза расставлены широко, притянуты малость к вискам. Лицо открытое, взор распахнутый, устремленный: человек что-то видит, не видимое другим, далеко, возможно, за горным краем; он видит цель, идет к этой цели, его нельзя остановить.

Илью Шумакова сняли для доски Почета таким, каким он был в то мгновение, — самим собою; портрет свидетельствовал о необычайной подвижности, импуль-

сивности этого человека: вот он вдруг загорится какой-то идеей (идея всегда у него — и поступок), глаза его засияют или заиндевеют от гнева, или же он вдруг сощурится, стиснет зубы... На войне Илья Шумаков был разведчиком.

Антон Григорьевича Афанасьева сняли не крупным планом, а средним, за столом в председательском кабинете; его красивое, крупное, по-сибирски очень мужское лицо так уж сразу не выдавало всех свойств характера и души; Антон Григорьевич малость позировал для снимка на доску лучших людей района.

Два председателя век свой прожили рядом, бок о бок, в огромной степи, но редко, редко встречались. Доска Почета свела их вместе — на годы: Шумаков первым в ряду, вторым — Афанасьев.

Илья Шумаков создал, отладил, держал на своих плечах, тянул громаду хозяйства. Под зерновые в «России» распахивали 11 400 гектаров, сеяли пшеницу несколько ранее, чем в «Восходе» сеют, сознавая, что могут малую толику недобрать, — шли на это, чтобы управиться до ненастья. И еще: Илья Яковлевич любил первым рапортовать о победном завершении той или другой кампании.

В том же духе он воспитал и своего главного агронома Ивана Меркулова. Агроном-то знал, когда лучше посеять, но задача агронома или, скажем так, его миссия в колхозе «Россия» состояла не только в прибавке центнеров урожая, а в выращивании семенных, элитных сортов: «Россия» — хозяйство семеноводческое. Получить у Шумакова семена хотелось бы многим алтайским председателям колхозов и директорам совхозов, но тут следовало знать, с какой стороны подойти к Илюхе. Председатели величают за глаза Шумакова Илюхой почтительно, ласково, в некотором роде даже и восхищенно. Иные обижаются на Шумакова. Но... Шумаков есть Шумаков. Тут ничего не попишешь.

Однажды Антон Григорьевич Афанасьев рассказал мне такую байку о соседе:

«Илья выступает в крайисполкоме на совещании по животноводству... И вот пошел, и пошел, и пошел...»

Мы куда-то ехали по стерне, Афанасьев снял руки с баранки, помогал своему рассказу округлыми жестами, самую малость сбросил газ.

«Если бы, — Илья говорит с трибуны, — Афанасьев

не разъезжал по курортам да по столицам, у него бы и дела в колхозе шли лучше...» Я слушаю, мне обидно, ну вот просто режет меня по горлу».

«Обратно мы едем домой и вместе сели в одно купе. Я говорю: «Как же так, Илья Яковлевич? Как можно с трибуны такое сморозить? Мы на одной же земле работаем, а ты меня позоришь на весь край...» — Антон Григорьевич крикнул. Он вообще великий мастер по-крикать. Исходящий из недр его могучего организма крик и многозначен и многооттенчат, он может выразить высшую точку удовлетворения, а также и крайнюю степень обиды, презрения, гнева. — Вот мы так сидим друг против друга. Что ему отвечать? Он весь непредсказуемый, как погода... «Прости меня, Антон, — говорит Илья, — меня заносит...»

Антон Григорьевич остановил машину, что-то увидел. Ага! Трактор волочит на тележке кое-как наваленную копну соломы, выстилает соломой путь за собой. Председатель колхоза сморщился, будто горького принял:

«Ай-я-яй! Что делают, что делают! — Включил рацию: — Седьмой, седьмой! Я первый. Как слышите? — Рация зашкварчала. — Что у вас соломой трусят на дорогу? Нет, ну это же не дело. Втрое больше можно нагрузить, если приложить руки. Порожняком-то зачем трактора гонять? Я-то вижу... а ты что, галок на нялся считать? С трактористов надо взыскивать! Ты меня понял?» — Антон Григорьевич вырубил рацию, нашел в эфире музыку, потеплел лицом.

«Мы, когда мальчишками были, в Саввушке жили... Корова у нас, а кормить нечем. Матери сена не запasti — и покоса не давали, и силенок не было. Мать на сердце жаловалась. Отца-то не стало, — должно быть, на нервной почве у нее от горя сердце стало сдавать. И вот же до каких лет дожила... Ну, мы с братаном, бывало, мальчишки, в воротцах затаимся и ждем, когда кто-нибудь воз с осокой по улице провезет, — на берегу озера косили... Мы следом за возом — мужик сидит наверху, не видит, — осоки надергаем и к себе за ограду. Пальцы в кровь изрежем... А сейчас что делают... Подборщик ему навалит в тележку, а он даже пальцем не пошевелит, чтоб уложить. И не оглянется, половину растрясет по дороге. А солома на вес золота. Половине хозяйств в крае своих кормов не хватает. И из соседних

областей к нам за соломой едут... Что делается с людьми? Не знаю, не знаю...»

Так ли было или не совсем так у Афанасьева с Шумаковым в купе хорошо знакомого мне поезда Бийск — Лениногорск, когда они ехали до станции Третьяково с совещания в крае... Не знаю, не присутствовал, свидетелей не опрашивал. Но что-то такое было. Отзывы, байки, даже отдельные фразы о личности легендарного Илюхи характеризуют его то так, то эдак. Но кое в чем отзывы сходятся, какие-то качества Ильи Шумакова всеми распознаны однозначно. «Ты знаешь, — рассказывал мне мой алтайский товарищ, — вот чего я никогда не замечал за Ильей, так это чтобы он работал на износ, чтобы перед кем-то выслужиться, что-то такое получить. Он работает колоссально много, с пяти утра до двух ночи по полям, по токам, по бригадам, по мастерским, по фермам. Сам за руль не садится, хотя умеет, чтобы энергию не потратить, всю ее на пользу дела пустить. Он работает вдохновенно и азартно, как игрок. Нет, вернее, как художник, как мастер. Проигрыша у него не бывает, не может быть. И такие же люди вокруг него, близкие ему по духу, — целый ансамбль: вот Торкаев, главный животновод, на нем комплекс держится, да и все животноводство...

Перед отъездом моим на Алтай в редакцию зашел поэт Михаил Дудин.

— Я слышал, ты на Алтай едешь... О Шумакове будешь писать, тебе это может пригодиться, такая деталь... Мне как-то пришлось быть у Шумакова в «России», с писательской бригадой. Он всех нас обошел, весь строй, каждому руку пожал, пристально в глаза посмотрел. После было застолье. Сам я в рот капли не беру, и стихи читать не собирался за столом. В клубе почитал, а тут, мне казалось, не нужно... Но Шумаков настоял, есть в нем такая способность — на своем настоять. И я прочел вот это, послушай... — Михаил Дудин раскрыл только что вышедшую толстую книгу в красивой обложке:

Не приказа ради, не в услугу,
А своею волей, как хотел,
Рыжий конь по скошенному лугу
Без узды и всадника летел...

— Это понравилось Шумакову, — сказал Дудин. — Он попросил меня прислать ему книгу. Я хотел адрес

записать, Шумаков усмехнулся: «Алтай, колхоз «Россия», Шумакову. Дойдет». Он сам был как конь, скачущий без узды.

2

Лететь-то нынче в Сибирь, в самую ее серединку, — всего ничего: во Внукове сел в ТУ-154, журнальчик полистал, куриный мосол обглодал, вздремнул, глядь — сели в Барнауле. Ага! А где же Серега? Вроде «уазик» Серегин подан, стоит. А вот и Серега.

— Ну как, Михалыч?

— Все нормально.

Спокойный, светлоглазый, немаленьких лет, бывалый сибирский шофер. Который уж год он возит по краю собственного корреспондента «Известий» Зою Михайловну Александрову. И мне довелось поездить на корреспондентском «уазике» по алтайским дорогам, с Сергеем Михайловичем за рулем. И жгли костры в ночи, за кюветом, и песни певали, из последних загашников памяти выскребывая слова, совершенно дикими голосами, чтобы водителю не дремалось. Однажды в немыслимо короткое время, за полночи, отломали дорогу от Бийска до Барнаула, успели к нужному самолету. Тогда и дороги-то не было, ее только строили, ехали все в объезд...

— С хлебом нынче как на Алтае, Михалыч?

— Сам знаешь как, все выгорело.

Знаю, конечно. Все знают, кто о хлебе думает. Алтайскую степь летом 1981 года иссушила, выжгла жесточайшая засуха. Девяносто дней ни капли дождя не пролилось над степью... Но Алтай-то велик. На юго-западной его окраине, в предгорьях, в Змеиногорском районе, хлеб сумели взять, и немало. То есть что значит сумели? Кому-то больше повезло, над чьими-то землями появлялись «тучки небесные, вечные странники», а чьи-то обошли. Кто-то накопил за зиму и удержал на полях влагу, а кто-то упустил. Кто-то посеял в такое время, чтобы зерно не иссохло до первого дождя, а кто-то поспешил.

Антон Григорьевич Афанасьев, еще до начала уборки, сказал мне по телефону: «Опять рекорд будет по урожаю. Конечно, влаги кот наплакал, но все же глав-

ное — культура земледелия». Потому я и приехал на Алтай. К погорельцам в гости не ездят, о них не пишут... Если в «Восходе» порядок с хлебом, стало быть и в «России»...

Сергей Михайлович привез меня к подъезду знакомого дома, подымаюсь по знакомо пахнущей лестнице, меня приветчают старые друзья: Зоя Михайловна, как всегда в запарке, что-то передает по телетайпу в редакцию. Виктор Николаевич, ее муж, литератор, автор повестей и рассказов (только что закончил роман), алтайский землепроходец, рыбак и любитель футбола, по-сибирски широкий в плечах (хотя вообще-то он родом из Тулы), с сибирской широкой душой, после первых знаков радости, задает мне ненужный, немислимый, запретельный, дикий вопрос:

— Ты знаешь, что Шумаков умер?

— Как умер?!

— Да, умер. На совещании здесь, в Барнауле, в крайисполкоме. Свалился прямо в зале. Аорта лопнула...

Зоя Михайловна вышла из своей домашней телетайпной. Машина все продолжала стучать.

— Обсуждали новый сорт пшеницы, «Вера» называется, засухоустойчивая и зерен много в колоске. Терентий Мальцев ее вывел. Шумакову дали колосок, он ручку достал, принялся описывать свойства этой пшеницы, чтобы потом у себя внедрить. В этот момент и помер внезапно. С колоском в руке. Красивая смерть...

Что-то вдруг замедлилось, застопорилось, совсем остановилось, будто умолкли извечно тикавшие часы, сломалась машина времени. И тишина воцарилась такая, что с нею было не совладать слабым нашим голосам. И слова шелестели как нечто постороннее, как чириканье воробьев у свежерытой могилы. Хотелось усомниться в услышанном, оспорить его. Но тот, кто оповещает живых о чьей-то смерти, еще никогда, никогда не ошибся...

Я помню: темный осенний вечер, Дом творчества в Комарове, пять ступенек бетонного крыльца; вхожу с улицы в холл, навстречу мне поэт Игорь Нерцев. Мы мало знакомы, но я ему нужен зачем-то, я вижу его глаза, обращенные только ко мне, и вопрос: «Вы знаете, что умер Шукшин?» — «Как умер? Почему? Может, вы

ошиблись?» И — надежда в глазах у Нерцева: «Я слышал... А вы?»

И еще помню погожий октябрьский день, Новодевичье кладбище, где-то вдалеке играют марш военные оркестры, доносится топот многих сотен солдатских сапог. Военские части тренируют к Октябрьскому параду. И хоронят Василия Шукшина.

Но почему же он умер? Почему умирают так нужные нам люди, недодав нам какого-то первоосновного вещества жизни, не восприняв от нас им предназначенной нашей любви, порыва к чему-то всечеловеческому, общему, доброму?

Почему умер Илья Шумаков?..

Говорят, что творчество произрастает из таланта художника, творящего искусство, пусть это искусство слова. Все верно, однако талант постоянно ищет в сонме человеческих судеб и душ нечто однородное себе, одноименное, может быть более сильного заряда, дабы подключиться к источнику... Так и в жизни...

— Без Шумакова Антону скучно будет, — сказала Зоя Михайловна, — и враждовать не с кем, и побеждать некого. Шумаков был талантлив, на его таланте, как на дрожжах, все подымалось. Интересно же было рядом с ним каждому председателю...

Мы сидели за столом в гостеприимном, хлебосольном, всегда, как я помню, открытом каждому доброму человеку сибирском доме. За этим столом сживали и Шумаков и Афанасьев, — Зоя Михайловна отыскала их в среде председателей алтайских колхозов (их сотни, у каждого свое лицо), рассказала на страницах газеты о хлебном марафоне в предгорной степи.

Чуткая, все видящая, близко к сердцу принимающая дела человеческие Зоя Михайловна поглядела на меня своими серыми, многих привораживавшими глазами (она настоящая сибирячка), сказала мне одному:

— Ну что же делать? Умер человек, и все. Теперь не воротишь. Жалко, что ты его не повидал.

Умер человек, и все. Нет ничего бесповоротнее заключенного в этих словах факта. «Человек предполагает, а бог располагает. Смерть да жена богом суждена». Житейская премудрость пословицы успокаивает тебя рядом с чьей-то до времени смертью. Поэзия же, напротив, заранивает тебе в душу искру, чтобы жгло и свербило: «Спешите делать добрые дела!» Поэтическая

директива вспыхивает в памяти, когда уже поздно.
Спешите делать добрые дела!

3

Сколько бы ни собиралось народу за этим столом, каждому хватало соленых груздей, валуев, сыроежек, пельменей и всего другого. Яства и напитки подавались к столу, съедались и выпивались сами собой; поварское искусство хозяйки, припасливость хозяина не подчеркивались, не выставлялись напоказ. Застолья в этом доме всегда вершились с какой-то поэтической безалаберностью, кто во что горазд. Как сказано у Козьмы Пруtkова: «Раз начав, трудно кончить три дела: чесать, где чешется, вкушать вкусную пищу, закончить беседу с товарищем, вернувшимся из дальнего странствия». Пища всегда бывала вкусна, товарищ, приехавший издалека (ну вот хотя бы пишущий эти строки), излагал события, коим стал свидетелем. Языки, понятное дело, чесались и у других сотрапезников.

Сев к этому столу, подыматься из-за него решительно не хотелось. Тем более что предстояла студеная темная ночь, медлительный поезд Бийск — Лениногорск, одиннадцатый купейный вагон; его двери без ручек; просунешь палец в дыру от ручки, потянешь и выйдешь в тамбур, покуришь; в вагоне курить нельзя. И год из году в купейном вагоне все тот же, знакомый тебе проводник, парень лет тридцати, с рыжеватой копной волос, всегда в одном и том же, по-сибирски ровном, доброжелательном настроении.

Он выдаст тебе бельишко прямо из стирки, не только не высушенное, но и не отжатое; завернешься в компресс на верхней полке; сон к тебе не придет. Будешь слушать кряхтенье, дерганье, стоны старого поезда, жалобы твоего давно живущего и тоже уставшего тела. Если все-таки вдруг закемаришь, добрый малый проводничок проворкует тебе в самое ухо: «Вы до Неверова едете?» Ты ошарашенно вскочишь: «Нет, я до Третьяков». И долго-долго потом будешь слышать ласковый тенор штатного побудчика: «Кто до Неверова?..» Он снова приблизится к тебе: «Это вы до Неверова?» — «Нет, я до Третьяков». — «Ага! до Третьяков...» Такой старательный, такой рассеянный и, кажется, навсегда закрепленный за одиннадцатым вагоном проводничок...

Однажды я ехал на этом поезде в Бийск, в общем вагоне. Из разбитого окошка изрядно-таки дуло, но, как это заведено у сибиряков, никто не жаловался, не роптал. Поезд опаздывал на четыре часа. Так мне хотелось всласть насмотреться на алтайский пейзаж, но за окошком все глуше чернела ночь. Негодовать по этому поводу здесь, в Сибири, было бы просто несерьезно и глупо. Время, как и пространство, в поезде Лениногорск — Бийск до сих пор кажется немеренным.

В Бийск мы прибыли таким ранним утром, когда любые визиты и даже прогулки по городу преждевременны. И что же? Это только подумать! Кто бы мог ожидать? Как в старые добрые времена, в конце пятидесятых — я тогда работал собственным корреспондентом одной газеты по Бийску и бийской группе районов, — в буфете на станции Бийск в шестом часу утра продавались — что бы вы думали? — соленые рыжики. Давали по полкило на рыло, ни больше и ни меньше. Представьте себе, что такое полкило соленых рыжиков в пять часов утра... Это очено вкусно, но просто так ведь рыжики не проглотить, а если и поднатужишься, проку-то что? Перевод добра...

Стало развидняться, я помаленьку двинулся, пока что без определенной цели (то есть цель у меня была, но рано, рано еще), в пределы города Бийска. Город переменился, конечно, за двадцать лет, но что-то в нем сохранилось из моей молодости: запах сгоревшего в топках кузбасского угля, перемешанный с терпким привкусом тополиной смолки; тополя вымахали, взматерели; и прохлада, снежная свежесть близких предгорий, и дыхание хлебных степей. Я вплывал в город моей молодости, как в знакомую воду, примечал не только общее, но и частности...

Подымалось солнце, позвякивали трамваи, двери трамваев выстреливали наружу трудовой люд. Ночное, сумеречное рассеивалось, на берегах Бии занимался по-сибирски погожий, обыкновенный — и непредвидимый, как самая жизнь, — осиянный лазурным небесным куполом день.

— Вы до Неверова едете? — спросил меня посреди ночи свежим голосом рыжеволосый, моложавый, румяный мой проводник.

— Нет, я до Третьяков.

— Ах да, Третьяков... Кто едет до Неверова? — понес он по вагону свою усталость, незаспанность, бодрость и юношескую рассеянность.

4

Час предрассветный, звезды на небе. Зоревая кайма над степью, в той стороне, где Гилевское водохранилище, где село Корболиха, колхоз «Память Кирова», председатель Бадулин...

Проследив мой взгляд, Петр Никитич (так зовут шофера) похвастался:

— В «Памяти Кирова», вон там, за логом, по четырнадцать центнеров взяли пшеницы с гектара, а у нас по двадцать пять. Озимая рожь хорошо уродилась. В «России» больше сорока центнеров, и у нас тоже неплохие показатели.

В предрассветный час степная дорога пустынна. Степь отдыхает. Со всех сторон подступает ее послезатвенная, настоявшаяся, огрузшая тишина.

— По двадцать пять и семь десятых на круг, — сказал Петр Никитич. — Это самая высокая урожайность в крае. Может быть, и во всей Западной Сибири, по нынешней засухе... В «России» по двадцать...

То же сообщил бы мне и председатель «Восхода», если бы сам меня встретил вот тут, на границе своих владений. Шофер изучил своего председателя, знает, с чего начинать разговор с председателевым гостем.

А вот и мосток через Корболиху. За мостком налево центральная площадь. Если взять вправо, тут ждет тебя, путник (словечко «путник» — из стародавних, карамзинских времен; в наше время «путников» не бывает, все больше командированные; да и село Карамышево в стороне от проезжих дорог), не что-нибудь — пивбар... То есть он-то тебя не ждет, его откроют в шестнадцать часов по местному времени, на склоне дня. В урочное время в пивбаре сядет за стойку пригожая карамышанка, будет читать какой-нибудь журнал. Тут и здоровая бочка с пивом — с медным штырем и крантиком. В углу — навалом — среднеазиатские арбузы, штук сто или двести, каждый величиною с бочонок. Пиво в этом пивбаре не пьют, его продают на вынос. Потребители (или, лучше сказать, прихлебатели) пива приходят

сюда с трехлитровыми банками. Пить пиво у стойки, как пьют его немцы, чехи, эстонцы, латыши, карамышане еще пока не умеют — чтобы тихо-мирно прихлебывать и помалкивать. Нет, пока не умеют...

Пиво привозят из «Памяти Кирова» — фирменное бадулинское пиво, ячменное, солодовое, беспримесное, сваренное на чистой ключевой воде. Говорят, что бадулинское пиво (сам Бадулин говорит) не только придает легкость мыслям, но и вылечивает желудочно-кишечные заболевания, полезно для почек и печени. Цены нет этому пиву (цена на него такая же, как у нас). Каждый год ячменное пиво приносит миллион дохода в кассу колхоза «Память Кирова». Пива вволю, очередей за ним не бывает. Девушки в сельских пивбарах в Змеиногорском районе Алтайского края — барменши — могут в рабочее время не только подымать свое благосостояние на пене, но и заниматься самообразованием.

Если взять еще поправее, там карамышевская баня, с паром. Пар не то чтобы очень, но есть. Это — старая баня, рядом с нею строится новая, белокаменная. Строят ее, ну конечно, армянские каменных дел мастера во главе с неизменным Вардгесом Айвазяном. Он родом из Эчмиадзина, уже десять лет строит сибирское село Карамышево. И еще хватит строить на десять лет. Если спросишь Вардгеса, каково ему, южному человеку, изживать свои лучшие годы в этих дальних краях, он грустно улыбнется и скажет: «Такие же горные места...»

Если спросить у Антона Григорьевича Афанасьева, почему такой мосток через Корболиху — перила повалены, настил измочален; по нему же хлеб возят, по нему въезжают в знаменитое на весь край село Карамышево, в гремящий на всю страну урожаем колхоз «Восход», — я знаю, он наговорит с бочку арестантов. Потому и не спрашиваю. Антон Григорьевич скажет, что дорожники, туда их и сюда, тоже что-то должны... есть у них свои, пусть хилые, средства... и сельсовет, и тэдэ и тэпэ... Нельзя же все на одного председателя... Антон Григорьевич снимет руки с баранки, произнесет монолог, входя в роль, рассматривая поднятый вопрос со всех точек, материализуя речь-филиппику энергическим жестом...

Но это я забегаю вперед. Пока что Петр Никитич проводит меня в мой апартамент, в тот самый гостиничный номер, коему предстоит стать люксом, вот уж под-

ведут горячую воду... Ага! И самовара нет... (Вскоре он найдется, у соседа, московского драматурга.) В окно мне видна центральная площадь, обнесенное штакетником место для будущего парка. Парк по сю пору не заложен, чугунные ограды не поставлены. Не сразу и Москва строилась.

Восьмой час утра (у нас четвертый). Двадцать третье сентября. Уборка закончена. В колхозной конторе светится окно — председательское. Антон Григорьевич не встречает меня. Встреча наша, я знаю, будет наиприветнейшей, но председателю надо, чтобы гость поостыл, такой у него характер, у председателя, он не любит демонстративности, каких бы то ни было аффектаций.

Я жду, а что же мне делать?

Зачем я приехал в такую даль?

Хотя бы чаем горло прополоснуть, но нет самовара. Курю папиросу за папиросой — «Беломорканал», бийской фабрики. Дым горек до слез. Этим же дымом травил я себя в молодые годы, просиживая ночи над первыми моими рассказами, в городе Бийске, в Заречье, в избе с русской печью и одной общей горницей на всю семью, отгородясь от семьи ситцевой занавеской. Семья была вдовьей: хозяйка — вдова солдата Отечественной, хозяйкина мать — вдова партизана, воевавшего с Колчаком, и двое мальцов. И я у них — постоялец. С жильем было худо в те годы в Бийске; единственное, что я себе, корреспонденту, приискал, — вдовый дом.

Мальцы — один на стройке клал кирпичи, другой в мастерских слесарил — вернутся с работы перемазанные как чушки, бабку матом обложат со всех сторон, беззлобно, даже ласково. При матери не решались, а бабку не чтили. Та их и усовестит, и укорит, и воззовет к памяти деда, отца, отдавших жизни свои вот за это, чтобы им жилось... И накормит их щами, картошкой, яичницей с салом. Свинина у них была своя и яйца свои. А мальцы хорошие, работяги, только жуткие матерщинники.

Бывало, сгоняю куда-нибудь в командировку — ну, конечно, по Чуйскому тракту: в Онгудай, Шебалино, Усть-Коксу, на попутке, рядом с тем самым шофером, коему в скором времени предстоит стать героем рассказа Василия Шукшина: Пашкой Холманским, Гринькой Малюгиным, Спирькой Расторгуевым... — вернусь, и бабка, вдова партизана, встретит меня как родного, на-

кормит яичницей с салом, картошкой с солеными огурцами. Малость поотойдешь с дороги — и за свою писанину. Жить было мне тогда интересно. Главное, было, о чем писать. Только успевай заливать чернила в вечную ручку. Шариковой тогда у меня еще не было.

...Хлопнула внизу дверь, мужские шаги по лестнице, на пороге, по-летнему, в белой кепочке (день обещал быть летним), полный всяческих, телесных и душевных, сил, вырос Антон.

— Ты давно приехал? А я...

Как будто не знает, хитрован, когда я приехал.

Обнялись, почеломкались.

— Ну ладно, пойдем завтракать.

— Как дела, Антон?

— Да ничо... Хлеб вывозим с токов. Много еще возить. Зябь непахана. Земля ссохлась, плуг выворачивает. Свекла некопана. Скот готовим к зимовке. А так... все путем. — Антон крикнул. — Ладно, соловья баснями не кормят. Хорошо, что приехал. Я уж тебя заждался.

И правда, мне сделалось хорошо. Как будто что-то самое главное, я забыл, потерял и вот вспомнил, нашел: сначала надо вывезти хлеб с токов, вспахать зябь, выкопать свеклу, приготовить скотину к зиме, а потом все другое.

Извечный, разумный, единственно возможный ход жизни...

Следовало внять этому ходу, предаться ему, идти дальше.

Не зря я приехал в Карамышево. Так надо.

5

Мария Никаноровна оказалась такой же, как в прошлом году, ласково лучащейся.

— Опять к нам? Понравилось?

— Понравилось.

День выдался ясный, теплый, без ветерка.

Первым делом я сбегал на ближнюю сопку, искупался в синеве и теплыни, надышался разнотравными, полынными, житными запахами предгорной степи, нагледся на бесконечные переходы черной пашни в белесое жнивье, прозелени озимых в желтизну березняков, лиловато-пепельных каменистых пустошей в багряные таволожники. И еще — рденье калины, алость шиповника и боярышника, коричневые крапины татарника,

розовато-серые гряды, зубья, сады камней по хребтам. Остановившееся мгновение полной гармонии красок, цвета, пространства, объемов. Ни один листок не дрожал...

Мой сосед по гостинице, драматург, набрал за месяц житья в Карамышеве изрядно шиповника и калины; калину развесил, шиповника насыпал целую выгородку в углу. Зимой в Москве пригодится. Он оказался добрым малым, большим ходоком по сопкам, рослым, плечистым, сорокашестилетним, в кепке, с московской повадкой сразу занимать трибуну и высказывать суждения, излагать программы, хорошо научившийся говорить и почти не умеющий слушать, ничего путного пока что не написавший (все впереди, как и у пишущего эти строки), ни на секунду не теряющий решимость взять свое.

Другим моим соседом в гостинице колхоза «Восход» оказался сибирский писатель (он так всем представлялся, я слышал: «писатель»), по-сибирски неразговорчивый, не улыбчивый, ширококостный. Ему было за сорок, он три года служил на Тихоокеанском флоте, поэтому близко, по-флотски сошелся с зампреда Иваном Ивановичем (И. И. служил на Балтике, на торпедных катерах, — в начале пахал на быках, пересел на трактор, потом на торпедный катер). Где-то на Салаирском хребте у сибирского писателя имелась избушка, он там жывал, охотился и рыбачил. Написал книгу в двенадцать листов — про медведей. Он так и сказал: «Двенадцать листов. Про медведей». Каждое утро сибирский писатель по-флотски наглаживал свои брюки, надраивал ботинки ваксой. И — помалкивал, держал язык за зубами. В наши с драматургом разговоры не ввязывался, снисходительно усмехался: «Мели, Емеля, твоя неделя». Вообще, я замечал, многим сибирякам свично чувство превосходства над нами, наезжающими в Сибирь с «запада»...

Может быть, оно не так и беспочвенно, вот это осознание сибиряками своего достоинства и первородства: их же предки завоевали Сибирь, распахали ее — для нас, для России... Все же я спросил у Антона Григорьевича про его гостя: кто он таков, откуда, есть ли у него хоть какой-нибудь документ. Антон Григорьевич поскреб в затылке:

— Да, понимаешь, он сказал — писатель... Говорит, на сельскую тему пишет. Заметку показал, в газете на-

печатана. А так... черт его знает! Ну, я думаю, раз писатель... ага! А у нас шиферу нет ни грамма. Мы сидим у меня в кабинете с Иваном Ивановичем, мозгуем, как выйти из нашего пикового положения. Ну... а он заходит... «У меня, говорит, директор завода шиферного в Новокузнецке мой друг». Ну, что?.. Снарядили машину в Новокузнецк. Иван Иванович поехал и этот... писатель. Через неделю простые вернулись. Ничего у них не вышло... — Председатель крикнул. И правда, как тут не крикнешь. — Иван Иванович говорит, ну, когда они в Новокузнецк приехали, у писателя-то вроде бы там жена. «А он со мной в гостиницу вместе, — Иван Иванович говорит. — Я его спрашиваю: «Ты чего к семье не идешь?» А он говорит: «Да ну ее...» Темное дело. Ладно, попутный груз был, машину не зря гоняли, а то бы...

Все же доверчивый человек Антон Григорьевич. Уж на что он крепкий орешек, хозяйственный мужик, прижимистый, скуповатый хозяин, но есть в нем слабинка... к художественной интеллигенции. К писателям он неравнодушен и еще к художникам.

Помню, в один из моих приездов я застал в Карамышеве целый табор художников, со всей России съехавшуюся творческую бригаду. Из Барнаула их направили прямо в «Восход», к Афанасьеву: и местность красивая, и колхоз хороший, и председатель с пониманием. Квартировали художники в старом деревянном здании школы — зимой там интернат, — с утра разбегались, разъезжались по полям, писали свои картины, рисовали свои рисунки. Были в этой бригаде добрые молодцы-бородачи, в потертых вельветах, в ковбойках с засученными рукавами, работавшие в манере Матисса или, скажем, Сезанна, была супружеская пара — оба графики. И была прекрасная дева — в джинсах, с челкой, с глазами такого цвета, как омуты в Корболихе: рябящие на солнце, вобравшие в себя прозелень береговых лозняков. Этюдник под мышку, взбежит на сопку, сидит день-деньской, чего-то малюет. Антон Григорьевич погоняет по степям — сужающимися кругами — и заглянет на сопку к художнице. Постоит рядом с ней, поулыбается, присоветует, где еще есть местечко, покрасивее этого, шире видно...

Все-таки интереснее жить председателю колхоза, когда рядом художники, — что-то рисуют. Или писате-

ли, — что-то напишут. А то все хлеб да хлеб, да свекла, да скотина...

Художники наработались за месяц, и захотелось им напоследок пикника с шашлыком. Дело было за малым: получить у председателя барана. Художники намекали Антону, но тот намеков не понимал, отшучивался. По-сылали к Антону художницу, тоже без пользы.

Тогда пошел я, сказал, что ребята поиздержались, а барашка им очень бы надо, после трудов...

Антон призадумался.

— А чего же они? Так бы и сказали. А то вертят хвостами, вокруг да около.

И он написал бумажку (ну, конечно, крикнул, это само собой).

После мне говорили, что пикник удался, в березовой роще, на сопке.

Дружба — такое дело: где-то, когда-то вдруг улыбнется кому-то, просыпется на чью-то голову манной небесной. Или подарит барашка...

6

Самовар возвратился на то самое место, на каком он урчал в прошлом году. У самовара образовался постоянно действующий (даже в ночное время) литературный пост в колхозе «Восход» (единственный литпост, возникший стихийно, не зафиксированный в отчетности). Чай сдабривался приносимым уборщицей тетей Настей молочком.

Главную радость литераторов, изучающих жизнь в передовом алтайском колхозе, составляли среднеазиатские арбузы. Всезнающий драматург утверждал, что арбузы очищают почки и выводящие пути (как пиво бадулинской марки). Он (драматург) приносил обыкновенно кавуны должного нутряного румянца, с глянцеви-тыми, черными, как глаза у среднеазиатских девушек, косточками, спелые, сладкие. У сибирского писателя раз на раз не приходился. Мне с арбузами не везло.

Я думаю, что способность каждого индивида выбрать арбуз могла бы сослужить службу психологам — в качестве испытательного теста... Я знал, конечно, как выбрать арбуз: обстукать его, будто ты врач и у тебя под рукой грудь больного; обхватить за бока и потискать, чтобы слышался хруст спелой плоти изнутри, —

для этого надо иметь силенку. Зная все это, я всякий раз полагался на фортуна: покупал арбуз, как лотерейный фантик «лото-спринта», вспарывал его и в очередной раз убеждался в немилосердии ко мне фатума. Уроки самопознания горьки (в случае с арбузом — кислы), мы их несем в душе, как и добрые всходы изредка совершаемых добрых поступков.

На огонек к нам (на чашку чая, на арбуз) заглядывали то Иван Иванович, то председатель сельсовета Гиронимус, то строитель Вардгес Айвазян, то Николай Александрович Муратов, парторг, — он не сработался с председателем, сдавал дела, уезжал на рудник, начальником отдела кадров. Заходил, конечно, и председатель.

Как-то в гостиницу колхоза «Восход» завернул главный агроном «России» Иван Андреевич Меркулов.

Иван Андреевич оказался рослым, плечистым, молодежью, со сросшимися над переносом соболиными бровями, с определенностью черт и суждений, с какой-то врожденной (может быть, приобретенной в «России»?) независимостью повадки, с горделивой осанкой красавцем. Он десять лет проработал у Шумакова. Шумаков отыскал Меркулова в ту пору, когда молодой агроном из Белокурихи сдавал экзамены в аспирантуру; разглядел-таки в толпе, взял к себе в «Россию», главным. Кандидатом наук Меркулову стать не пришлось, на его широкие плечи легла вся громада хлеба в колхозе «Россия». Шумаков занимался стратегией, тактикой, общим руководством. Меркулов сеял, выращивал, убирал хлеб. Вот уже десять лет...

Иван Андреевич походя, без нажима сообщил, что нынче в «России» намолочено, свезено на элеваторы или убрано под крышу («Мы хлеб на токах, под открытым небом не держим») пшеницы, в основном семенных сортов, на два с лишним миллиона рублей.

Вопросов Меркулову пока что не задавали, суетились насчет арбуза и прочего. Иван Андреевич сам знал, что надо сказать для прессы. Он сказал, что посеяли нынче в «России» чуть раньше, чем в «Восходе», зато и собрали чуть меньше. («Конечно, поздний сев в нашей зоне дает прибавку, но... у нас не модно особо перекрывать нормы».) Это он сказал шумаковскую, хорошо известную в районе фразу. Теперь она стала его, меркуловской... Ныне в «России» убирали хлеб без председателя. Не Шумаков убирал, а Меркулов.

...Илью Яковлевича Шумакова хоронили в августовский погожий день. Только началась уборка. Тысячи людей (я слышал: три тысячи) пришли на площадь села Барановка. По одну сторону площади — правление колхоза «Россия», по другую сторону — тополевая роща, там и кладбище. На нем похоронены два брата Ильи Шумакова. Оставлено было место для третьего брата...

Гроб с телом Шумакова привезли из Змеиногорского аэропорта в Барановку к полудню. По улицам села стекались на площадь, на кладбище люди. По степным дорогам пылили в Барановку машины: из Колывани, Староалейска, Рубцовска... Траурный митинг открыл секретарь Змеиногорского горкома КПСС, предоставил слово первому секретарю Алтайского крайкома.

Усиленные динамиками, голоса выступающих разносились над Барановкой, звук двоило, звенящий от зноя воздух хорошо резонировал, над толпою кружились с граем вспугнутые галочки стаи. В мгновения тишины с полей было слышно жужжание жаток: уборка не прерывалась и в день похорон.

Люди стояли, как это всегда бывает на похоронах, каждый в таком удалении от могилы, насколько был близок с усопшим. Ближе всех была горестная женщина в черном — вдова...

О, как это умеют женщины — хоронить своих мужей. Умение заложено в их природу, ждет своего часа — не расплескать скорбь, не выплакать ее, не растечься слезами, не уронить себя, явить собою — на похоронах мужа — пример безупречного, жертвенного служения... И сколько иконописной смиренности в лицах жен, в их позах у гроба, в узелках и кончиках черных платочков, повязанных на голове, в ничего не видящих, пеленою горя застланных глазах.

...Помню, как хоронили моего отца, на Северном кладбище под Ленинградом. Покойник был нестандартный (так его укорили могильщики), гроб не влезал в загодя выкопанную, по общей мерке, могилу. Речей говорилось много, от парткома и от месткома, от старых друзей. Все подустали и с облегчением потекли к воротам, к автобусам, к поминальному столу. Остались мы с мамой — двое ближайших. Мама вдруг надломилась, пала на колени, коснулась лбом сырой земли, ска-

зала только два слова: «Прощай, дед». Эти два слова, так сказанные, как никто не мог бы сказать, мне надо было услышать, чтобы понять: «Все кончено, не воротись. Прощай, дед. Мы будем жить дальше, теперь без тебя». С тех пор как у меня родилась дочь, отца мы звали дедом.

...Долго двигался круг прощанья. Стукнули комья алтайского чернозема о крышку гроба. Толпа потихоньку редела. И, мне говорили, стоял над могилой, в глубокой задумчивости, утирал слезу Николай Михайлович Бадулин, председатель колхоза «Память Кирова». О чем он думал, того нам знать не дано. Он был чуть моложе Ильи Яковлевича Шумакова. Они вернулись с одной войны, меченные одним огнем и металлом...

Рядом с могилой стояли Антон Григорьевич и Полина Николаевна...

А после... после убрали хлеб. Без Шумакова. И думали: что будет дальше, кто станет на место Ильи Яковлевича, единственного, таких больше нет. Думали вслух: в семейном кругу, в кабинетах и на крылечках колхозных правлений, не только в Барановке, но в Карамышеве, Саввушке, Змеиногорске... Судили-рядили, прикидывали, соображали — на полевых станах и фермах, у рыбацких костров на Корболихе, Гилевском водохранилище, Колыванском озере. Это стало вопросом номер один, жизненно важным для всех: кто заменит Илью, кто решится, кого рекомендуют, кого поддержит народ. Называли Меркулова.

Осенью 1981 года сильно разговорился народ в Змеиногорском районе Алтайского края. Район гудел, как потревоженный улей, как новгородское вече на заре российской государственности.

Один из выступающих, дело было на пасеке, помню, сказал так: «Да... трудно будет новому председателю в «России». Там люди такие, их Шумаков воспитал, они на двадцать пять лет впереди всех живут».

Колхоз «Россия» переименовали в колхоз имени Шумакова. Имя Шумакова присвоили улице в Барнауле и средней школе.

Председателем колхоза имени Шумакова рекомендовали Шахалевича; до сих пор Шахалевич председательствовал в колхозе имени Тельмана, в Саввушке.

Собрание в колхозе имени Шумакова... нет, в «России», новое название еще не прижилось, буду держаться

старого, протекало бурно. Я приехал в Змеиногорский район спустя неделю после того собрания в Барановке, но прения все еще продолжались, речи произносились, кандидатуры обсуждались, составлялись прогнозы и гороскопы — во всем районе и за его пределами.

Выступавшие колхозники, молодые, неробкие, с прорезавшимися зубами мудрости — такими их воспитал Шумаков, — называли своим кандидатом Меркулова (не сговариваясь, каждый сам от себя). При голосовании — открытом — простым большинством голосов прошел Шахалевич. Меркулов немного недобрал, голоса два раза пересчитывали по настоянию секретаря горкома Жусенко...

8

...— Когда я работал управляющим отделением в Белокурихинском совхозе, — сказал Иван Андреевич Меркулов (в продолжение нашего разговора в гостинице колхоза «Восход»), — там все было ясно, как люди к тебе относятся, как ты к ним... А здесь... Я десять лет с Шумаковым проработал, и такой вопрос вообще не стоял. Шумаков — всему голова, и ладно. Я, главный агроном, с людей требовал выполнения правил агротехники. Вот и все. Оценивался мой труд по сводкам... Это было для меня неожиданностью, когда народ обо мне заговорил, на том собрании... Я бы пошел председателем... если надо. Фактически так бывало. Нынче, в июне, только отсеялись... — Иван Андреевич улыбался, от него исходила особенная сибирская неунывность, — Илья Яковлевич вызывал меня к себе, по рации. Ну, раз надо, являюсь. Он мне говорит: «Все, Иван, проводим радикальную реформу. Силы у меня, говорит, уже не те, что были, и я часто в разъездах, мне в Москву, в Барнаул, в Казахстан еще надо ехать. Ставлю тебя моим первым заместителем. Входи в дела, принимай хозяйство. Надо глядеть вперед...» Я — что же? Я от работы бегать не научился. «Ладно, говорю, я согласный. Только при одном условии. Чтобы агрономическая политика за мной осталась. Значит, я и первый зам и главный агроном... И еще агронома мне дайте в помощники, как дублера». — «Все, говорит, Иван, так и сделаем, проводим реформу. Завтра еду в край, докладываю начальству».

Уехал, три дня его не было. Вернулся, меня не зовет. Ну, у меня своих дел хватает, без реформы. Потом планерку проводит, гляжу, видок у него неважный. Он вообще в последнее время начал сдавать. — все же годы и перегрузки сумасшедшие... После планерки говорит: «Останься, Иван». Поглядел вот так на меня, грустным взглядом. «Реформы, говорит, не будет, Иван». Он вообще-то мужик не особенно откровенный, но от меня ему нечего было скрывать: он по полям в шесть утра поедет, а я уже там, в полях... «Приехал, говорит, в Барнаул, дружков повстречал... Реформы не будет. Ехай в поля».

...Заглянул в гостиницу Антон Григорьевич Афанасьев, по всему виду — обрадовался неожиданному гостю. Иван Андреевич спросил у Антона Григорьевича — о хлебе. О чем же еще-то спрашивать? О здоровье? Так и здоровье — в хлебе.

— Как, Антон Григорьевич, много хлеба возить осталось?

— Да есть маленько... — Антон безмятежно улыбался.

— Так-то бы надо, по делу, — подыграл восходовскому председателю главный агроном «России», — создать в районе штаб на всю уборку и вывозку зерна, распределять людей и технику, по хлебу, между хозяйствами...

Антон Григорьевич крикнул.

— Да ничо. Бог не выдаст, свинья не съест.

9

Как-то раз варили уху — на Колыванском озере, зеленовато-карего цвета, в тальниковых, калиновых, жимолостных, смородиновых, таволожных, боярышниковых кустах. Сибирский писатель ночью ловил рыбу, от нас с драматургом никакого проку не было (никто его от нас и не ждал). Уху сварили в двух ведрах. Из ведер торчали хвосты линей, окуней — таких здоровых, какими лини и окуни бывают только в Сибири. Щуки поймались средние, как везде, тощеватые, костистые, зубастые, желтоглазые. Ловили рыбу местные люди разных профессий, объединенные общей страстью рыбачества, из которой проистекала общая у всех черта характера: артельность, покладистость.

В этом деле участвовали приглашенные председате-

ли: «Восхода» и «Красной гвардии» — Афанасьевы, старший и младший.

Тут я должен заметить, что младший Афанасьев за год взматерел и как-то обособился, стал самозначащей фигурой. Что с ним случилось? Да ничего особенного. Он проработал год председателем колхоза на Алтае. Была зима, с морозами и буранами, с подвозкой кормов к фермам, со снегозадержанием, строительством, партучебой, — долгая, бесконечная сибирская зима. Потом весновспашка и сев. Потом лето со зноем и засухой, уборка... Весь год председатель провел на юру, на семи ветрах, что-то в нем обозначилось, отвердело.

В этом засушливом году «Красная гвардия» собрала на круг по семнадцать центнеров зерновых с гектара. Старший Афанасьев порывался, как прежде бывало, похлопать младшего по плечу: «Давай, племяш!» Младший уклонялся от похлопывания. Из племяша он и сам вырос в дядюшку.

Уху, конечно, варили мужчины; женщины — жены рыбаков — здесь же, на берегу ночевавшие, такие же, как мужья, артельные и покладистые, варили картошку, сервировали постеленный на траву брезент, потчевали домашними соленьями и вареньями.

Едва улеглась первая радость удавшейся ухи, как приступили к главной повестке дня. Потянет Шахалевич или не потянет? Дотянет ли до Героя и депутата — председателю «России» это положено, такое хозяйство — или не дотянет? Что им руководило, когда соглашался? Почему не прошел Меркулов? Если бы прошел Меркулов, потянул бы он или не потянул? Можно ли вообще кем-нибудь заменить Шумакова?

Старший Афанасьев активно участвовал в обсуждении. Младший помалкивал, уху чуть пригублял. Какие-то в нем вынашивались, созревали свои, отдельные от дядюшкиных, взгляды на текущий момент и виды на дальнейшую жизнь.

Вспомнили любимую присказку Шумакова «Чей берег, того и рыба» — не только в том смысле, что здесь, на берегу Колыванского озера, рыба была Шахалевича, а теперь стала Кондрашкина, нового председателя колхоза имени Тельмана (прежде он был парторгом), но еще и в каком-то другом... Тут было о чем подумать.

Поднимался и такой вопрос: потянет Кондрашкин колхоз имени Тельмана или не потянет?

Когда мы ехали домой в Карамышево с Колыванского озера, широкой улицей села Саввушка, Антон Григорьевич указал рукой на двухэтажный дом в стороне от дороги, почему-то вдруг вспомнил:

— Вот в эту школу меня мама привезла из нашей деревни, из Варшавы, во второй класс. А сама уехала. Ага! Я как в классе остался — ну, ребяташки мне незнакомые, чужие — и заревел, ручьем залился. Вот стою и реву...

С кем не бывает в детстве. Да и не только в детстве...

Что-то такое было, витало в воздухе — общее настроение. Что-то грустно было в Змеиногорском районе в осень восемьдесят первого года. Умер один человек, а всем было грустно.

11

Перепадали дожди, образовалась смазочка на дорогах. Езда по степям стала другая, чем в летнюю пору.

— Что делают, чем думают?! — Антон Григорьевич вдруг даванул на тормоз. Машину повело... Был виден трактор, пахущий зябь. Защелкал тумблером рации. — Каменистый участок пахут. Лемеха поломают, а зябь вся непахана. Это же напоследок надо оставить, а они... Пока стояли, было тихо, только сороки трещали. Поехали — ветер завыл.

...Нахохленные девушки медленно, неохотно гребли лопатами зерно на току. Председатель что-то сказал девушкам, и они ему тоже что-то, без обычной игры, без улыбок. Зачерпнул горстью зерна, пожевал, сморщился, будто в первый раз попробовал. Вернулся в машину, похлопал себя по карману.

— Бумагу прислали из Рубцовского торгового техникума, просят отправить девчат на учебу. А кто работать будет?

В нехлебный нынешний год в «Восходе» собрали чуть ли не столько хлеба, сколько во всем районе. И, странное дело, этот убранный, свезенный на тока хлеб как будто никого не радовал. Уборочная отшумела, отлязгала, оттрепыхалась вымпелами и стягами; то, ради

чего она шумела, лязгала, трепыхалась — пшеничное зерно, — лежало на токах и мокло — под Карамышевым, Новокузнецовкой, Воронежем, Березовкой... И никаких красных обозов. Не поспешали на помощь «Восходу» соседи (некоторые из них едва собрали семена). Трудового накалу не наблюдалось, высоких темпов хлебосдачи в эту пору никто ни с кого не спрашивал. Председатель «Восхода», как одинокий степной волк, мотался по степи, от тока к току...

Ничего трагического или, как теперь говорят, экстремального в этой ситуации не было. Привычное дело: рассосется и нынешний большой хлеб...

После, когда начнут у Антона Григорьевича отниматься ноги и руки неметь, Полина скажет ему: «Зачем тебе больше-то всех надо? Сколько можно уродоваться?»

И всплывет в памяти шумаковская фраза: «У нас не принято особо нормы перекрывать...»

Антон задумается, крякнет, съездит куда-нибудь в Пятигорск или Трускавец, подремонтирует свой организм и будущей весной опять позже всех посеет, — и вырастит хлеб страшный...

12

Как-то нынче осенью в Змеиногорске мне попался навстречу второй секретарь горкома и объяснил причину большого хлеба в «Восходе».

— У них исключительно благоприятные условия — и лучшие земли в районе, и рельеф, микроклимат... Дождей выпадает больше, чем у соседей... И еще: у них всегда в загашнике неучтенная пахота. Все так делают. В этом нет криминала. В «Восходе» распахивают все, что можно пахать...

Я его и не спрашивал, он сам счел нужным именно это мне объяснить.

Рано утром, пока одно окошко светило в горкоме, у первого секретаря, я заглянул к Жусенко, мы с ним повспоминали о целинном времени. Он работал в те годы в Ключах, в Кулундинской степи. И я там бывал... Воспоминания о целине послужили предисловием к другому — главному разговору:

— Хлеб Афанасьев умеет выращивать. Механизаторы у него — старая гвардия, на них все держится. А вот

животноводство... — Жусенко глядел на меня с укоризной, будто я виноват в том, что животноводство в «Восходе» так и не перевели на индустриальные рельсы. — И с кадрами не умеет ладить...

Я не спрашивал у Жусенко про Афанасьева. Это он меня вразумил, наставил на истинный путь, остерег от увлечения...

13

... — Нет, ну я же ему говорю: ты давай поближе к народу, по отделениям, по бригадам, по токам, в производство вникай, в экономику, в агрономию. А он на планерке сядет по левую руку от меня, вроде, значит, мы с ним на равных... Говорить начнет — и понес ахи-нею. Сказать-то ему нечего. Я его обрежу, он обижается. После приходит: «Ты меня не поддерживаешь». Ну, а я что?.. «Ты, говорю, ставь вопросы конкретно, принципиально, по-партийному. Пусть тебя, говорю, массы поддерживают. Заслуживай авторитет у народа, председатель тебе не мамка родная, чтобы за сиську ее держаться». Я сам начинал секретарем парторганизации в колхозе, знаю, как это дается. А он в кабинете день просидит или с каким-нибудь плакатом носится, ко мне десять раз забежит: что делать, куда его повесить. И смех и грех. Машину ему дали: ехай по полям, будь вместе с народом. А он... в горком сгоняет, планы-отчеты свои к сроку представит, а толку — пшик! Теперь уходить собрался: «Не сработались с председателем. Председатель не умеет ладить с кадрами». А я и не буду с такими кадрами ладить...

Я привожу этот монолог председателя «Восхода» не для того, чтобы укорить — его словами — несработавшегося с председателем парторга. Дать слово парторгу — он тоже поди найдет, что сказать, почему не сработались...

Машина шла на подъем, колеса пробуксовывали. Навстречу сползал с угора груженный зерном «зиллок». И вдруг его понесло, развернуло. Попади под колесо камень — и не собрать бы зерна.

Афанасьев поговорил с шофером, ладно, шофер-то свой, удержал машину, не растерялся. На дороге осталась куча зерна сорокам с галками на потребу.

Сбегали в Карамышево, пересели с «Волги» на «уа-

зик», словно переобулись по дороге: стало сухо ногам и не скользко. Опять куда-то поехали — по степям, по горам, по токам, по свекольным полосам...

Покуда Антон помалкивал, я ему что-то рассказывал. Езда вдвоем на машине, при дальних прогонах, знакомой дороге и ненастной погоде, когда дали закрыты, небо затучено, дворники ерзают по стеклу, располагает к беседе.

Летом я ездил в Венгрию, побывал в совхозе под Будапештом. Ждал случая рассказать Антону... Совхоз выращивает зерновые: четыре тысячи гектаров пахоты; производит мясо, молоко. И еще в хозяйстве полсотни полупромышленных отраслей — промыслов: делают пуговицы, пробки, краны к пивным бочкам, выращивают и доводят до товарного вида хрен, перец, горчицу. Берут подряды на строительство дач. Занимаются автосервисом. Свиной раздают на откорм крестьянам, то есть продают по дешевке поросят, а принимают свинину — не жирную, беконную — за хорошую цену. Обеспечивают свиноводов кормами... В этом месте экскурсии по венгерскому совхозу я спросил у сопровождавшего меня заместителя директора, доктора Имре Дьердя (мне его так представили: доктор), не обрезают ли доходы сдатчикам мяса налогами или еще чем-нибудь. А то, на готовых кормах, при близко лежащей выгоде, вдруг кто-нибудь увлечется... Доктор Дьердь отвечал, что мясо они принимают у свиноводов анонимно, неограниченно. В Будапеште совхоз имеет четыре собственные торговые точки, сам торгует своим мясом, пуговицами, хреном, гвоздиками. Если конъюнктура на внутреннем рынке складывается не в пользу пуговиц, хрена и гвоздик, совхоз немедленно перестраивает промыслы, выбрасывает на рынок керамику, корицу и тюльпаны.

И еще — кролики. Кроликов тоже раздают крестьянским дворам, снабжают кролиководов кроличьей пищей и клетками, принимают тушки и шкурки. Крольчатину продают в Италию, там она пользуется спросом. На вырученную валюту покупают в Канаде быков-производителей. Порода такова (понятно, что теперь и коровы той же породы), что от каждой буренки надаивают по 6 000 литров молока в год. Коров кормят кукурузным силосом с большой добавкой зерна. Силос содержат в башнях, их покупают в Голландии, Англии. Коровы, конечно, на стойловом содержании, в комплексах,

но к помещениям для коров примыкают обширные выгоны; покуда часть стада в стойлах (на индустриальных рельсах), другая часть выгуливается, благодушествует, греется на солнышке, щиплет травку.

Да, еще, чтобы кончить про кроликов. Одних кроликов раздают по дворам, других выращивают — на мясо и шкуры — в благоустроенных, стерильно чистых крольчатниках с механической подачей кормов, с персоналом в белых халатах (персонала и не видно, — это нам выдали накрахмаленные халаты). Кролики симпатичные, мягонькие, красноглазые. Особенно хороши крольчата. К крольчатнику примыкает маленький зоопарк: клетки под навесом, в клетках рыжие лисы, белые горностаи, дымчатые песцы. О чем угодно мог я подумать при виде этого мирного сосуществования длинноухих травоядных и острозубых хищников, только не об экономическом расчете. Доктор Дьердь мне объяснил: «Мы привозим зверей из Советского Союза, кормим их крольчатиной: естественный отход неизбежен. После сдираем с них шкуры (с горностаев и лис) и продаем». Вот так: ничто не пропадает, даже дохлые кролики.

В совхозе под Будапештом крепкие партийная и комсомольская организации, профсоюз и еще постоянно действует женсовет — важный орган, не только отстаивающий интересы женщин, но и влияющий на мужские дела, смягчающий, облагораживающий и даже возвышающий до поэзии прозу хозяйственного расчета.

Плановое задание сверху не включает в себя ни посевные площади, ни специализацию, ни культуры, ни вал, а только ежегодную чистую прибыль, производительность труда, количество продукта на работника в денежном исчислении. За перевыполнение плана хозяйство премируется...

Антон Григорьевич слушал вполуха, помалкивал. Видно было, что в нем накапливается, созревает сюжет для собственного короткого рассказа.

Утром я сидел в кабинете у Афанасьева. Постучали в дверь и сразу явился парень, грудь колесом, в сапогах, в нейлоновой куртке. Остановился на почтительном от председателя расстоянии. Двумя руками мямл кеп-

ку, прижатую к пупку, на голове торчали во все стороны вихры.

— Антон Григорьевич, — стесняясь, улыбаясь, чему-то радуясь, притопывая ногами, начал парень, — отпустите меня домой на недельку. У меня сын родился. — В этом месте речи парень пролил из своих конечно же светлых глаз целую бадейку глупого счастья. — Я на хлебовывозке с первого дня... — Парень больше не знал, что сказать.

Афанасьев внимательно, пристально глядел на парня, самую малость осклабился.

— Сын, говоришь?

— Парень! — еще больше обрадовался возчик хлеба.

— Имя придумали?

— Не-а... Домой приеду, вместе с женой сочиним.

Антон Григорьевич сделал долгую паузу. Проситель все не мог совладать с улыбкой.

— Дак а чего ты спешишь-то? — сказал председатель обыденным скучным голосом. — Оно же еще неосмысленное, твое дитя. Только слюнки пускает...

Парень все улыбался.

— Хлеб вывезем, вот тогда... — Председатель набылся.

Парень вышел.

Следом за ним как на крыльях влетел главный строитель — тоже парень, новенький, видно прямо из института. Принялся излагать председателю свою идею наискорейшего устройства в Қарамышеве канализации:

— Ведем водопровод, чтобы еще раз канавы не копать... Посмотрите, Антон Григорьевич, это план, это смета...

Председатель надел очки, сделался раздраженным. Откинул бумаги.

— Это не главное. Поживем так, как жили.

Главный строитель ушел потухшим. А ведь горел. Позитив на глазах превращался в негатив, что противно законам фотографии, а у людей бывает. Антон Григорьевич должен бы был... ну конечно, дать неделю отгула юному счастливому отцу. Протянуть руку главному строителю: «Давай-ка, мой юный друг, отвлечемся от неизбывных проблем хлебосдачи, проложим канализацию в Қарамышеве, пускай наши заслуженные хлеборобы поблагодужествуют наконец-то в теплых сортирах и помянут нас добрым словом...»

Может статься, председатель «Восхода» что-то забыл, потерял, израсходовал — человеческое — в вечной гонке за пудами, центнерами, тоннами?

Или это я по-другому вижу замечательного председателя передового по хлебу колхоза «Восход» — освещение изменилось?..

Скорее всего, так и должно быть у замечательного председателя в передовом колхозе. Иначе большого хлеба не взять. Да и вообще в Сибири обходятся без сантиментов. Подумаешь, народилось дитя...

15

Антон Григорьевич опять, как и в прошлом году (и позапрошлом, и пять лет назад), привез меня на аэродром, поставил машину на краю поля. Тот же самый сивый дедушка в аэрофлотской фуражке выписал мне билет до Барнаула. Мы опять залезли с Антоном в машину, остались вдвоем. Что-то нам надо было сказать друг другу, не говоренное до сих пор... Антон знал — что... Я его изучал как явление нашей действительности, как человеческий и социальный феномен, как будущего положительного героя моих сочинений. И он меня изучал. Посмотрел мне в глаза:

— Ты не журишь. Наше дело правое. За прошлый год мне дали второй орден Ленина и Золотую медаль ВДНХ. По итогам этого года — знамя крайкома и крайисполкома. Это точно! И еще, наверное, знамя ЦК, Совета Министров, ВЦСПС, ЦК комсомола...

16

С целинных времен мне запомнилась частушка-прибаутка. Целинники сами ее придумали, переживая в степи, в палатке, февральский буран: «Закутило, замутило, где кого прихватило, там и сиди».

Да так закутило, так замутило... В Барнауле двенадцать ниже нуля, третьи сутки выюга. И по всему Алтаю тоже... А еще только октябрь начался...

Ресурсы, сроки гостеприимства у моих барнаульских друзей в отношении меня исчерпаны. Даже им не звоню. Сажу в гостинице Барнаульского аэропорта, у открытой настежь форточки, вдребезги простуженный. А закроешь форточку — ни хрена не услышишь. Голос

информатора двоит, троит, вьюга воет. Белым-бело. Слова улавливаю, чисел не разбираю.

— Рейс номер... отменяется ввиду неприбытия самолета.

— Рейс номер... откладывается до двадцати трех часов московского времени.

Судорожно занимаюсь сложением: двадцать три плюс четыре — сколько будет? Ум заходит за разум.

— Все полеты по Барнаульскому аэропорту отменяются по условиям аэропорта до двадцати четырех часов...

— Объявляется посадка на рейс номер...

Чертовски двоит, сносит голос...

Хватаю пудовую сумку — в ней колыванские камешки, — бегу, задыхаюсь, врываюсь в двери вокзала, ищу табло. Нет, не те цифры. Тащусь обратно в гостиницу.

Закутило, замутило, где кого прихватило, там и сиди.

Однажды решился съездить в город. Сел в такси. Шоферу на вид лет сорок пять.

— Куда поедет, отец? — шофер у меня спрашивает. Неужто я так постарел за трое суток пурги?

17

В Москве теплынь, плюс восемнадцать ночью. Шуршит листва под ногой.

Вместе со мною в такси садится студент из Гамбии. Учится в Московском университете, на географическом. Дрожит как осиновый лист:

— У нас жарко. У вас холодно. Не могу привыкнуть.

— Тебя бы, мальчик, в Сибирь...

— Сибирь? Бр-р-р! Холодно!

Остаток ночи досиживаю на Ленинградском вокзале. В седьмом часу выхожу на Садовое кольцо — подышать, размяться. Прохожих почти нет, воскресенье. Идет навстречу седенький старенький москвич. Остановился против меня.

— Вы, наверное, кушать хотите?

— Хочу. Откуда вы знаете?

— У вас вид печальный. Вот так идите до первого перекрестка, потом налево, улицу перейдете, направо свернете, там — три ступеньки в подвальчик — буфет. Он рано открывается, в нем доброкачественные молочные продукты.

И правда, хорошие продукты: ряженка, рисовая каша, кофе сладкий, горячий, булочка свежая с сыром. Что еще человеку надо?

И была ли вьюга? Ведь впереди еще целая осень, и дождь, и вёдро.

Все хорошо было в эту осень в колхозе «Восход», как и в прошлую осень. Переходящие знамена достались тому, кто их заслужил.

Только ранняя вьюга завывала, до срока...

Это бывает в Сибири: снег в октябре.

ХЛЕБА ПОДГОРЕЛИ

1

В небесах погромыхивало, бродили грозы. Небо захмуреет и просветлеет, как мужнино лицо... Бывало, Антон Григорьевич Афанасьев жене Полине Николаевне: «Ну ты че? Мы же спешим!» Жена подхватится: «Я думала...» Муж отойдет: «Ну ладно...»

Все так и поныне в семействе Афанасьевых в просторном их доме в Карамышеве. Пять лет прошло... И все не так. Утром Антон Григорьевич отпирает своим ключом колхозный гараж, это ему пока разрешают — держать служебную машину в восходовском гараже. Пока... Машина заводится не вдруг, это старый-престарый, чуть ли не времен освоения целины ГАЗ-69. Шофер Петр Никитич молча смотрит, как бывший председатель «Восхода» выгоняет свою колымагу, запирает ворота, садится за руль. Он едет в Змеиногорск, проезжает центром этого прихотливо устроившегося меж гор в распадках городка, берегом озера выруливает на тракт, ведущий в Барановку. Там, на окраине Змеиногорска, контора и небольшой поселок совхоза «Янтарный». Антон Григорьевич Афанасьев теперь директорствует в этом плодово-ягодном хозяйстве.

Директор в «Янтарном», в отличие от председателя «Восхода», работает «от и до» (можно и после «до», никто не препятствует, но не принято). Особой страды, как в зерновых хозяйствах, тут не бывает: малина, черная смородина, крыжовник, облепиха наливаются мед-

ленно, когда приходит их срок, от уборщиков нет отбоя; убирают исполу — долю совхозу, толику себе. Яблоки нынче не уродились: зимой померзли; и вишни реденько висят в совхозном саду, как лампочки в Новый год на общественной елке...

Понятно, что все это я пишу как очевидец: летом 1986 года приехал в Карамышево, пять лет спустя... До жатвы оставалась неделя.

С директором «Янтарного» мы объехали уголья совхоза, углублялись в малиновые, черносмородиновые заросли, но почему-то не увлеклись: у совхозной ягоды другой вкус, чем у домашней... Директор все же усек двоих собирателей смородины, заподозрил в них браконьеров... Или ближе к истине: номинальный хозяин сада принял меры против гипотетических воров. Проверил документы, — оказалось все чисто, ягоду брали по оформленным в совхозе накладным.

Поскучали в ягоднике, заглянули в только что построенную оранжерею; в ней повышенной влажности воздух — морось, туман; в грядках саженцы вишен — новое дело, новым директором затеянное; его плоды в туманной дали. Ну, что еще? Цех безалкогольных напитков: откуда-то, чуть не из Азербайджана, привозят эссенцию, здесь разбавляют, разливают по бутылкам — «тархун». Отведали «тархуна»; сладко, много не выпьешь. «Тархун» разливают по мере надобности: завтра в Змеиногорске отмечают 250-летие рудного дела в здешних местах, съезжаются отовсюду гости. Уже воздвигли на площади памятный камень...

Афанасьев спервоначала приналег — со всей своей завидной силушкой — на главное экономическое звено: производство плодоягодного винишка, на сбыт сего продукта... В то время, помню, посмеивался: «Становлюсь негоциантом...» Но и тут не судьба: общественная потребность в вине вдруг отпала.

По счастью (или по несчастью), дел в «Янтарном» хватало: строительство, соцкультбыт, агрономия — капитально запущенные. И еще небольшой клин под зерновыми. К этому полю новый директор отнесся с тем же тщанием, как, бывало, в «Восходе», возделал его по «интенсивной технологии», насколько позволили база и кадры «Янтарного». И кадры тоже предстояло, мягко говоря, переориентировать...

В 1982 году, после выхода в свет моих алтайских до-

кументальных повестей под общим заголовком «По тропинкам поля своего», я получил два письма — читательских отклика — от старого директора «Янтарного» Белоусова. Он укорял меня в том, что... я не того выбрал героя для повестей, следовало писать о Шумакове, Афанасьев на героя не тянет. Я отвечал, что каждый пахарь и сеятель на ниве, особенно на Алтайской, достоин пера. И что все взаимосвязано, одно зацеплено за другое в хлебном конвейере. Взаимопонимания у меня с Белоусовым так и не возникло.

Разбирая бумаги прежнего директора «Янтарного», Афанасьев прочел и черновики его писем ко мне (письма перепечатывала секретарь-машинистка). И ничего, посмеялся.

Кстати, об упомянутом клине зерновых в «Янтарном»... Когда-то он послужил камнем преткновения (одним из камней) в сосуществовании двух председателей сопредельных колхозов. В моей алтайской папке хранится копия письма (заверенная) Шумакова тогдашнему секретарю крайкома по сельскому хозяйству. Письмо писано в 1977 году. Привожу выдержки из письма, дабы пролить свет на характер отношений между двумя председателями.

«Я пишу Вам эту записку, поймите меня правильно, не из каких-то корыстных побуждений, а просто, говоря шутя, чтобы восстановить «историческую несправедливость».

Я хорошо видел поля колхоза «Восход», видел и знаю, какой у них урожай в этом году, был бы не более как по 16, ну, самое большее 17 центнеров с гектара.

И каково же было мое удивление, когда я увидел, и не верю своим глазам, что у него урожай 21 центнер с гектара...

И когда я начал разбираться дальше, то случайно установил, что за него по указанию т. Резникова В. Ф. и председателя райисполкома Бубнова И. К. сдают хлеб государству совхоз «Янтарный» — несколько тысяч центнеров и СПТУ-16 — со своего подсобного участка и все это он приходуется как намолоченный хлеб со всех полей и включает в свою урожайность...

Таким образом, учитывая все нижеперечисленное, за счет этого он нагнал урожайность на несуществующих четыре с половиной центнера на гектаре. Для чего? Почему?

Нашим лозунгом всегда было, есть и остается — и гектаров больше и урожайность выше, а ему до гектаров фактически дела нет. Ему нужен рекорд, ему нужна слава, за которой он гоняется, как черт за ведьмой, причем самыми грязными и нечестными путями.

Поверьте мне, говорю Вам от чистой души и сердца, что славы лично для меня и для колхоза достаточно, даже больше чем достаточно.

Но почему мы идем честным путем к этому, берем ее горбом, а где умишко позволяет, и умом, а почему руководство колхоза «Восход» идет к этому не с парадного входа, а с черного входа?..»

Далее приводятся примеры захвата восходовцами земель, принадлежащих «России». Говорится об этом в той же интонации, как, скажем, писали о захвате американским империализмом Гренады. И — ставится вопрос ребром:

«Конечно, колхоз «Россия» — не «Янтарный», мы взыщем через суд за все годы, что он взял с нашей земли, но к этому добавить нужно, кто таков Афанасьев?

Как человек, как коммунист, как руководитель...

Здесь мне хочется понять, нельзя ли у них — «Янтарного», СПТУ-16 — забрать земли и передать нашему колхозу, т. к. она им ни к чему...

Извините меня, но я буду все-таки утверждать, как утверждал Галилей, что Земля вертится, что в колхозе «Восход» не может быть урожайности более, ну, на самый худой конец, 18 центнеров с гектара.

Я верю в то, что товарищ Жусенко наведет порядок в районе, так как он взялся его наводить. Он разберется, кто таков Афанасьев...»

Понятно, что по такому письму учредили комиссию. У меня есть и справка комиссии, вот ее заключительная строка: «Комиссия установила, что фактическая урожайность по колхозу «Восход» составила 21 центнер с гектара». Ни малейшей приписки комиссия не обнаружила. Справку подписали народный контроль, главный агроном крайсельхозуправления, главный землеустроитель, главный бухгалтер. Участвовал в комиссии и главный агроном «России» Меркулов...

Действие однажды поданного «сигнала» если и прослеживается в отчетности, то никак не предсказуемо в смысле затраты нервов, бурления самолюбий — все это безразлично для судеб действующих лиц...

Но для чего, для чего, нас спросят, ковыряться в пожелтевших бумажках? В то время как — поглядите! — поспевают хлеба на всей алтайской степи — страшная сила хлебов! И такая стоит тишина на ниве в канун жатвы, как, может быть, перед боем в войну. А и боя не будет! Хлеб ляжет наземь без крови, без стога, с благоуханным вздохом облегчения. Сладостный хлебный запах соединится с горьким полынным духом...

Но мы ведем нить рассказа издалека. Нить — плетение человеческих судеб: как завязалось, куда повело. Так что лучше держаться фактов...

2

Вспомним, что осенью 1981 года секретарь Змеиногорского горкома Жусенко привез в Барановку Шахалевича — рекомендовать его председателем колхоза имени Шумакова. Шумаковцы от себя выдвинули в председатели главного агронома Меркулова, но горком настоял на своем: поработали с партгруппой, должным образом представили Шахалевича общему собранию, переголосовывали дважды, пересчитывали руки, наскребли необходимое большинство.

И председатель ничем не знаменитого колхоза имени Тельмана в деревне Саввушке на берегу Колыванского озера Петр Никитович Шахалевич переместился в самое передовое по всем статьям хозяйство в крае, заступил на место легендарного Ильи Яковлевича Шумакова...

С чего он начал? Говорят, что с расставания с главным агрономом... Впрочем, Меркулов и сам не стал дожидаться инициативы нового председателя. Ему без труда приискалось место в краевом центре: главным агрономом крайсельхозуправления. Авторитет агронома был им заработан на полях колхоза «Россия»...

В начале восьмидесятых в Змеиногорском районе некоторым вдруг захотелось решительно сократить дорогу к авторитету. Взятая первым секретарем горкома Жусенко (и поддержанная в крае) «ставка на фаворита» самым пагубным образом сказалась на нравственном климате в районе. «Второго Шумакова» из Шахалевича не получалось, приходилось его авторитет искусственно поддувать. Теперь об этом легко говорить, можно вещи назвать своими именами. А тогда...

Честному руководителю хозяйства в сложившейся обстановке, особенно по соседству с колхозом имени

Шумакова, становилось неважноту. «Не сработавшему-ся» с Жусенко Афанасьеву надо было иметь крепкие нервы, чтобы нормально существовать на посту председателя «Восхода». С ростом урожайности возрастал план хлебосдачи — «от достигнутого» — надо было тянуть. И тянул! Однако тучи сгущались над головой восходовского председателя. Большой восходовский хлеб почему-то не помогал.

Неожиданно был смещен с должности председателя колхоза «Память Кирова» Николай Михайлович Бадулин, отдавший всю жизнь родному колхозу. Бадулину оставалось до пенсии — самая малость, но доработать ему не дали. Как это бывает с людьми, приросшими к делу, Николай Михайлович не вынес отлучения, вскоре занемог и умер.

Антон Григорьевич Афанасьев пережил гибель друга как тяжкую личную потерю: бывало, махнет полями в Корболиху, посидит с другом за бадулинским пивом — другого такого в крае нет, — отведет душу, поделится наболевшим и друга ободрит, тому тоже нужно. И можно жить дальше...

В 1982 году в «Алтайской правде» напечатали статью «Зависть»...

В статье содержится острая критика моих алтайских повестей: «Легкий полевой обед», «Ранняя вьюга». Ну что же, это в порядке вещей: мало кому из пишущих по живому или хотя бы близко к действительности не довелось испытать на собственной шкуре карающий пафос задетых, отображенных не так, как бы кому-то хотелось, или не отображенных. Зачастую обида произрастает по недоразумению: не так поняли автора или совсем не читали, кто-то что-то сказал. Но все равно...

Здесь к месту вспомнить, как больно пережил Василий Шукшин злопыхательскую критику на его фильм «Печки-лавочки», исходящую якобы от земляков-алтайцев. В статье «А времена меняются...», напечатанной в «Алтайской правде» в 1973 году, говорилось, к примеру, такое: «Мало, до обидного мало, в фильме новых черт и явлений, присущих людям современных колхозов и совхозов, которые могли бы служить примером для зрителей... Жаль, что Шукшин не услышал подлинного голоса сегодняшнего алтайского села». Чувствуете абсолютную глухоту автора «отклика земляков» к языку искусства, к нравственному уроку, преподан-

ному нам — именно мощью искусства Шукшина — в фильме «Печки-лавочки»? Под статьей «А времена меняются...» та же подпись, что под «Завистью».

Критический пафос в статье «Зависть» опирается на выступление секретаря парткома колхоза имени Шумакова Бобровского на пленуме творческих Союзов в Барнауле (дело было в 1982 году). Понятно, что выступление парторга не литературно-критическое... Правду о кадровой политике, проводимой Змеиногорским горкомом КПСС, сеющей раздор в среде председателей колхозов, которую я пытался воспроизвести в моих документальных повестях — в меру допустимой тогда гласности, — квалифицировали как клевету на... Илью Яковлевича Шумакова.

Вот как об этом сказано в «Зависти»: «Те, кто живут и работают в колхозе имени И. Я. Шумакова, написали гневную отповедь Горышину, назвав его клеветником. Об этом говорил на объединенном пленуме правлений краевых организаций творческих Союзов секретарь парткома колхоза имени И. Я. Шумакова В. Г. Бобровский. Это с возмущением восприняли участники пленума — писатели, журналисты, архитекторы и артисты, те, кто по-настоящему любит Алтай и его людей, кто стремится увековечить все лучшее, что было, есть и будет в нашем крае, кому не по душе, когда обливают грязью нашу действительность, нашу гордость». И так далее. Спорить тут автору повестей не с кем, повести мало кто прочитал: подписчиков «Звезды» на Алтае», я узнавал, не густо. Речь шла не о литературных сочинениях как таковых, а о чем-то другом.

«Зависть» обязали перепечатать во всех районных и городских газетах Алтайского края, дважды передали по радио. Называть тех лиц, которые тогда заваривали кашу, сейчас нет проку: «иных уж нет, а те далеке». Даже парторга Бобровского на отчетно-выборном собрании в 1983 году коммунисты колхоза имени И. Я. Шумакова прокатили начисто.

Узел завязывался туго — по тем временам. Против кого узел-то? Обвинение автора повестей в клевете однозначно снималось при внимательном чтении текста оных. Виноватым — по разумению автора статьи «Зависть» — оказывался... председатель передового в крае по хлебу колхоза «Восход» Афанасьев. В чем же он виноват? Двадцать лет кормил нас хлебом насущным, ни

разу не поступился ни в чем хлебобобской честью, получил самые высшие награды родины: два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»... И вдруг его обвинили... в зависти. Уму непостижимо, но факт...

Обвинительный пафос статьи зиждется на примитивном представлении ее исполнителя об отношениях между взявшими на себя честь и бремя лидерства на хлебной ниве. Предложена следующая схема: один председатель колхоза позавидовал другому, более передовому, заслуженному, увенчанному. Своих силенок сравняться с передовым по всем статьям не хватило. Тут подвернулся писатель, завистник писателя охмурил: покатал его по красивым местам, попотчевал на пикнике, даже помылись однажды в бане — и дело в шляпе. Писатель завистника воспел, тем самым истинного героя принизил. Все проще пареной репы.

Что поразило меня в статье «Зависть», так это какая-то петушинная заносчивость исполнителя, вопящего на весь край благим матом, сеющего дурную славу о честном истовом хлебобобе, своем земляке.

Некоторые места в «Зависти», при всем ее запредельно-ненавистническом тоне, вызывают улыбку.

Антону Григорьевичу Афанасьеву в ту пору было не до улыбок. Держался он хорошо, как подобает сильному мужчине, сибиряку. О «Зависти» и прочих таких вещах, как я помню, ни разу разговора не заводил. Свою правоту признавал только в деле, которому служил.

Но ведь живой человек. И со здоровьем стало неважно, зачастил по больницам. Когда помер директор плодово-ягодного совхоза «Янтарный» Белоусов, Афанасьев попросился на его место. Объединение совхозов приняло с распростертыми объятиями такой кадр. В районе и крае тоже не стали спорить. Многоопытный алтайский зерновик превратился в начинающего плодоягодника. Вот такая история, есть над чем поразмыслить. Какие сомнения, раздумья, душевные муки предшествовали этому поступку Антона Григорьевича Афанасьева, если кто знает, то разве что его жена Полина Николаевна.

Я только знаю, то за новое дело Антон принялся со свойственным ему веселым азартом: чувство юмора не изменило ему. Да и то: ведь каждому смертному надо однажды решиться, достигнув известных лет, по доброй

воле уйти из обжитого желанного кабинета. Тут мне могут заметить, что бывают и исключения. И я соглашусь...

Директорский кабинет в «Янтарном» много скромнее, чем председательский в «Восходе». Но это — солнечный кабинет, всем доступный; в нем улыбаются, шутят — сам видел, — решают дела и спорят, повышают голос, жмут на любимые мозоли, как всюду. Дел хватает. Алтай славен хлебом, а еще медом, целебной ягодой облепихой, малиной, смородиной. По веснам в алтайских садах зацветают яблони и вишни. Профессия садовода в чести.

Чем славен Алтай, так это добрыми людьми, возделывающими святую алтайскую ниву.

3

18 ноября 1983 года в «Правде» была напечатана статья собкора по Алтайскому краю Виктора Сапова «Тайным голосом». В ней дан анализ положения дел в колхозе имени И. Я. Шумакова при новом председателе, по истечении двух лет его председательства (всего двух лет!). В. Сапов и в прежние годы, как каждый честный, с общественным темпераментом журналист, пристально вглядывался в дела и судьбы змеиногорских председателей. И вот — «Тайным голосом...» «Пришел новый председатель, и отлаженный механизм стал давать перебои. Возьмем, к примеру, растениеводство. В нынешнем году здесь собрали на круг по 27,6 центнера с гектара. Рубеж, казалось бы, высокий. Но Змеиногорский район — это не Кулунда. Здешнюю зону нередко именуют «Сибирской Кубанью». Почвы плодородные, и погода благоприятствует. Урожаи тут получали гораздо выше».

И далее.

«Немало резервов имеется в животноводстве. На развитие этой отрасли колхоз истратил много средств. Построены комплексы — молочный, для выращивания свиней. Но в этих современных зданиях царит антисанитария. В результате большой падеж скота. В прошлом году из-за болезни животных молочный комплекс практически лишился стада».

Сказано в статье и о методах, которыми районные и другие власти пытались взбодрить показатели теряющего лицо хозяйства.

«Скостили колхозу и план по зерну под видом перевода его в ранг семеноводческих хозяйств. В итоге, имея на четверть больше пашни, чем соседний колхоз «Восход», тут в равных с ним условиях без особого труда выполняли два плана сдачи зерна государству. Тогда как в «Восходе» едва справлялись с одним. А это уже влияет на настроение людей в других хозяйствах района».

Если назвать вещи своими именами — так и поступил собкор «Правды» В. Сапов, — в этом корень всех зол, повлиявших не только на настроение, но и на судьбы некоторых честных тружеников в Змеиногорском районе: выборочный подход в кадровой политике, попустительство, местный фаворитизм, своевласть при демократии на нуле, отсутствие гласности. В развитие сказанного еще процитирую статью «Тайным голосом». «В районе решили оказать виновным в бесхозяйственности помощь. Причем своеобразную. Чтобы не упали общие показатели, колхозу скорректировали план по молоку в сторону уменьшения. Под предлогом стихийного бедствия».

Статья В. Сапова вызвала такой отклик, как ни одна до сих пор. Хотя... о Шохалевиче писали в «Правду» еще в бытность его председателем колхоза имени Тельмана и потом, когда он стал председателем колхоза имени Шумакова.

Летом 1986 года я зашел в корпункт «Правды» в Барнауле. Виктор Сапов дал мне почитать корреспонденцию из Змеиногорского района. На чтение ушла незаметно вся ночь (ночи были тогда короткие). Хочу привести выдержки из писем змеиногорских сельских жителей: письма писаны для того, чтобы... ну да, чтобы увидеть свет, в надежде на гласность. Они посвящены тому же предмету, который занимает меня в моих хождениях по предгорным степям западного Алтая. Только под другим углом зрения.

Вот письмо колхозников колхоза имени Тельмана, написанное в 1982 году, вскоре после перехода П. Н. Шохалевича из колхоза им. Тельмана в колхоз им. Шумакова. Письмо на двенадцати страницах убористым почерком. Начало опускаю.

«Считаем своим долгом и правом в своем письме сообщить Вам о деятельности некоторых руководителей и специалистов нашего хозяйства. Главный из них — это бывший председатель нашего колхоза Петр

Никитович Шахалевич. В колхоз он пришел в марте 1969 года — председателем колхоза. С его приходом в течение нескольких лет дела в колхозе заметно изменились в лучшую сторону. Поднялась трудовая дисциплина, был объявлен бой пьяницам и лодырям, улучшились учет и сохранение материальных ценностей, сократились случаи воровства колхозного добра.

Люди поверили и пошли за ним. Колхоз из отстающих стал выходить в средние хозяйства, стали больше уделять внимания развитию всех отраслей колхозного производства. Шахалевич много сил отдавал для развития колхоза. По 15 часов в сутки находился на ногах. В 1972 году колхоз твердо стал на ноги, продав государству два плана зерна, и, конечно же, Шахалевич как председатель колхоза завоевал авторитет как в колхозе, так и в районе, и авторитет этот был заслуженный. Достигнув этого, Шахалевич стал злоупотреблять как своим авторитетом, так и своим положением.

Пренебрегаемость к критике, грубость и бестактность с кем бы то ни было, даже с учителями его и наших детей. Из-за чего много прекрасных тружеников вынуждены были уехать из колхоза».

Далее речь идет о злостном головоутиении, махинациях и мошенничестве в недавнем прошлом уважаемого председателя. Заключались сделки со строителями из южных республик. Недоделанные объекты вскоре разваливались. Деньги платились бешеные, безотчетные. Шла чехарда с покупкой-продажей автомобилей — председателю и его родне. И многое другое.

«В 1980 году Шахалевич начал строить себе особняк, правда, деревянный, но обложенный кирпичом. К августу 1981 года это строительство было закончено. В результате получился особняк из 6 комнат, с теплым двором, где предусмотрено даже автопоение, баня и кирпичный гараж. Все кругом заасфальтировано и обнесено сплошной оградой. Все лето 1981 года Шахалевич держал на отделке своего дома плотников, сантехников, электриков, тогда как многие объекты животноводства остались к зиме неподготовленными. Причем материалы для своего дома Шахалевич приказывал списывать на другие объекты.

В 1979 году на берегу озера в живописном месте был построен 4-комнатный дом с баней, который у нас сразу окрестили кафтановской заимкой. На этой даче

стали устраиваться приемы и угощения в честь контролеров, ревизоров и лично знакомых Шахалевичу людей. Причем все это бесплатно как для тех, кто приехал, так и для тех, кто встретил. И вот уже на протяжении двух лет на этой даче по поводу и без повода пропиваются колхозные деньги, которые списываются на общественное питание и другими способами».

Затем приводится архикурьезная деталь.

«В 1979 году по настоянию Шахалевича в конторе колхоза шабашниками из Новосибирска была установлена за 1200 рублей самодельная селекторная установка, позволяющая прослушивать любой кабинет из кабинета председателя. И случайно (так ли уж случайно? — Г. Г.) одним из нас, диспетчером Ермоловым, был записан на магнитофонную пленку разговор... Речь шла об оформлении и получении 1000 рублей незаконным образом с участием Шахалевича. Эта пленка у нас имеется».

Прямо как в басне Крылова «Ворона и курица»:

Так часто человек в расчетах слеп и глух.
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп.

Авторы письма тут же оговариваются.

«Шахалевич умный и расчетливый человек. Все, что ими делалось незаконно, они очень аккуратно оформляли документально».

Это важный штрих в социально-психологической характеристике бывшего председателя колхоза им. Тельмана, бывшего (я забегаю вперед) председателя колхоза им. Шумакова.

Привожу заключительную, резюмирующую часть письма:

«Пользуясь безнаказанностью и даже поддержкой отдельных руководящих лиц района, и даже края, Шахалевич превратился в хозяина колхоза. Его девиз — хоть и плохо, но по-моему — нанес очень много вреда колхозу. И этот человек после преждевременной смерти председателя ордена Ленина колхоза «Россия» товарища Шумакова И. Я. — передового не только в крае, но и в стране, — по настоятельной рекомендации ГК КПСС Змеиногорского района избирается председателем этого колхоза, хотя его там большинство колхозников не хотели. Ведь такие люди, как Шахалевич, уби-

вают в человеке все самое светлое, доброе, подрывают авторитет нашей партии коммунистов, отрицательно влияют на воспитание нашей молодежи».

Под письмом семнадцать подписей.

Письмо писано до выхода в свет статьи В. Сапова «Тайным голосом». Статья эта самым существенным образом повлияла на дальнейший ход событий в Змеиногорском районе, угодила в самую болевую точку. Читательские отклики на статью однозначны по сути, но в каждом из них еще и характер-судьба взявшего в руки перо. Вот, к примеру.

«Колхоз им. Шумакова в с. Барановка и самого т. Шумакова знал еще 20—25 лет тому назад. Знал, что колхоз им. Шумакова, как кузница кадров, давал руководителей району.

Все это время следил за успехами колхоза и радовался им. А в 1971 году я написал реферат на тему: «Изменения в социальной структуре общества. Дальнейшее укрепление единства советского народа». И как пример стирания грани между городом и деревней привел колхоз «Россия».

И вот прочел статью т. Сапова «Тайным голосом» и был до глубины души возмущен глумлением над памятью Героя Социалистического Труда Шумакова, над созидательным трудом колхозников колхоза «Россия» — им. Шумакова. Кому понадобилось ставить председателем в такой колхоз человека, скомпрометировавшего себя в другом хозяйстве? Как мог Шахалевич на глазах райкома и райисполкома порочными методами руководства вести дело к развалу такого крепкого хозяйства?

Так была заглушена критика в этом хозяйстве, что люди боялись высказать вслух свои мысли, суждения о недостатках, т. к. после критики им бы пришлось уйти с родных мест. Такое руководство подавило у колхозников веру в торжество справедливости, а в коллективе начался обратный процесс социалистической цивилизованности.

Я как коммунист, как гражданин предлагаю партийным, советским органам расследовать это уродливое явление в колхозе им. Шумакова и наказать виновных лиц, не считаясь, какие бы высокие посты они ни занимали.

Д. Ананьин

1915 года рождения.

Ветеран войны и труда».

Это — отклик-порыв, всплеск гражданских чувств «незаинтересованного» лично человека. А вот что писали в корпункт «Правды» из колхоза им. Шумакова.

«Извините, не знаем Вашего имени-отчества. Обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в справедливости.

Когда вышла Ваша статья в «Правде», за день-два ее все прочитали и поняли так, как она дошла до наших умов. Что же стал делать Шахалевич? С первого же дня он стал опровергать написанное. Проводит собрания по участкам, совещания — и везде льет грязь в Вашу сторону. Вот, например, 25. XI в 17.00 Шахалевич собрал в зале заседаний главных специалистов, среднее звено, начальников участков, там были и врачи, и учителя, и культработники. Начал с того, что я же Сапова знаю с давних времен, он у меня был в Саввушке, обедали с ним за одним столом, вместе мылись даже в бане. Вы будто бы очень хороший друг А. Г. Афанасьева, и вот еще тогда предлагали мне (Шахалевичу), чтобы я с Афанасьевым шел против вашего колхоза и т. Шумакова, но я не согласился, и с тех пор Сапов на меня затаил зло. А сейчас Вы будто бы работаете совместно с И. А. Меркуловым против него. Вот так стоит и обливает грязью не только Вас, но и ряд руководящих в крае работников. Говорил много и все в свое оправдание, что статья лживая...»

Как видим из сказанного в письме шумаковцев, обвинительные аргументы в адрес В. Сапова — автора статьи в «Правде» «Тайным голосом» — у Шахалевича те же, что в свое время у исполнителя статьи «Зависть»: простенькая триада — баня, прием пищи, дружба с Афанасьевым. Как будто писатели и корреспонденты дома ходят голодные и немытые, в Змеиногорский район едут, как к теще на блины. И еще письмо из колхоза им. Шумакова свидетельствует о том, что председатель одного колхоза решительно потерял ориентацию не только во времени, в котором живет, но и в пространстве села Барановка. Однако почитаем дальше письмо шумаковцев.

«Мы сидим, все понимаем по-другому, а сказать не решились, т. к. нам кажется, он будет работать, а нам тогда надо куда-то уезжать. У него много власти, он злопаметный. У нас уже некоторые пострадали из-за того, что голосовали при выборах председателя против, например, Меркулов, Высоцкий, Литвинов. Это все ведущие

работники в нашем хозяйстве, поставлены И. Я. Шумаковым. Наш председатель не любит правду, он любит подхалимов, как Бяков. Тот все, что слышит и видит, не стесняясь, доносит ему. И Бобровский активно взялся прорабатывать Вашу статью... Просим Вашей помощи, уважаемый корреспондент, чтобы такие, как Шахалевич, Бяков, Бобровский, не стояли у власти...»

Подписи есть, но неразборчивые, впрочем, как и почерк писавшего письмо. И еще одно письмо из Барановки.

«Мы, колхозники колхоза им. И. Я. Шумакова, до глубины души возмущены предательским поведением Шахалевича. Он нам говорит, что то, что написано в «Правде», неправда. Шумаков, тот, бывало, наоборот, бой принимал на себя, говорил: «Да, я вот здесь виноват, а здесь вот нет, но я все исправлю». Бывало, придет со съезда и на собраниях рассказывает, все слушали, затаив дыхание. И никогда не говорил, что пишут в газете худые люди, наоборот, говорил, что там работать тяжело, такая сейчас обстановка напряженная. И мы верили его словам, всему сказанному.

Извините, как, когда его убрать — Шахалевича?»

4

Убрали самым неожиданным образом. Неожиданным — для Змеиногорского горкома КПСС (Жусенко), райисполкома (Акишин), которые ставили Шахалевича против воли колхозников и опекали его. Коммунисты колхоза имени И. Я. Шумакова по своей инициативе собрали партийное собрание и исключили Шахалевича из партии. На общем собрании решили выдворить его из колхоза. На то и шумаковцы! Такова социалистическая демократия в действии! Тут же решили звать на председательство Ивана Андреевича Меркулова. Тот не заставил себя долго упрашивать, видя свою жизнь и цель не в кабинете (кабинет у него был почтенный в краевом центре), а на хлебной ниве в родном ему колхозе. Сел и приехал в Барановку.

Вот такой получился хэппи энд в сочиненном жизнью весьма драматическом сюжете. Развитие событий в колхозе имени Шумакова предопределил общий дух времени.

Правда, не все так просто и вдруг и ценою каких потерь, — не сочтешь.

Жусенко освободили от должности первого секретаря Змеиногорского горкома КПСС только осенью 1986 года.

5

А хлеба... Хлеба на Алтае подгорели летом 1986 года. Дождей прождали все лето. Пришло время косить горох, тут и дожди перепали, именно в самых гороховых местах. Горох в дождь скосишь, он после высохнет и весь просыпется. Рожь можно жать, а дожди. Пшеница еще доспевала, дождя бы ей впрок... Все это мне объяснял Антон Григорьевич Афанасьев, с упоением, как бывало. Мы ехали с ним на одну из пасек совхоза «Янтарный»: пчеловоды вывезли на лето ульи в поля, поближе к медоносам. Ехали полями колхоза «Восход». Афанасьев произносил уже слышанное мной от него похвальное слово забытому ныне колхозному трудодню:

— Ведь это же и коэффициент трудового участия, и конечный результат, и гласность, и моральный, и материальный стимул и тэдэ и тэпэ. Бывало, помню, мальчишкой, трудодень тебе запишут, ведь это какая же гордость была — о-ё-ёй! И у руководства полная ясность была, кто чего стоит. Сделанный труд документировался в трудовой книжке колхозника — и усердие, и умение, все! Раньше времени отказались от трудодня. Стали работать за зарплату, пошла уравниловка. И бригадный подряд и все другое, что вводят нынче, заложено было в трудодне...

В паузах в монологе, крутя баранку, Антон Григорьевич что-нибудь припевал, как я знаю его, никогда не повторяясь: в памяти у него находилась припевка соответственно моменту и настроению. Нашлась и для этого раза.

— Ах, мама, маменька, — пел-выговаривал бывалый ездок по здешней степи, — ты поймей в виду: не дашь мне валенки, — я босиком уйду!

Въехали в массив высокорослой, усастой, как ячмень, колосистой, сверкающей, переливающейся на солнце после дождя пшеницы. Афанасьев остановил машину, вышел, потрогал колос, погладил. Сказал, что это — «алтайка», на Алтае выведенный гибридный сорт сильной пшеницы. Подумал вслух:

— Интенсивная технология... Так мы же с превеликим нашим удовольствием... Мы и всегда

по интенсивной, насколько хватало силенок...

Выражение лица у него стало другое — в пшеничном поле, — чем было в пыльных кустах малины-ягоды. Преобразился мужик, помолодел, загорелся, как прежде...

6

Утром я вышел за околицу Карамышева, углубился в поля, проникнутые настоявшейся преджатвенной тишиной, ароматами трав. По травяной колее неслышно подъехала белая «Волга», та самая, на которой езживал Афанасьев. Председатель колхоза «Восход» Петр Остапченко пригласил меня проехаться по полям. В белой «Волге»? В той самой? Нет, лучше не надо...

Петру Остапченко столько же лет, сколько было Антону Афанасьеву в 1964 году, когда Антон заступил на пост председателя «Восхода». Остапченко поработал в Карамышеве инженером, потом колхозным парторгом — свой, восходовский председатель. Его вершины все впереди.

7

Погожим, по-алтайски лучезарным днем я приехал в Барановку. Иду по улице, а навстречу мне Юрий Межиров, ленинградский художник, давний мой товарищ. Порадовались, похлопали друг друга по плечам, поудивлялись такой встрече: «Ты здесь как?» — «А ты?» Оказывается, художник два месяца, как в Барановке. Живет в колхозной гостинице, «шикует». Написал маслом пейзажи, сцены сельской жизни, портреты. Главным содеянным делом почитает портрет Ильи Яковлевича Шумакова... Я уже слышал, слух по краю прошелестел: портрет Шумакова нарисован, в кабинете повешен, все как в натуре, глядит, как живой... Межиров портрет писал по сохранившимся фотографиям; их мало, снимать покойник не любил.

— Надо было пожить в Барановке, — сказал Юрий Межиров, — потолкаться среди мужиков, сам дух уловить. У него очень типичное лицо. И его сыновья здесь.

Ивана Андреевича Меркулова пришлось подождать, он в полях. Приехал и первым делом повел меня в председательский кабинет похвастаться приобретением — портретом Шумакова. Портрет в багетовой раме,

большой, исполненный в классической манере станковой живописи. Илья Яковлевич сидит за столом, не позирует, а словно проводит планерку. В руке у него дымится сигарета, все верно, как в жизни. На челе печать работающей мысли. Взгляд прямой, пронизывающий каждого, кто вошел в кабинет. Так и пребудет теперь Илья Шумаков до скончания века в своем председательском кабинете. Соберутся колхозники, станут что-то решать и поглядят в глаза Шумакову: а он бы как?..

8

В то лето я долго, долго ехал по Алтаю. Взору открывались то опаленные, «подгоревшие», то первозданно-зеленые, то посеребренные, с сединою, нивы. Над нивами ничего кроме неба, замкнувшего куполом солнечной синевы окоем.

Езда по алтайским увалам, в беспредельности времени и пространства, в бескрайности природной воли и рукотворной красоты, отрешала от множества нерешенностей, отягчающих жизнь человека, вселяла в душу благодарный трепет... Жизнь прекрасна и тем, что у нас есть Алтай; возвышен, вознесен, приближен к небу; отсюда дальше видать, чем из наших равнин и низин...

Мы ехали с Виктором Саповым, это была его последняя поездка по Алтаю: вскоре ему предстоял путь вон туда, за те горы, в Монголию, тоже собкором «Правды». После десяти лет на Алтае... Виктор Сапов прощался с Алтаем, делился со мною Алтаем... За каждым новым холмом, когда казалось, что время быть какой-то конечной станции, граду, пределу зыблящемуся мареву, вдруг разворачивались ярусы, амфитеатры, цирки, складки на лоне земли, как будто не заселенной со дня творенья — и изукрашенной, одетой в шелка и бархат...

Далее Змеиногорского района я не езживал прежде, и вдруг еще Третьяковский район, такой же увалистый и пшеничный, с грядою сиреневых гор вдалеке — и другой, неведомый, манящий к себе, как обетованная земля...

В Староалейске мы зашли в райком партии, оказались в особенной атмосфере кабинета первого секретаря Анатолия Степановича Кондыкова. То есть дело не в кабинете, а в самом Кондыкове: ничего «кабинетного» не было в его облике и манерах, ничего «аппаратного»: молодой человек с приятным, тонким, интеллигент-

тным лицом, располагающий к себе, благожелательный, подвижный, за секретарским столом не сидящий, с чувством юмора, умный, в курсе всех новостей и литературных тоже. Он был первым секретарем Алтайского крайкома ВЛКСМ, сохранил в себе простоту комсомольского товарищества (далеко не всем «аппаратчикам» от комсомола свичную), готовность «заводиться» на разные дела. Рассказал о делах в районе, в том смысле, как перестраиваемся, налегая на такие понятия, как «интенсивная технология», «хозрасчет», «бригадный подряд», «конечный результат», «человеческий фактор» и что-то еще, кажется, «микроструктура». Хорошо владея этой терминологией, он как будто и подсмеивался над ней, прилагая каждое понятие к реальности своего района, самого глубинного в Алтайском крае. Анатолий Степанович Кондыков один к одному соответствовал образу партийного руководителя периода перестройки, обновления, ускорения. Он так и рвался все переделать, сломать шаблон, взбаламутить застой...

И мне запомнилась одна его фраза, то есть не фраза, а мысль, просто так фраз он не изрекал. Речь зашла о предстоящих Шукшинских чтениях в Сростках, о секрете неубывающего, напротив, возрастающего народного тяготения к Шукшину. Кондыков задумался и сказал: «Шукшин — это и есть перестройка». А ведь правда, так и есть, если вывести значение Шукшина за пределы искусство- и литературоведения.

Первый секретарь Третьяковского райкома КПСС Кондыков показал нам первый материальный плод перестройки, благо недалеко было идти: подвесной мост на тросах, перекинувшийся с берега на берег зелено-струйной реки Алей. Мост дал возможность жителям того берега Староалейска быстренько перебираться на этот, а раньше вон куда надо было ходить, чуть не за три километра. Человеческий фактор с постройкой моста оказался в очевидном выигрыше — это в высшей степени ободряло первого секретаря. Главное, что сами спроектировали уникальный мосток — нашлись умные головы, — сами построили, внутренние средства изыскали... Анатолий Степанович (Сапов звал его по-комсомольски Толей) развернул перед нами и перспективу уже начавшейся стройки, здесь же на берегу Алея, на щебенистой, поросшей колючкой террасе: ряды постоянно действующей районной ярмарки, детскую пло-

щадку, спортивный городок, дискотеку и еще что-то. Говоря, жестикулируя, рисуя воображаемые картины культурного и полезного провождения свободного времени жителями Староалейска и района, первый секретарь по-мальчишески увлекался, любо глядеть. И дело уже на мази, уже сам съездил в Москву, попал на прием к министру культуры, увлек его своим проектом, убедил, что нужно для стройки, то выбил.

9

Поехали в колхоз «Сибирь», лучший в Третьяковском районе — не в том смысле лучший, как в Змеиногорском районе колхоз имени Шумакова (вспомним, что колхоз имени Шумакова получает столько химических удобрений, сколько весь Третьяковский район), а просто крепкое хозяйство, где все идет ладом: и хлеб, и мясо, и молоко, и председатель Анатолий Филиппович Курьянов — голова.

Оказалось, что он родной племянник Ильи Яковлевича Шумакова — помните, в одном из приведенных писем говорилось о том, что колхоз «Россия» при Шумакове стал кузницей кадров? Так оно и было. А как? Интересно узнать. Анатолий Филиппович рассказал свою историю: начинал в «России» у Шумакова зоотехником после института. Подал заявление в партию, надо было чем-то его подкрепить, каким-нибудь достойным поступком. Тогда в ходу был почин Гагановой: перейти из передового хозяйства в отстающее. Хуже всех тогда шли дела у соседей в Третьяковском районе, в Шипунихе, в колхозе «40 лет Октября». Председателем туда послали Панкратова — тоже шумаковский кадр, а Курьянова не посылали, он сам напросился, против воли дядюшки. Через некоторое время приезжает в Шипуниху Шумаков, посмотрел, говорит племяннику: «Давай отсюда взад пятки, покуда цел. А то, гляди, в тюрьму посадят, такие здесь дела».

Племянник не послушался дядюшку. Ослушников Илья Яковлевич воспитывал на свой манер. Вот как рассказал об этом Курьянов: «Через год поехал я в Барановку: кормов не было, нечем кормить скотину. А в «России» соломы всегда полно. Захожу, спрашиваю Шумакова, мне говорят: «На заседании». Я жду. Заседание кончилось, ему сказали, что жду, он не принимает. Еще сидел часа два. Наконец принял. Я ему говорю, так и так,

кормов нет, скот кормить нечем, одна надежда на солому. А ему это, я же знал, ничего не стоит соломки дать... Он подумал, говорит: «Я сам не могу. Вот созовем управляющих». Ну, созвали. Он обращается к ним: вот так и так, кто может дать соломы? Ну, они: бери! А он: «У кого есть позапрошлогодня?» Дали позапрошлогодней. Потом он мне говорит: «Еще обратишься, не дам. Сам выкручивайся».

И я все годы больше не обращался к нему».

Анатолий Филиппович шесть лет проработал зоотехником в Шипунихе, колхоз «40 лет Октября» стал на ноги. Оттуда ушел председателем в «Сибирь». И это, — правда, сам видел и поля, и село, и мужиков, и председателя — доброе хозяйство, и какая-то заметна ласковость у людей друг к другу, не чувствуется жесткости, заносчивости, как, бывало, в Змеиногорском районе...

Да, и вот еще что, не забыть бы: и Кондыков, и Курьянов с самым искренним восхищением рассказывали мне про агрономшу колхоза «40 лет Октября». Фамилию уронил из памяти, не нашел в блокноте. Так вот, эта агрономша уже сорок лет объезжает поля ежедневно верхом на коне. Ни разу не попользовалась механическим транспортом. Сорок лет... Наездница-агрономша из Шипунихи сохранила и стать и резвость и, главное, не остудила радение к агрономскому труду, не растеряла в пути талант попечения об общественном злаке, как о зенице ока.

Написать бы надо про агрономшу, как она скачет, скачет в степи над Алеем, сколько верст проскакала, сколько лет, сколько зим?.. Какая радость написать о добром человеке доброе слово...

Но надо нам поворачивать наших коней: Алтая вон еще сколько осталось!

Не знаю, вернусь ли когда в Алейскую степь, но на сигнальном щите моей памяти будет мерцать загоревшаяся лампочка: агрономша-наездница, Третьяковский район.

10

Змеиногорский тракт — одно, Бийский — другое, ну, а Чуйский — третье...

Езда по Бийскому тракту — это кружение березовых хороводов, шествие колков, березовые острова в хле-

бах, жарках, васильках и кукушкиных слезках. Чуйский тракт, равнинная его часть, весь в тополях...

Не доезжая Бийска, мы свернули в Троицкий район и вдруг попали в сосновую боровину. Здесь и старейший на Алтае леспромхоз — Боровлянский. Боры на Алтае тоже чудо природы, внезапные, как ливни в летнее пекло, изобильные всякой растительностью, с мощным древостоем, буйным подлеском. И с комарами! В степном Алтае почти нет комаров да и в горном тоже.

Зато мух! Боже милостивый! Кто пробовал сунуть нос в летнюю пору на свиноферму? У! Мушиное царство! В одном из свиновхозов Троицкого района (кажется, в Петровском) у нас было выступление перед свиноводами, вроде как встреча с представителями прессы. Нас слушали, вежливо потупляя взоры, с таким выражением, что вот послушаем терпеливо, а после сами скажем. И правда, сказали, все, как один. Начал дедок, ехидный, с подковыром: «На войне воевал, в совхозе вкалывал — и вот семнадцатый день без хлеба сижу. Как же так, граждане-журналисты-писатели?» Следом грянул хор женщин — о том же. Понять было трудно, пока в разговор не вступили рассудительные мужики. Оказалось — в селе закрыли пекарню, перевели на централизованное снабжение, хлеб везут из Бийска, выпечка не та, что дома была, везут с перебоями, о буханки можно топоры точить.

Стали разбираться: зачем закрыли-то? Вроде как для экономии: укрупнение, централизация — проверенные, излюбленные основания для закрытия чего-нибудь, очень нужного людям. Если был в Троицком районе хлеб свой, румяный, с пылу, с жару, с хрустящей корочкой, ели и радовались, ибо хлеб — основа всего, то теперь грызут хлеб казенный, нелюбый; испорчено настроение у людей, того гляди, испортят желудки, кому от этого выгода, поди доищись. А логика? Алтай — всесоюзная житница; миллионы на алтайском хлебном довольствии. А на собственных пахарях экономят.

И эта лампочка в памяти сигналист: пекарня, Троицкий район.

11

В Смоленском хоронили писателя Анатолия Соболева. То есть предали земле его прах. Анатолий Соболев умер летом в Москве на съезде писателей. Я видел

его незадолго до смерти. Он был красив, замечен в толпе особой мужественной моряцкой красотой. Он был моряк, приехал на съезд от моря, из Калининграда. Пришел с заседания в номер, почувствовал сердечную слабость, прилег, потянулся к тумбочке за сердечным средством... И не дотянулся...

Он родился в Кытманове на Алтае. В тридцатые годы его отец — первый секретарь Смоленского райкома Алтайского края — осуществлял коллективизацию. За отцом охотились кулаки, в еду ему подсыпали отраву, сожгли райком. В 1937 году отца не стало... В 1943 году Толя Соболев ушел добровольцем на войну, семнадцатилетним мальцом, из девятого класса...

На войне не бывает легких путей, однако война выбирает, кому что по силенкам. Толе Соболеву выпало стать водолазом на Северном флоте. Баренцево море зело студено и солоно. Не каждый сдюжит, даже из выбранных. Толя Соболев смог, сгодились сибирская крепость духа и тела. В одной из автобиографических заметок он подсчитал, что провел под водой 3 000 часов...

Однажды мы были с ним вместе на Днях литературы Баренцева моря. По принятому ритуалу вышли на спасателе к месту гибели моряков-североморцев в условно выбранный квадрат: все Баренцево море у Кольского побережья — некрополь безымянных могил. Спустили на воду венки. Я видел, как Анатолий Соболев плакал — седой ветеран, пересиливший это море, эту самую страшную войну...

Как-то нас с Анатолием Соболевым застала нелетная погода в аэропорту одного из больших городов. Трое суток хлестал дождь со снегом. Мест не было ни в залах, ни на скамейках в сквере. Единственное, чем мы спасались, это наше собственное тепло, мы им делились друг с другом...

Анатолий Соболев в высшей степени обладал довольно редким человеческим талантом отдавать тепло. Он был раскрыт вовне, для людей. Таковы и его книги... Бывало, встретишься с ним на каком-нибудь перепутье, обменяешься взглядом — и ладно, и хорошо. Его взгляд выражал всегда главную суть человека: я есть, я незамкнут, раскрыт, как дом, можешь зайти, можешь на меня положиться...

После войны Анатолий Соболев был инженером-

металлургом в Кузбассе. Стал писать — и снова подался к морю. Его душа вмещала в себя две стихии-судьбы: алтайскую степную и моряцкую. Он завещал предать себя после смерти родной земле.

Анатолия Соболева похоронили в Аллее славы, в саду села Смоленское, в мемориале тех, кто не вернулся с войны. Земляка провожал весь Алтай.

День выдался жаркий. Еще не пришло время жатвы, еще подгорали хлеба.

12

25 июля, в день рождения Шукшина, на гору Бикет — дозорный курган Алтайских гор в степи, — над остановленной, как мгновенье, латунно мерцающей Катунью поднялось многое множество народа. Казалось, что-то произойдет на горе, откроется людям; пока неясно что, но важно, духоподъемно. Все виделось целокупно, крупно: Гора, Народ, Река, Небо. Разнообразные звуки: топот тысяч ног, шелест голосов, рев воды на порогах, бунчанье динамиков — сливалось в Музыку сфер...

Для чего пришли эти люди на Гору? Куда позвал их родившийся в селе под горой Василий Шукшин? Чему научил? В чем обнадежил?..

С трибуны говорили речи. В бескрайнем, как все на Алтае, президиуме сидели видные люди. И никто не мог ответить на витавший в сферах вопрос. Человек есть тайна... Свою тайну Василий Шукшин унес с собой... И оставил людям надежду, ибо сказал им правду о них самих, призвал жить по правде и доказал — примером собственной жизни, искусства, таланта, — что правда сильнее лжи. Все так... Но что-то еще оставалось, что-то мешало соединиться тем, что гуляли, сидели, лежали на траве плоскогорья, с теми, что маялись от палящего солнца в первом, втором, третьем рядах президиума.

Председательствовала на всенародной сходке на горе Бикет незримая, но явственная для всех госпожа Любовь («госпожа» в высшем смысле, не назовешь же Любовь «товарищем»). И никак ей было не осуществить председательских прав... Даже день рождения Шукшина на его родине можно организовать в календарное мероприятие. Это мы умеем...

Нас, группу писателей из Москвы и других городов, привезли на гору Бикет в автобусе. «Икарус» реши-

тельно отказывался ехать в такую круть. Но надо было зачем-то. Вползли... Провели в президиум. В том же порядке и увезли. При посадке в автобус нас, гостей, окружили славные, душевно растроганные люди (наибольшее их число сгуртилось вокруг актера Золотухина). Протягивали наши книги — поставить автограф. Протягивали нам руки — побыть вместе. Для того же и ехали мы из Москвы и других городов... К тому побуждала и простершая крыла над горою Бикет госпожа Любовь. Но приставленная к нам дама из крайкома, с типовой для дам этого рода взбитой в виде парика прической, с перекосившимся от сложного чувства ответственности лицом, загоняла нас, как овец в кошару, в автобус.

Я знаю эту даму вне служебной сферы как добрейшую милую женщину...

И можно понять устроителей Шукшинских чтений, пекущихся о гостях: отпустишь их, поди потом сыщи...

Но, будучи загнан в автобус на горе Бикет, я задавался тем самым вопросом, что в свое время и Василий Шукшин: «Как мы живем? Что с нами происходит?» Вопрос задан Василием Макаровичем — нам. Нам на него отвечать.

И еще я думал о Катунь. Со страниц печати мы знаем, что Катунь-реки не будет, а будет каскад катунских электростанций, чередуемых водохранилищами. Ученые Алтая недавно выступили в «Правде» с очень веским предостережением (и с самого начала предупреждали): с Катунь начинается Обь; с изменением водного режима Катунь другим станет водосток главной реки Сибири на всем ее тысячекилометровом пути к Ледовитому океану. И без Катунь, какова она есть, что-то главное потеряет природный комплекс Горного Алтая — нашей сибирской жемчужины. И не будет у нас Чемала...

Я подумал о том, что Катунь, давшая в своем ложе место Чуйскому тракту, — духовная родина Шукшина, частица мира песен, преданий, сибирского упорства, красоты. Не станет той Катунь, какую любил Шукшин, и чего-то мы все лишимся...

13

Алтай стал нам ближе — с Шукшиным, как Пинега — с Абрамовым, Байкал и Ангара — с Распутиным, Воло-

годчина — с Беловым, киргизские степи и горы — с Чингизом Айтматовым.

Когда Шукшин снимал «Калину красную» в Белозерске на Вологодчине, я спросил у него, почему не Алтай, как было в прежних картинах. И он ответил примерно так: «Люди живут в нашем обширном государстве по одним законам нравственности. Под одним напряжением...»

Напряжение высоко!

Летом 1986 года хлеба на Алтае малость подгорели, зато выдалась долгая ясная осень; урожай убрали до снега. В колхозе имени Шумакова взяли по 29 центнеров на круг. Алтайский край отчитался по хлебосдаче — с почетом...

Хлеба родились и убирались испокон веков. Перевыполнялись планы. Нынче в большом алтайском хлебе есть явственный знак перемен. То есть не только в хлебе... И в том, что в Змеиногорске новый секретарь горкома, молодой, с новым подходом к людям. И хлеба в колхозе имени Шумакова убирал Иван Андреевич Меркулов — народом поставленный председатель. И великое множество людей пришло на гору Бикет, как будто за советом к Василию Макаровичу, как лучше жить («Шукшин — это перестройка»)...

Тех, что мешали жить по совести, по народному разумению, убрало с дороги наше новое время. Не всех так уж сразу, но кое-кого. Легче стало дышать.

Алтай еще себя покажет! Богатство Алтая не в хлебе едином, а в человеческом самородстве, в таланте, которому только дай волю, он горы свернет.



ВЕСНОЙ В АФРИКЕ



БАЛЕТ СЕНЕГАЛА

Однажды в Ленинград приехал на гастроли балет Сенегала. Представления давали на Зимнем стадионе, танцы происходили на том же самом помосте, где обыкновенно играют в баскетбол, волейбол или расстилают борцовские ковры.

Я жадно глядел на балет Сенегала, и ноздри мои раздувались: до меня доносился тот самый сладостный запах разгоряченного крайним усилием, орошенного по-

том тела. Когда-то и я выходил на ковер, на этот помост в тяжелом весе. Я чаще проигрывал, чем побеждал, но меня заявляли в команде студенческого общества «Наука», поскольку мой вес можно было нагнать (прихватив с собою на взвешивание пару бутылок ситро) до восьмидесяти пяти килограммов и даже чуть выше. Других тяжеловесов среди студентов не водилось. Моя юность пришлась на первые послевоенные годы, никто не успел еще нарастить на костях достаточно мяса. Тяжеловесы были в ту пору подобны редким животным, которых нынче заносят в Красную книгу.

Я проигрывал пару схваток и занимал призовое третье место. А то и второе. Уходя с ковра побежденным, приносил команде очки. Поступался личным во имя общего. Что, может быть, и похвально, но кости мои трещали и почему-то хотелось плакать... Во времена моего студенчества еще неизвестны были утешительные формулы типа: «Побежденные должны молчать. Как семена...» Они пришли и утешили позже...

Расставшись с борьбой и студенческой жизнью, я посвятил свои годы тому, чтоб научиться писать, стать писателем. Для поддержания формы (литературной), во избежание поражений я постоянно тренировал руку, записывал каждый прожитый день, проходил курс науки самопознания: ловил внезапное впечатление, ворохнувшееся чувство, мелькнувшую мысль...

Вернувшись с концерта сенегальских танцоров, я сел за машинку и записал:

«Балет Сенегала! Балет Сенегала! Закончив дневные труды, город сходится вечером к Зимнему стадиону глядеть сенегальский балет.

...Колченогой старушке так трудно подняться на верхний дешевый ярус. Никто ей не хочет помочь, никто ее не жалеет. Ей надо видеть балет Сенегала.

Гаснет свет, и рокошет тамтам, посреди придушенной, вялой жизни города вдруг проступает совсем иное, страстное, твердомускульное, прокаленное солнцем бытие. Ритм тамтама, возникнув, живет, и, странное дело, мне хочется вдруг — к работе, к бумаге, писать... Будто проснулся сентябрьским утром, когда мысли ясны, и силы свежи, и время не потрачено. Я слышу искусство. Искусство всегда мускулисто: огонь — не зола.

Африканцы бьют голыми пятками в помост, но мне слышится также «Семеновна» — пляска русской деревни. Настоящее русское схоже с подлинным африканским. Искусство народа — изъяснение сути его; в каждом народе — всечеловеческое.

Танцуют черные девушки. На воле их черные острые груди. Это — тоже искусство. Зал замирает, никто не пикнет, не чмокнет губами — так целомудренно, высоко, неприкасаемо нагое тело сенегалок.

Танцы мощны, и гибки тела, и ярки одежды, и подлинны страсти.

В антракте кислый, как сыворотка, радиоголос предупреждает:

— Граждане, во время представления фотографирование запрещено.

Я выхожу из рядов в обалдевшей немного, ожившей толпе. Вижу: хромая старушка прыгает с верхнего яруса вниз по ступенькам, как радостный воробей.

А вот мой приятель студенческих лет. Облетел до срока его затылок.

— Здорово!

— Здорово!

— Ну как тебе негры?

— Колоссально, слушай! Они под корень рубят классический балет. Это же тоска — смотреть какое-нибудь там адажио. Бледная немочь. А тут современный ритм. Мне хочется уехать сейчас куда-нибудь в лесок, раздеться, попрыгать, подергаться, сплясать на всю катушку. Танец должен выражать физическую радость жизни. А в классическом балете все вялое, вымученное. Ножкой о ножку... Восемнадцатый век. Мы в городе здесь живем, как рыбы вареные. Нам встряска нужна. В лесок охота. За куст. Попрыгать...»

Так стал я думать о Сенегале — не отвлеченно, не в книгах вычитал; в моем сознании, в памяти появился некий образ и потеснил другие образы. В меня вошла Африка и поселилась во мне; она имела определенный телесный облик, цвет ее был не классически черный, согласно известной классификации «блэк энд уайт», а обладал непередаваемыми в словах оттенками; Африка звучала, существо ее было пронизано ритмом тамтама; она несла в себе заряд такой мощи, что, побывав в его поле, я вроде подзарядился. Балет Сенегала уехал к

себе домой, шли годы, но я не забывал о нем. И мне определенно хотелось в Африку. Желание было подспудным, не могло стать жизненной программой. Ехать в Африку было решительно незачем. Я еще не объехал и десятой части собственной страны.

Однако... Пути, которые мы выбираем, вначале ведь пролегают в тайниках нашего подсознания. Не так ли? Чего-то мы сильно хотим, куда-то стремимся — за пределы отпущенного и достигаемого. И вдруг однажды — если, правда, сильно хотим...

Однажды я прочитал в только что вышедшей и подаренной мне автором книги Виктора Конецкого «Морские сны» такие строчки: «Две сенегалки сидели на земле за воротами. По яркости и красочности одежд они напоминали купчих Кустодиева. Но профессия у них была более древняя...»

Опуская подробности первого знакомства с «африканскими Магдалинами», сразу перехожу к главному содержанию эпизода: «...та сенегалка, которая была моложе и красивее... выпустила из неволи цветастой, переливающейся всеми красками тропиков одежды левую грудь. Коричневую, с матовым налетом утреннего винограда грудь. Бледнеющую к соску, чтобы вспыхнуть в нем бутоном гвоздики. Совершенной формы женскую грудь, рядом с которой даже атомная боеголовка или обтекатель космической ракеты покажутся зубилом питекантропа.

А то, что на свет божий была выпущена только одна грудь, а не обе, еще усилило мое потрясение.

Я почесал затылок и, возможно, даже покраснел. А сенегалка добила меня. Она, улыбаясь улыбкой Джоконды и глядя мне в глаза, подняла руку и прижала пальчиком сосок! И миллион тонн тринитротолуола бабахнули мне между глаз, в мою душу и в моего бога».

Я прочел эти сенегальские заметки с той степенью сопереживания, какая дается только годами близкого знакомства с автором, написавшим их. Я словно побывал вместе с Виктором Конецким — товарищем моей литературной молодости — на африканском берегу, в переулках Дакара. Африка, увиденная мною однажды, опять дала на себя поглядеть вблизи, в упор, глазами человека такого, как я, северного человека, настроенными обыкновенно на унылость и однотонность пейзажа,

ослепленными вдруг яркой вспышкой. Как писал в поэме «Моя Африка» Борис Корнилов: «У нас темнеет в Ленинграде рано, густая ночь — владычица зимой, оконная надоедает рама, с пяти часов подернутая тьмой...»

Тут вышла в свет книга Николая Сладкова «Миомбо». Может статься, я проглядел бы ее в потоке текущей литературы, но автор подарил мне именно эту свою книгу, как будто понимал мою обостренную заинтересованность в отношении всего африканского. И вот читаю: «Я рад, что не уподобился кулику, который всю жизнь хвалит только свое болото. Природа везде хороша: тайга и джунгли, степи и саванна, болота и горы. Даже пустыня и тундра не ошибки природы: у них свой смысл и своя красота. Нет, конечно, милее и ближе земли, на которой ты рос. Но надо знать и ту землю, на которой мы все живем. Я не бывал еще в Африке и считал это большим упущением.

И вот в Африку — дорогою журавлей!»

Конецкий попал в Африку, будучи по должности и по самой сути своей натуры штурманом корабля, то есть морским волком. Сладкова привела в Африку его охотничья — без ружья, с необходимой примесью целенаправленного фанатизма — страсть естествоиспытателя, ловца тайн звериной жизни.

И конечно же, если Африка, то и Хемингуэй. Папа Хем ездил в Африку с богатым арсеналом огнестрельного оружия. О, если что он любил, то это пострелять. «Зеленые холмы Африки» вместе с упомянутыми книгами моих товарищей по перу лежали на столе и уже запылились.

Мне решительно незачем было ехать в Африку. Хотя... И морской волк, и соглядатай зверей, и их истребитель привозили из Африки один и тот же конечный продукт — в большей или меньшей степени художественные произведения, книги. Во все времена писатели разного толка, масштаба и мировоззрения отправлялись в Африку за материалом для своих книг.

Африка нашего времени дышит в лицо всему миру не только своим экваториальным жаром, но и невиданным доселе накалом социальных страстей; Африка проснулась, как просыпаются величайшие вулканы мира; Африку охватил всепожирающий пал, и отблеск

его стал частицею спектра в освещении каждого дня...

Меня, как любого писателя с репортерской жилкой, подспудно тянуло в Африку, и вдруг... Но вдруг ли? Вот в том-то и дело — случайность выкристаллизовалась в результате повседневных моих усилий, обычной работы: поездок по стране, писания репортажей, очерков, рассказов, складывания их в книги, пробивания книг, сидения за столом в писательском клубе — все равно что у телетайпа, с ползущей из него лентой внутренних, совсем уже внутренних и закордонных новостей. Я пребывал в постоянной готовности к легким, летучим дружбам, высказывающим себя до конца или же значительно помалкивающим, тут же многократно запиваемым и заедаемым, назавтра забываемым или вдруг прорастающим каким-нибудь предложением, договором, авансом...

Как-то мне позвонил референт Иностранной комиссии Владилен Чесноков и спросил, не хочу ли я съездить в Анголу. Я сказал, что хочу.

И, как писал в свое время сатирик Аверченко, «все завертелось». Анкеты, фотографии на матовой бумаге 4×6, характеристики, утверждения. Прививки оспы и желтой лихорадки я перенес хорошо. Уколы под лопатку осуществляло милое, свежее, юное создание (на фоне белого халата свежесть и юность выявляются, как картина на паспарту) с прижившейся на лице маской невнимания к человеческим болям. После оспы и лихорадки я подумывал, задним умом, не пригласить ли создание куда-нибудь на вечерок. Холера свалила меня в постель с температурой за тридцать восемь. Холера меня отрезвила. Я беспокоился, можно ли ехать в Анголу с холерной температурой. В Анголе тогда шла война, и посвященные в планы моей поездки — я не скрывал моих планов ни от кого — шутили, что если меня не съедят, как белого человека, то непременно подстрелят: имелся в виду мой гораздо выше среднего рост.

Похворав неделю, я, разумеется, выздоровел и совершенно готов был ехать. Однако что-то застопорилось в машине. Инокомиссия замолчала. Влад Чесноков не звонил. Наученный жизнью не рыпаться по пустякам, я тоже молчал, прикусывал амбицию, не давал ей выйти наружу. Посвященные в мои африканские дела смея-

лись: «Ну что, поболел холерой? За что тебя так? В чем провинился?..»

Прошло какое-то время, я поехал зачем-то в Москву; и вечером, в клубе, обрел, как всегда, и Влада. Он, по обыкновению, не только был навеселе, но искренне, изнутри, по характеру весел, исполнен дружелюбия и оптимизма. Он мне объяснил, что в Анголу поехали только африканисты, был строгий отбор. «Так что ты не журишь».

И правда, чего же журиться? Я был в моей жизни собкором, спецкором, заведомыми: физкультуры и спорта, информации, прозы. Мне приходилось бывать рабочим и даже старшим рабочим в изыскательских партиях, коллектором в геологических экспедициях, лесником на кордоне, сторожем на писательской даче, секретарем Союза писателей, просто сочинителем-надомником. Африканистом я никогда не бывал.

— Я тебя включил в делегацию в Гвинею-Бисау, на Острова Зеленого Мыса, — сказал Влад Чесноков. — Так что делай прививки...

Он был добрым малым, застрельщиком и замыкающим многого множества застолий в писательском клубе, синхронным переводчиком с французского, ездоком по франкоязычным странам Европы и Африки. Официально, по службе, у нас с ним не было дел, все дела наши вершились по дружбе, как говорится, спонтанно, по мгновенной душевной смычке. Конечно, не он решил, куда мне поехать и почему именно мне. Но в то же время я знаю, что если бы на скрещенье каких-то там линий и мнений, при утрясении списков не оказалось бы в нужный момент Влада Чеснокова, то в Африке я бы не побывал...

Когда я вернулся из Африки, Влад, встретив меня, сказал:

— Ну, вот. Теперь ты станешь африканистом.

Однажды, сидя вечером в клубе, ища глазами Влада и не найдя, я спросил у одного из завсегдатаев, обязательного, как деревянная подпорка под антресолю, где Влад Чесноков.

— Разве ты не знаешь? Он умер.

Скорее всего, он умер от одной из болезней века. Хотя едва ли кто знает, отчего умирают люди в мирное время, в свои лучшие годы. То есть причины известны,

записаны в справках о смерти. Но почему уходят из жизни те люди, которые нам помогли, которые поделились с нами тем, чем сами были богаты? Почему умирают хорошие люди, почему они так безрассудно тратят себя, не щадят?

Они первыми умирают и на войне...

В этот раз я не очень-то собирался в Африку. Сказал себе: «Забудь. Будет так будет, а не будет — и ничего, дел хватает и тут». Однако прививки сделал. (Делавшее уколы создание не показалось мне в этот раз таким уж утренне-юным.) И книг про Африку не убирал со стола...

Однажды мне попала в руки именно та книга, которую следовало прочесть перед поездкой в Гвинею-Бисау и на Острова Зеленого Мыса: «Три выстрела в районе Миньер» Олега Игнатьева. Книга про то, как португальская, салазаровская разведка ПИДЕ готовила убийство основателя Африканской партии борьбы за освобождение Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса (ПАИГК) Амилкара Кабрала и осуществила его.

Руководимая ПАИГК повстанческая армия после двенадцати лет войны в джунглях Гвинеи-Бисау близка была к победе. И ПИДЕ торопила убийц. Заговор плели в среде близкого окружения Амилкара Кабрала, в охране штаба повстанческой армии. Не то чтобы Амилкар Кабрал пребывал в неведении относительно своей личной безопасности. Случалось, подозреваемых лиц он отправлял на дальние участки фронта в джунгли, но он никого не наказывал, избегал репрессий в своей стране. На предостережения верных людей он отвечал, что ПАИГК должна прийти к власти с чистыми руками, без насилия, без террора. Он свято дорожил высокой гуманностью дела освобождения народа своей страны от колониализма — во мнении всего мира. И не выделял себя в ряду сражающегося народа как нечто самоценное.

Штаб армии освобождения располагался в Гвинейской республике, на окраине города Конакри. Война приближалась к победоносному завершению. Португальская администрация срочно улепетывала с насиженных мест к спасительным берегам метрополии, где

тоже было весьма беспокойно. До провозглашения Республики Гвинея-Бисау оставались считанные недели (речь идет о событиях 1973 года).

В один из вечеров Амилкар Кабрал был на приеме у посла Польской Народной Республики, принимал поздравления с победой. Он вернулся в штаб в полночь, сам вел машину, рядом с ним сидела Анна-Мария, жена, во дворе штаба стояли два джипа охраны, с включенным дальним светом. Амилкар Кабрал вышел из машины, свет направили на него. Охранники, вооруженные до зубов, окружили его и потребовали полного повиновения. Амилкар Кабрал отказался повиноваться и был изрешечен пулями. В Анну-Марию тоже стреляли, посчитали убитой; тело выбросили за ограду...

Мне хорошо запомнилась эта сцена, я представлял ее зрительно: тьма тропической ночи, слепящий свет фар, короткая стычка, выстрелы в упор и — глаза женщины...

Предполагалось, что Амилкар Кабрал будет доставлен на ждущую в порту шхуну и увезен в город Бисау, где еще сохранялась власть салазаровского режима. Очень хотелось ПИДЕ расправиться с ним.

Читая книгу Олега Игнатьева «Три выстрела в районе Миньер», зимними вечерами у себя в кабинете, дома, я, конечно, не знал и не мог представить себе, что в скором времени окажусь на открытой террасе кафе отеля «24 сентября» в Бисау, и напротив меня за столиком будет сидеть Анна-Мария Кабрал, и я буду заглядывать ей в темные мерцающие глаза, с настоявшейся в них бездонной болью, в те самые глаза, которые увидели *все это...*

Февральским ранним утром мы проехали на такси по заиндевевшей Москве, вдвоем со спутником. Моему спутнику предстояло увидеть свою Африку, отличную от моей, и я не буду переступать границ взятого им с собой в поездку суверенного мира, воздержусь от описаний увиденного от имени двоих. Вдвоем мы представляли собой делегацию Союза писателей в Сенегал, Гвинею-Бисау, Республику Острова Зеленого Мыса, обозначенную в картах мира двумя словами: Кабо Верде.

Литературный Сенегал был в достаточной мере освоен, в Гвинее-Бисау литература только еще зарождалась, на архипелаге Зеленого Мыса никто из советских писателей не бывал. Мы первые, впервые.

Мой спутник хорошо владел немецким, похуже английским; мой английский хромал на обе ноги; в Сенегале говорили по-французски, в Гвинее-Бисау и на островах — по-португальски. Переводчика с нами не было. Никто из нас двоих в Африке до сих пор не бывал.

...Аэропорт Шереметьево-1 — врата в иные миры — достоин отдельного описания в не меньшей степени, чем, скажем, аэропорт в одноименном романе Артура Хейли. Знаменитый у нас американский автор производственных романов однажды, будучи гостем Союза писателей, рассказал, как он пишет. Вначале он выбирает объект для будущего романа, к примеру аэропорт. Год проводит на этом объекте, является на него как на службу, изо дня в день, выпрашивает главных действующих лиц, от которых зависит жизнедеятельность объекта, — и ничего пока не записывает: записывающая аппаратура, даже блокнот, мешает откровенной беседе. У Артура Хейли хорошая память, он не курит, пока не закончит роман, не берет в рот спиртного. Все услышанное за день выкладывает вечером секретарше-стенографистке. Труд каждого дня измеряется стопой исписанной стенографисткой бумаги — это заготовки к роману. Год истек. Артур Хейли отправляется на Бермуды, там у него вилла. Он встает в шесть часов, делает зарядку, плавает в бассейне, садится за разбор бумаг. Одновременно с разбором уточняется план, выверяется сюжет, обособляются персонажи, монтируются эпизоды. Так проходит еще один год. Производство романа вступает в заключительную фазу: автор садится и пишет его — опять-таки ровно год. На всех стадиях творческого цикла писателю помогает жена. Свободное от работы время посвящается прогулкам на яхте, купаниям, теннису, гольфу. Писатель должен быть постоянно свежим, в хорошей форме.

...Последняя чашка кофе на наши советские деньги, и вот уже мы оторвались от московской земли, точно по расписанию. Наш рейс трансконтинентальный: Москва — Дакар, но в салоне лайнера такие знакомые лица, чтоб не сказать ласково-родственное: морды... Летит в

Дакар подменная команда судоремонтников — ремонтировать наш пароход в дакарском доке. Команда (охота сказать «толпа»), как и положено ей в свободное от работы время, немножко навеселе. Особенно косоват мужик по фамилии Мухоедов.

Мы летим над Карпатами — в Карпатах белеет снег, — над Альпами, Апенниннами, над Загребом, Римом. Загреб и Рим остаются неувиденными под облаками.

Потом — Сахара. Между Сахарой и нами плывут облачка. И кажется, что в песках есть рощицы. Это — тени от облачков. Но облачка растаяли от жары, исходящей снизу. Жара как будто давит на окна самолета. До Сахары от моего окошка десять километров пустоты, за окошком трещит якутский мороз. Я лечу со скоростью восемьсот пятьдесят километров в час. Но я вижу Сахару близко, потому что она огромна и нераздельна, в ней нет подробностей. С такой высоты, на такой скорости подробностей не разглядеть, видишь целое. Сахара и представляет собою такое целое. Она песочного цвета, с поджаренной корочкой, запекшаяся от зноя. Вначале Сахара ровна и остается ровной в течение часа. Потом, как это бывает на море, ровность нарушилась волнением. Сахара покрылась барханами. Они настолько велики, что даже с десяти километров хорошо просматривались их обрывистые склоны, наддувы.

Гряда барханов прервалась. Сахару нарушила какая-то аномалия. Поперек Сахары протянулся как будто поток застывшей лавы, на нем светло обозначились русла бывших когда-то больших и маленьких рек — макет кровеносных сосудов...

Я настолько погружен в созерцание Сахары, что не сразу заметил поднесенный мне соседом стакан, наполненный наполовину. Оба мои соседа в ряду — с краю сидел Мухоедов — глядели на меня с выражением того самого братства, которое вдруг объединяет «скинувшихся на троих» у дверей магазина. И еще их глаза выражали заговорщицкую хитрость: операция «маленькая на троих» производилась на десятикилометровой высоте, при скорости восемьсот пятьдесят километров в час, над самым центром пустыни Сахара. Опорожненную «маленькую» московского производства Мухоедов держал в руках, как победитель соревнования дер-

жит только что врученный ему хрустальный кубок...

Я принял бескорыстный дар соотечественников, выпил, утерся рукавом, выразил всем своим видом глубокую благодарность и понимание значительности этого акта дружбы. Снова приник к окошку.

Теперь Сахара представилась пашней с гигантскими бороздами. Ровные борозды протянулись в направлении, параллельном курсу нашего самолета, то есть с северо-востока на юго-запад. Темные гребни борозд и светлые междурядья. Пашня длилась еще часа два. Потом Сахара окрасилась в цвета побежалости, покрылась медной окалиной, залиловела, зазеленела. Окраска была подчинена не только законам спектра, но и каким-то геометрическим закономерностям. Вдруг обозначился ровно очерченный эллипс — поле гигантского стадиона, будто обрызнутое только взошедшей майской травой, с беговыми дорожками в сотни километров. Потом Сахару расчленили впадины, ущелья ломаного рисунка; Сахара почернела. И опять зажелтела, зарумянилась.

Мы летели над Сахарой, может быть, пять или шесть часов: крыло самолета, безукоризненность алюминиевой плоскости, на ней черные буквы: «СССР». И внизу Сахара, Сахара, Сахара... Когда-то она была страной миллиона рек. Сахара наводит на мысль о кончине Земли...

Пустыня Сахара кончилась в том месте, где протекала река, первая за шесть часов полета. Течение ее было незаметно, река стояла, то есть лежала. Была она мутно-зеленовата. Кто-то жил на ее берегах, земля сделалась лоскутной, то есть ухоженной, обжитой.

Вдруг запенилось синее море, задышало прохладой. Море, правда, было синим и белопенным. Стюардесса объявила домашним голосом:

— Через несколько минут наш самолет совершит посадку в городе Дакаре.

Город Дакар на мгновение показал то, чего не увидишь, находясь в одном уровне с горожанами. Сверху мы заглянули во внутренности ячеек-дворов. Впрочем, ничего достойного внимания там и не было: сушилось белье, ржавели букашки-автомобили.

В аэропорту Дакара было солнечно, ярко, цветно...

Написал эту фразу и приостановил бег пера. Точно такие же слова сгодились бы, скажем, для характеристики аэропорта Адлер. Первые впечатления облакаются в словесные трафареты. Эту дистанцию между увиденным в Африке и подсознательно приготовленными загодя фразами мне придется еще не раз осознать. Что делать? Я торопился занести в блокнот то, что увидел, услышал. Мой спутник тоже не расставался с блокнотом, и если он писал, а я каким-нибудь образом, как говорят, ловил кайф, то поймать этот самый кайф все равно не мог: мной овладевал дух соревнования. Я брал себя в руки, то есть блокнот брал в руки. Так мы негласно соревновались. Это большое благо — иметь в путешествии спутником человека слова: одновременно оно и дело.

Я пишу африканские заметки у себя дома, за окном опять крутит февральская метель. Пишу и заглядываю в блокнот. Хотя фразы в нем нацарапаны впопыхах, вкривь и вкось, но в них сохраняется непосредственность репортажа с места событий.

...Хороши были африканцы, но еще лучше африканки, в своих балахонах-бубу, с торчащими во все стороны хвостиками на головах, будто закрученными на ночь и не снятыми утром бигуди.

Нас встретили в Дакаре наши советские ребята, один из посольства, другой из торгпредства. Один на красном «жигуле», другой на белом «Рено». Ребята спортивные, твердые, сухощавые, как хорошо проявленные на солнце подлещики, с глазами остро вглядывающимися, цепкими и тотчас по-компьютерному оценивающими.

Они привезли нас в отель «Меридиан», на самый берег Атлантического океана, в семнадцать километрах от Дакара; здесь есть и коттеджи-хижины, крытые тростником, и гостиничные корпуса подешевле, и фешенебельный многоэтажный белостенный собственно «Меридиан», и бассейн с морской водой, и ресторан с эстрадой, и ресторанчики, и бары, и теннисные корты, и туземный базар, и магазины с сенегальскими сувенирами, и остров неподалеку, и моторизованные пироги — для прогулок на остров. И ни за что не нужно платить, по-

куда ты постоялец «Меридиана». Достаточно расписаться в квитке — у бармена, официанта, тренера по теннису, шефа пляжного инвентаря — проставить свою сигнатуру и номер апартамента; расчет будет после: квитки заложат в машину, и не успеешь сосчитать до пяти, как она тебе выдаст очень даже продолговатый счетик, с такими многозначными цифрами, что небо может показаться с овчинку, ежели ты не устоял перед «даровыми» соблазнами.

Тут в ходу французские и сенегальские франки: пятьдесят сенегальских все равно что один французский. Впрочем, не все равно: можно рассчитаться французскими, а сдачу получить сенегальскими. С сенегальской купюры французскими не сдают. Французские предпочтительней, что ли.

Весь гостиничный комплекс на берегу Атлантики назван африканским словом «Н'гор». Пользуются его благами — пока что не в полную меру, сезон только начался — французы. Есть и американцы, и «разные прочие шведы», но французы здесь дома.

Мы вышли на берег океана (утром ехали по заиндевевшей Москве), здесь дул такой эркондишен, что впору было подумать о шубе. На берегу, на песке, в затылок друг дружке, сидели сенегалки в цветных бубу и чем-то торговали, совсем уж по мелочи. Женщины на песке торговали, а мужчины владели торговым рядом. Их мужчинский товар — деревянные резные фигурки, тамтамы, самодельные босоножки. Двое мужичков тотчас пристали к нам, новым на берегу лицам. Один предлагал два тамтама, то есть деревянные короба, обтянутые чьей-то кожей, другой — сандалеты. За сандалеты торговец запрашивал тысячу франков (разумеется, сенегальских). Наши вежливые усилия избавиться от него ровным счетом ни к чему не приводили. Добывая себе и, должно быть, большой своей семье средства существования таким ненадежным, но единственным промыслом, он твердил все тот же вопрос: «What is your last price?» («Какая ваша последняя цена?») Надо думать, он сильно запрашивал и готов был уступать бог знает до какого предела.

Первым отстал тамтамщик. Торговец сандалетами,

избавившись от конкурента, доверительно нам сообщил, что его тамтамы никуда не годятся.

В скором времени состоялось и наше знакомство с мальчишками этого побережья. Как все мальчишки мира, живущие на берегу, они собирали подаренный морем хлам в кучи и поджигали их. Они рассматривали нас во все глаза, без каких-либо признаков отроческой робости, однако первых шагов навстречу не делали. Когда мы сделали эти шаги и подарили пригородным дакарским мальчишкам московские, ленинградские, рижские значки, когда мальчишки раскумекали — не сразу, не вдруг, — кто мы такие, откуда, то здесь же вспыхнула викторина: кто что знает про нашу страну? Один сказал: «Русия», другой: «Сайбиэрия», третий: «Ленин», четвертый с восторгом пролепетал: «Киевдинамо, Олег Блохин». В том году киевское «Динамо» завоевало кубок кубков.

В пестрой, необычайно живой, чумазой, блестящей глазами стае мальчишек выделялся стройный высокий серьезный мальчик. Он подошел к нам особо и на приличном английском сказал, что его зовут Муса, что он учится в четвертом классе, что его мечта — поехать в Москву в университет Лумумбы, выучиться на электрика. Он сообщил, что у него четыре брата и две сестры, а отец у него перевозчик, может перевезти на остров всего за сто франков.

Мы поняли, что мальчик Муса не просто гуляет по берегу, но еще и служит контрагентом своего отца-перевозчика.

Впрочем, как выяснится впоследствии, Муса перевозит и сам. Однажды он перевезет нас на остров Н'гор и покажет нам остров, с его россыпями перламутровых ракушек, пляжами, банановыми зарослями и голыми холмами. Муса нам покажет все это, с какой-то врожденной деликатностью держась поодаль, не навязывая себя в товарищи или гиды. И он пренебрежет интересами своего семейного перевозчицкого дела, проведет с нами полдня на острове и привезет нас обратно.

...По берегу ходили три очень тощие овцы с длинными шеями и маленькими головками. Над пляжем летели, сносимые сильным ветром, птицы, такие же, как вороны, только с белыми передниками. Кажется, они и называются беловоронками. Повыше плавали, как щепки в омуте неба, африканские рыжие ястреба. Пролетел

красавец «Конкорд» с приспущенным клювом. Кошки и собаки были точно такие, как наши.

Было грязно, захламлено. Хижины с плоскими крышами, торговцы и торговки, сидящие на песке, кошки, собаки, овцы, чумазые ребятишки — все несло на себе печать неизбывной, беспросветной бедности, нищеты.

Неподалеку, в пределах курортного рая, голубела в бассейне с кафельными стенками морская вода. В нем купалась белая молодежь. Искупавшись, подкрепляла силы жареным — тут же оно и жарилось — мясом, зеленью, фруктами, напитками.

У самого моря кричал во всю глотку петух, такой, как у нас, малахольный. Но почему он кричал в дневное время, разевая клюв в сторону моря? О чем он кричал?

Президент Республики Сенегал Леопольд Седар Сенгор (ныне он сложил с себя президентские полномочия) известен в мире как поэт. Его многократно переводили и издавали у нас. Памятуя завет Гете: «Чтобы понять поэта, надо побывать у него на родине», по возвращении из Африки я положил к себе на стол том Библиотеки Всемирной Литературы: «Поэзия Африки» — и до сих пор он лежит, хотя книга библиотечная. Что-то мне нужно найти в этой книге мое, то есть пережитое, перечувствованное, но не высказанное, подспудное.

Недолго я пробыл в Африке, и все же есть у меня теперь моя Африка; я помню, вижу: зал Советского культурного центра в Дакаре, сфокусированные на мне — до физической осязаемости — взгляды сотни таких серьезных, таких доверчивых, таких сосредоточенных черных глаз с очень белыми белками. Негры хотят понять мою русскую речь, они изучают русский на курсах, они шевелят от усердия чуть лиловатыми, чуть вывернутыми, как у Пушкина, губами. Они не все понимают, директор СКЦ Козырев переводит мои слова на французский. Я говорю о Ленинграде, о Петербурге, где жили Пушкин, Гоголь, Достоевский. О! Эти имена хорошо известны дакарским любителям русской словесности.

Потом на сцену выходят трое черных юношей, посенегальски рослых, стройных, мощных. Трио читает по-

русски Пушкина, раскатывая, как морской прибой кам-
ни, слишком твердое русское «р»: «Бур-р-р-я мглою
небо кр-р-роет, вихр-р-ри снежные кр-р-рутя...»

Африканские юноши вкладывают столько пыла в
произносимые звуки, что звуки обретают свою собствен-
ную жизнь.

Хорошо бы этим юношам побывать на родине люби-
мого ими поэта...

Возвратясь из Сенегала домой, я читаю Леопольда
Седара Сенгора.

Обнаженная женщина, черная женщина!

Твой цвет — это жизнь, очертания тела прекрасны!

Я вырос в тени твоей, твои нежные пальцы касались очей моих.

И вот в сердце Лета и Юга, с высоты раскаленных высот

Я открываю тебя — обетованную землю,

И твоя красота поражает меня орлиной молнией прямо в сердце.

Обнаженная женщина, непостижимая женщина!

Спелый туго налившийся плод, темный хмель черных вин, губы,

Одухотворяющие мои губы;

Саванна в прозрачной дали, саванна, трепещущая от горячих ласк
восточного ветра;

Тамтам изваянный, тамтам напряженный, рокошующий под пальцами

Победителя-воина:

Твой голос, глубокий и низкий, — это пенье возвышенной Страсти.

Я читаю и пленяюсь богатством, мощью, утончен-
ностью звуковой палитры моего языка, его способ-
ностью к перевоплощению, переаранжировке. Африкан-
ские ритмы, экстатическая чувственность и умягчающая
душу нежность, переливы мягких ночных потемок и сле-
пящего полуденного света доносятся до меня, звучат,
оживают, раскрывают сердце для отклика.

Сенгор пишет по-французски. Так что африканский
субстрат его поэзии дошел до нас после двойной пере-
гонки — и не утратил крепости настоя. Подлинная по-
эзия неразменна, у нее есть всемирный, не нуждающийся
в конвертировании язык образа.

И все же, чтобы понять поэта, лучше всего побывать
у него на родине.

Розово, пышно цветет бугенвилля, похожая на оле-
андр, только еще пышнее, обильнее. На газонах багро-
веет цветущая герань, та самая, что украшает быт про-
винциальных русских городов. Легко проносят на голо-
вах поклажу черные женщины. Тела их обернуты цвет-

ной тканью с изысканной неприхотливостью — особой, своей у каждой сенегалки. О каком-то общем стандарте, фасоне, моде тут говорить не стоит. Девушки затянуты в джинсы и блузы. Как сказано в приведенном выше стихотворении Леопольда Седара Сенгора: «очертания тела прекрасны».

Белостенный, облитый солнцем и обвеянный океанским бризом зеленый, цветной Дакар — этот «маленький Париж» жарко дышал бензином, пряностями, тревожаще-новыми для наших северных органов обоняния запахами. В помещении министерства культуры было затхло, полутемно. Переход с улицы в этот бюрократический микроклимат возвращал, что ли, к реальности. Поистине жизнь в африканской стране контрастна и даже лоскутна, как живописное рубище здешнего нищего.

Нищих в Дакаре толпы, убогих, увечных, изъеденных болезнями до кости. Главная их неизлечимая болезнь — нищета, но здесь немало и прокаженных...

Однажды мы ехали в машине по Дакару. Правило движения здесь, как и во всех африканских городах, одно: береги правый бок. И вот, пропуская поток машин справа, мы оказались в окружении нищей братии. Протягивая к нам свои ссохшиеся, розоватые изнутри ладони, какие-то кошель, кружки, плоски, они улыбались, показывали необыкновенно красные, пунцовые полости ртов, десны, языки. Улыбки их выражали одно-единственное чувство — беспредельную доброту. Так улыбаются еще только добрейшие наши друзья, домашние псы.

Нищие не обижались, не получив подаяния, однако и не внимали каким-либо знакам отказа, подобно тому как не внимают им торговцы тамтамами и сандалетами. Ближе всех оказался нищий с большой кошелкой. Поскольку движение было тут интенсивным и приходилось стоять, беречь правый бок, мы оказались лицом к лицу с просящим. Нищий радостно закивал, еще блаженнее заулыбался. Ноги его были искривлены в коленных суставах.

Изглоданный запредельной нищетой и улыбающийся нищий — одна из характерных масок современного Сенегала. И еще одна маска: так же, по-песьи бессмысленно, ласково улыбающийся солдат, с автоматом у живота, с пальцем на спуске. Я видел его в цепи цвета хаки и цвета черного эбенового дерева. Цепь замкнула по-

дворье университета. За цепью бурлила студенческая толпа. Студентов в Дакарском университете четырнадцать тысяч. Это один из старейших, с высоким уровнем преподавания и демократическими традициями университет Африки. Сюда приезжают учиться с Ближнего Востока, из Латинской Америки, даже и из Европы. (Бывший президент Сенегала Сенгор учился в одном из колледжей Парижа, вместе с бывшим президентом Франции Помпиду.)

И было ясно, что улыбающийся автоматчик при первом же приказе даст очередь по толпе. Он пребывал как будто в блаженном анабиозе.

Утро. В небе кружат ястреба. Ночью на небе лежала в дрейфе луна, в необычной для нашего неба, для нашей луны позиции. Луна дрейфовала, как лодка, лежа на бездне неба.

У нас луна — серп, а здесь — посудина, пирога.

Можно здешнюю луну сравнить и с арбузной коркой, брошенной на асфальт. Но лучше — с пирогой.

На полпути от курортной резервации — для белых — Н'гор до Дакара расположена Золотая деревня. Сопровождающий нас пресс-атташе советского посольства Саша Шамарин называет ее деревенькой. Деревенька на берегу океана, она состоит из деревянных крытых лотков, кое-как сколоченных ларьков и киосков, из мастерских и цехов под открытым небом и из стилизованных под африканскую деревню хижин, крытых тростником. Торгуют здесь драгоценностями — самыми дешевыми и самыми искусными по выделке на африканском рынке — золотом, серебром. Ожерелья, браслеты, нити, тончайшая капиллярная вязь по благородному металлу; брелоки, колье, изысканнейшие ненужности. Поражает не столько даже сама эта роскошь, сколько ее несоответствие торговым помещениям. Ну, представьте себе, если бы содержимое современного ювелирного магазина вдруг перенесли в сезонные фанерные будки и принялись бы торговать золотыми кулонами, как пирожками на перроне...

Торгуют негры, они же работают по металлу, демон-

стрируя мастерство, с которым мог бы поспорить разве что лесковский Левша.

Впрочем, торговля благородным металлом не главное в деревеньке, только оправа. Народ толпится у рядов с сенегальскими масками. Тут я передам ненадолго слово Леопольду Седару Сенгору:

Маска, лик, недоступный для суетных мыслей,
Лик бестелесный, безглазый,
Совершенство бронзовых черт в патине времен,
Лик, не знавший румян и морщин, ни поцелуев не знавший, ни слез,
О лицо, сотворенное богом еще до того, как забрезжила память
веков.

Мастер, сосредоточенный в своем искусстве; его руки, его лицо такого же цвета, как черное дерево; морщины, как линии годовых колец в древесной текстуре. Дерево тяжелое, литое железо. Синее небо, и еще более синее море, и рыжие ястреба...

Сын Саши Шамарина, бесстрашный Митя... Ему три года. Мите охота потрогать деревянных идолов, он понимает их как игрушки. Лучше его не отпускать от себя, уж больно он шустр. Все-таки не в московском дворе, как-никак в Африке...

Если что-нибудь покупать в Золотой деревеньке, надо уметь отличить степень искусства, неуловимую для праздного глаза.

Саша выбрал «недельку» — семь масок. Должно быть, каждая из них соответствует какому-то дню недели. Они висят у меня на стене, я вглядываюсь в черные лики, но лики не открывают секрета, кто у них воскресенье, а кто среда. Они безглазы, у них прямые носы, высокие голые лбы, выпяченные, округлые створки губ. Каждая маска увенчана рожками или гребнем. Лики узки, продолговаты. Над бровями у них насечки. Каково им в нашу морозную зиму? Лики молчат...

Найденная Сашей «неделька» только что вышла из-под резца мастера. Этот мастер работает, как говорится, с собственным клеймом качества. Он не участвует в торге. Его изделия продает негр мощного телосложения, не только темнокожий, но и несколько сумеречный: торговля — серьезное дело. Саша перебрал маски этой наилучшей «недельки», как четки перебирают, привычной рукой, будто пальцами осязая их цену, лицо его было непроницаемо. Продавец скрестил на груди руки,

отодвинулся в тень. Он не унижался до похвал своему товару, товар сам говорил за себя. Саша небрежно кинул маски на прилавок и пошел вдоль ряда, увлекая нас за собой.

Я любовался Сашей. Он был твердый орешек. Его французский язык был легок, летуч, без какой-либо внутренней заминки. Он был общителен, напорист и в каждом диалоге, по-видимому, добивался того, что нужно было ему. Его манеры и поведение отличались вызывающей уважение неуступчивостью. Все эти Сашины качества можно назвать одним словом: Саша был деловой человек. Он закончил режиссерский факультет ВГИКа, а потом Институт международных отношений.

Мы медленно шли вдоль ряда, приценивались к «неделькам» других мастеров. Все они явно уступали той, главной «недельке». Митя немножко вякал, ему нравилось все, хотелось поскорей завладеть какой-нибудь куклой. Саша нас остужал: «Не надо торопиться, пусть созреет до настоящей цены».

Когда мы вернулись к первому продавцу, он усмехнулся, прекрасно поняв все наши хитрости. Вокруг нас сбилась группа поднатчиков, может быть, даже профессиональных зазывал, живущих на проценты от сделок. Саша вел диалог с продавцом, продавец не уступал ни полушки.

Зазывалы и поднатчики, раскусив наконец, кто мы такие, заговорили по-русски: «Саня, давай-давай! Саня, давай!» Эти познания русского языка необычайно фонетически восприимчивые негры почерпнули в порту, у причалов, где стоят под погрузкой или разгрузкой наши суда. И этот клич «Саня, давай!» вошел в многоязычный разговорный обиход Дакара, как русские шапки-ушанки в спецодежду дакарских докеров.

Я видел их в порту, блаженно улыбающихся, в шапках с опущенными и подвязанными ушами. Шапки, должно быть, спасают от здешнего разящего солнца не хуже, чем от якутского мороза.

«Недельку» мы все же взяли за названную цену. Не позволяющий себе каких бы то ни было уступок в делах, Саша недовольно ворчал: «Вчера в Дакар пришел советский круизный лайнер «Карелия», привез туристов из ФРГ. Они побывали в деревеньке и вздули цены. Вообще-то, он должен был тысчонку сбросить...»

Особо хочу сказать о звучании русской речи в иноязычной стране. Что для русского это — самая лучшая музыка, и говорить не нужно. Звук русской речи производит определенное действие на англо-, франко-, германо-, итало-, испано- и так далее язычных людей. Действие многозначно, многооттенчато, и никогда нельзя предвидеть, к каким результатам приведет произнесенная тобою вслух русская фраза где-нибудь на рю, стрит, виа или авенида.

...Однажды в Неаполе, осенним вечером, мы, группа писателей, в основном с московской пропиской, держали путь из отеля «Британик», который, как известно, находится у черта на куличках, куда-нибудь поближе к центру, на виа Рома. Хорошо информированные о терроризме, гангстеризме и других безобразиях на улицах итальянских городов, мы держались тесной гурьбой. Женщины прижимали сумки к боку (или к бедру). В нашей памяти жива была рассказанная еще в Москве сцена, разыгравшаяся вот тут, в Неаполе: шла советская женщина, гид «Интуриста», с группой, с сумкой на плече, не на том плече, на каком бы нужно. Мимо неслись на мопеде два бандита. Они подцепили сумку. Добыча казалась им легкой. Однако не тут-то было: наша женщина сумку не отдала. Она упала, ее проволокли по мостовой, у нее оказались сломаны два ребра. Воры скрылись несолоно хлебавши...

Нашу группу вел неформальный лидер. В зарубежной поездке он тотчас выявляет себя, высовывается на полшага вперед других, обнаруживает в залежах своего жизненного опыта уйму практических сведений о данной стране. Он знает, где продаются самые дешевые джинсы, где идет фильм «Эммануэла», сколько стоит «Фиат», как по-итальянски, по-английски, по-французски, по-испански «сколько стоит?» и многое другое. Так вот, неформальный лидер с планом Неаполя в руках вел нас по изломанным, как температурная кривая при малярии, неаполитанским улицам. Московские дамы из литературной среды, вообще склонные к полиглотству, обращались к прохожим с вопросами на разных языках, кажется даже на неаполитанском диалекте. Один из стоящих у подъездов мужчин как-то вдруг весь напрягся, ловя нашу речь, потянулся к нам с улыбкой, спросил: «Моску? Русо?» Последующие события развивались в итальянском темпе.

Наши дамы наперебой переводили речь обретенного в Неаполе друга. Он говорит, что он коммунист. Он говорит, что первый раз в жизни видит русских. Он говорит, что надо по этому случаю выпить. Можно было и не переводить. Итальянская речь настолько экспрессивна, настолько аранжирована общепонятными интонациями и мимикой, наспигована интернациональной латынью, что звучит, ей-богу, как наша родная речь. И никакой в ней французской, тем более немецкой картавости. Если уж «р», так «р» — раскатистое, бодрое, как в детстве палкой по ограде... (Вспомним: «Арриве-деррчи, Ррома!..»)

Мы поднимались по грязному плохо освещенному переулку, с застывшими на лицах — от неожиданности происходящего — улыбками, у какой-то двери остановились. Наш друг, его звали Чичесто (передаю, как услышал), пригласил нас войти.

Мы оказались в очень демократическом баре-подвальчике. Вино было хорошее, белое, не в нашем смысле «белое», а в итальянском, — может быть, кьянти, и вволю. На огонек стали подгребать хорошо знакомые нашему другу лица, жали нам руки, предлагали обменяться сигаретами и значками. Чичесто командовал этой неформальной встречей. Он сказал, что надо спеть «Катюшу», и первым запел. Нам ничего не оставалось, как подпевать. И вот уже в темном закоулке Неаполя «расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой...»

Чичесто жил в этом квартале. У него было четверо дочерей.

Я обратился к нему: «Синьор Чичесто...» Он засмеялся, показал пальцем на окна бельэтажа: «Синьоры там. Здесь, — он обвел рукой подвальное помещение, — камарада».

Уже за полночь мы с ним простились на крыльце отеля «Британик», он уходил от нас, нагруженный не только впечатлениями, но и московскими матрешками, деревянными ложками, уносил в кармане бутылку «Кубанской».

А все началось с произнесенной вслух по-русски фразы на виа Криспи в Неаполе. Кто мог предположить, чем это кончится?

...Однажды в Лондоне мой товарищ, корреспондент

одной из наших газет, сказал мне: «Сейчас мы поедем на Флит-стрит, зайдём в паб, эта такая пивнушка, где собираются зубры английской прессы, будем громко разговаривать по-русски — и ты посмотри на лица, это интересно. Они талдычат о русской угрозе. С одним из них я, помню, пытался спорить, но ни черта не смог ему доказать, — он точно высчитал, когда русские танки появятся на Трафальгарской площади...»

Мы приехали на Флит-стрит, покружили в поисках местечка для машины, припарковали ее почти в том же самом месте, откуда начали путь, проделали этот путь еще раз пешком, наконец добрались до паба. В пабе было сумеречно, грязно, пол завален мокрыми опилками. Зубры английской прессы сидели за деревянными столами, уткнувшись носами в кружки, мерно жужжали.

Мы взяли, кажется, черного пива, расположились у стойки и о чем-то заговорили так, чтобы нас было слышно. Мы не просто беседовали с глазу на глаз за пивом, а самую малость форсировали голосовые связки. И правда, вскоре жужжание в пабе не то чтоб совсем прекратилось, но поутихло, в нем появились паузы. Зубры английской прессы (среди них были и зубрихи, и зубрята) настраивали локаторы своих ушей на нашу волну, прислушивались. Может быть, некоторым из них казалось, что это русские танки чешут от Трафальгарсквер по Стренду прямехонько на Флит-стрит. Самовнушение небезопасно само по себе. Флитстритовские газетчики подымали глаза от кружек, но стоило встретиться с кем-нибудь взглядом — и глаза уныривали в пивные лунки. В скользких, косых взглядах промелькивали отражения разных чувств и выкладок рассудка. Прежде всего нужно было не выказывать любопытства, оно вообще не принято в Англии в публичных местах.

Зубры английской прессы — по виду обыкновенные любители пива — слушали русскую речь и прятали глаза, как будто рыльце у них в пушку. Может, я малость преувеличиваю, но что-то такое произошло в пивнушке на Флит-стрит, когда в ней заговорили по-русски, какой-то сбив тональности в спевшемся хоре.

Бывает и по-другому. В том же Лондоне мне привелось быть гостем районной ячейки компартии. В помещении, где происходила встреча лондонских коммунистов с советскими писателями, имелся бар, речи про-

износились с маленькой эстрады. Каждого очередного оратора сменяли певцы или танцоры. Пиво распивалось и сигареты раскуривались тут же в рядах. Когда подошла моя очередь сказать речь и я поднялся на эстраду (всего одна ступенька) вдвоем с нашей переводчицей, москвичкой Лидией, лондонские докеры, машинисты, столяры, металлисты и безработные (это выяснится потом, кто — кто) вдруг затопали ногами и заорали. Признаюсь, я малость вспотел с непривычки, стоял как дурак, покуда не разобрался, в чем дело. Исполненный самых добрых, даже любовных чувств, зал скандировал два слова: «Лав-ли герл!» То есть «очаровательная девушка». Москвичка Лидия явилась для лондонских коммунистов воплощением именно тех самых чувств, которые они питали к нашей стране, а в этот вечер и к нашей группе.

После короткого митинга начались танцы. Уклониться от них, отодвинуться скромненько к стенке тут было нельзя. Обмен речами был краткий, как предисловие к чему-то главному, к делу; теперь от нас ждали подтверждения провозглашенной в речах дружбы — в действии. Надо было твистовать и чарльстонить. Я живо помню, как чарльстонил, может быть, в первый раз за последние сорок лет своей жизни, член нашей группы, убежденный сединой переводчик Томаса Манна Апт.

Привычные больше к собраниям, нежели к танцам, мы мало-помалу втягивались в это общее важное дело — раскрепощались. Честное слово, танцы сближают теснее, непосредственнее, чем речи. Сближению способствовали и вкаченные в зал тележки-столики с набором бутылок. Вопреки нашим представлениям о скаредности западных людей, о смехотворной, по нашим масштабам, дозировке спиртных напитков на Западе, здесь выпивали по-нашему, залпом, из стаканов. Пойло было отменно крепкое.

Я не сторонник и не любитель этого дела, но если спиртное сближает людей, разно говорящих, разделенных морями, кордонами и тянущихся друг к другу, — так будь оно благословенно.

Но и это не все. От нас хотели песен. Наших. Нам уже спели «Катюшу» и «Подмосковные вечера» — по-английски. Петть соло никто из нас позволить себе не мог. Пение квинтетом тоже не предвещало ничего хорошего. Положение становилось аховым. Ладно, нашелся один, Ростислав Филиппов, поэт из Читы. Он надел на

шею протянутую ему гитару и неожиданным при его росте и сибирской комплекции лирическим тенором, от души, как у себя под Читой на воскресной вылазке в тайге, запел: «Василе-ечки, васильки...»

У хозяев особо выделялся докер по имени Кеннет. Таким и должен быть настоящий докер. Вся его внешность несла на себе отпечаток спокойствия, силы, а взгляд серых глаз выражал достоинство, дружелюбие и открытость души. И что-то было в нем властное, хозяйское. Мне довелось испытать рукопожатие Кеннета. О! Рука его могла многое.

Когда пришло время проститься, Кеннет сказал: «Надо спеть на прощание «Интернационал». Все встали в круг. Лондонский докер поднял руку и рубанул воздух. Всяк запел на своем языке. Английские слова не мешали русским, русские английским, а мотив был один. В самом центре британской столицы, в разгар очередной антисоветской кампании, зычноголосый, в основном мужской хор пел так, что слышно было на улице и в прилежащих домах: «Вставай, проклятьем заклеяменный, весь мир голодных и рабов!.. Кипит наш разум возмущенный...»

В обеденное время, только что искупавшись в бассейне, мы с моим спутником решили отобедать здесь же, в кафе у бортика. За столики тут садились непросохшими, прямо из воды, в плавках.

На стойке высились холмы и сопки всяческой еды, каждый волен был взять себе чего и сколько угодно его утробе. Как известно, чем больше предложено вариантов, тем труднее остановиться при выборе на одном. Мы с моим спутником в некотором остолебнении стояли перед горной грядой одинаково вкусной, красиво экспонированной снеди. Мы, право, не знали, в какое место воткнуть предложенные нам хромированные вилы, куда запустить лежащие тут же ложки — из сервиза Гаргантюа...

Как вдруг мы услышали... Честное слово, само провидение оказало нам милость:

— Таня, будем кушать салат.

Эти слова произнес стоящий перед нами мужчина среднеевропейской внешности. С мужчиной была девушка лет шестнадцати. Русские слова прозвучали как па-

роль. Оставалось только ответить на пароль, и кто-то из нас сказал:

— Мы тоже будем кушать салат.

Общепринятая здесь, на атлантическом курорте, некоммуникабельность дала трещину. Мужчина обернулся к нам:

— О! Я слышу русскую речь.— Он представился:— Коновницын. Коммерсант из Парижа.— Понимая неполноту такой информации, он добавил:— Мои родители приехали из России во Францию в начале века. Я разговариваю с дочерью по-русски, чтобы не забывала язык.

Коммерсант Коновницын разговаривал по-русски с прононсом, грассируя. Но самый звук его фамилии уносил меня куда-то в недра отечественной истории и литературы: генерал Коновницын был героем Отечественной войны 1812 года, для него нашлось место и в романе Льва Толстого «Война и мир». Я знаю старую церковь на Псковщине, неподалеку от Чудского озера, и каменную плиту над усыпальницей Коновницына...

Я пишу об Африке, но на перфокарте моей памяти обозначены почему-то пусть малозначительные, но дорогие мне эпизоды, моменты, когда за тридевять земель встретился не с удивительным, новым, а со знакомым, моим. Так устроено человеческое сознание: в дальнейшем странствии оно улавливает неведомые картины и впечатления, но долго их не держит, зато в том месте, где вышла встреча с чем-то таким, привезенным с собою из дому, там остается зарубка навек.

Самое лучшее время в Африке — это раннее утро. Оно не дурно и на других континентах — самое бодрое время, — но в Африке прохлады в особой цене. Еще подымется солнце и так напечет затылки, что многие, многие заберутся в тенек, прикорнут — до возвращения прохлады. Даже хозяева лавочек пренебрегут интересами дела, повалятся навзничь на циновку, на шкуру, пусть даже это — шкура змеи.

Утром у подъезда отеля «Меридиан» собираются владельцы такси. Каждый из них являет собою неповторимый образчик породы. Их литые тела обернуты в яркие ткани, головы увенчаны тюрбанами, голые, мощные, вытесанные из черного дерева ноги — надежные подпорки. Таксисты держат в руках стопы снимков с видами

Дакара и предместий. Они предлагают тебе побывать вот здесь или здесь. Ты отвечаешь, что нет, спасибо, однако они не внемлют отказу. Они протягивают тебе снимок с прелестным видом и убеждают, внушают, склоняют тебя к поездке в это чудное место. Что? Тебе не нужно сюда? Пожалуйста, есть местечко еще лучше.

Прогулки по Дакару неизбежно приведут каждого нового человека к здешнему «чреву» — Черному рынку. Черному не потому, что здесь творятся черные делишки, контрабандные операции (впрочем, наверное, не без того), а потому, что здесь торгуют чернокожие, черноволосые, черноглазые люди. Торгуют черные, а покупают всякие. Здесь продается решительно все, от клубня батата до японского транзистора, от самодельного тамтама до французского электрооргана, от шкуры змеи до живого попугая. Тут делают такие дамские прически — прямо на земле, на расстеленных кошмах, — что головы делаются похожими на мины с рожками. И если устанешь от разогретой, плавящейся телесной массы толпы, можешь зайти в закуток, где стоят и лежат деревянные фигуры, высохшие, как мощи, утратившие какой-либо цвет, пахнущие чем-то таким, что, может статься, имеет обозначение только на языке мандинго. Это — деревянные скульптуры, не вчера вырезанные на потребу туриста, а явившиеся на свет под рукою неведомого мастера как тотемы-божества. Цены, проставленные на их иссохших торсах, такие же долгие, как их возраст. Покупателей в лавочках-склепах нет. Хозяева лавочек тоже малость усохли, как их товар, дожидаясь своего часа, далекие от рыночной суеты, хотя и внедренные в стремительный поток...

Бурлящий, пахучий, переливающийся всеми красками юга, востока, да и запада тоже, черный рынок в Дакаре вдруг замирает и оборачивается в одну сторону, как парусник, уловивший ветер. Откуда-то с минарета доносится слышимый всем зов муллы или, может быть, муэдзина. Мужчины валяются наземь ничком, касаются лбами тверди. В час намаза можно стоять или долго, долго идти над сонмами склоненных спин, укрытых рубищами, и видеть обычно скрытые взору, изрядно стоптанные босые подошвы, пятки. Так посетители Эрмитажа проходят мимо картины Рембрандта «Блудный сын» и видят именно голые пятки, подошвы, а если не видят, экскурсоводы им указуют: смотрите, какую вели-

кую скорбь, покаяние, смирение, после горьких странствий могут выразить эти не видимые никому, кроме художника-прозорливца, стопы много ходившего по земле и не нашедшего счастья сына человеческого.

Дакар омывается океаном, можно сойти к иссиня-зеленоватой, необыкновенно яркой, крепкого посола воде и порыбачить. Наши вожатые утверждают, что с волнолома можно поймать на спиннинг рыбу-меч, рыбу-иглу, рыбу-пилу, рыбу-капитана или еще какую-нибудь изрядную рыбу. Однако праздно рыбачащих, то есть активно тратящих свое свободное время горожан не видеть.

Горожане среднего и выше достатка в воскресенье выезжают семьями к океану, располагаются в тени деревьев со своими «Рено», «Пежо», «Ситроенами», «Фольксвагенами», «Тойотами», «Волво» — мерилом высшего благосостояния является «Мерседес», — надувают матрасы и кресла и отдаются в целительные руки океанского бриза. Идея активного отдыха — какого-нибудь там турпохода с рыбалкой и пикником, загоранья, прыганья на волейбольной площадке — состоятельным горожанам Дакара абсолютно чужда. Они просто сидят, возлежат — и дышат океанским воздухом, подкрепляют себя легкой едой и необременительными напитками.

Главное благо для них — неподвижность. Суета, ухищрения, судороги усилий будней, лет, десятилетий — ради вот этой минуты кайфа, этого местечка под солнцем, и чтобы солнце было заслонено ветвями деревьев, чтобы не раскалился капот «Рено». Завтра снова ковать монету в поте лица, а там, глядишь, место узкомордого «Рено» займет пучеглазый «Мерседес»...

Цвет кожи у этого слоя дакарцев промежуточный, между ночью и днем, рассветный. Торговлю в Дакаре держат выходцы с севера Африки.

Вечером у нас встреча с генеральным секретарем Ассоциации сенегальских писателей Джибудилом Тамсиром Нианом. Он нас принял в особняке в тихой улице, непрестанно курил, как редактор районной газеты где-нибудь на Алтае во время уборки, ждущий у телефона итогов решающей пятidineвки для рапорта в завтраш-

нем номере. Он был черен и худ, что подчеркивалось белизною его африканского одеяния. Глаза его выражали всю гамму человечности — ума и чувства. То он склонял набок голову, ловя смысл услышанного, сопоставляя с чем-то внутренним, своим. То улыбался, нащупав точку контакта. То загорался, всем сердцем желая донести до нас не только мысль, но и учащенное биение пульса. То размышлял, обращаясь к нам с вопросом...

Когда мы вышли после беседы с Нианом из вдрызг прокуренного его кабинета на пропахшую цветущей бугенвильей улицу, нами владели хорошие, добрые чувства. И было свежо, словно мы посидели у океана, всласть надышались его чистотой.

Оставалось поужинать. Мы отыскиали местечко в прибрежном, открытом всем ветрам ресторане. Откуда-то вдруг появился наш добрый гений коммерсант Коновницын, помог разобраться в изысканностях меню и деликатно исчез...

Ночь была хороша. И уже захотелось кого-нибудь приобщить к нашему пиру, приобнять...

Мне вдруг захотелось домой...

Как будто внимая зову затосковавшей моей души, недалеко послышался голос:

— Ах вот вы где, ребята! А мы с Надей вас ищем. Все рестораны обежали.

Это инженер торгпредства Виктор Смирнов с женой Надей нашли нас именно в ту минуту, когда мы сами искали и не могли найти ни души в распрекрасной этой, но слишком уж черной ночи. Ищущий да обрящет.

— Доедайте, допивайте, — сказал Виктор, — и поехали на «Карелию», там у них сегодня вечер отдыха для команды. Потанцуем, встряхнемся.

Давненько я не бывал на танцах, а ведь когда-то любил. Старая любовь не ржавеет. В большом салоне «Карелии» милая девушка (лавли герл) Таня читала с эстрады стихи Асадова, Горбовского и Сосноры. Мне захотелось домой — и вот я дома...

Поздней ночью у трапа худой неулыбчивый африканец в рубище протянул мне такую знакомую антилопу с антилопенком. Она давным-давно стоит на шкафу в кабинете Виктора Конецкого...

Ну а что же балет Сенегала? Я был на балетном спектакле в холле гостиницы «Меридиан», но того действия, как в Ленинграде, на Зимнем стадионе, балет на меня не оказал. Я хотя отдавался ритму и страсти представления, но знал, что могу выйти из зала, и та же страсть, тот же ритм коснутся меня в Золотой деревеньке, на черном рынке, на портовой улочке Дакара, на берегу океана, в саванне под баобабом, по-зимнему безлистым, обнаженным, запечатлевшим в стволе и ветвях мощь жизни и судорожную пластику боренья.

Балет Сенегала — это больше, чем жанр искусства; в нем биение африканского сердца, ток крови, жар солнца, преданность завещанному предками образу жизни и порыв к раскрепощению, грация женщины, несущей на голове поклажу, и кованность мышц мужчины-охотника, воина. Когда смотришь балет Сенегала у себя дома, на севере — не только наслаждаешься красивым зрелищем, но и бываешь вовлечен в ритм жизни дальней жаркой страны, подключаешься к ее пульсу. Искусство словно прокаляет тебя, излечивает от простуды, от тягости домашних забот, приобщает к всечеловеческому...

В Сенегале тамтамы балета слышат другие тамтамы Африки, даже те, которые предлагал нам купить бедолага-торговец на грязном пляже, в день нашего сошествия на африканский берег. Как писал Виктор Конецкий в новелле «Дакарские сказки»: «Тамтамы — это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость».

Глядишь на балет в Сенегале, слушаешь бой тамтама, и понимаешь, что это не главный источник звука, а отголосок, — и хочешь куда-то уйти, освободиться от обязательности программы, замкнутости пространства. Здесь представление, а вокруг тебя Африка. Сделать всего один шаг...

Но какая тяжесть в ногах! Приросли они к родной почве, не оторвать; и куда бы ни заносило тебя, эта тяга земная — родной земли — держит цепью: не сделаешь шага, не вступишь в чужую жизнь, не сольешься, не растворишься, ветром не сдует тебя, и не сломает волной, и соблазном не опалит. Гуляешь по Африке — чувствуешь у себя на плечах прохладные сильные руки России...

В ТЕНИ, ПОД МАНГОВЫМ ДЕРЕВОМ

Самолет местной линии, наподобие нашего ЛИ-2, летит от Дакара до города Бисау чуть больше часа. В одном ряду со мной, за проходом, обосновалась смешливая африканка. Первое, что рассмешило ее, это мои часы. Она показывала пальцем на мои часы и просто-таки заливалась смехом. С часами марки «Победа», и правда, в Африке происходили конфузные странности. Под действием неизвестных мне сил стрелки вдруг начинали прыгать, отхватывая изрядные куски суток, то они двигались вспять, то замирали. Но главная странность их поведения состояла в том, что, попрыгав, стрелки вдруг находили на циферблате место, точно соответствующее месту солнца на небосклоне. Я уже привык к такой автономной и несколько нервической жизни советских часов в Африке, относился к ним как к браслету, не более.

Африканка, похожая на возделанную садовниками клумбу в своем цветном бубу, смеялась, и рот ее источал сияние, как люстра. Я протянул ей изданный «Машинэкспортом», на прекрасной бумаге, календарь текущего года: русские зимние ели в снегу, первые проталины...

Африканка дала мне французский журнальчик с картинками очень даже игривого свойства. Самолет летел над рыже-зеленоватой саванной. Хотелось какого-нибудь приключения в Африке. Пассажиры тянулись заглянуть в наш советский календарь. Никто из них никогда не видел сугробов, еловых лап, отягченных снегом, и едва ли увидит. Я не видывал баобабов, джунглей. Самолет развернулся над морем, сел и самую малость не докатился до опушки джунглей. Зелено, густо — наверное, джунгли, чему же тут еще быть?

Таможенные и другие формальности оказались необременительными в этой стране. Пестрое население нашего маленького самолета тотчас куда-то делось. Мы оказались вдвоем с моим спутником в подпертом со всех сторон зноем здании аэровокзала. Стоило высунуть нос наружу, и тотчас следовал солнечный удар — по этому самому носу — пусть не убойной, но вполне ощутимой силы.

Нас не встретил никто. Возможно, не сработали какие-то средства связи, или запоздали предупреждения о нашем прибытии, или бог знает что. Приключение в

Африке назревало, я радовался ему, слонялся по опустевшему начисто зданию аэропорта. Соответствующие различным аэропортовским службам вывески наличествовали, но службы бездействовали. Так, например, за стойкой под вывеской «Бар» не просматривалось ни одного сосуда. Нигде я не обнаружил ни капли жидкости, не было даже традиционного для наших широт бачка с питьевой водой, с прикованной цепью кружкой.

— Что будем делать? — спросил я у моего спутника.

— Будем ждать, — ответствовал он. Природа его наделила долготерпением, а также неколебимой верой в разумный естественный ход вещей.

Я продолжил обследование аэропорта столичного города Бисау и в конце концов натолкнулся на дверь, за которой теплилась (при сорокаградусной жаре снаружи) не только жизнь, но и служебная деятельность. Тут стоял телеграфный аппарат, своим видом напоминавший о заре телеграфной связи. Телеграфист тоже был какой-то вечный, типический. Я обратился к нему с вопросом — на всех известных мне языках, кроме португальского, неизвестного мне. Однако нужен был именно португальский. Я сильно напрягся и произнес два слова, полагая, что они должны быть понятны по-португальски: «советико амбашада». Телеграфист сразу понял, соединил меня по телефону с советским посольством, через минуту я уже слышал родную речь: «Что, делегация писателей?..» Последовала пауза. «Подождите, сейчас выясним...» И еще через минуту: «Сейчас за вами придут...»

Приехал Валерий Черняев, секретарь посольства, кандидат юридических наук, молодой, в белой рубашке и черных брюках — по-летнему, по-московски, на белом, довольно-таки давно не мытом «Рено», ухмыляющийся: «Ну что, ребята, испугались?» — «Да нет, ничего». — «С Дакаром нет связи уже неделю. Пограничные осложнения. Ну ладно, не бойтесь, не пропадете...»

Мы поехали по городу Бисау, он был, в основном, одноэтажный, провинциальный, дома отгородились от улиц опять-таки цветущей бугенвильей. В центре города имелись и трехэтажные здания. В порту стояло под разгрузкой советское судно. На рынке, что поразило меня, одна женщина торговала дровами. Полешки были тонкие, собственно, палки, а не полешки. Однако каждая палка стоила каких-то денег: при горении она даст теп-

ловые калории, на которых можно испечь лепешку. С электрическим и другими источниками энергии в этой стране туговато. Вечером я увижу студентов лица, сгрудившихся с книгами и конспектами в кругу света под уличным фонарем...

Валерий Черняев привез нас в местный отель, о чем-то поговорил с администрацией и вернулся с уже знакомой нам ухмылкой на своем очень московском лице: «Они говорят, что номер свободный есть, но сломался замок, не открыть... Если хотите, я вас покатаю немного, тут кататься особо негде, но, учтите, бензин на пределе... С бензином у нас не очень... Кончится бензин, придется идти пешком. Согласны?» — «Согласны».

Мы проехали по Бисау, скоро оказались на его окраине, тут был пивной заводик — чуть ли не единственное промышленное предприятие, оставленное в наследство республике португальцами в память о своем пятисотлетнем колониальном владычестве. Валерий сказал, что пиво хорошее, но бывают с ним перебои. Такое дело: или есть ячмень, или же его нет. Ячмень привозной, свой не произрастает на ниве Гвинеи-Бисау. Без ячменя пива не сварить.

Дорога вывела нас к морю, должно быть в дельту реки. Море было здесь мелкое, мутное, заболоченное. На берегу моря рос баобаб. Валерий сказал, что под сенью этого баобаба дышат прохладой влюбленные или просто досужие горожане Бисау. Баобаб еще не оделся листвой, и тень его пока что была недостаточной. Зато он сполна был открыт для обозрения, по-слоновьи огромный, со старой морщинистой толстой корой, с массивными натеками и глубокими продолговатыми впадинами на комле. Вот я встретился с баобабом, можно было его приобнять (для полного объятия потребовалось бы еще пятеро долгоруких мужиков), прижаться щекой к крупноячеистой чешуе его покрова. Можно было посидеть под баобабом на лавочке, покурить и кинуть окурок в непригодный для купания океан.

Неподалеку от берега, бродя по мелководью с большими сачками, гвинейки ловили креветок. На головах у них непонятным образом держались калибасы — сосуды из местных тыкв; с профессиональной грацией они приседали, храня при этом прямизну стана, зачерпывали донную жижу, извлекали из сачка моллюсков и отправляли их в чаши над головой.

«Ну что, ребята, — сказал Валерий, — давайте я вам уж заодно покажу и окрестности Бисау, вывезу на природу... Может, хватит бензина?» — обратился он к нам с вопросом. «Вам видней, камрада». — «Ладно, поехали». Склонность Валерия Черняева к решительным поступкам, даже с маленькой долей риска, впоследствии не раз еще сослужит нам добрую службу, а его иронический склад ума поможет остаться самими собой на африканской почве, в протокольной роли членов делегации.

Дорога, опоясывающая Бисау, была грунтовая, кирпичного цвета. Ближе к дороге подступили джунгли, но как бы близко ни подступили они, проникнуть взором внутрь этих самых джунглей не представлялось возможности, и даже мысли не возникало о том, чтобы остановиться у обочины и сбегать в джунгли по ягоды, по грибы, устроить в джунглях какой-нибудь, скажем, пикник или отправиться туда на охоту... Джунгли отличались от нашего леса прежде всего отсутствием в них видимого пустого пространства между деревьями. В лес можно войти и можно в лесу оглядеться; в джунгли нужно было влезать, врубаться, нырять, как в море зеленого цвета, поставленное на попа. А там, в этом море бог знает какие акулы и крокодилы...

Впрочем, какие джунгли? Мы чуть выехали за околицу города Бисау. Это еще пригородный парк, все равно что из Ленинграда за Ольгино выехать. Вон и спортсмен бежит по обочине. Он мог бы бежать и по середине шоссе: ни встречного, ни попутного движения нет никакого на этом шоссе. Вон идут две женщины, на них только юбки, то есть их бедра обернуты цветными лоскутами, а больше на женщинах нет ничего. Я говорю себе: «Ну-ка, протри глаза, удостоверься — ты в Африке. И это не парк — африканские джунгли».

Дорога местами ровна, а местами похожа на наши проселки. Водителю хочется прокатить своих соотечественников по Африке с ветерком. «Рено» — машина, не приспособленная к проселкам. На какой-то колдобине автомобиль подпрыгнул, царапнул брюхом грунт — и умолк. Мы все тоже молчали минуту. Потом Валерий Черняев сказал: «Все, ребята, хватит кататься. Бензин на нуле».

Бензину, однако, хватило, чтобы вернуться в город Бисау, доехать до отеля «24 сентября» (это — день про-

возглашения независимости Республики Гвинея-Бисау). Надо думать, горячее не кончилось и на пути от отеля до дома Валерия Черняева. Человек он хотя и рискованный, но с трезвым расчетом. Иным ему и нельзя быть в его дипломатической должности.

Земля здесь такого цвета, как прямо из печки, еще не остывший кирпич, даже страшно ступить ногою на эту землю, того гляди обожжешься. Мы привыкли к тому, что зелень у нас там сочнее и гуще прет из земли, где чернее земля. А тут, на оранжевой, накаленной до алости почве растут банановые деревья с мясистыми, как слоновые уши, сочно-зелеными листьями.

И нет акварельных, пастельных полутонов, растушевок и подмалевков. Все писано маслом и крыто лаком: на оранжевой земле зелень пальм и бананов. Белые стены одноэтажных продолговатых казарменного типа строений; тут и были казармы: португальский военный городок. Теперь здесь отель «24 сентября». Пока не спала жара, на подворье отеля пустынно, если есть хоть одна живая душа, то она спасается от зноя у кондиционера.

На одном из перекрестков — казармы выстроены рядами, с пересечениями — помойка, такие же баки, как везде. Но по краям этих баков сидят большие черные птицы с длинными голыми мерзкими шеями. Это грифы-трупоеды. Они оцепенели в солнечном мареве...

Все-таки жутковато северному человеку в первый раз оказаться в африканской стране, слишком яркое здесь освещение... «А жара здесь анафемская...» Этой фразой начинаются записи моего первого дня в Гвине-Бисау. «Выключил кондиционер, открыл дверь на терраску — оттуда дохнуло, как из духовки. Вот я гляжу из потемок моего номера на африканский зной, его можно видеть, он материален. От зноя колышутся листья бананов (слоновые уши); молодые зеленые бананчики подобны патронам в ленте крупнокалиберного пулемета. Первый раз оказавшись в Африке, обращаешься за сравнениями или к миру зверей, или к войне...»

Наверное, на вооружении Армии освобождения в джунглях имелись крупнокалиберные пулеметы. Джунгли всецело принадлежали повстанческой армии. Португальцы удерживали за собой города, крепости в глубин-

ке и дороги. К началу войны (то есть к шестидесятому году) в Гвинее-Бисау имелась одна асфальтированная дорога, длиною в шестьдесят километров. С началом войны португальским колониальным властям пришлось заняться тем, чем не удосужились заняться их предшественники на протяжении пяти веков своего владычества: рубкой просек в джунглях, строительством дорог.

За португальскими войсками еще оставалось небо. Сверху они выслеживали любое движение в джунглях и жгли напалмом. Отряды Армии освобождения передвигались рассредоточенно, скрытно. Но как ни скрывайся, над головами всегда португальский разведчик. Вечером — остановка. Может быть, это деревня (в Гвинее-Бисау ее называют табанка), или поляна, или берег реки — открытое, засеченное воздушным разведчиком место. Короткая остановка в этом месте, очень короткая — и сугубо скрытный бросок куда-нибудь в дебри, на достаточное расстояние. И там, в дебрях, ночлег. Если в табанке есть люди, их забирают с собою в джунгли. Там, затаившись, ждут, когда прилетят самолеты и выжгут напалмом предполагаемое место ночлега отряда, части, соединения.

«...А шли по джунглям так, — рассказывали мне кинооператоры Юрий Егоров и Олег Лебедев, прошедшие в Армии освобождения многие месяцы; сейчас они живут в том же отеле, что и мы. — Впереди отряда здоровый детина с дрыном в руках. Он идет и лупит по деревьям, чтобы оттуда, сверху, свалились банановые змеи. Они такие зеленые, у них укус смертельный. На пробковых шлемах, видал, сзади есть козырек. Он для того, чтобы змеи скатывались, за ворот не проникали. Отряд по джунглям идет редким строем, в нескольких метрах один от другого идут. В толпу змея упадет, может многих перекусать...»

Днем банановые змеи, ближе к вечеру малярийные комары, если переправа через реку, то обязательно крокодилы (в планах экономического развития Республики Гвинея-Бисау видное место отведено добыче, выделке и экспорту крокодиловых шкур). В сезон дождей над Армией освобождения разверзались небесные хляби. Стоило только очиститься небу, как оттуда, с неба, хлестало огнем и свинцом...

Армия освобождения была крестьянская, плохо во-

оруженная, полуграмотная, необученная армия. Она воевала — и обучалась, вооружалась. Все освобожденные районы работали на армию, мальчишки, окончившие четыре класса, умевшие читать и писать, обучали взрослых солдат грамоте.

Климат этой страны, большую часть которой составляют заболоченные низменности, заиленные поймы и устья больших мутноводных рек, кишящих всеми известными возбудителями желудочно-кишечных инфекций, сам по себе болезнетворен. При полном отсутствии санитарии и гигиены болезни выкашивают целые поросли детей. Семьи тут многодетны, древний племенной обычай многоженства далеко еще не изжил себя. Проникшее с севера Африки мусульманство даже и осватило этот обычай, а христианство, миссионерского толка, оказалось бессильным против него, как оно оказалось бессильным против, может быть, самого бесчеловечного деяния белых людей на Африканском континенте — работорговли...

Португальский колониализм, с его территориальной гигантоманией, принципиальной антигуманностью и атрофией какого бы то ни было созидательного начала, веками паразитируя на полудиком, полуголодном прозябании поработанных африканских народов, в своем историческом финале выродился в салазаровский фашизм — в метрополии. Правители феодальной, буржуазной, фашистской Португалии — маленькой, слаборазвитой страны на окраине Европы — неизменно страдали комплексом державной неполноценности перед лицом своих могущественных соседей. Эту недостаточность они восполняли за счет почти ничего не стоивших им захватов девственных африканских побережий, порабощения народов. И, господи, как же долго все это длилось...

...Выключил кондиционер, открыл дверь на террасу. А не надо бы: того гляди налетят малярийные комары. Валерий Черняев дал нам сильнодействующие — французские — противомаларийные таблетки. Сардонически усмехаясь, он предупредил, что сильно действуют они прежде всего на печень. Для нейтрализации этого побочного действия выдал и поливитамины. «Хотя вообще-то, — сказал Валерий Черняев, — лучшее профилакти-

ческое средство от малярии для белого человека в Африке — это виски, натуральный шотландский виски». Валерий переболел малярией, к его советам следовало отнестись всерьез.

В открытую дверь мне видны пальмы-пальмочки; их стройность можно сравнить разве что со стройностью здешних дев; но кора на стволах этих пальм светлее, чем кожа туземок: она такого же цвета, как кожица ананаса... Да это и не пальмы вовсе, нет, это деревья папайи; плоды папайи висят высоко, пониже, чем кокосовые орехи, но высоко, руки не протянешь, надо лезть на дерево за плодом. А дерево такое тонкостволое, такое стройное...

Плоды папайи подобны зеленым флягам; в сосудах плоть или, лучше сказать, квинтэссенция жизни, жизненный эликсир; оранжевая мякоть папайи утоляет и голод и жажду. Говорят, что плоды папайи подаются к столу самых высоких особ. Может быть, отсюда эта некоторая беспечность африканца в отношении средств существования: чуть-чуть напрягся, залез на дерево — и отобедал?! Если не плодом папайи — это все же деликатес, — то кокосовым орехом...

Запираю дверь, хватит. Включаю ревун-кондиционер. Начинается моя первая ночь в настоящей, глубинной Африке. Сна ни в одном глазу. Все время чудятся малярийные комары. Комаров не видать, но что-то такое есть, что-то жалит, на коже вспухают волдыри от укусов. Москиты? Малярийные ли москиты? Или это комарофобия? Очень хочется пить. Одну бутылочку — маленькую, четвертушку — португальской минеральной воды «Кастелле» я позволил себе. Но я не знаю еще, чего она стоит, что значит здешняя денежная единица — эскудо? Само это слово звучит не слишком многообещающе, на память приходит другое, наше слово: «скудость». Все время держишь в уме скудость собственных командировочных средств. Мы здесь не в гостях, в командировке, нам следует уложиться в наши квартирные и суточные, чтобы затем отчитаться. Командировка в дальние страны — это не только уроки географии, но и уроки изрядно подзабытой арифметики: не столько сложение, сколько вычитание, не столько умножение, сколько деление...

Мы ужинали в ресторане при отеле, и ужин был изобилен, ужин по-португальски: на закуску свежие

овощи, затем кусок мяса, добрый кусок в меру прожаренного доброго мяса, с картошкой и помидорами, затем кусок рыбы, кажется, это тунец или рыба-капитан, с овощами, затем тарелка протертого морковного, что ли, супу — и на десерт плод папайи. Это вроде как комплексный ужин, он неделимый, блюда неотвратимо приносятся одно за другим. И цена одна за весь ужин. Отдельный счет за напитки. И наличными не берут, достаточно расписаться в книжке официанта.

Видя некоторое наше смущение по поводу изобилия яств, Валерий Черняев нас успокоил: «Да вы не бойтесь, ребята. Это все здесь дешево. Здесь вообще еще денег не научились считать. Национального дохода почти что нет никакого. Деньги — условность...»

В первую ночь в отеле «24 сентября» мне не спалось, да и в последующие тоже. Столько накапливалось за день разнообразных сведений, впечатлений, что хотелось их все записать. Завтра нахлынут новые образы и картины, эти, сегодняшние, стущуются, а жаль. По ночам я писал, и всегда не хватало мне ночи, чтоб занести на бумагу ну хотя бы полдня...

И в эту первую ночь я писал. Мои чувства и нервы мало-помалу унимались, я уж не так обижался на комаров, не мечтал о холодной воде «Кастелле», прогуливался по моему большому номеру (очевидно, до 24 сентября 1973 года в нем размещалось отделение португальских солдат), садился к низкому столику и писал. Что может быть лучше: прожить день в Африке полной жизнью и ночью обладать высшим благом одиночества — для работы?..

Как вдруг... Ага, тебе хотелось приключения в Африке, вот оно, получай... Кто-то явственно, но деликатно, искательно постучался в дверь моего номера. Я взглянул на часы, они показывали половину четвертого. Стрелки часов «Победа» в этот раз показывали то самое время, что и мои биологические часы. В половине четвертого кто-то постучался ко мне в дверь, дело было в самом центре Африки, в стране, где совсем недавно гремели выстрелы...

Мой спутник спал, или писал путевой дневник, или письма друзьям на родину. Перегородки меж номерами в этом отеле казарменного типа не уступали в толщине стенам форта. Кем населен отель и населен ли он, я не знал. Африканская ночь, может статься, была и нежна,

но вполне непроглядна. И я испытал всю меру моей незащитности перед этим стуком в дверь. Я подождал, стук повторился. Он ничего не требовал от меня, может быть, даже о чем-то просил. Я подошел к двери и сказал невидимому посетителю именно те слова, которые полагалось сказать: «Кто там?» За дверью послышался шорох пугливой речи, или не речи, бог знает, какое существо посетило меня, по-каковски оно лепетало... «Что надо?» — спросил я у существа, ища спасения от него в самом звуке этого грозного в наших краях, с серьезным предупреждением в интонации, окрика. «Что надо?» — грозно спросил я у африканской ночи. Ответа не было. Все утихло.

Валерий Черняев, когда я ему поведал о случившемся ночью, сказал, что это бывает, досталось в наследство от пяти веков колониального владычества, как и португальская кухня в ресторанах: местные женщины ищут контакта с вновь прибывшими белыми людьми. Отдельные женщины, их единицы. А временем для контакта почему-то избрали глухой предрассветный час: в половине четвертого.

Так что, выходит, и правильно я поступил, не поддавшись на вкрадчивый стук.

«Теперь шесть утра. Гудит кондиционер, как турбина самолета. На дворе не видно ни зги. Спят мои милые африканцы. Они скоро проснутся. Станет утро. Сначала будет прохладно. Солнце взойдет в тумане, обозначит себя, но будет милосердным. Жители Гвинеи-Бисау проснутся веселыми, освобожденными от колониального ига.

Проснется вдова Амилкара Кабрала, худенькая женщина с матовой кожей, с глазами газели. Если есть на свете газели, то, наверное, у них такие глаза, как у Анны-Марии. В глазах у нее жертвенность, и отзывчивость, и готовность к радости и приятию горя.

Память той смертной ночи запечатлелась в ее душе; и глаза ее что-то такое знают, чего не скажешь словами. Она одинока, живет по закону зверя, как раненая газель. Она умеет скрыть свои чувства...

Марио Сиссоко — директор Центра научных исследований. Он высок, по-негритянски худ, элегантен. У него темная кожа, но глаза его еще темней. Однако темная

кожа и глаза Марио излучают свет. Светлый облик черного человека... У него лиловатые губы, такая же лиловатость наличествовала в губах Пушкина, бакены, как у Александра Сергеевича, крупные неровные белые зубы.

Марио говорит по-русски, он учился в Москве, но при первом же случае переходит на португальский, обращает взор к переводчику. Он собран, серьезен, голос его тих, но вот он улыбнулся, и загорелись его глаза, заблестали зубы...

Марио Сиссоко уже написал два тома истории своей родины. Всего будет четыре тома. Ему достались архивы: пока еще никем не разобранные свитки и папки письменных документов — история колониализма на западном берегу Африки, написанная самими колонизаторами. Впрочем, были среди португальцев, посетивших гвинейское побережье, и ученые, занимавшиеся этнографией, материальной культурой, фольклором местных племен. Их труды тоже в свитках и папках, доставшихся Марио Сиссоко. И ему досталась его освобожденная родина — такой, какою она была пятьсот лет назад: болота, мутные многоводные реки, зной, сахарный трострик, рис, арахис, ананасы, бананы, кокосовые пальмы, папайи, сорго; крытые травой хижины в табанках; большие выводки ребятишек с выпученными от рахита пузами; женщины со стройными, как стволы папайи, ногами; мужчины, способные в мгновение ока забраться на вершину пальмы и нарубить молодых побегов для пальмового вина, способные победить в двенадцатилетней войне непобедимых в течение пяти веков португальцев-колонизаторов; неразработанные залежи бокситов и редких металлов; чересполосица племенных диалектов; предания, песни, легенды, хранимые в памяти жителей джунглей, нагорий и пойменных низин... И — неплатежеспособность молодого государства Гвинея-Бисау, не получившего в наследство от веков ничего. — И — доброта, простосердечие, непритязательность соотечественников...

Близость к источникам — к первоисточникам жизни народа — вот что подвигает Марио Сиссоко писать труд по истории своей страны. Потом будет другое: страна вступит — вступает уже — в пору преобразований, развития, строительства, сельскохозяйственных кампаний, мелиорации и пр. Стране предстоит другая история, но

ту, что была, не переиначишь. Пока что можно еще созерцать былое, погружаться в столь свойственную этим широтам созерцательность. И, господи, до чего же жарко! Гудят кондиционеры, жужжат вентиляторы, разгоняют малярийных комаров. И — понуждают к работе.

Центр научных исследований, который возглавляет Марио Сиссоко, включает в себя отделы и подотделы: медицинский, ботаники, истории, социологии, геологии, лингвистики. Когда-нибудь для Центра научных исследований выстроят дом; пока что у Сиссоко одна комната и хранилище архивов; еще национальный музей: в нем тотемы, деревянные скульптуры, предметы ритуального действия; и еще — публичная библиотека, в ней десять тысяч томов. Бродя вдоль полок, я отыскал Толстого и Гоголя, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Шолохова — на португальском...»

Я закрыл кавычки. То, что заключено мною в кавычки, написано в Африке, с подлинным верно, большей частью я вел эти записи ночью, под вой кондиционера, борясь с желанием промочить горло, прилечь на постель; и ночи всегда не хватало, чтоб записать весь прожитый день, что-то оставалось незаписанным, оставалось на завтра, а на завтра день подхватывал нас и уносил в такие необыкновенные края и обстоятельства, что вчерашнее линяло в памяти; став позавчерашним, и вовсе улетучивалось, как сон.

Машину вел африканец, я видел его руки, положенные на руль. Он не держал руль в обхват, как мы его держим, кисти оставались странно прямы и будто безучастны к производимой ими работе. Водитель настолько был экономен в движениях и безмолвен, что иногда мне становилось не по себе, будто манекен в черной пиджачной паре привязали к рулю. Потом водитель нам улыбнется, но это будет потом, когда он закончит свою работу. Пока что машина шла именно как машина, характер водителя и тем более его эмоции никак не отражались на ее равномерном движении по не очень-то гладкой дороге, при поднятых до упора — поток встречного воздуха обжигал — стеклах.

Мы остановились в каком-то местечке, с протестантской, кажется, островерхой церковью и с придорожным баром. Хозяин бара, должно быть выходец с севера Аф-

рики, поделил свое внимание между редкими в этих краях посетителями — нами — и курицей-наседкой с выводком цыплят; куриное семейство проживало под стойкой бара; понятно, что курица всполошилась при виде гостей, а цыплята подняли писк. Хозяин быстро утихомирил свою птицеферму и столь же быстро подал напитки. Ему помогал мальчишка-негр. Из большого морозильника он достал глыбу льда и принялся ее колоть мясницким топором. Лед отпускался в этом африканском селении с поистине арктической щедростью, зато виски цедилось по капле, из соски, надетой на горло бутылки. Счесть количество доз, которое содержала бутылка, едва ли было возможно, если даже вести счет на дабл-виски, то есть на двойные дозы.

Следующую остановку мы сделали на берегу реки Джебы — главной реки страны. Паром только что отвалил от нашего берега. Он представлял собою плашкоут, ведомый буксиром-паровичком. Ему предстояло долгое плаванье туда и обратно...

Листая мои африканские блокноты, я отыскал одну запись, оттуда, с припаромка на реке Джебе, — не плод приметливого созерцания, а всплеск чувства, разогретого до кипения африканским солнцем: «Если в чем грешен, — каюсь — в праздности сердца, ума. Мир так разнообразен, так много в нем неожиданностей... И нужно-то всего только: свежая голова, дух живой — осязать, осмыслять, познавать этот мир... Мир еще неизведан, необжит, исполнен дивной пестроты...»

И дальше: «Вот стоит гвинейка. На голове у нее огромный таз (обыкновенно это бывает калибаса — тыквенная чаша). Одета она в светлое бубу, в руках у нее курица, связанная веревкой; этой же веревкой обмотана ножка козленка, козленок влачится следом. За спиной у гвинейки младенец в кармане. Он никогда не плачет, если даже его печет солнце или поливает дождь. Ему не положено плакать по пустякам. Шея у гвинейки пряма, тверда, черна, как эбеновое дерево. Этой шее еще предстоит перенести много, много груза...»

Записи из маленького, карманного, походного блокнота, каракули наспех, моментальные снимки. А еще есть ночной, настольный, стационарный блокнот-дневник...

«Переправа через реку Джебу в таком месте, когда недалеко осталось до океана. Скоро река превратится в

залив, а берега ее станут литоралью, то есть океанским побережьем. Река прорезает гвинейские болота, несет массу ила, мириады частиц здешних тучных почв, на которых выращивают рис и сорго. Вода в реке такого цвета, как бетонный раствор. Она кишит болезнетворными бактериями, малярийными, желудочными. В ней, говорят, полно крокодилов, но их не видать.

Смотрю на реку Джебу, анафемская жара, а испугаться нельзя: если тебя помилует крокодил, то проглотитшь вполне смертельную дозу микробов. Именно в этих джунглях, на таких же реках, те же самые микробы доконали-таки даже такого молодца из молодцов, каким был первопроходец Африки Давид Ливингстон. Льва одолел в рукопашной схватке, а микробы его подкосили. На здешних болотах мужчина, доживший до сорока, почитается за предельным старцем, долгожителем. Женщины не дотягивают до такого возраста. В двенадцать лет они уже могут рожать, что и делают, пока могут. И еще они могут носить на своих маленьких головах огромные тяжести. Переноска тяжестей — женское дело. Работа посложнее, потоньше не доверится им. Я видел в Бисау, на открытом воздухе, в тени манговых деревьев, мужчины шьют и тачают на таких же швейных машинках, на каких шили наши прабабушки. Шьющих женщин я не видал.

Однако вернемся на переправу. Хемингуэй однажды написал, что, дожидаясь плавсредства на переправе в Африке, обязательно встретишь знакомого человека. А если и не знакомого, то такого, который кого-то, третьего, знает, хорошо знакомого и тебе... На переправе в Африке некуда спешить. Река Джеба широка, паром медлителен, вода быстра, густа. Мальчишки, в набедренных повязках, перемазанные здешней илистой грязью, вроде того, как перемазываются на коктебельских пляжах синеватой глиной — килом, с черными браслетами на руках и на ногах, торгуют птицами, похожими на голубей.

На переправе полным-полно люду. И, как во всякой праздной толпе, мало-помалу образуется центр притяжения. В центре — славный веселый негр. Он громко говорит — для всех желающих слышать — о чем-то таком, равно важном для слушающих. Я подвигаюсь ближе к нему, через плечо у него полевая кирзовая сумка, с какими выходят на трассировку техники топографи-

ческих отрядов у нас в Сибири. В сумке всего одна книга, я вижу ее заголовок: «Учебник научного атеизма». Наша, советская книга. Я радостно обращаюсь к миссионеру научного атеизма с вопросами и вскоре все узнаю про него. Его зовут так, как звали знаменитого французского философа-эссеиста, Жан-Поль. Он родился в Дакаре, но родители его — выходцы из Бисау. Он воевал в партизанском отряде в джунглях, закончил индустриальный техникум в Харькове. Теперь учится в Москве на агронома, по окончании будет работать в Гвинее-Бисау, а пока что приехал в отпуск в те места, где будет жить и работать. Он захватил с собой одну-единственную книгу — учебник научного атеизма. «Бога нет!» — сообщил мне Жан-Поль с обвораживающей искренней улыбкой. Надо думать, ту же самую истину он выкладывал и собравшимся вокруг него слушателям на языке креолу, то есть на обиходном межплеменном наречии, помеси португальского с племенными диалектами. Жан-Поль увлечен открывшейся ему такой простой и самоочевидной идеей безбожия. Он ведет свою атеистическую пропаганду с воодушевлением прозелита.

Его товарищ, окончивший ГПТУ в Москве, посмеивается, подначивает чисто по-русски: «Я не знаю, конечно, я бога не видел, не встречал. Но раз кто-то верит, значит, что-то такое есть...»

На берегу в ожидании парома толпятся солдаты, женщины с грузом на голове, грузовики, лендроверы, газики. Путаются под ногами ведомые на веревках козы, многие несут в руках еще живых, кудахтающих, бьющих крыльями кур.

У самой переправы группа белых людей. Что-то очень знакомое видится мне в их лицах, повадках, взглядах. Я напрягаю слух: ну конечно, они говорят по-русски... Это — ленинградские специалисты по ловле рыбы в море и в пресной воде. Они вначале немного набываются, не зная, кто я таков. Наше знакомство происходит не на берегах Невы, а на берегу Джебы. Но вот мы разговорились, и начинают сбываться пророчества Хемингуэя: у нас, конечно, находятся общие знакомые, даже и общие друзья. Мой блокнот наполняется телефонами, адресами. Я вернусь в Ленинград раньше моих соотечественников-рыбаков. Нет, не рыбаков, теоретиков рыбацкого дела, проектантов. Рыбы много в

Гвинее-Бисау, но рыболовное и тем более рыбоводное и рыбоконсервное дело пока что на нуле...

Хотя здесь же, на торгу у переправы, продается маленькая акула. А за околицей города Бисау, если проехать мимо пивного завода, мимо нефтебазы, свернуть к реке Джебе, которую в этом месте можно счесть уже и заливом, остановиться под баобабом, где белые люди дышат морской свежестью, — тут же неподалеку и маленький рыбный рынок. Когда рыбакам повезет с уловом, они продают рыб-капитанов — в каждом таком капитане килограммов по восемь, рыб-мечей — носы у них и правда зазубренные мечи...

Капитана здесь, говорят (Валерий Черняев говорит), можно поймать просто-таки на пустую бутылку: привязать к бутылке грузило-железяку и повострее крючок. Да леску иметь покрепче. Забрасывай — и тяни. Чтобы вытянуть капитана, нужно иметь не только опорожненную бутылку и толстую леску, но еще и быть здоровым мужиком. Вообще я заметил, что если качествами, собранными в понятии «здоровый мужик», желательного обзавестись и у нас, то в африканском климате они просто необходимы — для выполнения обыкновенных житейских функций. Ну, например, для рыбной ловли. Хилому мужику в Африке долго не протянуть.

Однако вернемся на переправу. Ленинградские знатоки рыболовного дела обсуждают гвинейскую жизнь. Суть их суждений сводится к двум профилирующим темам: во-первых, женщины в Гвинее безусловно хороши во всех отношениях и, что особенно поражает, могут переносить на головах рекордные тяжести. К тому же они, в отличие от наших женщин, не обременены одеждой, вполне обходятся собственной, прокаленной солнцем кожей. Для того и дана им природой-богом такая кожа, чтобы избавить их от заботы прикрывать свою наготу. Вторая тема социально-психологическая: освободились от колониализма, что дальше? Закончена война, одержана победа, португальцы выдворены. Теперь, казалось бы, самое время вкалывать до седьмого пота, развиваться. Однако сама атмосфера Африки, климат, образ жизни, душевное состояние африканца не способствуют титаническим трудам преобразования и прогресса. Созерцательный от природы африканец за годы колониализма приучен к мысли, что всякое начинание, любая попытка усовершенствовать жизнь, пробиться на-

верх изначально обречены. Чтобы выжить, надо довольствоваться малым: достать с дерева плод. А то и сам он созреет да и свалится на голову. И ладно...»

Чтобы закончить эту, как говорится, «вставную новеллу» о ленинградцах в джунглях Гвинеи-Бисау, хочу сказать несколько слов об их женах, сестрах, матерях, подругах. Вернувшись домой из Африки, я позвонил по записанным на берегу Джебы телефонным номерам, заранее улыбаясь в предчувствии той радости, которую доставлю тоскующим в разлуке с близкими людьми женщинам. Однако не тут-то было. Жены, матери, сестры, подруги моих африканских знакомцев прежде каких бы то ни было чувств проявили бдительность. Одна за другой они отвергли мои сбивчивые рассказы о том, что я встретил их мужа, сына, брата, приятеля в Африке... Разговоры решительно не получались...

Я набрал последний номер из африканского блокнота, в очередной раз погрузился в ледяную воду паузы, последовавшей за моими объяснениями на другом конце телефонного провода, положил на место трубку и без улыбки задумался о том, насколько мало мы знаем наших женщин. Легкомысленно судим об африканских женщинах, которых и вовсе не знаем. Доверяем случайному встречному наши телефонные номера — эти пароли для входа в семейные очаги, — забываем при этом, что женщины стерегут очаги, не пускают в них посторонних, и забываем, что женщины наши — не только жены, матери, сестры, подруги, но еще и цельные личности, может быть, даже более цельные, чем мы сами. И есть в них не только «мягкое, женское», но и примесь металла, и осмотрительность, которая так нам необходима в переживаемый нами нервный, тревожный век.

«Переправа, переправа... Смешение рас, племен, технических уровней, общественных формаций. Гвинейцы, американцы, китайцы, эфэргэшники, шведы, кубинцы, русские...

И еще сопровождающая нас девушка Эдна, инспектор комиссариата просвещения. Она метиска-мулатка-креолка, один из итогов смешения белого с черным. Ее, в общем-то, белая кожа будто покрыта копотью, будто она только что поднялась из угольной шахты на-гора. Она большеглаза, у нее по-африкански длинные тонкие

ноги, точеные ноги. Если заглядеться в глаза Эдны, не понять, какая в них глубина, донца не видно. Эдна смешлива, непосредственна и непоседлива, как белка в парке, почти что ручная, но с постоянно сжатой пружинкой внутри. Она говорит по-английски, будто поет, и по-португальски тоже поет. Когда перед носом нашей машины дорогу перебежала макака, Эдна, как старой знакомой, закричала ей: «Санчо!» То есть по-нашему: «Санька!»

Но это будет потом. Пока что паром причалил к берегу. Толпа хлынула на сходню. Заколыхались грузы над головами женщин. Над всем доминировала железная бочка из-под горючего. Я постарался увидеть, что там под бочкой...»

В этом месте я откладываю в сторону ночной капитальный дневник и берусь за походный, карманный. Отыскиваю в нем нужное место. Вот оно: «...Солнышко мое, черное, лиловогубое, с прожелтью в белках глаз. На голове у тебя кладка: косынка уложена, она же подставка, а на подставке бочка, большая, железная, грязная. Стан твой, солнышко, тонок, шея твоя как ствол папайи. И до того ты прекрасна! В руках у тебя заржавевшая канистра. И вот ты идешь на паром. Несешь на голове железную бочку, и губы твои лиловаты, вытянуты вперед, выпячены, округлены — не для поцелуя, может быть, для крика — мольбы о милосердии. Увидеть тебя — поклониться тебе. Ты не знаешь, чего ты стоишь. И никогда не узнаешь...»

Читаю и сам удивляюсь: почти что цитата из Соломоновой «Песни песней». Вот до чего может довести русского литератора африканское солнце...

«Солнце жгло немилосердно. Мы съехали с парома, поднялись в горку, еще проехали немного и оказались в табанке Ко. Глинобитные хижины под четырехскатными кровлями из здешней травы. В стороне от табанки — беленые кирпичные кубики бывших португальских казарм. Неподалеку от казарм могила, она обозначена врытыми в землю, горлышками вниз, бутылками. Это могила убитого партизана: его поймали и убили, когда он пришел в табанку Ко подымать ее жителей на партизанскую войну.

В казармах расположился центр подготовки и переподготовки учителей для сельских школ Гвинеи-Бисау. Педагогическая школа-коммуна имени Максима Горько-

го. Здесь учатся шестьдесят студентов-юношей, восемнадцати — двадцати лет. Учить чему-либо девушек считается неперспективным делом: очень рано они начинают рожать. Студенты учебного центра имени Горького уже поучительствовали в партизанских отрядах, обучали бойцов основам грамоты, преподавали эти основы в освобожденных районах, сразу после освобождения. Учителями они стали, будучи отроками, имея за плечами четыре класса начальной школы. Уже во время войны их посылали доучиваться в учебные центры, тут же, между боями, создаваемые. Воевали, учились — в одной руке книга, в другой автомат, — сеяли просвещение, понимая его как хлеб насущный революции.

Дать образование этим рано повзрослевшим юношам, направить их в глубинку, в джунгли — в этом видит партия ПАИГК первоочередную задачу культурного строительства в стране.

Курс обучения в центре имени Горького рассчитан на три года. Здесь преподаются история, география, математика, физика, химия, португальский язык, черчение, труд, педагогика, психология, дидактика, агрономия, природоведение, санитария и гигиена, ведется курс по сексуальному воспитанию. Студенты не только учатся сами, но и проводят с местным населением уроки по основам санитарии. Они живут в интернате-коммуне, работают на собственном огороде и ферме, пекут хлеб, стряпают, сами кормят себя. В коммуне имени Горького царят дух братства, чистота помыслов, аскетизм здесь — деятельный, изначальный. Ничего лишнего, ни минуты праздности, все подчинено цели: учиться, мыслить, отдать себя делу строительства своей родины. В классных помещениях на стенах я видел портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Горького.

В коммуне имени Горького выковывается характер, воля, интеллект, мировоззрение нового, неведомого до сих пор африканца. И до чего богатый материал...

Директор центра Жорж Амп Кумелербо. Невысокого роста, очень крепкого телосложения, прямо-таки кряж. Кожа у директора темно-коричневая, брови и волосы будто наведены углем. Я вижу его руки, тыльные стороны ладоней черны, а сами ладони беловатые, с темными морщинами; кончики пальцев такого цвета, как у меня.

Жорж не успел получить образование, поскольку во-

евал. Теперь, директорствуя в учебном центре, в среде таких же, как он, бывших партизан-учителей, он и сам проходит курс наук. У него есть книга Максима Горького «Мои университеты», на португальском языке. Он кое-что знает о Горьком, жадно хочет узнать еще, но как узнаешь? Нет книг. Другие и того не знают, что знает Жорж Амп...

Идем по территории учебного центра. Жара, как в сауне, накатывает, обрушивается, давит, и столько сухости в этой жаре, что кажется, если бы проступили на коже капельки пота, слышалось бы шипение...

В одном из кабинетов Жорж Амп достал из ящика автомат, вынул магазин. Он был полон боевых патронов. Жорж сказал, что к автомату настолько привыкли за годы войны, что трудно расстаться с ним и теперь. Он стал предметом обихода, наподобие пишущей ручки...

Около директорского домика были привязаны три козленка, очевидно дожидавшиеся своей очереди на заклание. Огород состоял из трех гряд помидоров. Томаты на них гораздо мельче наших, каждый величиною с яблочко-китайку. Тут же произрастали бананы, но тоже не очень плодоносили. Так что студентам учебного центра предстояло вначале пройти по программе и усвоить азы агрономии, а после уже снимать рекордные урожаи со своего огорода. (Тут надо иметь в виду и то обстоятельство, что в пору нашей поездки в Гвинею-Бисау сельскохозяйственная техника в этой стране исчислялась единицами, земледелие велось архаическими способами...)

Мы спустились зеленой долиной к водоему. Повсюду высились на века слепленные из глины пополам с измельченной древесной массой, шершавые, но будто монолитные глыбы термитников. Наши муравьи уж на что мастера домостроения, но эта их мастеровитость в сравнении с зодческим даром африканских термитов — все равно что с одной стороны сложить хижину в табанке, а с другой — телебашню в Останкине. Впрочем, сходство наших муравьев с африканскими термитами чисто внешнее, да и то... От наших муравьев мы кроме пользы ничего не видим, а термиты — вредители дерева. Но строить они мастера...

На водоеме полоскали белье черные женщины. Они были прекрасны, как вороные кони на водопое. Сравне-

ние это чисто эмоционального свойства: мгновенно вспыхнувший образ телесной мощи и совершенства, пластичности форм, при ярком свете, — даже больно глазам... Увидев нас, женщины спрятали груди в свои бубу. Надо думать, они усвоили преподанные им студентами учебного центра имени Горького уроки санитарии, гигиены и сексуального воспитания.

В учебных классах не то что прохладно, но сносно. Снаружи какая бы то ни было трудовая, социальная или хотя бы семейная жизнь в полуденное время, кажется, решительно невозможна. Все ищут тени. И находят ее под раскидистыми ветвями манговых деревьев. Листья дерева манго — каждый величиною с косынку. Плоды еще не созрели, тверды, висят на толстых черенках, как гранаты-лимонки. Плоды созреют, тогда наступит манговый рай: плоды манго утоляют жажду и насыщают; и сладкий, терпкий манговый джус в жестянках с сине-оранжевыми наклейками пойдет по белу свету. Глядишь, и мы с вами в хмурый зимний денек побалуемся этим солнечным соком Африки — и развеселимся.

А пока что под манговыми деревьями, в тени, поблизости от экватора, где солнце бьет прямой наводкой, раскинулись придорожные базарчики, расставлены столики кафе, местная администрация взимает налоги с населения... И наша встреча с учащимися и преподавателями учебного центра в табанке Ко тоже под манговым деревом. Два советских писателя, два десятка темнокожих юношей в синих холщовых блузах и кедах, директор Жорж Ампа Кумелербо, переводчик Валерий Черняев, инспектор комиссариата просвещения Эдна. Чуть поодаль, у самого краешка тени, расположились представители комиссий ООН и ЮНЕСКО, опекающие школы в развивающихся африканских государствах. Кажется, это шведы (тут на память приходит рассказ Эрскина Колдуэлла «Полным-полно шведов»). Впрочем, ближе к истине, не шведы, а шведки...

Жорж Ампа серьезен, суров. Он обращается к нам с вопросом — самым главным, без обиняков: каковы были отношения Горького с Лениным? Чтобы ответить на этот вопрос, надо со скоростью электронно-счетной машины сыскать в каталогах памяти нужные места. Надо предельно сосредоточиться, отвлечься от окружающей

обстановки. Нельзя позволить себе какие бы то ни было импровизации...

Мы отвечаем поочередно, я и мой спутник, и Валерий Черняев не только переводит наши ответы, но дополняет и уточняет. Одна голова хороша, но две лучше, а три и вовсе неплохо. Блажен, кто обретет себе в путешествии по Африке образованных спутников...

Нам задают вопрос о Макаренко... Студентам и преподавателям учебного центра имени Горького в табанке Ко надо вызнать: как это было в нашей стране в самом начале, с чего началось перевоспитание человека, какой он, человек нового мира?

Когда-то мы отвечали на подобные этим вопросы нашим экзаменаторам, получали какие-то оценки за ответ, но нам не привелось испытать на себе насущно-бытийную остроту вопросов. Мы родились в стране, где мысли Ленина, Горького, Макаренко превратились в духовный кислород, которым дышишь — и чувствуешь, мыслишь, живешь, не замечая его.

В тени под манговым деревом, в джунглях Гвинеи-Бисау, в поле высокого напряжения, исходящего из глаз слушателей, я представлял собою не просто дитя человеческое, не только странствующего литератора, но еще и итог исторического пути моей родины. Каждая страна, освобождаясь от оков, выбирает для себя наиболее свойственные ее народу формы правления, социального устройства, хозяйствования, но возрождение, обновление каждой страны всегда начинается с вопроса: каким быть человеку заново создаваемого мира, как стать гражданином, как обрести свою самооценку и чувство братского равенства в общем ряду? Выдающиеся умы во все века задавались этим вопросом и отвечали на него каждый по-своему. Но только в одной стране, в одну эпоху истории человечества ответ оплачен опытом поколений, миллионами жизней, материален, как хлеб насущный, неоспорим, как бой кремлевских курантов, зафиксирован конституцией государства. И он общезначим.

Мы из этой страны. Студентам учебного центра в табанке Ко надо немедленно узнать от нас, какими были люди-символы: Ленин, Горький, в чем суть воспитательных идей Макаренко...

Вопросы сыпались на нас, как висящие над нашими головами плоды манго, если бы они вдруг созрели. Мы

даже не заметили, как переместилось солнце и отступила тень...

Нас приглашают к столу. Стол из тесаных досок, грубо сколоченные скамьи. Обеденный зал учебного центра в табанке Ко мне хочется назвать трапезной. На столе миски с необычайно белым рисом, с кусками обжаренной свинины. Хлеб — тут же рядом спеченный, с пылу, с жару — нарезан крупными ломтями. Графины с холодной водой. О! это высшее благо: прозрачная холодная вода, посреди Африки, при температуре за сорок в тени!

Патриархальная грубость, простота и какая-то удивительная опрятность трапезы в столовой учебного центра имени Горького единственны в своем роде. Как всякий смертный, прожив немалые годы, я перенес великое множество разных застолий, но такого еще не бывало со мной. Принятие пищи тут было священнодействием, и если бы вдруг заиграл орган, он мог бы, наверное, выразить чувства, витавшие над столом.

В низком глубоком органном регистре заговорил Жорж Ампа Кумелербо. Речь его была коротка и убеждающая в той же мере, как фуга Баха. Заключительный аккорд этой речи был внятен всем сидящим за столом, без перевода: «Проклятье и смерть империализму! С Советским Союзом на вечные времена!»

Политкомиссар округа Мореш (табанка Мореш неподалеку от табанки Ко) сидел за походным столом под манговым деревом. Политкомиссар — это нечто вроде секретаря райкома. У политкомиссара округа Мореш не было служебного кабинета, его рабочий день проходил в тени под манговым деревом. Он в лиловой рубашке, в джинсах, с серебряной цепкой на груди, с усами и редкой бородкой; пустой правый рукав заправлен за пояс — руку он потерял на войне. Его зовут Тиджани, он не знает португальского языка, говорит на местном диалекте. Переводит Дау Камара, председатель комитета табанки (что соответствует нашему сельсовету); комитет тоже расположился под манговым деревом. Политкомиссар Тиджани говорит нам о том, что в провинции Мореш уже в 1963 году не было ни одного португальца.

Отсюда все началось. Здесь находились все руководители ПАИГК. Крестьяне округа Мореш в войну снабжали отряды продуктами и переправляли раненых через границу. Поэтому провинция освобождена от налогов. «Но если что-то правительству понадобится, — сказал комиссар Тиджани, — оно получит здесь все». И еще он сказал, что главная задача сейчас состоит в политическом воспитании масс.

Вижу, приехал Валерий Черняев на белом «Рено». «Ну что, ребята, проснулись? Комары вас не заели? По-едем в радиокомитет, там вас ждут...»

Директор радиокомитета Анжело Регалла — ветеран войны. У него была рация в джунглях, он сохраняет записи всех передач того времени: стихи, песни, партизанский фольклор. В редакции радио четверо журналистов. Они учились в Советском Союзе, Венгрии, ГДР. Ежедневно двенадцать часов передач на страну: на португальском, на креолу, на племенных диалектах. С зарплатой пока что не очень ясно: то платят, то нет. Работа ведется на революционном энтузиазме.

На той же основе строится и работа в редакции газеты «Но пинча» (по-креольски «Вперед»). Энтузиазма хватает, а бюджетные дела в молодом государстве...

Директор лицея Манекаш — белый человек, португалец, родившийся здесь, в Бисау. Эта страна — его родина, ей он и служит...

В окно лицея нам виден стадион. Полные неистраченных юных сил лицеисты играют в футбол. В аудиториях идут занятия. Математику и физику взяли на себя приехавшие в Бисау советские преподаватели. Другие дисциплины ведут кубинцы. Да, спасли дело друзья с Кубы. Все же испанский язык ближе других португальскому, обошлось без языкового барьера...

Валерий Черняев торопит нас, погоняет. Наша программа может быть выполнена только при движении на хороших рысях. Но мы таки улучаем минуту, заглядываем в пивной павильон. Откуда-то взялся ячмень, сварено доброе пиво. Его здесь пьют с той же охотой, как, скажем, у нас в Ленинграде, только из больших двухлитровых стеклянных кружек-кувшинов. В пивном павильоне я вижу ватагу пьющих пиво женщин, похожих на наших дорожных работниц, в оранжевых жилетах.

Но наши женщины, насколько я их знаю, пива не жалуют. Женская эмансипация в молодом развивающемся государстве, очевидно, имеет свои оттенки...

Обед по здешнему распорядку ближе к вечеру. Но программа дня не исчерпана. Еще — прием в Национальном музее. Нас принимают члены Совета по культуре.

Национальный Совет по культуре призван вести и координировать культурное строительство в стране. Сфера его деятельности имеет такие аспекты: музыка, театр, балет, живопись, скульптура, издание книг, кинопроизводство. Начинания и планы Совета одухотворены идеей Амилкара Кабрала: создать культуру Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса. На островах глубже культурный слой...

«В Гвинее-Бисау португальский колониализм — древнейший и самый отсталый, самый мракобесный, — ничего не сделал для развития, сделал все для ликвидации сложившихся культурных традиций. Литература должна отражать дух народа, колониализм выхолащивал дух. Невозможно было найти хоть какой-нибудь способ выражения мыслей при почти полной неграмотности. Книги, написанные о Гвинее-Бисау самими колонизаторами, не отвечают народному духу...»

Это говорит юноша, почти мальчик, в белой распахнутой рубашке, с очень добрыми, доверчивыми глазами.

«Португальский колониализм делал ставку на полную ассимиляцию поработанных народов. Но в табанках, в джунглях элементы национальной культуры выжили, сохранились: устная литература, фольклор, легенды, сказки, народная музыка. В табанках живы хранители фольклора... Вооруженная борьба рождала лозунги — и это тоже литература: разоблачение и отрицание колониализма; боевая поэзия — оружие в борьбе... Песни — клятвы партизан. В песнях зафиксированы все этапы борьбы...»

Это говорит Анжело Регалла, волосы его — как куст пережаты-полю, облитый тушью. Усы, борода и подусники. И очки.

«Сохранить устную литературу. Передать опыт в слове. Колонизаторам не удалось разрушить нашу культуру. Главное сейчас — контакты с народом, собирание фольклора. Сохранить традиции творчества, найти скрытые потенциальные возможности развития литера-

туры. Объединить разноязычный племенной фольклор на базе языка креолу...»

Это — Наджиб Саид, юноша очень высокого роста. Волосы его не только курчавы и жестки, но еще и долги, до плеч. Ассирийские борода и усы, желтоватая кожа. Тут что-то от Северной Африки. Хотя Наджиб уроженец Гвинеи-Бисау, журналист из газеты «Но пинча».

Совсем уже поздно вечером он будет брать у нас интервью...

Сидит в сторонке Анна-Мария Кабрал — член Национального Совета по культуре, укромно слушает говорящих и даже, кажется, улыбается, может быть, слышится ей в молодых речах голос Амилкара. Пусть улыбается Анна-Мария! Так много значит ее улыбка для судеб этой страны.

ЖАЖДА

На траверзе Зеленого Мыса в Атлантическом океане — невидимые с берега Острова Зеленого Мыса, страна Кабо Верде. Страна эта желтого цвета, если принять желтизну за основной тон. Дополнительными оттенками служат терракота, кармин, индиго, кадмий оранжевый и лимонный, вся гамма медной окарины... Острова Зеленого Мыса, подобно хамелеону, могут сменить окраску, стать зелеными, если их sprysнет дождем. Но африканские дождевые тучи, даже в пору тропических ливней, расходуют свои гидроресурсы над Африкой. Последние семь лет на архипелаге Кабо Верде не выпадало дождей.

Так было и в прежние годы, столетия.

Цвет кожи у жителей островов посветлее, чем у коренных африканцев. Однако женщины в селениях Кабо Верде носят грузы на головах точно так же, как в табанках Западной Африки, обретая сызмальства доступную только африканским женщинам прямизну стана и шеи. Одеты зеленомыски в бубу, с поправками и дополнениями на европейский лад.

Зеленомысская музыка — песня без слов, не означенная именем композитора, морна, — представляет собою сплав африканских ритмов с мелодикой Пиренейского полуострова, отголосками латиноамериканских мотивов. Поет скрипка, рокочет гитара; в музыке с наи-

большей полнотою высказала себя душа народа, печальная, страстная, ждущая лучшей доли на голой земле в океане.

В справочнике «Население земного шара» о народе Островов Зеленого Мыса сказано следующее: «До XV века острова были необитаемы. Современное население состоит преимущественно из мулатов португало-африканского происхождения, называемых иногда «креолу». Это потомки негров-рабов, вывезенных португальцами в XV — XIX вв. с Гвинейского побережья Африки. Они говорят на португальском языке».

...Восходы на островах хмурые, затяжные, такие, как в прилегающих к Сахаре африканских странах, — солнце встает в тумане, рассветное небо затянуто пеленою песчаной пыли, поднятой смерчами с барханов Сахары. Днем лучи солнца проецируются на маковки обитателей островов с той же экваториальной непосредственностью, что и в Африке. Но океан исполняет работу кондиционера — для всех: богатых и бедных, темнокожих и белых...

Архипелаг Зеленого Мыса открыт пять столетий тому назад, изучен, описан. Стихи зеленомысских поэтов переведены на разные языки — и на русский...

И вот мы на родине зеленомысской поэзии — первая делегация советских писателей... Все-таки есть в этом слове «первая», «первый», «впервые» — что-то такое, что поднимает, должно быть, давление крови на несколько делений в трубочке. Нам предстоит открытие литературного острова в архипелаге Кабо Верде...

Мы прилетели на Острова Зеленого Мыса в такое время, когда капитаны республики, отложив в сторону устаревшие лоции, прокладывали для своей страны новый курс в океане мировой истории.

...Короткая остановка на острове Сал, в международном аэропорту «Амилкар Кабрал». На острове Сал в архипелаге Кабо Верде добывают соль в кратере вулкана. По закону сообщающихся сосудов, во время прилива в кратере подымается круто соленая вода Атлантики, в отлив опускается, оставляя по себе кристаллы соли. Пресной воды на острове Сал нет ни капли — здесь пьют опресненную океанскую воду, ею же и землю поят...

Самолетик зеленомысской внутренней линии пробежал немножко, прыгнул с обрыва и полетел над океаном. Вскоре сел на острове Сантьягу, близ города Прая,

столицы Республики Островов. И в этом месте наше путешествие, до сих пор подчиненное центробежной силе, стало центростремительным — хотя понятие какой-либо стремительности едва ли приложимо к размеренному укладу жизни тихого, теплого, белостенного, вымощенного каменной брусчаткой, должно быть похожего на приморские португальские городки, столичного города Прая.

И в этом месте мне бы хотелось писать потише, соразмеряя скорость повествования с темпом нашего хождения по городу Прая — кругами, кругами; двигаться прямолинейно там можно десять, от силы пятнадцать минут — и затем закругляться. В Прае никто никуда не спешит. Хотя... вот едет необычайного вида машина с предельной, должно быть, для нее скоростью, километров под пятьдесят. Ее хозяин куда-то спешит. Эта машина известна на всех Островах Зеленого Мыса. Ее знают в Гвинее-Бисау. Когда-то она проносилась по улицам Конакри, осуществляя связь штаба ПАИГК с воюющими в джунглях частями Армии освобождения. Она известна под названием «коча де баталья» — «боевая машина». Возможно, в самом начале на ней доводилось ездить Амилкару Кабралу. Теперь на ней ездит главный врач госпиталя острова Сантьягу Олег Субботин.

«Боевая машина» не похожа ни на одну другую машину мира. В ней нет ни окон, ни крыши — только железные борта, ободья колес, самую малость одетые резиной, железная баранка, три педали и ржавый штырь для переключения скоростей. Когда главный лекарь Республики Кабо Верде проезжает по улицам Праи, каждый третий прохожий останавливается и кланяется ему. В недавнем прошлом московский врач-клиницист, выпускник ленинградского Первого медицинского института, Олег Субботин нынче один из наиболее популярных — и загруженных работой — людей на Островах Зеленого Мыса: в наследие от пяти веков колониального режима республика получила полный спектр тропических и нетропических заболеваний, включая проказу, чахотку, ревматизм. Португальские доктора под занавес убыли в бывшую метрополию. Свои доктора — дело будущего.

...На площади города Прая, в сквере, днем играют дочери Олега и Ларисы Субботиных — Юля и Наташа. Юле три года. Наташе — шесть. Они еще не научились

говорить по-португальски или по-креольски. Но у них полным-полно смуглых подружек-зеленомысок. Все дети мира играют в одни и те же игры.

По субботам в городском парке на горе над обрывом — город выстроен в два этажа: на горе сам город, а под горой у океана вроде как пригород, дачная зона — бывают народные гулянья. Народ острова Сантьягу гуляет, поет, танцует, набрасывает колечки на шеи пивных бутылок, стреляет из духовых ружей, участвует в лотереях с таким же азартом, с каким, помню, гулял народ моего города на набережных Невы, в Летнем саду, в Михайловском парке, на Марсовом поле — в сорок пятом, сорок шестом, сразу после войны, вскоре после блокады. В зеленомысцах, — мне так показалось, когда я веселился вместе со всеми в парке над океаном, — таится огромный запас неизрасходованного страстного жизнелюбия, веселости. Свою печаль они излили в мелодиях, в стихах. Но меняются времена — и меняются ритмы, мотивы...

Тут надо заметить, что, хотя на острове Сантьягу дожди идут не чаще, чем на других островах, здесь есть подземные воды, пробившиеся кое-где наружу родниками, ручьями, даже речками, действуют оросительные системы: где вода, там зеленый оазис. На острове Сан-Висенте, в городе Минделу, откуда родом музыка и большинство поэтов, пьют опресненную воду Атлантики. Впрочем, Минделу не только город поэтов и музыкантов, но еще и торговцев. Одни здесь пьют опресненную воду, другие утоляют жажду португальской минеральной водой «Кастелле» или французской «Перье», португальским превосходным пивом, ямайской кока-колой, канадским тоником с английским джином...

Во время оно первооткрыватели архипелага Зеленого Мыса окрестили острова именами святых: Сантьягу, Сан-Висенте, Сан-Николау, то есть Святой Яков, Святой Викентий, Святой Николай. Вид островов внушал мысль о святости, и если они годились для жизни, то для жизни святой, отшельнической, великомученической. С первого взгляда острова казались похожими один на другой — все терракотового цвета, — однако судьба каждого из островов сложилась особо, в зависимости от предела отпущенных природой жизненных ресурсов. Говорят, что на острове Фугу бананы и ананасы совсем ни-почем (за морем телушка — полушка, да рубль пере-

воз). Говорят, что на острове Санту-Антан из-под земли бьют минеральные воды чудодейственного свойства. Говорят, что на острове Сан-Висенте опреснительная система, от которой зависит сама жизнь, дышит на ладан...

Мы живем на окраине Праи, на Поузаде; это такое местечко — Поузада, где можно посидеть на террасе кафе «Прая Мар» над океаном, сбегать на пляж искупаться, освежиться пивом или еще чем-нибудь, поглядеть, как зажигаются звезды на африканском небе, — ковшик Большой Медведицы повернут ручкой в другую сторону, чем у нас, луна как дынная корка рожками кверху на тверди небес.

Сидишь на террасе кафе «Прая Мар», слушаешь океанский прибой, разговор «звезды с звездой», а также португало-франко-английскую болтовню за соседними столиками — и вспоминаешь Хемингуэя. Что-то очень хемингуэевское есть в таком вот сидении на террасе кафе в маленьком городе над теплым океаном. Здесь звуки и шумы не мешают писать, то есть созерцать и размышлять — пером по бумаге. А главное, тут никто не спешит — просто некуда торопиться.

Пользуясь минутами замедленного времени, следуя заветам Хемингуэя, запасшись португальскими сигаретами «Гиганте» и чашечкой местного крепкого кофе, как подобает литератору в Африке, я что-то писал. Что же? Листаю мой зеленомысский блокнот.

«...Утро в Прае. Сначала надо пройти берегом океана. Берег засеян ракушками — карамбучо. Каждая карамбучо как маленький рог. Лодки на берегу. Рыбаки готовят лодки к плаванию. Надо перелезть через дамбу, а потом подлезть под пирс. Когда идешь этой дорогой вечером, бывает прилив, и надо ждать, пока откатится прибойная волна. Можно успеть до другой волны пролезть под пирсом, не замочив ноги. По ту сторону пирса на тебя полагает шелудивая, лишайная, ничья собака. У собак на Островах Зеленого Мыса, так же как и у собак всего мира, собачьи свадьбы: март месяц.

Утром медленно оживает рынок в Прае. Сначала появляются бананы. И рыбы. В рыбном закутке продают тунцов и крупных, одного роста, пучеглазых сардин. С кокосовыми орехами сидят две бабы, похожие на наших баб, сидящих с семечками, только здешние закоптели погуще, чем наши. Орехи охотно берут. Берут свет-

лые, волосатые орехи — лежалые, потемневшие не очень берут. Продают папайю, арахис, соль, муку, помидоры, картошку, булки, бататы. После восьми открываются магазины. Оживает кафе на площади. Начинается день. Он будет долгий-долгий, как доза джина с тоником, — этот напиток здесь пьют, как кузнечики пьют росу, макая губы во влагу.

...Знойный полдень. Синее море с белой каймой прибоя. Черные камни в море. Желтая супесь пляжа. Чахлые перья алоэ. Тусклая зелень акаций.

Голоса строителей. Веселые голоса строителей. Их триста душ...»

На этом месте я закрываю блокнот. Если зашел разговор о темпе, ритме и прочих таких вещах на Островах Зеленого Мыса, нельзя упустить из виду эту, может быть, не великую, но показательную для современной Республики Кабо Верде стройку. На Поузаде строят гостиничный комплекс. Шесть домиков выстроено, в одном из них живем мы. Теперь строят седьмой, двухэтажный дом. Триста строителей каждое утро чуть свет приходят на стройку и, самую малость помитинговав, как это бывает в бытовках на наших стройках, кидаются на стены объекта, с муравьиным проворством и тщанием месят раствор, носят его в лоханках на головах — это женское дело, — лепят, мажут, обтесывают камни, облицовывают ими стены, укладывают ступени лестницы к океану. Работа сопровождается веселым гомоном. Объект невелик, рабочих много, но никто никому не мешает, не пересекает пути. Никто не стоит, не зекает — всяк знает, что нужно делать ему, как сделать. У входа на стройку поставлены стенды, лозунги на них кратки: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!», «Построим дом за два месяца!».

Мой спутник — в недавнем прошлом архитектор, преподаватель строительного дела — подолгу наблюдает за тем, как строят дом на Поузаде. Он говорит: «Я бы с удовольствием послал моих студентов сюда на практику». Дом вырастает у нас на глазах, обретает назначенную ему архитектором единственную, нетиповую форму. Дом уступчат, в трех уровнях, приспособлен к рельефу. Его верхний этаж связан с землею тремя массивными изогнутыми лестницами с бетонными перилами. Мусорный каменистый берег превратился в красивую набережную с балюстрадой и сходом к морю.

Нам объяснили: можно бы обойтись втрое меньшим числом рабочих на строительстве гостиничного комплекса. Правительство дало возможность подзаработать тем, кто в этом особо нуждался.

В обеденный перерыв у стойки бара в кафе «Прая Мар» наряду со здешними завсегдатаями, ну, например, бразильским консулом, которому, кажется, решительно нечем заняться, можно встретить строителя в фибровой каскетке, в перемазанных раствором штанах: он пришел подкрепиться.

Гостиничный городок на Поузаде невелик, но население его — скажем так — пестровато. Доходы от гостиницы идут в государственную казну, однако у кафе «Прая Мар» есть хозяйка, ее зовут здесь «донна», — дородная, смуглая, красивая женщина с внимательным, медленным взором больших выпуклых глаз. Признаюсь, на Восьмое марта мы подарили нашей «донне» розы. Как сочетаются ее частновладельческие интересы с государственными, не берусь судить.

На службе у «донны» пятеро добрых молодцев, очень эффектно контрастирует коричневый цвет их креольской кожи с белоснежностью курток, и такие они вежливые, мягкие в обращении, и столько врожденного достоинства в них — просто прелесть! Гостиничными делами заведует Марио — тоже молодец хоть куда, красавец!

Сижу на террасе кафе «Прая Мар», вижу белый маяк на мысу, черные камни и самую малость зелени — горстку кустов. Несколько саженцев на газоне съела на медни коза. Сыта ли ты, козочка? Бедная козочка островов Кабо Верде. Вот она полоскотала пивной банкой, ободрала с нее зубами цветную обертку, сжевала ее, посмотрела вокруг себя — желтыми, малахольными, как у всех коз мира, глазами: что бы еще такое сжевать, какую печатную продукцию? Козы в городе Прая — прекрасные мусорщики, пожиратели бумаг. Они едят, я видел, газеты, брошюры, рекламные проспекты, квитанции. А что же им делать? Травы-то здесь нет...

Печатной продукции тоже не густо: газета, маленькая, как наша многотиражка, выходит два раза в неделю, а то и реже, по мере наличия бумаги; телевидения нет; кино показывают от случая к случаю. Вот уж кому некуда спешить, так это здешним писателям: их не поджимают издательские, журнальные сроки, не подгоняют

редакторские напоминания. Единственным стимулом к писанию здесь служит такая неосязаемая вещь, как творческий инстинкт, поэтический дар. И еще — потребность в национальном самовыражении, в определении координат своего народа в океане социальных бурь нашего времени. Напечататься можно разве что в Португалии. А дотуда ой как далеко!

Писатели и составили программу-протокол нашего пребывания на островах; она определила темп, интенсивность контактов с местной действительностью. Программа отличалась, ну, что ли, ненавязчивостью, деликатностью. Мероприятий было немного, гостям предоставлялось изрядное время для раздумий и выводов.

Первая встреча с интеллигенцией Праи состоялась в Институте книги, под сводами полутемного (с электричеством туго) зала, уставленного шкафами с книгами, при большом стечении публики. Впоследствии мы узнали, что на встречу с нами пришли лица в министерском и других правительственных рангах, судьи, адвокаты, экономисты, профсоюзные деятели — и в то же время писатели: литературным трудом здесь, понятно, никто жить не может, все служат. Руководил этой встречей Освалдо Алкантара, автор «шорт сториз».

Вообще говоря, само это словосочетание — «шорт сториз», или, еще говорят, «эссе» — служит паролем к сердцам литераторов Кабо Верде: в этом я убедился на собственном опыте. Короткий рассказ, эссе здесь почитают за высшую форму литературы, подвластную только перу мастера. Наиболее популярен из наших классиков Чехов. Да и сами стихи, баллады, философические стансы местных поэтов, без рифмы, с напряженным драматическим сюжетом, в образах, раскрывающих сложный, полифонический ход мысли, — это тоже по сути ритмизованная проза, «шорт сториз», эссе.

Освалдо Алкантара — профсоюзный работник. Свои «шорт сториз» печатает под псевдонимом. Почти у всех зеленомысских писателей имеются псевдонимы. Наиболее известный на островах — можно посчитать его здешним классиком — поэт Балтазар Лопес печатал свои стихи под псевдонимом Освалдо Алкантара. Нашему другу Освалдо нечего было и думать соваться в литературу без псевдонима, под собственным именем. (Хотя есть же у нас поэт по фамилии Пушкин, печатает свои стихи под этой фамилией — и ничего!)

Доктор Аурелиу Гонзалес, преподаватель литературы и эстетики в гимназии города Минделу на острове Сан-Висенте, критик, поэт и, конечно же, эссеист, автор «шорт сториз», специально прилетел в Праю, чтобы встретиться — первый раз в жизни — с советскими писателями. Я хорошо помню доктора и его лекцию, обращенную к нам. Доктор Гонзалес, несмотря на жару, в потертом, но чистеньком аккуратном сюртуке, в белоснежной сорочке, в старом галстучке — классический образ учителя словесности в гимназии провинциального городка. Черты его лица жестки, грубы, темная кожа изборождена морщинами; линия носа подобна обводу кия пироги, взгляд колкий, суровый, медленный, но если доктор вдруг улыбнется — о! Он улыбается редко, как редко выпадает дождь на его землю. Его блеклые губы как будто запеклись от жажды.

Он говорит по-французски. Белокурая юная женщина Инга переводит его речь на немецкий. Она вышла замуж за поэта из города Прая, предпочтя его женихам своего родного Мюнхена. Мой спутник знает немецкую речь, записывает суть услышанного по-латышски, затем доносит до меня эту суть по-русски. Наше ответное слово переводит на португальский работник посольства Борис Иванович. Так разговор идет по кругу: франко-немецко-латышско-русско-португальская беседа.

Назавтра мы едем в стареньком, образца пятидесятых годов, «Пежо» по нетряской, паркетно-ровной брусчатке — асфальтированных дорог на Островах Зеленого Мыса нет. Машина бежит с вполне безопасной скоростью, на подъемах она задыхается, как бабушка с пятого этажа на лестнице в доме без лифта. За рулем сидит Мануэл Дуарте, президент Верховного суда республики, рядом с ним председатель Национального комитета агрономии, то есть главный агроном Гомес ди Азеведо, на заднем сиденье наша делегация и доктор Аурелиу Гонзалес — старый, строгий учитель словесности, эссеист.

За окном простираются пейзажи, которые в нашу пору близкого знакомства с Луной принято называть лунными. Но это — подлунная, обитаемая земля, терра-котового цвета, кофейного цвета, цвета камня. Вон подымается в гору женщина с бадьями на коромысле. За каждую каплю воды капля пота. Или, может быть, кожа здешних людей не орошается даже росой пота? Копшатся в камнях дети, голые, черные дети на слабеньких

ножках. Они малоподвижны, не бегают, не слышно их радостных криков. Они будто купаются в мареве — в этой среде обитания: солнечный свет и зной здесь материальны...

Помните японский фильм «Голый остров»? Жизнь под коромыслом с бадейками, чтобы напоить земляной плод — батат — и продлить эту жизнь. На Островах Зеленого Мыса тоже выращивают, вспаивают бататы...

Мы едем по острову Сантьягу: верховный судья, главный агроном, преподаватель эстетики, двое советских писателей — как говорится, разные люди. Но разговаривать нам легко. Когда не хватает слов, мы глядим в глаза друг другу. Даже водитель, верховный судья, оборачивается, чтобы взглянуть нам в глаза, прочесть если не самую мысль, то чувство, с которым она высказывается. Ехать вместе нам хорошо.

Доктор Гонзалес, прежде чем спросить нас о чем-либо, извиняется. Деликатность, должно быть, врожденное, национальное свойство креолов. Я помню, во время первой моей прогулки по Прае ко мне подошел большеглазый мальчик на тоненьких черных ножках и куда-то позвал за собой. Должно быть, он меня наблюдал и понял мое состояние первооткрывателя в его родном городе. Он пошел впереди, оглядывался, робкой улыбкой побуждая к участию. Ему хотелось быть моим гидом. Я следовал за ним, но меня отвлек магазин, и я забыл про мальчика. Когда я вышел из лавки наружу, он ждал меня у двери. Я хотел закурить, но кончились спички. Мальчик стремглав куда-то сбегал и принес огоньку. Так мы двигались с ним, пытались поразговаривать, но не нашлось у нас ни одного словечка, понятного нам двоим. И все же мы понимали друг друга. Я останавливался у витрин, совал нос в раскрытые двери лавочек, мальчик отходил в сторонку и ждал. Он у меня ничего не просил, только хотел одного — чтоб я поверил ему и шел бы за ним. Он вывел меня на высокое место над океаном, тут стоял памятник, росли деревья, имелся парапет над обрывом, с широкой белокаменной скамьей. Мальчик пригласил меня сияющим своим взглядом увидеть все это и стушевался, чтоб не мешать. Когда я нагляделся на ослепительный океанский простор и зыбкую в струящемся свете береговую линию, он вошел в круг моего зрения, напомнил о себе, позвал идти дальше. Дальше некуда было идти — он привел

меня в то самое место, откуда мы начали путь. В этом месте шныряли его ровесники-попрошайки, босые, в изодранных лохмотьях, завязанных узлом на пупе, в соломенных сомбреро. Они принялись у меня что-то кланяться, бормотать свое: «Мони, мони». Мой мальчик обратился к ним с проникновенным монологом — должно быть, взывая к их совести. Они оттолкнули его. Он заплакал. Я дал ему латунную монету, не имея понятия, чего она стоит в городе Прая. Мальчик поблагодарил меня взглядом и сразу исчез.

Он был такой же, как бродяжки-пижоны в сомбреро, уличный мальчик, но он зарабатывал свой хлеб честным трудом, со всею искренностью, робкой восторженностью, деликатностью, на какую способна была душа маленького креола...

— Извините меня за этот вопрос, — обратился к нам доктор Аурелиу Гонзалес, — вы можете на него не отвечать, если он вам покажется неосновательным... Как в вашей стране воспринимают сегодня героев Чехова? Ваша страна и ваши люди стали другие... Не устарел ли, с вашей точки зрения, Чехов?.. Издают ли у вас Леонида Андреева? Пастернака?..

Разговаривая с доктором Гонзалесом, мы постепенно находим общий язык, состоящий из слов, одинаково понятных по-португальски, по-английски, по-русски: «Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов, Шаляпин, Шостакович, Мусоргский, Рахманинов, Прокофьев...»

Пейзаж за окном вдруг разом переменялся. Машина въехала под своды деревьев, в оазис, в бананово-лимонный сад. Нас привезли в селение Сан-Жорж, на государственную ферму. Здесь есть подземные воды, пробурены скважины, орошенная земля плодоносит; отягощенные сознанием своего великолепия, склонивши головы, цветут лучшие в мире розы; здесь собирают по несколько урожаев в году кофе и картошки, лука, свеклы, помидоров, ананасов и арахиса. Круглый год здесь цветет на кустах махровым, пышно-розовым цветом бугенвилля и герань, простирает изысканной выделки ветви похожая на нашу пихту араукария.

На ферме Сан-Жорж Национальный комитет агрономии во главе с его президентом Гомесом ди Азеведо, нашим вожатым, проводит опыты по акклиматизации сельхозкультур всех стран света. На земле Кабо Верде родится любой злак, фрукт или овощ — только была бы

вода. Одна из насущнейших проблем, от решения которой зависит будущее республики, состоит в водоснабжении, в осуществлении плана ирригационных работ.

Впрочем, по врожденной своей деликатности, главный агроном не хочет утомлять нас специальными разговорами. Нас привезли в Сан-Жорж для того, чтобы мы, будучи предоставлены сами себе, могли насладиться здешней природой.

Там и сям под сенью деревьев расположились приехавшие на воскресенье в Сан-Жорж жители Праи. Я вижу знакомые лица: многие из них были на встрече с нашей делегацией в Институте книги. В Сан-Жорж приехала интеллигенция Праи — не на воскресный пикник, а для самоуглубленного созерцания, для приобщения к гармонии мироздания, для наслаждения тишиной.

В Сан-Жорже имеются не только лимонные рощи, банановые плантации, капустные грядки и розарии, — здесь есть смотровая площадка на уступе горы, с искусственным прудом, балюстрадой и каменной скамьей. Отсюда видны горные кряжи, глубокие распадки меж гор, напоминающие по рисунку и фактуре массив Карадага. Я помню, доктор Гонзалес стоял, скрестив руки, похожий на старую птицу, в темно-коричневом оперенье, смотрел на горы, на камни — краугольные камни той науки, которую он преподает в гимназии острова Сан-Висенте, — эстетики...

Сеньор Гонзалес рассказал мне, о чем он пишет в своих «шорт сториз». Он пишет о судьбах женщин, милых, прелестных, белых, черных и терракотовых женщин. На Островах Зеленого Мыса доля женщин печальна, может быть, даже печальней, чем участь мужчин. Женщины, предназначенные для счастья, несут бремя жизни и не находят сатисфакции (так сказал доктор Гонзалес: «сатисфакшен») своей прелести.

В Сан-Жорже мы повстречались с Джилберто Лопесом, сыном Мануэла Лопеса, автора романа «Яростный дождь». Мануэл Лопес прошел тот же путь, что и сотни тысяч зеленомысцев, покинувших свою родину — эти каиновы земли — в надежде найти за морями лучшую долю. Джилберто Лопес, художник, вернулся на острова, чтобы быть заодно со своим народом в годину великого порыва к возрождению Кабо Верде.

День, проведенный в Сан-Жорже, вселяет в сердце надежду на возрождение этой земли.

Ритм нашей жизни на Поузаде, predetermined программой-протоколом, решительно изменился с прибытием на остров Сантьягу операторов Центральной студии документальных фильмов Юрия Егорова и Олега Лебедева. Они уже второй месяц таскали свои аппараты и ящики с пленкой по джунглям Гвинеи-Бисау, по Островам Зеленого Мыса. Африканское солнце и атлантические ветры обработали их настолько, что белизна сохранилась лишь на висках да побелела от соли одежда.

Нам повезло, на острове Сантьягу мы попали в хорошую компанию. И вот уже всей компанией едем в автобусе Института солидарности Республики Кабо Верде, за рулем сидит директор Института Антонио Жасинта, коренастый, с суровым лицом человек, более похожий на выходца с африканского берега, нежели на креола-зеленомысца.

Трудовая школа-коммуна: кукурузное поле на склоне горы, оросительная система, классы, спальня, кухня с пекарней, мастерские — мальчишки вытачивают из скорлупы кокосовых орехов абажуры, чашки, незатейливые сувениры, распиливают куски красного дерева, привезенного из Гвинеи-Бисау. «Наша главная задача, — сказал директор Института солидарности, — внедрить в сознание мальчишек с улицы (он так и сказал: «бойз фром стрит») потребность трудиться, учиться труду как первейшему условию жизни. Самое тяжелое наследие колониального владычества — это неверие в труд, отсутствие интереса к саморазвитию, социальная пассивность, привычка к голодному полудикому прозябанию».

В трудовых школах-коммунах, в интернатах, учреждениях на месте бывших португальских казарм, в джунглях Гвинеи-Бисау или на холмах острова Сантьягу мы слышали имя Макаренко. Воспитатели трудовых школ, в которых закладываются основы самосознания освободившегося народа, просили нас, если можно, прислать им книги Макаренко — по-португальски, по-испански или хотя бы по-французски...

Однажды я подарил шоферу Института солидарности Жозефу Руи значок с профилем Ленина и увидел в его глазах выражение самой полной, какая бывает, радости. Он сказал, что такого драгоценного значка больше нет ни у кого в Республике Кабо Верде.

Жозеф Руи ненамного старше мальчишек, возделывающих кукурузу, мастерящих табуретки из красного дерева, постигающих азы науки в школах-коммунах. Садясь к рулю, он снимал ботинки, жал на педали босыми пятками — может быть, для того, чтоб войти в полный контакт с машиной, исполнять работу шофера с тем же тщанием, с каким кладут стены и выхаживают зеленые ростки батата зеленомысцы.

С тех пор как мы оказались в компании кинооператоров, мир открывался нам с самых выгодных точек, в самых выигрышных ракурсах. В одном из оазисов на берегу запруженного ручья кто-то слазил на пальму и скинул оттуда столько кокосовых орехов, чтобы хватило на всех. Каждый из орехов величиною был с добрую тыкву. Орехи стучались оземь, как пудовые гири. Чтобы добраться до сути ореха, нужно обрубить тесаком, похожим на мачете, зеленую оболочку, обтесать, проломить головку и тогда уже пить холодное молочко. Опорожненные орехи были расколоты, из них добыта белая, твердая, ароматная, сытная масса.

В селении Сан-Доминго, в деревянном доме под акациями, с прелестной своей старомодностью обстановкой, хозяйюшка угостила нас самогонкой из сахарного тростника, по-здешнему — гроги...

В маленьком городе, должно быть районном или уездном центре, Санта-Катарина я завернул на базар. Продавец бананов спросил у меня, кто я, откуда. Узнав, он отвел мою руку с монетой, торжественно протянул мне бананы, засиял глазами и зубами, с выражением застенчивой, деликатной восторженности произнес слово «презент» и крепко пожал мне руку.

В сквере на площади Санта-Катарины я украдкой разглядывал местных мужичков. В воскресный день они пришли сюда покалякать — в лучших своих костюмах, в темного цвета пиджаках, в фуражках и кепках. Ну до того они были похожи на наших райцентровских мужичков, где-нибудь в Лодейном Поле или Подпорожье! И говорили, похоже было, о том же самом, только по-португальски. Мужики — и везде мужики, как говорится, «симпл пиплз», простые люди...

Неподалеку от Санта-Катарины нам показали дом, в котором жил Амилькар Кабрал, — обыкновенный сельский дом, деревянный, состарившийся, обветренный на юру; вокруг все было засеяно сорго и кукурузой. Олег

Лебедев заснял этот дом, чем весьма удивил соседей. Женщины и дети наблюдали за работой оператора, расплющив носы об оконные стекла.

Помню, как жители деревеньки Садовой на Вологодчине, точно так же расплющив носы, наблюдали за небывалым тут делом — киносъемкой. Снимал оператор Мосфильма Заболоцкий, натуру выбирали режиссер Шукшин, художник Новодережкин. Снималась «Калина красная» — такой русский фильм, такой понятный всем добрым людям мира...

Странствуя по белу свету, цепляешься душою не за географические, этнографические и другие уникамы, а за живые черточки, приметы общности или хотя бы намеки на эту общность. Радуешься, узнавая свое в чужом. Готов расцеловать потряхивающую хвостом трясогузку на берегу гвинейской реки Джебы: быть может, давеча летом эта самая трясогузка порхала на берегу новгородской реки Ловати, в моей деревне Березово. Следишь за полетом ласточки в расплавленной синеве африканского неба — и кажется, стало прохладней, подул ветерок, можно жить и на этой жаре. Внимаешь петушину крику с балкона дакарского отеля «Меридиан», и чудится — петух пропел для тебя одного, на понятном тебе языке, чтобы ты не пал духом в такой далекой от твоего родимого дома, в такой большой и ни на что не похожей Африке: дескать, уж раз я, белохвостый петух, здесь живу, так ты и подавно не пропадешь.

Случайно пойманный лукавый женский взгляд, мановенье ресниц, дрогнувшие в улыбке губы, искренность тембра голоса говорят сердцу больше, чем знаменитые сенегальские маски — запечатленные в аспидно-черной текстуре эбенового дерева лики Африки. Африканские черные лики так же изменчивы и подвижны, как наши белые лики.

...Живя день за днем в маленьком городе Прая, я стал замечать, что вроде как примелькался на его улочках. На меня перестали глядеть как на новость. И сам я то и дело вижу знакомые лица. Вот куда-то спешит Освальдо Алкантара. Мы пропускаем с ним по чашечке кофе, он напоминает мне, что сегодня в двадцать один

час («тунайт эт твенти уан») имеет быть заключительный акт протокола — прием в кафе «Прая Мар».

Последний день в городе Прая (убыстрился темп жизни, скорее пришел и час расставанья). В последний раз шуршат ракушки-карамбучо под моей стопой на берегу Атлантического океана. В последний раз я ныряю в соленые океанские воды. Рыщет в черных камнях прибой, гуляют подводные течения, носят туда и сюда.

Еще немножко осталось времени до приема. Можно посидеть на террасе, похемингуэйствовать напоследок, подбить итоги, выразить в слове чувство, главное чувство моей недели, непохожей на другие недели, месяцы, годы, — на острове Сантьягу, — и когда-нибудь вспомнить его, это чувство, сохранить в себе этот праздник: пусть он будет всегда со мной.

Я слышу веселые клики зеленомысцев, строящих дом. Вечером заиграет оркестр на площади, будут прыгать счастливые дети, и взрослые тоже придут на гулянье. Праздник весел, но в праздничной музыке участвует медь колокола, звонящего по ком-то — и по тебе тоже...

В последний день на острове Сантьягу, близ города Прая, на Поузаде, на террасе кафе «Прая Мар» можно позволить себе погрустить. Мотивы грусти привычны поэтам страны Кабо Верде. Грусть — самое мелодичное чувство из всех человеческих чувств.

На небе зажглись звезды, предводительствуемые лунной-пирогой. На Поузаду стала съезжаться интеллигенция Праи, предводительствуемая рослым, ладным, широкоплечим, усатым Освалдо Алкантара. Марио включил свет в маленьком, со стойкой бара, банкетном зале. У одной стены сели мужчины с гитарами, в белом и голубом, у другой стены сели красавицы Кабо Верде — как на подбор. Заплакали, задумались, грозно, призывно зарокотали струны — вначале нас угостили морной. Потом музыканты запели, и в песне, протяжной, как морна, звучало рефреном знакомое слово: «индепенденсия». Это была поминальная песня по тем, кто сложил свои головы за независимость Кабо Верде, о том, что индепенденсия имеет цвет и запах крови.

Юрий Егоров и Олег Лебедев включили осветительные приборы, застрекотали камеры. Дамы чуть-чуть прижмурились от резкого света и стали еще прелестней...

Потом были танцы. По счастью, трясучка, которой охвачены танцплощадки во всех частях света, миновала остров Сантьягу. Как во времена моей молодости, под полнозвучную, ритмичную музыку здесь танцевали танго, фокстрот и вальс. Кавалеры водили своих дам и после любезно благодарили за оказанную им честь.

Джилберто Лопес танцевал с Элизой Андраде — необычайно, по-африкански высокой и стройной креолкой с острова Сан-Висенте. Горделивого посада голову Элизы увенчивала пышная, не подверженная какой бы то ни было моде, раз навсегда данная природой шапка волос. Глаза на ее лице занимали добрую четверть пространства. Они имели столь же непривычный для нас, как луна рожками кверху, продольный разрез, форму кокосового ореха и цвет кокосовой скорлупы, очищенной от волокон оболочки. Нос Элизы Андраде плавностью, завершенностью линий, тонкостью, четкостью выреза являл собою классический образец креольского носа, в той же мере, что и нос доктора Аурелиу Гонзалеса, только в изысканном, женском варианте.

Джилберто танцевал с Элизой, у него было такое лицо, какое может быть у человека, взявшего за крыло свою синюю птицу...

Назавтра Элиза Андраде пришла проводить нашу делегацию в аэропорт, вместе с Освалдо Алкантара, его женой Анджеликой, президентом Верховного суда Мануэлом Дуарте, поэтом Кваме Конде. До самолета еще было время, я постарался использовать его с толком, впервые разговорился с Элизой Андраде. Узнал, что она работала в революционном подполье, воевала за независимость Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса под знаменем ПАИГК. В Анголе снималась в фильме, посвященном освободительной войне. Побывала в Москве. В Ленинграде ей больше всего запомнилась комната Ленина в Смольном. Элиза Андраде — экономист. Она подарила мне книгу, авторский экземпляр: «Острова Зеленого Мыса. От рабства до Нового Времени». Книга издана Союзом студентов Третьего Мира в Соединенных Штатах, на английском языке. Она отпечатана на ротапринте, «на пожертвования рабочих» — так сказано в выходных данных, на форзаце. В книге есть иллюстрации, наиболее впечатляющая из них — «Ожидание воды». Если сказать по-нашему — очередь за водой. Этого рода снимки — только фон и колорит иной — хранятся в

ленинградских блокадных архивах: очередь за водой к проруби на Фонтанке, на Мойке...

Написанная как историко-географический, этнографический, экономический очерк, книга Элизы Андраде хороша своей эмоциональностью, в ней заметно авторское, личное — гражданственное — начало. Судьба страны, о которой идет речь в книге, — это и судьба ее автора, по-видимому, талантливой, остро чувствующего человека.

...Между тем в банкетном зале кафе «Прая Мар» продолжались танцы, Элиза Андраде и Анджелика Алкантара исполнили для нас танец острова Сан-Висенте, женский парный танец. Рисунок танца напоминал кружение мотыльков или еще порхание сильфид в балете «Сильфида». В каких-то известных одним танцовщицам точках они сходились, мгновенно соприкасались и разлетались, получив новый импульс для плетенья узора.

Танцовщицам подыгрывали гитаристы, почтенные мужи в белом и голубом. Возможно, некоторые из них занимали министерские посты или должности президентов коллегий.

Танцы могли бы продолжаться до упаду, до рассвета, но электричество дорого в Праге — оно погасло. Все вышли на волю, светила луна, океан серебрился, гитарный звон красиво сливался с гулом наката. Освальдо Алкантара обратился ко мне с вполне уместными и своевременными соображениями насчет того, что хорошо бы добавить (в этих случаях мне приходит на память всем известная фраза спортивного комментатора Озерова: «Добавить некому...»). Судя по выражению лица Освальдо Алкантара, добавить, при всем желании, было не так-то просто, во всяком случае труднее, чем в Риге или Ленинграде: Поузада уснула, и Прага, должно быть, тоже уснула...

Тут раздался благоразумный, трезвый голос моего товарища по делегации. Его голос всегда раздавался в нужный момент. Блажен, кто обзаведется в дальнем странствии благоразумным товарищем! Он сказал: «Пора спать». И все согласились с этим самоочевидным доводом. Пообнимавшись с нашими новыми друзьями, — дамы стояли в сторонке, — мы пошли коротать последнюю ночь на острове Сантьягу. Ночи уже оставалось немного, чуть-чуть.

Самолет местной линии сначала сделал посадку на острове Сан-Николау. Остров был желтый, дул сильный ветер, нес желтый песок. У входа в маленькое здание местного аэропорта голубоглазый священник в черной сутане, с Евангелием под крылом сутаны, сказал мне: «Гуд монинг». И я ответил ему: «Гуд монинг».

С острова Сан-Николау, рядом со мною, летел в Копенгаген моряк, в рубашке, сшитой из американского флага. Знакомства на местной авиалинии завязываются значительно проще, чем на международной, тем более — трансконтинентальной. Мой сосед рассказал, что служит на шведском судне. Подзаработал — и погостил в родительском доме, на острове Сан-Николау. Теперь возвращается на пароход.

Остров Сан-Висенте был терракотовый, песчаный, пригорелый, с подрумяненной корочкой. На изжелта-серо-зеленоватом острове Сал нас встретил представитель Аэрофлота Юрий Парфенов. До самолета на Бисау была еще целая ночь. Мы хорошо, по-русски посидели в аэропортовской гостинице. Юра сбегал к знакомым лангустоловам, принес парочку экземпляров этих ракообразных, извинялся, что нет майонеза, — лангустов принято подавать под майонезом; но и так они были чудо как хороши.

Ночью я переступил порог гостиничного номера — всего один шаг: гостиница разместилась в одноэтажных казармах бывшего португальского военного городка; над моей головой распростерлась ничем не заслоненная, усеянная звездами и спутниками связи бездна мироздания. В памяти вдруг восстали давным-давно дремавшие в забвении (не было случая встрепенуться) гениальные и потому всякий раз поражающие абсолютной гармонией стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, написанные в 1841 году: «Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит; ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть; я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть».

Заснуть нам помешал рев «Боинга» трансатлантической линии Лиссабон — Конакри...

Пытаюсь представить себе площадь в Шереметьевском аэропорту, мартовский снег и мартовскую слякоть, пахнувший весной и бензином, может быть, подмороженный, а может быть, мокрый наш воздух, и перелески, березки, блеклый сиреневый цвет. Это правда бывает? Господи, неужели бывает? И еще я вижу нашу толпу, в которую можно мне затесаться — и поминай как звали. Час остается до нашего самолета...

Летим в Москву. Летят моряки-рыбаки, рыбачившие в Атлантике, сменные экипажи. У моего соседа выглядывает из-под полы обезьянка Капа. У нее, должно быть, бьется сердчишко. Еще бы, первый раз в жизни летит. Она прижалась к хозяину, смотрит, не понимает. То есть понимает, но что-то свое. У нее смышленные, темные, быстрые глаза, черный короткошерстный намордник — африканская маска. Серебристо-серая с подпалиной шерстка, дымчатое брюшко. Ладонки у Капы смуглые, а кончики пальцев светлые, розоватые. Хвост у нее длиною поболее метра.

Капу можно потрогать, погладить. Вскоре начались приношения Капе. Ей дали вафлю «Снежинку». Она тотчас сообразила, где самая сладость, отслоила вафельные корочки, верхнюю от нижней, слизала то сладкое, что внутри, погрызла немножко сами корочки, сморщилась и бросила их на пол. Тут ей дали капустный листок, она его схрупала с удовольствием. Конфету «Белочка» развернула, долго жевала, склонила голову набок: понравилось.

Когда хозяин ушел в хвост самолета, оставив Капу на привязи, она металась, стонала и плакала.

Так незаметно мы долетели до мавританского города Наудибу. Впрочем, города не было видно. На здание аэропорта и взлетные полосы со всех сторон вели наступление выстроенные в барханы пески Западной Сахары. В аэропорту имелись вывески, соответствующие месту и назначению, однако какой-либо действующей службы, торгующего чем-нибудь бара или киоска найти не удалось. За стойками не было ни души. В главном зале аэропорта виселось произведение искусства — грубо прикрепленный к остову лист жженой, рифленой меди. Замысел художника, материал, исполнение как нельзя лучше выражали самую суть природы, ландшафта Западной Сахары. На полу сидели босые, нахохленные, в бурнусах, арабы или же мавры, в безысходной задумчивости.

Пробыв час в этом оцепеневшем мире, мы полетели в Касабланку. Для тех, кто не знает испанского языка, скажу, что «каса» — это дом, а «бланка» — белый. Тех, кто интересуется городом белых домов Касабланкой, можно отослать, ну, скажем, к книгам Сент-Экзюпери, он частенько бывал в Касабланке...

Ночной Будапешт посветил нам своими притушенными огнями, а там рукой подать до Москвы.

Когда наконец-то я переправил мой чемодан из международного аэропорта Шереметьево в стеклянный павильон местных линий, чтобы лететь в Ленинград, и вышел потереться в родимой своей толпе, похвастаться африканским загаром, то первым встреченным мной человеком оказался Гриша Калюжный, поэт, штурман трансевропейских рейсов, высокий, в темно-синей летной шинели, с золотыми угольниками на плечах, в фуражке...

Все-таки хорошо, что в мире живут поэты, что-то такое у них есть в глазах, кроме штурманской азимутности или адвокатской юриспрудентности.

— Пойдем, Гриша, по стаканчику...

— Мне нельзя. Мы в Мурманск летим. Хочешь, подбросим?..

Какой сладкий все-таки воздух в марте в Москве, мокрый, с туманом, пахучий!

ОДНАЖДЫ В БОМБЕЕ

Множество наших людей побывало — туристами — в великой, необычайной и бедной пока что стране будущего — Индии. Когда пришло время и мне поехать туда, мои знакомые, те, что уже побывали, советовали прихватить с собой что-нибудь такое недорогое, штучно расфасованное, может быть, съедобное — для презентов за маленькие услуги: в Индии это принято.

Последний день перед отъездом вышел суматошным, нужное осталось несделанным, некупленным. Напоследок я приглядел в буфете московской гостиницы вафли ананасные, взял целый ящик: Индия велика.

В Индии находишься за день по храмам и руинам,

нажаришься на индийском солнце (при $+12^{\circ}$ в Индии бывают смертные случаи, от переохлаждения), вечером где-нибудь в Мадрасе, Варанаси, Агре, Бомбее, Калькутте в старинном отеле колониальных времен с красавцем-привратником — детиной двухметрового роста в красной чалме — у подъезда, в номере с кондишеном заваришь индийского чайку и с московской вафлей за милую душу...

В Бомбее нашу группу, как все туристические группы со всего света, повезли на остров Элефанте. Это в прошлом Слоновый остров; нынче слонов на нем не осталось. Сохранились высеченные в базальтовых скалах на заре нашей эры в гигантских гротах, тоже высеченных, фигуры индуистских божеств: Брахмы, Шивы, Вишну, соответственно и богинь. Однажды жена Шивы Парвати подкралась к мужу сзади, закрыла ему глаза, прекрасными, как лотосы, перстами (так заигрывают жены с мужьями и в наше время). От прилива страсти Шива вспотел; капля пота упала на камни и обратилась в слепорожденного свирепого сына Андхаку... У Шивы прорезался во лбу третий глаз... Эта история — в ней завязка одного из сюжетов индийской мифологии — и другие запечатлены в базальте будто и не людьми, а обитавшими здесь божествами. На величественных, потемневших от времени и необыкновенно живых, в динамических позах телах статуй следы ранений, рубцы и шрамы: у богинь отстрелены груди, боги оскотплены. Это резвились — в средние века — португальцы-конкистадоры: стреляли из мушкетов по статуям, в свободное от стрельбы по живым мишеням время. По счастью, португальцев выдворили с Индостанского полуострова, впоследствии выдворяли и англичан... Вот уже пятнадцать веков индуистские боги демонстрируют пришельцам на остров Элефанте — верующим и праздным зевакам — свое божественное бессмертие и по-человечески болезную ранимость.

Коренное население острова Элефанте нынче составляют обезьяны; остров известен как обезьяний. Еще в Москве нас остерегали: на острове Элефанте не фамильярничайте с обезьянами: они «народ» дикий, свирепый, у них железные когти... Особенно это касается женщин: берегите свои прически! Если какой-нибудь обезьян запустит свои коготки в дамский шиньон... Однажды был такой случай. Ну, и так далее.

На остров мы плыли от набережной в центре Бомбея по Индийскому океану на довольно-таки непрезентабельной шаланде. Неукрытый мотор на нижней палубе брызгался кипящим маслом, плевался желтой водой, издавал точно такой звук, какой издает — у Юрия Казакова в «Северном дневнике» — мотодора на Белом море: пу-пу-пу-пу. Мотором управлял полуголый, босой, смуглый от природы и еще перемазавшийся в мазуте, улыбающийся добрейшей улыбкой, выдающей блестящие, как жемчуг, зубы, индус.

На острове мы поднялись по каменной лестнице, кажется, равной по возрасту человеческой цивилизации, на плато, в рощи и кущи пальм, манговых деревьев, розово цветущих бугенвиллий. Вдоль всей лестницы сверху до низу шла мелкая торговлишка, зазывно заявлял о себе «ченч» — обмен чего угодно на что угодно. Можно тут было приобрести сумку из кожи кобры, индийские цветные камешки — хоть пуд, слона из черного дерева, абажур из хлопковой пряжи, скрестившего ноги пузатого Будду, танцующего Шиву, буклет открыток с видами храма любви в Каджурах и многое другое. На лотках у торговцев наличествовали также табачные изделия многих марок мира — и наших тоже, отечественных, на любой вкус: и «Беломорканал», и «Лайка», и «Стрела», и «Ява», и «Герцеговина Флор». Выменянные на что-то, совсем уж пустяшное, родимые наши сигареты и папиросы, опять вовлеченные в оборот, видно было, давно уж лежат, как сиротинушки на чужбине, хоть плачь. Однако выменивать их обратно — на индийские рупии — не поднималась рука. На площадках, террасах и наверху, на лужайках плато, похаживали девочки, девушки, женщины на тонких черных ногах. На головы их водружены медные чаны, по три, один на одном. Их надежда состояла в том, что туристы сфотографируются рядом с ними — за самую малую мзду. Индуски с медными чанами на головах олицетворяли собою какую-то забытую, когда-то бывшую Индию. На их лицах запечатлелось выражение безысходности голода, невозможности что-нибудь получить от тех, кто имеет. Много ли заработаешь, день-деньской танцуя с пустым котлом на голове?

В Индии можно сняться с кем угодно: ну, скажем, в опасной близости с раздувшей шею коброй, замороженной заклинателем — игрою на дудочке. Вообще, индийс-

кие звери, зверюшки, птицы активно участвуют в прокормлении своих хозяев. Снимайся за небольшую плату хоть верхом на слоне, хоть в роли погонщика буйвола, крутящего ворот у колодца. Или с востроносой серой мангустой в руках. В обществе черного гималайского медведя. С потным питоном на шее. Попугай (или беркут) вытянет тебе фантик с твоею судьбою. Обезьяны... О! Обезьяны многое могут, они многое знают про нас (ветви одного генеалогического древа)...

Однажды в Бомбее я видел в окошко автобуса — мимолетно — лежащего у порога своей хибары, кажется, сколоченной из ящиков, седовласого иссохшего индуса, отчаявшегося переломить судьбу — карму, вполне готового к уходу в небытие (возможно, он надеялся, согласно канонам индуизма, на какое-либо перевоплощение). В изголовье человека сидела пепельношерстая обезьяна, с родственным участием поглаживала его по голове, расчесывала когтями некогда густую, может быть, буйную гриву бомбейского бедняка...

Только индийские коровы, усохшие, как старые американские туристки, со сморщившимися, сроду не доенными вымечками, непонятным образом обитающие в каменных джунглях того же Бомбея, Мадраса, Калькутты, Дели, медлительные, как башня ресторана в бомбейском отеле «Си рок», поворачивающаяся вровень с земным шариком на оси, всегда окнами к солнцу, с каким-то очень индийским выражением глаз, красивых, солнечно-лучистых, как будто зеркальных, отражающих текущую мимо реальность, не пропускающих внутрь ничего, что может помешать внутреннему покою... Предложение затянулось, забыл, с чего начал... Да, о коровах... Так вот, коровы — единственные в Индии живые твари, кому не нужны рупии, а так всем нужны, даже мангустам...

В ресторане в Бомбее (и в других индийских городах) мясо подает один официант, рыбу — другой, овощи-фрукты — третий, чай — четвертый, кофе — пятый — и все красавцы в черных вечерних костюмах. Все ребята при деле, имеют прожиточный минимум — и ладно. Так решается проблема трудоустройства, ведется борьба с безработицей. В Калькутте, когда строили метро (уже построили первую очередь), на стройке занято было до двадцати тысяч индусов. Строили, в основном, вручную, сам видел: из шахты по лесенке

идут вереницей земленосы; у каждого на голове корзина с грунтом. Платили поденно, из расчета восемь рупий в день: пять земленосу, три боссу...

На плато острова Элефанте после экскурсии нам дали минуту свободного времени... В любой туристической поездке самое лучшее — вот такая минута: руины, храмы, изваяния предстают тебе как во сне — и уходят, а чей-то пойманный взгляд, какая-нибудь нечаянная улыбка, незнаменитый, но почему-то тронувший твою душу вид, дым очага чужой и такой понятной тебе жизни — это остается; ты будешь помнить, что где-то там за горами и морями человек вдруг улыбнулся тебе ни за что, просто так. Но свободного времени в туристических поездках почти не бывает.

Я отыскал скамейку в тени под манговым деревом. Сунул руку в сумку, еще не зная зачем, но что-то хорошее уже предвкушая. Нащупал пачку ананасных вафель... Впрочем, не так уж и безотчетно... На ветвях дерева над моей головой жили очень активной жизнью здешние островные обезьяны, серые с лиловато-розовыми голыми животиками и грудками, с длинными, загнутыми у кончиков хвостами, с востро, злобно-усмешливо глядящими, близко друг к дружке посаженными глазами. Одни маленькие, другие побольше. Макаки прыгали по ветвям, раскачивались, играли, базарили, почесывались, заполошно о чем-то вопили. Выделялись среди них самые крупные, длиннopaые, с седой шерсткой на темени, видимо, «паханы», «боссы».

Я достал из сумки вафли, вполне готовый совершить благое дело: попотчевать обезьян острова Элефанте, преподнести им московский презент. (Забыл о московском же наказе не заигрывать с обезьянами. Не я первый забывчивый — увы! — надо думать, не я и последний.) Обезьяны тотчас раскусили мой план. Я только еще разворачивал пачку с вафлями, а они уже сидели рядом со мной на скамейке, сверлили меня своими отнюдь не умильными гляделками, по-звериному урчали (а как же еще им урчать?). Их железные когти находились теперь так близко, что я... Положение становилось отчаянным. Я отшвырнул от себя пачку вафель, как гранату с выдернутой из запала чекой... Обезьяны кинулись за добычей всей стаей. И тут... С ветки прыгнул на головы своих меньших братьев и сестер боль-

шой седой обезьян. Так прыгает рысь на купающихся в снежных лунках тетеревов...

Обезьян взял вафли. Никто ему не помешал осуществить свое право сильнейшего. Он не торопясь поднялся на ветку, принялся рассматривать мой презент. Такое было впечатление, что обезьяний начальник острова Элефанте читает надпись на обертке, с усилием, шевеля губами. Другие обезьяны расселись поодаль от «босса», печально вздыхая и злобно урча от своего бессилия.

Мне запомнился совсем маленький обезьянчик: он сидел на ветке бочком, склонив набок головку, подперев щечку кулачком, как-то скорбно-завороженно смотрел на «пахана», нервно сглатывал слюнки. Выражение личика у него было такое, как у девочки с тремя медными чанами на голове. Ему ничего не светило, ни о какой демократии или чадолюбии в стае серых макак на туристическом острове Элефанте не могло быть и речи.

Главный обезьян развернул вафли, быстро сообразил, где в них самая сладость, слизал то, что между корочками, корочки попробовал на зубок, с отвращением их схрупал.

На этом кончилось наше свободное время. Мы сбежали по лестнице к океану, сели в нашу шаланду. Ее капитан (он же и матрос и моторист) одарил каждого из нас добрейшей индийской улыбкой. И далее все пошло по программе.

Зато уж я навсегда запомнил, что с обезьянами в Индии не стоит фамильярничать; панибратства с собою они не терпят, презентом их не задобришь.

ЛОНДОНКА

Лондонка — это кепка...

Помните, что мы носили в конце сороковых — начале пятидесятых на наших ветрено-легкомыслых в ту пору головенках?.. Ну да, то самое — лондонки; кто еще не дорос, мечтал поскорей дорасти. Мальчишки редко щеголяли в лондонках, больше парни и взрослые дяди. В лондонках прошивывались по Невскому (как тогда говорили, «по Броду») стилиаги. Лондонкой мог хряснуть оземь жуковатый, фиксатый, приклатненный где-нибудь у шалмана на Транспортном (по старой па-

мяти Чубаровом) переулке. Лондонка шла к шикарному демисезону цвета маренго, а также к клешам, тельнику, кирзачам или, лучше, хромовым «прохорям» в гармошку с завернутыми голенищами и обязательно выпущенными наружу проушинами для натягивания «прохорей».

Первые лондонки привезли в отечество с берегов Альбиона наши моряки, ходившие в Англию, и еще, может быть, футболисты московского «Динамо», навтыкавшие — помните? — голов основателям футбола. Колер лондонки — рябенький, серенький; главное в ней арочная кривизна козырька. Козырьку надлежит быть изогнутой наподобие грота, так, чтобы обладатель чудо-кепки мог нахлобучить ее на дурью свою башку, выглядывать из-под арочного козырька, как пес из будки...

Повадливые на обезьянство, мы скоро научились шить кепари по лондонскому образцу, должным образом заламывать козырьки, превзошли в этом деле умеренных англичан — и пошло-поехало. Помните?..

И я в те годы хаживал в рябенькой лондонке, то есть в обычной домашней кепке с собственноручно заломленным козырьком. Потом интерес к головному убору английского образца стал вянуть, как вянет все на свете. Было время, когда высшим шиком считались моряцкие причиндалы: мичманки, клеши, тельняшки, бляхи на ремнях — и это ушло.

Став студентом, я первым делом купил себе велюровую шляпу цвета беж. Ступив на стезю газетного репортера, покрасовался в чернильно-синем берете (редактор газеты, увидев меня в берете, сморщился и сказал: «Глеб Александрович, вы бы еще бантик привязали»). Потом вошли в моду кожаные кепки с пуговицей на маковке, вязаные шерстяные чешские шапочки с помпоном (такими шапочками укрывали головы от африканского солнца вожди освободительных движений в пятидесятые — шестидесятые годы). Все более утвердился обычай, перенесенный к нам из заграницы, — ходить с непокрытыми головами. И мы ходили... покуда мороз со всей серьезностью не тюкал нас по кумполу: «Накройся шапкой, дурило! Тут тебе, чай, не Ницца! Не Сорренто!»

Ходившие с непокрытыми головами девицы болели менингитом; негреющие символические девьи головные уборы называли «менингитками».

Потом все вернулось на круги своя...

В середине семидесятых я поехал в Англию по туристской путевке и первое, что купил в английской торговой сети, — это лондонку, не самую модную, не дорогую, но коренную лондонскую уроженку сизо-болотного цвета. Не помню точно, где купил, может быть, на Оксфорд-стрит в универмаге Маркса и Спенсера, там есть все на свете, или на близлежащих улицах: Черринг кросс роуд, Риджент-стрит, может быть, на одной из торговых улочек Блумсбери, где мы жили в отеле средней руки. В центральных лондонских кварталах (и в других тоже) можно найти лавку со всякой всячиной по дешевой цене, с объявлением о распродаже на витрине: «сэйл»...

Между Чэрринг кросс роуд и Риджент-стрит помещается тихий в дневное время, к вечеру проникающийся бурлением и запахами лондонский Сохо, и в этом Сохо полным-полно диковин для новичка, одних секс-шопов пруд пруди (так было в середине семидесятых; к середине восьмидесятых — сам видел, свидетельствую: «сексуальная революция» унялась, мутный поток утихомирился, жизнь вошла в берега). Чем живы были хозяева этих, на наш взгляд, неизъяснимо странных торговых точек с запредельным ассортиментом товаров?.. Наблюдая, я видел входящих в секс-шопы особей разных наций, этнических и социальных слоев, глазающих, иногда что-нибудь трогающих, перелистывающих, задерживающих внимание на тех или других предметах ассортимента — и выходящих. Что-либо купившего я не увидел ни одного. Хотя... впечатления мои мимолетны. Да и вообще не нам об этом судить.

Для чего я речь-то завел о пресловутых секс-шопах (бывали и совсем крохотные секс-шопчики)? Постараюсь быть до конца откровенным. Однажды я сунул-таки свой нос в непотребную лавочку на Сохо, сам не знаю зачем. Ее пожилой, переживший последнюю войну хозяин с неожиданной для меня, тяжелой, осязаемой, против меня направленной ненавистью сказал на шкварчащем, как яичница с салом, английском языке: «Иди вон туда за угол и там выпей шнапсу!» Слово «шнапс» явилось ключевым ко всей фразе, я понял фразу, нашел объяснение ненависти ко мне хозяина секс-шопа. Он принял меня за немца (русские в Сохо не ходят), по возрасту я мог с ним и воевать, то есть против него; продавец непотребных штучек и дрючек в лондонском

Сохо увидел во мне, потенциальном покупателе своего шопы, — «боша», «наци», существо, не прощенное им...

Я с простодушной улыбкой объяснил коммерсанту, кто я таков, откуда. Кажется, коммерсант удивился, может быть, не поверил...

Купленная мною лондонка — из синтетики, как у нас говорят, «кожзаменителя». Лондонские франты прошиваются по Пикадилли, Стрэнду (или еще где, не знаю) в суконных лондонках фирмы «Тостаунд энд К°», основанной в 1778 году, блинообразных, с утопленными под тульи козырьками, в крупную серо-буро-черную клетку. Но мне приглянулась именно эта, она пришлась мне по карману. Ее фасон был точно такой, как у лучших прима-лондонок, ее козырек был притоплен, в меру аркообразен. Носить ее следовало, как носят лондонки в Лондоне, — прямо, слегка приспустив на лоб, параллельно продольной морщине на лбу (ежели таковая нажита тобою). Лондонка не терпит ношения себя набекрень, ее нельзя надвинуть на бровь, заломить на затылок.

В то время, когда я купил себе в Лондоне кепку, на дворе была поздняя осень. Обещанные мировой литературой и средствами массовой информации лондонские туманы, отравленные угольным дымом от каминов и смогом, почему-то не опускались на Лондон; голубело небо, изрядно пригревало солнышко. Большинство лондонцев ходило по улицам с непокрытыми головами; и я, как все. Вернулся домой — и надел мою новую кепку защитного цвета; кепка выделила меня в толпе прохожих на Невском проспекте и прилегающих к нему улицах. Другой такой кепки, как у меня, не было ни у кого в ту осень в нашем городе, не говоря о других городах и тем более сельской местности.

Ко мне стали обращаться сопливые фарцовщики в сквере на площади Искусств, на улице Бродского, у гостиницы «Европа» — на гнусно-фальшивом аффектированном школярском англише. Они увидели во мне иностранца, их вводила в соблазн моя кепка. Я грубо отсылал их туда, где им следует быть, — к их мамам, на чистом русском языке.

Лондонка была хороша для сентября, октября, даже и ноября, до первых морозов; я с удовольствием надевал ее в марте, апреле, радовался ей, как радуются по веснам первому подснежнику, сморчку, огурцу. Она

была городская кепка; отправляясь в лесные походы, я оставлял ее дома: спать в лондонке у костра казалось мне неудобно.

Чем дольше я владел этой кепкой, тем больше сживался с ней, привыкал как к частице себя самого. Так мы жили год за годом в любовном согласии с моей единственной неповторимой лондонкой до тех пор, пока... она не обнаружила черты неуживчивости, психологической несовместимости с хозяином. Кепка вдруг стала теряться, пропадать — в самые неожиданные, неподходящие для пропажи моменты, что всякий раз огорчало меня чуть ли не до сердечной спазмы.

В первый раз я распрощался с моей лондонкой — где бы вы думали? никогда не догадаетесь: на Красной площади в Москве...

Приехал в Москву на совещание в самое кепочное время: то солнышко улыбалось, то задувал ветер, хлестал дождь, сыпало крупкой. Остановился в гостинице «Россия», прозаседал день-деньской, под вечер отправился известным всем командированным в Москве маршрутом: в гастроном на улицу Горького. Поднялся из Зарядья на Красную площадь, привычно поглазел на пасхально-расписные купола Василия Блаженного, на памятник Минину с Пожарским, на Лобное место, на развод караула у Мавзолея, на выезжающий из Спасских ворот Кремля черный блестящий лимузин, постоял у витрин-окошек ГУМа... То есть влился в толпу, постоянно, в любое время года и суток шаркающую подошвами по брусчатке Красной площади. Даже забыл на какое-то время зачем, куда иду (вначале-то помнил)...

И тут... Когда уже Красная площадь была у меня за спиной, когда оставалось спуститься на площадь Революции... как раз против угла ГУМа, где начинается улица 25 Октября... Вот в этом самом месте в это самое время дунул страшной силы порыв ветра — снизу, от Исторического музея, из ущелья меж домов вырвался на простор площади какой-то нездешней муссонной мощи шквал. Он поднял в воздух все головные уборы с толпы: шляпы, кепки, фуражки, папахи, косынки, тюбетейки и, кажется, даже оренбургские платки... Порыв ветра не только обнажил головы у всех, кто был в то мгновение на главной площади нашего государства, но с какой-то дьявольской насмешливой лихостью погнал, покати́л весь шапочный набор, как листья...

Обладатели шалей, фуражек, кепи, собачьих малахаев (и такие были), каскеток, камилавок, дамских шляпок побежали следом за своими улепетывающими сокровищами. Ветер дул ровно столько, чтобы укатить, унести, перемешать все, что было на головах, — и стих. Кому-то повезло: догнал, поймал, кто-то остался в расстроенных чувствах...

Некоторое время я видел, как моя лондонка катится колесиком: козырек у нее утопленный, кепка круглая... Попробовал догнать, но тотчас оказался в движущейся по разным направлениям, малость ополоумевшей массе, потерял из виду то, за чем гнался. Все гнались, всякому хотелось вернуть утраченное, по-живому оторванное... Великое множество чужого катилось, несло, порхало — и навсегда исчезало на необозримой ровности площади. Все покрывало мглой ненастного осеннего вечера — мгла явилась вместе со шквалом. Отражаясь от мокрого камня, зыбился, дрожал фонарный свет. В наступившей тишине гулко раздавались шаги бьющего подошвами в камень караула...

«Ну что же, — сказал я себе, — значит, пришло время нам расстаться...» Я внутренне усмехнулся и пошел своим путем, дивясь разлившейся в воздухе тишине после недавней сногшибательной бури. Так бывает с нашкодившим отроком-сорванцом (и со взрослым мужем бывает): нашкодит — и станет тише воды ниже травы...

Медленно идя вверх по улице Горького, я говорил себе, что бывает в жизни пора обретений, за ней наступает пора потерь... Что расставаться с вещами — такое легкое дело. Бывают расставанья потяжелей... И я желал счастливого обладания вполне еще справной неизношенной лондонкой тому, кто найдет ее завтра утром бог знает в каком квадрате площади. «Как дай вам бог счастливой быть с другим...»

Кепку мне было пронзительно жалко, хоть плачь!..

Я купил в магазине гостинцев своим домашним (и о себе не забыл), медленно прошелся по главной московской улице, спустился в подземный переход, поднялся к ГУМу, рассеянно окинул взором опустевшее пространство Красной площади. Нет, искать я не собирался, все равно, что иголку в стогу сена... Как вдруг... Я еще ничего не увидел, только ощутил толчок в груди, как говорили в старину, у меня «екнуло сердце». Резко прибавил шаг, видя перед собою одну-един-

ственную облетевшую липку в ряду других липок, высаженных вдоль фасада ГУМа, — и нечто под этой липкой, защитного цвета (в защиту от любопытства прохожих), круглое, почти не различимое в ворохе палых листьев.

Под липкой лежала моя лондонка, подобрав лапки, как домашняя кошка, нагулявшаяся бог ведает где, наконец вернувшаяся под хозяйскую дверь...

Едва ли можно передать словами всю гамму чувств, изведанных мною в тот вечер, — горесть потери и благо находки...

В последующие годы я стал как-то охладевать к возлюбленной кепке. Лондонка переместилась с рога вешалки в прихожей в дальний угол. Кепочная любовь миновала, как всякая любовь.

Однажды собрался по грибы, вспомнил о лондонке, примерил ее — для леса. Посмотрелся в зеркало: вид лесной, «защитного цвета». Погода с утра куксилась, задождило, потом полило как из ведра. Лондонка на дожде разбухла, осклизла, позеленела, как гриб свинуха. В Лондоне по грибы не ходят (хотя в парках, сам видел, грибы растут, даже белые попадают), от дождя укрываются зонтиком. И у нас в городе тоже... Высохнув, лондонка обнаружила на себе старческие морщины, припухлости, подтеки...

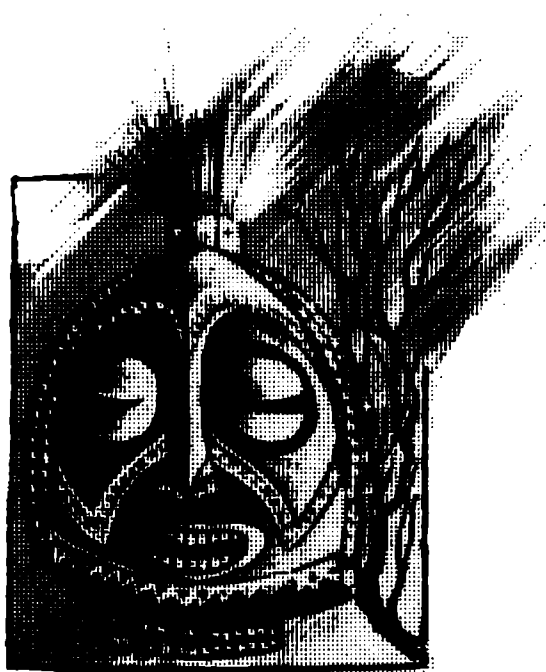
Последнюю отчаянную попытку сбежать от меня моя лондонка — со строптивым по-английски характером — предприняла не так давно. Хотя, как увидим дальше, тут и у меня рыльце в пушку... Я шел по лесу с лукошком, сощипывал с кочек бруснику, брал сыроежки, горькухи, моховики, маслята, волнухи, обабки. Солнце стало к полдню припекать, я снял с головы... Ну да, ту самую лондонку... Куда ее деть? В лукошко! В лукошке полно лесного добра. Тут еще подосиновики высыпали, поманили в осинник, в березняке сыскался белый гриб, ввергнул в азарт грибной охоты...

Когда я присел на валежину передохнуть, меня вдруг ожгла тревога: «А где кепка?» Кепки не было в лукошке: продирался в частолесье и вот... «Ах ты такой-сякой-разэтакий, — принялся я себя ругать-костерить, — да как же ты мог позволить себе? Да неужели ты бросишь свою любимую кепочку одну-одинешеньку в глухом лесу? — волкам на потраву, гадюкам на гнездо?»

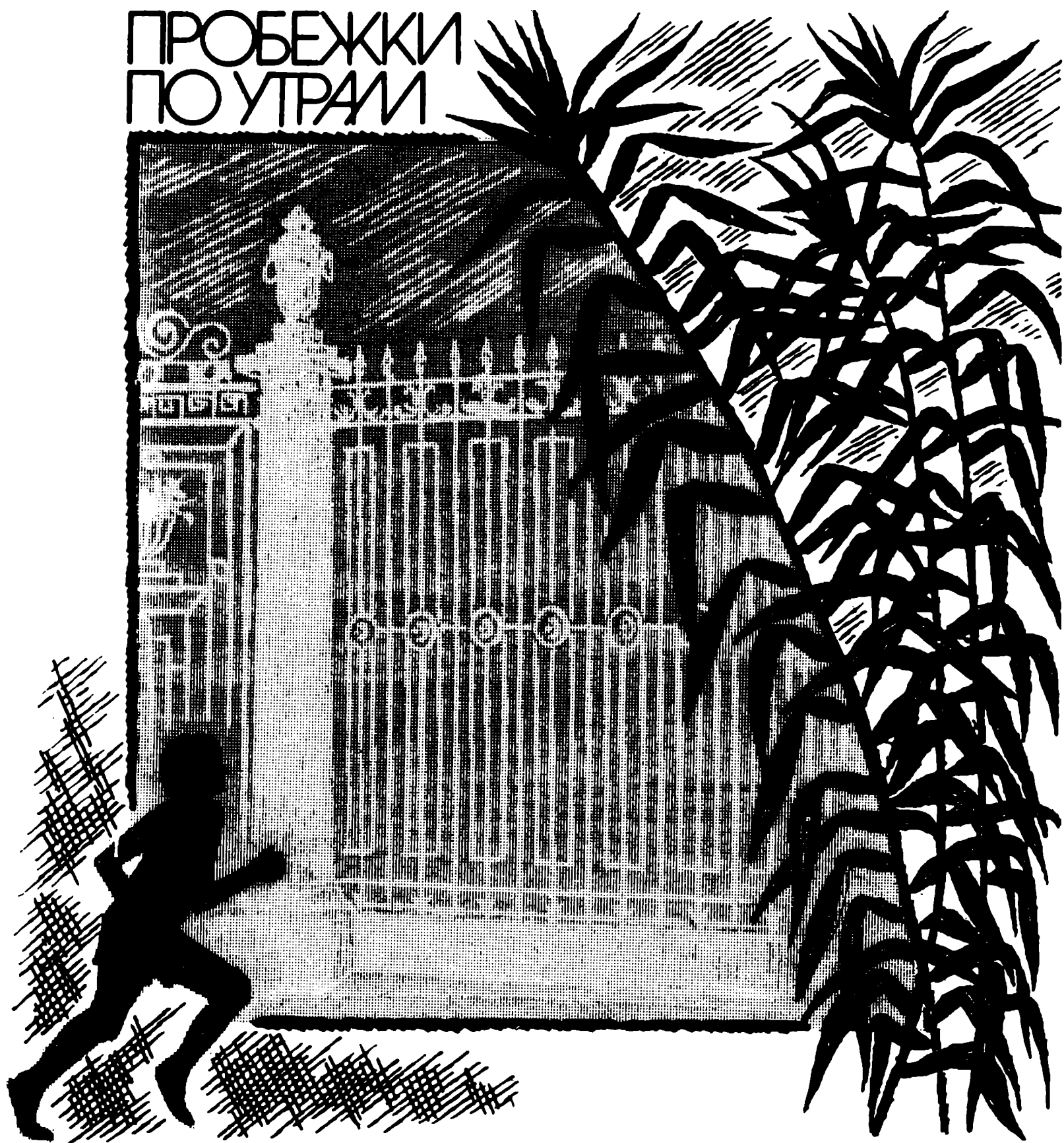
А как ее найдешь? Я шел болотом, мхами, папоротниками, зарослями хвоща...

Похлюпал обратным ходом, почему-то веря, что кепка найдется (может быть, сказывался опыт потери-находки)... Лондонка, правда, лежала неподалеку от того места, где я хватился ее, рядом с тропой. Весь ее облик, цвет (ничего в нем не было «защитного»), само выражение лица (у каждой кепки свое лицо) — испуганное, растерянное — настолько выделялись в траве и подлеске, что не заметить кепку-потеряшку было никак нельзя: она кричала, звала. Сердце зашло от радости, будто сыскалось родное дитя. Нахлобучил кепку поглубже...

Теперь я ее не ношу. Моя лондонка стала домоседкой, или, лучше сказать, домолежкой: лежит на полке в шкафу. Но вот пришлось вновь побывать в Лондоне; лондонки на головах и в продаже те же, что были: англичане во вкусах консервативны; на головах караула у Букингемского дворца такие же медвежьи папахи, как во времена королевы Виктории и других королей в глубине веков... Правда, цены другие, кусаются, как везде.



ПРОБЕЖКИ ПО УТРАМ



1

На утреннюю зарядку можно ухлопать битый час — отвлекаясь на посторонние мысли, но можно уложиться в двадцать минут. Вот именно «уложиться»: зарядку я делаю главным образом лежа, по системе хатха-йога...

Кто такие индийские йоги, я отчасти узнал (многие узнали) из фильма «Индийские йоги. Кто они?» Сценарий этого фильма написал советский доктор Зубков.

Он прошел в Индии соответствующий курс обучения йоге, вернулся домой — и щедро делится с соотечественниками тем, что усвоил в Индии. Не только делится — проповедует йоготерапию, йогопрофилактику как наиболее верный путь к горячо желаемому каждым владению самим собой. В одной из публикаций доктора Зубкова (в журнале «Сельская молодежь») я прочел о том, что ежедневная зарядка по системе хатха-йога обязательна в Индии для студентов и полицейских; полицейским дарует необходимое для справедливого решения конфликтных дел спокойствие, студентам — способность сосредоточиться на изучаемом предмете, не отвлекаться по пустякам. Доктор Зубков подчеркивает: хатха-йога не развивает мышцы как физкультура (хотя развивает и их, развивает), а вводит в обетованную сферу духовной гармонии.

Наука-проповедь доктора Зубкова не миновала меня. Я не только почитывал «Сельскую молодежь», но иногда печатал в этом журнале собственные бессюжетные рассказы-эссе из сельской жизни.

Утренняя зарядка по системе Зубкова, изложенной в «Сельской молодежи», вошла в распорядок моей жизни, как завтрак, обед и ужин, катанье зимой на лыжах, летом купанье, осенью хождение по грибы, весной по подснежную клюкву, как, наконец, работа, слушанье музыки, гляденье на картины, чтение книг, сидение за столом в компании друзей и подруг...

Утром, едва проснувшись, я вскакивал с постели, расстилал на полу старый-старый, гораздо старше меня самого, ковер зеленоватого, растительного цвета...

На ковре вытканы олень, олениха и маленький олененок — все терракотового цвета в белую крапину. И еще пять грибов, может быть, мухоморов с бордовыми шляпками, тоже в крапинку.

Когда я был маленьким, этим ковром с олешками и грибами застилали круглый, необеденный, а как бы гостиничный стол красного дерева, на гнутых ножках. Стол, застеленный ковром, служил украшением интерьера жилища — простого сельского дома — и еще на нем гладили белье: постилали поверх ковра полосатый матрасник и гладили. (В пору моего детства матрасник набивался сеном, тогда получался матрас.) Гладили: мама, бабушка, тетушка, домработница Дуня. Кто-то из них во время глаженья — гладили большим чугунным

утюгом с полным чревом горячих угольев, дымящим, как паровоз, пахнущим баней, угаром (мы жили в поселке при леспромхозе, у нас была своя баня) — выронил из утюга уголек. Могла выронить Дуня, она отличалась рассеянностью и еще ворчливостью. Матрасник сразу прогорел, ковер тлел долго, в нем выгорели два гриба из пяти. Мог заняться пожар; слава богу, унюхали, погасили...

Чем далее вглядываюсь я в олешков, в мухоморы на зеленом ковре моего детства, тем яснее вижу, как... Иногда для своих кукол гладила большим утюгом моя двоюродная сестренка, тетушкина дочка — в нашем детстве мы жили вместе; родных братишек-сестреночек у меня так и не завелось, — а иногда... Мог же быть такой случай: кто-то гладил, оставил утюг на столе, на изразцовой подставке... Мне захотелось, чтобы утюг не стоял, а поехал, поплыл бы, как пароход по зеленому морю, по оленям и по грибам. Может статься, в истории с утюгом имела место не столько рассеянность нашей Дуни, сколько ее ворчливость. Я возил утюг по ковру, сронил непрогоревший уголек, чуть дом не спалил. Дуня на меня поворчала...

Моя мама настолько любила меня — единственное чадо, — что, конечно, простила. Бабушка укорила внука без злобы, нарекла ей одной известным, необидным, хотя и нелестным прозвищем: «непропёка». Улавливаете сокрытый в этом прозвище, как в непропекшейся, с сырым нутром пышке, изъян?

Мой папа в ту пору был директором леспромхоза; его время и силы главным образом отдавались выполнению плана заготовки и вывозки леса. План перевыполнялся; леспромхоз получал переходящие знамена наркомата, ЦК профсоюза лесной промышленности; папа привинчивал к лацкану пиджака значки победителя соцсоревнования.

Тетушка взяла и зашила выгоревшие на ковре дыры зеленой материей, а по ней еще красным бархатом; так появились рядом с тремя уцелевшими два новых гриба, бархатные, красные. На шляпки новорожденных грибов тетушка нанесла белые крапины; она была великая мастерица-рукодельница шить-вышивать.

Моя двоюродная сестра тогда похихикала надо мной — «непропека», вот и все.

По утрам я ложился на моих печальных олешков, на три вытканых и два вышитых гриба. Да, ложился и расслаблялся... В хатха-йоге нет упражнений, есть асаны. Надо принять такую-то позу-асану, что-нибудь расслабить, распустить какие-нибудь узелки в своем обычно зашнурованном организме. Хатха-йога предполагает не напряжение, а расслабление. Существуют такие асаны (их рекомендует доктор Зубков), в которых можно — и должно! — дать отдых мозговому веществу, обыкновенно вырабатывающему разные мысли. Лечь на пол, на ковер, лежать — и не думать, подобно бревну.

В общем... ложишься на спину, на зеленый ковер, пятки вместе, мышцы, сухожилия, нервы расслаблены. Голову некоторое время перекатываешь по ковру, пока найдется для нее удобное местечко, как находится ямка для шара, когда играют в крокет (сам не играл, но видел, как играют, в кино). Потягиваешься до хруста в костях позвоночника, ерзаешь пятками по полу, левой пяткой, потом правой. Поерзал — и ладно для первой асаны. Подымешься с полу, сядешь на стул, уложишь локти на колени, берешь в правую руку большой жбан только что вскипяченной, чуть остывшей воды (пока пребывал в первой асане, вода остывала), прихлебываешь маленькими глотками; горячая вода медленно прокатывается по гортани, по пищеводному тракту, кишечнику, согревает и умывает.

Ведь умываемся по утрам, ополаскиваем добела руки, лицо... А внутрь себя вливаем черный, чумазный кофе, отправляем в свою утробу подгоревший дочерна на черной сковородке лук, не помышляя о том, что внутренним органам тоже повадно ополоснуться — чистой, для них согретой водой... И вот вливаешь в себя остуженный кипяток, и там внутри наступает сплошная радость. Индийские йоги учили и это.

После внутреннего омовения ложишься носом, грудью, пупком на ковер, улавливаешь давнишний, изрядно затертый, но все еще внятный запах детства, отрочества, до того знакомый, домашний, щекотный, что хочется чихнуть. Но надо приподнять на руках верхнюю часть своего тела (тело лежит на ковре), выкрутить шею так,

чтобы видны стали пятки. Эта — асана-поза змеи, особо целительная, исцеляет от радикулита; за неимением такового (покажите пальцем, кто не имеет) все равно распрямляет стан, придает человеку достойную человека осанку (осанка — это не положение позвоночника, а черта характера).

В общем, асана змеи благотворно сказывается на нашем натруженном позвоночном столбе. Наш позвоночник — извечный трудяга. Когда мы ходим или стоим, или даже сидим, наш позвоночный столб нас держит в надлежащем нашему званию вертикальном положении. Понятно, что позвонки устают, мало-помалу снашиваются. Устают, снашиваются даже бетонные сваи, несущие на себе тяжесть домов.

У индивида, принявшего позу змеи, позвонки отъединяются один от другого, верхний не давит на нижний; позвоночный столб отдыхает. И в то же время надлежит совершать приятные для позвонков извивы, подобно змеиным: поворотить, пока что еще туговатую (в начальной стадии освоения хатха-йоги), шею, заглянуть на собственные пятки боковым зрением, сначала из-за правого плеча, потом из-за левого...

Скажите на милость, когда мы видывали свои пятки? Вы забывали о них, рассеивая внимание на иные предметы. Можно целую жизнь прожить, так и не увидав своих пяток, равно как и ушей (уши хоть в зеркало видишь, а пятки...)

И вдруг вменяешь себе в задачу: увидеть пятки. Только не обольщайтесь мнимой простотою задачи...

В самом начале я с превеликим трудом выворачивал шею, чтобы увидеть... всего одну пятку. Да и то не всю пятку, а только ее щечку. Это явилось для меня открытием: у пятки имеются щечки и маковка...

Изо дня в день, то есть в седьмом часу по утрам (иногда, в силу тех или иных вчерашних вечерних обстоятельств, попозже) я все более выворачивал шею, видел вначале щечку, за нею маковку одной пятки, другой. И вот увидел их обе разом, как видим мы в Эрмитаже обе пятки вернувшегося в отчий дом блудного сына на картине Рембрандта. О! Эта маленькая победа над собой окрылила меня; пригрезилось, что если буду и дальше, не жалея себя, выворачивать шею, то шар-

нирные скрепы в позвонках, разработавшись, дадут возможность увидеть позади себя (лежа на животе на ковре) не только пятки, но и нечто такое, чего никто не видал.

Манипулируя в позе змеи, я испытывал не изведенные до сей поры (принялся за хатха-йогу, когда мне уж было за сорок) ощущения: тело радовалось данной ему возможности поваляться на ковре, побрякать внутри себя ничем не нагруженными косточками, пошелестеть связками; до сознания новоиспеченного молодойога доходило как будто благодарственное перешептывание внутренних органов...

Хатха-йога учит любить свое тело! А мы изгаляемся над ним, третируем его как недостойного партнера в игре...

3

Конечно, главное в человеке — разум, воля, душа, высота идеалов, чистота помыслов, способность совершать поступки, духовная зрелость. Но куда мы наращиваем эти качества, свойства, достоинства, внутри нас подспудно, неслышно, усердно работают наши почки, печенки и селезенки. Опорой в жизни нам служат наши верность и стойкость. Но если мы позабудем о том, что наши ноги носят нас с первого шага, приподымают над землею — вверх, к небу, если мы не полюбим наши ноженьки, не приласкаем, не выпустим их на вольную волюшку, когда им потребна праздность, то можем однажды и пошатнуться. У древних индусов, создателей хатха-йоги, подумано было и о ногах...

Мы читаем в газетах про то, как плохо живется индейцам из племени сименолов, заключенным в резервации на никуда не годных бросовых землях некогда принадлежавшей им самой богатой в мире страны, и нам так горько, так больно за сименолов... Мы сострадаем, сопереживаем (и правильно делаем!)... Мы сочувствуем рикшам Калькутты и бедным, бедным, бедным париям из трущоб Гонолулу... А в это время качают, качают, качают так нужный нам кислород наши легкие. Без устали, без передышки работает сердце, и гонит, гонит, гонит для чего-то нужную нам желчь печень...

Хатха-йога обращивает наш умственный взор, обыкновенно направленный вовне, внутрь нашего организма, хотя бы раз в сутки, рано утречком, приглашает нас полюбить наше тело, отнестись к нему как к милому, слабому существу. Расслабиться, дать отдых...

Примерно такие мысли приходили мне на ум во время утренних радений на ковре. Я вскакивал с ковра, порывался записать на бумаге только что обретенный опыт, поделиться им с теми, кто не сподобился, как это сделал однажды доктор Зубков. Но писать статьи-наставления в дидактическом роде я решительно не умею: я работаю в жанре свободного самоизъявления, лирического монолога, в меру заземленного, актуализированного эссе.

Каждая асана, проверенная в веках, божественно-эффективная, достойна отдельного стихотворения в прозе. Хотя многое в зубковской системе оказалось не по зубам молодойогу; асаны я редуцировал, адаптировал, трансформировал... Попросту говоря, я оказался слаб в коленках, чтобы, скажем, правой пяткой доставать до левого уха. Я не отказывался от надежды, но все еще было пока впереди (и до сих пор так).

Упрощая Зубкова, я выбирал кое-что для себя из практики наших доморощенных йогов. Их нынче у нас пруд пруди.

Бывало, по утрам приглядывался к тому, что выкаблучивает некто — в Пицунде на пляже дома отдыха комбината «Правды», на лежаке, у всех на виду...

4

В. — корреспондент центральной газеты в одной из стран Европы. Он седой как лунь (луня автор этих строк ни разу не видывал, но думается, что укоренившееся в памяти русского человека сравнение седовласого с ночью, лесной, мало кем виденной птицей лунем основано на свидетельстве очевидца), весь состоящий из костей, мышц, сухожилий, воистину — йог. Его лицо несло на себе печать какой-то особенной самоуглубленности, отрешенности от влияний извне. Он являл собою совершенно отдельный экземпляр человеческой

породы, непричастный общей, лениво колышущейся курортной массе. Во всем его облике: в наглядно выразительных, как на анатомическом плакате, плечах, предплечьях, притянutom к позвоночному столбу животу, в прямоугольных скулах, в латах грудных мышц — читалась воля ваятеля. Сам В. себя изваял таким, каким вообразил, запроектировал.

Процесс ваяния, воплощения модели в материале продолжался и тут, на пляже мыса Пицунда. В семь утра В. стаскивал к самому морю на гальку лежак, укладывался на него, принимался за хатха-йогу, взятую не только у Зубкова, но и где-то еще. Я с острой жадностью-завистью подсматривал за ним, пряча свое любопытство за опорой пирса, принадлежащего дому отдыха комбината «Правды». Хатха-йога В. достойна была демонстрации в любом зале — не только как урок для желающих приобщиться, но и как сериал о неведомой нам красоте, неучтенных возможностях мужского тела.

В. был мальчишкой в то самое время, что и я. Мы жили в одном городе, только В. на Выборгской стороне, а я в Соляном городке, на Рыночной улице, которую после переименовали в Гангутскую.

В помещениях Соляного городка, занимающих целый квартал, с фасадами на Фонтанку, на Соляной переулок, на Гангутскую улицу, в 1945 году открыли музей обороны Ленинграда... Ах, какие там были немецкие танки, пушки, самолеты — подбитые, обгорелые, прямо с поля боя привезенные. Их поставили в сквере между Соляным переулком и Гагаринской (потом Фурманова) улицей, примыкающем к стене сто восемьдесят первой школы. Мальчишкам можно было не только поглазеть на «тигры», «фердинанды», «юнкерсы», «мессершмитты», но и полазать по ним. То есть лазать было нельзя, но в этом заключалась вся сладость лазанья, что нельзя.

Музей потом закрыли, он в чем-то не соответствовал, не отвечал (и людей, создававших музей, не стало) ... Танки, пушки, самолеты куда-то увезли, в сквере посадили яблони.

Живя в одном городе с В., в одно и то же время, я ни разу не повстречался с ним. Теперь наблюдал по утрам, как В. — конечный продукт хатха-йоги, — весь бронзовый, белоголовый, свободно скрещивает тесно поджа-

тые под себя ноги в асане «лотос», подолгу стоит на загровке. Я схватывал в асанах заправского йога то, чего не было у Зубкова, прилежно запоминал.

В восемь часов утра (два часа поработав над диссертацией) на пляж являлся еще один корреспондент по трем небольшим европейским странам, тоже изрядно поседевший, не так, как В., но сивый, — М. Он делал пробежку, бежал босой по пляжу, вдоль буйных здешних тростников, до Дома творчества киношников и обратно.

В университете М. бегал на средние дистанции, на восемьсот, тысячу пятьсот метров. К тому времени, о каком идет речь, он бежал уж лет тридцать, добежал за эти годы до трех столиц небольших, уютных европейских государств. В течение последних трех лет его местожительство (семейное логово) и корпункт находились где-то чуть ли не в Венском лесу, во всяком случае поблизости от Венского леса. В отпуск М. с семьей приехал в Пицунду и опять-таки, с поистине заячьей резвостью, подав вперед тазобедренный сустав, с ровностью, неуклонностью средневика, бежал-катился по крупнозернистому песку пицундского пляжа.

Я учился на одном курсе с М., в одном университете, на одном факультете. Я занимался лыжами, академической греблей, борьбой самбо, волейболом, толканием ядра, метанием диска и молота, прыганьем в высоту, бегом на все дистанции от сотки до марафона. Понятно, что ни в одном из названных видов спорта я ничего путного не достиг. Толкание ядра требует от двуглавой мышцы мгновенного сокращения, взрыва, а борьба или гребля — тягучего усилия. Спорт, как всякое дело жизни, не терпит разбросанности. Успех приходит к тому, кто бьет в одну точку.

М. бежал и бежал, часто семеня ногами, как бегают мальчишки из своей деревни в соседнюю, в школу. Переходя с курса на курс, он повышал свой спортивный разряд, наливался, как говорится, не броской, но с запасом надолго силенкой. Он был невелик росточком, широкогруд, крепконог, сероглаз, улыбчив, стрижен под бокс, с чубчиком, парнишка из ярославской деревни. Хотел ли он тогда, в самом начале, живым шариком катясь все прямо и прямо и все быстрее, докатиться до

европейских столиц? Не знаю. Однако катился. И есть зависимость: между прямизною, постоянным ускорением бега — и достигнутым результатом. В юности результат исчисляется в минутах, секундах, потом — в иных величинах, может быть, даже в градусах и минутах географических широт и долгот.

М. познакомил меня со своим коллегой В. В., пожимая мою руку, представился: «В.». Я назвал мое имя.

По вечерам М. собирал у себя в номере-люкс друзей-корреспондентов — по африканским, азиатским, южноамериканским, европейским странам. Пили по-европейски, чуть-чуть. В. в рот не брал, как положено йогу. М., застенчиво, мило улыбаясь, делая ямочки на не утративших сельской, ярославской розовости щеках, рассказывал о том, как он предостерегал президента одной из маленьких европейских стран от необдуманных поступков. «Мы с ним на приеме вот так пьем кофе. Я ему пальчиком погрозил: «Смотрите, господин президент, подумайте, потом жалеть будете». Он мне говорит: «Я подумаю, господин М.». И другие корреспонденты тоже что-нибудь рассказывали из мало кому знакомой жизни президентов и зарубежных корреспондентов.

По утрам В. занимался у самого моря хатха-йогой, М. бежал босой по крупнозернистому песку вдоль тростников на мысе Пицунда.

И я, проснувшись в своем номере в Доме творчества Литфонда, проделывал в лоджии комплекс хатха-йоги по Зубкову, с добавлением асан, подсмотренных у В., затем спускался на пляж, бежал вдоль тростников. Я по-прежнему разбрасывался, не бил в одну точку. Прожив к той поре большую часть отпущенной мне жизни, я стал почти таким же седым, как В., во всяком случае, более сивым, чем М. И я уже понимал, что как разбрасывался, так и буду разбрасываться, не научусь бить в одну точку, даже не решусь сделать выбор между хатха-йогой и бегом — и то и то одинаково хорошо. Я думал без грусти, что теперь мне не убежать так далеко, как убежали В. с М. И всем ли надо бежать на сверхдальние дистанции?..

Я знал (прочел у Зубкова), что хатха-йога не уживается с бегом и вообще с каким-нибудь спортом; спорт побуждает напрягать мышцы, хат-

ха-йога предлагает расслабиться, отключиться...

При первых лучах невидимого за горами светила я расслаблялся, отключался, при боковом освещении взошедшего солнца бежал. Бежать по крупнозернистому песку на мысе Пицунда было щекотно пяткам, подошвам — и до того утешно, что не бежать я не мог, как не может не бегать заяц по ночной пороше.

5

Я бежал — и каждой клеточкой своей кожи узнавал этот берег, этот песок; от остывших за ночь тростников остро пахло росой, ежевикой, прелью выброшенного морем в последний шторм древесного хлама, ночными свиданиями при луне и еще почему-то козами. Возможно, козий запах доносился из жилой зоны, от шоссе за тростниками. Запахи, слившись, сладостно мучили меня своей знакомостью, так же, как запах зеленого ковра с оленями и грибами. От ковра пахло моим детством, от пицундских тростников — началом взрослой жизни, когда юность еще рыпалась, не сдавалась — и наступала на горло взрослость, время заматереть.

Я бежал и думал: «Все уже было, было, было когда-то со мной. И тростники эти были, и я бежал по крупнозернистому пицундскому песку...»

Дома творчества Литфонда на мысе еще не было тогда и не было дома отдыха комбината «Правды», и людей тут не было, ни души. Было море, оглаженные морем, высушенные солнцем так, что видны все жилочки и зерна, камни; серовато-лиловатый, как гречка, песок, мясисто-зеленые, подобные банановым зарослям, тростники; выкинутые морем медузы, истаивающие, как студень на сковородке; никуда не спешащие чайки в плавающем, текучем небе; совсем еще не прожитая моя жизнь впереди и моя будущая жена рядом...

Мы тогда сплели из тростников шалаш; в шалаше, в тростниковой роще, на горячем песке, в шипучей, пенящейся, соленой, синей, зеленой, чистой, прозрачной воде — мужчина и женщина на совершенно пустом берегу у совершенно пустого моря.

Мы любили друг друга (и нынче любим, хотя не так, по-другому). Приносили с собою вино, лаваш, сыр сулугуни, помидоры, груши, сливы, виноград. От шоссе из селенья Пицунда к нашему шалашу, как шакалы, подкрадывались чумазые абхазские мальчишки, им любопытно было подглядывать за счастьем двух белокожих особей чужого им племени — в шалаше.

Один раз к нам в шалаш приползла большая, толстая, черно-серо-коричневая, с лиловатым матовым глянцем, с ромбами на спине гадюка. Она приползла в шалаш до прихода счастливой пары, возможно, в поисках тени или из любопытства, свойственного всем обитателям южных широт, — вытянулась на подстилке из тростниковых листьев и замерла. Мы не сразу узнали в ней гадюку, а когда узнали (ладно, что не сели на нее, не протянули к ней руки, приняв за палку), то она уползла.

После посещения змеи счастье в шалаше стало невозможным. Не захотелось строить новый шалаш — счастье не повторяется дважды. И оно укладывается в кем-то свыше назначенный регламент, сверх регламента — тает, как медуза на раскаленной гальке.

В то лето я много бегал по утрам в пицундской сосновой роще по божественно мягкой подстилке из длинных иголок пицундских сосен, этих реликтовых пиний. (Потом наступит такой момент, когда число бегунов, прыгунов и просто лежебок в роще станет невыносимым для сосен; сосны начнут усыхать — и рощу обнесут проволокой.) Целые дни проводя на солнце и в море, я жил, как живут сыновья юга, хотя был сыном севера. Дело кончилось обыкновенным сердечным спазмом; будущая моя жена бегала за врачом, мне давали сердечные средства — от валерьянки до кордиамина. Но колотье в сердце не проходило до тех пор, пока я не вернулся домой и не принялся бегать по берегу холодного несоленого моря, по мелкозернистому, притоптанному до асфальтовой твердости песку вдоль прибрежной сосновой гривы.

Если бы посчитать, сколько я пробежал за всю свою жизнь (к моменту, когда пишутся эти строки), то накрутится целый экватор, а может, и полтора.

Став седым, прожив первоначальные праздники и последующие будни с милой сердцу женой — той самой, из шалаша в пицундских тростниках, я все езжу в Пицунду, бегаю не только по утрам, но и в предзакатное время, с пришествием первой прохлады после нестерпимо жаркого дня. Иные бегают в самое пекло. К примеру, московский критик С. — здоровенный детина, довольно-таки молодой (глядя со снежной вершины седина), всего лишь сорокалетний. В свободное от писания критических статей, литературоведческих исследований время С. бегал под яростным солнцем субтропиков (в московском умеренном климате тоже бегал); через шоссе — и айда просеками в кукурузных зарослях, а там арык с высокими, выложенными на конус плитняком берегами. С. перемахивал через арык, добегал до сливово-грушевого сада при доме с некусающейся собакой; через сад выбегал на сельскую улицу, сворачивал в прогон, на тропу, уводящую вверх — дубняками, грабовыми, буковыми, рододендроновыми, ежевичными, кизилowymi лесами. На бегу можно было увидеть растущие в этих лесах грибы, их тут называют белыми, а какие они на самом деле, кто знает?

И вот на самом верху, на плато дивный парк, редколесье, светлокорые гиганты-платаны, солнце сквозь тончайшую резьбу густолиственных крон, благословенная тень, прохлада, услада телу и духу...

С. бежал в трикотажном черном спортивном костюме, сразу промокавшем до нитки, хоть выжимай. От бега С. и сам накалялся внутренним жаром; стоило бегуну остановиться — и костюмчик на нем высыхал, выбеливался от соли.

Вначале и я увязался бежать вровень с критиком, но вскоре понял про себя, что укатали сивку крутые горки, что гусь свинье не товарищ, что куда конь с копытом, туда и рак с клешней и прочие сами собой разумеющиеся вещи. Я стал отставать, С. из уважения к моим сединам — притормаживать. Но сердце, легкие, ноги, а также и цели, задачи у критика были иные, чем у эссеиста. Эссеист сказал критику, чтобы он бежал своим темпом. Вскорости критика и след простыл.

Я остался один в абхазском лесу, свернул с найденной С. тропы и пошел себе лесом. Со всех сторон

меня обступили дивные дива. Главное диво состояло в моем одиночестве. Бежать и видеть перед собою потную, шириною с классную доску, спину критика С. — это одно, а ступать по мягкой подстилке прошлогоднего листа, вглядываться в лицо каждого встречного дерева — бук или граб? — влюбляться в здешний незнакомо-прекрасный лес — с первого взгляда, с первого шага — это другое!

Лес на мысе Пицунда, в первом, предгорном ярусе, был ласковый, какой-то шелковистый, с певчими птицами, неназойливыми мухами, без слепней и комаров; лес вывел меня к околице деревеньки.

Я перелез через тын, ограждавший село от леса, прошел по вдрызг истоптанной свиньями после дождя, так и засохшей улице. Дома по сторонам были деревянные, может быть, строенные из каштана: каштановая древесина в Грузии — строительный материал. В окраинных домах селенья их обитатели никак не выказывали себя. Первый встретившийся мне здешний селянин назвался Мишей. То есть Миша не встретился, он стоял за оградой такой же, как у других, усадьбы, глядел на прохожего взглядом, в котором не было ничего кроме привета, приглашения зайти. Миша оказался отцом обширного, еще не подростшего потомства. На подворье было полным-полно черноглазых, как видно, не приученных пользоваться носовыми платками, ребятишек, тощих бесперых цыплят, тощих же поросят, индюшат и взрослых индюков, коротконогих, как таксы, собак, своих и приبلудных. Мишина жена Венера была втрое толще своего довольно-таки сухопарого мужа.

Виноград «Изабелла» Миша продал мне по рублю за килограмм; виноградные гроздья я сам выбирал, рвал с лозы; хозяин мне помогал, потчует при этом, приглашая откусать винограду сколько влезет, и груш, и слив, и сладкого инжиру.

Нельзя предвидеть, в какие веси и обстоятельства приведет тебя пробежка по незнакомой местности. Да и по знакомой тоже...

7

У Хемингуэя в одном месте сказано, что писатель хотя бы раз в сутки должен соприкасаться с вечностью. Это в манере Хемингуэя: по ходу сюжета романа, но-

веллы поделиться собственным опытом писателя-мужчины — в афористической форме. Как, помните, в «Зеленых холмах Африки»?.. «Что в действительности мешает писателю? Ему мешают на самом деле: деньги, женщины, пьянство, политика и амбиция. И — недостаток в деньгах, женщинах, выпивке, политике и амбиции...»

Сидя за столом в прохладном (может быть, каштановом) Мишином доме в абхазском селе Осечко (село основали армяне, и Миша армянин, и его жена Венера, и папаша Тигран — все армяне), я припомнил Хемингуэев совет почаще окунаться в вечность. И я подумал, что угощали гостя в этих предгорьях тем же, чем угостил меня Миша, и сто и двести лет назад. И точно такие же изгороди ограждали селенья горцев от дикого леса, чтобы домашняя скотина месила бы грязюку вблизи дома, не пропадала бы в лесу, чтобы, избави бог, не забрел в село лесной зверь.

Лес — самый надежный хранитель вечности. В кавказском лесу долгожители — буки; их век чуть не тысяча лет...

И что-то вечное можно было прочесть в глазах крестьянина предгорного села Осечко Миши: грустное, тихое, доброе и, главное, непричастное, отрешенное, нездешнее, то есть не абхазское, а армянское, откуда-то из-под араратских снежных пиков занесенное на мыс Пицунда. Неподалеку от Мишиной хаты фырчало бензином, неслось куда-то осатаневшее в бессмысленной гонке шоссе: от Гагры до рынка в Пицунде и обратно, больше некуда тут нестись. Миша не включился в гонку, он пока еще не спешил.

Когда я в первый раз повстречался с Мишей, у того и машины не было — случай в Грузии редкий. Но это было в самом начале механизации кавказских сел; в последующие годы мне доводилось встречаться с крестьянином села Осечко Михаилом не только под ветвями плодовых деревьев в его саду, но и на площади в Адлерском аэропорту, куда съезжаются со всего берега в свободное от работы время автолюбители-доброхоты — свезти прибывшего к Черному морю, малость ошалевшего от первого солнечного удара курортника — в Сочи, Гагры, Пицунду...

Я знал одного скорохвата, наматывавшего в свой выходной день (он работал машинистом на электровозе)

по четыре ездки Адлер — Пицунда. Однажды ехал со скорохватом на его «Жигуле», прихватили попутчицу (на то и скорохват), бледную, уставшую женщину, как выяснилось по дороге, из Воркуты, с курсовкой: жить в Гагре в частном секторе, лечиться на гагринском источнике. На первых же километрах водитель раскрыл свои карты, предложил курортнице план, продуманный по всем пунктам, недвусмысленный, ясный:

— Мне пятьдесят два года. Моя жена умерла два года назад. Живу один за Пицундой, на рыбозаводе. Дом у меня свой, до пляжа каких-нибудь двести метров. Виноград свой, персики, сливы, груши, яблоки, инжир, хурма-королек, мандарины к ноябрьским собирать будем. Работаю машинистом: двое суток в рейсе, двое дома. Водку в рот не беру, коньяк по праздникам, через неделю свое вино заделаем, натуральное — чистый виноградный сок, сорт «Изабелла». Покушать люблю: шашлык с острой приправой, с аджикой. Зачем тебе, слушай, в Гагре мучаться? — делал сам собой вытекающий вывод из сказанного одинокий мужчина. — Живи у меня — как в раю. Обед приготовишь, — загорай на пляже. На источник тебя возить буду, побережье покажу...

Женщина из Воркуты пока что помалкивала в тряпочку, однако исподволь взглядывала на обладателя земного рая. Он был мужчина в самом соку, с сединой на висках. Сидя позади, я заметил первые признаки порозовения на щеках и ушах усталой воркутинской женщины. Когда проезжали Гагры, где следовало бы пассажирке сойти согласно курсовке, в салоне автомобиля никто не сказал ни слова. Хозяин положения не форсировал события, не нажимал, пассажирка как будто впала в оцепенение.

У ворот Дома творчества Литфонда, при въезде в Пицунду, я отдал скорохвату четвертак и вышел. «Жигуль», цвета спелого мандарина, быстро набрал скорость — умчался к богу в рай.

8

Иду в октябре пустым кукурузным полем, припоминая, какие тут по утрам раздавались дуплеты (когда это было?), каких прекрасных легавых, серых, бурых, золотисто-бежевых, в яблоках, в крапинку, с обрубленными хвостами, классно работающих по перепелкам,

держали здешние охотники, какие связки дичи продавались на пицундском базаре... Перебрался через ров, из-под ног уползла тонкая черная змейка, какие снятся в дурные ночи... Поднялся на хребтину: дубовый, букочный лес был просторен, наполнен светом, свежестью, шорохом палых листьев...

Едва вошел в деревню Осечко, как навстречу явился, как будто тут меня ждущий, дед Тигран, родитель Михаила. Румяный, веселый дед Тигран не узнал множество раз бывавшего у него в гостях «отдыхающего», однако отнесся ко мне как к гостю, свел на усадьбу к сыну Михаилу, по-видимому заглавному лицу в деревне.

Хозяина не было дома. Гостя с энтузиазмом принял старший сын Михаила Артур, недавно вернувшийся из армии: Артуру скучно было сидеть одному на горе и не отросли у него еще крылья — самостоятельно слететь в кишашую всяческой жизнью долину при море. Артур принес молодого вина, тотчас приступил к беседе с гостем. Его лицо, в отличие от благообразного лица Михаила, несло на себе печать какого-то изъяна, отторжения от корней семейного древа. Артур мельтешил, суетился. Он говорил, кривя губы; верхнюю губу оттеняла полоска усов, негрузинских, армянских (чем отличаются усы грузина от усов армянина, не берусь объяснить, но отличаются).

— Я на юге служил, потом еще в Латвии... Там у кого что спросишь, он так на тебя посмотрит, короче говоря, будто не понимает... Я в кафе «Пицунда» — там свои ребята... в общем, за столик сели из Латвии... Я им говорю, короче, когда мы к вам приезжаем, вы, короче говоря, на нас коситесь, как мышь на крупу, а когда вы к нам приезжаете, мы к вам по-хорошему... Короче, они говорят, у нас тоже разные есть и у них тоже...

Я мог барменом на морвокзале работать, — вел свой монолог без пауз крестьянский сын из села Осечко Артур, — короче, надо было деньги давать, тысячу. Не в этом дело, короче, не захотелось. Вы фильм «Взятка» не смотрели? Там все по правде, короче, по жизни, как взятку дают. А там один журналист взялся, короче, расследовать это дело...

Мы раз с ребятами в баре сидим, — вязал узелки своего сюжета сын Миши Артур, — короче, взяли того,

другого. Я сразу могу сосчитать, что почем, у меня глаз на это дело как алмаз. Короче, мы деньги положили сколько надо, уходим, а там, короче, девушка заорала: «Не доплатили!» Я ей говорю, короче: «Давай посчитаем». Все точно сошлось. Я ей говорю, если бы ты улыбнулась, десятку лишнюю не жалко тебе дать. А так — зачем? Короче, теперь я в школе ДОСАФа учусь на шофера. Тоже не очень мне нравится... Жениться скоро буду. Короче говоря, у нас отец с матерью решают, посмотрят, если им понравится, тогда разрешают жениться. Короче, я говорю: смотрите, решайте...

Пришли отец и мать Артура. Я любовался Михаилом: с каждым годом, как знаю его, Михаил становится красивее. Что-то есть в нем библейское: сухость, смуглота тела, седина в кудрях, живость, блеск в глазах, цвета спелого каштана.

Отцу не понравилось своеволие сына, вино на столе без хозяина дома. Он обозвал Артура пацаном. Артур сразу же стушевался, слинял.

— Я не беру и капли в рот, — сказал Михаил, поздоровавшись со мной как со старым знакомым. — На машине езжу, кто-нибудь стукнет, ты виноватым будешь. Все некогда, черт его знает, — пожаловался справный крестьянин села Осечко. — То свинья, то корова, то сад... В колхозе я звеноводом... Вот цитрусы с первого ноября собирать начнем. Ящики погрузили на машину... И в труде напряженки нет, всего две машины погрузили, а полдня ушло. Я звеноводом в колхозе, — еще раз сообщил, подчеркнул Михаил, — все же ответственность... Съездил бы куда-нибудь мир посмотреть, а времени нет, все работа. Живем мы вроде неплохо, а черт его знает, минуты свободной нет.

Михаил налил мне банку молодого, лилово-алого, как кровь молодого барана, вина. Крышечка как-то не зацепилась за края банки, не притерлась; банку с вином следовало нести тихо-ровно, не торопясь... (Понятно, что описываемые события происходили до указа о борьбе с пьянством.)

На самом краю села младший брат Михаила, сын деда Тиграна, построил себе из ракушечника добрый дом. Он достраивал дом, просеивал песок сквозь мелкую металлическую сетку. Кто-то ему помогал, может быть, средний брат или односельчанин. Блестели только что подвешенные жестяные водосточные трубы с резными, узор-

ными, верхними горловинами. Вышло солнце, вдали под горою виднелись поля, озеро с рестораном на том берегу, одиноко стоящие башенки Дома творчества Литфонда и дома отдыха комбината «Правды». На строительстве дома Тигранова сына был перерыв. Дед Тигран с младшим сыном сидели на доске, азартно резались в подкидного дурака. Повсюду золотились в зеленой листве мандарины. Патриаршая тишина простиралась над этим миром.

Многое множество раз я подымался в эту невысокую горку, прикладывался устами и пил изобильную здешнюю тишину, ароматы, напитки... Бывало, сиживал за столом под открытым небом в саду у деда Тиграна. Дед спрашивал, кто такие, и тотчас забывал. Он нарезал помидоров, огурцов, луку, приносил на стол винограду, груш, яблок, слив, выставлял посуду с вином, с превеликой охотой, с улыбкой что-нибудь такое несвязное лопотал о своей жизни, пользуясь правом гостеприимного хозяина на внимание гостей; ничего иного не взыскав, денег за съеденное и выпитое не беря.

Я важивал, бывало, с собою на горку своих чешских, словацких, польских, венгерских друзей (дружбу заводили тут же, на берегу). Чехи, словаки, поляки, венгры делали свои социологические, экономические, психологические, этнографические и др. выкладки — на основе первого (и единственного) близкого знакомства с бытом простого советского крестьянина. Потом они выражали мне сугубую благодарность за предоставленную им возможность и т. д. и т. п. Они приглашали меня в Прагу, Братиславу, Варшаву, Будапешт (однажды я был приглашен в Бухарест); приглашения принимались, но воспользоваться ими всякий раз что-либо мне мешало, не хватало подъемной силы, мобильности, собранности; бывал я местами страстно-порывист, а местами вяловат.

Я перелез через тын, пролил при этом толику вина, самые сливки. Спустился ко рву-арыку, форсировал его, все внимание сосредоточив на банке с вином. Полиэтиленовая крышка соскакивала с банки, вино проливалось. Единственное средство ко спасению вина состояло в том, чтоб его пить.

Вдруг среди поля явился столичный поэт А. Я его полуузнал, А. полуузнал меня. Между двумя повстречавшимися в совершенно пустой предгорной долине членами Союза писателей сразу воцарилась какая-то осо-

бенная слиянность душ двух путников вдалеке от дома, двух русских людей. Внезапная душевная смычка свойственна русским людям. Впрочем, им свойственна и внезапная рознь...

А. показал мне перебинтованную, на перевязи болтающуюся почерневшую правую руку: ее клюнула рыба скорпион, когда А. рыбачил. Я протянул пострадавшему А. банку с вином. А. приник к сосуду, долго не мог оторваться. Мне не жалко было вина, будто я зачерпнул его в мною найденном роднике. Да так оно и было.

Потом мы встретимся в Москве в Центральном доме литераторов, но не узнаем друг друга. То есть узнаем, но что-то нам мешает сойтись и выпить из одного сосуда.

9

Бегаю по утрам, но не так, как бегают нынче у нас от инфаркта: не по пятнадцать, не по десять, не по пять, не по три километра, а дай бог ежели пробегу тысячу шагов — и хватит, и то хорошо. Потом хатха-йога, истома от сладостного физического утомления, летучий сон — и... творческая зарядка. Прежде чем приступить к серьезной своей поденной, договорной, авансированной работе, я записываю в тетрадку что-нибудь, что предлагает память или тут же на ходу схваченное...

Некоторые утренние пробежки-записи обладают новеллистической завершенностью, концы сходятся с концами, но редко; обычно захватывает стихия свободного самоизъявления, затягивает то в хляби натурализма, то в скучную фотографию, то в бытовизм, то в мелкотемье. А то коснешься таких моментов, о которых нельзя поведать даже близкому другу, даже стыдно читать самому...

Утренние записи в тетрадях — это мои тренировки, не для печати. Но... Далее делаю выпись из утренней тетрадки:

«Если я не напишу этого, я не смогу перейти к другому. Еще не знаю, на какой странице количество написанного начнет преобразаться в качество. Это, кажется, называется отстранением, эстетизацией переживаемой нами действительности. Будучи воспроизведена в слове, в стиле, в образе, действительность отстраняется от нас, мы становимся сторонними ее наблюдателями, тем самым снимая с себя вину... Кажется, об этом говорится у Шпенглера в «Закате Европы»...»

Велась и вечерняя тетрадь, потолще утренней — амбарная книга. В вечерней записи попросторней, под занавес: как прожит день — вершинный, в итоге бывших и миновавших, что главное в нем, в чем себя превозмог, чем поступился. Каков урок прожитого дня, какая осталась картинка-образ? В вечерней тетради тоже бывали этюды с натуры, написанные ритмизованной прозой, почти что белым стихом...

«Солнце садится. Солнечная дорожка на море. Под солнцем осиянная горушка. Солнцу не достичь лона вод. В расстоянии получасу до горизонта оно затучивается, зашторивается. И гаснет, гаснет дорожка. И вот уж только пятно на небе, проталина в тучах и столп свечения на воде. И что-то недужное есть в затученном солнце, и уже, уже дорога; теперь это отсвет, блик; солнце обретает черты человеческого лица, с усами, бровями, морщинами. И вот уже слабый свет в окошке над морем, дорожка погаснет, столп истончается, меркнет. Солнце садится в тучи. Завтра будет пасмурный день. Оконце растягивается вдоль горизонта, вот остался один мазок, пятно на сине-лилово-туманной завесе. Тучи недвижны, море чуть катит валы.

Прощайте, солнце и море! Вы были милостивы ко мне в эту осень...

От солнца остался один лепесток, порозовел верхний край тучевой завеси. Установилось время коротких сумерек»...

А что было раньше, ну, скажем, лет десять назад? Нельзя ли что-нибудь выбрать, «подготовить для публикации»? Увы, это трудно: да больно я самокритичен. Стопы тетрадей, утренних и вечерних, исполнены пафоса самобичевания. В больших количествах это скучно, непродуктивно. Отыщешь пейзажную зарисовку — и отдыхаешь...

«Синие тени под соснами на снегу. Зимой случилось наводнение, и Финский залив вышел из берегов. А мы и не видели и не знали. Море вывалило на берег оковы льдов, освободилось. Оно воздвигло на льду ледяные хребты. Мы с дочкой лазали по хребтам — вверх, вниз. Я стал вдруг счастливый, просто потому, что лазал по льдам вверх и вниз. От этого стали счастливыми мои ноги, и горло, и щеки — их обжигало ветром, солнцем. И я запел «Идем мы смело вперед, вперед! Нам ветер дует в открытый рот!»

Я написал два хороших рассказа, спасибо мне. Многие годы я укорял себя в праздности, в растрачивании жизни по пустякам, в зарывании таланта в землю. И это все поделом. Но сегодня синие тени на снегу под соснами, ледовый хребет у залива, и я написал два хороших рассказа. Часов шесть кряду спал крепким сном. И я помирился с самим собой — на короткое время. Не вполне помирился, но все же... Синие тени на мартовском снегу.

Написал два рассказа, а снова взяться писать не могу. Не знаю, как взяться, за что, — и страшно, что не хватит времени. Вот это появилось в мои годы: страшно мало осталось времени. Но куда оно делось? Совсем недавно его было так много, что оно мешало, в нем было просторно, опасно, как в большом пустом доме. А теперь стало тесно.

Склоняюсь к Антону Павловичу Чехову. Знаю, что он мне нужен именно сейчас. Читаю Чехова попеременно с Буниным. Чехов идет на два корпуса впереди. То есть я иду с Чеховым, а Бунин один. «Перекасти-поле» — в этом чеховском рассказе сказано о нашем насущном больном вопросе больше, чем наговорено всей ныне пишущей братией. Чехов не был доктринером, он не воздвиг гору догм, он не был мессией. Он свои мысли о том, что должно и что не должно (главное — что есть), не выносил «во главу угла» — рассыпал, засеял ими всю свою прозу.

Прочел «Старый дом» — тоска чеховская, у Бунина она невозможна. Тоска — умом, не плотью. Бунин если тоскует, то плотью.

Природа: воздух, море, ледовый хребет, песок на проталинах, белая, голубоватая пустота ледяного покрова на море — это тоже Искусство. Оно помогает мне отъединиться от «не я».

Я устал, мне теперь будет не 30, не 40, а 50. Нет времени что-либо наверстывать. Я шагнул за означенную Моруа «черную черту». Ну что же...

Я запряжен в арбу, затянута супонь на хомуте. Иду в упряжи, тяну арбу. Чего мне не жалко, так это меня самого. Я отношусь к себе без жалости, без снисхождения. Погоняю себя — в хвост и в гриву, в хвост и в гриву.

Видел черного большого дятла, желну. Он не такой нарядный, как меньший его собрат. У него всего-то украшений — красная крапина на маковке. И он какой-то несчастный. Он похож на шахтера, уставшего долбить своим инструментом угольный пласт. В его усердии есть надрыв, надсад. Он нездешний: его принесло каким-то ветром из лесной глухомани в дачный поселок. И клюв его слишком долог для букашек и личинок, живущих в стволе березы. Кажется, он поставлен не на свою работу. И я люблю черного дятла — желну. Он мне ближе, родственнее, чем типовой, обычный дятел, в бархатных красных штанишках.

Было, наверное, часа два дня, когда ко мне пришла радость жить. Снизошла на меня. Вначале была лодка, я сел в корму за весло, и женщина, хозяйка лодки, стояла в корме, была добра ко мне, хотя и строга, то есть не строга, а серьезна, ибо жизнь ее вся — серьезна; у нее нет ни времени, ни навыка для созерцательного благодушия; ее время — для полезного действия. Вынужденное бездействие, — покуда я греб, а она стояла в корме, — все равно не давало ей права на безмятежность. Женщина переживала за меня: я не успеваю к дневному автобусу, до вечернего еще полдня; потерянные полдня представлялись ей слишком большим капиталом; она прикидывала, как можно мне их не потерять: «Берегом иди, там тропинка есть, а потом прогоном. На дорогу выйдешь, машины ходят...»

Мне нравилось грести, недавно прошел дождь, небо омылось; мне был не нужен автобус, чего не могла понять хозяйка лодки. Главное мое дело в этой жизни — именно жить, независимо от расписания автобусов.

Я пошел по тропе, по мокрой траве, краем овсяного поля; радость жить нарастала во мне, ноги крепко, до удивления крепко, держали меня и несли — тропею, прогоном. Вынесли на асфальтовое шоссе; я хаживал по нему до асфальта, до автобуса — по проселку. Перешел на ту сторону, погрузился в беломощный бор. Вначале грибы не попадали — и вдруг попали, белые, лучшие грибы. Я возблагодарил того, кто посылает грибы — за эту милость. Чувство горячей благодарности переполняло меня, именно горячей, именно благодарности. Я целовал каждый гриб в маковку, хотя в корешке его, да и в шляпке, могли быть черви.

Красота, совершенство гриба внушали мне полную радость, страх как-то обмануться в ней. Радость длилась, покуда гриб рос, но пропадала с первым прикосновением к нему. Она требовала себе продолжения, но не получала. Гриб, упрятанный в полиэтиленовый пакет, переставал быть одушевленным существом (красота имеет душу); новый гриб не попадался, не находился. Но сила в ногах, свежесть в душе не оставляли меня.

Набрав грибов ровно столько, сколько мне хотелось набрать, я вышел на шоссе. Проносились машины, голосовать мне как-то было неловко. На грунтовой дороге, вот на этой же самой, неголосование показалось бы странным. Теперь тут ходил автобус; сообразуйся с его расписанием и дуй, не болтайся под ногами у быстрых. Я бойко шел по новой дороге, навстречу попадали огромные машины, груженные песком. Было свежо, прохладно после дождя, голубело небо, сияло солнце, середина августа дышала осенью, блестела вдалеке река. Вся местность стала иная в сравнении с той, какую я знал в прошедшие годы.

Автобус пришел почти пустой, и это было особенно славно: так славно ездить в полупустых автобусах, поездах, летать в самолетах: тогда пассажиры, не притиснутые принудительно друг к другу, обретают в себе людей, становятся интересны друг другу. Нельзя разглядывать соседа, прижатого к твоему боку. Но можно исподтишка присматриваться к сидящим поодаль от тебя, едущим вместе с тобою; они интересны тебе.

Ходил в парк, кормил белку орехами. Малость стыдно: такой большой мужик занимается тем, что мило детям. Но белка сбегала по стволу ясеня ко мне на ладонь, взяла орешек, продвинулась по моей руке, как по ветке, и стала орешек грызть. У нее пятипалые лапки, приспособленные для того, чтобы держать орех, круглый орех. Белка забралась мне на плечо, я ходил вместе с ней, она не боялась меня. Но когда я попытался погладить ее, она метнулась прочь; тельце у нее сильное, стремительное, шерстка скользкая.

Умер Вася Шукшин, Василий Макарович. Закон отбора действует. По этому закону тот, кто выходит из ряду вон, выбывает. Ряд подравнивается.

Вася Шукшин высовывался из ряду на голову, хотя был среднего роста. Он мог сыграть Стеньку Разина, и его Стеньку боялись так же, как и живого Стеньку, те, для кого был Стенька опасен. Вася был Стенькой Разиным — в искусстве. В искусствах. Он обрек себя на казнь и ничего не сделал, чтобы избавить себя от казни или хотя бы отсрочить казнь. Он ее торопил. Он репетировал свою казнь, сыграл ее, наконец, заставил поплакать по себе своих близких — и многих, многих просто русских людей. Он сам был просто русский. Не такой русский, как Вася Белов, — сибирский. Но — русский. И ему хотелось стать всецело русским — и добросердечным хитроумным вологодским мужичком, и чалдоном, и казаком-вором Стенькой.

И ему хотелось поразить мир тем, что есть в этом мире нечто без берегов, без краю, являющее себя в роковую для мира минуту — русский характер. И он торопился.

Умирают старые люди, их жалко, как жалко листьев, кленовых листьев, которые падают — и кончается красота осени, приходит безобразие предзимья. Но листья должны упасть, вырастут новые листья. Таланты тоже умирают по чьей-то воле, не успев отдать нам свой кислород. Они перестают быть, на их месте ничто не возрастает. Вася Шукшин не достроил своего дома, только-только возвел стропила. В доме его нельзя жить.

Как нам — без Васи? Нельзя ничем утешить себя, хотя уже готовы утешительные, успокаивающие пилюли: «талант не умирает», «остается воля и страсть»... Это не правда, хотя это нужно. Это усыпляет даже меня, хотя моя бессонница жестока. Остаются живыми неталанты.

Сегодня плохо. Видимо, поднялось давление — артериальное — и опустилось атмосферное. Сажу за машинкой, то и дело роняю голову. Голова не держится. Не могу писать. Порываюсь: надо то и это, а не могу. Вчера поспорил с Ф. Тот надулся, напыжился, он не любит Шукшина. Он говорил:

— Я не понимаю, что хотел сказать Шукшин о Стеньке Разине? Он что, оправдывает его за кровопролитие? Для меня он — убийца, преступник. Убил человека, значит, убийца, то самое. Вот так.

Я возразил Ф.:

— Он хочет понять и объяснить Стеньку как человека, как себя самого...

— Нет! — резал Ф. — Этого я не могу принять. Убийца, преступник... Это я отрицаю.

— Но тогда и Раскольников надо зачеркнуть и всего Достоевского...

— Да, то само, и Раскольников! Убил, значит, преступник!

Измерил давление: можно жить. Поют синицы. Светит солнышко. На ветвях деревьев капель.

10

В студенческие годы, живя на Гангутской улице, я бегал в Летнем саду. Бывало, выйду из-под арки со двора, увижу в перспективе улицы Летний сад: он близко, но надо еще пробежать по Фонтанке до Самсоньевского (Пестеля) моста — и через мост; сразу за мостом перемахнуть через решетку Летнего сада; по веснам сад надолго закрывают на просушку и по осеням закрывают. Я бегал в Летнем саду круглый год, даже зимой, по глубокому снегу натапывал лаз в боковой, ближе к Лебяжьей канавке, аллее. В начале ее у пруда стояла статуя Антиноя (впоследствии ее перенесли на противоположную сторону Летнего сада к знаменитой решетке, возле которой Каракозов стрелял в царя Александра II, но промахнулся).

Тут сразу надо заметить, что бег, даже медленный бег трусцой, рассеивает внимание бегуна, приучает его воспринимать увиденное на бегу бегло, не останавливаться, на увиденном, не доходить до сути. Бегуна захватывает страсть бега, ёкающая селезенка отдается в нем праздничной трелью барабана, глаза ему застит испариной легкого, свежего, теплого пота. Бегун, пробегая по Летнему саду, воспринимает античную, в классических пропорциях исполненную фигуру Антиноя в общем и целом, не успевая подумать о том, кто таков Антиной.

И я не думал, то есть каким-то верхним чутьем (боковым зрением) вычислял Антиноя как анти-Ноя. На бегу мнилось, что был старик Ной, построивший Ноев ковчег во время потопа, и, как бывало при всех значительных начинаниях, нашелся ему супротивник — анти-Ной. Во времена моей юности, в конце сороковых — начале пятидесятых, отрицающая частица «анти» была широ-

ко употребительна в обиходе. Жизнь в ту пору была остродиалектична. Да и теперь...

Я пробегал тогда каждое утро пять километров в Летнем саду — где же тут было вникнуть в номенклатурные данные Антиноя (хотя изучал в университете историю античного мира). По прошествии многих лет, когда пробежки мои многократно укоротились, я отыскал в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, во втором томе, «Антиноя» и выяснил, что...

У Антиноя были «...короткие волнистые волосы, ниспадающие на лоб, густые темные брови, полные губы, необыкновенно развитая (надо полагать, мускулистая) грудь, ...вдумчивое меланхолическое выражение лица.

...Его глаза с приятным овалом всегда широко раскрыты, его нежный профиль обращен в сторону; в очертаниях его губ и подбородка есть нечто поистине прекрасное...»

У Брокгауза и Ефрона про Антиноя сказано также, что он родом из Клавдиополя в Вифинии, что был он «любимец и постоянный спутник» римского императора (II век нашей эры) Адриана. История сохранила добрую память об императоре Адриане: он покровительствовал наукам, изящным искусствам; в честь Адриана назван основанный им город — Адрианополь. Любимец и постоянный спутник Адриана Антиной однажды в припадке меланхолии бросился в Нил. Скорбя по нему, император повелел ваятелям своей обширной империи воплотить образ возлюбленного юноши в камне и бронзе как божество.

Более подробно о дружбе Адриана с Антиноем можно узнать из романа Тэйлора «Антиной», переведенного с английского на русский, изданного в России в конце прошлого века.

Да, так вот... Я начинал пробежку от Антиноя, вел счет шагам; мой шаг равен метру — измерено, точно; бежал вдоль Лебяжьей канавки, сочувственно взглядывал на Психею, склонившуюся над спящим Амуром... У аллегорической композиции «сладострастие»: нагая красавица, крокодил, куропатка — я замедлял свой бег, разевал, как говорится, варезку. Далее — козлоногий сатир с неубывающим (даже в ненастную погоду) энтузиазмом обнимал прелестную вакханку. Я мельком взглядывал на поясные портреты Александра Македонского, Юлия Цезаря, добегал до решетки, выруливал на главную аллею,

мысленно приветствовал богиню утренней зари Аврору, нагую, озябшую за ночь, с очень покатыми плечами. Невольно, с замиранием сердца, притормаживал подле Сатурна, пожирающего детей...

Согласно мифу дети Сатурна бесплотны: Сатурн (Хронос) — бог времени, отец дней, месяцев, лет. Он пожирает своих детей, ему предсказано Роком: дети лишат его власти. Времени предписано убивать дни, месяцы, годы; такова роковая функция Времени. Миф очеловечил Сатурна. Скульптор изобразил его злобным, плотоядным старцем, вонзившим острые зубы в нежную плоть пухлого младенца...

Каждое утро во время пробежки по Летнему саду я совершал экскурсию чуть не по всей мифологии Древней Греции, Рима и по искусству, истории той эпохи. Я видел женственную фигуру Ночи, окутанную звездным покрывалом, с венком из цветков мака на голове, с летучей мышью на поясе и ушастой совою у ног, стройного юношу — Полдень, — со знаками Зодиака на перевязи, с пучком солнечных лучей-стрел в руках, видел Закат — старика с диском заходящего солнца, с кустом цветущего дурмана у ног.

Меня встречал, провожал невидящим, но значащим, белесоватым взглядом из глубины веков не подобревший со временем римский император начала нашей эры Нерон. Неподалеку от сына нашла себе место в главной аллее Летнего сада и мать Нерона Агриппина.

Правосудие — полногрудая, ни во что не одетая дева, — опиралась на меч, переглядывалась с Милосердием, тоже женского рода, юным, пышнотелым, с раскрытой Книгой законов в руке, а в Книге надпись: «Правосудие преступника осуждает, Милосердие же милость дарует...» Вот так-то. Тут же, то есть по ходу бега, Истина возложила руку на шар земной, вперила взор в Книгу мудрости. Искренность погрузила пальцы в гриву льва: добродетель, нашла опору в величии души...

Девы-аллегии обладают в равной мере девыми совершенствами, но они не похожи одна на другую, у каждой собственная стать, как у живых наших дев... Мореплавание облокотилось о штурвал, в руках у него... ну конечно, компас, географическая карта. Свиток карты развернут таким образом, что видна северная часть Европы; в том месте, где заложен Петербург, — солнечный диск... Архитектура держит в руках чертежный инстру-

мент. Богиня судьбы и возмездия Немезида с пучком прутьев розог, с карающей секирой; Немезида неумолима, но она неподкупна; в изножье ее рассыпаны золотые червонцы...

Мужчин немного в ряду вершителей человеческих судеб; главные дела древние греки и римляне возложили на покатые женственные плечи богинь. Но за богинями нужен догляд, в верховном руководстве необходимо мужское начало; это древние понимали: Рок-прорицатель — мужчина, с Книгой судеб в руке, пред алтарем, увитым дубовыми ветвями. И — выше всех, ближе всех к солнцу, сам прекрасный, как солнце, — бог света, жизни, исцелитель людей, покровитель образования и искусств — Аполлон. Напротив его родная сестрица богиня охоты Диана...

Если бы я не бегал в свои молодые годы так резво (пять тысяч шагов отмахивал за двадцать минут), я бы много чего мог прочесть на лицах все повидавших божеств. Но я пробегал мимо скульптур с юношеской безоглядностью, безотчетностью, полагая, что все у меня впереди, где-то там, докуда надо скорей добежать, изодня в день наращивая скорость, выносливость, крепость ног, силу сердца... Я не вглядывался в статуи, не старался проникнуть в суть мифов и аллегорий — спешил... Однако что-то во мне оставалось, западало на душу, требовало остановки, возвращения, ответа на вопрос. И вот приблизилось время остановиться...

Я это к тому, что пробежки по утрам не только для того, чтоб убежать от инфаркта; они дают нам шанс заглянуть в лицо вечности, может быть, и не увидеть вначале, но после лицо это явит себя...

11

В зимнюю пору статуи в Летнем саду заключены в ящики-будки. Всякий раз ранним летом, после просушки сада, явление на свет божий не потраченных сыростью и студеностью богинь доставляет немало радостных чувств и волнений.

Хотя, признаться, бывало и жутковато бежать сквозь строй бело-гипсовых изваяний, как все равно по кладбищу мимо надгробий или по пустому музею.

Летний сад населен не только гипсовыми фигурами, но и тенями прошлого. Пробегая мимо летнего дома-

дворца Петра Первого, я заглядывал в черные окна, и что-то чудилось в них, за ними. Мнилось, что самый долговязый царь из когда-либо царствовавших царей что-то такое позабыл в своем доме, очень нужное ему — там... и вот ищет в потемках...

Иногда в перспективе сада меж кленов, лип, ясеней, статуй вырисовывалась невысокая стройная фигура в черном сюртуке, узких брюках, цилиндре. И — падало сердце: Пушкин... Я судорожно припоминал, как пароль, как билетик на право посещения: «И в Летний сад гулять водил...»

Я бегал не прямо — по синусоиде, чтобы повстречаться глазами с какой-нибудь из богинь: с мудрой Минервой, с увенчанной цветами Церерой, с юной голенькой нимфой воздуха. Статуи, точно, глядели. Они о чем-то разговаривали, при виде незваного гостя умолкали, ждали, когда он сгинет, чтобы продолжить обмен мнениями.

Старик Закат, бывало, насупливал брови, Сатурн однажды залязгал зубами. Так что страхов хватало...

Я совершал пробежки в Летнем саду (по 5000 шагов) в общей сложности лет, наверное, десять, разумеется, с перерывами, отлучками. Если предположить, что двести дней в каждом году у меня начинались с пробежки (остальные сто шестьдесят пять выпадали по разным причинам), то выходит, что я пробежал от Ленинграда до Владивостока...

Чего не бывало на столь длинном пути. Однажды в хлюпающих потемках ненастного ноябрьского утра я повстречался в аллее с коренастым, почти квадратным черным человеком (как все кошки в потемках серы, так все бегуны раноставы черны). Поравнявшись со мной — своим сотоварищем побегу, — черный человек приостановился, по-змеиному прошипел: «Спортсмен...» — и еще добавил один многозначимый, универсальный в непечатном словарном запасе эпитет, в данном случае выражавший крайнюю степень презрения ко мне (тоже черному, безымянному бегуну). От неожиданности я присел на пятки. Мой неприятель развернулся, приблизился ко мне, я увидел его раскаленные злобой глаза... «Вот как дам сейчас», — сказал бегун. Он был весь по завязку налит дурной силой, ищущей себе выхода наружу. Мне сделалось как-то скучно, сирó. «Почему? За что?» Мой неприятель стоял на расстоянии, достаточном для нане-

сения удара — кулаком в поддых. Именно в таком положении находился его кулак — ударить врага в поддыхало. Но почему же — врага?.. Я почувствовал мгновенно прихлынувшую тошноту, точно удар уже нанесен. Но черный человек в байковом лыжном костюме — я успел разглядеть — повернулся и побежал по направлению к Антиною. Я побежал к Амуру и Психее.

Назавтра, в ту же самую пору, в том же месте, между Антином и склонившейся к Амуру Психеей, заранее приготовившийся к встрече, на что-то решившийся, то есть смилившийся с неизбежностью быть побитым: побить байкового крепыша я понимал, что не смогу, да и не было никакой охоты... Завидел злыдня и первым заорал: «Физкультурник...» И добавил то самое многозначное непечатное словечко, которым сам был вчера обласкан...

Байковый, черный что-то прорычал в ответ, но никаких действий не предпринял, пробежал мимо хорошим спортивным шагом...

Потом прошли дни, месяцы, годы (их поглотил бог Времени Сатурн-Хронос). Как многие горожане, я совершил передислокацию внутри города, то есть, проще сказать, обмен (дела по обмену возлагаются на жену). Свои пробежки перенес в аллеи парка Лесотехнической академии — просторного, тенистого, свежего, как роща, с цветущей по веснам черемухой, сиренью, в начале лета — рябиной, каштанами. Первым попавшим мне навстречу в новом месте бегуном оказался тот самый черный, все такой же коренастый, в байковом лыжном костюме по моде пятидесятых годов, такой же сумеречный, распространяющий вокруг себя те самые флюиды, какие распространяет, должно быть, вылинявший, обеззубевший лев, трусая по саванне, поглядывая на резвящихся, не прячущихся от него травоядных.

Узнал ли он во мне — пополневшем — вихлястого юнца из Летнего сада? Надо думать, узнал. Состарившийся лев, поди, узнает во взрослом жирафе не съеденного им в свое время, когда были зубы, жирафенка... Впрочем, кажется, львы не едят жирафов. Взрослый жираф оглоушивает копытом хищника так, что тот валится замертво... Байковый мой супротивник никогда не глядит в мою сторону, но что-то такое исходит от него — силовые линии поля... Когда он присутствует в парке — он приходит каждое утро в шесть тридцать, — я стараюсь бежать как следует, как учили в юности тренеры в легко-

атлетической секции: ставить ногу на пятку, отталкиваться носком; даю голени свободную отмашку, подаю вперед тазобедренный сустав, округляю плечи, полусгибаю руки в локтях. Шлепать по-разгильдяйски, как шлепают квартиросъемщики близлежащих домов, в присутствии сумеречного старого спортсмена мне почему-то неловко.

Пробежки по утрам настраивают меня на оптимистический, жизнеутверждающий лад (хотя, как я уже говорил, я довольно-таки самокритичен). Умывшись потом-росою, говорю себе: «Господи, до чего же хорошее дело рано утром бежать по аллее парка, здороваться с восходящим солнцем или прощаться с загостившейся на небе луной».

12

Весной в нашем парке цветет черемуха. Много черемухи, белая кипень, буйство. Черемуху ломают на букеты, и жалко ее, на всех не хватит. Жалко, что отцветает черемуха, вянет. Праздничное роскошество весеннего цвета несет в себе мысль об утрате, скоротечности времени. Но вслед за черемухой зацветает сирень, рябина. Острота весенних красок, запахов, ощущений растворяется в жарком млении лета. Весною чувство утраты смягчается предвидением летнего благоденствия. Осенью парк опять расцветает. Листья черемух наливается молочной белизной, клены кидают на черную мокрую землю радужные, золотые червонцы — всем хватит, всего не обрать.

Красота осеннего парка избыточна, непомерна. Золотые фаланги ясеневых листьев как ризы; сквозь них глядит на тебя ясноокое синее небо. Краски предельно яркие. Занялись липы, объаты огнем. Осенний парк, осенний лес наводит на мысль о всеобщем костре, о кержацком празднестве самосожженья. Пламя не знает пощады и милосердия. Нет надежды спастись. Все сгорит, и останутся пепел и слезы. Осенью в парке, в лесу чувство утраты сильнее, чем в пору весеннего цвета.

Осенняя красота преходяща. Хочешь запечатлеть ее, сохранить в себе высоту и восторг. Но дунет ветер, названный листобоем, дрогнет береза, и потечет наземь лист...

Весною наш парк наполняют любовные пары. Число

их растет в пору вечерних сумерек, часов эдак в десять, одиннадцать, в полночь. Пары сидят на скамейках, скамеек на всех не хватает. Влюбленные стоят, прислонясь к деревьям, деревьев хватает на всех. Сумерки редуют день ото дня, выбеляются ночи. Любовь становится видима всем, проступает на фоне весенней зелени. Ближе к осени любовь опять затаивается, погружается в темноту. Только девичьи ноги светлеют, обозначая пристанища любви, да пыхают папиросы.

По утрам в нашем парке прогуливают собак и делают зарядку. На утренней зарядке проявляются свойства натур заряжающихся: скромные, застенчивые люди скрываются за купами дерев, в кустах жимолости и бузины, в кленовом подросте. Те же, кто почитает свою персону за нечто значительное и самовитое, достойное обозрения, приседают и прыгают на широких аллеях, на открытых площадках.

Так же ведут себя и влюбленные в парке: иные занимают скамейки в первых рядах партера, заключают друг друга в объятия у всех на виду. Иные тащат пудовые скамьи под защиту лиственного полога. Впрочем эта параллель между заряжающимися и влюбленными — чисто внешнего свойства. Тут есть нюансы. Быть может, именно самые скромные из влюбленных занимают скамейки в первом ряду. Чтобы кто-нибудь не подумал, что в их любви есть нечто такое, что надо спрятать от глаз...

Под нашим парком проложены коммуникации подземного городского хозяйства. Со временем грунт в парке стал несколько проседать. Деревья как бы повылазили из почвы, привстали на сухожилиях корней. Каждый год в парк привозят землю, наращивают уровень, горизонт.

Вечерами по парку бегут мужчины среднего возраста — трусцой, с мыслью спастись от инфаркта. Зимой здесь бегают на лыжах студенты, школьники, старики.

Аллеи в нашем парке имеют названия, аллея Орлова, аллея Морозова. Орлов был ученый-лесовод, профессор Лесного института, и Морозов был профессор; известно, что в научных взглядах профессоров имелись противоречия, даже антагонизм. Названные их именами аллеи неподалеку одна от другой. На дверях одной из аудиторий в нынешней Лесотехнической академии висит табличка: «Здесь читал лекции профессор Г. Ф. Морозов». Это было в начале нашего века.

Профессор Морозов жил в парке, в длинном, одноэтажном строении — профессорском доме. Дом сохранился до наших дней. Он просел, состарился, одряхлел, ему более ста лет. Его бы снесли, конечно, очистили место под кооперативное строительство, если бы он оказался за чертой парка. В парке морозовский дом хорошо укрыт стволами ясеней, вязов, кустами сирени и бузины. Можно пройти по аллее Морозова и не увидеть дома, настолько он вжился, врос в землю, стал частью паркового интерьера.

И что удивительно, в доме кто-то живет. Едва ли это профессора. Но живут. Во дворике бывшего профессорского дома натянуты веревки, сушится белье — цветные пятна в зелени парка.

Бывало, по аллее Морозова проходила седая женщина, сохранившая легкость и стройность стана, живость во взгляде. Это — дочка профессора Морозова Ольга Георгиевна. Во времена ее юности ясени в этой аллее были юношами, липы — девушками. Коли есть у деревьев память, то, может быть, помнят они слова первой любви, сказанные профессорской дочке вечерней, весенней порой, вот в этой аллее.

Ольга Георгиевна в ту пору писала книгу о своем отце — основоположнике русской лесной науки. (Книга увидела свет после смерти ее автора.) Писание книги — долгое дело. Оно понуждает к затрате памяти, сердца. Но также и обновляет память и сердце. Чтобы написать книгу о молодости, надо вспомнить, как это было, воссоздать внутри себя молодость. Надо побыть молодым, прожить еще раз свои прежние годы.

Ольга Георгиевна писала книгу об отце и о себе самой, потому что в детстве и юности она понимала отца через саму себя; семейный круг вращался подобно гончарному кругу, она вырастала на этом кругу. Отец был двигающей осью круга, от него исходила энергия, сила жизни. Она ощущала ее в себе. Когда энергии накопилось довольно, дочь сошла с семейного круга на общежитийский круг, совершила круговращение лет, дала жизнь детям, теперь нянчит внуков. Свою работу над книгой об отце Ольга Георгиевна понимала как долг перед данной ей, прожитой жизнью. Перед людьми.

Ольга Георгиевна жила в коммунальной квартире, в самом людном районе города, в старом доме, из которого каждый год уезжают молодые, поселяются в но-

вых домах, в новых кварталах, на бывших пустырях или среди парков. Молодые переселяются. Старые остаются в старых домах, в многоячейных коммунальных жилищах. Свою квартиру Ольга Георгиевна называла «воронья слободка». Ее комната — крайняя в длинном коридоре. На стенах комнаты портреты ее детей: один — кандидат наук, физик, другой — профессор, микробиолог. Она могла, конечно, расстаться с «вороньей слободкой», переселиться к младшему сыну или к старшему сыну. Но ей нужна была хотя бы малая толика одиночества; она писала книгу об отце.

«...И вот на кафедру взошел человек небольшого роста, с окладистой бородой. В его внешности не было ничего примечательного, кроме слегка раскосых глаз с задумчивым и рассеянным выражением. Он окинул светлым взглядом притихшую аудиторию и в полной тишине произнес первые слова: «Лесоводство — дитя нужды...», а затем, как бы в раздумье, шагая назад и вперед вдоль кафедры, стал развивать свою мысль:

«...Пока леса было много, отсутствовала забота о неистощимости пользования им, когда его стало мало или появилось опасение за возможность истощения лесных запасов, возникает великая и счастливая идея постоянства пользования лесом, которая проникает все лесоводство и составляет его душу и самую характерную черту.

Если б не было болезней, не было бы и медицины, не было бы и врачей; если б не было недостатка в лесе или возможности такового, то не было бы и научного лесоводства, не было бы и лесоводов».

В речи профессора не было красивых фраз, ни жестов, ни острословия. Слова звучали так же просто, как прост был и сам человек, с типичным лицом русского ученого, одухотворенным мыслью и верою в свое дело».

Это — цитата из книги О. Г. Морозовой о своем отце «Одна судьба». А вот другая цитата — из книги Г. Ф. Морозова «Учение о лесе».

«...Лесное хозяйство характеризуется постоянством пользования. Последнее в лесу достигается соблюдением двух начал: во-первых, рубки должны быть так организованы, чтобы во время их производства или следом за ними возникал новый лес, иначе говоря, чтобы рубки и возобновление были синонимами, во-вторых, чтобы в лесу, подчиненном хозяйству, были налицо разнообразные участки в возрастном отношении, т. е. чтобы бы-

ли одновременно и молодняки, и средневозрастные насаждения и приспевающие и спелые...»

Профессор Морозов понимал лес, как семью человеческую — ячейку общества: чтобы под благотворной сенью взрослых деревьев поднимались бы дети и внуки и все бы дружно жили сообща, как в профессорском доме, в парке Лесного института. Рубку леса он понимал как жатву; жатва не изнуряет поле, за жатвой следует сев.

По утрам я бегал в парке, по аллее Морозова, мимо старого профессорского дома... Здесь мы и повстречались с Ольгой Георгиевной. Не могли разминуться. Ольга Георгиевна называла меня, как в старину: «Мой дружок».

По профессии она — художница. В блокаду была санитаркой в военно-морском госпитале в Ленинграде. Носила погоны, имела военное звание: старшина первой статьи.

13

«...Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Когда дворники маячат у ворот. Посмотри и ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет...»

Эта песенка о чем-то очень важном в человеческой жизни, об основной составляющей жизнь единице ее измерения — дне. В рано начатом дне, пусть и не самом лучшем, не самом счастливом, можно найти минуту для встречи с вечностью или еще с чем-нибудь для чего-то нужным тебе, сверх программы, — чтобы почувствовать праздную радость пребывания в мире...

Встань утречком пораньше, вбеги в день — трусцой или спортивным шагом; день что-нибудь хорошее подарит тебе...

Однажды кривая бега по жизни привела меня в древнюю столицу Японии Киото.

В Киото есть дворец японских императоров, построенный в XVII веке. Дворец задуман и выстроен в истинно японском духе и стиле: с плавно вогнутым абрисом крыши; обнесен стеною. У входа стоит извечно на японский манер улыбающийся полицейский, экипированный всеми чудесами японской радиоэлектроники. Дворец — посреди огромного парка, в окружении гигантских криптомерий, одновременно похожих на кипарисы и

на кедры (больше на кедры), на фоне подступающих к древней столице Японии мягко очерченных синих гор.

В небольшой стране Японии, трясущейся над каждым клочком убывающей, как шагреновая кожа в романе Бальзака, в наш индустриальный век землей, мне — советскому туристу — привелось пробежаться по аллеям императорского парка в Киото, вдоль стен дворца. Аллеи там каждая шириною с Невский проспект; перспектива аллеи, мнится, уводит к самому горизонту. Аллеи посыпаны мелкой щебенкой, прокатаны до абсолютной ровности...

Я бежал по парку японских императоров в Киото; солнце встало по-восточному рано; оно было такое же, как у нас. Птицы пели те же песни, что поются нашими птицами в парке Лесотехнической академии в Ленинграде утром раннего лета (в Летнем саду певчих птиц извели вороны; об этом я еще расскажу). То есть песни — мотивы и звуки песен — у киотских птиц, конечно, иные, чем у наших, но настроение птичье одно.

В парке было пустынно, бежалось легко. Меня догнал бегун неапонского вида: белокожий, чуть загоревший, светловолосый, сероглазый, в трусах и кроссовках, юный, тонкий, высокий. Я бежал с таким расчетом, чтобы бежавший сзади бегун догнал бы меня. И у него был такой же расчет; я чувствовал: догоняет. Других бегунов, кроме нас двоих, в императорском парке Киото не было видно. (Вообще-то японцы — бегающий народ; даже на самых оживленных и загазованных улицах Токио в любое время дня можно приметить бегущих — в трусах и майках, с японской невозмутимостью на лице.)

Догнав меня, бегун радостно помахал мне рукой, узнав во мне такого же, как он, неапонца. Это в Японии важно, да и в любой чужестранной стране — встретить себе подобного, как говорят наши фантасты, «землянина». Японская нация особенно слитна, беспримесна, не переболтана, как другие; в нее нельзя затесаться человеку чужой масти...

Юный бегун, догнав в императорском парке Киото такого же, как он, бледнолицего бегуна, приветствовал его взмахом руки и улыбкой. Я отвечал ему тем же. Мы оба разом остановились. Я первым спросил у бегуна, откуда он родом. Бегун отвечал: «Юнайтед стэйтс оф Америка. Джорджия». Он задал мне тот же вопрос.

Когда услышал ответ, вдруг расцвел, стал всего меня как-то ласково оглядывать, будто возлюбленную на свидании, сияющими юными глазами. Он переспросил: «Ар ю фром Рашиа?» — «Йес, оф кос», — заверил я бегуна из Джорджии. И тогда юный янки, догнавший меня на аллее парка возле дворца императоров в древней столице Японии Киото, протянул мне руку и не просто сказал, а пропел идущую прямо из сердца фразу: «Ай лав Рашиа».

Мы опять помахали друг другу и побежали каждый своим путем.

«За что же этот американский юноша из Джорджии любит Россию?» — задумался я. И тут же нашелся ответ. Сам собою родился — из моей же любви к России. Ну да... Разве можно ее не любить? Хотя бы даже издалека, из Джорджии...

14

Вороны — долгожители, это известно. Впрочем, правильнее было бы сказать, долгожительницы, поскольку ворона все-таки женского рода. Вóрон — это другая птица, у нее и перо другого цвета, чем у вороны. И вóроны не живут в городах, в городах живут только вороны.

Знаю, тут меня могут оспорить. Оторвался от писания, припоминаю, а так ли... И так, и не так. Однажды мне выпал случай ранешенько утром, чуть свет, оказаться посреди японской столицы Токио. Город еще был безлюден и тих. На узких, довольно-таки прямых и очень продолговатых улочках Гинзы (так называется одна из центральных частей Токио) благоухали выставленные с ночи рестораторами баки с не доеденной вчера снедью. Ресторанов и ресторанчиков в Гинзе уйма. Вечером я видел, как господа японцы кланялись в пояс провожавшим их у подъездов ресторанчиков женщинам в кимоно. И женщины тоже кланялись господам японцам. Возможно, то были гейши, не знаю, в ресторанчики носа не совал, мне там нечего было делать при моих туристических средствах. Про гейш читал в книге Гранина «Сад камней» и в книге Овчинникова «Ветка сакуры».

Так вот, в час, предшествующий пробуждению японской столицы — Токио, как и вся Япония, просыпает-

ся рано, — в благоуханный (чтобы не сказать вонючий), зябкий, смутный час междущарствования городом владеют черные вóроны. Это — час их пиршества, торжества самовластья. Вóроны доедают не съеденное вчера людьми, лоснятся от сытости, наглеют, не уступают дорогу одинокому прохожему неяпонцу; в их клетотанье звучит наглость, сытость и еще что-то нептичье, какой-то звериный рык.

Число черных вóронов, слетающих в предрассветный час на торговые улочки Гинзы, соизмеримо разве что с числом японских людей, вскорости тут побегущих, — невообразимое множество, тьма-тьмущая. Когда гуляешь по Гинзе на границе ночи и дня, в глазах бывает черным-черно от вóроновой черноты, уши вянут от их клетотанья, и — радуешься, что хотя и загажен, но не заклеван этими жуткими тварями. Овладевает тобою какое-то чувство конца света — Апокалипсиса... Будто с людьми покончено в последней войне, на землю сошло царствие черных вóронов...

Но это в Японии, в Токио, у нас другое, в наших-то городах. У нас — вороны, не столько черные, сколько серые, привычные нам соседки (есть и соседи), в той же мере, как кошки, собаки, голуби, воробьи. Да и некогда нам ворон считать. Их карканье еле различимо в общей шумихе (шум мужского рода, шумиха женского). Хотя... Старый вóрон мимо не каркнет. Всякому бы вóрону на свою голову каркать. Так это о вóронах...

Нам хорошо известно, что вóрон не каркает, а издает горлом и клювом округлый звук «клок-клок». Помните, читали, как нас предостерегал в своих книгах Виталий Валентинович Бианки: не путайте ворону с вóроном, это вороны каркают, а вóроны — никогда?..

Народ-языкотворец не то чтобы ошибался в своих пословицах... Нет, он не ошибался! Просто народ не столько следовал букве орнитологии — науки о птицах — сколько находил общее в птичьем и человеческом житье-бытье. Выискивал символы в птичьем мире — для выявления человеческих свойств и поверий. «Черный ворон» — не определение вида или подвида в отряде пернатых, а символ, предвестник беды.

Однако вернемся к нашим воронам-горожанкам-долгожительницам. Чем долее сам ты живешь на свете, тем больше накапливаешь в памяти мимолетных впечатлений; каждая вновь обретенная замета соприкасается с

тем, что было замечено прежде. Помню, в Летнем саду пели птицы, в соловьиное время тачали свои узоры сильноголосые соловьи. Птицы пели, радостно щебетали на берегах Лебяжьей канавки, Мойки, в куртинах сирени на Марсовом поле, в старых липах Михайловского сада. А нынче...

Каждое утро я прибегаю в Михайловский сад (смолоду жил по ту сторону Фонтанки, бегал в Летнем саду, нынче живу по сю сторону, бегаю в Михайловском) — и тихо, пусто в кронах деревьев, только гравий шурстит под ногами бегущих. Одни бегуны, как и я, постарели, выходят на финишную прямую, другие еще только приняли старт. Бежишь и краем глаза видишь привычный пейзаж, давно знакомых тебе бегунов (с каждым годом все больше в аллеях бегуний), повсюду привольно живущих ворон. Одни вороны летают, другие сидят на ветках, на спинках скамеек, прыгают по аллеям, важно прогуливаются на зеленом ландшафтном лугу против Михайловского дворца.

В урочное время, в раз навсегда назначенный час на луг слетаются все вороны с округи, возможно, и с Марсова поля, и из Летнего сада. Тогда ухоженный зеленый ковер луга становится черным. Хотя наши вороны серы, но есть, есть в них вóронова чернота. Какие они поднимают вопросы на своих слетах, мы никогда не узнаем. Надо думать, заходит речь и о нас с вами; сосуществование с родом человеческим вопрос вопросов для вóронов и ворон.

Пернатых невороньего племени вороны извели под корень, в зародыше: склевали птичьи яйца в гнездах. Какие дальнейшие планы ворон, мы не знаем. Их ежедневные слеты-планерки на лугу у Михайловского дворца происходят в полной безопасности.

Иногда на смену воронам на луг слетаются чайки. Луг меняет свой колер подобно тому, как это бывает на открытиях Олимпиад (спортсмены взмахивают разного цвета флажками): был зеленым, стал черно-серым — и белым. Чайкам вороны уступают место на лугу. Чаячий мир тоже великая держава, как и вороний.

Сороки с галками близко не подлетают к воронам. Воробьи шустрее, нахальнее, храбрее ворон, могут стащить у вещуний лакомый кус из-под самого носа. Недавно в садовом пруду поселилось семейство кряковых уток. Как они ухитрились свить гнездо, высидеть

утят? Не знаю... В положенное время посередине пруда заколыхались пуховки, бутоны желтых лилий. Слепое око пруда как будто прозрело, зарябило в улыбке.

И страшно было за утят. На подстриженных бережках по-хозяйски расселись вороны, поодаль одна от другой, наблюдали утиную жизнь с каким-то зловещим хладнокровием, не суетились, дожидались своего часа. Никто не помог бы утятам, случись с ними что, только утица-мама...

Я бегал мимо пруда и радовался утиному выводку, как радуются фиалкам, подснежникам, ландышам в лесу. Однажды утят не стало. Летать они еще не умели. Возможно, мать-утка увела их под покровом ночи в Лебяжью канавку, Мойку, Фонтанку. Хотя и покрова-то не бывает в июне у наших ночей...

Живя столетиями с нами обок, кормясь объедками с нашего стола, вороны, конечно, кое-что знают о нас, хотя никогда не нисходят до панибратства, не принимают пищу из рук своих меньших братьев (вороны много древнее нас), не садятся нам на плечи, как синицы и белки, не попрошайничают, как голуби и воробьи. Они никогда не глядят нам прямо в глаза, а все как-то вскользь, боковым зрением — наблюдают, запоминают.

Это в общем и целом. Но бывает и по-другому. По счастью, в жизни нет правил без исключений.

Вам не доводилось встретиться со знакомой вороной, то есть чтобы ворона узнала вас, проявила бы к вам знак своего благорасположения? Со мною это случилось однажды. Я прогуливался по платформе станции Комарово, ждал электричку. Откуда-то прилетела ворона, по-сорочьи короткими, низко над землей подлетами, села на сук тополя и стала глядеть на меня осмысленным взглядом. Ее выделяла в стае (никакой стаи поблизости не было), как в любом сообществе живых существ, жалкая беспомощная старость. Ворона лишилась хвоста, в поределых ее крыльях проступили остья перьев; ворона от старости сделалась сивой. Сбравши сил для подлета, ворона, скрежеща перьями, слетела с тополя ко мне на плечо; переступая лапками, добралась до шеи, потербила клювом мочку моего уха. Что-то очень знакомое мне, чуть не родственное было в этой вороне. Она подергала меня за прядь волос, таких же поределых, как ее вороньи перышки, пощипала мне бровь.

Во всех ее действиях и поступках сказывалась не то чтобы мысль, но какая-то особая ко мне доверчивость, ласка. Я достал из сумки котлету, взятую из дому за город, почему-то не съеденную, как будто специально сбереженную для этой вороны-подружки. Ворона слетела с моего плеча на лавку, без жадности, как-то рассеянно принялась клевать котлету, все поглядывала на меня. Тут появились люди, загородная компания, с транзистором и гитарой, юноши и девушки, малость навеселе, стали ахать и охать (девушки ахали, парни помалкивали): «Ой, это ваша ворона? А она у вас давно живет? А как ее зовут? А сколько ей лет? А она кильку в томате кушает? А иваси в масле? А докторскую колбасу? А завтрак туриста? А что она пьет?..»

Ворону стали потчевать всякой дрянью из сумок. Она с какой-то вековой печалью в глазах посмотрела на меня, с видимым усилием, как наши старушки влезают в автобус, перелетела на крышу вокзала, передохнула там и свалилась куда-то на ту сторону.

Само собою понятно, что больше я эту ворону нигде не встречал. Но я возвращался к ней памятью, думал, что, может быть, наше знакомство началось давным-давно. Когда мне было лет восемь или девять, мой старший приятель Витя Семешко — ему уже было одиннадцать или двенадцать — приручал ворон. Витина мама работала старшей сестрой в круглогодичных яслях в Вырице, моя мама работала в этих яслях врачом. Наши мамы дружили, и мы с Витей тоже, хотя Витя был много старше, смышленей, самостоятельнее меня.

Он умел залезать на деревья, доставал из гнезд воронят, выкармливал их той же пищей, которую ели дети в яслях; когда у воронят вырастали крылья, Витя малость их подрезал. Воронята превращались в больших ворон, жили на сосне посреди ясельного двора. К сосне у Вити были прибиты планки, получилась лесенка; на достаточной высоте на суку помещалась фанерная будка — вороний домик. Крылья у ворон Витя подрезал так, чтобы они могли слетать с сосны наземь; в дом они забирались по лесенке. Такая была у Вити Семешко воронья ферма-слободка.

Под сосною стояла будка собаки Альмы. У Альмы имелись признаки овчарки, но, в общем, это была вполне одворняжившаяся добрейшая собака. Альма делилась с воронами пищей, хотя иногда ворчала на них. Но

боже мой, как любили вороны Витю! Когда он появлялся на дворе, звал их: «Карлуши!» — вороны подымали неслыханный грай любви и восторга, слетали Вите на плечи, садились ему на голову (вот оно, исключение из правил!). Витя учил ворон выговаривать разные слова, кажется, они изо всех сил старались.

Сколько радостей было у ясельных ребятишек! Хотя и скучали крохи без мам и пап, но так хорошо им было с карлушами, с Витей, с Альмой и Альминым сыном Жуком...

Зимою Витя запрягал Альму в санки. Потом приспособил к этому делу и Жука. Собачий каюр (тогда мы не знали этого слова) изобрел особый хомут для упряжки: в старый материнский чулок напихивалась впыж пакля; к хомуту привязывались веревки-постромки, и дело в шляпе.

Альма с Жуком отлично ходили в паре. Витя ездил на собаках по хозяйственным делам, семейным и ясельным. В школу он тоже пробовал приезжать на Альме и на Жуке, но слишком возбуждалась школьная мелюзга, мечтая прокатиться на перемене, становилось ей не до уроков, Вите велено было ходить в школу, как все ходят, на своих двоих.

Зато уж ясельных дошколят Витя катал до упаду. И у меня в то золотое времечко не было выше радости, чем сесть на санки, прижаться к Витиной спине и куда-нибудь мчаться, аж дух захватывало! Или прийти к вороньей сосне, крикнуть Витиным недетским голосом: «Карлуши!» Вороны знали меня, садились ко мне на плечи. Плечики-то у меня были с вороний шажок.

В блокаду Витя Семешко работал на заводе. Я думаю, что-нибудь он изобрел такое, чтобы им с матерью не пропасть. И они не пропали. С Витей я не встречался ни разу с самого детства, но матери наши не потеряли дружбу до смерти; я узнавал от мамы про Витю, что он был токарем, стал начальником цеха, кем-то еще. Потом его след потерялся.

И все-таки след остался — во мне. Я помню воронью сосну на ясельном дворе — одно из деревьев моего детства. Когда ворона села ко мне на плечо на станции Комарово, я подумал, что, может быть, она с того дерева, подружка моего детства...

Когда я бегаю по утрам в Михайловском саду, то обязательно вижу ворон, наблюдаю за ними. И они на-

блюдают за мной. Однажды, лежа в больнице, глядя в окошко на тополя и ворон, я подумал почти что стихами, только без рифмы: «Если когда-нибудь вам приходилось увидеть из окна больничной палаты, как машут ветками тополя, не надо думать, что они прощаются с вами, провожая в последний путь. Это они отгоняют ворон, которые любят затачивать иступившиеся от долгой жизни клювы о тополиную кору...»

15

В индийском городе Варанаси (Бенаресе) утром плыли в лодке по Гангу. Многие варанасийцы в это время купались в священной реке. Делали зарядку по системе хатха-йога. Колотили белье на камнях. Нищие просили подавание. Коровы клали на камни кучи, пускали струи. На одном из перекрестков Варанаси имелся сортир для мужчин, без стен, без дверей. Некоторые мужчины пускали струи, повернувшись спиной к городу Варанаси. Велорикши везли разный люд кого куда. Один велорикша вез ребятишек в школу. Ребятишки были чумазы, хотя и умыты. Каждый был занят своим делом.

На Ганге занимался рассвет. Он был такой же, как все рассветы на всех реках мира. На берегу Ганга в городе Варанаси горели костры, на реке стояли барки, груженные дровами — для костров. На кострах сжигали останки тех, кто изжил свой срок, донес до священного Ганга брентную оболочку. Если сжигали отца, сыну надлежало разбить ему череп, дабы облегчить отделение духа от тела.

Человек, согласно индуизму, состоит из чего? Из скольких-то элементов: воды, воздуха, огня, минеральных веществ — и духа. Разъединить элементы доверялось костру. Останки не полностью сгорали. То, что оставалось, кидали в Ганг, и это плыло.

Восход в Варанаси имеет особый оттенок — багровее, алее, оранжевее, чем повсюду. Возможно, в варанасийском восходном зареве (не в заре, а в зареве) наличествуют отсветы и блики костров, горящих на берегу Ганга вот уже 4000 лет — пламени и угольев. Сколько сгорело народу на этих кострах!..

В отеле города Варанаси я взял урок хатха-йоги у местного инструктора — иссиня-смуглой грустной ин-

дуски — за двадцать рупий. Ее хатха-йога была та же, что у доктора Зубкова. Лежа ничком на ковре после позы-асаны змеи, я спросил у лежащего рядом со мной бледнолицего, как и я, молодого человека, из какой он страны. Сосед с готовностью отозвался: «Из Парижа». Спросил у меня о том же. Я доверительно открылся ему: «Из Москвы». Инструктор торопила нас переходить к асане «лотос» или хотя бы «полулотос» — до «лотоса» ой как еще далеко! Но что-то случилось с моим соседом-парижанином, что-то в нем заклинило, затормозилось, как если бы рядом с ним оказался пришелец из иных миров. Хатха-йога — даже во время платного сеанса-урока — требует отрешенности, углубленности, непричастности. Парижанина обуяло неуместное в данном случае любопытство или, может быть, страх, в общем, сложное чувство. Парижанин запаниковал. Надо думать, случай еще ни разу его не привел в такое соседство, даже в дальних заморских странствиях, — лежать на ковре бок о бок с москвитянином (хотя и из Ленинграда, а все равно москвитянин). Ну что же, мой мальчик, не бойся, поджимай свои ножки, принимай позу лотоса! Я ласково улыбнулся соседу, он вымученно ответил мне тем же. Мы кое-как дотянули урок хатха-йоги в городе Варанаси. Но плакали наши с парижанином рупии...

16

Село за лес солнце, опустилось за черную стенку леса с плавно-зубчатым верхом. Освещение рассеянно-зоровое. Лес еще гол. Только проклюнулись почки на черемухах. Вода озера тиха, зеркальна. Изредка подают голос чайки, кулики; невнятно — еще не настроила голос — прокуковала кукушка.

Я не спросил у нее, сколько мне куковать лет и зим. Побывав в палате интенсивной терапии, полежав под капельницей вдвоем с моей болью (под неусыпным наблюдением сестры Вали попеременно с Олей), пройдя курс лечения в больнице, «реабилитацию» в санатории, я вышел на волю, на белый свет, как будто заново родился: без тяготы прожитых лет, без надобности заглядывая в мой отрывной календарь, с каким-то вторым дыханием, острой радостью каждого шага по хрустящему насту.

Помню, гулял по меряным дорожкам санатория, на-

чал, как все после инфаркта, с пятисот метров, приваживал подсолнуховыми семечками синиц (тоже как все «больные»). Синицы, фырча крылышками, садились на вытянутую ладонь, цеплялись за ее мякоть острыми холодными коготками, вспархивали, не оставляя по себе ощущения чего-то живого. И вдруг на ладонь ко мне слетел с куста снегирь. Ни разу в жизни я не видал снегиря-одиночку. Снегири прилетают стаями незнамо откуда в морозный, снежный денек, подолгу сидят на кустах, как будто включили цветные лампочки на новогодней елке, и улетают...

Кто научил снегиря не бояться меня — человека?

Он сел ко мне на ладонь, я ощутил внятно-ласковое прикосновение его мягких, теплых лапок без коготков. Не торопясь, снегирь вылушил семечко, посмотрел мне в глаза и мягко, будто снег с ветки, слетел. И я сказал себе: «Ничего, еще поживем, старичок!»

17

Бегу дальше, не зная куда, где мне «в лоб шлагбаум влепит непроторенный инвалид...»

Намедни (в сентябре 1986 года) бегал в Рассел-сквере, в одном из центральных районов Лондона Блумсбери. Так же, как Летний или Михайловский сад, могу назвать Рассел-сквер привычным для меня местом пробежек по утрам: был в Лондоне дважды, с перерывом в десять лет (такая малость, мгновенье, как говорят французы: пфуй!), останавливался в Блумсбери (как Хемингуэй в «Рице»), бегал по искусно подстриженной, как английская тонкорунная овца, прикатанной до ковровой ровности (стрижет и прикатывает одна машина) лужайке, обменивался с блумсберскими бегунами и бегуньями приветственными взмахами рук. Бежал потихоньку, трюх-трюх, приглядывался к окружающей действительности. Лужайку обрамляют вековые, сохранившие себя в истории этого сквера, как каждый кирпич в истории Англии, платаны, вязы. На лужайке посажено-прижилось деревце, подле него табличка с такой примерно надписью: «Дерево посажено тогда-то, в том месте, где любил гулять мой покойный муж м-р Чарльз Серенгети. Вся его жизнь была музыка. Его величие была человечность».

Рано утром в седьмом часу я пробежал мимо только что переночевавшего на скамейке Рассел-сквера без-

домного лондонского бродяги. Он был в моих годах, багроволицый, обрюзгший, в седой кудлатой бороде, в отребьях. К скамейке прислонен проржавевший велосипед с навьюченными на раму пожитками: на день бедолага куда-то намеревался уехать. Он варил себе завтрак: над спиртовой горелкой подвешен на тагане довольно большой котел; над котлом курился парок, от варева исходил внятный запах. Кривая моего бега (по лужайке беги куда глаза глядят) позволила заглянуть в походный котел бродяги; в нем варились сосиски, всплыли, не менее десятка. Ночлежника Рассел-сквера не удовлетворял континентальный завтрак: чашка кофе-чаю, булочка, облатка масла, джем, сок. Что-то (надо думать, бездомная жизнь) помешало ему остановить выбор на английском завтраке: к вышеупомянутому добавляется омлет с беконом, овсяная каша-поридж...

Побежав утром в Рассел-сквере, вечером я находил силу в ногах пройти по Саутгемптон Роу до Кингсвэя, под горку на полукружие Олдвича, по Стрэнду, как тысячи слетающихся в Лондон со всего света зевак, с картой в руке — пусть и ненужной, как знак экстерриториальности, так интересней. Потом на Трафальгарскую площадь, на Пикадилли, на улицу книжных лавок (не только книжных) Чэринг кросс роуд с доносящимися из Сохо многооттенчатыми ароматами китайской кухни и пива... (о, пиво лондонских пабов!). На Оксфорд-стрит — и домой. Прогулка по бессонным улицам главного лондонского гульбища занимала часа четыре. Ноги несли. В то время как... наша группа просматривала московские, ленинградские, вологодские, омские и др. отечественные сны.

Если бы не пробежки по утрам в Рассел-сквере, и я бы тоже...

Однажды мой товарищ, литературный однокашник (из нашего общего гнезда осталось так мало, сосчитаешь на пальцах одной руки) Георгий Семенов высказал мне свой взгляд на пробежки как общее поветрие: «Бегают четвероногие. Человек в итоге эволюции встал на ноги. Бегать как-то ему не к лицу». Речь у нас зашла о Владимире Тендрякове, который, как известно, помногу, красиво, профессионально, упоенно бегал по утрам и в другое время. Так и убежал в иные миры несостарившимся, спортивным.

Я не стал оспаривать довод Георгия Семенова. Если бы и оспорил, он остался бы при своем.

Но я размышляю о Тендрякове: читаю его не изданные при жизни сочинения, думаю об их авторе как о живом. Продолжается бег Тендрякова, теперь это можно назвать полетом. Писатель перелетел через бездну небытия. Летит...

18

Вершинный момент в хатха-йоге, по исполнении всех асан, — лечь на спину, зажмуриться, отвлечься от обыденного так, чтобы пред мысленным взором распахнулось бы чистое небо, и в небе птицы. Если долго глядеть на небо, на парящих в нем птиц, можно вдруг ощутить чувство лета — сладостное до испуга. К этому мигу (чтобы взлететь, от земли оторваться) надо готовить себя хатха-йогой, может быть, целую жизнь. Да и то...

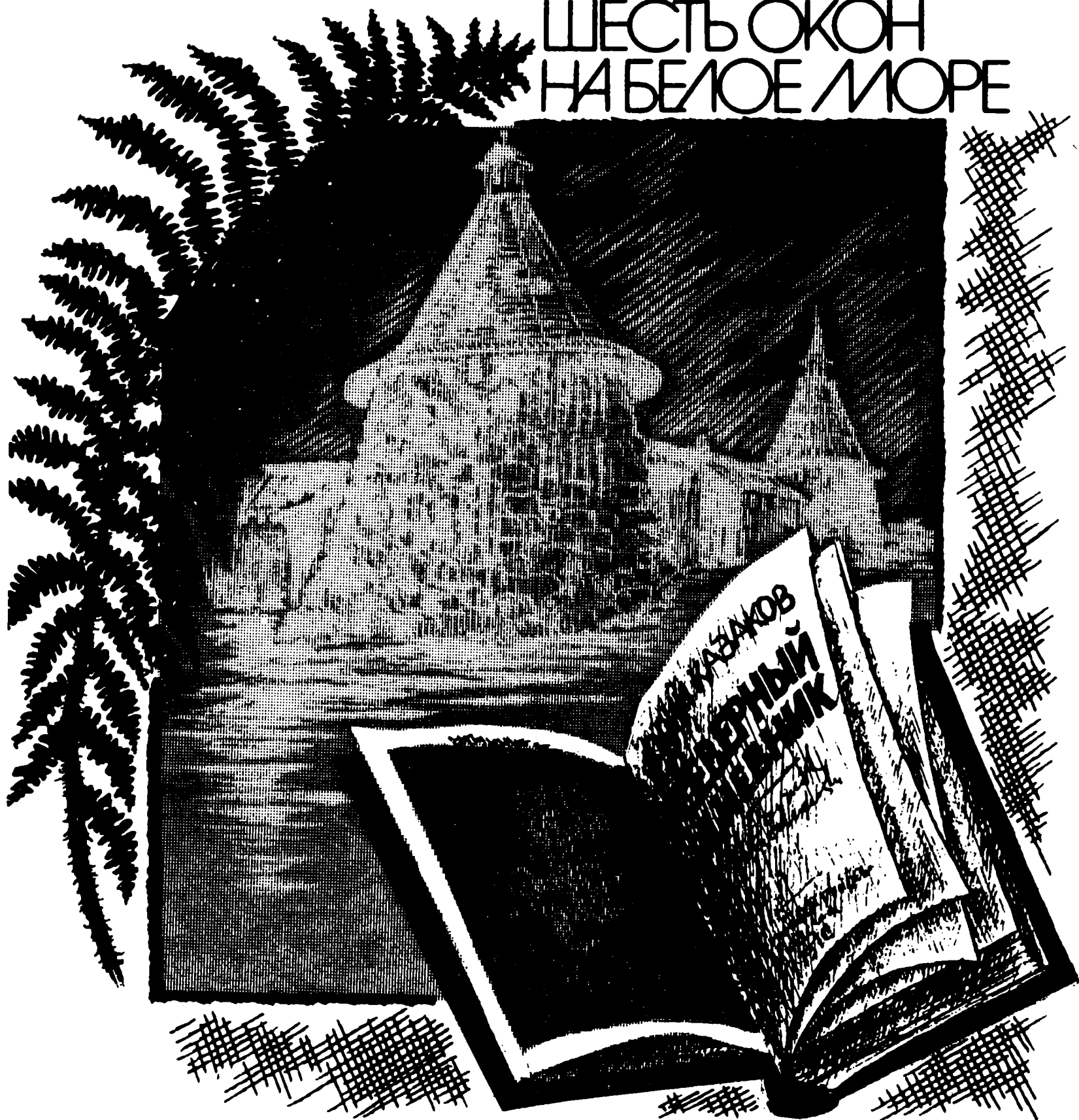
Важно, какие привидятся птицы. Вообразить махающую крыльями ворону — без проку. И голубь едва ли подымет. Чайка? Да, может быть, чайка, не огородная, а морская. Мне лучше всего помогают оторваться от ковра на полу ястребы, ходящие кругами над лугом и речкой, тонко кличущие в вышине, в голубизне небесного проема над просекой в бору. Кружение их бесплотно, крыла лежат на эфире, как палые листья на лоне вод...

Тут я предвижу попрек моего постоянного оппонента, писателя-знатока животного мира Алексея Алексеевича Ливеровского. «Какие же ястребы кружат в небе, батенька мой? Это — грубейшая ошибка! Ястребы нападают на свою жертву как-нибудь сбоку, а сверху высматривают добычу и стонут канюки!»

Ну что же, пусть так...



ШЕСТЬ ОКОН НА БЕЛОЕ МОРЕ



СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО

1

За спиной у меня садится солнце. Передо мною Белое море. Пахнет водорослью: анфельцией, ламинарией. Анфельцию здесь зовут «хохолки». Пряди водоросли многоцветные: рыжеватые, лиловатые, с проседью. Анфельцию собирают, сушат; ее сдают-принимают — за хорошую цену. Из анфельции производят агар-

агар — необходимый компонент многих вкусов, в том числе и позабытых нами пастилы, зефира. Ламинария, вцепившись корнями в камень или ракушку, вырастает в долгие мясистые плети-ленты. Мы знаем ее по консервированным салатам, в сочетании с крилем, с томатным соусом. Это — морская капуста...

На берегу пусто (да простится мне внутренняя рифма: капуста — пусто... это в прозе не поощряется, даже и в путевых заметках). Только два мужика вытягивают воротом поморскую лодку — карбаз. Где-то стучит мотор. Моторизованный карбаз — это дора, дорка, то есть мотодора, мотодорка...

Неподалеку от моря за поросшим можжевельниковыми кустами увалом изгородь; за нею поле аэродрома села Лопшеньга. Вдоль изгороди натоптана у медведя тропа. Медведь зачем-то приходит из лесу на берег (потом мы узнаем, зачем), уверенно чапает до первых строей деревни. Возможно, мысли его (хотя какие у медведя мысли, у него нюх) направлены в сторону рыбы, так же, как мысли живущих у Белого моря поморов.

Так тихо, что слышен стук весел от самого горизонта. На небе вечерние облака, неподвижные, огромные, как Север, сиреневатые, розоватые, дымчатые, палевые, белесые.

Весь берег завален плавником, выбеленным водою, солью, солнцем.

За спиною у меня песчаные горушки (по-здешнему «угорья»); можжевельник, ельник — малорослые, стланиковые, то есть карликовые. Все устелено брусничником с лаковыми листочками. Журчит малая речка, перед тем как влиться в море, подзапруженная в устье, образовавшая лагуну — вытянутое вдоль моря озерко.

Море тихо, лазурно, в нем отражаются облака; на воде столпы и блики, тихое сияние.

Я бывал на восточных наших морях, вот так же сиживал на чурке с блокнотом на колене, со стилем в руке, с задумчивым выражением на лице — над Охотским, Беринговым, Японским морями. Ну, конечно, и над Балтийским. Над Баренцевым. Добрался до Белого моря.

В этом месте рассказа о поездке на беломорский север моя память или, лучше сказать, моя совесть напоминают, подсказывают, велят начать рассказ сначала, найти первопричину моего хождения к Белому морю (еще был повод, о нем скажу особо). Все на свете связано, одно другим предположено, обусловлено, в самом начале ищи человека. Ты думаешь, что сам себе выбрал путь, наметил конечную цель, хочешь так думать... Но положи себе руку на сердце и вспомни: кто-то подвиг тебя совершить первый шаг, соступить с тобою натопанной колеи, упорхнуть с милого тебе, как кулику, болота...

На столе моем (или рядом на полке) книга Юрия Казакова «Северный дневник», выпущенная издательством «Советская Россия» в 1973 году... И еще до книги, как бакены на воде, рассказы-главы будущей книги: «Нестор и Кир», «Белуха», «Долгие крики», «Ночь на «Веге», «Белые ночи», исповедь-монолог «О мужестве писателя...» С ног до головы, до мозга костей московский человек, Юра Казаков, в недавней — тогда — своей юности музыкант из оркестра, «лабух», литинститутовец одного с Евтушенко набора, автор рассказов, почему-то вдруг всеми замеченных, не только у нас, но и всюду (тогда не задумывались, почему), «Голубое и зеленое», «Арктур — гончий пес», «Адам и Ева», «Некрасивая», вдруг закинул за свою могутную в те годы спину рюкзак и пустился в плавание-поход-хождение — на Север...

«Северный дневник» Юрия Казакова обладает необыкновенной силой воздействия на чувства, сознание, воображение, интеллект, даже на опорно-двигательный аппарат — как побудка, позыв к движению, как флюида восторга пред тем, что мы имеем, что называется нашей Родиной; перед ее студеными морями, во все не теплыми берегами, ее людьми с их негромким, несказанным, каждодневным, непременным, как продолжение рода, мужеством — жить на холодной земле, у холодного моря гармоничной, как музыка, красивой и опасной, как северное сияние, тихой, как море в белую ночь, жизнью.

Все эти чувства, оттенки, картины, мотивы, впечатления Казаков внушил нам магией изобразительности своего слова. Он рассказал о Севере на том же языке, на каком и до него сказывали: другого языка мы не зна-

ем. Но Юра перетряхнул словесную торбу, разрушил все штампы, нанизки; он заново обратился к родному нашему языку, извлек, составил созвучья, как композитор извлекает из эфира свою музыку...

В одной статье о Казакове — уже посмертной; при жизни писателя имя его редко упоминалось в литературной прессе, разве что в критическом плане, — я прочел очень существенную для понимания творчества Казакова заметку: «Когда Казакову случалось высказываться о том, что ему как художнику было близко или же, напротив, казалось неприемлемым, он непременно возражал против узкотематической мерки, с какой подчас подходили к той или иной из его вещей. У настоящего писателя, напоминал он, «всегда ощущается что-то еще помимо того, о чем он пишет. Это как в звуке: есть основной тон и есть обертоны, и чем больше обертонов, тем богаче, насыщеннее звук».

Казаков с его «чрезмерно» по тем временам богатой словесной палитрой или партитурой — не знаю, как лучше сказать, — с его причудливой, изощренной ритмикой и какой-то вовсе уж из рук вон жаргонной, уличной, расхристанной (но всегда звучащей, живой) интонацией, показался явлением неудобным для привычной классификации, знаком неожиданным и своевольным на ниве нашей словесности. При внимательном — и целенаправленном — рассмотрении у него еще обнаружили и «вечные» темы, разумеется, в кавычках. Казаков ни к кому не подравнивался, не становился в общий ряд, а это все-таки непорядок... И его отнесли в разряд подражателей, эпигонов. Казаков подражает Бунину... Ну, конечно, «не лучшим его образцам...»

И пошло, и поехало... Давайте вспомним, что в ту пору, когда Казаков вымеривал версты в резиновых сапогах с заколенниками, с мешком за спиной, с удочками, ружьем по каменюгам беломорского побережья, зыбался в карбазах на тонях, спал на пахучих полатях в рыбацких избах, делал записи в блокноте в кубриках промерзших сейнеров, слушал исповеди поморов и поморок — и после где-нибудь на Оке в «дубовых лесах» или в Абрамцеве писал рассказы, дарил нам такие жемчужины, как «Никишкины тайны», «Поморка», «Манька»... Да, так вот... тогда еще не было «деревенской прозы», не было Шукшина, Федор Абрамов чуть брезжил, Личутиным или Масловым и не пахло... Юрий

Казаков шел первым, как ледокол, прокладывая первопутки. Ну, разумеется, опираясь на опыт... Бунина, Щергина...

Когда я читал или слышал о подражании Казакова Бунину, всякий раз прикидывал: как это можно вдруг уподобиться чужому таланту, недостижимому образцу... Ведь если бы это кому-либо удалось... Но художественный талант невоспроизводим, потому он и талант. Казаковская фраза по-бунински музыкальна, полифонична, живописна, но это — музыка и живопись Казакова. И вечные темы нельзя отменить, ибо они выношены, выстраданы человечеством на долгом его тернистом пути к желанной и все не дающейся цели всеобщего счастья.

Юрий Казаков, с первого своего появления на литературной стезе, стал замечен благодаря редкой самодостаточности, непохожести, цельности личности и таланта.

Казакову достались от природы и родителей — простых русских людей — завидное здоровье, силушка (смолоду, рано растраченные); высокого росту, косая сажень в плечах, поместительный мощный череп, облысевший по какой-то причине, выставленная вперед нижняя челюсть, выразительный рот с загнутыми кверху уголками, с малость выпяченной, как бы в презрительной мине, нижней губой; и главное — лоб, покатый, занимающий чуть не половину лица; выразительный, штучной выделки нос; светлые, удивительно мягкие по выражению, какие-то беззащитные (всегда защищенные очками) глаза.

Казаков обладал неколебимой убежденностью в своей правоте; это нужно было ему для самосохранения, противостояния всякого рода антагонистам, каких хватало. Он утверждал себя с поистине московской самоуверенной непосредственностью. Его бесцеремонность могла бы кого-нибудь и обидеть, но она подкупала своей недвусмысленностью, особенным казаковским энтузиазмом. Казакову позволено было то, что другому бы не простили.

Помню, однажды (т. е. многожды), по обыкновению воздев указующий перст, выпячивая нижнюю губу, на-

дувая щеки, пфукая, заикаясь (казаковское заикание и пфукание хорошо научились изображать В. Росляков, Г. Семенов), Юра наставлял меня (и каждого, кто ему попадался) на истинный путь: «Понимаешь, старичок, надо тебе перебираться из Питера в Москву. Провинция заедает. В Питере литература второго сорта...»

Как многие москвичи, да и не только москвичи, Юра Казаков нимало не сомневался в особом предназначении «первопрестольной», в ее само собою разумеющихся прерогативах во всех областях и особо в искусствах, в первосортности московского по отношению к провинциальному. Он исповедовал эту веру с подкупающим простодушием, не кичась, не возносясь, щедро делясь своим достоянием, но... всегда соблюдал дистанцию некоторой высоты над другими...

Юра превосходно чувствовал музыку большого города — именно музыку, ибо талант его прежде всего музыкален. Мотивы московских улочек, переулков, дворов, мостовых, светящихся окон, водосточных труб повесенному явственно, чутко прозвучали в раннем рассказе-прелюдии Казакова «Голубое и зеленое». И потом, совсем в другой тональности, в новелле-интермеццо «Двое в декабре»; городскими мотивами озвучено все творчество Юрия Казакова.

И все же... Юрий Казаков — горожанин в первом поколении. Его талант — очень русский, корневой, природный, безошибочно настроенный не только на художественную, но и на социально-психологическую доминанту переживаемого исторического момента, когда город в России — уже современный в мировом понятии город, но все еще и большая деревня на отечественный лад — жива, крепка, хранит в себе тот самый философский камень нации...

Рассуждая о творчестве Казакова, я не даром упомянул «деревенскую прозу», к которой Казаков не причислен, но и неотъемлем от нее, как предтеча. Тут и фарватер — главный путь развития русской советской прозы второй половины века. С необыкновенным даром предвидения умел Казаков нащупать в жизни, воплотить в художественных образах те самые «болевые точки», к каким приковано внимание настоящей литературы по сию пору. Давайте вспомним поэтические, грустные, остролюбодневные, неподражаемые казаковские вещи:

«Некрасивая», «Трали-вали», «На полустанке», «Странник», «В город», «Легкая жизнь» (этот рассказ напечатан в «Правде»), «Нестор и Кир»...

В рассказе «Нестор и Кир» Казаковым высказана существенно важная для него философская мысль-макси-ма:

«Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, — все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут...

Тут вот со мной рядом лежат два рыбака, а все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли «дожда» или не пошли, побережник-ветер или шалоник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.

То, что важно для меня, для них совершенно не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры.

Но, может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? (...) Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они и море, — больше нет ничего, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им неинтересны и ненужны».

Спустя десятилетие после Казакова той же самой мыслью задастся Шукшин, напишет рассказ «Дядя Ермалай». В прошлом веке Достоевский в «Мужике Марее», Лев Толстой — в «Казаках», в других сочинениях и философско-этических трактатах, Тургенев — в «Хоре и Калиныче». Еще ранее — Радищев, на самой заре нашей словесности — протопоп Аввакум...

Вот вам и вечная тема...

«Северный дневник», я думаю, дал Казакову наибольшее счастье самораскрытия, как художнику. Именно — счастье! «Кому как, — писал Казаков в «Северном дневнике», — а для меня нет на свете прекрасней, я бы даже сказал торжественней запаха, чем запах свежезасоленной рыбы. Для меня это даже как бы и не рыбой пахнет, а всем остальным, что связано с ней, — палубой сейнера, скажем, сетями, водорослями, морем, смелостью и силой рыбаков, уютом кубриков — мало ли чем!

Впервые почувствовал я эту радость и напряженность в Пертоминске на Белом море...»

Именно за этим отправился на Север, — смолоду и навсегда, — столичный, с первых рассказов знаменитый на весь мир писатель (я слышал, с одной высокой трибуны Казакова как-то обозвали «московским снобом»; это уже от зависти, трудно удержаться, заняв трибуну), — чтобы самоосуществиться, то есть за счастьем согласия с самим собою, необходимым каждому смертному, художнику — стократно. Каждый настоящий писатель по-своему ищет предмет для разговора с читателем — мужского, без дураков...

«Не знаю, отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски — тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте.

Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа — ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке... Разве это не выше моих рассказов или разве это помешало бы им? Наверное, это бы сделало их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, — вещественные и такие необходимые, гораздо необходимей всех рассказов!»

Мысль эта не нова и общечеловечна; ее тоже можно отнести к разряду вечных... Как, — помните? — у Толстого в «Казаках» московскому молодому человеку Оленину «...послышался голос другой жизни, призывавший его, — жизни трудов, лишений, деятельности».

«Эк, куда хватил!» — могут мне возразить. В наше время такие порывы, «рефлексия» кажутся неуместно-странными: есть множество других точек для приложения сил, для общественно полезной деятельности, выявления мужских начал». И совсем уж неприличной показалась некоторым критикам «исповедальность» Юрия Казакова, а следом за ним и других идущих в литературу, талантливых (исповедальность и бесталанность суть несовместимы)... Само понятие «лирическая проза» было подвергнуто остракизму надолго (до сего времени).

Казакову нечем бы было крыть (пойманная им рыба, добытая дичь, пот и соль остались неучтенными), если бы не привезенный им с Севера «Северный дневник» — продукт чисто духовного свойства, образец исповедальной, лирической прозы, факт гражданского мужества писателя — вполне ощутимый, весомый, с годами прибавляющий в весе вклад в то, что мы называем национальным духовным достоянием; явление русской советской литературы конца шестидесятых годов, ничем другим не заменяемое.

Проведя бóльшую, во всяком случае, наиболее плодотворную часть своей жизни в странствиях, походах, в каких-нибудь уединенных домах с потемневшими балками, Казаков не то чтобы оставался неуязвимым для своих оппонентов; он был уязвим и раним; его общественный темперамент, его талант, чувствительный к перепадам температуры, его постоянно настроенный на главную волну жизни интеллект, в высшей степени присущее ему чувство собственного достоинства требовали справедливости. Ответить своим зоилам «открытым текстом», ввязаться в полемику, привести контраргументы — это писателю не дано, не принято, не находится места в печатном органе. Казаков искал опору в мужестве, излагал свое кредо в предельно исповедальном тоне. Так появился программный для Казакова очерк-монолог «О мужестве писателя».

Он был написан ночью в номере Архангельской гостиницы, перед походом. Правильнее сказать, не «написан», а «записан», как крик души... Для нашего, то есть, одного с Казаковым литературного поколения монолог

«О мужестве писателя» послужил своего рода Аннибаловой клятвой — не убоюсь высокого слова, Казаков его не боялся.

«О мужестве писателя» написано чисто по-казаковски, с воздетым кверху указующим перстом — и поражающей сердечной обнаженностью, беззащитностью. В этом монологе нет ни словечка, ни запятой просто так, для округлости слога; чертовски трудно выкроить из текста цитату...

«Когда ты вдруг взглянешь на часы и увидишь, что уже два или три, на всей земле ночь, и на огромных пространствах люди спят или любят друг друга и ничего не хотят знать, кроме своей любви, или убивают друг друга, и летят самолеты с бомбами, а еще где-нибудь танцуют, и дикторы всевозможных радиостанций используют электроэнергию для лжи, успокоения, тревог, веселья, для разочарований и надежд. А ты, такой слабый и одинокий в этот час, не спишь и думаешь о целом мире, ты мучительно хочешь, чтобы все люди на земле стали, наконец, счастливы и свободны <...>

Но самое главное счастье в том, что ты не один не спишь этой глубокой ночью. Вместе с тобой не спят другие писатели, твои братья по слову (в этом — главная опора для Казакова, исток его мужества — в «братьях по слову»! — Г. Г.). И все вместе вы хотите одного: чтобы мир стал лучше, а человек человечнее.

У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на твои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше».

Юрий Казаков не реставрировал известные до него (может быть, подзабытые), красоты русского Севера; он с каким-то неиссякаемо-счастливым упоением (для писателя — и для читателя) одушевлял, одухотворял, художественно запечатлевал простые вещи, дела, пейзажи, явления природы, человеческие лица, судьбы, общал всему необыкновенную живость, современную, в лучшем смысле, экспрессию. Возьмем хотя бы лодки, эти самые карбазы и доры — Юра не уставал восхищаться ими... «Вообразите гребцов-спортсменов, —

как они откидываются назад, как рвут весла на «восьмерках» — каждый одно, — как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде, сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в уключинах, а в колышках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас (где «карбас», где «карбаз», можно и так, и эдак. — Г. Г.) движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко — они так могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать».

Казаков обладал драгоценным для писателя даром перевоплощения в своих героев. Иные хватаются за магнитофон, за словари народных наречий, за блокнот, стенографию; Юрий Павлович писал речь своих персонажей по слуху; слух у него абсолютный; камертон всегда при себе. Речевые характеристики у Казакова, как ни у кого, богаты теми самыми обертонами... Тут мне опять хочется процитировать моего любимого автора, моего — увы! — покойного друга. Не только читать, а именно перечитывать Казакова — одно удовольствие: особенно ощущаешь нерв, мышцу фразы...

« — А вот слушай! — Титов прихлебывает пуншик, двигается по лавке и закуривает. Кофейные глаза его радостно блестят. — Вот, скажем, так, начнем с севера. Север — он так и будет север. Это ветер дикой, с океана холодный и порато сильный! Дальше идет полуношник, это тебе будет северо-восток. Этот тоже дикой, еще, пожалуй, похуже севера. Пойдем дальше. Дальше будет восток, восток, значит. А еще — обедник — это как бы юго-восток. Эти ветра ничего, хорошие... Дальше будет летний, южный, с гор идет, волон у нас возле берега почти не дает, этот тоже ничего. Шалоник, юго-запад, тот днем дует, ночью стихает, так и знай! Запад — он и по-нашему запад. Ну и последний тебе ветер — побережник, как бы сказать, северо-запад. Тот дикой, холодный и взводень большой роет, худой ветер! »

Сообщить читателю о поморских ветрах Казакову так же необходимо, как о карбазах или семге. Какое же поморье без обедника, шалоника, карбаза, семги? Но,

прежде всего, — о поморах, потом уже о другом; пусть поморы сами увидят, расскажут. Казаков относится к поморам, как вообще ко всем людям труда, долга и чести, с каким-то благоговейным — без заискивания и сюсюканья — удивлением. Может быть, способность удивляться «тихому мужеству» (излюбленное определение Казакова) незначенитых людей и есть одна из пленительных составляющих казаковского таланта.

В «Северном дневнике» десятки персонажей — поморов, поморок, — встреченных странствующим литератором на побережье, с художническим тщанием выписанных, не всегда симпатичных автору (Казаков объективен предельно), но бесконечно интересных, удивительных художнику. В мыслях, судьбах, образе жизни своих героев, в их «тихом мужестве» писатель находит созвучие, подтверждение собственным творческим установкам, обязательно максималистским. И он тут же, с казаковским прямодушием, делится ими с читателем: «Литературная правда всегда идет от правды жизни, и к собственно писательскому мужеству <...> писатель должен прибавить еще мужество летчиков, моряков, рабочих — тех людей, о которых он пишет... <...> На какое-то время он должен стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим Северным путем».

В череде многих лиц писатель вдруг открывает для себя лицо Героя в высшей степени, с большой буквы. Это — ненец Тыко Вылка, первый председатель Совета Новой Земли, художник, учитель. Его уже нет в живых, но он оставил по себе память, духовное сияние своего тихого мужества. Свидетельств, вещественных знаков памяти по Тыко Вылке осталось немного. Казаков воссоздает образ «мальчика из снежной ямы» по художественному наитию. Его увлекает судьба, характер талантливого ненца: человеческие принципы Тыко Вылки отвечают тому, что ищет писатель в людях, о чем он мечтает в северных странствиях или в дубовых лесах на Оке.

Вначале очерк о Тыко Вылке: «И родился я на Новой Земле» — в «Северном дневнике». Потом сценарий

фильма о Тыко Вылке. Фильм мы увидим, когда Казакова уже не будет в живых. И повесть «Мальчик из снежной ямы» мы прочтем в «Новом мире» тоже без него.

Очерк «И родился я на Новой Земле» Казаков предварил эпиграфом из Евгения Евтушенко (им же вовлеченного в «северную одиссею»):

И я восславил Тыко Вылку!
Пусть он ложку или вилку
Держать, как надо, не умел —
Зато он кисть держал, как надо,
Зато себя держал, как надо!
Вот редкость — гордость он имел!

Казаков процитировал своего знаменитого (в то время) сотоварища по странствию и тут же ему возразил. А как же?.. «Гордость — не то слово, конечно... Вылка не был горд, он был добросердечен и храбр, он был Учитель. Он учил не только ненцев, но и русских, он говорил: «Не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь трудна, но и прекрасна, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно!»

В этом кредо и самого Юрия Казакова, писателя, гражданина.

«Северный дневник», как и все рассказы, книги Казакова, в критической степени заразителен, то есть он заражает тебя чем-то таким, очень казаковским, ты заболеваешь тоскою по Северу, томишься: он там и там побывал, а ты домоседничаешь, что не есть хорошо и т.д. и т.п. Казаков — агрессивный писатель, он все время в наступлении на тебя, читателя (тем более ежели и сам ты пописываешь), он захватывает тебя, подчиняет своему темпераменту, даже указывает, по какому ветру держать тебе нос.

Помните, в самом начале этих записок (я их начал, сидя на чурке, на берегу Белого моря у деревни Лопшеньга, в самых что ни на есть казаковских местах) я обратился мыслью к тому, что побудило меня, как говорится, на склоне лет добраться до Белого моря. Ну, конечно, «Северный дневник» Юрия Казакова, написан-

ный им в 1960 году, вышедший отдельной книгой вкупе с другими северными вещами в 1973-м. Да, так оно и было... Юра Казаков заразил меня своим Севером, которым сам был хронически болен. Стоило ему различиться с Севером, и появлялись в его писаниях жалостливые нотки, хоть плачь (надо думать, и плакал)...

«И вот вечерами в теплом доме на Оке я вспоминаю Север. В дом ко мне как бы приходит механик Попов, и лоцман Малыгин, и капитан Жуков, и рыбак Котцов, и Пульхерия Еремеевна, и ненцы — все, кого я упомянул в своих записках и кого не упомянул, все тихие герои, всю жизнь свою противостоящие жестокостям природы.

Они приходят и кивают мне, и зовут опять туда, к ослепительным небесным чертогам (!!!), на мрачные берега, в высокие свои дома, на палубы своих кораблей. Жизнь их не прошла с моим отъездом, она идет, неведомая в эту минуту мне, и когда они уходят к себе, мои тихие герои, я знаю: они уходят работать, уходят трудами рук своих и напряжением душ творить и приближать наше великое будущее.

Я жалею, что о многом не написал, многое пропустил, быть может, очень важное. Я хочу снова попасть туда. Потому что Север только начинает жить, его пора только настает. И мы застанем эту эпоху, при нас она грянет и процветет со всей силой, доступной нашей эпохе».

Еще раз напомним, что это написано в 1960 году, Казакову тогда было тридцать два года, а мне и того меньше. Конечно, я плакал, когда читал казаковские пассажи. Многое чтение и особенно писание — такое дело, предрасполагает к чувствительности. Я был заражен, завербован — не знаю, как лучше сказать, казаковским Севером.

Я не мог устоять перед казаковским напором, собирал пожитки и отправлялся куда-нибудь... на Кольский полуостров, на Алтай, на Ангару, в Забайкалье, на Восточный Саян, на Курилы, на Командоры. Ехать на казаковский Север с надеждой что-нибудь написать... Юра не оставлял ни малейшей надежды. Я пускался в дорогу с надеждой, дорога ни разу не обманула меня.

В октябре 1971 года я получил письмо от Казакова. Оно написано от руки (чаще Юра писывал на машинке). Почерк у него убористый, отчетливый, малость небрежный, строчки внаклон — элегантный...

Взяв на себя право публикации казаковских писем ко мне, я испытываю сложные чувства: одно дело быть эссеистом, мемуаристом, но другое — публикатором. Написанное Казаковым четверть века тому назад никем кроме меня пока что не читано, мне одному и предназначено. Как быть без хозяина: предать гласности или оставить так?

Казаков писал письма с труднообъяснимой — по нашим временам — щедростью, как их писали в дотелефонную, даже дотелеграфную пору, с искрометным талантом, с язвительным умом, с озорством и фантазерством, со свойственной ему бесцеремонностью, свободой в выражениях, оценках и всегда с какой-нибудь идеей. Что-то такое вдруг его осеняло, — он и писал. Я знаю, множество казаковских писем хранится в домашних архивах Виктора Конецкого, Георгия Семенова, Виктора Лихоносова, Василия Рослякова и многих, многих других, известных и неизвестных. (Казаков писал письма рыбаку деревни Лопшеньга Вячеславу Ивановичу Яреньгину; нынче рыбак, как говорят в поморских селениях, померши; письма Юрия Павловича хранит хозяйка Яреньгина Александра Михайловна.) И я хочу, чтобы письма Юрия Казакова увидели свет, чтобы мы, жившие вместе с ним, и те, кто моложе нас, вслушались бы в голос писателя в тот момент, когда его осенила какая-нибудь идея-мечта или взбрело ему на ум что-нибудь очень понятное по-житейски; Казаков был всецело земной человек.

Итак... «Привет, старче! Я тут с болезненной скуки протянул свою исхудалую руку, выковырнул твою книжку, начал читать про рыбаков и вот не утерпел, решил тебе написать, поделиться, так сказать. Понимаешь, уже года три меня преследует мечта поплавать по нашим рекам и озерам и может даже по Б. морю на суденышке, желательно, конечно, на своем (подчеркнуто Ю. Казаковым. — Г. Г.). После долгих раздумий я пришел к выводу, что лучше, чем мотодора, для этого ничего нет. И даже узнал, где их делают. В Архангельске, братец ты мой, на соломбальской судовой верфи. И двигатель у них дивный, безо всяких свечей и прочей элект-

рической фиговины, и корпус мореходный, я интересовался, говорят, тамошние рыбаки не боятся на них ходить при волне до 8 баллов.

Но дорого <...>

А поплавать смерть охота! <...>

Наконец, меня осенило (вот именно: осенило!) Аренда! Ведь владельцы всяких катеров не все же время на них плавают. И не все уж так дрожат за свою посудину (в этом пункте Казаков малость прекраснодушен в отношении своих соплеменников-современников. — Г. Г.), что не дают чужой ноге на нее ступить. Может, кто-нибудь и сдает в аренду свои плавсредства. Ваш Питер самый плавучий город, вот я подумал, м. б. ты на досуге разузнаешь про аренду. Вот славно бы в мае сплавать, пройти по Волго-Балту или куда угодно.

Мотодору ты знаешь? Скуластая, бокастая и с одинаковыми кормой и носом.

Узнай, милый, про это дело и напиши мне. А то мы с тобой не охотились и не рыбачили вместе, а только пьянствовали иногда, а ведь это дурно.

Сижу и помаленьку тюкаю свой сев. очерк. Вот в 72 году выйдет сев. дневник, пришлю тебе, если буду жив.

Мотодора еще знаешь чем мне нравится? Ей на борт наступишь, она и не дрогнет, а то эти все катера — в них бабу ласкаешь с риском для жизни.

<...>

Целую!

Ю. Казаков».

Письмо само по себе требует затраты душевных сил, оно представляет собою, в некотором роде, разрядку, освобождение от обуревавших тебя каких-то не до конца ясных мечтаний, предположений, забот. Теперь заботы высказаны, они уже не только твои, но и переложены на чьи-то плечи...

После обмена посланиями, изобилующими всякого рода заманчивыми приглашениями-предложениями в смысле вояжей, охот-рыбалок и прочего такого самого лучшего в жизни (замыслы Казакова всегда по-московски с размахом: гулять так гулять), решительно никаких действий не предпринималось. Миги активной нашей переписки сменялись годами забвения. Слишком разно мы жили с Юрой Казаковым и если когда встре-

чались (редко, редко), то никакого слияния душ у нас не наступало.

Казаков по природе своей был... ну, что ли, солистом. В любом сообществе (городском, литературном) он занимал трибуну, вещал, изрекал, поучал, сообщал, наборматывал, курлыкал и мурлыкал. Слушать других столичных златоустов Казаков не умел: разве что — на моей памяти — Юрия Домбровского...

Я иногда думал о том, каково Казакову странствовать по Северу с Евтушенко, таким же, как он сам (может быть, еще больше), солистом-оратором, не умеющим слушать — это у них общее, может быть, еще из Литинститута... Надо думать, такое сходство и помогло Казакову с Евтушенко выносить друг друга в странствии: каждый занимал трибуну, молотил свое — без обязательства и потребности слушать. Зато с какой нежностью, гордостью упоминает Юра в своих записках «знаменитого друга», как вдруг округляет он и без того округлые свои глаза...

Говоря по чести, дружба моя с Юрой Казаковым, наивысшие взлеты, мгновения нашей дружбы — запечатлены, главным образом, опять же, в эпистолярном жанре. Стоило нам сойтись с Юрой — в Москве, Ленинграде, Переделкине, Малеевке, у него на даче в Абрамцеве... — и я скоро уставал от моего знаменитого друга, слишком много в нем было всего: таланта, мудрости, высшего знания, мощи духа и тела, постоянной готовности пировать. И еще какой-то печали: что-то знал Казаков о жизни — или о смерти, — об отпущенных ему сроках, чего не знали другие; что-то он видел там, впереди. Была в нем отъединенность от всех, особость...

В феврале 1974 года Юра прислал мне книгу «Северный дневник», с портретом и с трогательной, сердечной — как он это умел, — дарственной надписью: «Дорогому Глебу Горышину — путешественнику — от друга и тоже путешественника. Будь здоров, Глебушка.

Ю. Казаков.

Абрамцево».

Эта надпись для меня как посвящение в сан путешественника. Эта книга мне дорога, всегда у меня на виду, под руками. «Северный дневник» Казакова и еще «Характеры» Шукшина, с дарственной надписью на титуле — приглашением к путешествиям и встречам — «где-нибудь на Руси...»

Ранним утром 29 ноября 1982 года Юрия Казакова не стало. Он принял смерть с тихим мужеством, как говорят в поморских селениях, «ушел на долгий отдых». Накануне Виктор Конецкий читал мне только что полученное от Юры Казакова из больницы письмо — показавски обстоятельное, длинное, с необходимыми колкостями, с юмором, с надеждой на что-то хорошее впереди, с сокрытой в строках печалью. Казаков пожурил Конецкого за его повесть «Третий лишний», в том смысле, что писатель не может быть лишним среди людей, в любом сообществе; он и есть то бродило, что подымает жизнь до искусства. Это — любимая мысль Казакова; ему вообще были чужды какие бы то ни было комплексы. И Казаков делился с товарищем планами на будущее: «...хочется заниматься литературой, ни к чему не обязывающей, — ну о том, как, например, прощаешься с женщиной, о людской одинокости, «внезапный мрак иль что-нибудь такое...» — кто там разберет, что в жизни главное, важно только хорошо об этом писать». И в самом конце письма, в последней строчке Юра прощался с другом, на всякий случай. Даже в лучшие свои времена он обязательно оговаривался чуть не в каждом письме, как Лев Толстой: «е.б.ж.»

Через год после смерти писателя в издательстве «Советский писатель» вышел сборник его рассказов, очерков, литературных заметок «Поедемте в Лопшеньгу». В Лопшеньге Казаков живал, описал эту полюбившуюся ему поморскую деревню уже в раннем своем рассказе «Никишкины тайны».

«Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганно, сбились в кучу, глядят замороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, 'приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пес-терем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все <...>».

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий, все помнят, все знают...»

И еще, в «Северном дневнике»: «Раз в два или три дня на солнечной светлоте берега, на грани воды и земли появлялась одинокая фигура женщины. Приближа-

лась она медленно. Следы этой женщины, если посмотреть потом, были частыми, усталыми. Она волочила ноги и ступала нетвердо. Следы скоро заравнивало водой, а старуха молча, хмуро отдав почту рыбакам, уходила дальше и скоро скрывалась за голубым крутым мысом. Ходила она из Лопшеньги в Летний Наволок. Расстояние между этими деревнями было тридцать пять километров.

Жизнь человека полна подвигов, и это слово очень полюбилось нашим литераторам. Но, странно, я никогда не слышал его от людей, творящих эти самые подвиги. Они никогда не рассказывали как о подвиге о своей трудной работе, полной иногда смертельных опасностей».

«Поедьте в Лопшеньгу» — это очерк о Константи́не Георгие́виче Паустовском, который Юру Казакова очень любил. И Юра Казаков тоже любил Паустовского. Работая над очерком «Поедьте в Лопшеньгу», Казаков почему-то вдруг вспомнил меня (наверное, я в это время думал о нем) — и упомянул в тексте, будто позвал меня туда, в Лопшеньгу!

Я прочел этот очерк, когда Казакова уже не было на свете. Тут как раз представился случай поехать в Лопшеньгу: в Ленинграде нашелся мне спутник, родом из Лопшеньги, коренной помор, собравшийся в отпуск к родителям. Перед тем как пуститься в дорогу, я побывал на Ваганьковском кладбище, постоял над могилой моего друга с поморским деревянным крестом, увенчанным поморским повершьем-угольником...

Ранним утром погожего осеннего дня теплоход «Соловки» кинул якорь на рейде против сбежавшей с холмов к морю деревни. Я жадно вглядывался в открывшуюся мне панораму бескрайних синих лесов на холмах, катящего белые валы моря, в дышащую теплом своих жилищ, пускающую дым в небо деревню Лопшеньгу — и казалось мне, кто-то очень знакомый глядит мне в самую душу, оттуда, с Летнего берега, давно меня ждет...

2

Сильно пахнет морской водорослью. Чуть плещет в берег морская вода. Чуть пригревает затылок и уши вечернее солнце.

Утром с палубы видно было, как охотятся за селедкой две белухи. Я поделился этим наблюдением со стоявшим рядом со мною помором. Он поправил меня: «Не две, а три».

На лоне вод заметны колья, вбитые в дно; к ним крепят сети; это заколы, семужьи «тони». Шел мимо помор, поговорили; я сказал: «Тóня», помор поправил меня: «Тоня́».

У самой воды шустро прыгают трясогузки. На воде сидят чайки. «Если чайки сядут в воду, жди хорошую погоду». Помор в Соловках оспорил эту, одну во всех чаячьих местностях, приметку: «Как штормит, так они и садятся, любят в волне...»

Поморы — народ серьезный, с собственной точкой зрения на каждый предмет.

Вчера... нет, теперь уже позавчера, теплоход «Соловки» шел по Северной Двине, вдоль штабелей леса, пиломатериалов, труб, кранов, лесовозов, болотистых низин, жидко-лиственных лесов. Население теплохода скапливалось у дверей ресторана. В первых рядах колготились поморские бабки (на Белом море их зовут «жонками»). Ресторан должен был открыться через три часа по выходе «Соловков» из Архангельска. «Жонки» простодушно делились друг с дружкой своими предвкушениями: «Поедим вкусенького!»

С той же мыслью за теплоходом летели толпою чайки. Это были кургузые, небольшие, с белыми крыльями, городские или пригородные чайки. Они переговаривались друг с дружкой о том же, что и «жонки»: «Поедим вкусенького!»

Некоторые чайки, выбившись из сил, вытягивали прижатые к брюшку, тонкие, вывернутые в коленных суставах ноги, становились на антенны теплохода, стояли, задрав хвосты, сложенные в форме латинской буквы V. Стоять так подолгу, то есть ехать на теплоходе зайцами, чайки стеснялись и принимались гортанно квохтать, махать крыльями, объяснять, как много они потрудились в жизни на общее чаячье благо; имеют же право на короткий отдых. И снимались с антенн, уступали место другим.

Наутро в открытом Белом море я увидел двух чаек другого вида (или подвида) — чернокрылых. Подкрылья белые, белое чаячье тело-гондола, совершенной аэродинамической формы — и черные траурные крылья.

Нет песни о чернокрылых чайках, поется только о белокрылых, но в Белом море почетным эскортом за теплоходом «Соловки» летели две чернокрылые чайки. Потом появились и серые чайки, рябоватые, в крапинках, грузноватые, необлетавшиеся клуши, сей год явившиеся на свет.

В первую ночь плавания все вышло не так, как должно было выйти. В море стало качать, под утро теплоход кинул якорь («яшку») на рейде против Лопшеньги, однако никаких плавучих средств от берега не отвалило: силен был накат. Те, кому надлежало ступить на берег «Лопшеньгской республики» (так величают здешние поморы свою обетованную землю), вышли с вещами к трапу, вглядываясь в море и берег. Накатывали валы с белыми гребнями, зыбалось судно. Учительница математики Нина, направленная в Лопшеньгу после Петрозаводского пединститута, жестоко маялась морской болезнью: берег рядом — и не соступишь на него. Чаящие перевоза пассажиры то вдруг что-то улавливали движущееся, черное среди белоголовых валов, то теряли из виду. От напряженного вглядывания у всех уставали глаза.

Теплоход отстоял (отзыбался) час, снялся с якоря, пошел дальше. К утру стихло, не совсем стихло, ровно настолько, чтобы поморы деревни Летний Наволок (в прошлом деревня звалась Дураково) смогли бы прыгнуть на своих карбазах и мотодорках через накат. Суденышки ринулись от берега к пароходу врассыпную, каждое по своему — наикратчайшему — радиусу. В лодках сидели, стояли радостные по случаю парохода, субботы или еще по какому случаю поморы, простоволосые, белокурые, голубоглазые, ясноликие — исконно русская новгородская порода. Потомки новгородских землепроходцев, воителей, ушкуйников, гусяров — с какой-то непостижимой грацией балансировали на довольно крутой зыби у борта теплохода, взбираясь на борт по веревочному трапу, передавали наверх и вниз мешки, посылочные ящики, баулы, авоськи, жестяные банки с кинофильмами, собственных грудных младенцев, втягивали наверх, принимали внизу своих «жонок», бабушек. Они спрыгивали в пляшущие лодки, подобно Икарам, только без крыл за плечами. Летели брызги, пенилось море, ревели моторы. В большой баркас сгружали с теплохода капусту. Море не то чтобы смеялось,

но у него было доброе, озорное, субботнее настроение.

Ближе к вечеру пароход «Соловки» стал втягиваться в бухту, прошел мимо двух Заячьих островов — Большого и Малого, пристал к пирсу. Двое швартовых мужиков набросили на кнехты швартовы. Можно стало сойти на твердую почву, подняться по мосткам к Соловецкому монастырю, удостовериться в том, что он существует въяве, не только в альбомах и на открытках... На монастырской стене дощечка с надписью: «...заложен в 1436 году». И не понять, не представить себе, какими голиафами заложен, какими добрыми молодцами были соловецкие монахи, здешние мужики и пришлые мастеровые, как они закинули, взвалили друг на дружку исполинские камни, как скрепили их в монолит — на века... И приходили в голову какие-то близко лежащие, далеко от корня российской словесности отстоящие слова: «форпост», «фундамент»... Что-то, правда, было фундаментальное в этих тыщепудовых каменюгах, воздвигнутых в стены — в подпору не только Соловецкой обители, но и державе. На сих камнях зиждилась, стояла Россия. Никто не смог их поколебать, стронуть с места. Сбили кресты, колокола; похилились купола; стены остались — напоминанием об основе.

На подворье монастыря бродили праздные, снулые туристы. И какая-то отчужденная жизнь воспроизводилась вокруг стен. Темнели воды Святого озера. По ту сторону Белого моря алела низкая кайма зари. Сиял огнями теплоход «Соловки»...

Все это в свое время увидел, пережил в сознании художника Юрий Казаков... «Море — как стекло. И клюквенная полоса на горизонте (найденно слово, присущее этому месту — клюквенная!), и облака, и черные карбазы на якорях, и мокрые черные камни — все отражено в его зеркальности. Идет прилив. На песчаном дне между камней ручейки наполняют ямки, следы чаек. Отвлечешься чем-нибудь, потом глянешь на воду: камень, который только что высоко и черно торчал из воды, теперь почти скрылся, только мокрая лысинка розовеет, отражая небесный свет, и вода возле этой лысинки — бульк, бульк! Чмок, чмок!

Чайки невдалеке, как растаявшие льдинки, бело-голубые, спят на воде, подняв торчком хвосты...»

Одних только всяких «бульк, бульк, чмок, чмок» или еще «брлем, брлем, пу-пу-пу» у Казакова наберется на

целый словарь звукоподобий. Казаковское ухо всегда настроено на звучащий мир, как звукоуловитель.

...Истекало время стоянки нашего теплохода у соловецкого пирса. Вся атмосфера осеннего вечера в Соловках проникнута была грустью, как солью — Белое море. Непрошенные, являлись скучные мысли. Ну что же... Вот — Соловки. Побывали. Отметились. Прикоснулись. Может статься, когда-нибудь, в бестолковом хвастливом споре о том, кто где был, что выше и лучше, всплывет и это: «Я был в Соловках...» Хотя... И спорить-то не о чем. Ну, был и был, так что же?

3

Юра Казаков в первый раз добрался до Соловков в 1956 году: вначале на Летний берег, в Пертоминск, оттуда — пешком, на карбазах — до острова Жижгина, и на шхуне в Соловки. Он исходил острова, надышался здешним воздухом, просолился солью особенной соловецкой печали, не ушел до тех пор, покуда ощутил в собственных костях каменную тяжесть исторической памяти.

Через десять лет опять явился в Соловки, сравнил, что было, что стало, и написал «Соловецкие мечтания», в том самом жанре лирической прозы, который давал писателю необходимый ему простор самовыражения — от нежных признаний в любви до по-граждански страстных раздумий о судьбах русского Севера, роли его святынь в современной жизни. В «Соловецких мечтаниях» Казаков по-художнически зримо с публицистической остротой свидетельствует о том, что случилось с Соловецким монастырем, скитами на островах; сердце писателя уязвлено утратами, разрухой, поруганием, постигшими Соловки...

«Зачем же было мстить камням и стенам, зачем было исключать богатейший, хозяйственно развитый край из экономики области и страны? Неужели только за то, что стены эти выложены монахами? А монахами ли только они выложены? Нет, в этих стенах труд сотен тысяч поморов, приезжавших на разные сроки — «по обещанию» — на протяжении сотен лет...»

Казаков взывает к памяти, совести, почему-то вдруг отключенному здравому смыслу: «Соловки нужно спасти! Потому что русскому человеку нужна история.

Нам просто необходимо постоянно иметь перед глазами деяния наших предков, далеких и близких, потому что без гордости за своих отцов народ не может строить новую жизнь. Сыны отечества — это великий титул, и нам нужно всегда помнить об этом».

И он верует в силы благие, мечтает, со свойственным ему максимализмом, с хозяйственной конкретностью, с безудержным замахом — в мечтаниях не стоит мелочиться: «...мне думалось, что настанет когда-нибудь золотой век и для Соловков. Что Соловки восстановят во всей их первоизданной красе. Что в обширных помещениях монастыря вновь заблистают фрески <...>. Что станут вновь работать био- и метеостанции, что дороги тут исправят, что в многочисленных, пустых теперь кельях откроются пансионаты, гостиницы, рестораны, что будут на острове такси и автобусы, что забелеют в лугах фермы и много станет своего молока и масла, что <...> корабли из Архангельска и Кеми будут входить прямо в Гавань Благополучия. <...> что между всеми островами архипелага будут курсировать катера, что будут здесь и заповедники <...>.

В общем, это была довольно скромная мечта, но и от нее мне было как-то горячо на душе, потому что неотступно были передо мной ободранные исторические стены».

Нельзя, конечно, утверждать, что высказанная Казаковым в 1966 году мечта о воссоздании и благоденствии Соловков, о привнесении сюда современного комфорта и всего такого прочего так уж и претворилась в явь. Но кое-что делается — по реставрации исторического памятника, упорядочению туризма на Соловецкие острова. Написанные по свежим впечатлениям, злободневные в свое время «Соловецкие мечтания» не устаревают, не остывает их пыл, не увядают высказавшие себя в слове душа, гражданские чувства, мужество, талант писателя.

Очерк о судьбине Соловков вошел в книгу «Поедемте в Лопшеньгу», непосредственно примыкает к «Северному дневнику», сообщая всей северной эпопее Казакова тревожный отсвет, как сполох северного сияния — еще теплomu дню сентябрьскому небу над Белым морем.

Юрий Казаков остро ощущал свою причастность чему-то общему, высшему: истории, времени, отечественной литературе (свойство большого таланта!). И он сердился (или, лучше сказать, гневался: на сердитых воду возят), видя сбои в понимании общего хода и блага.

В книгу «Поедемте в Лопшеньгу» вошла давняя (напечатанная в 1967 году в «Литературной газете») реплика Юрия Казакова по поводу критической кампании против лирической прозы — «Не довольно ли?». Реплика эта нисколько не устарела (не устарело ничто из написанного Казаковым), она высказана с взглядом далеко вперед, от лица целой когорты писателей, близких Казакову по духу (в их числе и пишущий эти строки); ее пафос всецело внятен талантливому молодому, идущим в литературу через двадцать лет после Казакова...

«Лирическую прозу стегали все, кому не лень. Иной маленький рассказ вызывал, бывало, такую злую реакцию в критике, что количество написанного об этом рассказе в сто раз превышало объем самого рассказа...»

Тем, кто не знает литературных нравов середины шестидесятых, и тем, кто счел за лучшее их позабыть: в наше время нравы смягчились, — может показаться странно-преувеличенным высказанный Казаковым упрек. Но я-то помню: чуть не каждый появлявшийся в печати рассказ Юрия Казакова почему-то раздражал нашу критику чуть не до зубовного скрежета. Особенно досталось «Звону брегета» (у меня еще будет случай особо остановиться на этом рассказе)...

Личная обида не застила глаза Казакову; строки, написанные им во гневе (в благородном негодовании), обладают собранностью, меткостью попаданий: мысль свежа, гибка, неотразима. Полемические тирады Казакова стоит прочесть для того хотя бы, чтобы лучше понять подтекст, недоговоренность элегического по тону монолога «О мужестве писателя». Вообще понять Казакова.

«Мы еще не настолько оскудели памятью, чтобы забыть версты проработочных статей, сопровождавших лирическую прозу на протяжении многих лет. Каких только ярлыков не навешивали на нее! «Очернительство» и «клевета» были еще не самыми сильными литературоведческими терминами. <...> Иные статьи недавне-

го времени надолго отбивали у авторов охоту работать в области лирической прозы, а у редакторов — иметь с ней дело».

Но как бы ни гневался Казаков, как бы ни уязвляла его злостная неразборчивость и предвзятость некоторых критиков того времени, даже в полемической реплике «Не довольно ли?» он сохраняет олимпийскую высоту, будучи абсолютно убежден в победительном превосходстве таланта. И он непременно оптимистичен в итоге.

«И все-таки лирическая проза выжила и процвела (...). Она не могла не вызвать ожесточение известной части критиков, потому что сначала робко, а потом все смелее начала ломать установившиеся каноны как в самой прозе, так и в критике. Да, и в критике, потому что писать о лирической прозе набором штампов и газетной прописи, составлявших лексикон рецензий о «производственных» романах, уже нельзя было, нужно было подтягиваться до уровня нового писателя.

Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преобразование обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, если эти достоинства лирической прозы не замечать, то что же тогда замечать?

Конечно, не добротой одной жива литература, но разве доброта, совесть, сердечность, нежность так уж плохи по нынешним временам? И вздох может пронзить...»

Ну где, когда, у кого вы можете прочесть о пронзающем вздохе? Какой критический орган уловил столь малую величину, учел ее в своем «табеле успеваемости»? Кто обладает даром проникновения к тончайшим кровеносным сосудам, к самому сердцу литературы? Кто решится на столь всесторонний самоанализ? Какая критическая статья сравнится с самоистолкованием Казакова — по тонкости понимания самой сути писательства? В каких, самых бодрых, отчетах встречались мы с органическим, как у Казакова, оптимизмом — без празднословия и барабанного боя, — основанном на сознании собственных сил?

«Лирические прозаики принесли в литературу, —

развивает Ю. Казаков свою излюбленную мысль, — не только вздох и элегию, как утверждает В. Камянов, они принесли еще правдивость, талантливость, пристальное внимание к движению души своих героев <...>.

Русская литература всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем, — их решала история, но литература всегда была немного впереди истории».

Перефразируя Казакова, сегодня можно сказать, что сам писатель находился так далеко впереди язвящих его критиков, что ни одному из них не достало поля зрения — соизмерить его масштаб.

В наши дни издаются, выходят в свет, жадно прочитываются новым, молодым читателем, воспитывают в нем любовь к Родине, мужество, человечность, чувство прекрасного книги Юрия Казакова... по тем или другим причинам запоздавшие, не вышедшие при жизни замечательного писателя XX века... Казаков по-прежнему с нами — и где-то там, впереди, в своей извечной прекрасной недостижимости...

5

Утром открылась Лопшеньга (сходили в Соловки, вернулись). По свежему морю к теплоходу прибежали дорки и карбазы. В одной из дорок сидел остроскулый, в очках, в шерстяной шапочке — даже и не старик еще, а так, в годах помор. Двое его сыновей, молодые, но возмужалые, по виду вполне устроившие свои жизни ребята, свешивались с борта, кричали: «Пап, а пап!» И он поднимал к ним свое щетинистое лицо. Глаза его за стеклами сильных очков казались большими. Сыновья спрыгнули в дорку, приникли на мгновение к отцу, привычно сели к рулю, к мотору...

Я смахнул слезу, видя это. Что может быть лучше, трогательнее в жизни мужчины?.. Устроить собственную жизнь, самому стать отцом — и еще иметь родного отца на Белом море в Лопшеньге... Спрыгнуть к нему в дорку, прижаться к его щетинистой щеке... На берегу обняться с матерью — и очутиться в своей родной избе, не обветшавшей, справной, в теплом царстве детства и отрочества... Сесть к столу, поесть вареных картошек с

солеными сыроежками, с луком и постным маслом, с камбалкой, попавшей утром отцу в рюжу, с жареной корюшкой, а потом — томленную в печи пшеничную кашу с топленым молоком, напиток чаю с пирогами с брусникой, с домашним вареньем: рябиновым, черничным, земляничным, малиновым...

Везет же людям родиться в Лопшеньгской республике! И там вдали, за морями и долами, в больших городах поморские сыновья приживаются цепко, как можжевельник на здешних угорьях...

Я приплыл в дорке, вместе со счастливыми братьями, счастливым их отцом на заповеданный лопшеньгский берег. И учительница математики Нина, измученная морской болезнью, испуганная предстоящей ей неведомой жизнью в дальней дали, тоже приплыла в нашей дорке.

И пусто, пусто было на улицах Лопшеньгской республики: мужики в море, «жонки» в лесах. Ранняя осень — время страдное!

6

Лопшеньга строена лицом к морю, то есть на восток, к восходящему солнцу. Выражение лица каждой избы похоже на выражение лица ее хозяина. Или, вернее, хозяйки. Выражения лиц у мужиков более замкнуты, чем у «жонок».

Я живу в избе у Анны Федоровны Лысковой, у бабы Нюши, в крайнем, ближайшем к морю ряду: деревня имеет четыре ряда с ответвлениями. В горнице, где я живу, шесть окон; три на восток, три на юг. Из всех шести окон видно море. Горница поделена перегородкой; ход из одной половины в другую свободный; дверь не навешена.

Когда я бегу по деревянным мосткам — в магазин, в клуб, в кино, в избу к братьям, привезшим меня в Лопшеньгу, то всякий раз прочитываю стихотворный лозунг на стенде против правления здешнего рыболовецкого колхоза:

Смелый труд рыбацкий
у страны в чести!
Доброго улова!
Доброго пути!

Рыбаки Лопшеньги не только ловят семгу на прибрежных тонях, но и выходят в Мировой океан на собственных колхозных траулерах.

...Однако нужны уточнения: упомянутый мною в начале этих заметок медведь ходит к морю из лесу не рыбы ради. На берегу моря пахнет ворванью, тюленьим жиром...

А ну-ка поищем у Казакова в «Северном дневнике», там у него, помнится, есть о тюленях, вся родословная тюленья, на поморском наречии изложенная... Ага, вот она...

«— Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится,— это тебе зеленец... А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белек...

Потом пятнашки идут по ней, по тюлешке-то, и это у нас серка, серочка...

А на другой год тюлень-ти большой, большо-о-ой... И называется серун. А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? Не серун — лысу-ун! Лысун, а самка — утельга!»

Да, вот так... на берегу салотопка, сало закатывают в бочки, валяются куски тюленьих шкур. Запах силен, приводит медведя к салотопке; медвежьи следы на песке свежи, приглублены, недвусмысленны; идя на берег, медведь расписывается в своих намерениях: «Мне нравится тюленье сало, я хочу его и я его съем!»

Стоит заговорить с кем-нибудь в Лопшеньге про медведя, и вам расскажут уйму медвежьих историй. Это здесь, так сказать, профилирующая тема для досужих разговоров. Однажды михаил иванович (я пишу имя с маленькой буквы, поскольку разбойник остался лично неопознанным) укатил бочку с салом чуть ли не до самой берлоги. Его тезка унес морского зайца, лахтака, то есть нерпу. Моя хозяйка Анна Федоровна рассказала про то, как мужикам в сеть попала утельга, не в сезон. Что с ней поделаться? Свезли на берег и бросили. Потом как-то идут по лесу, далеко от моря,— и видят: что-то большое белеется (тюлениху-мать еще зовут белесницей). Оказалось, та самая утельга. Ну да, конечно, медведь унес. Какой бы из него получился отменный переносчик грузов; если бы научить...

А то еще было, списали консервы, заактивировали. На

складе они хранились, у моря. Здесь все склады, амбары — у моря. Вырыли яму — и похоронили заактированные консервы, благо рыть легко: пески. Михаил Иванович, конечное дело, озаботился, не потерпел такой человеческой неграмотности: сгубили добро. Ночью все раскопал, банки раскусил, ушел домой сытым.

Еще рассказала мне баба Ньюша о зверобойке. Уходят на промысел бельков в конце февраля, возвращаются к восьмому марта. Так нынче: промысловых мужиков увозят на вертолете прямо в «кожу». «Кожа» — это льдина-лежбище белесниц с бельками. Прежде уходили на карбазах в феврале, возвращались только к маю.

У бельков самая дорогая шкура, их палками бьют. У белесниц — сало. Сальные туши белесниц не тонут, их тянут наплаву за карбазами.

Сегодня воскресный день, пасмурный, без ветра, с дождем. Всю неделю ветер менялся, то с севера заходил — это морянка; при морянке не берет никакая рыба. Налетал с юго-запада шелоник (шалоник) — на море разбойник. Дуло то с юга, то с запада, то с востока. Восходило солнце, прямо из лона вод, против моего окошка, обещало впереди целый день жизни, особенной, поморской, ни на какую другую не похожей.

Раньше всех приступают к трудам в Лопшеньге две пекарихи: пекарня рядом с избою Анны Федоровны. Хотя как рядом... Избы ставлены с таким расчетом, чтобы каждому хозяину хватило пространства — для осознания себя хозяином положения: избы просторные, на большую семью, на две половины, зимнюю и летнюю, со множеством хозяйственных пристроек. У всех огороды, картофельные полосы, рябины под окнами, бани на задах — и вид на море.

К обеду поспеет хлеб в пекарне, его отвезут в магазин — в синем хлебном ящике, на лошадке. Хлеб можно купить неостывшим, с пылу с жару. И еще можно купить коровьего масла — из своего колхозного молока, на своей маслобойке сбитого, сливками пахнущего. Масло из Лопшеньги никуда не увозят, нет дорог (только по воздуху и морю); тут все и съедают.

В Лопшеньге копают картошку, и баба Ньюша копает. Зять приезжал из Архангельска, жил две недели, начал копать, да нужно было еще ему обежать озера, по-

рыбачить, брусники набрать. Так и уехал... Зять бабин Ньюшин экскаваторщик, мелиоратор: роет осушительные канавы на Пинеге. Дома его только зимой и видят.

Перед отъездом зять истопил баню. Баня тем хороша, что колодец вырыт в предбаннике: черпай воду, доставай, плечи на каменку, наддавай пару. Тут же в предбаннике и дрова, их принесло море: баба Ньюша пойдет на берег — приволочет лесинку.

Баню построил муж Анны Федоровны. Он и избу построил. Ему уж перевалило за восемьдесят, а все, бывало, парился. Крепок был старик. Пришло время — и помер. Первый муж Анны Федоровны утонул в «шторминушку». На зверобойку ушел и не вернулся.

Мы попарились с зятем бабы Ньюши, прямо с полка рванули сотку до морского вала, охолонули, подсолились в шибко соленой беломорской воде — и опять на полóк.

Сын Анны Федоровны в Москве кандидатом наук. Он редко навещается в Лопшеньгу. Жена у него с Кубани, казачка: познакомились в Сочи. Дочери бабы Ньюши — одна в Архангельске, на лесозаводе работает, другая еще в каком-то городе, не помню. Летом с бабушкой в Лопшеньге живет внучка. Баба Ньюша зимой живет в Архангельске у дочери, побывала она в Москве, в Ленинграде, на Кубани у сватьи, еще где-то.

Я попросился в помощники бабе Ньюше картошку копать, но она с деликатной твердостью не подпустила меня к этому, требующему навыка, ответственному делу. Зато доверила мне топор. Мужики напилили ей пилой «Дружба» стасканный за лето к бане плавник — за установленную мзду... И вот я машу топором, кланяясь восходящему солнцу, дышу и моряной, и шелоником — всеми поморскими ветрами. Едва ли есть еще такое сладостное дело, как дрова колоть на восходе солнца у Белого моря, по холодку. Разве что писать лирическую прозу у себя в кабинете на канале Грибоедова...

Десять часов утра. Белое море. Ветер с юго-востока. Отлив. Обнажились косы. Безоблачно небо. Прямо мне в глаза сияет солнце. На море солнечная долина. Осиянная, зыблемая вода. Справа, на юге, ярусы холмов. Далеко в море уходящий мыс — там село Усть-Яреньга, в восемнадцати километрах. Слева, в сорока километрах,

Летний Наволок, а там уже Летняя Золотица — и Соловецкие острова.

Прошел мужик с удочкой. Бегают по отмели кулички. Сидят на суше чайки. Летают вороны.

Баба Ньюша вчера весь день отрезывала с принесенной с болота клюквы усики: подержала в руках каждую клюквинку, обрезала ее ножом, как обрезают редиску. Лучше будет варенье, без усиков.

После трех суток гуляний вернулся домой бабин Ньюшин кот Мурзик. Я спросил у хозяйки, где он был.

— А где кошки, там и он. Вернется весь покаранный... Внучка у меня спрашивает: «Бабушка, где его так?» Я говорю: «А на гулянке. Мужики на гулянке, нать, подерутся, и кот тоже».

Дневной рацион у кота Мурзика: две вареные картофелины, мятые, с постным маслом. Я угостил кота однажды отваренным грибом моховиком. Кот принялся урчать от вожделения, как урчат одичалые коты в наших дворах над куском мяса. Дал Мурзику корочку вафли, он схрупал ее с выражением крайней важности на своем кошачьем «лице».

7

Жизнь на Летнем берегу Белого моря, его обжитое пространство, «культурный слой», возделанная полоска, надышанное человеческое тепло — это перешеек между двумя стихиями: морем и тайгой, водой и лесом. Юрий Казаков был привержен к морской стихии, приворожен запахом морской рыбы, водоросли, пригрет в избушках на семужных тонях, обветрен и укачан на карбазах-дорах.

Между тем люди в Лопшеньге и других поморских селеньях, как двуликие Янусы, и в море глядят, и в тайгу. Поморское солнце восходит из моря, садится в синеющие на холмах лесные гряды.

Вот и мои спутники: Старший брат, Младший брат (Средний — штурман на корабле; мы со Старшим у него переночевали в Архангельске) с утра помогут отцу потрясти рюжу, разживутся в море камбалкой, корюшкой, покопают картошку, половят — опять-таки в море — дровец, побудут с папой-мамой за семейным столом, на радуются досыта — и в леса.

Души поморов не только морские, но и лесные. Леса

на Летнем берегу (и на Зимнем тоже) достойны отдельной поэмы; будь у меня талант и моторность натуры, как у Юры Казакова, и я бы...

Тут мне приходит на память рассказ замечательного писателя, моего — увы! — тоже покойного друга Виктора Курочкина (почему друзей моих дорогих нет в живых, ведь на дворе у нас мирное время?!) «Яба». Герой в нем все выхваляется: «Я бы...» Его и прозвали «Ябой»...

Есть прекрасные книги о нашем поморском Севере, то есть рождаются у нас на глазах, на той самой ниве, где колосилось словесное узорочье Семена Писахова, звучал высокий лад поморских сказаний Бориса Шергина, героических эпопей Ивана Соколова-Микитова, откуда родом «Северный дневник» Юрия Казакова... Полнозвучно разговаривает русский Север со всем миром — на всемирном языке литературы. Язык у Севера свой, особенный, поэтический, напевный, шелестящий, как летнее поле, и рокочущий, как морской накат, ядреный, как сосна в бору, резонансный, как здешняя елка, нашептывающий, как осиновая роща, из глубин Новгородской Руси, не знавшей татарщины и иной чужестранщины, до нас донесенный... Читали роман Владимира Личутина «Скитальцы»? Там подлинный Север, душа его живая, судьбина немилосердная, узорочье словесное... Или — «Крень» Виталия Маслова, родом мезенского помора, начальника радиостанции на атомоходе «Ленин»... Сколько в повести Маслова боли, сердца, желания добра Северу, своим землякам, братьям и сестрам! Главное их добро — в вечной жизни на предками-новгородцами приращенных к России поморских землях; не уходить, не бросать свою малую родину, не потерять что-то главное — крень, основу («крень» — киль поморского судна, из особо крепкого, смолистого, с перевитыми слоями кряжа вырубленный)...

Как сказал Казаков: «Хлеб и земля не только образы, — конкретика философского мышления. Поэтому деревня, по-моему, у талантливого писателя и не может стать прошлым, преходящим. Ведь происходит не описание, а познание основ, осознание».

8

Сижу у моря. Лопшеньга — вот она, самая живая деревня на Летнем берегу. Избы окнами на восток, колы-

хание моря, белые птицы на серых камнях... И — ощущение запечатленного мгновения какого-то недоступного смертному высшего счастья...

В первый раз я встретил Юрия Казакова на Всероссийском совещании молодых прозаиков в Ленинградском Доме писателя, в 1957 году. Сам я тогда еще не значился прозаиком, даже и молодым. Меня допустили на семинар, руководимый Верой Федоровной Пановой, в качестве секретаря для ведения протокола. И я таки писал протокол! (Мои протоколы, может быть, где-нибудь хранятся в анналах.) Семинаристами были Конецкий, Погодин, Инфантьев, Жилин из Астрахани, Казаков и, как пишут в отчетах, «и др.».

Как-то в перерыве я подошел к Казакову, собрался с духом и «со всей прямоотой» объяснился ему в любви по случаю прочтенных мной его рассказов: «Странник», «На полустанке»... Казаков принял это как должное, «ни один мускул не дрогнул на его лице». Он был тогда молодой, уже лысый, высоколобый, в свитере с оленями, усвоивший себе — на всякий случай — боксерскую стойку (между прочим, в те годы такая стойка считалась удобной для вхождения в литературу; Виктор Голявкин, например, вошел в литературу в звании чемпиона города Баку по боксу. Голявкин был близок по духу, по таланту Казакову; Казаков близок Голявкину). Первое наше знакомство с Казаковым ограничилось одной сигаретой в «кулуаре».

Но Казаков запомнил меня: на следующем Всероссийском совещании молодых прозаиков в Малеевке, в 1959 году, мы встретились с ним как друзья, уже в одинаковом ранге семинаристов. Совещание было созвано только что созданным тогда Союзом писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым. Подающие надежды съехались, правда, со всей России: так, Анатолий Ткаченко приехал с Сахалина, Виктор Астафьев из Перми, Николай Жернаков из Архангельска, Владимир Сапожников из Новосибирска, Виктор Потанин из Кургана, Петр Сальников из Тулы, Валентин Зорин аж из города Сочи. И каждому дали в зубы ключ от отдельного номера в Доме творчества в Малеевке, на огромный срок в двадцать шесть дней, с трехразовым питанием. Такого блага никто из нас в своей жизни еще не имел, каждый

добывал хлеб свой в поте лица; первые заигрыванья с капризной дамой сердца — литературой — порождали в душах томящую, пока что не утоляемую надежду на взаимность — и только.

В овраге за малеевским Домом творчества цвела черемуха. По вечерам в гостиной поочередно каждый из нас что-либо прочитывал — и подвергался перекрестному разбору — с крайних, самых неожиданных точек зрения (семинаром, в котором я занимался, руководил Лев Кассиль). Каждый носился с собственной точкой, как с писаной торбой. Все долго молчали — и вот всем дали возможность поговорить...

Одни рассказы давались на общее обсуждение, другие читали в ночную пору у кого-нибудь в номере, в табачном дыму невпродых — и судили их по-другому, «по гамбургскому счету» (тогда это выражение было в моде). Складывались группы единомышленников, супротивников — и распадались; рысью бегали в соседнюю деревню в магазин, до изнеможения резались в волейбол на площадке, влюблялись в семинаристок, референток, ревновали (на семинарах преобладал мужской элемент), спускались в черемуховый овраг к ручью, гуляли по холмам и рощам, непрестанно делясь друг с другом самой разнообразной, как теперь говорят, «информацией».

За все это благо устроителями совещания (т. е. Секретариатом Правления Союза Писателей РСФСР) для участников была предусмотрена «отработка»: написать рассказ на современную тему. Даже подсчитано было: участников что-то около пятидесяти, значит, и полсотни рассказов — сразу целая книга, значительный вклад и т. д. и т. п.

И мы писали. Не знаю, как кто, а я садился к столу в моем — впервые в жизни — отдельном кабинете, писал с захоловшим сердцем, боясь упустить ощущение этого дня моей жизни, остроту восприятия этой весны моей молодости; я писал как будто письмо — изъяснение в любви (тогда в ходу была «исповедальная» проза). Получился рассказ «В тридцать лет». Читая нынче его, удивляюсь, как смог, как выдержал истончение чувства — до самых верхних нот, как сыскались слова...

Юра Казаков держался на совещании в Малеевке малость особняком. Он закончил Литинститут, как у нас говорят «профессионализировался в литературе».

его имя приобрело известность, его коснулась слава своим крылом. За Казаковым оставалось последнее слово в споре; да он и не спорил, он работал тогда, кажется, над «Северным дневником». И он не разделял упований устроителей совещания, в том смысле, что пятьдесят гавриков, свезенных в Малеевку со всей России, сядут к столам, так вдруг и напишут — под неусыпным призором — целую книгу рассказов на заданную тему (книга, разумеется, не вышла). Казаков чурался заданности.

Он представил тогда на обсуждение рассказ «Звон брегета» — о любви Михаила Лермонтова к Александру Пушкину, так и не высказанной; об одном петербургском дне гусара Лермонтова — дне смерти Пушкина, о судьбе большого таланта в России.

«Солнце вошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезла, не рассыпалась ли прахом великолепная столица. И, увидев, что не исчезла, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкший зимний петербургский день...» Так начат «Звон брегета». А вот последняя фраза: «Позади остался Петербург, совсем уже пустой без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко, ехал, чтобы через пять лет, точно так же, как и Пушкин, пересказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в грудь».

«Звон брегета», может быть, самый искусственный рассказ из всего написанного Казаковым, но — музыка звучит, скрипка плачет, берет за душу...

Сам автор указал нам на изъян своего детища (мы могли бы и не заметить); в интервью «Литературной газете» в 1979 году Казаков счел нужным оговориться в отношении «Звона брегета»: «У нас уже выработались некие обязательные атрибуты прошлого. Да вспомним хотя бы фильм «Дворянское гнездо»: мрамор колонн, зеркальные полы, утонченные выражения... Все это было, но только у нескольких семейств в России. А в общем жили и думали проще, грубее. И я своим «Брегетом» отдал дань искусственности, хотя и работал над языком долго. А точнее — не над языком, а над деталями языка: как описать гусарский мундир, что такое «выпушка», как подзывать лихача. Специально съездил в Ленинград, чтобы увидеть, каким путем мог идти Лермонтов к дому на Мойке... С деталями как-нибудь справился, а вот

говорят мои герои напряженно и слишком изысканно. И рассказ вышел наиболее деланный из всех».

Казакову несносна заданность. Может быть, он и «Звон брегета» представил на обсуждение на семинаре в Малеевке, чтобы не согласиться с общей разверсткой «на современную тему». Не знаю... Рассказ был подвергнут жестокой обструкции, даже рьяным поклонникам Казакова нечем было крыть: все только и делают, что клянутся в верности современности, как законной жене, а тут вдруг Петербург, первая половина XIX века, изысканно-архаический стиль... Именно за это и схлопотал Казаков себе на голову «московского сноба» с высокой трибуны, многие другие вины и кары. Что умел Юра, так это «испортить себе жизнь».

Мотив «самоедства художника» вообще очень свойствен ему; об этом, — о «самоедстве», о капризной и роковой неуживчивости неустоявшегося таланта «на общем уровне» — рассказ Казакова «Адам и Ева» — самый, может быть, «автопортретный», безвыходно-мрачный по колориту и с пульсирующей внутри, жизнетворящей, как кровь, верой в непобедимую красоту жизни...

Как видим, не все, не у всех вышло гладко на том Всероссийском совещании молодых прозаиков (и на последующих тоже) в Малеевке, в черемуховом раю, на заре нашей, одной с Юрой Казаковым, литературной юности...

Но месяц в Малеевке не забыт ни одним из участников того давнего совещания; встречаясь друг с другом, мы, малеевцы-ветераны, находим в себе позабытые чувства, раскрываем сердца. Что-то доброе, светлое, бескорыстное и безгрешное связало нас тогда, как лицеистов...

После месяца в Малеевке мы расстались с Юрой Казаковым не то чтобы близкими друзьями, без клятв и обещаний, но что-то кровное, братское связало нас — до конца...

9

Через несколько лет после Малеевки пришло первое письмо от Юры Казакова из Абрамцева.

«Милый Глеб!

Не сердись, что не ответил тебе на твое милое («милый, милое» — это московское, с чеховских времен, словечко мило и Ю. К. — Г. Г.) письмо весной, сто раз со-

бирался, да не собрался, а всему виной то, что дом себе я все-таки купил, а как купил дом, так и погиб: миллион всяких дел, начиная с навоза и кончая шифером.

А тут еще понесла меня нелегкая на север, да еще на шлюпке по всем рекам и озерам, в результате чего я чуть не потонул на Рыбинском вдхр. вкупе со всеми, а кроме того двадцать дней мерз и мок хуже последнего пса. И если даже мои домашние здесь перемерзли все, то можешь себе представить, что было на Сухоне и Сев. Двине!

Октябрь был, старичок, во всей своей поганой суровости!

А вдобавок ко всему прочему рассыпали у меня набор двух книг в Москве и в Алма-Ате <...> на тот предмет, чтобы я, значит, не заносился и чтобы гордыня меня не обуяла.

Представляешь, какой удар был мне нанесен! И это после того, как я выскреб все сусеки, покупая дачу (15 тысяч все-таки!).

Но тут, назло моим врагам, вышел мой перевод Нурпеисова и запустили в производство фильм (по «Тедди»), и я снова жив и даже могу тебе сто грамм поставить, а не то, чтобы у тебя просить. И машину продавать не пришлось.

А машина у меня новенькая, всего семь тысяч прошла, ходит, как огурчик, и я себе позволяю иногда роскошь дать на ней 130 км., знаешь, рано утром еду в Москву, шоссе от Хотькова отличное, никого нет, тогда упираюсь я в педаль, гну ее выю до полу и гляжу на стрелку, а она милая (!) лезет и лезет направо и останавливается возле ста тридцати, а дальше не идет, и так я иду километра два, а потом мне делается неуютно, ибо машина моя все-таки подлетывает, и я перехожу опять на нормальную скорость 80—90 км. Какие все-таки у нас дороги фиговые, как разгонишься, так и начинает машину отрывать от земли.

А насчет потопления — вот тебе интересная деталь. Был у нас целый ящик ракет. Ракеты были аварийные. И вот когда стали мы тонуть, наш командир получил превеликое наслаждение, пуляя эти ракеты в черные небеса, а всякие речные корабли продолжали идти своим курсом и вовсе на нас не обращали никакого внимания, так что мы могли вполне залиться к чертям собачьим, а спасения не дождались бы.

Пишешь ли ты чего?

А я крепко надеюсь на осень, на глубокую осень, когда сыро и холодно, и повсюду темно, и потому так тепел и светел кажется дом, и так хочется сидеть и что-то свое ковырять, может быть, вовсе и не дурное. У меня тут белки прыгают, а осенью начну птиц подкармливать. Эта зима, глядишь, что-нибудь и даст мне, потому что, старичок, что есть наше счастье? Рассказ хороший написан, вот и счастье. А все остальное ерунда.

Будь здоров и счастлив.

Захочешь написать, пиши по адресу: п/о Абрамцево, Московск. обл., Загорского р-на, поселок академиков, дача № 43.

Ю. Казаков».

Это — осеннее письмо; в начале зимы я получил еще одно из Абрамцева: долгие вечера в собственном доме в тиши и полнейшем безлюдье, надо думать, располагали Юрук писанию неторопливых, обстоятельных писем.

«Горыныч, ау, где ты?

Всю осень честно прождал я тебя в Абрамцево, никуда не рыпаясь. Серьезно, я надеялся на твой приезд, как ты грозился, думал, закатимся мы с тобой в Ростов, в Переславль, в Калязин на Волгу, побываем и обозрим, так сказать. Да ты не пожаловал что-то.

Завидую твоим прибалтийским скитаниям. Может, и я махну по весне в Прибалтику через Валдай, Псков, Печоры и т. п. А почему ты ничего не написал про угрей? Неужели не довелось попробовать?

Ты мне хорошее письмо написал, старик, очень ты меня растрогал пороховым запахом и запахом птичьей крови. Этих запахов в этом году, увы, так и не попробовал.

Ты знаешь, у нас тут довольно много зайца. Я ходил недавно присматривать себе елку к Новому году, так в лесу целые тропы вытоптаны. Слушай, в след. году я отделаю второй свой дом специально для гостей, у меня Гусев приятель, редактор журнала «Охота», он возьмет какого-нибудь гончатника с парой гончих, приезжай и ты. Поживете у меня. Чего, в самом деле, нам по каким-то диким деревням да по охотхозяйствам скитаться. Славно поохотимся, только бы дожить».

Тут стоит остановиться, вслушаться в это обычное для Казакова «только бы дожить». Казакову едва перевалило за сорок, он предан телесным радостям жизни

на вполне современный лад, полон всяческих упований и предвкушений, он, как говорится, в расцвете творческих сил, у него тепло и свет собственного дома, лес за окном, абрамцевские пейзажи, насыщавшие душу многих художников необходимой для творчества красотой; машина на дворе... Казаков заглядывает в бездну, постоянно сознает предел отпущенного ему срока — без рисовки. И потому так остро воспринимает жизнь, проходящую всего. В рассказах Казакова, о чем бы он их ни писал (и в письмах тоже), всегда наличествует высшее мерило ценностей бытия: противостояние жизни и смерти. Не так уж прямо, буквально, а мягко, как у Чехова...

«Дом мой, к счастью, теплый. Были у нас морозы до двадцати гр. и ничего. А главное уборная теплая. А то, знаешь, жил я в Тарусе — у! <...>

Недавно написал я про Паустовского 15 страниц воспоминаний, очень трудное дело эти воспоминания, когда все еще живы. Нельзя, понимаешь, по правде писать, надо вилять все время. А у старика трудная была жизнь, обдирали его, как липку, все это его окружение и семья.

Ты вроде бы завидуешь мне в киргиз-кайсацком смысле, а я вот тебе в смысле собственности писания. Ты сам для себя пишешь, а я свою кровь вливаю в утомленные жилы востока. Вот и сейчас сижу над сценарием по роману Нурпеисова и даже зубами скриплю. Хреново это, милый. Я вот только трилогию эту добью — и все! Ближе потом к переводу не подойду!

Женя Евтушенко однажды скопил на меня свой круглый глаз и спросил: «А ты уверен, что он там четвертую часть не пишет?»

Здесь тоже надо остановиться. Все, кто знал Казакова, задавались вопросом (он остался без ответа и после смерти Юрия Павловича): зачем, для чего, в силу каких душевных, материальных или других потребностей писатель отдал чуть не десяток (или больше) своих самых активных творческих лет переводу — с подстрочника — трех романов казаха Абдижамила Нурпеисова, общим объемом более пятидесяти авторских листов? Для чего вкладывал в это свой ум, талант, время, жизнь? Я не знаю. И едва ли кто сможет ответить на этот вопрос, прибегая к умозрениям, да и сам Казаков тоже едва ли смог бы, даже себе самому... Я думаю, в самом

начале Казакова позвала в казахские (как он любил говорить, в духе Державина, в «киргиз-кайсацкие») степи и горы страсть к путешествиям, порыв к открытию земель обетованных, «беловодья»... Но это в самом начале.

Путь пройден. Подвиг совершен. Да, именно подвиг: переведенный на русский язык роман-трилогия Нурпеисова «Кровь и пот», то есть романы «Сумерки», «Мытарства», «Крушение». Чтобы понять или хотя бы приблизиться к пониманию того, что двигало пером толмача, побуждало его к подвижническому труду, надо читать, читать, читать «Кровь и пот». Это — долгое, нелегкое чтение...

Трилогия Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот» — эпопея жизни казахов на берегах Аральского моря в канун Октябрьской революции в России; гражданская война в степях и на горах; крушение колчаковского режима; бесславный поход к Аралу и гибель Южной Армии генерала Чернова; великие труды жизнеустройства по-новому в казахском ауле; подспудная, глубинная работа, первые сдвиги в тайниках подсознания под толщей вековых устоев и догм. И многое другое.

В словаре к однотомнику Нурпеисова «Кровь и пот», выпущенному издательством «Жазушы» в Алма-Ате в 1980 году, насчитывается 138 казахских слов, употребленных в русском тексте без сносок. Роман-трилогия сохранил в переводе на русский казахский колорит, речевую разговорную интонацию. Айналайын-ау, ассала-умалейкум, курбанши, ойпырмай, таксыр, тулпар, джай-ляу, бесбармак... Эти и другие казахские слова необходимы переводчику в русском тексте романа, как фигура всадника на холме в степном пейзаже, как меховая оторочка на тумаке (малахае). Русский язык послушно-чутко воспринял-воспроизвел узор-мотив; переводчик одухотворил, художественно изукрасил своим талантом картины иноплеменной жизни. В романе-трилогии Нурпеисова «Кровь и пот», переведенном Казаковым, высок эстетический градус и градус духовности, благородства, как надлежит быть в настоящей литературе.

Хотя проза Нурпеисова материальна до вязкости, насыщена телесными реалиями быта казаха начала века: в степи с отарой овец, на морской путине, в свычном казаху, как люлька младенцу, седле, в убогой землянке, в юрте, в супружеском пологе со старшей женой — бай-бише и с последующими женами, при рождении чело-

века и у смертного одра, в роковом противостоянии нищеты и богатства, в многосложном переплетении родовых, социальных отношений. В романе много жестокости на восточный лад, всегда мотивированной социально. Суть романа-трилогии сконцентрирована в его заголовках: «Кровь и пот», «Сумерки», «Мытарства», «Крушение». Трилогия написана Нурпеисовым, переведена Казаковым как бы под присягой верности правде жизни.

Я думаю, именно эта правда подвигла Казакова на истине гомерический труд перевода. Выше, святее у него не было божества, чем правда. И еще — неуемность в постижении пространства, интерес к судьбе деятельного человека, одолевающего стихию. Романы Абдижамила Нурпеисова вывели Юрия Казакова к Аральскому морю; Казаков переложил явленные ему картины неведомой жизни на язык русской художественной прозы — с той же страстью таланта, с остротой зрения, горячностью очевидца, так он писал о своем любимом, исхоженном Беломорье.

Казаков, я знаю (об этом есть в его письмах ко мне), мечтал о собственном романе, как мечтает каждый прозаик, и он писал — с подстрочника — «Кровь и пот», как пишут свое, перевоплощаясь в героев: трогательно чистого душой, несчастливого в любви, многострадального — и несущего в себе необходимую для строительства нового мира твердость казаха Еламана, обласканного всем мыслимым для казаха счастьем — и обреченного мурзу Тарпибергена, во множество других персонажей романа-эпопеи. С поразительным художественным мастерством выписаны в последней части трилогии — романе «Крушение» — социально-психологические портреты исторических личностей: Колчака, генерала Чернова. Они исполнены с тактом, без пережима или сгущения красок, в сознании не только отведенного им историей места, но и сложной противоречивости человеческих натур. То же можно сказать и о других русских героях романа: отце и сыне Федоровых, Рошальях...

За роман-трилогию «Кровь и пот» Абдижамил Нурпеисов получил в 1974 году Государственную премию СССР. Роман переведен на многие языки мира. Будь на то моя воля, я бы присуждал ежегодно или как-то еще высокую премию за лучший перевод с иноязычного на русский. Такую премию в высшей степени заслужил Юрий Павлович Казаков. Чтение романа «Кровь и

пот»... Я подбираю слово, чтобы сразу, без запятых, высказать главное впечатление. Это — у п о и т е л ь н о е чтение. У романа вечная жизнь. Он — в творческой судьбе Нурпеисова и, в равной степени, Казакова; как говорится, весомый вклад в советскую многонациональную литературу. И в мировую.

...Да, так вот. Продолжаю письмо Казакова ко мне, давнее, декабрьское, 1968 года. «Тебе не попадались в «Новом мире» стихи Ахмадулиной про переделкинскую зиму? Как всегда, прелестны. «Средь переделкинских дерев...» и что-то там еще. Умиляют меня эти «дерев», «стогны» и т. п.

У нас зима хорошо взялась, я уж предвкушаю свои рассказы (после сценария), Новый год, Рождество. У нас тут поселок пуст, три дома только живут — Леонтович, еще кто-то и я. Темно, дико, крыши белеют в черноте лесов, иногда чуть слышен перестук электрички. <...>

Ты не читал № 8 «Нового мира»? Там должна быть повесть Лихоносова. Интересно, что это за штука? <...>

В январе, в середине или в конце мы с Васей Росляковым <...> едем в Алма-Ату и Фрунзе. Поскольку неоднократно ты выражал зависть моим сношениям с киргиз-кайсаками, то вот тебе мое слово: если хочешь, присоединяйся. Я там тебя со всеми сведу, а сосватаешься ты уж сам с кем-нибудь. Будем жить в <...> санаториях, кушать яблоки-апорт и работать <...>.

Это, старичок, серьезное предложение, и ты решай. Если решишь ехать, то дней за пять до поездки мы тебе дадим телеграмму, ты с нами съедешься и покатишь все вместе.

Ну, будь здоров, милый, целую и остаюсь твой

Ю. Казаков.

Пиши!

Ты оч. хорошо делаешь, что пишешь мне на машинке, а то почерк у тебя дикий».

И еще одно письмо из той, самой активной в смысле нашей с Юрой переписки, поры:

«Ну вот, старина, дело к свету пошло, на минуту день прибавился, глядишь, и до светлых денечков доживем, когда одна заря сменит другую и т. д.

С чего бы это у тебя задница заболела? И думал ли ты о том, что она у тебя заболит, в майские дни 59 года в Малеевке?

А ведь как мало талантов на Святой Руси, как подумаешь, бог ты мой! Ведь тогда, почти десять лет назад, собраны были, по мнению СП, лучшие силы молодые в количестве 50 голов — и что же? <...>

Разбередил ты меня своим пребыванием в Гаграх и т. д. — я там с 60 года не был. А побывал ли ты в Пицунде? Я ее застал еще в девственном виде — одни сосны были да рыбаки, у которых покупал я копченую и свежую барабульку, и отваливалась тогда там кора с эвкалиптов, ребятишки жгли из нее костры и по вечерам монастырь розовел сквозь лекарственный дым, а по утрам грузины стреляли по полям перепелок и потом продавали на базаре связками. Кстати, об охоте... Зайца действительно очень много в этом году, я, к сожалению, не тропил, все с <...> Нурпеисовым вожусь, но после Нового года займусь, благо, снегу еще немного, можно ходить по лесу <...>.

Будущим летом мы хотим прокатиться на нашей знаменитой «Веге» по Ладоге да по Онеге, и даже есть мыслишка пройти из Онежского оз. через Беломорканал в Сороку, а там «каботажно», т. е. вдоль берега — на Онегу, Лямцы, Летний Наволок, Лопшеньгу и т. д. — до Архангельска. Если ты непрочь, забронируем тебе местечко. На веслах посидишь, на парусах поработаешь, вот и пройдет твой геморрой. <...>

Ну, привет, милый, с Новым годом тебя, с новым, как говорится, счастьем. Оно, т. е. счастье, глядишь, нет-нет да и посетит нас недостойных, и не все оно позади, а и впереди немало будет, пока обратимся в «кости сокровенны», и тогда уж ничего не будет.

Пиши мне, старина, я твои письма буду хранить, чтобы было чем прокормиться потом каким-нибудь горышеведам (или горышинистам?).

Ю. Казаков».

Вот как распорядилась судьба: я стал казаковедом, и письма Юрины мнегодились.

«Абрамцево, 23 марта 69.

...Поздравляю тебя с новой книжкой! Это славно, что ты шевелишь мозгой и не даешь себе покрыться пылью и паутиной, подобно мне. На тебя глядя и мне захотелось поднатужиться. А хорошо, знаешь, получить

свежие экземпляры своей книжки и потом надписывать и посылать в желтых конвертах или дарить приятелям в ресторане где-нибудь — а где, кстати, пьют питерские писатели? Лет пять назад я сунул нос в ваш ЦДЛ и в ужас пришел: ни души!

А знаешь, я сейчас вспомнил, как мы с Женей Евт. сидели вечером в ресторане Нарьян-Мара и Женя пил шампанское, а я спирт, разводя его водой с клюквенным сиропом, и солнце никак не хотело садиться, и более страшного пейзажа за окном я не видал (разве что в Ам-дерме). Представь себе — опилки, досчатые тротуары, бараки, всюду сизое дерево... Зато такой охоты, как там, ты и в глаза не видел, да и я не увижу, наверное.

Ты бы меня свозил куда-нибудь в свои места, на Ладугу, на Онегу, в Карелию — это ведь недалеко от Питера? Порыбачили бы. Вот я, м. б., летом приеду, белые ночи и все такое, я тебе французской лески привезу на поводки — в воде ее совсем не видать. Я в Париже зашел в спортивный отдел универмага и чуть не помер там — такие там были патроны, такие пистолеты, винтовки, палатки, лодки, моторы — а охота, мне говорили, прямо королевская, дичи до черта, стреляй — не хочу, только за деньги, за браконьерство — тюрьма, а не то, что у нас — первые браконьеры власти! Это же черт знает что, мне, например, в Алма-Ате начальники говорили: приезжай, на сайгака поедem, фазанов будем бить. И ездят, и бьют, и ни хрена теперь нет, в Нарьян-Мар надо ехать, чтобы пострелять как следует, чтобы сига поймать.

Ну, будь здоров, читаю твою книжечку с удовольствием, многое в ней узнаю из твоей жизни, как ты рассказывал (а что, кстати, Сергуненков, где он, что с ним?).

Завтра поеду в город руководить совещанием молодых, заработаю немного монет на ремонт своей халупы. Кого-то бог пошлет мне в семинар.

Обнимаю!

Кстати, никогда не пиши «лазал», но «лазил». Так пишется по-русски. А «лазал» это по-одесски.

Да, я забыл тебе сказать (или писал уже?). Я тут подбираю хорошую компанию, у меня в Череповце завелся кореш капитан катера, так вот можно было бы к нему на недельку и пойти с ним на шекснинское вдхр. и на оз. Кубенское. И ловить рыбу, и думать, и мечтать, и вялить леща и мало ли что... Хочешь?..»

А вот короткое письмецо на бланке журнала «Молодая гвардия» — Ю. Казаков одно время был членом редколлегии этого журнала.

«Милый Глеб! Повесть прочел, хорошая повесть — это главное! А недостатки вот какие. 1) Она растрепана композиционно, в глазах рябит. 2) Сильно там в некоторых местах видно присутствие А. Платонова. Вот так, старик.

Однако это я в редакции не сказал, а отдал с воплями и соплями, что дюже хороша повесть.

Мы приедем в Ленинград числа 28—29, будь дома, м. б., Никонов тебе уже скажет что-то определенное. Жму руку, увидимся, поговорим.

Пишу в редакции, поэтому не обращай внимания на бланк и конверт.

Привет!

Ю. Казаков».

И еще письмецо из Абрамцева, помеченное 15 марта 1969 года. Получил его и екнуло мое сердце: 15 марта мой день рождения. В этот день мой друг протянул мне руку...

«Дорогой Глеб!

Я тут совсем расхворался.

Поздравляю тебя с должностью (меня тогда взяли в журнал «Аврора», зав. отделом прозы. — Г. Г.). Она полезна тебе, все-таки будешь являться в присутствие, а следоват. и пить меньше.

Употреби свою должность на добрые дела. Помогай старикам. На молодых плюнь, они молоды, здоровы и своего добьются. А есть талантливые забытые старики наподобие нашего Шергина — и вот таким надо помочь, вспомнить их, провести творческий вечер, рекомендовать что-то для переиздания, схлопотать путевку в Ялту и т. п.

Как твоя новая книжка? Пришли, если вышла.

Плохо, старина, болеть — полтора мес. у меня был грипп с возвратами, только начну ползать, опять укладывается, хреново это.

Как Курочкин? Жалко его. В санаторий его надо. Он у меня раз был со страшного похмелья и не хотел показать, что с похмелья, а взгляд был дикий и руки тряслись и весь как студень.

Я, наверное, летом буду в Питере, хорошо бы если б

ты был. Проездом — это значит, что хочу побывать в Карелии, туда дороги хорошие? Ты, гляди, машину не продавай. Она 100 тыс. км. может служить без кап. ремонта, а это для нашего брата 10 лет! Я и сам хотел было продать, а потом как вспомнил очереди на автобусы да на поезда (летом особенно) да бессонные ночи на всяких вокзалах и автоб. станциях, так меня в дрожь кинуло, все-таки свои колеса это вещь.

Курочкину, при случае, поклонись. <...>

Как там у вас зима? Нас тут совсем замучила — морозы до сих пор ночью в 20 гр. Надоело!

Хочу сморчков!

Хочу учиться на рояле. Играть Шопена. Куплю летом рояль».

Далее Юра переходит на нотную письменность: изображено несколько тактов сонаты Шопена.

«Будь здоров, милый, пиши иногда.

Ю. Казаков».

Потом перерыв в переписке на два с половиной года. И — второпях писанное, деловое, без свойственных Юре отступлений, лирических рулад, письмо-напутствие, в ответ на мое обращение к аксакалу, мастеру перевода с казахского.

«Милый Глеб! Рад, что ты подал голос. Сочувствую тебе в твоём новом начинании.

Сказать тебе что-нибудь определенное о технике перевода я не могу, т. к. сколько переводчиков, столько и методов перевода.

Я переписывал Нурпеисова, стараясь все-таки, чтобы это был Нурпеисов, а не Казаков. Подстрочник ни в коей мере не передает букву оригинала, но дух оригинала в подстрочнике все же присутствует и, уловив этот дух, можно довольно смело работать, не опускаясь, с одной стороны, до примитивизма подстрочника, и, с другой стороны, не возвышаясь над автором. Что касается длиннот, то, я думаю, такие места можно опускать, договорившись, конечно, с автором.

Если будут попадаться места, не требующие «перевода», т. е. хорошие куски, то их можно оставлять.

Не знаю, как тебе достанется перевод, а мне было тяжело. Халтурить душа не позволяла, и я, в сущности, как бы вновь писал роман, и времени уходило много, как на свой собственный.

В заключение один совет. В смысле денежном переводческая работа весьма неблагодарна. Поэтому (если ты вообще не переводчик по призванию и профессии) нужно переводить такие книги, которые издаются потом не один раз. Тогда твой донорский подвиг (!) будет хоть компенсирован материально.

Поэтому без договоров и без включения романа в издательский план — не связывайся.

Во дни своего литературного разгула (в 62 г.) я перевел как-то маленькую повесть якута, т. е. написал ее, и она вышла в «Дружбе народов» и нигде больше. Таким образом, мой подвиг пропал втуне.

Был я в августе на Б. море и справил там довольно грустный юбилей: впервые на Б. море побывал я ровно 15 лет назад. Тогда я был студентом Литинститута и впереди что-то светило. И вот теперь хочу написать нечто элегическое.

Сижу я в Абрамцеве, хвораю. И вот даже пишу тебе лежа (поэтому будто не Юрой написано: прыгают строчки, буквы). Осень, а я не поохотился, душа моя теперь дремлет.

Будь здоров, дорогой, не пропадай, пиши иногда. Не хочешь ли махнуть на охоту на Арал?

Твой Ю. Казаков.

Конецкому, если увидишь, привет».

10

В свое время и я «сосватался» с одним казахским романистом переводить его роман (вслед за Юрой Казаковым). Прочел присланный мне подстрочник, собрался в дорогу... Дело было осенью 1971 года...

В «накопителе» Алма-Атинского аэропорта кто-то кого-то встречал. Я никогда в жизни не видал моего романиста, и он меня не видал. Толпа катастрофически рассасывалась. Я оставался один на неведомом мне берегу. Разве что маленького роста седовласый, темнокожий человек с замкнуто-горестным выражением на лице... С такими лицами встречают родню на похороны. Я все-таки прилетел на праздник, как бы на собственную свадьбу: сосватался-таки...

Когда никого уже, кроме нас двоих, не осталось в «накопителе» и мы описали множество концентрических кругов вокруг друг дружки, седой казах подошел ко мне и спросил, не являюсь ли я — он назвал мои имя

и фамилию. Я подтвердил, что да, действительно, это я. Казах назвался Азильханом Нуршаиховым, тем самым нужным мне романистом. Впоследствии он признался, что не мог вообразить себе гостя из Ленинграда таким верзилой, как я (мой рост 194 см.). И я, прочтя довольно толстый роман Азильхана Нуршаихова «Годы радости и любви» (подстрочный перевод романа), составил себе в воображении образ автора, непохожий на подлинник. Воображение подвело и романиста, и переводчика: каждый мерял на свой аршин.

И далее наши мерки не совпадали. Как я ни старался сохранить словесный узор-орнамент, каким изукрасил Азильхан Нуршаихов свое творение, это оказалось выше моих сил. Рассказанную велеречивым восточным человеком историю излагал теперь малословный северный человек. Долгота истории фатальным образом убывала. Из романа уходили великолепные сравнения, уподобления, эпитеты, метафоры, изливания, диалоги. Переводчик держался сути сюжета, уводил в подтекст львиную долю того, что автор высказал открытым текстом (при начислении гонорара подтекст не учитывается).

Когда я поставил точку в моем труде над романом Нуршаихова «Годы радости и любви» (труд занял более года), отер пот со лба, отправил последнюю дозу текста в Алма-Ату на авторизацию автору, мною овладело раздумье, некоторое даже смущение духа: как отнесется Нуршаихов к собственному роману, уменьшенному переводчиком вдвое: было двадцать листов, стало десять?.. Гонорар авторский — пополам с переводчиком, да еще из него же — подстрочному толмачу... Значит, что же? Забегая вперед, скажу: почти ничего всем троим, сущие пустяки. А Нуршаихов молчал, не роптал, даже, бывало, благодарил. Святая душа...

Но были, были в пору нашего с Азильханом романа взаимные радости и любовь. Азильхан Нуршаихов преподавал мне уроки казахского языка, щедро делился тем, что любил: своими степями, своими друзьями в степях; обретенные дружбы (по правилу: друзья моих друзей — мои друзья) вдруг прорастали, грели меня...

Однажды Азильхан приехал ко мне в Ленинград. Не то чтобы просто так в гости, а по семейному делу: в наших краях проходил военную службу его старший сын. Помню, как мы с ним мчались по пустынному в пред-рассветный час шоссе, сквозь только зазеленевшие ле-

са, из кустов вылутился на дорогу автоинспектор со своею палочкой, поставил мне в талон дырку — третью, за превышение скорости. Я изо всех сил делал бодрый вид; мой казахский друг закручинился — добрая, чувствительная у него душа...

Летом 1984 года я был в Алма-Ате на конференции, посвященной тридцатилетию целины. Прилетел в этот город, самый зеленый из всех городов, самый яблочный, с журчащими под карагачами арыками, с белоснежным оком гор, с цокающими каблучками по камням легконогими, черноокими девушками... Вместе с другими нахлынувшими чувствами, которые испытывает каждый при встрече с прекрасным южным городом, я ощутил в себе право сказать: мой город, моей радости и любви...

Днем заседание, вечером дома у Азильхана, бесбармак, сорпа, зеленый чай с молоком. Необыкновенно живые, неподдельно радостные, лучащиеся глаза жены Азильхана Фатимы, ее неумоимо что-то стряпающие, режущие, приносящие, подающие, наливающие, украшающие руки. Друзья Азильхана — теперь и мои друзья. Книжки на полках: к одной из них я приложил мою руку. И совсем поседевший, белый как лунь, глава дома Азильхан...

После романа Нуршаихова «Годы радости и любви» я не перевел ни строчки ни с какого языка и никогда не возьмусь за перевод. И никогда, покуда мы живы, не порвется связавшее нас с Азильханом Нуршаиховым нечто такое, неведомое другим — наша с ним тайна: часы, дни, месяцы погруженности в работу над романом «Годы радости и любви»...

Многих лет тебе, дорогой Азеке-ага! — великий труженик, солдат, ученый, писатель, аксакал, глава большой семьи! Я благодарю судьбу (спасибо Юре Казакову) за то, что она свела нас; помнишь, как мы не решились признаться друг к другу при первой нашей встрече в Алма-Атинском аэропорту?..

11

«Ну? Ты, наконец, погрузился в казахские степи и потому безмолвствуешь и не пишешь ничего мне о мотодоре. А я-то надеялся на тебя и на Питер <...>.

У нас морозы. Летают сороки. Снег не выдерживает тишины и сыплется с елок и берез. Хочется весны, казашенок, бесбармака. Сегодня варил уху из наваги, при-

сланной мне прямо из Унской губы Белого моря. На банкете в «Берлине» ел аральского копченого леща, и все мне кричали, отворачиваясь от семги: «Кинь кусочек, ребрышко!» Тем и живы.

Вдруг вот возьму и приеду в Питер. Слушай, очень хочется приехать. Пришли мне вызов — придумай причину — на неделю! Чтобы не тратить свои «кровные и потные» деньги и чтобы иметь основание стать на постоя в гостиницу.

Будь здоров, дорогой, обнимаю.

Ю. Казаков».

«Дорогой Глеб!

Посылаю тебе рассказы молодого гагрского писателя Кости Гердова. Выбери для «Авроры», что больше тебе понравится.

Если из этих рассказов ничего не подойдет, напиши Косте, он тебе еще пришлет — у него это такой цикл, о соседях, о себе, о матери, о южном городе и т. д. Некоторые мне нравятся.

В общем, смотри сам и выбирай.

У меня вышел наконец-таки мой многострадальный сев. дневник. Как получу авторские, так пришлю тебе.

Еду на октябрь в Гагру, попытаюсь там кончить повесть, хоть боюсь загадывать: когда погода хороша, хочется купаться, загорать, ездить по ресторанам и проч.

Может быть, и ты приедешь погреть свою ломоту в заднице? Вот было бы славно: Лихоносов там будет, Астафьев, Евтушенко и проч. элита.

Целую».

«Милый Глеб!

Завтра пришлю тебе свою книжку, хотя, м. б., она у тебя уже есть и мой присыл будет ни к чему, ну да все равно. Сижу в Гагре, работаю с переменным успехом, берусь вот уже за второй рассказ, но все мне мешают мысли о будущей работе, т. е. еще один рассказ лезет в голову, а потом еще повесть, о которой даже страшно помыслить (я же ведь не романист), ну, то и дело приходится делать какие-то записки, авось потом пригодятся.

Скучно временами тут чертовски, ибо из писателей никого нет, а все «шахтеры», но и бросить все и уехать не с моим характером: знаю, сколько забот и хлопот свалится на меня в Москве и Абрамцеве, и вся моя работа пойдет к черту.

Теперь вот какое дело. Получил ли ты бандероль с рассказами Кости Гердова? Почему не отвечаешь ему ничего, малый очень волнуется, а между тем накатал еще уйму вещей, которые я тоже тебе пошлю. Пристрой и пригрей ты его ради Бога в «Авроре». Рассказы его несколько сумбурны и порою странноваты, но человек он явно не без искры божьей и ему только начать, а там пойдет — я имею в виду: начать печататься. Любит его Жен. Евтушенко, написал предисловие, так что снизойди, а?

А как ты поживаешь? Много ли написал и вообще каковы дела во всех смыслах — где побывал, что повидал? Напиши мне сюда, я тут пробуду до Нового года.

Обнимаю тебя, будь здоров и счастлив сколько можно.

4 дек. 1973

Ю. Казаков».

«Спасибо тебе, милый Глеб, разом за письмо, за «Неву», за приглашение участвовать в твоём журнале.

А странно, что мы одновременно писали о глухаринной охоте. И еще любопытно, что ты замечаешь в скобках, зачем, мол, еще раз описывать глухаринную охоту, когда уже столько о ней написано. Я тоже об этом подумал да и не стал о ней писать. Ну, цокнул он, ляскнул, ну, охотник прыгнул, сердце там заколотилось, то, се, ликующая песнь, трали-вали и прочее — выстрел грянул, глухарь брякнулся оземь, взял я его за роговые лапы...

Одно только в моем опусе меня повергло в ужас: при наборе вышла опечатка: вместо «краснобровый тетерев» — «краснобородый», я, естественно, это дело исправил, но каким-то образом опечатка проскочила, так и осталось «краснобородый».

А твой рассказ хорош, хоть я и не верю, что ты одну бутылку вермута взял, да и ту не выпил, «забыл», а? Спасибо, что пишешь, все-таки хорошего у нас маловато, так что каждый хороший рассказ ценен вдвойне.

С удовольствием дал бы что-нибудь ради твоей новой должности, но — потерпи. Все, что у меня пишется теперь, продано по московским журналам, а давать тебе огрызки совесть не велит.

А подумать только, какую карьеру ты сделал: Ах, ах, какую карьеру! Вспомнил я, как тебя допустили на семинар 57 года вести протоколы заседаний, а теперь вот ты сам кого хочешь, того и напечатает. Зажимай их, сукиных сынов, нещадно!

Жил я в Гагре почти до Нового года, и жалею теперь,

что раньше не наезжал туда осенью, все-таки гагрский ноябрь и декабрь несравнимы с нашими — темными и тоскливыми.

А что же ты не написал мне про Париж? Каково тебя там принимали, кого и что повидал и чувствовал ли ты в свои парижские дни праздник, «кот. всегда с тобой»?

В Абрамцеве крещенские холода, ночью 36, днем 27. А погода как дай бог летом, десять дней ни облачка, а ночью слепнешь от луны. Будь здоров, пиши, обнимаю крепко, может, весной, в марте махнем вместе в Архангельск? Прикинь, сможешь ли? Обнимаю!

Ю. Казаков».

«Ну, Глеб! Как охота, как чернотроп? Я таки был в Орле, взял трех зайцев, мог больше, да куда? Лосей там до черта, кабаны. Раз чуть в штаны я не наклал: собаки, гоня зайца, стронули кабанов; и вот пять штук с утробным каким-то еканьем протопотали шагах в десяти от меня, и, слава аллаху, не оказался я на их пути.

А зайцев в Абрамцеве полно. Приехал, пока со станции шел, следов видел так много, будто собаки набегали. Только я собрался с ружьишком в лес, как запуржило, заметелило, завьюжило, зазимело, и снегу уже по пуп, не очень-то побродишь, а на моих беговых узеньких лыжах по целине не пройдешь и 200 метров.

Пишу тебе, хоть ты ведь, наверное, делегат, и — в Москве, на съезде? Я дома не был, не знаю, делегат ли я. Скорее всего, нет. <...>

Все-таки напиши, старичок, как там твоя Ловать, как дом родной, хороша ли охота была. Да и вообще, что новенького.

Я, м. б., зимой в Питер заверну дня на 2—3. Поеду в Новгород, хочу на церкви поглядеть еще разок, ну, а от Новг. до тебя рукой подать. Приду к тебе на службу просить — чего? Не знаю, что и просить. Все у меня есть, кроме денег. А деньги будут.

Будь здоров, милый, не болей, пиши мне и вообще пиши, т. е. рассказы, очерки, повести.

Обнимаю.

14 дек. 75

Ю. Казаков».

Потом еще было несколько писем, и переписка наша с Юрой прервалась: слишком разно пошли наши жиз-

ни или еще что. Приращение возраста не способствует дружбе, не говоря уж о любви.

В 1977 году журнал «Наш современник» напечатал рассказ Казакова «Во сне ты горько плакал». Рассказ об одном, может быть, самом счастливом летнем солнечном дне жизни отца и крохи-сына в подмосковной роще над речкой вблизи отчего дома — и обо всей жизни человеческой с заложенным в самом ее начале, в зародыше, в душе человеческой — знанием о предстоящих горести и кончине. Рассказ-воспоминание о том, как сам автор ребенком бежал через луг к отцу, стоящему с краю в строю — прижаться к его груди, а это было нельзя почему-то: к отцу не пустили военные в гимнастерках. Отца увезли куда-то в теплушке; отца не стало... Рассказ о том, как жил на даче в Абрамцеве Митя, был предан жизни, трудился, как пчела, купался в холодной речке Яснушке и вдруг застрелился из охотничьего ружья, дробовым зарядом, данным ему соседом...

Все эти случаи, впечатления, настроения, слезы младенца, сердечный трепет отца над родною своею плотью и кровью, мелькание на солнце крыл бабочек, выражение глаз преданного пса, покой только что выпавшего снега — положены на музыку трогającego душу слова. Самый проникновенный, неизъяснимый, трагичный и жизнеутверждающий, всеобъемлющий рассказ Казакова...

Такая в его словах, строчках, междустрочиях сила чувствования, магия духа, мощь таланта — и еще что-то очень русское, взыскующее сострадания, как «песнь ямщика»!..

Рассказ «Свечечка» у Казакова о том же, что и «Во сне ты горько плакал» — это его послание сыну Алеше, письма в будущее. Есть в «Свечечке» такие строки: «Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И теперь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десантником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и

огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!..»

Другом Юрию Павловичу Казакову в Лопшеньге доводился Вячеслав Иванович Яреньгин — это все в деревне знают, помнят. Изба Яреньгиных неподалеку от избы моих знакомых братьев, то есть от их родительской избы; в том месте, где главная улица Лопшеньги впадает в просторную площадь с каменным Домом культуры и магазином; за площадью раздваивается: одна улица (проулок) ближе к морю, амбарам, другая — выше, поближе к холмам, выведет к школе и дальше, к аэродрому.

Я спросил Александру Михайловну про Казакова, и она тотчас, будто ждала такого вопроса, ответила мне:

— Он был хороший мужик, умный и серьезный. Все, бывало, к нам приходил, спрашивал, всем интересовался. Мой батька тоже был говоркой... А я трактористкой работала тридцать пять лет, сначала на колесных, на ХТЗ, потом на гусеничных, до пятидесяти пяти лет на тракторе. Бывало, я сижу, вяжу, а батька мне книги читал...

Александра Михайловна только пришла из лесу с грибами. Она нездешняя, архангельская родом. У нее на носу очки. И что-то в ней есть мужское: всю жизнь на тракторе — мужская судьба. О ней не скажешь бабка Шура, она Александра Михайловна.

— Помер наш батька, — закручинилась Александра Михайловна. — Как я буду без батьки... Он на войне был ранен, в танковой разведке... После войны в колхозе рыбаком. И сей год все у моря. Давление у него было 240... А Юрий Павлович — что вы? Он все по тоням, с рыбаками, фотографировал. Фотоаппарат выронил — утопил... Тогда рыба вольная была, не то что теперь. Бывало, ухи наварим — и сигов, и всего... Что еще сказать о Казакове, и не знаю. Он на баяне играл. В клубе возьмет баян, придет и играет...

Миропия Александровна Репина копала картошку. Ее изба с краю деревни, против школы, живет она одна, как моя Анна Федоровна. Оперлась на лопату... У нее крупное, доброе лицо, синие задумчивые глаза.

— ...Юрий Павлович — ну что же, жил, как все живут, занимался своим делом. Спрашивал про старину. А что же старина? Образ жизни сохранился, в основ-

ном, такой же, как был в старину. Конечно, быт стал лучше, а так... Они с женой у меня жили, с Тамарой. Я посмотрю на них, такие они разные. Как-то не утерпела, говорю Тамаре: «Юрий Павлович такой здоровущий, а вы такая хрупкая, маленькая». Тамара улыбнулась: «Ну что же? Такова жизнь...»

Александра Михайловна Яреньгина уедет на зиму к сыну в Северодвинск. Миропия Александровна останется зимовать в Лопшеньге.

13

Вчера весь день дуло с востока. Баба Ньюша сказала, что переходит на северо-восток, а это уже полуночник, тут может «пасть шторминушка». Шторминушка не пал, но весь день дуло с востока, Белое море сделалось черным с белыми гребнями.

Поздно вечером я возвращался с Чевакина озера домой, в Лопшеньгу. Лесом сошел к Никольской тоне. Лес тут сухой, боровой; вдоль Белого моря, по Летнему его берегу — боры, брусничники. И в котелке моем рдела брусника, укрытая листьями, иголками. На Никольской тоне я не нашел рыбаков; рыбаки — видно было — ушли на карбазе в море, трясут невода.

Солнце зашло, оставило по себе на западе заревую кайму. Море шумело. Становилось темно. Далеко-далеко светили огни Лопшеньги — на той стороне бухты.

Я пошел по мокрому песку старицкой походкой, опираясь на палку. За спиной у меня восходила луна, будто запутавшаяся в водорослях морских, розовато-воспаленная, как головня. Взойдя над водою, луна побежала влево, как баллистическая ракета, все более светлея, надраиваясь, как медная бляха. Наконец, заняла надлежащее ей место на небе, приостановилась в своем лунном зените; замерцала, запереливалась на море лунная дорога. Воцарилась в мире лунность. В прибрежном тихом озерце, собственно, в луже, луна отразилась: включился лунный светильник.

Мимо меня со страшной скоростью, по самому краю моря, по пене, по мокрому песку промчался мужик на мотоцикле, с ружьем за спиной...

Баба Ньюша попотчевала меня мной пойманной на озере жареной плотицей-сорогой и чаем с только что сваренным клюквенным вареньем. Баба Ньюша истопила

печь в отданной мне горенке. И так мне стало уютно...

Однако пора сказать о здешних мужиках — главных действующих лицах Лопшеньгской республики. Мужиков-то и не видать: одни сидят на тонях, караулят семгу, другие плавают где-то в дальних морях. Третьи... Поморское мужское дело — отхожее...

Как-то вечером я подгреб к двум мужикам, сидящим на самой ближней тоне, собственно, в черте деревни: избушка на берегу с печкой и нарами, два карбаза втянуты в берег; неподалеку от берега в море заколы. И два мужика: один Иван Матвеевич, бригадир, старый помор, другой Саша Петров: рост у него 194 сантиметра (сам назвал цифру), молодой, крупный, красивый мужик с добрыми, мягкими глазами, твердо очерченным лицом; ему бы еще и голос (может, и голос есть, не знаю) — вышел бы из него натуральный новгородский гусляр-богатырь Садко для оперы Римского-Корсакова.

Мы сидели на нарах, покуривали. Саша рассказывал, как проходил службу в армии: сначала в почетном карауле — ну да, в том самом, какой мы видим по телевизору: в Шереметьевском аэропорту; все молодцы на подбор, в аксельбантах, церемониальным маршем идут перед лицом прибывающих к нам в столицу глав государств...

— После еще года два ноги болели, — посмеивался лопшеньгский Саша, — подошвы; не ступить было, на строевой отбиты: целые дни на плацу всей стопой в камень бьешь...

Богатырская статья лопшеньгского детинушки приуговорила ему нерядовую судьбу (хотя служил рядовым): начинал в почетном карауле, затем нес службу в Западном Берлине, охранял в тюрьме Шпандау фашистского военного преступника Гесса, приговоренного на Нюрнбергском процессе к пожизненному заключению.

— Так и стояли друг против дружки: американец, англичанин, француз и наш брат славянин... У них, правда, больше негры. По четыре часа стояли — и четыре отдыха; в дождь, в жару. Бывало, те не выдерживали, даже в обморок падали. А он, Гесс-то, сухонький такой старикашка, идет на прогулку, руки за спину. Посмотрит на советского часового — и морда у него перекосится...

Бригадир Иван Матвеевич глянул на море, на небо, что-то там увидел, сказал, что пора. Рыбаки живо столкнули на глубь карбаз, сели лицом друг к другу на весла, в корму и в нос. Я поместился посередке. Мигом пригребли в заколу, зашли внутрь ловушки, стали выбирать сеть, трясти (эта операция подробно описана Ю. Казаковым в «Северном дневнике» и в рассказах). Невыбранной сети оставалось все меньше, стало заметно, что в самой ловушке мечется, бьется большая рыба; вскоре ей некуда стало деться; красавица-семга явила себя во всей красе (семужья краса подробно описана в рассказе-притче Федора Абрамова «Жила-была семужка»). Поморский красавец Саша Петров взял деревянную колотушку — «кротилку» (от слова «укрощать»), нанес семге смертельный удар по загривку, кинул рыбину в карбаз.

На берегу ее уложили в узкий, продолговатый, будто для нее специально, по росту сделанный ящик — домовину, — унесли в засолочный цех.

14

«Дорогой Глебыч!

Прости, что так поздно отвечаю тебе на твое хорошее и столь смутившее меня письмо и на твою прекрасную книгу. Я ее всю прочел, и оказалось, что перечел: все твои вещи я читал, но удовольствия у меня от этого не убыло <...>».

Я позволяю себе эту радость — себя самого похвалить, пусть и устами товарища, — поскольку первым откликнулся на мою первую книгу Юрий Казаков, в 1958 году; его рецензию напечатали в «Литературной газете». В рецензии он высказал то же, что и впоследствии в письмах, только другими словами.

И я хвалил то, что писал Казаков, — в письмах к нему. Выступить публично так и не собрался... Сроки отпущенной Юре жизни я мерял той же меркой, что и свои собственные сроки: мы одно поколение...

А в самом начале, помню, — я работал тогда корреспондентом молодежной газеты на Алтае, жил в Бийске, — вышел утром из гостиницы «Бия», купил в киоске журнал «Молодая гвардия», прочел в нем два рассказа неизвестного мне автора — Казакова: «Странник», «На полустанке»... Прочел и задумался... Что-то было

в этих рассказах необычайное для литературы тех лет: автор вошел в жизнь через никем до него не найденную дверь... Я подумал тогда, что если так можно писать, если это можно напечатать, стоит и мне попробовать...

Творчество Казакова мощно воздействовало на меня. В его прозе как будто нет средостения между самою жизнью и словесной формой. Проза Казакова обладает магией непосредственного обращения не только к уму, но и к чувствам, как природа, музыка... Казаков покорял, будоражил силой чувствования, страстью переживания жизни. И он был бесстрашен перед невзгодой, даже и перед смертью. Он что-то такое знал в жизни, неведомое другим...

Давайте напоследок послушаем самого Юрия Казакова, вчитаемся в его послание нам, в духовное завещание — монолог «О мужестве писателя».

«Мужество писателя должно быть первого сорта. Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь. И он знает, что каждый раз начнется все сначала и будет еще трудней.

Если писателю не хватит мужества, — он пропал. Он пропал даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию... И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть.

Есть все-таки и в его работе минуты, когда все идет, и то, что вчера не получалось, сегодня получается без всяких усилий. Когда машинка трещит, как пулемет, а чистые листы закладываются один за другим, как обойма. Когда работа легка и безоглядна, когда писатель чувствует себя мощным и честным.

Когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было Бог! Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаяние, — эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется...»

Юрий Казаков удостоился этой — высшей — награды.

КАСЬЯНОВ ЛОГ

1

Как выдавалась свободная минута, Старший брат вываживал меня (и себя) в ближайшие таежные распадки, на озера, на речку Верхотинку. Младший с мамой по бруснику — Старшему давалось больше свободы: оперился, вышел в люди, заслужил. В Лопшеньгской школе на фотовитрине почета, в ряду ее выпускников, которыми можно гордиться, и фото Старшего брата: учился вот здесь вместе с нами — и вон уже где...

Однажды приехал на мотоцикле из Усть-Яреньги Сашка, тридцатилетний здоровый малый, обветренный, в ватнике, с тульским ружьем. Он учился в школе вместе со Старшим братом. После школы дороги их разошлись: Старший брат окончил Ленинградский университет, остался жить в городе на Неве. Сашка после армии вернулся на Летний берег, стал трактористом в колхозе.

Старший брат отнесся к другу детства Сашке хотя и сердечно, но чуть свысока, с соблюдением дистанции. И ружье у него другой марки, и бинокль, и всякие штучки-дрючки. Сашка рассказал, как доставляли в Усть-Яреньгу электростанцию: блоки, кирпич на здание, турбину — сначала морем на лихтере, перегрузили на плашкоут при свежей волне, потом на тракторных санях. Никаких дорог с Летнего берега в большой мир, кроме этой, пока что не проложено. И новый Дом культуры в Лопшеньге доставлен этим путем.

Приятели охотились в тайге на глухарей (белка еще не выкунела). Я собирал что бог пошлет: бруснику, моховики, сыроежки, обабки, волнухи, горькухи. Один мой дальневосточный товарищ, старый таежник, сказал однажды, что минуты близости с природой не засчитываются в общий жизненный срок, даются нам сверхсрока, в подарок. И настроение у меня было, как при вручении мне какого-нибудь приза (бывало, вручали: не из одних же взысканий состоит жизнь, даже и у писателя); я радовался каждой сыроежке, а когда находилась карминно-рдеющая кочка спелой брусники, в ярко-зеленых лаковых листиках, я начинал мурлыкать, как бабин Ньюшин кот Мурзик над вареным моховиком (боль-

шего лакомства он в жизни своей не едал, не избалован).

Просторная, осиянная солнцем, налитанная цветом созревшей рябины поморская тайга оглашалась заливающим лаем собак: Буяна и Ветки. О собаках надо сказать особо: собачий мир в Лопшеньге, как и в любой поморской, вообще во всякой деревне, достоин того.

Ветка обыкновенная лайка, темно-серая с подпалинами, с туго загнутым в крендель пушистым хвостом, с умным, скромно-уклончивым выражением карих глаз, как все лайки, умеренно-ласковая, ненавязчивая, не жадная на подачки, в лесу на охоте идущая по зверю и птице с необходимым усердием и азартом, но без того иступления самоотдачи, от какого буквально сгорают иные псы. Ветка уходит из лесу домой, как только поймет, что ее урок исполнен. У нее безошибочное на этот счет чутье. Она красивая, убористая, некрупная, чисто-плотная, сознающая свою красоту сучка. Ветка домашняя собака, у нее есть хозяева: родители моих знакомых братьев.

Иное дело Буян. Он ничей. Его прикармливают около той избы (в избу никогда не пускают), из которой кто-то идет на охоту. Или вернулся с охоты. Лучшего охотника, чем Буян, в Лопшеньге, а может быть, на всем Летнем берегу, нет. С Буяном ходят брать медведя в берлоге и по белке, кунице; если уж он посадит глухаря на сосну — обязательно отыщет и посадит! — то уж не отпустит. И он не оставит охотника в тайге, с ним вместе вернется к порогу.

Когда нет охоты и Буяна никто не кормит, он уходит в тайгу, кормится сам зайчатиной.

Буян крупный кобелина, густошерстый, рыже-серой волчьей масти, с широкой грудью, мощными лапами: Буянов след с три Веткиных следочка. У Буяна заросшие шерстью, черные, постоянно настороженные уши торчком. В его суровых и добрых глазах всегда вопрос-предложение, обращенный к каждому человеку, мужчине: «Почему не идешь на охоту? Пойдем!» Буяну непонятно нехождение мужиков на охоту, как будто есть что-то в жизни лучше, важнее. Буян пойдет в тайгу с каждым, он ничей, на него может положиться любой охотник мира.

Недели за две до нашего прибытия (приплывания) в Лопшеньгу кто-то из прибывших-приплывших (может быть, прилетевших: в Лопшеньге есть аэропорт) по-

шел за деревню с ружьем. Буян, незванный, отправился следом. Охотник высмотрел рябчика, крался к нему, дело было к вечеру, смеркалось. В чапыге, метрах в десяти от охотника, вдруг явил себя здоровый серый волчина. У страха глаза велики! Охотник в упор выстрелил, заряд дробы вошел пулей Буяну в ляжку, вышел в паху, образовав рваную рану (множество дробинок осталось в мышце). Сколько-то дней Буян провел в тайге, никто не хватился. (Охотник о своем подвиге никому не сообщил.) Потом приполз в деревню, пищу не брал, только пил воду, лежал в укромном месте, зализывал рану, выкусывал дробинки.

В то утро, когда мы собрались со Старшим братом и его приятелем Сашкой в тайгу, Буян приковылял на трех лапах к крыльцу избы, лег на траву, поглядывал на нас с надеждой, страданием, беспредельной виноватостью в своих прекрасных собачьих глазах: он стыдился своей слабости, своей муки, молил его простить, взять с собой в тайгу.

Мы пробовали отговорить Буяна, понуждали его остаться дома, отгоняли, стращали. Буян, с опущенным хвостом, носом в землю, вроде бы отставал... Но басовитый его, с хрипотцой, отрывистый, какой-то очень грозный лай в тот день раздавался по лесу, красиво оттеняя звонкоголосые, на высоких нотах Веткины трели.

Наш день закончился на поляне у озера, у стожка, накошенного на этой таежной суземке, у костра. Ветка убежала домой, Буян лежал вблизи от нас, зализывал все еще не заросшую рану. Пес принял из рук Старшего брата кусок хлеба с маслом, не торопясь, прожевывал заработанную еду. В глазах его читалось именно это выражение не зря прожитого дня.

Через две недели, к концу моей жизни в Лопшеньгской республике, я увижу, как держит Буян верха на собачьей свадьбе, почему-то разыгравшейся в неурочное время (может быть, сентябрьское солнце по-весеннему грело) за околицей деревни на аэродроме, как поспекает всюду на своих на троих, как грозно отшивает других кобелей от своего предмета, как льнут к нему лаечки всех мастей, как умеет быть нежен лесной бродяга.

2

Идем на речку Верхотинку удить форель.

Сначала идем берегом озера, самого ближнего к де-

ревне — широкой луговиной. Старший брат рассказывает мне про это озеро своего детства: вот здесь, где мы идем, было дно озера, а угорья, замкнувшие котловину, — его берега. В озеро втекает река Лопшеньга; она же и вытекала из озера, вскоре впадала в море. Высокая приливная волна докатывалась вот досюда...

Теперь река не вытекает из озера, озеро не сообщается с морем, волна не докатывается: кому-то (никто не знает кому) пришла мысль поставить реку «на службу», «впрячь в работу». Дело это посильное даже колхозу: нужен один бульдозер, один экскаватор. Реку перекрыли плотиной-запрудой, вырыли канал...

Запрячь реку в работу так и не успели: в паводок запруду прорвало, озеро выплеснулось через край, от него осталось на доньшке, вроде как речная старица; отрегулированный природой водообмен: река-озеро-море — нарушился...

Непосвященному ничего такого и в голову не придет: за околицей деревни Лопшеньги вытянувшееся, изогнутое озерко, синее под синим небом, рябящее на солнце. Бывшая речная излучина... Могло и так быть от века, тоже ладно и дивно...

«Раньше сюда заходила рыба с моря, — рассказывал мне Старший брат, — и камбала, и селедка, и сиги, и кумжа, и горбуша, и семга. Сверху по речке на зиму скатывалась форель. И озерной рыбы всякой полно было: щуки, окуня, плотвы. Вся деревня кормилась рыбой с этого озера. Оно же рядом, пацанва деревенская на нем с утра до ночи. Во время пролетов лебеди останавливались, подолгу жили, гуси, уток было полно. А нынче не стало. Все угробили... И никто не виноват...»

Мой спутник клялся, что не оставит этого так, приложит все свои силы, чтобы восстановить озеро, пустить реку в старое русло...

Сил было пока маловато... Старший брат глядел мне в глаза пристальным, цепким, поморским взором, из-под покатых, горушкой, бровей, требовательно наказывал мне:

«Вы напишите об этом. К печатному слову прислушиваются. Я для того и позвал вас в Лопшеньгу... — Старший брат распускал брови, малость их распрямлял, улыбался. — Это я шучу. Поживите в нашей Лопшеньгской республике, отдохните. Я только здесь и отдыхаю. Месяц побуду, с меня как будто короста сойдет, я заново

нарождаюсь... Вот на Верхотинке форелей наловим, нажарим — пальчики оближешь...»

Я обещал моему вожатому написать об участии Лопшеньгского озера. И — пишу... Не очень, правда, веря в силу воздействия печатного слова на тех, у кого в руках бульдозер и экскаватор (им читать-то некогда). Великое множество наших незнаменитых речек (знаменитые — само собою, в первую очередь) понесло урон, а то и вовсе перестало существовать в результате запруживания, в силу вполне объяснимого, но не всегда сообразующегося с расчетом и разумом желания впрячь воду в работу, поставить на службу или, как сейчас говорят, «задействовать». Сколько озер сначала очищено от «сорной» рыбы, после зарыблено «ценной»! Где «ценная» рыба, кто ее едал или хотя бы видал? Где лесные озера с милой нашему сердцу бывлой рыбалкой, с ухой у костра — окуневой, щучьей, подлещиковой, плотичной? Плохой ухи у костра не бывает...

Всем хочется «ценной» рыбы, но прежде чем приступать к очищению-зарыблению, надо бы заложить в расчеты не только зыбкую перспективу, но и утрату: живого, прекрасного, единственного озера. Ведь озеро — животворящий сосуд, пусть капилляр, в организме природы, необходимый оттенок в палитре земной красоты, принадлежащей равно всем людям.

Построят запруду, и озеро пропадет, это точно. Истребление красоты — негуманно, бесчеловечно. Только кто знает, почему красота?

3

А форели в тот раз мы не поймали. Пошли со Старшим братом на реку Верхотинку, темноводную, текущую в глубоком каньоне с вековухами-елями в лишаях по берегам, с матерыми осинами (вот бы лодки выдалбливать!), султанами папоротников, черемухами, рябинами, с бобровыми делянками, с выкошенными приветными полянками-суземками в излучинах, закинули наши уды, побежали следом за поплавками... После нам объяснили лопшеньгские мужики, что форель не ловится в солнечную погоду: видит рыбка и не берется, затаивается. Форель на Верхотинке ловят в ненастье. Старший брат и сам знал про это; сводил меня на Верхотинку, чтобы я открыл для себя еще и эту красавицу-речку, унес бы ее с собой. Он мне ее подарил.

Наконец пришло время для главного, ради чего меня позвали в Лопшеньгу... Поход в тайгу, на озера, на сколько-то дней и ночей...

Белое море долго держало нас, хотелось оглядываться на него; море выгорбилось, синело, блистало во весь горизонт; у моря горстка домов — деревня Лопшеньга — и лошади на зеленом холме (одна белая лошадь). Дорога сошла в тропу, полезла кверху затравевшим мокрым логом-распадом. Его зовут Касьяновым логом: когда-то хаживал тут поморский пустынный Касьян, сохранил по себе память. У какой-то черты море нас отпустило; забрала в свои суковатые длани тайга.

Братья преобразились в тайге, изменилось выражение их лиц, глаз: отлетело горожанское, вальяжное, проступило таежное, сообразное месту и цели. Братья подобрались, надали ходу, остро вглядывались, вслушивались в свичный им с детства мир.

Собаки: Ветка с Буяном — ушли вперед широким поиском.

Лог вывел к большому нагорному, в гранитных берегах, поросших брусникой, рябиной, с каменными — брусничными, рябиновыми — островами Каменному озеру. По озеру гуляли широкие пенные валы. Старший брат сказал (Младший больше помалкивал), что в Каменном озере ловятся большие окуни и щуки. Все тут было большое. В бухте зыбались три большие, наполовину залитые водою карбаза. Из одного, принадлежащего родителям братьев, карбаза вычерпали воду, сели. Собаки что-то с минуту соображали в своих собачьих умах. Буян попрыгал на трех ногах чуть пробитым следом вокруг озера, к тому месту, куда правили братья карбаз. Ветка скрылась в чапыге.

Младший брат греб, Старший закидывал спиннинг (с шведской катушкой, с японской леской). Плыть по Каменному озеру в карбазе по волне хотелось подольше: так дико, огромно, пустынно это озеро, будто никто его не видал до тебя. И хотелось пристать к ярко рдеющим, хвойно зеленеющим островам. Но Старший брат выбрал спиннинг, тоже взялся за весла; куда-то братья спешили, все более одушевлялись походом к какой-то им ведомой цели.

Когда мы плыли на теплоходе «Соловки» по Север-

ной Двине, потом по штормящему Белому морю, от долгого стояния на железной палубе, от мокрого шквалистого ветра в меня вселился радикулит — привычный каверзный гость в нашем климате. Мне бы не спрыгнуть с борта в лодку на рейде Лопшеньги... Младший брат, без пяти минут доктор, уложил меня на постель, принес бутылку со снадобьем, припасенным в Архангельске для отца, разогрел его на судовом камбузе, натер мне спину водкой (подчеркиваю: водка пошла на целебные цели), нанес зелье — сеткой — на мою недужную плоть... Я испытал нечто... Как если бы доктор поджег у меня на спине горючую смесь... Через час встал на ноги здоровехонек. Так что... Ну, в общем, понятно, что значили для меня братья в этом походе...

За озером шли в гору по голому месту, по грязям, мшарам, бескрайним трясучим болотам, обходили гиблые места — чарусы и чарусинки, — по каким-то, братьями узнаваемым признакам. Кое-где на болоте росли сосенки. Старший брат сказал, что, если кому явится нужда скрыться с глаз людских, можно сюда уйти — и концы в воду. Был такой случай: на складе в Лопшеньге обнаружили недостачу — достаточную для того, чтобы припаять срок завскладом. Но он упредил правосудие, исчез в тайге, в болотах — как истаял; обрелся в нетях что-то лет пять, потом надоело, явился, отсидел; теперь живет в Лопшеньге, можно с ним повстречаться, он кое-что порасскажет.

В сосновых кулисах лаял на глухаринные выводы Буян. Ветка не пошла за озеро. Братья опасались, как бы ее не схарчили волки. Но ничего изменить, переиначить, переиграть в тайге нельзя. И нельзя исполнить чью-нибудь взятую на себя роль, сразу видно, на что ты способен, какая тебе цена.

Старший брат оказался более страстным охотником, чем Младший (возможно, на Младшего повлияла его гуманная профессия), с малопулькой навскидку бежал на Буянов лай, надолго исчезал в чащобе. Мы с Младшим пользовались минутой, сидели на кочках, покуривали. Младший делился своим мнением о Старшем: «Он ни за что не бросит. Убьет. Такой настырный».

Поднялись на еловую горушку, желанную для нас после хлюпанья по болоту, как гора Арарат для аргонавтов. За нею, опять же в травянистом болоте, Никиткино озеро. В нем утонул когда-то Никитка. Или в нем,

или в соседнем утонул, в шести километрах; мы и туда пойдем, оно тоже Никиткино. Кто таков Никитка, когда утонул, не упомянули, но Никиткино имя озера сохраняют.

На горушке рыбацкий стан: издавна Никиткины озера значатся (без документа, без печати) за семьей моих вожатых братьев; значились за их дедами, прадедами. И так у каждой семьи в Лопшеньгской республике: озер полно! на семью достало по озерку, а то и по два. В рыбацком стане на Никиткином озере можно сыскать все, чего пожелает душа таежника-рыбара: топор и пилу-двухручку, лески, грузила, поплавки, удища, широкие охотничьи лыжи, точильный брусок, столешницу со скамьями, котел, жерлицы, мережи. Братья достали из тайника (меж кочек под брезентом) резиновую лодку, мигом ее накачали. Пал дождь; тотчас нашлись прорезиненные оранжевые рыбацкие робы-роканы. Братья подтянули до паха голенища сапог, стали похожи на рыбаков с плаката на колхозной конторе: «Смелый труд рыбацкий у страны в чести. Доброго улова! Доброго пути!»

И уплыли в озеро; я остался при таборе в том положении, в каком мне приходилось бывать в моей молодости — лагерного рабочего в экспедиции: на Восточном Саяне, в Забайкалье, на Кольском полуострове. Наготовил дров для костра — это основа всего в таежном стане, наварил чаю, подоил брусничные веточки с гроздьями ягод, дал Буяну ломоть хлеба с маслом, погладил его по лобастой, ушастой, грубошерстной башке. Буян посмотрел мне в глаза с каким-то смешанным выражением благодарности и недоумения: чего ради мужик валандается, не идет на охоту или, на худой конец, не рыбачит. Буян лежал поодаль от костра, зализывал все не зажившую рану.

«Сейчас, сейчас, Буян, вот посижу маленько у костра и пойду...»

Привязал леску к удищу, взял оставленную мне банку с червями, вышел на берег, встал почему-то в этом месте, а не в том, хотя весь берег был одинаков, низок, с кустами вербы, березками, прогалинами; близко к берегу на черной с буроватым просветом воде плавали блюдца кувшинок. Закинул уду в лунку меж блюдцев. Не клевало. Выбрал другую лунку, поплавок не шелохнулся. Я почувствовал скуку: всякий раз на рыбалке ме-

ня донимает скука впустую идущего времени. Рыбаки говорят, что во время глядения на поплавок отдыхаешь. Один мой знакомый рыбак (закончивший литинститут) похвалялся, что на рыбалке ему не приходит в голову ни единая мысль. «В голове пусто, как у ребенка». Именно пустота и вселяет в меня угрюмство. Вид недвижимого или сплывающего по течению поплавок наводит на мысль о тщете усилий, надежд. Я так и не стал рыбаком, хотя делал попытки.

Еще раз закинул уду в Никиткино озеро, сказал себе, что последний... Поплавок закланялся, закувыркался. Дернул уду... От червя остался розовый нанизок. Нанизал его на острие крючка, опять кинул в то самое окошко. Вытянул окуня. И пошло. Червя съедали как приваду, на последок червя ловились окуни и плотва. Что-то во мне отживало, в груди становилось тало, глаза застилало желанным азартом...

Одну плотицу я выдернул из воды с таким звуком, как выхлоп пробки из бутылки шампанского; я восхитился совершенством обвода рыбьего тела, черненым серебром чешуи, розоватостью плавников, индикаторной желтизной глаза...

Чем больше я налавливал рыбы, тем слаще становилась рыбалка. Я рисовал в воображении праздник, какой устрою коту Анны Федоровны Лысковой Мурзику; да и нам с бабкой Ньюшей — и на уху и на жареху и впрок посолить. До чего же все-таки сладостно осознание себя кормильцем, пусть даже кота Мурзика...

По Никиткину озеру плавали в «резинке» братья; Старший махал спиннингом, Младший выуживал живцов, ставил жерлицы. Все вместе мы собрались у костра под вечер (я первым пришел). Измокшие, измахавшиеся братья порадовались живому костру, а я и подавно. Братья наловили с пуд всякой рыбы.

В сумерках мы отправились на другое Никиткино озеро. Мне бы хватило и этого, но братья все больше входили во вкус, как-то на глазах дичали. Здешние «шесть километров» растянулись на три часа. Село солнце, хлюпали под ногой кочкарники, чернела стена еловой лишайной тайги. Зарядил по-осеннему дождь.

Другое Никиткино озеро явилось само собою, неожиданное, вдруг, когда уж я приспособился к бесконечности чавканья по болоту, стал забывать о месте, времени, даже о том, что хорошо бы остановиться, не гово-

ря уже о собственной личности: кто ты, где, для чего... Метрах в ста от озера, на возвышенном месте, в матером сосняке пополам с ельником сразу нашлась избушка — братья к ней точно вышли (в дороге поспорили, как идти; прав оказался Старший). Собственно, это была землянка — зимовье с двускатной крышей из елового лапника, поверху обтянутая полиэтиленом, прижатым слегами; с выведенной наружу железной трубой. Внутри была печка-чугунка, обложенная большими камнями; запас пиленых, колотых сухих березовых дров, смолистая чурка на лучину для растопки; всякая нужная утварь и нары.

Братья сразу раскочегарили печку. Я зажег большой костер под открытым небом; небо к этой поре (дело было уж к полночи) вызвездило. Малость поспорили с братьями, где лучше вечерять: на нарах в избушке или на воле (в избушке нашлись не только свечи, но и лампа с керосином). Тут вышла луна, вся местность, с мерцающим вдалеке озером, яснозвездной твердью над головой, высоко вздымающимся живым пламенем костра, движущимися тенями — исполнилась такого очарования, что лезть в нору не захотелось и тем, кто ее строил, кто печку топил.

Вычистили, загрузили в котел рыбу, картошку (сначала картошку, потом рыбу), лук, перец, лаврушку, повесили котел на таган, над огнем. Уха приспевает скоро, мы сели к сработанному на этот случай столу, на лавку, запустили ложки в уху, прихлебнули, прониклись торжественностью или, лучше сказать, божественностью наступившей минуты... Да, перед тем как сесть за уху, Младший брат еще подкинул дров в печку-чугунку, чтобы нора не выстыла... И вот... Я первый заметил какой-то дополнительный оттенок в освещении, сочащийся багровый отсвет... Раскалилась труба над избушкой, занялась кровля — вся сплошь из горючего материала...

Братья сидели спиной к избушке, спокойно хлебали уху. Их спокойствие передавалось мне, или усталость минувшего дня, или еще что... Пожар не подал звонка тревоги в моем сознании. Я проглотил взятую в рот уху, спокойно сказал: «Горим, ребята...» Братья потом покатывались со смеху: «И, главное, совершенно спокойно, как о чем-то постороннем: «Горим, ребята...» Старший выплеснул из котла чуть пригубленную нами уху, кинулся — с котлом — к озеру за водой. Ясно было, что

он не успеет, что одним котлом пожар не зальешь. Пламя уже лизало кровлю, ползло, багровело, синело, дымил. В избушке — все: ружья, патроны, мешки, одежда, в кармане документы... Что-то вдруг подхватило меня. Я сломил мокрую от недавнего дождя еловую лапу, принялся хлестать огонь. И Младший брат тоже. Благо елки близко росли. Огонь стал шипеть, глохнуть. Прибежал Старший с котлом воды. Завоняло горелым полиэтиленом, стало темно. Пожар кончился.

...Потом разжигляли костер, собирали во мху выплеснутые компоненты ухи: ломти щук, окуней, картофелины, луковицы. Нервически похохатывали: «А что, если бы...»

Я долго, долго в ту ночь сидел у костра, жалко было с ним расставаться, как с чем-то единственным, невозвратимым, как самая жизнь.

5

Буян работал по глухариным выводкам с таким «опережением графика», что даже готовый к рекордам Старший брат не поспевал за ним. Буян сажал глухарей в вершины елей — мужским, повелительным, зычным лаем; молодые сеголетние глухари разглядывали сверху неизвестного им рыжего зверя, щелкали на него клювами. Охотник поспешал от лая к лаю, как биатлонист от стрельбища к стрельбищу. Пару глухарей он взял. Буян посчитал, что этого хватит. Да и силы оставили колченогого пса, он еле дотащился следом за нами до рубленого дома на берегу Ленозера, для косарей строенного, давно никем не посещаемого: траву здесь нынче не косят.

Братья с ходу погрузились в притопленный у берега карбаз (воду вычерпали), ушли в озеро, далеко простирающееся в гористых, поросших лиственным лесом берегах. Я занялся приготовлением ухи; на уху братья выдали щуку, окуней. Я вычистил щуку (окуней, как известно, не шкерят), порезал ее на куски, ушел надолго к озеру мыть с песочком котел: в доме косарей на Ленозере чего хватало, так это котлов и кастрюль (и кос, пил, топоров, ложек, соли — тоже хватало). Когда вернулся, увидел, что Буян взял с лавки голову щуки, отошел неподалеку, прожевывал щучьи кости и жабры. Он посмотрел на меня долгим осмысленным взглядом, я прочел у него в глазах то, что пес имел мне сказать,

если бы мог: «Да, я знаю, — выражал песий взгляд, — брать без спроса с хозяйского стола — это шкода. Но я работал весь день, заслужил себе хлеб мой. И голову щуки. Я взял только то, что заслужено мной. Вы можете позабыть обо мне, я знаю».

6

Братья уплыли на мотодорке в «Горы». Там, в «Горах» им предстояли прекрасные дни и ночи: охота, рыбалка, сиги, глухари, брусничные горюшки, каменные кряжи на берегу моря, пропахшая семгой изба с сенниками на нарах, с шуршащими всюду мышами, с печью, готовой взять на тягу пламя, гудеть, после долго-долго рдеть из зева углями; безымянные ничьи озера, как синий дым, со струящимся березовым листопадом, с плавающими в черноте заводов лимонными дольками ивовых листьев; костры, чаепитья, какие-то, только братьям понятные — о чем — разговоры...

А мне — домой, в город, на круги своя...

— Спасибо вам, Анна Федоровна, за приют!

— Если что не так, не взыщите. Еще приезжайте. — А когда же — еще? Велика, богата дивными местами Русская земля, но коротки наши сроки...

Гулко отдаются шаги по мосткам в пустой деревне Лопшеньге. Издалека, с картофельного поля, доносятся голоса школьников. Деловито, будто вчера сговорились, выбегает ко мне навстречу пес Буян. Бегло меня оглядел, оценил, удостоверился в чем-то, важном ему, посмотрел мне в глаза: «Идем на охоту?» — «Да нет же, Буянушка, я на аэродром, улетаю». Не поверил, не понял, убежал вперед, настолько, чтобы я видел его, знал: мы вместе идем в тайгу. В Лопшеньгской республике куда ни пойдешь, все в тайгу (или к морю).

На аэродроме я сел на бревно. Буян ходил кругами по полю, взглядывал на меня, не выказывал нетерпения, однако напоминал: «Я тут, я готов». Один раз он прибежал ко мне, положил морду мне на колени. Я гладил его по башке, запускал руки в густую жесткую шерсть, почесывал за ушами. Хотелось заплакать. Буян отдавался ласке, но глаза его оставались строгими, очень мужскими...

Прилетела «аннушка», попрыгала по полю, вскоре поднялась в воздух. Я видел в окошко ровность аэро-

дрома с жухлой травой, бегущего с поднятой головою раньше волчьей масти пса Буяна, все еще связанного со мною только нам двоим ведомой нитью.

7

...Заколыхалась внизу тайга без краю, затуманились-засинели круглые очи озер, замерцало-запереливалось, восстало стеною Белое море, сделались маленькими, как лодки на берегу, как серые камушки, избы Лопшеньги — и пропали. В таком же порядке, между морем и тайгой, пробежали внизу избы Усть-Яреньги, нетерпимо, до боли в сердце поманил к себе весь деревянный, засеребрившийся, с белыми шиферными кровлями, к воде приникший, как стадо в летний полдень, с чистыми проточками-улочками поморский городок Пертоминск...

И — конец моему воздушному пути: Архангельск, воспетый Юрием Казаковым, как город будущего. Будущее наступило, что ли? — такое время, в котором Юре уже не бывать...

Все в жизни увязано одно с другим — мысль не нова, но чем долее живешь на свете, тем явственнее ощущаешь вовлеченность себя в движение судеб-миров... Вот с этой взлетной площадки в Архангельске в прошлом году я поднялся в самолете, несущем в чреве гроб с телом Федора Абрамова, проводил писателя земли Русской в последний путь, к нему на родину на Пинегу, в деревню Верколу. А еще раньше Федор Абрамов в Москве провожал Юрия Казакова, говорил поминальное слово над гробом... Неисповедимы пути каждого человека, но кем-то они проложены до него, ему завещаны.



СОДЕРЖАНИЕ

3	Гора и Берег
67	Наедине со своим спокойствием
84	Чужие рукописи
109	Не только о погоде
224	По тропинкам поля своего
335	Весной в Африке
424	Пробежки по утрам
472	Шесть окон на Белое море

**Глеб Александрович
Горышин**

ГОРА И БЕРЕГ
Повести

Редактор Г. Коледенкова
Художник Е. Ульянова
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор Е. Васильева
Корректоры Т. Люборец, Г. Селецкая

ИБ № 4931

Сдано в набор 13.04.88. Подписано к печати 31.01.89. А04126. Формат 84×108¹/₃₂. Гар. Бан.
Печать офсет. Бумага офс. № 2. Усл. печ. л. 28,56. Усл. краск.-отт. 57,12. Уч.-изд. л. 30,01.
Тираж 100 000 (1—50 000) экз. Заказ 975. Цена 2р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

